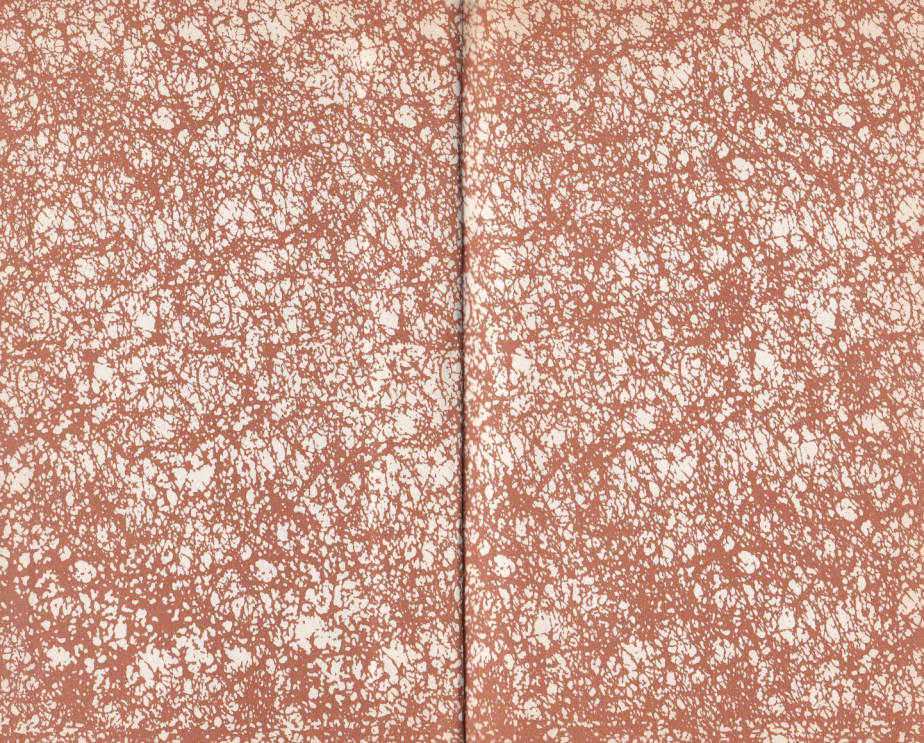


*Мен*

НА ПОЛЕ  
ОВСЯННИКОВСКОМ



Scan Kreyder - 11.03.2019 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

# ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ

---

## НА ПОЛЕ ОВСЯННИКОВСКОМ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

«ИЗВЕСТИЯ»

---

МОСКВА ● 1985

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета  
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя  
Леонид Теракопян

Заместитель председателя  
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь  
Елена Мовчан

Ч л е н ы с о в е т а :

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,  
Альгимантас Бучис, Юрий Ефремов,  
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,  
Мирза Ибрагимов, Юрий Калешук,  
Алим Кешоков, Юрий Киршин,  
Вадим Ковский, Григорий Корабельников,  
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,  
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин,  
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,  
Борис Панкин, Вардгес Петросян,  
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,  
Иван Шамякин, Константин Щербаков,  
Камиль Яшен.

Художник А. НИКОЛАЕВ

Кондратьев В. Л.

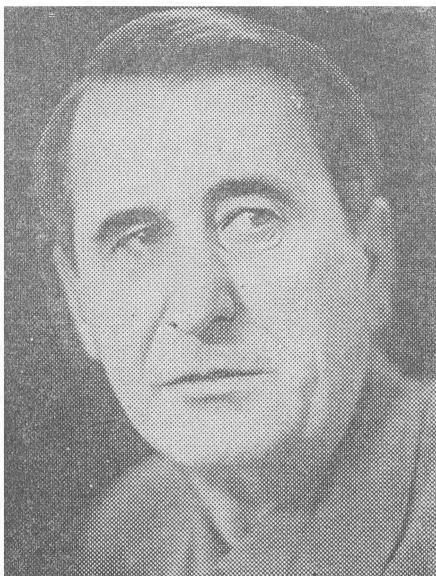
К64 На поле овсянниковском. Повести. Рассказы.—  
М.: Известия, 1985.— 576 с., ил.

Военная проза В. Кондратьева, максимально правдивая и достоверная, давно привлекла внимание читателей. В сборнике повестей и рассказов «На поле овсянниковском» — та же тема войны. Но писатель не замыкает повествование только на войне, напротив, истинная цена Победы осмысливается в книге сквозь призму послевоенного времени. И за всеми описываемыми событиями стоит добрый, мудрый, человечный человек, твердо убежденный, что самое главное завоевание в жизни — это жить без войны.

К  $\frac{4702010200-031}{074(02)-85}$  74—85 подписное

ББК84Р7  
Р2

© Оформление и послесловие. Издательство «Известия», 1985 г.



*Handwritten signature*



*С чувством глубокой благодарности к человеку, поверившему в «ржевскую прозу» еще до ее написания, работал автор над этой книгой.*

## СЕЛИЖАРОВСКИЙ ТРАКТ

---

**Х**р-р-хр-р... — глухо похрипывает передовая, то спереди, то справа, и кроваво полыхает небо — жутковато, неотвратно...

Неотвратимость этого надвигающегося на них неба ощущают все. Знают и то — дорога эта, может, последнее, что в их жизни. Знают, но стараются об этом не думать. Но все же со скрытой завистью поглядывают на тех, кто обратно, — для тех все позади. Их немного. Остальные остались т а м. Это тоже все понимают и потому идут молча — только топот ног, бряцанье оружия и редкие команды:

— Подтянуться!

— Отставить курение!

Молчат и думают... О чем? О близкой смерти, которая зарницами подмаргивает им с горизонта? Наверное — нет. Большинство идет на войну в первый раз — не знают еще, что такое передовая. Некоторые даже плохо представляют, что такое пехота.

Они демонстративно не снимают с петлиц эмблемы своих прежних родов войск — тут и золотистые танки, и перекрещенные пушки, и молоточки инженерных, и замысловатая красивая эмблема ВОСО, и даже крылышки летчиков. Да, летчиков! Разумно ли это? Никто не знает. Только понимают — нужна пехота, много пехоты, очень много пехоты.

Командир первой роты старший лейтенант Кравцов знает, что значит это багряное небо впереди. В первый раз шел он т у д а помкомроты, сейчас идет ротным, в третий раз, ежели останется живым, пойдет, может, и комбатом, но это не радует — он знает, что т а м.



Сейчас он думает о своей Дуське... Нередко грозил он ей наганом: «Здесь — семь. Ежели что — две твоих, чтоб наверняк...»

Но Дуську, видать, не особо пугали наганные пули... И знал Кравцов — шепчутся и шушукуются за его спиной боевые подруги.

Скучно было Дуське. Детей у них не было, всех делов — прибрать в комнатке, целый день одна. Вставая в четыре утра, чтоб писать конспекты к занятиям, в шесть был уже Кравцов в роте, а возвращался только после отбоя, измотанный — не до любви.

Вот и бегала она одна то в киношку, то на танцы, а там кто-нибудь из сверхсрочников-старшин, а то из рядовых, кто побойчее, заболтают, зажмут где в укромном местечке...

А Кравцов был неказист, ростом маловат, нос кнопкой. Не нашла себе Дуська лучше — вот и вышла. Подружки-то ее — «хетагуровки» — повыскакивали все замуж, не оставаться же ей в девках.

Да, такая была жизнь... Армию Кравцов любил, хоть и доставалось ему все с трудом. Пожалуй, лучше всего было, когда служил сверхсрочную старшиной. А на курсах комсостава было тяжко — четыре класса не академия. Но расти хотелось — не век же с четырьмя треугольниками ходить.

В тридцать девятом перевели его в полковую школу. Не раз приходилось краснеть, когда начальник школы, просматривая его конспекты, жирно и стыдно большим синим карандашом подчеркивал грамматические ошибки и заставлял переписывать.

Пополнение в тот год пришло диковинное — почти все студенты, даже два инженера были в его взводе. Ребята очень грамотные, но в субординации не смыслящие, потому и гоготали при каждом его очередном ляпсусе. А их бывало немало. То на химподготовке окись углерода назовет не ЦЕО, просто СО, как в книжке напечатано, да обзовет еще эту СО «секретным газом», получается который, когда бабка печь раньше времени закроет, то на занятиях по географии нашей Родины за тундрой пойдет у него «полундра»... Веселились на славу.

И стояло у него на занятиях это веселье, пока, вконец измученный, он просто, без командного металла в голосе, сказал: «Ребята, что знаете сами не хуже меня — скажите. Чтоб не болтал зря. Ведь академиев я не кончал». С тех пор стало тихо.

Зато мог он с закрытыми глазами разобрать и собрать затвор винтовки, стрелял только в «яблочко», а пятидесятиметровую штурмовую полосу проходил так, что взвод чуть ли не хлопал. Тут Кравцов был в своей стихии.

— Воткнул, а у ней и не засвербило! — кричал он кому-нибудь из курсантов, который мякло тыкал штыком чучело.— Чего, чего говоришь? Не получается? Шинель мешает? Плохому рубাকে всегда что-то мешает...— взвод хохотал.

Не пришлось ему побывать в прошлых боях в рукопашной — показал бы немцу русский штыковой удар. И орден — навверняка.

Но мысли о Дуське и о том, что беспрерывно она сейчас гуляет (на Дальнем Востоке мужиков пока хватает), как-то вяло прокатываются в его мозгу, не вызывая той обычной боли, с которой всегда представлялись измены жены, — все это теперь пустое. Волнует другое. Видит он, что из трех командиров взвода только Шергин чего-то стоит, а остальные... И одному придется расхлебывать кашу, именуемую боем... Хотя почему одному? Вот политрук идет рядом, мужик вроде ничего, молчун, правда... А может, это и хорошо? Не особо любил Кравцов болтунов, которые к месту и не к месту за советскую власть агитацию разводили. Чего за нее агитировать? По-другому бы надо... И ему нравилось, что его политрук лишних слов не говорил, зато в котел красноармейский заглядывал часто — как там для бойцов, густо ли?

Не очень-то надеясь на лейтенантов из училища, придирчиво выбирал Кравцов помкомвзводов из кадровых сержантов-дальневосточников и выбрал вроде бы толковых, хоть и не воевавших, но которые со взводом справятся не хуже, а может, и лучше его взводных, недавних школяров, с которыми — чуёт он — будет у него маета.

Ведь надо же — перед самой отправкой в эшелон подошел к нему один из этих новоиспеченных и заявил, что хочет позаниматься со взводом тактикой.

— Какая к черту сейчас тактика! — отрезал он тогда.— Отдыхать людям надо. Отдыхать! Не к теще на блины едем. Поняли?

Да, знает Кравцов, сколько сил потребует передовая, и нечего мотать людей — намотаются еще.

И люди примечали: понимает их ротный, жалеет — и тоже относились к нему по-хорошему. Это он видел. За годы службы много прошло через его руки народа, научил-

ся он понимать разные характеры и мог любого человека раскусить запросто.

Например, чует он, что будет у него с лейтенантом Четиним морока,— напугает он что-нибудь, как пить дать, и, чего доброго, под трибунал попадет.

Вот и теперь уже, как первогодок, стер Четин ногу и ползет позади взвода, прихрамывая.

— Может, бойцам вас на ручки взять, лейтенант?— язвит Кравцов, когда тот, в который уж раз, присаживается перематывать портянку.

Четин краснеет и ничего не отвечает. А чего отвечать? Румянец, не сбитый ни шестимесячным училищем, ни месяцем резерва,— беда его. Знает он, что зовут его заглазно «лейтенантом щечки» и что вообще во взводе он пока ни то ни се. Прислали его в роту всего за несколько дней до отправления, и до сих пор не помнит он как следует ни фамилий, ни имен своих подчиненных: шутка ли — пятьдесят два человека!

Сержант Коншин, от которого он принял взвод, встретил неприветно. Надеялся, видно, что оставят его на взводе и присвоят звание, так как учился он тоже на курсах лейтенантов запаса. И до сих пор не выпускает взвод из своих рук и доходит до смешного — на каждое приказание Четина бойцы спрашивают подтверждение сержанта, обидно это до слез.

А сейчас эта чертова портянка и замечание ротного — тоже обида.

Только один раз ходил Четин в училище в ночной поход и тоже стер до крови ногу, и сравнили это тогда чуть не с самострелом. Об училище вспоминать не хотелось. Гоняли их на тыловом пайке по четырнадцать часов в сутки. Одна думишка у всех была — скорей бы закончить — да на фронт, на обильные фронтовые хлеба. Изголодались — о страшном и не думалось.

А сейчас с пугающей ясностью видит Четин — не готов он для войны. Не может найти общее с людьми, воевать с которыми, перепутались в голове строевой и боевой уставы, путает даже команды, сержант поправляет, подсмеиваясь. Трудно будет ему в бою.

И в то же время с безнадежностью понимает, что только бой, только бой сможет сблизить его с людьми и сделать настоящим командиром. Если, конечно, проявит он себя, будет смелее и тверже Коншина, дабы свой командирский авторитет навсегда утвердить. Но в это слабо

верится — сержант старше его и по возрасту, и по службе в армии и кажется ему сильным и самоуверенным.

Вспоминает он, как на учениях боец Диков (его-то фамилию он запомнил) отказался выполнить его приказание, и растерялся он тогда, не зная, что делать, а сержант так спокойненько вроде, не повышая даже голоса, но таким тоном подтвердил приказ, что Диков как миленький поднялся и без разговоров перешел в то место, куда указал Четин.

И живит его сейчас только воспоминание о доме, о матери-учительнице, с которой жил он в маленьком городке под Ярославлем. И было у него за плечами лишь детство. Не успел даже влюбиться как следует. Нравилась ему одна девчонка из класса, ходили два раза в городской сад, посидели на затененной скамейке, но даже поцеловать не решился...

А сержант Коншин тоже думает о Дикове. За полтора месяца формирования он смог более или менее узнать людей своего взвода... Да, своего! Лейтенантик пришел на все готовенькое. Это он, Коншин, ползал со взводом в снегу в сорокоградусные морозы, это он обучал их приемам рукопашного боя, это он ходил с ними на стрельбище и добился, что взвод стрелял на «отлично», а тут, перед самой отправкой, посылают этого «кюхлю» и говорят — сдавай взвод.

Только Дикова раскусить не может. Кто он? По анкете — рабочий, грузчик... Но почему идет, как затравленный волк, озираясь по сторонам исподлобья, словно ищет какую лазейку, чтоб исчезнуть. Коншин уже приказал отделенному не спускать глаз с Дикова. Правда, здесь ему деться некуда, но как в бою?

И вообще-то не был Коншин таким твердым и сильным, как казалось Четину. Томит его тоже страх и неуверенность — как поведет он себя там? И среди этой огромности молчаливых и, в сущности, чужих людей чувствует он себя тоже неприятно и неприкаянно...

Не похож этот трехночный марш на те, что были на востоке, в кадровой, — со смехом и шутливой возней на привалах, с подковырками и веселым матюжком на перекрахах... Молчаливо и сумрачно тянется колонна — каждый в себе, в своих думах, в своих воспоминаниях. И на привалах скупно cedятся слова — только нужные, приказные, для дела. И не потому, что усталые невпроворот и оголодалые, а потому, что давит душу маячащее впереди алое зарево — зловещее, тревожное, неизбежное...

Потому и бегают на каждом привале Коншин к своим однополчанам по старому полку. Вроде и не дружили особенно, но теперь все они — и большой сильный Чураков, и нытик Пахомов, и рыжий, похожий на фрица, нескладный Лапшин — все они как родные, и с ними легче ему и спокойнее.

На одном из привалов Лапшин читает стихи, сочиненные в пути:

Ты не ходил еще, товарищ, по дорогам,  
По которым прошла война,  
По которой в молчании строгом  
Трое суток идем мы без сна...

Обычно заикающийся, стихи Лапшин читает ровно, но тягуче, с подвыванием и почему-то шепотом.

Ты не знаешь, как в пургу метельную  
На привалах валишься в снег  
И какую тоску беспредельную  
На войну несет человек...

— А несем ли мы тоску беспредельную, ребятаки? — задумчиво протягивает Коншин.

— Подожди, пусть читает дальше, — перебивает Чураков.

Лапшин продолжает и заканчивает строками:

...Но даже на этой дороге  
Нету время тебе отдохнуть...

В кадровой Илья в строю не служил — «перекрывался» в редакции бригадной многотиражки, а потому не хватил того, что досталось ребятам в полковой школе, и сейчас ему тяжелее других.

— Актуально, — басит Чураков. Это — насчет «нету время тебе отдохнуть», хотя он сам выглядит свежее остальных.

Да, устают все... Жратва слабая, привалы короткие. Дневки — скорее подготовка к отдыху, чем сам отдых: пока нарубишь лапнику, пока соорудишь шалашик, пока прождешь обед, и остается каких-то три-четыре часа сна — холодного, голодного, а потому мелистого. Не запишь таким сном ни усталости, ни тревожных мыслей... А там опять дорога — долгая темная дорога на войну.

— Насчет тоски, Леша... — начинает Лапшин.

— Несем! — безапелляционно заявляет Пахомов. —

Как по кладбищу топаем, торчат эти трубы, как надгробия, и ни огонька. Несем!

— Знаешь, после сарая мне стало страшновато...— Лапшин засопел трубкой.— А тебе?

— Если откровенно, тоже не по себе было,— отвечает Коншин.

На вторую ночь марша свернули они с большака на время, и деревеньки попадаться стали, немцем не тронутые, живые, с дымком из труб, с протоптанными тропками. В одной из них увидели ребята свет в сарае и решили зайти на минуту — искурить в тепле по сигарке. Открыл Коншин дверь и... Огромный полуразрушенный сарай был забит лежащими на полу ранеными. В середине — раскаленная докрасна печь. Малиново шел от нее свет и кроваво падал на людей. У печурки — женщина в военной форме, либо врач, либо фельдшер.

— Чего вам? — подняла она голову.

— Извините... мы не знали,— смущенно пролепетал Лапшин.— Хотели погреться... покурить...

— Тут нельзя курить,— устало сказала женщина.— Раненые...

В углу кто-то застонал, и она пошла к нему. Коншин тихо прикрыл дверь. Руки играли, да так, что долго не мог свернуть самокрутку.

— Что же это т-а-к-о-е? — заикался Илья.— Раненые — и-и-и в с-а-р-а-е, н-а п-о-л-у... Леша, как же это так?

Коншин выдавил улыбку. Недоумение Ильи было трогательно и жалко. Он похлопал его по плечу:

— Ничего, Илюша... Запоминай. Потом опишешь.

В тридцать девятом забрали Лапшина с первого курса Литературного. Да и всех ребят забрали в тот год из институтов, кто годен был к армейской службе. Остались девушки без ребят.

И у Коншина после этого сарая с ранеными зависла в сердце тяжесть и долго не отпускала. Неотвязно мучила мысль, что, может, и им вот так же придется валяться где-то...

Как началась война, предчувствия ворвались в души тех, для кого она должна стать судьбой... Еще на Дальнем Востоке Коншину представлялись зимние дороги, заснеженные поля с черными кольями проволочных заграждений, какие-то деревни впереди, на которые они и должны наступать... А за год до войны, на больших маневрах он как-то ясно почувствовал — впереди война — и написал «пророческие», как оказалось, стихи: «Может быть, впе-

реди узкой щелью окоп и сведенные в судороге губы, и холодный, как лед, обжигающий пот, и безмолвные серые трупы...»

Когда проезжали Москву, удалось Коншину позвонить матери по телефону. Чтобы ободрить ее, да и себя тоже, сказал он уверенно: «Я вернусь, мама... Обязательно вернусь...»

Сминулся Коншин со смертью через несколько часов на одном из полустанков. Лежал он на верхних нарах, покуривая, как вдруг что-то оглушительно грохнуло над головой, мигом его сдуло с нар вниз — стоит, оглядывается, не понимая, что же это такое, — а потом глянул и видит: раскачивается его автомат, что висел над головой, лежа разбитая, а на торцевой стенке вагона — дырка. Понял! Бросился в соседний вагон, а там побелевший красноармеец с выпученными глазами, в руках винтовка, из дула которой вился еще легкий дымок.

Обматерив бойца, вернулся в свой вагон, закурил жадно, а автомат все еще тихо покачивался.

— Ну, теперича вас, сержант, не убьют. Не судьба... — сказавший попытался хихикнуть, но все молчали. Смерть прошла рядом и охолодила.

А после первой бомбежки в Лихославле окончательно убедился Коншин, как хрупко и ненадежно их бытие, и выкинул мысли о доме и возвращении. Сейчас в эти промозглые метельные ночи он уже не верит в то глупое «я вернусь, мама...» и мается, что эта бесконечная ночная дорога — дорога в н и к у д а.

Лапшину в Москве посчастливилось повидаться с матерью, и угощает он теперь своих однополчан «Золотым руном». Его медовый запах напоминает о доме, тепле, уюте, и они все четверо, прилепившись друг к другу, дымят, перекидываясь редкими незначительными словами, но о самом г л а в н о м — молчат.

Только Пахомов не курит. Съезжившись, положив подбородок на колени, он думает... Не о доме, не о родных — о Волге, о горьковском откосе при закате, когда розово горит гладь двух могучих русских рек, а по набережной гуляет нарядная беззаботная толпа.

Все годы службы в армии тосковал он о Волге, но знал: еще год-другой — и встанет он опять на мостик и перед ним будет опять любимая с детства река... Но когда во взбудораженную командами ночь он вылез из вагона эшелона и вступил на эту дорогу, в нем что-то обрвалось. Понял — все, Волги ему больше не увидать!

Это было неожиданно и страшно! И потому всю дорогу идет он, не ощущая ни голода, ни усталости, в безразличии ко всему внешнему, сосредоточившись в себе, в ощущении какой-то пустоты впереди.

Да, не похож сейчас Пахомыч на того, что на фотографии, которую показывал Коншину в полковой школе. Лицо заломлена фуражка с «крабом», ослепительно бела форма, и улыбка, хоть и грустноватая, красит его лицо. А сейчас — редкая рыжеватая щетина на впалых щеках, потухший взгляд, и напоминает он этакое мужичка-замухрышку из фильмов о «проклятом прошлом».

— Ты хоть пожил до армии,— не раз говорил он Коншину.

Это «пожил» заключалось в том немногом, о чем рассказывал Коншин,— о нескольких московских кафе и ресторанах, в которых бывал иногда, и о своей Гале. Впервые в тридцать седьмом, на встрече Нового года, попробовал он вино и впервые поцеловался с Галей, а после этой встречи сбилась у них теплая компания и частенько устраивались вечеринки в пустой квартире одного из приятелей, где и случилось у них с Галей главное... Не очень то удовлетворял Коншина тот образ жизни, потому и полюбилась армия с ее строгим и здоровым распорядком дня, отсутствием лишнего времени, с физическими нагрузками. Соблазнов — никаких, и ничего не оставалось, как закалять себя со всех сторон...

Пахомову особо хорошего вспоминать было нечего. В тридцать втором померли отец и мать. В четырнадцать лет остался Пахомов один. Дотянула старшая сестра, окончил речной техникум, стал на мостик красавца парохода. Вот эти годы до армии и были, пожалуй, лучшими. Ласковы были и тихи, если б и тут не пробежалась горсть — вышла замуж его первая и последняя, как он считал, любовь, вышла за молодца матроса с его же «коробки».

Лапшин несколько раз порывается сообщить ребятам, что сегодня на привале сказал ему комбат, что будет он откомандирован в штаб бригады. Если совсем откровенно, то это немного обрадовало его. Романтические представления о войне выбивались каждым шагом этой тяжелой, жутковатой дороги. На Дальнем Востоке невозможным казалось не увидеть войну, просидеть в тылу. О чем же писать, если война мимо? Нет, Лапшин не жалел, что бросил уютную отдельную комнатку в редакции многотиражки, что, увидев на станции Куйбышевка-Восточная



эшелон, в одном из вагонов которого находились ребята их полка, и Коншин в их числе, он, не задумываясь, влез в вагон и сказал: «Ребята, я еду с вами!» Его отговаривали, пугали трибуналом за дезертирство, которое он совершает, покидая полк, хотя и понимали, что за дезертирство на фронт никто судить не будет. На другой день начальник эшелона внес его в списки и поставил на довольствие.

Кем берут его в штаб бригады, комбат не сказал, но, наверное, переводчиком. Учился Илья до восьмого класса в немецкой школе, что была на 1-й Мещанской, и язык знал хорошо.

Лапшин чувствовал, как скажет товарищам об этом, и сразу — стена. И потому оттягивает этот разговор до последнего.

— Да, братцы, война у нас будет настоящая... Это вам не Второй железнодорожный...— говорит Чураков на одном из привалов.

И вспоминалось всем — вычищенные, как в парке, дорожки между казармами, высокие столетние сосны, стадион, на котором с весны проводились общеполковые вечерние поверки — торжественно, с оркестром, как чеканили они шаг на парадах, уступая в выправке только десанникам.

— Была жизнь...— говорит Пахомов.

— А ты все ныл. Все плохо было,— усмехается Коншин.

— Глупы были,— резюмирует Чураков.

Команда «строиться» разбрасывает их по своим подразделениям и гасит воспоминания.

«Надо идти, надо ползти в паутине колючек проволоки» — опять всплыли у Коншина строки его стихов, и он шепчет их в ритме своих шагов.

Савкин, рядовой коншинского взвода, отстает и плетется вместе с Четиным в хвосте роты. Он идет туда во второй раз, и, как ко всем «бывалым», Коншин относится к нему со смешанным чувством некоторого уважения — все-таки воевал — и иронии, потому что «бывалые» панически боятся самолетов, вопят, увидев где-нибудь зажженный огонек, и вообще представляются Коншину чересчур напуганными. Понять их, конечно, можно — воевали тогда, когда немец был силен. В том, что сейчас немец другой, Коншин не сомневается. Подтверждают это и раненые:

— Не тот немец, не тот...

— Кусается еще, сукин сын...

— Придете — увидите...

И очень верит Коншин, что их Отдельная, да еще Особая, стрелковая бригада, почти вся из кадровиков, хоть и измытаренная дорогой, — немцу задаст. Ведь здорово — в каждом взводе десяток ППШ, штук пятнадцать самозарядных СВТ<sup>1</sup>, два ПТР, у каждого по две «лимонки» и одной РГД — это же сила!

Да и Рябиков — бывший его связной, когда он был взводным на формировании, и теперь шагающий рядом, — подтверждает его мысли:

— Должны мы дать немцу, товарищ командир. Ведь дальневосточники мы, кадровые...

Рябиков — смоленский, и семья его под немцем, и ничего он, конечно, о ней не знает — живы ли, нет? Для него каждый шаг — вперед — это шаг к дому, и видит Коншин, что воевать тот будет по-настоящему. Положиться на такого можно.

Рядовой Савкин этого «дадим немцу» не особенно разделяет, твердит всю дорогу: порядка на войне не было — и незаметно, чтобы его прибавилось. Трудно идет на войну Савкин. Еще в первую ночь, когда на западе неожиданно и зловеще полыхнуло небо и Коншин, чтобы сбить как-то оцепенение, охватившее людей от такой близости фронта, бросил небрежно: «Довольно красиво...», Савкин подошел к нему, взял за локоть и медленно, будто с трудом, произнес:

— Там страшно, командир... Понимаете — страшно, — уже совсем тихо добавил и отошел.

Что знает помкомвзвода Коншин о своем бойце Савкине? Учитель. Интеллигент, а потому и воспринимает все остро, слишком болезненно. Ну, у него двое детей. Что такое дети и что чувствует отец, их покинувший, идущий на войну, Алексею пока не понять, а может, и не придется понять никогда. Но все же он никогда грубо не обрывает жалобы Савкина, как он это делает с другими, хотя бы с тем же Филимоновым, который всю дорогу бурчит:

— Пожрать перед смертью и то не дают. Еле ноги тащим...

— Прекратите, Филимонов! — режет Коншин, зная, что разрешать говорить о трудностях — значит в какой-то мере соглашаться, признавать наличие этих трудностей, а этого нельзя: разговоры поползут дальше и дальше. Но Филимонова на голос не взять, и он продолжает:

---

<sup>1</sup> Самозарядная винтовка Токарева

— Что, в России хлеба уже нет? Довоевались, значит...

— Отставить разговоры! — гремит Коншин. — Война! Не понимаете, что ли, — война!

— Война... Ни при чем здесь война. Почему нас в Малоярославце на довольствие не поставили? Тоже война? Порядку нету — вот что. Красноармейцы у баб, после немцев разоренных, картошечку выпрашивали... Стыд! Все балакали: на фронте кормежка будет с наваром. Где он, навар-то? Полкотелка пшенки да кус хлеба...

— Молчать, Филимонов!

— Молчать? — на Филимонова накатывает. — Только теперь и поговорить по душам. Вот вы, командир, по молодости, наверное, думаете — ждут вас там подвиги геройские и всякое такое? Так думаете?

— Так, — отвечает Коншин, чтобы отвязаться.

— Беседовал я с ранеными... Горазд еще немец, ох как горазд! Что весной будет, неизвестно, может, опять на Москву попрет? Много ли верст до Москвы-то?

— Не попрет, — говорит Коншин с наигранной уверенностью, а сам думает, что, и верно, всего за двести километров от Москвы немец, а потом, чтоб заткнуть рот Филимонову, добавляет: — Я вас, Филимонов, могу к политуруку подвести. Вот с ним и покалякайте.

Филимонов замолкает, бросает на Коншина укоризненный взгляд и покачивает головой.

Но идут и другие разговоры, может, наивные, на коншинский взгляд. На одном из коротких привалов услышал он смех, подошел. Бойцы растянулись на снегу, покуривая, а один из рядовых его взвода стоял и что-то говорил ребятам. Коншин подошел ближе.

— Значит, не боишься фрица? — спросил стоящего бойца один из пожилых.

— Нет. Смерти, может, боюсь, а фрица нет. Видишь, ППШ у меня, семьдесят два патрончика. Цельный взвод фрицев могу ухлопать.

— Герой ты... — усмехаясь, продолжил пожилой. — Кабы все такие были, наверно, немца до Москвы не допустили.

— Ну, допустили... Напали-то они неожиданно, не развернулись мы по-настоящему, ну, самолетов пока не хватает, танков, так наделают самолетов... Вот в начале войны и автоматов — раз, два и обчелся, а теперь... Оглошались, конечно, маленько, но, ты же знаешь, нашего русского мужичка раскатать треба, спокон веков так —

пока гром не грянет, мужик не перекрестится... Но повернулась уже война. Всем ясно.

— Панихиду-то немцу рано заказывать,— проворчал кто-то, тоже из пожилых.

— А может, не рано. Я вот уверен, придем мы, кадры,— дадим прикурить,— стоявший боец сказал это серьезно.

— Ладно, недолго осталось, посмотрим на тебя в бою, «прикурило»,— усмехается пожилой и выплевывает сигарку.

— Посмотрите. Это вы самолетов немецких боитесь, в рукава сигарки прячете, будто увидит он с высоты.

— Да ты бомбежки настоящей еще не нюхал.

— Я в эшелоне трассирующими по брюху «мессеру» бил, пока вы в снегу барахтались.

— Что-то не видал...

— А я видел. Верно, стрелял,— вступил в разговор один из молодых бойцов.— Ванюха не сдрейфил. Что было, то было.

Ванюха расплылся в улыбке.

— Хочешь, Ванюха, судьбу твою скажу? — это все тот пожилой, усмехаясь.

— Говори.

— Либо ты первую пулю получишь, либо первый орден. Понял?

— Ты не пугай насчет пули, а в смысле ордена,— может, и получу. Воевать так воевать...

А колонна тем временем все растягивается и растягивается... Недохват еды, сна, тепла — все это сказывается на третьи сутки, и люди выбиваются из последних сил.

Комроты Кравцов подходит к Коншину:

— Своего лейтенанта устрой на подводу. Хромой он мне на передке не нужен. И вообще — подтяни людей.

— Есть лейтенанта на подводу! Есть подтянуть людей! — Коншин повторяет приказание подчеркнуто точно, и Кравцов смотрит на него одобрительно.— Последняя ночь, товарищ старший лейтенант?

— Да,— негромко подтверждает ротный.

— Значит, послезавтра — бой?

— Выходит так... Боязно? — Кравцов чуть улыбается.

— Как вам сказать? Наверно...

— Не наверно, а наверняка. Но ничего. Учти — на те-

бя надеюсь. Четин слаб на изломе. В случае чего — взвод сразу тебе передам. Понял?

— Понял! — расплывается Коншин в улыбке, и опять какие-то мальчишеские думки о том, что должен он совершить на войне что-то необыкновенное, пробегают в голове и забивают то тревожное, что не покидает всю дорогу.

Много передумалось Кравцову за эти три ночи, но о родителях вспомнилось почему-то только на третью, на последнюю. О том, что плохо теперь в деревне стало и что теперь, когда он комроты и получает полевые, надо бы часть аттестата послать старикам. До войны-то, из шестисот комвзводовских, не мог он помогать в деревню, сам, бывало, не прочь был пообедать в красноармейской столовой, что, конечно, не разрешалось, кроме тех дней, когда дежурил по части и снимал пробы. Отписать бы Дуське, чтоб послала хоть рубликов триста, но не пошлет же, больно охоча Дуська и до жизни, и до денег. И дает себе слово старший лейтенант Кравцов, что как поставят его на батальон — непременно старикам выделить половину аттестата.

Коншин подходит к Четину:

— Товарищ лейтенант, вам на подводу надо...

— Дойду, — кривится от боли Четин.

— Ротный приказал, — мягко, начиная жалеть взводного, произносит Коншин и берет его под руку.

Пропустив колонну, он усаживает лейтенанта в сани санротовские, а сам идет вдогон роте.

Красноармеец Филимонов тоже отстает, и Коншин бросает ему на ходу:

— Подтянитесь, Филимонов, — на что вместо уставного «есть» слышится надоевшее:

— Куда спешить? Все там будем.

Коншин останавливается и выразительно смотрит на него.

— Чего смотрите, командир? Мне не двадцать годов, как вам. Погонять-то вы все умеете, а вот спросить, что с человеком, нет вас.

— Что же с вами, Филимонов?

— Что, что? Устал я, мочи нет.

— Все устали, — говорит Коншин, а потом, видя, что и действительно лица нет на Филимонове, добавляет: — Ладно, дождитесь лейтенанта, он в санротовских санях, к нему присядете.

Филимонов садится прямо в снег дожидаться хвоста

колонны, а Коншин уходит вперед и догоняет тоже отстающего Савкина. Особо командовать Савкиным Коншину как-то неудобно, хотя, вытравивая в себе «интеллигентское слюнтяйство», бывал он с подчиненными и грубоват, и жестковат, чтобы доказать себе — избавился от сантиментов.

— Устали, Савкин? — сочувственно говорит он, когда они поравнялись.

— Устал, товарищ командир, — слабо улыбаясь, отвечает Савкин.

— Во второй раз идти т у д а труднее?

— Несравнимо, товарищ командир. Уже известно все. Знаете, что поражает на войне?

— Что?

— Мало думаем мы на войне.. Многое наобум было, на авось. Давай, давай. А на этом «давай» далеко не уедешь. — Помолчав немного, добавляет: — Нет умения еще. Нет.

— Отогнали же от Москвы. Так было, Савкин, а сейчас все по-другому. Наступаем же мы.

— Да, наступаем, — как-то вяло повторяет Савкин.

— И будем наступать! — решительно произносит Коншин.

Если Коншин в свои двадцать два не мог, конечно, распознать как следует людей своего взвода, хотя и казалось ему, что разобрался он в каждом, то для Савкина с его профессиональным учительским чутьем Коншин был как на ладони, и чуял он опасность и для себя, и для взвода в характере сержанта. Такой, чтоб доказать себе, что он не трус, может натворить глупостей, не пожалев себя, загубить и людей. А в общем-то был симпатичен ему этот мальчишка, который силой обстоятельств волен распоряжаться жизнью и смертью пятидесяти двух человек и его, Савкина, жизнью тоже.

Савкин подвигов совершать не собирался. Наоборот, он будет стараться всеми дозволенными способами сохранить жизнь. Она нужна не только ему. Но как это трудно — понимает. Знает он почти точно: будет наступление, у него шестьдесят шансов из ста на ранение, тридцать на смерть и только десять на жизнь. На жизнь... до следующего наступления. А там по теории вероятности шансы будут катастрофически уменьшаться. Он предпочитает ранение. Любое. Даже самое тяжелое. Но твердо знает, что ни на какую подлость ради сохранения жизни — не пойдет. В прошлых боях выяснилось, что че-

ловек он не трусливый, что в самые страшные минуты способен мыслить, а первое ранение показало — может сносить физическую боль, а главное — знает он то, чего не знают да и не могут знать те другие, кто идет туда впервые, — труса праздновать он не будет.

Коншин пока этого не знает. Первая бомбежка в Лихославле, такая неожиданная, всех повергла в панику. Они неслись от эшелона, теряя шапки, роняя автоматы, падая в лужи — была ростепель, — и это было так унижительно, что возвращались к поезду, стыдясь глядеть друг другу в глаза, с багровыми, смущенными лицами. Коншин был потрясен и поклялся себе, что в следующий налет не растеряется — ведь рядом с ними вагон санроты с сестричками. Но вторая бомбежка была так же негаданна. Разрыв бомбы у паровоза, а потом с диким ревом два «мессера», как какие-то доисторические желтобрюхие пресмыкающиеся, носились вдоль эшелона, расстреливая его крупнокалиберными. Хорошо, что случилось это не на поле, а около леса, в который они и бросились... Скорее, скорее! Подальше от вагонов! Бежали, проваливаясь в снег, ползли, катились... Казалось, бесконечно долго облетывали «мессеры» эшелон, бесконечно долго стучала дробь пулеметов... И тут Коншин тоже остался недоволен собой, хотя и пытался вести огонь из автомата по самолетам. Нет, видно, к этому надо попривыкнуть...

Догоняя взвод, равняется он с Чураковым. Тот идет широким размеренным шагом, и кажется, может пройти так же легко еще столько же. Коншин, хлопнув его по плечу, некоторое время идет рядом.

— Иван, ты, пожалуй, спокойнее всех? — начинает Коншин.

— А чего травить себя зря? Что будет, то будет...

— Ты не был в сарае.

— Ну, если б и был? Вы что с Ильей думали — хоромы для раненых по всему фронту построены?

— Этого не думали, но вот так, как лежали эти люди...

— Так чего же рассиропились? Война. Разве не понятно?

У Чуракова железная нервная система. Он знает, что очень силен — и с любым немцем, если дойдет до рукопашной, справится запросто, знает, что умеет прекрасно стрелять, окапываться, штыком владеет не хуже Кравцова, обладает боксерской реакцией и совершенно спра-

ведливо полагает, что изо всех них остаться живым шансов у него больше. Ну, а если что... От судьбы не уйдешь. А воевать надо! Жестоко воевать!

— Пахомыч сдает... Все о Волге ноет. Она мне тоже родная, Волга-то... В общем, Алеха, живы будем — не помрем.

А навстречу все чаще и чаще попадают подводы с ранеными. Закутаны они одеялами почти с головой, и лишь иногда увидишь небритое, со впавшими щеками, обострившееся лицо с закрытыми глазами, и невольно у всех сжимаются сердца и начинает сосать под ложечкой...

Желтится на востоке небо, блекнет на западе зарево передовой, но все громче и громче ее рык. Она уже близехонька и ждет их — жадно, нетерпеливо.

Этот рык жутью забирается в самую глубину души рядового Дикова, того самого, которого никак не раскусит помкомвзвода Коншин. Страх томил его еще на Урале, где формировались. Потому часто его глаза вспыхивали ненавистью ко всем, кто им командовал — от отделенного до командира роты. В каждом командире видел — вот этот поведет меня на убой. Сам он одно время работал на бойне и теперь чувствует себя заарканенным бычком. Вот почему он так озирается всю дорогу, и его не привыкший мыслить мозг лихорадочно выискивает хоть какой выход, но пока не находит. Любили бабы Дикова, хотя и был некрасив, любили за мужское, и сейчас, вспоминая их, думает он: сколько еще могло быть у него женщин, если б не эта проклятая война, если б не то страшное и непонятное, что ожидает его и против чего яростно протестует сильное, молодое тело.

Так и идет он, внутренне упираясь, но влекомый общим движением колонны, безнадежно понимая — каждый шаг приближает его к тому, чего он не хочет и чего боится.

Зато, если судить по виду, легко идет на войну командир первого взвода Андрей Шергин. Нет у него кубарей в петлицах, но шинель и шапка командирские. Затерялись в госпитале документы о присвоении звания, но прислали его из командирского резерва, потому и поставили на взвод.

Коншин часто поглядывает на высокую, стройную фигуру Шергина, туго перетянутую ремнями, его интересует Андрей. Слышал он, что после ранения, попав в нестроевую часть, выпросился Шергин в пехоту. Немного-



словный, он кое-что все-таки рассказывал про войну и — совсем не похожее на рассказы Савкина. Не был он напуганным, как другие «бывалые».

— Андрей, — спросил как-то Коншин, — почему ты в пехоту пошел? Воевал же ты и знаешь, почем фунт лиха.

— Я строевой командир. Нечего мне в стройбате делать.

— Но там страшно, — протянул руку Коншин в сторону горящего неба.

— Ну и что? — спокойно ответил Шергин.

— Рисуешься?

— Нет, — Шергин закурил. — Просто я должен вернуться другим, не таким, каким ушел.

— Не понимаю.

— Или не вернуться совсем, — продолжил Шергин.

— Тоже не понимаю. И ты примирился с этим? С «совсем»?

— Ты можешь представить, что тебя убьют?

— Реально — нет.

— Я тоже стараюсь об этом не думать.

Разговор не удовлетворил Коншина. Только один раз — еще на Урале — видел он, как покинуло Шергина спокойствие. Получали письма, и когда выкрикнули его фамилию, он бросился побледневший, схватил письмо и, отойдя в сторонку, долго читал его, словно впитывая каждое слово. Потом не раз видел Коншин, как, забившись в угол, чтоб никто не мешал, перечитывал Шергин письмо, и губы его кривила какая-то сдерживаемая, но все же заметная боль.

— От девушки? — спросил Коншин.

— От девушки, — спокойно, но нехотя бросил Шергин так, что продолжать расспросы Коншин не стал.

И никто, кроме военной цензуры, не знал, что письмо это не от девушки.. А что думал и чувствовал Шергин, читая и перечитывая письмо, не знал никто.

Только видит Коншин, да не один он, что идет Шергин на фронт спокойный, подтянутый, решительный и очень сосредоточенный. Не так, как прочие — с сумятицей и томлением. Видит, но не знает тому причины и потому заговаривает с Шергиным часто, не смущаясь, что отвечает тот скупой и вроде безохотно.

— Андрей, мой Савкин говорит, что на фронте порядка мало. Так ли?

— У нас был толковый командир полка. Мы ни разу не попадали в окружение и отходили в полном порядке.

- А ты сам совершил что-нибудь такое?
- Что именно? О чем ты?
- Ну, проявил себя?
- Меня утвердили в должности комвзвода и послали аттестацию.
- Значит, что-то сделал?
- Наверное.
- А за что дают награды? Что надо совершить, чтоб получить... ну, хотя бы «За отвагу»?
- Мальчишеские вопросы, Коншин.
- Ну, ты за что получил?
- Просто воевал. Но «За отвагу» — это мало.
- Хочешь большего?
- Хочу.
- Честолюбие?
- Нет. Мне нужно.
- Всем бы не мешало, — усмехается Коншин.
- Другим это не так важно.
- Вот как? Почему это — для тебя важно, для других...

— Прости, я пойду к взводу, — перебивает Шергин и уже на ходу бросает: — Когда-нибудь объясню.

Под стать своему командиру взвода его связной Сашка — тоже ладный, подтянутый. Все ему впору: и шинель, и шапка, даже обмотки не уродуют его. Чуть он ниже Шергина, но крепко затянутый брезентовый пояс стройнит его. И шагает он тоже легко, привычным пружинистым шагом. Служил кадровую в пехоте — переходил за эти годы не одну сотню верст, не одни сапоги истоптал, обвыкся в ночных походах. Нередко улыбка блуждает на его лице — было у него перед маршем необыкновенное: поцеловала его Зина из санроты, с которой бегал вместе при бомбежках и прикрыл которую своим телом, когда взрыбили пули снег вокруг них и близились к ним... До сих пор ощущает он прикосновение холодных Зининых щек, до сих пор в памяти ее слова: «Ждать тебя буду, родненький...»

Раза три за ночь обмахивает батальон на своей белой, как и его полушубок, лошади двадцативосьмилетний комбат — капитан Шувалов. Не пришлось ему побывать ни в Испании, ни на Халхин-Голе, где кое-кому из его друзей удалось заслужить ордена и славу. У него же на гимнастерке скромно поблескивает только значок «Отличник РККА» — маловато. Но впереди вся война, лишь бы не сплеховать. На последних учениях на Урале

все прошло прекрасно — лихо поднимали командиры рот в атаку бойцов, с дружными криками «Ура, за Сталина!» с ходу была взята сопка, занятая «противником». Красиво прошли учения, и заслужил он благодарность комбрига.

Что там, он еще не знает, но молод, самонадеян и верит в успех. Сам напросился, чтоб его батальон первым пошел в наступление, и хочется ему во что бы то ни стало выиграть свой первый бой — лиха беда начало... Часто подъезжает он к штабным саням, где едет Катенька — сестренка из санроты, любовь с которой началась еще на формировании. Поначалу не хотел брать ее в батальон, но она сама — «хочу с тобой быть и никаких...» Конечно, на самый передок ее не возьмет, пусть в сан взводе будет. И хотя девушек там не было — разрешил комбриг, после того, как сказал Шувалов, что как из боев выйдут, так и распишется он с Катенькой... Либо перед возможной смертью все таким настоящим кажется, либо, и верно, полюбил, потому как нет для него сейчас человека дороже... А когда представлял, что может кто полезть к Катеньке, если бы осталась она в санроте, то рука сама тянулась к кобуре, а в голову ударяла кровь...

Комиссар батальона — или как теперь — замполит тоже объезжает колонну на жирной гнедой кобыле, тоже в белом, перетянутом ремнями полушубке. Иногда останавливается, слезает с лошади и идет пешком, беседуя с бойцами. Он тоже ладен, высок. Голоса никогда ни на кого не поднимает, не чета комбату — тот покричать любит.

Командиры, в общем, ничего. «Каковы будут на изломе?» — думает комроты Кравцов, повывавший на своем армейском веку всяких начальников.

Любая война начинается с дороги. Сперва с железной, по которой катят в теплушках по восьми человек на каждых нарах, с печкой в середине, раскаливаемой докрасна и брызжущей огненными искрами, которые мечутся по всему эшелону, демаскируя его ночью. С короткими остановками, с негустой кормежкой, выдаваемой почему-то всегда ночью, когда она совсем не в радость, когда с еще не продранными глазами достаешь ложку и хлебаешь без вкуса полутеплую жидню.

С дороги, на которой навстречу тянутся эшелоны с ранеными, с дороги, на которой их провожают печальными, а порой и заплаканными глазами женщины-солдат-

ки, безнадежно помахиывают руками, а некоторые и осе-няют крестом; с дороги, на которой валяются искоре-женные вагоны, скрученные взрывом рельсы, и предста-вить страшно, что же делается с людьми, с их живыми телами при такой вот силище разрыва; с дороги, на ко-торой с тоской и ненавистью смотришь на ясное небо, по-тому как оно для тебя зло, потому как при таком-то без-облачном небе и жди самолетов. Но кончается эта же-лезная дорога, и уже жалеешь о ней, потому что было тебе тепло, потому что не топал ты ногами, лежал леж-мя на нарах, покуривая, и война была от тебя еще ох как далеко.

И начинается дорога другая, где на плечах все твое нехитрое хозяйство, все твое довольно весомое оружие, дорога, по которой переть тебе пехом, спотыкаясь и скользя на обледенелом просторе, дорога, на которой и покурить-то как следует невозможно, а только таясь, в рукав, а потому и без вкуса... Дорога, где ни одного при-ветного огонька, ни одной живой деревеньки, ни одного какого жителя не встречается. Только торчат закопчен-ные трубы да черные деревья с костлявыми, обожжен-ными ветвями на тех местах по большаку, где были де-ревни... Дорога, на которой угрозно бухает где-то впе-реди фронт, раскатывается глухой гул недалеких боев и зловеще краснеет небо у горизонта.

Но и этой дороге, как и всякой дороге на земле, при-ходит конец. Третью ночь тяжело бредет батальон. Под-ламываются уже ноги, в головах туман от неспанных но-чей, в теле тошнотная слабость от недочвата еды, но лю-ди идут и идут, подстегиваемые жесткими командами ох-рипших командиров:

— Командиры взводов! Подтянуть людей! — а те в свою очередь:

— Командиры отделений! Подтянуть людей! — ну, а отделенные уже бойцам:

— Не отставать, мать вашу...

— Подтянуться!

— Эй, кто там остановился! Не отставать! Вперед!

— Кто вздумал оправляться? Отставить! Донести до привала.

А у людей уже красные круги в глазах, бредут, на-тыкаясь друг на друга, и одно только желание невероят-ное — броситься на снег и лежать, лежать... Лежать го-раздо дольше очередного походного привала, лежать ночь... день... еще ночь.



Но ждет их ненасытный, гремящий, поыхивающий зарницами фронт, и они идут, идут, идут... И вьется Селижаровский тракт на Ржев вдоль Волги, за которой и грохочет война. Вот почему уже в первую ночь неожиданно вспыхнула справа передовая, вот почему хрипит она всю дорогу, напоминая о себе все время.

Лесок, в который заходит батальон на рассвете,— заселен. Голубовато вьются дымки из землянок, ржут гле-



то поблизости лошади, пахнет кухней.. Эх, забраться бы в какую из землянок, хоть минутно побыть в тепле, перемотать портянки, искурить сигарку... Но нет команды на отдых, и проходят они мимо, дошагивать последние километры.

Наконец привал... Команда — костров не разжигать! Поначалу это не трогает — черт с ними, с кострами! Главное, завалиться в снег и лежать. Так люди и делают —

вся обочина устлана телами. Но вот когда разгоряченное ходьбой тело начинает застывать, когда холод начинает забираться под одежду и колюче покалывать спину — тут понимают они жестокость команды. И как ни трудно подняться — приходится. Стоят люди, подшагивают на месте, бьют друг друга по спинам, хлопают рукавицами, и одна надежда на кухню: может, потеплее малость станет, как похлебают они горячего.

Все уже знают — последний это отдых в тылу. Завтра примет их неведомая, таинственная передовая и... грянет бой. Первый бой! Знают, но безразличествуют — слишком намучены, не до мыслей каких, не до загадок на будущее... Спать, спать, спать...

Опять однополчане по кадровой — Лапшин, Коншин, Чураков и Пахомов — вместе. Опять запах «Золотого руна» из трубки Ильи навевает воспоминания о Москве, о доме, опять они жмутся друг к другу.

— А-а-а-д-р-е-с мой не забыл? — спрашивает Лапшин у Коншина.

— Конечно, нет.

— З-з-н-наешь, в случае чего... надо писать им сразу. Для них неизвестность хуже всего. — Это о матерях. О матерях, которые теперь в постоянном непокое будут ждать самого главного — коротких строчек с одним лишь известием: я пока жив.

Они обменялись адресами, и это, казалось бы, обычное дело сейчас приобретает совсем другой, чем в мирное время, смысл — ведь кому-то из них придется писать о смерти другого. Только кому и о ком — неведомо пока никому!..

— Ребятки, — начинает, заикаясь, Илья, — вот какое дело... В штаб меня берут. Честное слово — не просил никого.

— Ну и здорово, — говорит Чураков. — Кем?

— Наверное, переводчиком.

— Поздравляю, Илья, — как-то вяло произносит Коншин.

— Чего поздравлять? Я же не хотел... Я не знаю, откуда они узнали о немецкой школе...

— Ладно, ладно. Ты чего, словно извиняешься. Взяли — и хорошо. Война долгая, успеешь еще навоеваться, — ободряет Чураков.

— Радуйся, Илья, — хлопает его по плечу Коншин.

Но что-то встало между ними. Нет, не завидуют они Лапшину, даже рады за него, но — разделались их судь-

бы, и какой-то холодок отчуждения произвольно прошелся, и Илья почувствовал это острее других.

Раздается сигнал к сбору.

— Вот гадство, отдохнуть не дают,— бросает в сердцах Пахомов.— И костров не жги. Так продροжим весь день не спавши, а завтра...

И обжигает это всех — завтра! Завтра! В котором — бой! Это реально! Это неотвратимо! Это будет!

Словно ледяной ком прокатывается внутри, но вскоре тает, отходит, оттесненный тяжелой, непроходимой усталостью, при которой все трын-трава.

Медленно подходят они к месту сбора, на небольшую поляну, окруженную молодыми сосенками, и тишина зимнего леса заставляет их на миг забыть о войне, о том, что сейчас получают они последнее напутствие перед боем... На поляне только командиры, вплоть до отделенных. Стоят полукругом, без строя. В середине ослепительно выбритый комбат, уверенным, хорошо поставленным голосом говорит о том, что завтра они будут в бою и во что бы то ни стало должны освободить занятые фашистами деревни, что опыт войны показывает — неудачи некоторых наступлений объясняются тем, что бойцы ведут недостаточно сильный огонь в ходе боя и тем дают врагу возможность прицельно стрелять...

— В наступлении — стрелять и стрелять! — повторяет несколько раз комбат.— Разъяснить это бойцам и требовать от них!

Потом говорит он о месте командира в бою. Не впереди, как их учили все время! Место командира там, откуда удобнее управлять. У нас слишком большие потери командного состава. «Вперед, за мной!» — надо отставить.

Вот так новость! На всех тактических занятиях первыми поднимались командиры — «В атаку, за мной!» — и бежали красноармейцы, равняясь на них, упаси бог — отстать.

Вопрос задал Кравцов:

— Товарищ капитан, немного не разумею. Что ж, я должен гнать перед собой роту, а сам сзади?

— Повторяю,— откашливается комбат,— место командира там, откуда удобнее управлять боем. Конечно, в некоторых ситуациях командир может и должен быть впереди. Но только тогда, когда это необходимо. Разве не ясно?



Несколько голосов глухо подтверждают: «Ясно, все понятно...»

После капитана выступает замполит. Говорит просто о том, что наши части никак пока не могут освободить многострадальный город Ржев, и что от успеха завтрашнего боя многое зависит, и что надеется он — весь личный состав батальона с честью выполнит свой долг и не окажется среди них трусов и сробевших... Потом добавляет: через час парторг батальона будет принимать заявления в партию, после чего состоится партийное собрание.

Было все это как-то очень буднично и обычно, словно у них не бой завтра, а очередное учение, и, наверное, не только Коншину хотелось чего-то другого, торжественного, приподнятого, соответствующего тому высокому чувству неповторимости и значительности этого мига, которым наполнены их сердца, потому как завтра пойдут они отдавать самое дорогое, что имеют, — свои жизни, отдавать за Родину, за Россию...

И захотелось Алексею музыки, вспомнились общеполковые вечерние поверки, где гремела медь оркестра, где торжественные марши сплавивали две тысячи людей в единое целое, в могучую силу, готовую в едином порыве совершить самое невозможное...

Неожиданно к Коншину подходит комиссар:

— Надеюсь, земляк, что увижу ваше заявление.

— Не знаю, товарищ батальонный комиссар, я как-то еще не думал, — теряется Коншин. — Еще ничего не совершил...

— Мы все еще ничего не совершили, сержант.

С комиссаром у Коншина был разговор еще в Москве, когда стоял их эшелон почти у самого Киевского вокзала, и в тоске метался он между вагонами, глядя на московские дома, такие близкие и такие недоступные. Наконец не выдержал и подошел к комиссару, тоже маячившему вдоль вагонов, с просьбой съездить на час домой.

— Вы где живете? — спросил тогда комиссар.

— На Сретенке.

— На Сретенке? — переспросил тот и, взяв Коншина под локоть, сказал: — Пройдемтесь.

Они пошли в хвост поезда, миновали его, прошли еще немного, и тут комиссар остановился.

— Вот видите тот большой дом? — показал он на ка-

кое-то здание с заклеенными бумажными крестами окнами.

— Вижу.

— Так это... мой дом... — комиссар затянулся папироской. — И я не зашел в него. Поняли?

— Понял.

— А вы — Сретенка, — улыбнулся комиссар, потом посерьезнел: — Вот так-то, сержант. Мы вернемся к своим домам. Вернемся. В это надо верить.

С тех пор, когда они встречались, комиссар неизменно спрашивал:

— Ну, как дела, москвич?

Предложение вступить в партию застало в какой-то степени врасплох.

— Товарищ комиссар, честное слово, не знаю, как поведу себя там. Вдруг струшу?

— Не струсите, москвич. В этом я уверен.

— После первого боя, товарищ комиссар? После первого боя... Хорошо?

— Ну, как хотите. Только знайте — я верю в вас.

— Спасибо. — Комиссар отходит от Коншина, подымливая папироской, а у Коншина от его доверия приятно щекочет в груди и как-то не таким уж страшным кажется это з а в т р а.

Раз уж запрещено жечь костры, то незачем сооружать и шалашики, да и сил уже не осталось — измаяла людей дорога. Рубят лапник, бросают на снег, устраивают лежки под сосенками и заваливаются в ожидании кормежки.

Опять ребята вместе, только Лапшина нет. Жмутся друг к дружке, дымят махоркой молча — не говорится что-то, не идут слова, будто приморозились, а ведь завтра... Что даст им силы завтра? Любовь к родине? Да, конечно! Но любовь еще не полностью осознанная, еще не выстраданная... Ненависть к врагу? Разумеется! Но ненависть-то пока книжная, еще по сердцам не прошедшая...

Достаточно ли сильно будет держать их мальчишеское презрение к трусости? Выдюжат ли ребята то, что именуется первым боем. Все — завтра! Все покажет — завтра!

— Коншин, можно тебя на минутку? — подходит к ним Шергин.

— Что, Андрей? — с трудом поднимается Коншин.

— Поговорить надо.

Они отходят чуть в сторону, закуривают, и Коншин

терпеливо ждет, что скажет ему Шергин, но тот не торопится. Он внимательно глядит на Коншина, словно раздумывая.

— Завтра — бой, Коншин. И может случиться всякое. Понимаешь?

— Ты же вроде помирать не собирался,— пробует улыбнуться Коншин.

— У меня здесь никого нет, а с тобой мы немного подружились...

— Да.

— Вот два письма... Если что — пошлешь...

— Хорошо, Андрей... Если сам...

— У меня больше шансов...

— Почему?

— Так...— Шергин затягивается сигаркой.— Ты подал заявление в партию?

— Нет.

— Почему?

— Сам не знаю... Видно, не до конца уверен в себе. Договорился с комиссаром — после первого боя. А ты подал?

— Да... Но меня могут не принять.

— Отчего же?

— Так...

— Излишней откровенностью ты не страдаешь.

— Пожалуй... Я скажу тебе... чуть позже...

— Как хочешь.

Шергин поворачивается и уходит к своему взводу — прямой, подтянутый, спокойный, а Коншин, глядя ему вслед, думает, что не мешало бы ему позаимствовать у Шергина и выдержки и хладнокровия.

Тут встречается он глазами с рядовым Савкиным.

— Можно с вами поговорить, товарищ сержант? — спрашивает тот тихо, не по-уставному, и легко трогает его за рукав.

— Говорите.

— Не обижайтесь только, если вам покажется, что я скажу нечто нравоучительное. Но я старше вас почти вдвое и в бою завтра буду не в первый раз. И, я думаю, это дает мне право сказать вам кое-что...

— Я слушаю вас, Савкин.

— Никогда не забывайте, что вот эти пятьдесят два бойца вашего взвода — люди, у которых — матери, жены, невесты, дети...

— Я понимаю это.

— Это мало понять... Надо душой прочувствовать, что ли...

— Что дальше, Савкин?

— Постарайтесь думать в бою. Все время думать. Это очень трудно. Завтра вы в этом убедитесь, но старайтесь... думать и... сберечь людей...

— Савкин, я буду выполнять приказ...

— Приказы бывают разные...

— Приказы не обсуждаются, Савкин,— перебивает Коншин.

— Да, конечно, я это знаю, но все-таки... Вы знаете, почему я говорю вам все это? Вы никогда не простите себе, если останетесь живым, до конца дней не простите, если по вашей неосмотрительности, растерянности или, скажем просто, недомыслию зазря погибнут люди. Война не все спишет. А вы — мальчик совестливый, это видно... Не сердитесь за мальчика, моему сыну семнадцать, на тот год ему идти на фронт...

Коншин возвращается к своим, обдумывая слова Савкина. Не по адресу обратился тот. Что может сделать помкомвзвода Коншин? Эти слова бы комбату, а что он, сержант? Он будет выполнять приказы. Это закон армии!

Чураков и Пахомов лежат, обнявшись, чтоб теплее. Подбросив лапнику, Коншин ложится рядом и прижимается к холодной и влажной шинели Чуракова. Поднимает воротник, подтягивает ватник к лицу, чтоб дышать внутрь и не упускать тепла.

Пахомов открывает глаза.

— Помнишь, Алеха, на учении один из «бывалых» сказал: «Все будет не так. Он как да-аст...»?

— Помню.

— Вот я и думаю... Наверно, действительно будет все не так. Совсем непохоже, совсем другое...— в глазах Пахомыча тоска.

— Чего гадаешь? — просыпается Чураков.— Конечно, будет не так. Придем — увидим.

— Ну и бугай ты, Иван. У тебя что, нервов нет?

— Почему нет? Просто раньше времени нечего слякоть разводить. Давайте спать.

Но не спится... А вскоре команда на обед разводит их по своим взводам. Гремит котелками батальон, тянутся все к кухням, от которых пар валом и запах пшенки.

По пути на кухню Коншин видит своего взводного.

Сидит тот прямо на снегу, прислонившись к стволу. Рот приоткрыт и как-то обиженно по-детски опущен вниз. Алексей останавливается около него, и что-то жалостное входит в сердце, как свое ощущает он и одиночество, и неприкаянность лейтенанта, а тот вдруг всхлипывает во сне, и слеза медленно ползет по щеке.

— Лейтенант! — тянет его Коншин за рукав шинели. — Проснитесь. Обед. — Четин открывает глаза, вначале непонимающе глядит на сержанта, потом слабо улыбается. — Давайте котелок, лейтенант, принесу обед.

— Да я сам.

— Сидите, сидите. Я схожу. Вместе и поедим. Хорошо?

— Хорошо, — вроде удивляется Четин. Не балован он вниманием своего помкомвзвода.

Пшенка хоть и жидковата, но горяча, и они молча хлебают ее, закусывая сыроватым полузамерзшим хлебом.

— Я немного виноват перед вами, лейтенант, — начинает Коншин, но тот машет рукой.

— Ладно, сержант, — вытаскивает легкий табак и предлагает Алексею. — Ты лучше скажи, — вдруг переходит он на «ты», — что делать, если и в бою этот Диков откажется выполнять приказ?

— По уставу, лейтенант, командир может и должен даже силой заставить исполнить приказ. Вплоть до применения оружия.

— Это я знаю, — лейтенант закашливается. Курить он начал только на марше. — Но если и под угрозой оружия... не выполнит, что тогда? Ты сможешь застрелить человека?

— Не знаю...

— А я знаю — не смогу. И что делать?

— Ничего, лейтенант, не беспокойтесь. Я заставлю этого типа делать что положено.

Цигарка у Четина разворачивается, табак просыпается.

— Как настроение у взвода?

— «Бывалые» скисли, а кто впервые — те ничего, — отвечает Коншин.

Они долго молчат, потом Четин морщит лоб и, словно отрезая себе пути назад и скрывая волнение, говорит:

— Ты слышал, что говорил комбат? Но я... я пойду впереди взвода... Ты понял?

— Зачем это?

— Так надо. А ты будешь подтягивать людей сзади. Договорились?

Четин опять неумело начинает свертывать самокрутку, руки у него немного дрожат... Коншин зажигает спичку. Лейтенант затягивается и опять раскашливается. Видит Коншин — нелегко далось Четину такое решение. И сказал-то о нем лишь потому, что боится — вдруг не сможет этого сделать.

— Я прикажу сейчас устроить вам шалашик, — Коншин встает.

— Не стоит...

— Ну, хоть лапнику нарубят... Простудитесь так.

— Ерунда... — чуть улыбается лейтенант.

Идя к взводу, Коншин наталкивается на Илью — взволнованного, даже вроде ошарашенного.

— Т-ы зна-ешь, ка-кое д-д-де-ло? Меня взяли в р-р-р-азведку... Понимаешь, в р-разведку!

— В бригадную?

— Нет, в батальонную.

— Ты ж говорил — переводчиком?

— Буду и переводчиком. «Языков» допрашивать. Это з-з-здорово, Алеша. Интересно, чем сейчас немцы дышат? Это же потрясающий материал.

— «Языка»-то надо сперва добыть, — отрезвляет Илью Коншин.

— Ко-не-чно...

— Ты доволен, что ли?

— Я ж с вами буду, в одном батальоне. Знаешь, как мне неудобно было, что вы там, а я в штабе.

— Ты ж ни черта не умеешь, Илья. Ни стрелять, ни окапываться, ни ползать даже как следует. Какой ты разведчик?

— Нау-чусь, Леша, нау-чусь, — он набивает трубку.

А Коншин вспоминает, как подбиралась бригадная разведка, и улыбается.

— Ты чего? — спрашивает Илья.

— Помнишь, как бригадную разведку набирали? Какие ребята требовались?

— Помню... Я, конечно, в этом смысле, может, и не гожусь, но у меня есть другое... И язык я знаю...

— Что же другое?

— Интеллект.

— Думаешь, пригодится?

— Надеюсь. — После небольшой паузы Лапшин тихо спрашивает: — Леша, что ты чувствуешь?

— А ни черта не чувствую! Хочу жрать, спать и хочу тепла.

— Только-то? Не верю.

— Знаешь, по-моему, все эти описания ночи перед боем, когда герой перебирает свою прошлую жизнь, вспоминает родных, любимую,— мура! Не так это! Ни о чем сейчас не думаю. Выспаться бы...— Коншин широко зевает, может, несколько подчеркнуто.

— Ты-ты-т-ты неискренен, Алексей. Ну, ладно... Желаю...

— Не надо прощаться, — перебивает Коншин.— И вообще, без сантиментов, Илья. Живы будем — не помрем, как говорит Чураков.

Коншин обходит свой взвод... Лежат по двое, по трое, прижавшись друг к другу, небритые, намученные,— дремлют... Всего месяц знает их Коншин, но не чужие они ему. Особенно спаял их этот трехсуточный марш на войну, связал воедино тем, что завтра, и тем, что будет послезавтра, всеми теми днями, которые — кому сколько — доведется пробыть на передовой.

Задолго до темноты батальон уже на ногах... Стоят, приплясывают, хлопают друг друга по заиндевевшим спинам — греются, ожидая команды на построение. Скорей бы трогаться, согреться на ходу, а то совсем заочечнели. Был этот последний отдых не в отдых. Без шалашей, без костров разве можно было поспать по-человечески? Только задремлешь малость, как просыпаешься от холода, встаешь, пляшешь на месте, оттираешь замерзшие руки, потом опять валишься в снег на полчаса — и опять забирает холод, опять поднимаешься — так весь день. Уж скорей бы к месту прибыть, там хоть ночью, может, поспать удастся?

Тут-то и раздается странная, непонятная для людей команда — отдать старшинам свои вещевые мешки, в которых все нехитрое солдатское хозяйство — смена белья, полотенце, портянки запасные, мыло, бритва, бумага для писем, обрывки газет на закурку, ножичек, у кого и пара сухариков сэкономленных. Небогатое имущество, но все нужное, для жизни необходимое, а главное, невесомое совсем. Чего начальство удумало? Чтоб немцев сподручней было гнать? Да не мешки оттягивают спины и шеи. Тянут пояс автоматные диски, гранаты, противогаз, запас патронов, каски тоже давят голову, а больше всего очечнели лыжи с палками, которые без дела тащат они всю дорогу.

С нехотью расстаются бойцы со своими вещмешками, не видя смысла, необходимости в этом. Что, мертвые они уже, которым не надо ничего? Кто подогадистей, рассовывают содержимое мешков по карманам, а кто еще поумнее — выбрасывают противогаз и в сумку от него упрятывают все. Остальные — по недомыслию — сдают мешки со всем имуществом.

И не легче стало идти, а труднее, потому как после отдыха свертывают они с большака и сквозь лес по снежной целине топают. Некоторые на лыжи пробуют стать, но крепления на них — хуже быть не может, соскакивают лыжи на каждом шагу, одно мученье, и приходится это дело отставить. Начальство дорогу эту, видать, некрепко знает — останавливается батальон часто и стоит долго, пока они там по карте сверяют... Два раза поворачивают их обратно, все же к середине ночи выходят к большому селу.

Здесь-то и видят они фронтовое небо во всей его красе и жути. Красными пунктирами секут его трассирующие, голубовато вспыхивает горизонт, а где-то слева багрово догорает пожар... Вдалеке раскатами грома бахают «катюши», и долго рокот катится по окрестностям, пока не замирает...

Жадно смотрят ребята на эту иллюминацию — интересно все очень. И думают — поверни их сейчас обратно, назад, в тыл, почувствуют они разочарование... Как же пройти мимо, не испытать, не узнать, что такое война? Да никак это невозможно!

Недолго постояли они в селе, двигают дальше... Вроде и усталость прошла, будто магнитом тянет к себе недалекая передовая. Командирам глотки рвать уже не надо — идут люди и так, не растягиваются, не отстают...

И вот видит Пахомов свою Волгу... Но она ли это? Узенькая, с пробитым минами и снарядами льдом, какая-то жалкая... Но все же чувствует — душат слезы. Нагибается у проруби, берет ладонями обжигающую холодом воду и... пьет. Хочется еще постоять, поглядеть на родимую, но напирает сзади взвод, и шепотливая команда — «Вперед, вперед!» — гонит дальше.

Рядовой Диков опасно смотрит на реку — то тут, то там чернеют проруби, выбитые не ломом и лопатой, — значит, долетают сюда немецкие снаряды. Вот и дошел он до фронта, ничего придумать не смог. Зловеще темнеет противоположный крутой берег с огромными сос-



нами, а в просветах между ними мечутся вспышки ракет — холодом заходится сердце. Осторожно переходит он реку, обходя полыньи, и вдруг одной ногой проваливается в трещину во льду. Останавливается. Сверкает радостно — вот и выход! Нагибается, будто ботинок зашнуровать, пропускает взвод и, увидев, что сзади никого, — резко, не вынимая ногу из трещины, валится на лед, взвизгивая от боли. Больно! Это хорошо! Значит, перелом! И чувство дикого облегчения заглушает боль, но он стонет, громко стонет, пока не подбегает к нему Коншин:

— Что за фокусы, Диков? Чего лежите?

— Наверное, ногу сломал, командир, — охая и подскуливая, отвечает Диков.

— Санинструктор! — кричит Коншин. — Подите сюда!

Санинструктор ощупывает ногу Дикова, мнет ее, не обращая внимания на его охи, а потом, попросив Коншина придержать малость Дикова, дергает его за ногу, направляя вывих.

— Вот и все, Диков. Можешь топать дальше.

— Не могу я! Не могу! Вы что, не понимаете? Сломал я ногу-то! Сломал!

— Ерунда, никакого перелома. Вставайте!

Диков смотрит ненавидящими глазами и на санинструктора, и на Коншина, но медленно поднимается. Не вышел номер! И, прихрамывая больше для вида, ковыляет за взводом, безнадежно понимая, что больше ему ничего не придумать.

— Вы эти штучки бросьте, Диков, — с угрозой говорит Коншин.

И тот видит — раскусил его помкомвзвода, будет за ним теперь особый присмотр.

Не без труда одолев крутой берег и пройдя немного по лесу, выходят они к снежному полю без конца и края. Только светится неясно даль каким-то туманом голубоватым, но не определишь — далеко это или не очень, так как посыпала с неба снежная крупа, мелкая, но видимость убавившая. Может, совсем близко передовая? На всякий случай из-за деревьев пока не выходят, команды дальше идти нету, стоят, жмутся... Холодно, многие, реку переходя, в полыньи попали, полные ботинки воды начерпали. Переобуться бы, хоть портянки отжать, но не решаются — ждут команды вперед ежеминутно. Так около часа и стоят... Потом собирает комроты Кравцов взводных и говорит, что дальнейшее движение будет

повзводно, что он идет с первым взводом и, дойдя до места, придет связного.

Настороженно трогается первый взвод с Шергиным во главе и скоро скрывается в серой темени, а остальным стоять, дрогнуть на мартовском пронизывающем ветру, и ни костра разжечь, ни курнуть, конечно... Стоят, мерзнут, поглядывают вперед на тускло мерцающую даль, за которой затаенный и притихший до времени фронт...

А протор в снегу, что протопал первый взвод, вскоре замечается, и это, казалось бы, естественное и обычное, вдруг действует на людей угнетно — словно сгинул взвод навсегда и следов даже не оставил.

Четин, прихрамывая немного из-за стертой ноги, нервно ходит туда-сюда, и морщинка, что легла на его лоб вчера на дневке, так и осталась, согнав донимавший его румянец. Перешел с Коншиным опять на «вы», держится официально, на бойцов покрикивает... Видно, поверил в себя лейтенант после вчерашнего трудного решения. Коншину не нравится он в новом облики, уж лучше бы «кюхлей» оставался. Как бы не наломал дров.

После разговора с Савкиным по-другому смотрит Коншин на людей. Досадливо вспоминает, как гонял их на формировании, заставляя делать многокилометровые пробежки, как изводил их строевой и тактикой... Ему-то самому что? Молодой, натренированный. А каково пожилым из запаса, каково тем, кто из госпиталей? Не думалось тогда про это, а сейчас схватывает сердце позднее сожаление... Глядя на почерневшие лица, секомые колючей снежной крупой, на красные невыспанные глаза, в которых маета ожидания, еще больше ощущает он неразрывную связь с ними. И понимает — важно это очень.

Наконец — связной от ротного! Трогаются они, опасно вглядываясь в снежную пелену, и через полчаса доходят до разбитой, сожженной деревни, стоящей около большой дороги, может, большака... Связной уводит третий взвод, а им опять ждать, и хуже этого не придумаешь. Ноги у тех, кто замочил их, переходя Волгу, заледенели совсем, но тоже не переобуться — вдруг сразу дальше? Вот и притоптывают на месте, от нечего делать деревню эту, разорище это, рассматривают... Воронки тут свежие, только чуть снегом припорошенные и по размерам большие. Видать, тяжелая артиллерия работала. На крыше полусожженного сарая — кровать железная, дугой выгнутая, наверно, взрывной волной на эту крышу заброшена.

Передовая здесь звучит уже погромче и внятнее. Издалека все звуки мешались и сплошным гулом доносились, а тут — вот пулеметная очередь прострекотала, вот над головами снаряд прошелестел и взорвался где-то глухо, вот мина противно завыла и хлопнула с треском в стороне... И ракеты уже различимы. Не сплошным маревом, а каждая в отдельности, и освещают людей блеклым, будто нездешним светом...

Все это они на слух и на глаз принимают очень внимательно,— может, это последнее, что унесет с собой их память...

Тем временем старший лейтенант Кравцов и командиры других рот находятся в на скорую руку сделанном блиндаже комбата в деревне Черново, которая почти на передовой.

Говорит капитан Шувалов. Торопливо, с хрипотцой в голосе (видно, застудился на марше в своей фуражке) сообщает ротным, что до рассвета должен батальон занять исходные позиции и сменить находящуюся там часть. Показывает по карте, какой роте где расположиться. Напоминает, что надо окопаться, так как нет окопов на передовой (вот это да!), не успели, дескать, выкопать... Потом с натугой, цедя слова, говорит, что сведений о противнике мало, почти что никаких, и что будет он просить комбрига повременить с наступлением, чтоб лучше разобраться в обстановке. Ротные облегченно вздыхают... Глаза комбата, белесые и чуть навывкате, немного затуманены — то ли усталостью, то ли хватил стопку для бодрости,— а красивое лицо с кривоватым горбатым носом — осунулось, у тонкого рта наметились морщины... Не сказал он пока ротным главного: что, наверно, сведения о противнике придется добывать им самим, что намекал комбриг о возможной разведке боем, а что это такое, комбат представляет себе вполне, хоть и не воевал. Хорошо, если одной ротой обойдется... Но немец-то не дурак — поймет, что разведка это, не станет открывать огня из всех своих огневых точек, разобьет роту одним пулеметным и ружейным огнем. И тогда уж придется всем батальоном... Поеживается капитан, в груди словно кол забит — и больно, и дышать трудно...

Подавленный выходит Кравцов из блиндажа. Не нравится ему нервозность комбата, неприятно поражает, что нет окопов на передке,— легко сказать, окопаться! Знает он, как колупать мерзлую землю малыми саперными, да тут еще спотыкается о немецкий труп, лежащий прямо

у блиндажа, пускает матюка, и совсем ему становится не по себе. Да, обстановка что-то хреновая, и защемило вдруг сердце тяжелым предчувствием.

Связного за взводом Четина он послал еще до совещания у комбата и теперь, прислонившись к раскидистой черной липе, стоит и ждет взвод, жадно покуривая в руках.

А взвод, промерзший, матерившийся поначалу про себя, а потом уж и вслух, все еще стоит у большака и тоже ждет. Ждет связного, которого почему-то все нет и нет...

Несколько раз подходит Коншин к комвзвода и говорит, что надо двигаться, что нечего ждать связного, что мог он заплутаться, но тот все медлит.

А ночь идет к концу... Облакастое небо чуть светлеет, и все понимают — на передовую надо прийти затемно, скрытно, и всех злит и тревожит нерешительность Четина.

— Надо идти, лейтенант, — в который уже раз говорит Коншин.

— Подождем еще немного.

— Чего ждать? Застыли все. Рассвета дождемся — перестреляют нас немцы! Нельзя более ждать! Идти надо! — встревоженно гудит взвод, на что Четин ненатуральным баском покрикивает:

— Отставить разговоры!

— Вы не правы, лейтенант. Надо двигаться, — тихо, чтоб не слышали люди, убеждает Коншин.

Четин и сам понимает, что ждать больше нельзя, сам клянет себя за робость, но не знает он, куда идти. Ракеты шпалят кругом, и не понять, где же передовая, и боится взводный, что заведет людей неведомо куда. Ему кажется, нужно через большак и правее, а сержант доказывает — брать левее. Компас у Четина есть, но что компас без карты. И слышит он чей-то шепоток: «Заведет нас «щечки» к фрицам, как пить дать...» И наконец решается.

— Сержант, — говорит Четин как можно тверже. — Я беру одного бойца и иду. Если выйду верно, пришлю его обратно и он поведет взвод. Если не найду ротного, тогда пойдем, куда вы хотели.

— Да я уверен в своем направлении, лейтенант. Уверен.

— Вы меня поняли, сержант? — перебивает Четин резко.

— Понял! — отходит от него Коншин, выругавшись про себя.

Ругается про себя и Кравцов, уже около часа ждущий четинский взвод и пропавшего своего связного, ругается и стоящий около него проводник — грязный, в обожженной шинели боец, которому страсть как не хочется обратно, тем более когда засветлеет, а дело к тому идет. Ругается и начальник штаба, увидев Кравцова.

— Вы еще здесь? Где ваша рота? Светать же начинает! Какого черта!.. — кричит он, не слушая объяснений ротного.

Ругается, поминая и бога и мать, и второй взвод, продрогший, измаянный долгим ожиданием. Плунув на страх и близость передка, не выдерживают и начинают осторожно покуривать, пряча в рукава шинелей коварные огоньки самокруток.

Ругаются и отделенные командиры, окружившие Коншина и твердящие в один голос — идти надо!

Но Коншин колеблется, не хочет бросать лейтенанта, да и неудобно принимать взвод при живом командире.

— Ну, товарищи, что будем делать? Ждать лейтенанта или трогаться? — обращается он наконец к взводу, когда уже стало ясно, что через полчаса рассветет совсем.

— Трогаться, сержант! — это говорит Савкин, которому лучше других понятно, что надо прибыть им на место затемно.

— Лейтенант уже небось к немцам забрел!

— Неверно он пошел, чего тут...

— Надо топать, сержант.

— Нельзя больше ждать!

И тогда командует Коншин:

— Взвод, слушай мою команду! — и ведет людей по избранному им направлению.

Минут через пятнадцать стали проглядываться в снежном дыму неясные, размытые тени домов и деревьев. Но та ли это деревня? Вдруг другая, немцем занятая? Не завести бы взвод прямо им в лапы. Правда, что-то подсказывает — не обманывается он, но людей все же останавливает. Подзывает отделенных — что делать будем? А тут неожиданно вспыхивает ракета и бросает людей в снег — неужто так близок немец?

Командир первого отделения вызывается идти пер-

вым, разведать, та ли деревня... Поднимает ребят, развертывает в цепь и уходит. Остальные лежат в снегу, поглядывают вслед — что будет, что случится?

Но ничего не случается. Благополучно доходит отделение до деревни, и сразу кто-то из бойцов бежит обратно — за ними, значит. Коншин, не дожидаясь, двигает взвод, и вскоре умученный ожиданием Кравцов встречает его:

— Куда вы, мать вашу... подевались?

Коншин объясняет причину задержки.

— Так и знал, что Четин! Черт бы его взял! Принимай взвод и быстро на передовую! Вот проводник. И бегом, бегом! Понял?!

— Есть бегом! Понял!

И никаких мыслей, никаких ощущений — только скорей, скорей, пока не рассвело, пока спасительная темнота скрывает их... Быстрее, быстрее...

Спустившись с пригорка, на котором стоит деревня, влетают они в лес, и тут уж приходится гуськом по узенькой тропке. Торопятся, наталкиваются друг на друга, бьет всех противная дрожь... В полумраке грозно надвигаются на них лохматые ели, стегают по лицам колючие ветви, скользят ноги на обледенелом проторе... То здесь, то там темнеют треугольниками шалаши, а из них дымки. Жгут, оказывается, костры на передке! Жгут! Не боятся! А они за десять километров цигарку опасались прижечь! И приятно щекочет ноздри пряный запах горячей хвой.

И вдруг — стоп! Замирает Коншин, цепенеет. А сзади наваливается взвод, чуть с ног не сбивает... Стоит и смотрит под ноги, а там поперек тропки убитый! Лежит ничком, на спине расплывшееся коричневое пятно, в стороне каска валяется... Темнеет у Коншина в глазах, а в сердце будто что-то холодное ударяет. И те, кто рядом с ним и видят то же, затаивают дыхание и — ни с места.

Проводник, перешагнувший труп запросто, оборачивается к ним с усмешкой:

— Давай, давай, командир... Насмотришься еще...

Закрывает глаза Коншин и перешагивает, за ним и остальные — кто обходя, кто перепрыгивая... И вперед, вперед к той главной черте, к которой подвел их Селижаровский тракт и за которой будет испытывать их война и на жар, и на холод, и на излом, и на сгиб... Ну, а кому остаться за этой чертой навек — это уж судьба...

Трусой бежит взвод по скользкой тропке, вроде бы согреться пора, но не перестает бить озноб,— видно, не в холоде дело.

Коншин, еле успевая за проводником, старается глядеть только вперед, но какая-то сила заставляет его кидать взгляды по сторонам, и каждый раз натывается глазами на убитых...

— Далеко еще? — спрашивает он, чтобы вернуть себя к реальности, потому как темный лес этот, шалашики, окутанные дымкой, и распластанные то здесь, то там убитые — будто сон какой кошмарный.

— Километр еще... — отвечает проводник, не оборачиваясь.

— Наступали?

— Наступали.

— Ну и как?

— И не спрашивай, командир, — махнул рукой проводник. — В первый раз, что ли?

— Да.

— Ничего... Пообвыкнешь.

— Страшно?

— Поначалу очень.

— Полком наступали?

— Не. Батальоном.

— Артподготовка была?

— Постреляли немножко. Со снарядами худо, — досадливо поморщился проводник, добавив: — До нас еще одна часть наступала. Тоже не вышло. Все поле в наших...

Опять что-то ударяет по сердцу Коншина, и он больше ни о чем не спрашивает — переварить все это надо.

А лес редет. Отбежали назад большие ели, пошел молодняк — березки тоненькие, осинки, и сквозь них просвечивается что-то белое, большое... Поле боя, наверно? Что такое — поле боя? Коншин хочет остановиться, осмотреться, но проводник убыстряет шаг, торопится. Рассвет хотя и медленно, но высветляет все вокруг.

Наконец обрывается лес перед оврагом, и метров срок тут открытого пространства, а за ним редкая рощица, и оттуда тоже дымки выются. Налево поле уже видно хорошо, и все глазами туда, но еще темно, и конца этого поля не видать, и что за ним, неизвестно, лишь у края чернеют развороченной землей несколько воронок.

— Пойдете туда, — говорит проводник. — Там вас лей-

тенант встретит. Перебегайте по одному. Это место простреливается. Но пока темно — ничего, не робейте. Ну, бывайте, — он прикладывается к каске и быстро утопывает по целине, минуя тропку, занятую столпившимся взводом.

И стало без него как-то одиноко и страшновато. Подошли командиры отделений.

— Людей не растеряли? — спрашивает Коншин.

— Все туточки, — шепотом отвечает командир первого отделения, ставший помкомвзвода.

— Диков?

— Куда ему деться? Здесь.

Взвод стоит, переминаясь с ноги на ногу, взмокший от быстрой ходьбы, окутанный легким облачком пара, умянный бессонной ночью да и всей этой дорогой.

Коншин приказывает перебегать овраг. И каждый перебегает его по-своему: кто помешкав немного, кто сразу, как в холодную воду, с размаху, кто пошептав что-то про себя, а кто и перекрестившись... Кое-кого приходится подталкивать в спину, приободрить матюком, что и делают отделенные почти шепотом, боясь поднять голос, потому как уже где-то неподалеку — немцы...

— А ну, по-быстрому! Давай, давай, не робей...

Коншин перебегает овраг последним и сразу же у опушки сталкивается с лейтенантом — возбужденным, с красными, усталыми глазами.

— Понимаешь, наступали два раза — ни хрена не вышло, — хриплым полусшепотом выкладывает лейтенант коротко обстановочку. — Осталось двадцать. Держим оборону. Подойдем ближе, — он хватает Коншина за рукав телогрейки и тянет к краю леска.

То, что видит Коншин на поле, наполняет его ужасом. Он с трудом понимает лейтенанта и все смотрит и смотрит на заснеженное бесконечное поле с ржавыми пятнами воронок и раскиданными трупам...

— Это Паново, это Овсянниково, там слева Усово, — поясняет лейтенант. — Наступали на Овсянниково. Как видишь, немцы с трех сторон. Сейчас рассредоточь людей. Как рассветет — начнет давать. Ну, все ясно?

Коншин не отвечает, не сводя глаз с поля... За ним чернеет деревня со скелетами деревьев, а дальше лесок. Справа тоже деревенька. На поле подбитый танк и три черных пятна около него...

— Да очнись ты! Все ясно?

— А где окопы? — бормочет Коншин.





— Окопы? Чего захотел! Нет тут ни черта! Ну, бывай, желаю удачи. Не забудь выставить наблюдателей.

Лейтенант торопливо собирает своих людей и резко перемахивает с ними через овраг — второй взвод первой роты остается один...

Люди сбились в кучу посреди роши и ждут... Ждут от Коншина каких-то действий, какой-то команды, а он, очумелый от всего виденного, не может собраться с мыслями

и стоит, уставившись на поле, представляя уже ясно, что сегодня, может, через несколько часов, может, через час, придется ему и его взводу бежать по этому полю... У него странно обмякают ноги, ему хочется присесть, он оглядывается, ища места, куда бы, но встречает тяжелые ждущие взгляды, направленные на него, и среди них черные грустные глаза Савкина, немым укором напоминающие — думать надо, командир, думать...

И эти взгляды, и сознание, что пятьдесят два человека ждут от него каких-то слов, каких-то решений, сгоняет одурь страха с Коншина, и он начинает озираться, ища какие-нибудь укрытия, но у края роши только выкопанные в снегу ямки, жалкое подобие окопов для стрельбы лежа...

— Будем занимать оборону. Командирам отделений рассредоточить бойцов. Интервал как можно больше. Скоро начнется обстрел,— повторяет он слова лейтенанта.

А что такое обстрел? Как спасти от него взвод? Ни землянок, ни блиндажей, ни окопов! Только эти ямки! Коншин вспоминает, какой невероятной толщины должен быть бруствер снежного окопа, а тут... А мины? Коншин ни разу не видел, как они рвутся, слабо представляет он и их убойную силу.

— Выставить наблюдателей,— вспоминает он совет лейтенанта.— Дать секторы наблюдения и обстрела.

Что же такое минометный обстрел? Как уберечь взвод? Неужели вот так, не вступив даже в бой, потеряет он людей? Что же делать?

Отделенные разводят людей, выставляют наблюдателей, а Коншин, вынув малую саперную лопату, начинает углублять ямку, которую кто-то до него копал. Но лопата вскоре утыкается в мерзлую землю, колупать которую уже бессмысленно. Ни на сантиметр не поддается каменная земля. Коншин бросает лопату, откидывается телом к стволу дерева и неверными пальцами свертывает сигарку. Становится опять холодно, и опять начинает бить мелкая дрожь.

Медленно, очень медленно светлеет покрытое облачками серое небо, и промозглый холодный рассвет постепенно высветляет рошу. Коншин поднимается, оглядывается: стреляные гильзы, пробитые каски, брошенные противогазы, цинковые ящики с патронами, котелки, кружки, окровавленные бинты — все это валяется вокруг в снегу в страшном и непонятном беспорядке. Это пора-

жает. Как все военное имущество береглось в кадровой! Давали наряд за пыль на противогазе. Отчитывались за каждый выстреленный патрон в нескольких ведомостях. Ржавчина в канале ствола — ЧП. А тут все брошенное, изломанное, словно никому не нужное, разбросано по роще. И этот не-порядок тяжело действует на Коншина.

Подходит Савкин.

— Какие впечатления, товарищ командир? — спрашивает он со своей обычной улыбкой.

— Пока ничего, — как можно бодрее отвечает Коншин.

— Где у вас капсюли от гранат?

Коншин залезает в карман брюк и достает их.

— Положите в левый карман гимнастерки... Понимаете почему?

— Не совсем.

— У нас одному полбедрa отхватило. Пуля как раз по карману брюк скользнула... ну, они и взорвались.

Коншин теперь понимает и перекладывает завернутые в бумажку капсюли в карман гимнастерки... Да, если пуля или осколок попадет сюда, то уже неважно, взорвутся они или нет...

— Теперь лопата... — продолжает Савкин.

— Что лопата?

— Выньте из чехла и заткните за пояс железякой вниз. Поняли? Вот так. Живот прикрывает...

Коншин понимает. Но эти приготовления к тому, что в твое тело будут входить пули или осколки, и то бесконечно малое, что ты можешь сделать, чтоб его защитить, заставляет тошнотно заныть низ живота и вызывает нервную зевоту, которую он не может унять.

— Почему нет окопов? — спрашивает он Савкина, чтобы что-то сказать и этим разговором скинуть с себя то противное и унижительное, что копошится в душе.

Савкин в ответ пожимает плечами:

— Видимо, не успели. Черново взято несколько дней назад.

— А у немцев они есть, как вы думаете?

— Наверняка. В Чернове обороны было не видать. Они сдали его, наверно, без особого боя, а вот в тех деревнях укрепились... Брать будет трудно. Видите, сколько угрохали народу... — Он молчит, а потом досказывает с горечью: — Да, порядка, на мой взгляд, не прибавилось.

— Прекратите, Савкин, — обрывает его Коншин.

— Товарищ командир! — подбегает к нему сержант с первого отделения. — Диков отказывается выполнить приказание! Назначил его наблюдателем — а он не желает подходить к краю и занимать свое место.

— Пойдемте! — бросает Коншин, и они почти бегом направляются туда.

Диков сидит, прижавшись спиной к елочке, с выпученными белесыми глазами, и его бьет как в лихорадке.

— Встать! — командует Коншин взбешенно.

Тот неохотно, словно поднимая тяжесть, с трудом встает, в глаза не смотрит, руки дрожат.

— Марш на свое место!

— Не пойду-у... — глухо, с каким-то завыванием отвечает Диков и начинает трястись еще больше.

— Повторить приказание! — повышает голос Коншин и берет автомат на изготовку.

— Почему я? Почему? — взвизгивает Диков и пытается снова опуститься на землю.

Коншин схватывает его за рукав и держит, не давая присесть.

— Сержант, позовите трех человек! — говорит Коншин, продолжая удерживать Дикова, и глядит ему прямо в глаза, но тот увиливает от взгляда, шаря зрачками по сторонам.

«Что делать?» — думает Коншин. Впервые за его армейскую службу такое — боец отказывается выполнить приказ. И где? На передовой! Ему противен этот здоровый и сильный мужик, трясущийся, с отвисшей челюстью, и ему хочется его ударить, но этого в армии нельзя... И тут чувствует Коншин, как страх, сжавший его поначалу, отпускает понемногу, как начинает сходить оцепенение первых минут, как презрение и злость к Дикову, необходимость действий совершенно сгоняют то ощущение кошмара, охватившее сперва при виде передовой. Он словно просыпается. Подходят двое бойцов.

— Взять его и отвести на место! — голос Коншина уже тверд.

Дикова хватают за руки. Сначала он только упирается, но потом начинает вырываться и, вырвавшись, падает на спину. В глазах ужас и ненависть. Его уже втроем — отделенный тоже — пытаются поднять, но он отбивается ногами, и его никак не удается схватить.

— Отставить! — Коншин подходит вплотную к Дикову.

Тот все еще сумасшедше бьет ногами по воздуху... Да

у него истерика, думает Коншин и решает действовать по-другому.

— Успокойтесь, Диков! Я все равно заставлю вас выполнить приказ. Понимаете — заставлю.

— Почему я? Почему меня... наблюдателем? — бормочет он.

— Оборону занимают все. Сегодня в наступление пойдут все. И вы тоже. Если откажетесь, вас расстреляют на месте. Вы понимаете это?

Нет, Диков ничего не понимает... Коншин же начинает видеть бесполезность своих уговариваний, хотя сколько раз в армии спокойный разговор действовал больше, чем угроза. Но с Диковым никогда не было взаимопонимания, Коншин не чувствует его как человека, но знает только одно — надо во что бы то ни стало заставить Дикова выполнить приказ. Во что бы то ни стало!

Вокруг них собрались уже несколько человек. Что же делать? Грозить автоматом? Но если он и тогда не выполнит приказанное? Стрелять? Нет! Вряд ли он, Коншин, это сможет. Что тогда? Стрелять же надо насмерть. Любое ранение Дикова только обрадует. Насмерть? Нет, он не сможет... Но он должен заставить, должен! Медленно, не сводя глаз с Дикова, Коншин поворачивает ствол ППШ на него.

— Встать! — Коншин старается сказать это спокойно и твердо.

Диков подбирает под себя ноги, приподнимает туловище, но встать не собирается. Коншин взводит затвор. Его щелчок резко звякает в тишине. Диков вздрагивает и вдруг, сидя, отталкиваясь руками, пятится назад, его выпученные глаза становятся бессмысленными. Коншин чуть трогает спусковой крючок, уже понимая, что сейчас произойдет что-то отвратительно страшное, и то, что произойдет, будет уже необратимо, будет навсегда.

— Погодите, командир, — встает перед ним кто-то из бойцов, а потом, матерясь, хватает Дикова за воротник шинели.

— Ты что, лучше людей, гнида паршивая? Бери его, ребята! — и без всякой команды со стороны Коншина несколько человек наваливаются на Дикова, хватают его за руки, за ноги и волоком тащат к снежному окопчику для стрельбы лежа, что у самого края, и бросают в него.

— Смотри, гад. От нас пулю зарабатываешь, если чего...— говорит тот из бойцов, кто первый его схватил.

Отделенный дает ориентиры для наблюдения, а Коншин облегченно вздыхает, вытирая с лица выступивший пот, и осторожно опускает затвор автомата. Тут его взгляд утыкается в лежащий рядом с окопчиком труп. Вот, оказывается, что навело ужас на Дикова.

Стараясь не глядеть на поле, Коншин обходит рощицу — взвод рассредоточен, наблюдатели выставлены, но люди напряжены — ждут обстрела. Ждут, зная, что деться некуда, спрятаться негде, укрыться нечем. Живой трепетной плотью примут они этот минометный обстрел, а как эта плоть хрупка, мягка, как легко она разрывается на куски, как легко пробивается осколком или пулей, они уже видели воочию, пока шли по изломанной роще, пока боязливо кидали взгляды на серое мертвое поле...

Комроты Кравцов тем временем находится с первым и третьим взводом своей роты в середине рощи около землянки помкомбата. С одобрением смотрит, как Шергин без команды умело рассредоточивает свой взвод, отдавая короткие, но спокойные распоряжения. Надежный парень, думает Кравцов, потом вспоминает потерявшегося Четина. Ладно, черт с ним! Коншин, пожалуй, покрепче будет...

К землянке торопливо тянут провода связисты, и уже слышно оттуда, как помкомбата проверяет связь: «Волга, Волга...»

Кравцов, оглядев поле, уже понял, что положение не ахти, и второй раз подумал за нынешний день, что вряд ли ему из предстоящей заварухи выйти, но подумал спокойно, так как уже давно, когда в кадрах решил остаться, понимал, что жизнь принадлежит ему лишь до первой войны, а что война на его веку будет, не сомневался. И потому и война, и то, что он на ней, и то, что погибнуть на ней вполне возможно, — для него дело обыкновенное, обычная служба. Но вот ребяток своих ему жаль. Мальчишки же в большинстве, ничего-то в жизни не видали.

Потом он спускается в землянку и просит у помкомбата бинокль — ротным их не хватило на формировании, только начальству выдали. В бинокль поле и Овсянниково видно хорошо, даже «спирали Бруно» у немецких окопов четко выделяются, а три черных пятна у танка — это танкисты лежат, лежат рядком, видны шлемы хорошо, и планшетка у одного... Начинает Кравцов считать

убитых на поле, но сбивается быстро, да и не к чему... Чуть теплится надежда, что комбат добьется отмены наступления на сегодня,— надо же оглядеться как следует, примериться, но надежды-то чуток, да и ее надо выбросить. На войне лучше на худшее примеривать, так-то вернее.

Спустившись в землянку, отдает он бинокль помкомбата. Связь уже налажена, и тот докладывает капитану, что роты на исходном рубеже, рассредоточены и готовы к выполнению приказа. Кравцов смотрит на помкомбата — пацан еще, с двадцать второго года, звание — только лейтенант. Почему его назначили помкомбата, одному богу известно! Ну, образование, наверно, среднее и училище полное, не то что у Кравцова, но опыта-то никакого, сопляк еще совсем. Уже сейчас видно, что нервничает, губа нижняя подрагивает, голосок срывается...

Выбирает себе местечко Кравцов, присаживается, крутит сигарку, а на душе муторно. Опять мелькает мысль о Четине — куда забрел бедолага, где заплутался и как бы к немцам не попал.

Но не успел он о нем подумать, как видит запыхавшего Четина, румянец с лица сдут, глаза шальные, тянет руку к каске, но Кравцов зло предупреждает его доклад.

— Марш к взводу!

— А где он? — мямлит Четин.

— Это я вас должен спросить! — почти кричит Кравцов, а потом взмахивает рукой и цедит: — Выйдите — и по тропке направо до оврага. Перейдете его, там ваш взвод. И — бегом! Понимаете — бегом!

— Есть бегом! — еле слышно отвечает лейтенант и неуклюже выбирается из землянки.

— Набрали сосунков... — бормочет Кравцов, кидая выразительный взгляд на помкомбата. Но тому не до взглядов — связь все время прерывается, и он не может разобрать слов командира батальона.

Не успел Четин выбраться, как разорвалась первая мина... А потом пошло... Помкомбата побледнел, сжался, а Кравцов неспешно стал вылезать из землянки — этот первый для людей налет должен он быть с ротой, с ребятами...

А второй взвод Коншина расположился где кто мог. Норовят все выбрать себе деревцо, чтоб прижаться к стволу во время обстрела, но на всех деревьев не хватает — жмутся к кустикам, к осинкам тоненьким, хоть бы видимость какая их укрыла. Кое-кто в шалаши залез,

было здесь три шалашика — все не на открытом месте.

Коншину наконец-то удается отковырнуть несколько комьев земли, и он продолжает эту почти бессмысленную работу, лишь бы не думать, лишь бы что-то делать — ведь вот-вот должен обстрел начаться, рассвело уже совсем... Но мысль о Дикове не уходит, и он решает идти к нему. Тот лежит, уткнувшись в снег, — не хочет он или не может заставить себя глядеть на поле, черт его знает?

— Почему не наблюдаете? — окрикивает его Коншин.

Диков вздрагивает, вскидывает голову и... вдруг с каким-то воем быстро отползает назад, бешено работая руками и ногами. Коншин наклоняется, раздвигает кусты... и обмирает. То, что он видит, похоже на галлюцинацию — посредине поля, недалеко от танка, поднимается непонятно во что одетая фигура и делает несколько шагов к роще... Потом падает... Снова поднимается и двигается на них. Ее замечают и другие бойцы. Щелкают затворы. Кто это? Что это?

— Без команды не стрелять! — хрипит Коншин, все еще не понимая, что это, наверно, раненый, пролежавший всю ночь на поле и теперь очнувшийся и оживший для того, чтобы опять умереть. Его же застрелят немцы!

Почти весь взвод подтягивается к краю леска, весь взвод не спускает глаз, весь взвод мучительно ждет очереди, которая, несомненно, ударит с немецкой стороны и добьет раненого... Но пока тихо... Раненый несколько раз падает, лежит в снегу по несколько долгих минут, затем опять поднимается и, волоча раненую ногу, медленно, но упорно ковыляет к ним.

— Все, готов, — шепчет кто-то, когда тот опять падает и очень долго не поднимается.

К Коншину подползает санинструктор.

— Не могу. Пойду я. Надо помочь, — говорит он.

— Не надо, — Коншин качает головой.

— Не могу глядеть. Наверно, сознание потерял...

— Не надо, — повторяет Коншин. — Убьют и тебя, и его.

— Встает, встает, — радостно проносится по цепи.

Раненый поднимается и, словно в замедленной съемке, раскинув руки, чтоб не потерять равновесия, медленно, шаг за шагом продвигается к роще... Немцы на удивление всем не делают ни одного выстрела, но взвод напряжен до предела, смотрит затаив дыхание, не роняя ни слова, не тревожа ни одним движением тягостную мучительную тишину передовой...



Трудно определить, сколько времени маячит по белому полю, среди воронок и трупов эта фигура — может, полчаса, может, час, но для взвода — вечность... Ежеминутное ожидание немецких выстрелов и смерти этого воскресшего на мертвом поле человека измотало людей, и поэтому, когда санинструктор не выдерживает и бросается ему навстречу, подхватывает и волочит к роще, когда делают они последний шаг и кусты скрывают их от немцев, общий вздох проходит по передку... И сразу после этого все начинают говорить.

Раненый был в рваном, запачканном кровью маскхалате, потому и выглядел так необычно.

— Пить, — бормочет он и теряет сознание.

Но тут уже подходят санитары с носилками, его укладывают и уносят.

Почему немцы не стреляли? Неужели не видели? Не может быть! Он столько времени одинокой мишенью маячил на поле! Что это? Конечно, добить раненого — подлость. Но разве все, что делают немцы, — не подлость? Почему же не стреляли? Возможно, только два-три фрица-наблюдателя видели его и эти два-три оказались не сволочами? А может, проспали? Вопрос остался безответным. Коншин, очнувшись, командует разойтись всем по своим местам.

Проходя в середину леса, Коншин слышит стон. Где-то совсем рядом. Бросается к небольшому шалашу — в нем, скорчившись, лежит раненый с посиневшим лицом, совсем мальчишка.

— Братцы... — стонет он и растирает слезы на чумазом лице.

— Откуда вы? Вчера наступали? — спрашивает Коншин.

— Не-е... Третьего дня, наверно... Перевязали меня и забыли... А я то очнусь, то в забытьи...

Повязка у раненого вся в запекшейся крови, а сам он маленький, жалкий...

— Санитары! Где санитары? Ко мне! — кричит Коншин, выскочив из шалаша.

Вместо санитаров подбегает Савкин.

— Видите — третий день валяется! — негодуя бросает Коншин.

— Я же говорил вам... — покачивает тот головой.

Они вытаскивают раненого из шалаша. Тут поспевают и санитары.

— Немедленно в санвзвод! Скорей! — санитаров уго-

варивать нечего — обстрел-то вот-вот начнется. — Сразу возвращаться! Поняли?

— Вот так-то, сержант... — задумчиво говорит Савкин. — Такие дела.

— Черт знает что! — возмущается Коншин.

— Вы думали, что всех раненых обязательно подбieraют?

— А как же?

— Не до того в бою бывает. Сосед по цепи, увидев, что ты ранен, может только перевязать тебя и должен спешить дальше. Тащить тебя в тыл он права не имеет. Должны санитары. А много ли их? Теперь понимаете?

— Да, — шепчет Коншин.

Все это странно и страшно, но, видимо, это и есть война — будни войны, быт войны, непорядки войны. И со всем этим надо примириться, потому как ничего не изменишь, ничего не сделаешь. Такова война. «Но почему не изменишь?» — думает он. Нет, пока он жив и в состоянии командовать — ни один раненый не останется на поле боя, не останется без помощи... Да, да, обязательно. Он говорит об этом Савкину. Тот еле заметно улыбается.

— Ваша обязанность, командир, вести бой. Не до того будет.

Рассвело уже совсем, и Коншин заставляет себя идти к краю, осмотреть поле боя как положено — наметить ориентиры, возможные укрытия в складках местности и, может быть, разглядеть немецкую оборону.

Поле расстилалось метров на восемьсот... Метрах в трехстах стоит черный подбитый танк — первый ориентир. Немного в стороне, почти посреди поля, — две одиноких березы. Откуда они на поле? Но это ориентир номер два. Дальше темнеет крышами Овсянниково... Убитые лежат ближе к роще. Не прошли и половины пути. Снег на поле желтоватый, и кое-где рыжеет земля, как подтеки крови... Коншин отворачивается — в голове туман, в горле какой-то комок, который он не может выпершить. Все как в тяжелом сне. Но нет, это все настоящее — и поле, и деревни, которые они будут брать, и мертвые. Это правда. И надо как-то приспособлять себя к ней.

Он отходит от края, находит свою лежку около большой ели, присаживается, закуривает... И вдруг чувствует невероятную усталость во всем теле, глаза слипаются, и то напряжение, которое держало его эту ночь, это утро,

спадают, сознание отключается, и он задремливает, может быть, на минуту, может, на десять... Но в воздухе уже что-то завывает, звук нарастает, переходит в визг, потом захлебывается, раздается взрыв. Коншин вскакивает, а потом сразу падает, прижимается виском к стволу дерева и лежит... Начался обстрел! «Вот что это такое», — думает он, почему-то не испытывая ожидаемого страха. Может, потому, что мины рвутся сравнительно далеко. Несколько плюхаются, не долетев до роши, на поле, несколько перелетают ее и рвутся на другой стороне леска. А может, потому, что сидит в душе какая-то глупая уверенность, что налет кончится благополучно. Но все же его тело непроизвольно сжимается, он весь напрягается, когда над ним завывает мина, и только с ее взрывом где-то в стороне его ненадолго отпускает, но звук следующей мины заставляет вжиматься в землю и холодит тело.

Обстрел длится минут пятнадцать, но сосчитать, сколько было пущено мин, Коншину не удалось — не до того. Вот вроде тишина опустилась на передовую, — наверно, все, кончили немцы? Он поднимается и зовет отделенных. Удивительно и счастливо — никого не задело. Бредет по роше и видит, как, потягиваясь, приподнимаются ребята со своих лежек, как сходит с их лиц землистая бледность, как оживают глаза... Закуривают, и начинаются разговоры. Прошли первые страхи, первое оцепенение при столкновении со смертью, и жизнь вступает в свои права.

— А кормить нас собираются, командир? — слышит он первый вопрос.

— Об этом до ночи забудь, — говорит кто-то из «бывалых».

— А в общем-то бьет фриц не очень прицельно.

— Жить можно...

Да, оказывается, на этом пятачке можно жить. Да, можно... Лишь бы начальство не трепыхалось, лишь бы не тревожили их больше, а оставили здесь. Смастерили бы они шалашики, устлали их лапником, а в касках, валяющихся кругом, жгли бы маленькие костерики для согрева и для прикурки... В общем, жили бы...

Кто-то начал уже штыками от СВТ подрубливать молодые елки, кто-то уже обламывает ветки — сооружает себе лежки, чтоб не на снегу валяться. Но... Вот это «но» давит и сжимает сердца холодом... Временно они здесь, видно, и ждет их другое — бежать им сегодня по этому

полю, извиваться под пулями, а добегут ли до той чернеющей вдали деревеньки, одному богу известно... Как поглядишь на это поле, на серые комочки, там лежащие, так и подумаешь: ничем ты от них не отличаешься, только вчера были они тоже живыми, только вчера выхрипывали «ура», а вот полегли навечно... Потому и не смотрят ребята на поле, отводят от него глаза, а чтоб не думать, стараются занять свои руки и головы другим. Потому и взялись после обстрела за разные мелкие дела. И об кормежке разговоры для того же — отвлечься, почувствовать себя живыми пока, и остальные разговоры для того же...

— Что ж это начальства нет?

— Завели взвод на пятачок, а сами...

— А фрицы с трех сторон...

— Порядочки,— этот ехидный голосок слышал Коншин еще в эшелоне.

— А и верно, командир, где ж ротный, политрук? — подходит один из отделенных.— Сходили бы — узнали.

«Сходить надо бы,— думает Коншин,— но как при свете овраг переходить? Наверняка немцы наблюдают, наверняка нацелены туда снайперские винтовки, да и взвод покидать вроде бы нехорошо». Но и второй отделенный про то же твердит — надо узнать, где начальство,— ворчать люди начали...

Подходит Коншин к оврагу... Да, метров сорок открытого пространства, ни кустиков, ни пенечков. А справа — занятая немцами деревня за полем. Прогляд и прострел для немцев — лучше не надо.

Савкин, провожавший его до оврага, говорит:

— Вон к той сосне бегите, а там перележите. Когда кончат стрелять, тогда уж дальше двигайтесь.

— Думаете, стрелять будут?

— Наверняка. Наблюдают за этим местом.

Коншин напрягается, старается подавить нервную зевоту, которая вдруг накатила на него, и бросается через овраг. Уже на той стороне он впервые в жизни слышит, как поют пули, а обернувшись, видит, как врезаются они в дно оврага, как впиваются в оставленные им в снегу следы. Но и тут почему-то не очень ему страшно. Он хорошо ползает, хорошо окапывается, умеет применяться к местности, и ему кажется, что от пуль можно спастись, другое дело мины. Немец дает еще очередь и замолкает. Коншин поднимается, машет рукой Савкину, тот ободряюще улыбается — первое, так сказать, крещение.

Минометный обстрел, который шел в середине роши, пожалуй, был посильней, чем на пятаке, занимаемом взводом Коншина, тоже обошелся без потерь для первого и третьего взводов кравцовской роты. Кидали немцы мины не очень-то точно — много их рвалось перед лесом, много улетело вглубь и перелетало роту. Кравцов прохаживается и приглядывается к бойцам... Вроде ничего, струхнули не очень. Сейчас дымят все сигарками, делятся между собой насчет прошедшего обстрела, но в глазах у всех одно — будет ли наступление? А Кравцов и сам пока того не знает. Уж если и наступать, то надо бы на рассвете. Но видно, комбат с комбригом ведет переговоры, обещал же добиться отмены. И верно, надо осмотреться, хоть какие сведения о противнике получить, нельзя с ходу, наобум.

Подходит он к Шергину. Тот сидит на снегу, колени к подбородку, смотрит на поле, губы сжаты, но лицо вроде спокойное.

— Ну, как, Шергин? — спрашивает Кравцов.

Нравится ему этот взводный. При минометном налете хоть бы что в его лице дрогнуло, и людей умело рассредоточил.

— Я думаю, по этой балочке и вести взвод, — показывает рукой Шергин. — Видите, кончается она у танка. Может, полпути скрытно сумеем подобраться.

— Пристреляна она у немцев, Шергин, минометами.

— Да, конечно, но от пулеметов спасет. Пойду по ней.

— Погоди ты, поперед батьки в пекло... Решается еще вопрос.

— По мне уж лучше скорей...

— Да, эта тягомотина хуже всего, — вздыхает Кравцов. — Людей, Шергин, береги. Понял? — Шергин ничего не отвечает, только чуть заметно пожимает плечами. — И огонь веди, все время огонь.

— Куда? Ни черта же не видно.

— По направлению. Шпась по деревне...

— Старший лейтенант, я ж не в первый раз... Вы скажите лучше — артподготовка будет?

— Должна, — неопределенно отвечает Кравцов, потому что в блиндаже комбата вопрос об этом был как-то смят. Прошелся по нему капитан вскользь: видно, не богаты мы снарядами.

Отходит Кравцов от Шергина какой-то неуспокоенный: вроде бы положиться на него можно, командир что

надо, но предчувствует он что-то... А что, сам не ведает, но помнит он по прежним боям — обостряется все на передовой до невозможности. И бывает так, что человек свое близкое предвидит. Точно знал Кравцов в прошлых боях, что ранит его непременно, и именно в ногу. Так и получилось. Хошь верь, хошь не верь в судьбу, а что-то человек на войне предчувствует, каким-то внутренним зрением прорывается в будущее, хоть и не особо далеко, хоть на несколько часов вперед, но прорывается.

Встречается ему на дороге Чураков — плотный, большой, с таким бы врукопашную на немцев — не подведет, руками фрицев передушит. И спокойный, черт, будто не впервые на переднем крае.

— Ну, как, Чураков? — задает он вопрос.

— Живы будем — не помрем, — как всегда осклабясь, отвечает тот.

— Это верно, — подтверждает Кравцов и кладет ему руку на плечо. — Надеюсь на тебя, Чураков. В случае чего взвод без команды принимай. Что Четин, что твой взводный... надежды на них особой не имею.

Кравцов знает, что говорить такое не положено, что этим авторитет своих молоденьких лейтенантов подрывает, но впереди такое, в котором многое, если не все, будут решать младшие командиры, идущие в одной цепи с бойцами. Им с ходу придется решать задачи, которые поставит бой, и если сдюжат, то и пойдет все по порядку, а ежели нет... Да, что думать — все равно без хорошей артподготовки, без поддержки танков не пройти им это поле... Да, не пройти... Но знает Кравцов, на сколько километров отошли они от Селижарова, от железной дороги, знает и этот Селижаровский тракт, занесенный снегом, и что не больно-то много попадалось на их пути машин с боеприпасами. Потому и надеяться особо не на что.

В землянке помкомбата, в которую спустился он погреться, народу невпроворот: и ротные, и политруки остальных рот, и ПНШ из батальона. Дым махорочный — хоть топор вешай. Сидят, курят, нервничают.

— Вот что, комиссар, — обращается он к своему политруку. — Сходи четинский взвод проверь. Как они там? Только овраг осторожней перемахивай. Ты мне в бою будешь нужен. Понял?

— Понял, — поднимается политрук, делает несколько коротких затяжек и выбирается из землянки.

Коншин идет по тропке, не глядя по сторонам, боясь

наткнуться взглядом на убитых, и думает, что, пожалуй, самое страшное, что он увидел на передовой,— это они...

И как что-то очень далекое, будто бы и небывшее, вспоминается ему дальневосточный полк, ленинская комната в казарме, где строчили они свои докладные с просьбами отправить их на фронт срочно... Жалеет ли он о том, колет ли грудь запоздалое сожаление? Нет, пожалуй. Несмотря на все увиденное, вроде бы страшное, от чего душу захолаживает, он с удивлением обнаруживает, что все это, как ни странно, интересно ему. Да, интересно! Другого слова и не подобрать. Даже предстоящее наступление, которого страшится, мысли о котором старается отгонять, даже оно. Как поведет он себя в бою, как заставит подняться себя с земли, как побежит по этому полю? И даже сейчас, перед боем, бродит в его голове мальчишеское — что покажет он себя, что совершит что-то необыкновенное... Но главное, конечно,— не струсить. Это сейчас для него пострашнее смерти.

— Коншин,— окликает кто-то. Он поворачивается и видит политрука, забившегося под лохматую ель. Тот курит частыми, нервными затяжками, в глазах растерянность.— Потери есть во взводе?

— Нет, обошлось.

— Залезай, перекурим. Ты куда направился?

— Народ вас спрашивает или ротного. Вот и иду...

— Сейчас пойдем, а пока залезай.

Коншин приподнимает ветви и забирается под ель. Садится. Политрук молча протягивает кисет с легким табаком. Закуривают и некоторое время попыхивают сигарками молча. Политрук нервно теребит пальцами портупею, потом тяжело откашливается.

— Четина убило,— говорит он глухо, продолжая кашлять.

— Что? — вскакивает Коншин.

— На тропке он. В нескольких шагах отсюда.

И Коншин бежит. Лейтенант лежит на спине. Коншин не видит на его теле ни раны, ни крови, но лицо уже посеревшее, и так же обиженно опущены пухлые губы, как на последнем привале, когда он спал... Коншин долго стоит потрясенный — первая смерть... И чья? Этого тихого мальчика, к которому и Коншин, да и весь взвод относились так несправедливо, с подсмешками и подковырками. Прищемила запоздалая жалость. Долго протирает глаза Коншин жесткой рукавицей, потом наклоняется

над Четиным, подбирает его автомат, планшет и плетется обратно.

— Первый...— тихо произносит политрук.

— Да.

— Взвод теперь твой. Пошлем бумагу, чтоб провели приказом.

Коншин устало и безразлично махнул рукой.

— Не радуешься?

— Нет. Ответственности боюсь.

— А ты не бойся. Сколько ты в армии?

— Почти три...

— Это кое-что значит. И курсы кончал... А бедняга Четин, наверное, только три месяца обучался... Ну пошли,— поднимается политрук.— Как настроение у народа?

— До обстрела маялись, а сейчас вроде ничего...

Подходят к оврагу. Политрук замедливает шаг и проходит глазами по убитым.

— Простреливается? — спрашивает коротко и чуть поеживается.

— Ага. Пустил очередь, когда я перебегал.

— Ну, с богом,— усмехается политрук и спокойно спускается со взгорка, Коншин за ним. Падают на той стороне.

За ними взрывают пули, а потом уже слышат они треск пулеметной очереди.

— Гады,— матюгнулся политрук.— Окопов у вас там тоже нет?

— Нет. Три шалашика только.

— Дела... Ну, давай. Соберешь взвод сейчас.

— Нельзя, политрук.

— Ах да, понимаю. Поговорю с каждым в отдельности.

Ребята занимаются делом — кто шалашики сооружает, кто ковыряет мерзлую землю без толку, но все же из снега делают брустверы вокруг выкопанных ямок. Все же занятие. К политруку сразу вопросы насчет еды. Ели-то прошлым вечером, ночь топали, животы, конечно, подвело. Но кое-кто уже костерики маленькие запалил, набил котелки снегом — будут кипяточком баловаться. Коншин с политруком присаживаются, снимают рукавицы, протягивают к огню руки — вроде и телу теплее становится.

— Стопочку бы сейчас в самый раз,— говорит один из отделенных.— Для поднятия духа,— и поглядывает на политрука, но тот отмалчивается. Видно, другие у него сейчас мысли.



— Ну что ж, вижу — обустроились вы маленько, — поднимается он. — Настроение вроде бодрое... — Помолчав немного, политрук поворачивает голову к полю, вглядываясь в Овсянниково. — Как ваша родная деревня называется? — обращается он вдруг к Рябикову, находящемуся как всегда при Коншине.

— Костенево, — отвечает тот с некоторым недоумением. — А что?

— Небось такая же деревенька? И избы такие же? — продолжает политрук.

— Похожа...

— Так вот, товарищи... В бою будет страшно, очень страшно, но чтоб этот страх перемочь, думайте-ка вы вот о чем: Овсянниково — твоя деревня, в ней твои родные под немцами мучаются. Понимаете? Легче будет, страха меньше, а злости больше. Поняли, ребятки?

— Чего не понять, товарищ политрук, — отзывается Рябиков. — И так глядишь на это Овсянниково, думаешь: русская деревня-то, а под гадом фашистом. Сердце кровью обливается, мое же Костенево тоже под ним.

— Выбить надо гадов оттедова. Выбить! Это мы знаем, товарищ политрук, нас агитировать не надо, вы скажите — как с огоньком будет? Танки как, будут ли в поддержку? — ожесточенно говорит один из «бывалых» с седой щетиной на лице.

— Да, надо выбить, товарищи... Танки, по-моему, на подходе. Будет, наверно, и артиллерийская подготовка, — политрук обводит глазами бойцов и видит, что у всех один вопрос: сегодня ли в наступление? Но он и сам не знает, что решит начальство, поэтому замолкает.

— Что-то вы не очень уверенно говорите, товарищ политрук, — начинает тот, с седой щетиной. — Я же вторым заходам на фронте. Кое-чего повидал. Без хорошего огонька тут делать нечего. Видали, сколько их не дошло-то? То-то и оно...

— Скоро придет командир роты, он скажет точно, — политрук поднимается.

— Вас проводить? — спрашивает Коншин.

— Не надо.

Но Коншин все же провожает до оврага... Политруку за тридцать. Для Коншина — почти старик. Наверно, женат, имеет детей. До войны как будто работал кем-то в райкоме, инструктором видимо... У него красноватое обветренное лицо деревенского жителя, морщинистое не по годам. На формирование его прислали за неделю до от-

правки на фронт, и поэтому Коншин мало его знает, не так, как Кравцова, с которым почти полтора месяца вместе. Но по тому, как без колебаний перемахнул политрук овраг, видно — не трус.

И сейчас, так же спокойно, как и в первый раз, легкой трусцой перебегает он простреливаемое место, машет Коншину рукой и скрывается между деревьями на той стороне оврага.

Опять взвод без начальства. Опять все на плечах Коншина. Надо бы дать приказ окапываться, но не знает он, оставят ли здесь или перекинут взвод? Да и не берут малые саперные мерзлую землю, хоть что делай! А ямки небольшие в снегу и так почти все выкопали, но толку от них чуть, одно самовнушение, ну и для порядка.

Командир первого отделения, старший теперь помкомвзвода, приглашает Коншина в только что сооруженный шалашик.

— Погреемся, командир, малость, покурим,— говорит он, пропуская Коншина вперед.

В шалаше тепло, дымно... Не успел Коншин курнуть два раза, как кидает его в дрему. Глаза закрываются, и проваливается он куда-то, где нет ни этого поля, ни развороченной земли, ни минометного обстрела, ни наступления впереди... Ничего нет. И побыть там, где ничего нет, хоть несколько минут, видимо, просто необходимо всем им, потому и сержант засыпает, не докурив сигарку, и красноармеец, который с ними,— тоже.

Но ненадолго это. Как провалились в небытие, так и вырвались из него — прострекотала пулеметная очередь над оврагом. Видно, идет к ним кто-то...

Пошли с сержантом туда. По дороге проходят мимо группировки бойцов, человек пять, сбились в круг, курят, один из «бывалых» что-то рассказывает, слушают без улыбок.

— Товарищ командир, где же лейтенант наш? Может, и правда к немцам ненароком попал? — спрашивают Коншина.

— Убит Четин... За оврагом на тропке лежит,— не сразу отвечает Коншин.

— Уже... — протягивает кто-то и поеживается. Поеживаются и остальные.

— Мальчонка совсем,— вздыхает другой.

На этом разговор о Четине прекращается, и Коншина удивляет, что эта первая смерть людей не поразила, что приняли они ее более или менее равнодушно... И он начи-

нает понимать, что смерть здесь — это совсем другое, чем в обычной жизни. Вспомнилось, как переживали они гибель своего однополчанина, придавленного сошедшим с рельсов вагоном, как несколько дней ходили потрясенные случившимся... Здесь же, видать, все не так. Да и сам Коншин — разве уж так сильно затронут этой смертью? Да, конечно, в первые минуты было больно и жалко Четина очень, а сейчас кажется это обыкновенным, и, видимо, потому, что каждого здесь может убить в любое время и если каждую смерть переживать — сердца не хватит.

У оврага никого нет... Наверное, просто так прошлись немцы очередью. В шалаш уже не тянет, и Коншин с сержантом бродят по леску, меряя его без толку шагами — туда-обратно. Не велик лесок. На тыльной стороне его заметили подбитый танк с развороченной башней и удивились силе взрыва, который такую стальную махину искорежил начисто. «Что же с танкистами?» — представилось сразу. И потянуло курить.

Не только Коншин с сержантом маются в ожидании... Весь взвод, по двое, по трое слоняются по передовой. Сидеть в шалашах или валяться под елками уже невмочь. Пять шалашей соорудили, но не знают, стоит ли еще? Может, погонят их с этого места вскорости? Лучше бы, разумеется, оставили здесь. Вроде бы привыкли уже. Но никто ничего не знает. Начальства нет, взводный убит, а помкомвзвода Коншин, который теперь за командира взвода, хоть парень и ничего, но тоже бродит по передку как в воду опущенный, губы сжаты, в глазах смуть, тоже на войне по первому разу... На Урале-то, на формировании, гонял взвод дай боже, и тактику, и рукопашный, в общем, давал жизни, но пригодится ли здесь все это — вот задача. Разве эти, что на поле лежат, в снег уткнувшиеся, не обученные? Но не прошли и половины пути. Короче, выяснилось в общих разговорах, что жить здесь можно, лишь бы куда не трогали...

Но тут опять стрекочет очередь у оврага, прислушиваются, к ним кто-то бредет. И верно, через несколько минут появляется ротный. Шинель в снегу. Видно, когда овраг переходил, уложили его немцы в сугроб.

— Ну как, ребятки? — спрашивает Кравцов без нарочитой бодрости, по-душевному.

Ребята мнутя, кто плечом пожмет, кто пытается улыбку соорудить, да не выходит, кто в землю взглядом утыкается — а чего отвечать?

— Понимаю,— говорит ротный, обводя всех глазами.— Ничего, привыкните помаленьку. Отойдем-ка, Коншин, в сторонку,— отходят.— Видал Четина?

— Видал.

— Принимай взвод по-настоящему. На отделение толкового бойца поставь.

— Сделано, товарищ старший лейтенант.

— Ну и лады тогда...— разговор вянет.

Кравцов просит махорки, видно, хочет продрать горло по-настоящему, комсоставу — легкий дают табак, «Беломор». Завертывает, затягивается.

— Почему они не прошли? — кивает Коншин на поле.

— Спроси чего полегче,— хмурится Кравцов.

— А мы... мы пойдем? — наконец решается Коншин на главный вопрос.

— Наверно,— отрывисто и как-то раздраженно отвечает Кравцов,— настраивайся на это, ну а людям... людям пока не говори.

Проходятся они по пятаку, осматривает ротный участок второго взвода, покачивает головой, кривит губы, потом говорит Коншину:

— Выдели двух бойцов Четина захоронить... Ну, я пошел. В случае чего пришлю связного.

Коншин приказывает двум бойцам идти за овраг к Четину, и те отправляются вместе с Кравцовым. Опять слышна пулеметная дробь — наблюдают немцы за этим местом здорово.

После ухода ротного расползаются люди по шалашикам, надоело без толку бродить. Повились дымки, но немцы на них внимания не обращают, мины не бросают, и народ совсем осмелел — костры и вне шалашей разжигают. Томит всех не только ожидание, но и голод. Почти сутки прошли, как пищу не принимали, но ясно всем, раньше ночи не доставят, так что ничего не остается, как пояса потуже затянуть да куревом аппетит отбивать. Правда, говорят, что в наступление лучше с пустым брюхом идти, тогда ранение в живот не так страшно, но пожевать все же хочется...

Во всем взводе часы только у Коншина имеются, и, взглянув на них, видит он, что к двенадцати подваливает. Шесть часов, как они здесь, а время-то пролетело совсем незаметно.

Один из «бывалых», рядом оказавшийся и увидевший, сколько времени, облегченно вздыхает.

— По всему, не будет наступления, командир. Мы, как

правило, на рассвете в бой ходили. Времени впереди целый день, значит, ежели овладеем, можно оборону немецкую переоборудовать и немецкие атаки выдержать, да и немцы на рассвете сонные, в блиндажах припухают, пока к окопам выскочат, можно половину пути пройти... А в середине дня кто же наступать надумает? Не дело это. Считайте, что этот день и ночка — наши. Пойдем, видать, завтра на рассвете.

Не очень-то верит Коншин этим словам, но верить хочется, и немного от сердца откатывает, заворачивает самокрутку без дрожи в руках и затягивается со вкусом. Одна у них сейчас радость: у каждого по полной пачке махры, дымить пока можно взахлеб, дня на два должно хватить, а загадывать и на них нельзя. Потому от каждого тянется густой махорочный дым, сигарки изо рта не выпускают.

Около одного шалаша Коншина окликают:

— Кипяточку не хотите, товарищ командир? — протягивают кружку.

Обжигаясь, пьет Коншин, и хорошо идет горячая водичка. Наполняет пустой желудок, согревает тело. Сейчас бы сахарком закусить — и было бы совсем ладно, но зря обшаривает он карманы — не завалялось в них ничего, пусто, кроме махорочной пыли, не нащупывают пальцы ничего.

Глядят ребята на него жадно — не сказал ли чего ротный определенного насчет наступления, но Коншин делает вид, что взглядов тех ждущих не замечает, — зачем раньше времени людей тревожить, что будет, то будет. Хватит того, что сам знает, что у самого под ложечкой пустота какая-то. Отмалчивается Коншин, но, конечно, скрыть все на своем лице не в силах, и по нему видят люди, что впереди у них то, о чем задумываться неохота, что гонишь из головы, но поле-то перед ними, и — хочешь не хочешь — мысли идут: кому из них лежать сегодня на этой развороченной снарядами земле, не мне ли?

Так проходят еще часа два, к двум стрелки коншинских часов подбираются... Да, пожалуй, и вправду не будет наступления, куда это в середине дня топать? И немного от сердца отлегают, чуток ребята подобрели. Если до этого разговоры вели скупые, то сейчас поживее пошли. Смешков, конечно, не слышать, но говорят уже в полный голос, не тем сдавленным шепотом, как поначалу.

И тут совсем неожиданно, так как пулемет немецкий молчал, прибывает от ротного связной.

— Командиру второго взвода приказано перейти со взводом к землянке помкомбата,— говорит он Коншину.

Значит, всем взводом через овраг, в ту главную рощу... А как переходить, когда светло, когда наблюдают немцы, когда по одному человеку пулеметом кроют? Для чего — об этом Коншин сейчас не думает. Там ли будут сосредоточивать роту для наступления или просто передислокация взвода, не это сейчас главное. Главное, как этот овраг без потерь перемахнуть? Ну хорошо, одно отделение немец вдруг проморгает, но после этого уже следить будет неотрывно и другое встретит уже верняком, как только рыпнутся...

Собирает он отделенных.

— Как, товарищи, переходить будем? Не махнуть ли сразу всем взводом?

Сморщили лбы отделенные — думают. Потолковали, порядили и решают — всем взводом, в один заход, одним рывком, а для этого вытянуть взвод в одну шеренгу перед оврагом, чтоб при беге друг дружке не мешать, и с маху...

Сообщают командиры отделений об этом бойцам, те тоже задумались... Больно неохота уходить отсюда. Вроде чего жалеть? Деревца тут тоненькие, не очень густо растущие, землянок нет, окопов тоже, только шалашики, наскоро сляпанные, но стал уже для них этот кусочек земли вроде родным, свыклись с ним, как-то устроились, и покидать его — нож острый. А главное, только одного тут убило, никого не ранило, так бы и жить здесь, но нет — приказ...

Выстраиваются люди перед оврагом, почти весь лесок в ширину заняли, друг на друга поглядывают — кому счастье выпадет на ту сторону живым добраться, кому нет? Коншин предупреждает — как перебегут, сразу залечь, дальше не бежать — и командует:

— Приготовиться... Марш!

Подгонять никого не нужно, махнули что есть мочи. Может, две-три секунды был взвод на виду и сгинул, залег на той стороне оврага, отдышивается. Опаздывает немец с очередью, но слышат люди — мины завыли. Тут уже приказа не надо, сами перебежками бросились вглубь от оврага подальше. А там уже поднимаются и поотделенно, змейкой, к землянке помкомбата двигают.

В центре рощи и первый взвод, и третий, а подальше и вторая рота. Народа много. И вроде бы повеселей должно стать, но чувят люди, что собирают их вместе не зря, что-то готовится, а что может готовиться, кроме на-

ступления? Посматривают на поле, и кажется всем, что до деревни той, немцами занятой, не восемьсот метров, как Коншин на глаз подсчитал, а много больше — ведь еле-еле домишки проглядываются, да и день этот, серый, промозглый, тоже видимости не прибавляет.

Кравцов, помкомбата и командиры других рот стоят у землянки, покуривают и тоже взглядами на поле.

Коншин ремень подтягивает и направляется к Кравцову для доклада и не то по привычке, не то для того, чтобы показать свою выдержку начальству, переходит почти на строевой шаг. Во всяком случае ножку держит. Но ротный останавливает его рукой, хотя и глядит одобрительно.

— Располагайте взвод,— говорит он, а потом, чуть усмехнувшись, берет помкомбата за рукав: взгляни, дескать, какие у меня орлы.

Помкомбата кидает рассеянный взгляд на Коншина, но быстро отводит — не до того ему, видно, брови нахмурены, губы в ниточку сведены.

Что знает Коншин о помкомбате? Да почти ничего. Когда на формировании были, заставляли их, бывших студентов, командирские удостоверения заполнять, вот и помнит, что с двадцать второго года тот. Для Коншина все те, кто моложе его на год-два, кажутся мальчишками. Сам он с двадцатого, ну и стаж армейский почти три года... Конечно, лучше бы помкомбата Кравцов был: и в летах, и второй раз на фронте, но командиров в армии не выбирают.

Коншин, увидев Чуракова и Пахомыча, направляется к ним.

— Ну, что, ребятки, тут заваривается?

— Для чего сюда пришли, то и заваривается,— хмуро, но спокойно отвечает Чураков и добавляет свое обычное: — Живы будем — не помрем.

— Будем ли? — с тоской и чуть слышно говорит Пахомов.

— Слякоть не разводи. Навалимся всем батальоном — пройдем запросто. Только — прав батальонный — вести огонь надо с ходу непременно, — произносит это Чураков спокойным баском, как-то уверенно, и становится Коншину после этих слов легче. Захотелось даже, чтоб уж скорей наступление началось — была не была, а то уж больно ожидание замучило.

Он хлопает Чуракова по спине:

— Молодец, Иван. Тебя не прошибешь. Завидую.

— А что прошибать? Сами докладные писали, а знали ведь — не на гулянку напрашиваемся, на войну... Вот и пришли, воевать.

— Ну бывайте, ребята, я к своему взводу пойду,— Коншин еще раз хлопает Чуракова по спине.

— Бывай, Алеха...

Из землянки помкомбата выскакивает связист:

— «Волга» вас, товарищ лейтенант.

Помкомбата, закусив губу, бросается в землянку. Кравцов и остальные ротные подходят ближе, напряженно вслушиваются.

Андрей Шергин сидит под елью и сосредоточенно смотрит на поле. Коншин идет к нему, присаживается рядом. Шергин только мельком бросает на него взгляд и ничего не говорит. Коншин заворачивает сигарку и тоже молча тянется к Шергину — прикурить.

— Про письма не забудь,— наконец произносит Шергин.

— Не забуду.

И опять молчание. Почему-то не находит слов Коншин. Видно, потому, что отчужден Шергин, весь в своих мыслях и далек как-то от него. Но все же немного погодя спрашивает:

— Как обстановка на твой взгляд?

— Обыкновенная,— не сразу отвечает Шергин.— Вот по этой балочке, что от оврага тянется, я до середины поля дойду без больших потерь, а там... Там не знаю... Там, наверно, надо рывок. Но останутся ли у людей силы...

— Ты думаешь, что мы сможем взять эту деревню все-таки?

Шергин долго не отвечает. Несколько раз затягивается махрой, потом медленно, отчеканивая каждое слово, говорит:

— Я должен со своим взводом войти в нее первым...

Коншин невольно отшатывается. И смысл слов, и тон, каким они сказаны, поражают его. Ему начинает казаться, что Шергин невменяем, что он целиком захвачен какой-то именно своей целью и ничего другого для него не существует. Коншину становится даже как-то не по себе.

— Почему — должен?

Шергин поворачивается к нему, внимательно смотрит, затем говорит:

— Разве ты не понял? Адрес на письмах...



— Да... Я хотел спросить... Постеснялся.

— Мой отец — бывший комбриг... И я должен... должен доказать... Понимаешь?

— Понимаю, — Коншин действительно понимает, что Шергин в этом бою будет воевать так, как никто из них...

Между тем выбирается из землянки помкомбата, и его сразу обступают ротные. Коншин поднимается и идет туда. Совсем близко подходить неудобно, но ему так важно знать, что же теперь, после звонка комбата. Он подбегает как можно ближе и становится за дерево.

— Так нельзя! — слышит он голос Кравцова и видит, как тот резко взмахивает рукой.

— Так нельзя говорить, старший лейтенант! — обрывает его помкомбата, стараясь придать уверенность и начальственность своему голосу, но Коншин не может не видеть, что тот растерян и как-то весь смят.

— Виноват, — продолжает Кравцов. — Но ведь и дураку ясно... Не в бирюльки же играть будем. Танки-то хоть будут?

— Нам приданы два танка. Они уже здесь. Короче: это приказ — и обсуждать его нечего.

— Да, конечно, — говорит командир второй роты. — Но если не будет артподготовки, может, перенести на завтрашнее утро. Подберемся затемно, а на рассвете навалимся?

— Приказано наступать сейчас, — уже с каким-то отчаянием говорит помкомбата. — Вы же поймите — это решение не комбата и даже не командира бригады... Это свыше.

— А там свыше знают, что боеприпасов нет? Почему, кстати, их нет? — замечает командир второй роты.

Кравцов тяжело и длинно матерится, а потом режет:

— Чего пустое молоть. Давайте решать.

Помкомбата как-то сжимается, губы кривятся, и ротные понимают, как трудно ему решиться... Он же, как и они, прекрасно понимает, что пройти это заснеженное поле, окруженное тремя деревнями, занятыми врагом, и с трех сторон насквозь простреливаемое, батальону без поддержки артиллерии — почти невозможно. Смутная догадка, мелькнувшая еще в землянке при разговоре с комбатом, что не наступление это, а какой-то маневр, может быть, разведка боем, опять пробегает в мыслях, и он вдруг, почти неожиданно для себя решает.

— Товарищи,— почти шепотом начинает он.— А если так? Пустим один взвод... для пробы... Если потери будут большие — отведем обратно. Ну как?

Ротные молчат... Конечно, потери будут большие. Конечно, один взвод просто погибнет на этом поле... Но ведь один взвод — не батальон, не рота...

— Ну как, товарищи? — опять спрашивает помкомбата и вытирает пот со лба.

— Чудно как-то... — схватившись за подбородок, говорит Кравцов.— Вы бы нам, лейтенант, настоящий боевой приказ дали... Сведения о противнике, соседи и прочее, ну как положено. А так что? Самодеятельность какая-то получается...

— Именно,— подтверждает командир третьей роты и сплевывает сигарку.

— Нет сведений о противнике, нет никаких соседей, наступать будет только наш батальон. Понимаете? — выпершивает помкомбата.

— А ты-то сам понимаешь? — в сердцах бросает Кравцов, перейдя на «ты», на что помкомбата не обращает внимания и снова вытирает лоб платком.

— Ну как, товарищи? — повторяет вопрос помкомбата.

Это уже не бравый двадцатилетний лейтенант, а молодой человек с почерневшим, искривленным лицом и потухшим взглядом.

— Решай сам. Наше дело приказ выполнять,— Кравцову и жалко помкомбата, и злость берет — поставили паванов...

До Коншина, слышавшего весь этот разговор, дошло только одно — «взвод на пробу»... И на эту пробу может пойти его взвод! Остального он не понимает — ни соображений помкомбата, ни возражений Кравцова. Только одно — «взвод на пробу, взвод на пробу...» И вдруг — самое страшное — слова помкомбата...

— Хорошо, решаю. Командиру первой роты выделить взвод.

Коншин обмирает и упирается взглядом в спину своего ротного — только не второй, только не второй, только не мой... Бьется, раскалывая голову, лишь эта мысль — только не мой, только не мой...

Кравцов не торопится... Он опускает взгляд в землю и думает. Каждый взвод для него одинаково дорог, в каждом живые люди... Да и не обойтись взводом, даже если это разведка боем. Немцы не дураки, чтобы открывать

свои огневые точки ради одного взвода... Придется ротой идти, а может, и всем батальоном...

Коншин, уже не таясь, выходит из-за дерева и глядит на Кравцова отчаянным, наверно, полубезумным взглядом, и тот, почувствовав, оборачивается, сталкивается глазами с ним, понимая, что слышал тот все... И не сразу, а еще подумав немного, с трудом выталкивает из себя:

— Пойдет... первый взвод.

— Действуйте! — с облегчением выдохнул помкомбата. Наконец-то что-то решилось.

Коншина окатывает какая-то сумасшедшая, стыдная радость и смывает с тела сковывавший до этого холод... «Не мне идти, не мне... Слава богу, не мне...» — бормочет он про себя, не понимая еще, что это — отсрочка, только небольшая отсрочка... Но радость расплзается по душе, и не может он ее погасить, хотя понимает, что радость эта гадка, потому как на смерть пойдет другой, пойдет Шергин... «Неужели я такой подлец, неужели?..» — шепчет он про себя, но эти слова не сбивают того невероятного облегчения, которое он чувствует.

— Командиры взводов, ко мне! — раздается сдавленный голос Кравцова и срывает Коншина с места, но первым подбегает к ротному Шергин и вытягивается по стойке «смирно».

И вот они трое — Шергин, Коншин и командир третьего взвода, молоденький, высокий лейтенант с чуть-чуть подрагивающими губами, — стоят перед Кравцовым. И спокойней всех на вид — Шергин, на которого Коншин не может смотреть.

— Так вот, ребята, первая рота получила приказ на наступление. Слева от нас пойдет вторая рота, третья пока в резерве... Задача — как можно быстрее сблизиться с противником и уничтожить его в рукопашной схватке. Сигналы уставные... В случае чего роту принимает Шергин, — Кравцов говорит спокойно, будто на учении, и только последние слова выдавливают с натугой. — Кстати, первый взвод двинется первым, вон по той ложине, которую ты и наметил, Шергин...

— Ясно, — чуть дрогнувшим голосом отвечает тот.

— Поставить задачу перед отделением и выдвинуть людей на исходный рубеж. Все понятно?

— Да... понятно... — еле слышно подтверждают взводные.

Вот и свершилось! Вот и наступило то, к чему готовили они себя годы в кадровой. Грянет сейчас первый для

них бой! Как поведут они себя? Что будет? Добьются ли победы? Из всей роты только Коншин знает, что, если потери первого взвода будут очень большими, наступление, может быть, отменят. Для Шергина же и командира третьего взвода все отрезано, у них впереди только это белое поле, только оно, кажущееся бесконечным, и черные треугольники крыш занятой немцами деревни, к которой они сейчас побегут и которую должны взять.

— Шергин, держи,— отдает Кравцов ему карабин.— А мне бы винтовочку со штыком, смени у кого-нибудь.

— Вам «токаревку»?

— Нет, нашу, образца... К ней привык...

Действительно ли думает Кравцов, что дойдет до рукопашной, или так, для поддержания их духа и веры меняет он свой карабин на винтовку — об этом никто не знает, но впечатление нужное производит.

Шергин ведет свой взвод к оврагу, Коншин — к краю леса левее, а еще левее располагается третий взвод. Дальше — вторая рота, но ее не видать. Оттуда же, слева, слышно урчание танков и треск ломающихся деревьев. Значит, выходят на исходные позиции, значит, будет им поддержка.

А там, на немецкой стороне, никакого движения. Угрозно и молчаливо глядят избы с пригорка. Сзади темной полосой невысокий лесок. Что же будет сейчас, когда выйдет на поле взвод Шергина? Что?

Уже наготове он, пока скрытый деревьями, но вот-вот выбежит он на поле, нырнет в лощину, которая скроет его на время от немцев... Но лощина, наверно, пристрелена минометами, вспоминает Коншин слова ротного.

— Сержант, туда можно перейти? — спрашивает Коншина подошедший сзади старший лейтенант и указывает рукой через овраг, на тот лесок, в котором недавно они находились.

— Можно, только бегом. Простреливается,— отвечает Коншин.

У старшего лейтенанта пушечки в петлицах, на шее висит бинокль, в руках раскрытая планшетка с картой. Наверно, будет засекать немецкие огневые точки, думает Коншин и смотрит, как старшой перемахивает через овраг,

Кравцов сам не знает, почему выбрал он первый взвод. Да и выбирать-то было не из чего. Коншина, слышавшего разговор, посылать нельзя было, а этого молоденького



АС-24

лейтенанта — не хватило духу. Вообще вся эта затея с «пробой» была поперек горла: помирать — так всей ротой, а так стоять и смотреть, как без толку гибнут люди, просто невмочь. И потому думал он, что опытный и спокойный Шергин, может, сбережет людей, может, как-то избежит уж очень больших потерь — и тогда... тогда поддержать его надо всей ротой... Стыдно же иначе. Да и как же иначе?

«Ну, Дуська, — говорит он про себя, — останешься вдовой, нагуляешься вдоволь, если мужики останутся. Может,

тогда и поймешь, что был у тебя муж неплохой, что любил тебя... Так тебя вряд ли кто полюбит, побалуются — и в сторону. Покусаешь еще локти... Да ладно,— перебивает он себя,— чего это вздумал хоронить прежде времени. Поживем еще, повоюем». Он кладет руку на плечо Шергина.

— Давай, Шергин, двигай. Как из лощины выйдешь, веди огонь что есть сил. Патронов не жалея. Оттуда уже будут видны немцы, понял?

— Есть. Первое отделение — вперед! — и Шергин, обгоняя людей, бросается на поле.

За ним цепью рассыпаются сперва первое, а потом и остальные отделения и, пробежав несколько десятков метров по полю, ныряют в лощину. Не очень-то она глубока, но все же скрывает... И сразу же треск нескольких пулеметов и завывание мин. Потом над взводом в воздухе рвется что-то — раз, два... четыре, а дальше уже не сосчитать...

Небольшие серые облачка почти неподвижно висят над лощиной... Бризантные, думает Кравцов, представляя, как сверху на головы и спины людей летят раскаленные кусочки металла, от которых уже не спастись ничем...

Время перестает существовать для Коншина. Он стоит за большой елью и не сводит глаз с шергинского взвода. Ему даже невдомек, что надо бы лечь, потому как пули шаркают по лесу, взывают над головой, и отделенные без его команды укладывают людей у кромки леса. Подоаль, тоже за елью, стоит Чураков, он на правом фланге своего, третьего взвода, а его лейтенант на левом. Он тоже не спускает взгляда с поля, на котором мечется первый взвод, и, пожалуй, только сейчас в его душу холодной противной струйкой вливается страх.

«Не так все делается, не так», — думает он и сжимает свой тяжелый кулак, стараясь придавить легкую дрожь в пальцах, и ему хочется не быть одному. Он оглядывается — Пахомыча нет, он со своим отделением левее, а Коншин тут, рядом. Надо к Алехе, решает он, резким движением выбрасывает тело и в несколько прыжков достигает Коншина, хватает его за руку. Тот секундно отрывается от поля, слегка пожимает пальцы Чуракова.

— Иван?

— Я... Вдвоем веселее.

— Да... Лучше.

Конечно, лучше, только ствол дерева не укрывает их двоих, а пули-то рыскают по роще...

От первого взвода тянутся первые раненые — кто бегом, придерживая простреленную руку, кто ковыляет, припадая на раненую ногу. Носилок на роту четыре штуки. С одними санитары, подгоняемые санинструктором, бегут вдогон первому взводу и через некоторое время обратно — тащат тяжело раненного.

— Если потери будут большие — взвод отведут и наступление отменят, — говорит Коншин Чуракову.

— Откуда знаешь? — удивляется тот.

— Слыхал.

— Точно?

— Точно.

— Дела... — протягивает Чураков. — Это ж ни в какие ворота не лезет, — и чувствует, что какая-то постыдная надежда заползает в душу, — выходит, может, нам и не придется?

— Может. Но как глядеть на это?

— Да... — Чураков раздражается длинным ругательством.

Подбегает Кравцов и бухается под ель.

— Чего столбами стоите? Ложись!

И вот они втроем лежат около ели и видят, как из ложины, уже на поле выбегает Шергин, падает и, лежа, взмахом руки подтягивает людей. Появляются еще двое, трое, потом еще, еще, рассыпаются цепью и открывают огонь. Их стрельба почти не слышна в грохоте разрывов, треске разрывных пуль, которыми засыпали немцы их расположение, но огоньки из стволов видны.

— Молодец Шергин-то... — протягивает Кравцов, и не поймешь — одобрение в его словах или боль какая-то.

— Мы пойдем? — не может скрыть дрожи в голосе Коншин.

Кравцов не отвечает, только смотрит долго, а потом, чуть скривив губы в улыбке, тихо говорит:

— Ничего, держитесь, ребятки... — поднимается и тяжелой рысцой отбегает от них к землянке помкомбата.

Лежа им плохо видно поле, и потому они встают — у каждого полтуловища закрыто стволом, а половина открыта.

Шергин поднимается, что-то кричит и бежит вперед. За ним — взвод. Но теперь-то уже видно, как мины рвутся прямо среди людей. Видно, как раненые отползают назад, видно, как некоторые лежат уже недвижно... И вдруг Шергин падает!

— Видишь, Иван?

— Вижу.

К Шергину подползает кто-то из бойцов. Наверное, его связной Сашка. Склоняется над Шергиным, что-то делает. Поле окутано дымом от разорвавшихся снарядов, мин, и потому видно плохо.

— Перевязывает,— говорит Чураков.

Ну, теперь вряд ли без Шергина взвод станет продвигаться, думает Коншин. Теперь надо его отводить. Скажу ротному, что Андрей ранен. Но что это? Шергин поднимается. Виден закатанный рукав телогрейки и бинты на руке. Еле слышен его голос — «вперед», и он опять бежит по полю, а за ним перебежками его поредевший взвод.

«Не надо, Андрей,— про себя бормочет Коншин.— Ты же не знаешь... тебя «на пробу» пустили. Не надо. Уходи с поля. Уходи. Тогда отведут и твой взвод. Уходи. Ты же ранен, ты же имеешь право...»

Но Шергин бежит и неизвестно как, но заставляет бежать за собой и свой взвод. Кучка людей на огромном поле. С трех сторон немцы, и с трех сторон огонь. Неужели Шергин не понимает, не видит, что его никто не поддерживает, что вот-вот должна быть команда «отход»?

— Надо отводить взвод. Смотреть нет мочи. Я к ротному,— говорит Коншин.

— погоди. Так и послушает тебя ротный. Да и не в нем дело,— кладет руку ему на плечо Чураков.

— Но нельзя же так. Он же тронутый, Шергин. Погубит себя, погубит людей...

Кравцов и помкомбата, тоже спрятавшиеся за стволом большой ели, смотрят на шергинский, барахтающийся под пулями и взрывами, взвод. Тот медленнее, чем раньше, но все же продвигается. Четыре одиноких цепочки, в которых по семь, восемь человек... Считай, половины уже нету, а прошли метров триста только, впереди еще ох как много... Сейчас взвод залег. Наверно, очень плотный огонь? Пора отводить, думает Кравцов, касаясь рукой спины помкомбата. Тот понимает его жест.

— Сейчас решим. Иду звонить комбату,— но тут опять взмetyвается с земли Шергин, а за ним и остальные.

— Герой,— бормочет Кравцов.

— Да. Надо представить к награде. К «Звездочке».

— Ему Героя нужно. Не меньше.

— Героя? — удивляется помкомбата.



Но Шергин опять падает. И не поймешь, ранило ли еще или залег?

Кто-то снова склоняется над ним. Значит, ранило второй раз, а может? Но нет, видно, как перевязывают его.

— Ну, хватит, Шергин! Давай обратно! — вырывается у Кравцова.

— Да, пожалуй, надо отводить... — помкомбата трогается к землянке, где телефон, но Шергин поднимается.

Хромая, он что-то кричит, машет рукой и идет вперед... За ним, перебежками, следует взвод.

— Хватит, лейтенант! Либо отводи, либо посылай в поддержку! — в сердцах выпаливает Кравцов, весь дрожа.

Помкомбата на миг задумывается, потом решительно режет:

— Да. Посылайте связных во второй и третий взводы — пусть начинают!

— А вторая рота пойдет?

— Да. Давайте скорее!

Когда связной от Кравцова подбегает к Коншину, тот стоит на коленях около лежащего Чуракова и рвет гимнастерку на его груди. Под левым соском небольшая дырка, крови совсем нет, и это вначале удивляет Коншина, а потом он понимает — Чураков мертв и кровь свернулась...

Отчаяние, какого не испытывал никогда в жизни, охватывает Коншина.

— Ваня, Ваня... Как же так?.. Иван, дорогой... Мы же три года вместе... Как же это?.. Иван... — бормочет Коншин.

Связной опускается рядом с ним.

— Товарищ командир... Товарищ командир...

Коншин непонимающе смотрит на него.

— Товарищ командир... ротный приказал — второму вперед, — шепчет связной.

— Что?.. Куда вперед? Зачем?.. — не доходит пока до Коншина.

— Наступать второму взводу... Старший лейтенант приказал, — повторяет связной.

— Наступать? — наконец понимает Коншин и взрывается: — Какого черта! Передай ротному, что мне не «вперед» нужно, а настоящий боевой приказ! Я три года в армии! Понял?

Связной убегает, а Коншин опять склоняется над Чу-

раковым. Нестерпимая боль рвет сердце... На миг представляет себя лежащим на поле, таким же недвижимым, как Чураков, и яростное желание повернуть время обратно пронизывает его. Он хочет — хочет так, как никогда и ничего не хотел в жизни, — очутиться сейчас в своем дальневосточном полку, откуда вырвала его поданная им докладная с просьбой на фронт... Но лишь на мгновение эта горькая вспышка. Он тяжело поднимается. Неужели он трусит? Да нет, не может быть! Нет, нет...

— Ты что, мать твою... — взвизгивает подбежавший Кравцов. — Какой тебе еще к черту приказ нужен?! — но осекается, увидев мертвого Чуракова. — Насовсем? — спрашивает уже тихо.

— В сердце...

Секунды две молчит Кравцов, а потом так же тихо:

— Ты же слышал, какой приказ мне помкомбат отдал... Не до устава тут. Понял? На до, браток, надо... Давай, двигай, — и подталкивает легонько в спину. — Как тебя звать-то, запомятовал.

— Алексей.

— Давай, Алеха, давай... Сейчас танк двинет, — он еще раз подталкивает Коншина.

Тут уже все! Обратного пути нет! В голове пусто, в душе тоже, будто выпотрошено... Не помнит Коншин, как подбегают к нему вызванные Рябиковым отделенные, как говорит он им что-то, выдумывая на ходу боевой приказ, как, развернувшись в четыре цепочки, бежит его взвод по полю, как сам делает первый шаг из леса, а потом, голова «вперед», обгоняет людей, как слышит слева «ура» и видит бегущую за танком вторую роту, какого-то капитана, кричащего «За Родину, за Сталина!», а потом и комсорга батальона, который, обгоняя капитана, кричит то же... Все словно в тумане, словно в дыму... Да и верно, в дыму, который стелется над полем и едко пахнет серой.

— Куда? — останавливает Коншин ползущего назад бойца, вроде бы никуда не раненного.

— В пах попало... Не знаю, чего там, но боль зверская...

— Иди, — бросает Коншин, а самого обжигает — вот ведь куда ранить может.

Невольно сдерживает он ход, потом падает, сдвигает малую саперную пониже, но когда поднимается и продолжает бежать, видит, что мешает лопата бегу, и подтягивает обратно.

Кравцов и политрук стоят у кромки леса и напряженно смотрят на первый и третий взводы, на которые немцы перенесли сейчас огонь со второго взвода. Тот пока залег, и только несколько раненых — кто ползком, кто перебежками — подавались назад, к леску.

— Шергин-то уже дважды ранен, а не уходит...— говорит политрук.

— Зря я его, наверно, первым послал.

— Почему зря?

— Так... Ты ведь не знаешь, что у помкомбата решено было?

— Не знаю.

— Ну и знать это теперь не надо... Идти надо, комиссар. Помирать — так всем и с музыкой...— Кравцов чуть усмехнулся.

— Не торопишься ли помирать, старшой?

— Не тороплюсь. Но как жить буду, ежели живой останусь, не знаю.

Они молчат еще некоторое время, потом Кравцов затягивается в последний раз сигаркой, резко бросает ее и зачем-то долго затаптывает сапогом в снег.

— Пошли, что ли? Ты к шергинскому взводу иди по оврагу, там раненых много, выносить надо, а я вслед Коншину...

— Стоит ли? Разве не видишь? — протягивает политрук.

— Вижу! Захлебывается наступление. Но того и ожидать следовало. Все вижу! Но люди-то наши там... Понимаешь — там! И мы должны...

— Да, должны... Пошли.

Они вместе выходят на поле... Политрук подает вправо к ложине, а Кравцов неспешной трусцой бежит догнать коншинский взвод.

«Ну, Дуська,— говорит он себе,— видать, не свидеться нам больше. Прощеваться надоть...— переходит он на деревенские родные слова, от которых отучался все армейские годы.— Такое, видишь, дело получается...— и почему-то перекладывает винтовку из правой руки в левую, а пальцы правой сами собой складываются щепотью. Он усмехается:— Надо же... Партийный же я. А перекреститься вроде охота...» — усмехается еще раз, перебрасывая винтовку опять в правую руку...

И тут оглушает его разрыв... Какой-то миг видит он покачнувшееся небо, а потом страшная черная темень закрывает все... И остается лежать на желтом грязноватом

снегу, раскинув руки, крестьянский сын, кадровый командир Красной Армии, старший лейтенант Кравцов... А его рота, не зная еще о гибели своего ротного, продолжает бежать дальше, задыхаясь в матерных вскриках вперемежку с «ура», подставляя свои груди пулеметному граду, то падая, то вставая, подстегиваемая хриплыми жестокими командами — «вперед... вперед...».

На одну секунду сталкивается Коншин глазами с рядовым Савкиным, когда делает рывок, обгоняя людей, и видит в них то же — думайте, командир, думайте, хоть и трудно это, но думайте... Куда там думать? Несет Коншина вместе с людьми по полю, и из всех мыслей только одна вроде дельная — добежать до подбитого танка, а там подняться в рост за ним, осмотреться, может, разглядеть, что в немецкой обороне, хоть увидеть, куда вести огонь, а то что? Попыхивают они винтовочными выстрелами, а куда? Из автоматов вообще огонь не ведут — разве достанешь?

Связной Коншина — Рябиков, паренек невысокий, но плотненький, из кадровых пехотинцев, не отстает, бежит вровень, от мин особо не шарахается, каждой пуле не кланяется. Не ошибся в нем Коншин, когда думал, что воевать тот будет хорошо.

Оборачиваясь, видит Коншин, как тает его взвод, как ползут назад раненые, как замирают на поле убитые... Не дойти нам до немцев, думает он, а если и доберемся, то несколько человек, куда врукопашную, с кем? Но нет приказа на отход. Значит, прежний приказ в силе, значит, нужно вперед...

И тут видит он, как правее его, метрах в ста, волокут по снегу двое бойцов окровавленного Шергина. Надо к нему, может, помогу чем. Коншин бросается вправо длинными перебежками. Добегает, падает рядом:

— Живой?

— Покамест да,— отвечает шергинский связной Сашка, потный, весь в крови и грязи.

— Куда его?

— В грудь.

— Тащите скорее — и сразу в санвзвод. Прямо сами, не ждите санитаров. Скажите, я приказал.

Такого белого, без кровинки, лица, какое было у Шергина, Коншин никогда не видал. Белыми были даже губы.

— Я все сделал, Коншин, все... — приоткрывает глаза Шергин. — Все, что мог... все...

— Тащите, ребятки,— повторяет Коншин, и тут близкий разрыв мины отбрасывает его в сторону.

На спину падают комья земли, он ощупывает себя, вроде крови нигде нет и нигде не больно — пронесло, значит. Только чуть шумит в голове. Но он не может подняться, словно что-то сразу скосило силы, тело обмякло — не заснуть бы, пронесится мысль, но глаза непроизвольно закрываются.

Подползает отставший немного Рябиков:

— По цепи передают — командиру второго взвода принять роту.

— Что? Убило ротного?

— Не знаю. По цепи приказ помкомбата.

Роту? Это встряхивает Коншина. Роту? Ему — роту? Вдруг сразу прилив сил. Откинута мысль о себе. Ему — роту! Он отвечает за роту. Что же делать! Уткнуть людей в снег и ждать приказа на отход? Ведь видит же помкомбата — захлебнулось все, захлебнулось... Нельзя больше вперед! Если еще продвинемся, на обратном пути немец перебьет всех! Надо остановить роту! Но приказа-то нет! Что приказ, видно же — провалилось все. Идти дальше — лишние потери!

Он чуть приподнимается, вскидывает руку, резко опускает ее и кричит: «Лежать! Всем лежать!»

Но слева, где за танком двигается вторая рота, еще кричат что-то, еще видится какое-то движение. От танка люди оторвались, и тот начинает разворачиваться. Рядом кусты разрывов.

Но Коншин лежит. Лежит и взвод. На глаза попадает боец с минометом.

— Почему не ведешь огня? — набрасывается Коншин.

— Так мин нема.

— Какого же хрена ты тащишься с ним. Ползи назад! Кому ты нужен с этим самоваром.

— Так приказано же было.

— Катись отсюда!

И тот смешно, задом, начинает пятиться обратно. Коншин разряжает себя матом. Наползает тяжелая злость на все — на себя, начальство, на все, что творится вокруг. Рябиков лежа заворачивает сигарку и протягивает ее Коншину:

— Покурите, командир.

Коншин с остервенением тянет в себя вонючий дым махорки, закашливается и если не успокаивается, то чуть остывает — а ну все к чертовой матери, не пойду

дальше, хоть режь, не пойду. Какое-то безразличие ко всему охватывает его, и опять усталость наливает тело.

— Вы командир первой? — вдруг слышит он вопрос. К нему подполз связист с телефоном.

— Я.

— Даю связь с помкомбатом, — начинает он крутить ручку. — Скорее, пока провод не перебило.

— Коншин, — слышится в трубке голос помкомбата. — Приняли роту?

— Да.

— Почему не двигаетесь дальше?

— Сильный огонь.

— Продолжать движение! — Коншин не успел ответить «есть», как связь оборвалась.

— Ах ты, черт! Вася, давай обратно, где-то перебило, — кричит связист подползающему бойцу, своему напарнику. Тот молча пополз обратно.

«Продолжать движение...» — бормочет про себя Коншин. — Но разве не ясно, что потери большие, что дай бог еще метров сто продвинуться, а дальше идти уже не с кем будет...»

Но он отсекает мысли о бессмысленности дальнейшего продвижения, потому как приказ есть приказ, начальству, может, виднее? Вдруг на Усово пошел второй батальон? И привычка подчиняться взяла свое — вперед так вперед...

Он привстает на колени, взмахивает рукой, кричит:

— Рота, продолжать движение! Вперед! Вперед!

Увидев, что несколько человек поднялось, он тоже бросается вперед, держа направление к танку... Изредка оглядываясь, видит, что третий взвод, лишенный командира, не принял его команды, лежит не двигаясь, так же, как и вторая рота... Танк, ее поддерживающий, развернулся и уходит в тыл, не выдержав огня, преследуемый жесткими короткими хлопками противотанковых пушек.

Немцы, сбавившие немного стрельбу, пока рота лежала уткнувшись, сейчас, увидев, что люди двинулись, опять усилили огонь и прижали их к земле. Обернувшись, Коншин видит, что метров на двадцать опередил он взвод, но тот растянут и близко около него всего несколько человек. Сколько же осталось людей?

Этого он не знает. Надо, конечно, двигаться позади взвода, чтоб все были на виду, как и требовал комбат на последнем привале, но... учили-то их по-другому — вперед, за мной...

Лежат они с Рябиковым как раз напротив танка, который скрывает их от немцев и тем самым и от обстрела, а мины фриц кидает дальше — по взводу, и они, с воем перелетая, рвутся где-то сзади, и кого-то там либо ранит, либо убивает. Теперь понимает Коншин, почему во встречаемых санитарных поездах все больше раненых было в руки и ноги, — с такими ранениями самим с поля боя выбраться можно, а кого потяжелее... Как сюда санитары доберутся, если его ранят тяжело? Может, к ночи только. А до ночи доживешь или нет? Должно бы страшно сделаться при такой мысли, но страху и так доверху — больше не умещается в его душе, и проходит эта мысль как-то мимо, не задев глубоко.

Лежат они в воронке, правда небольшой, но все же скрывающей их... Тут бы и дожидаться команды на отход, никуда не трогаться, благо связист с телефоном отстал, и не услышать ему сейчас помкомбатов голос — «продолжать наступление». Смотрит Коншин на часы — половина пятого... Неужто лишь полчаса прошло с того, как Шергин на поле вышел? Да, в четыре началось. Господи, полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла.

Видя, что противник залег, немцы огонь уменьшили: видно, боеприпасы экономят, зря не расходуют. Эх, пролежать бы здесь до самого приказа на отход. И к танку незачем двигать — в воронке этой укрытисто и спокойно. Завертывает Рябиков по сигарке, запаливает, но не успевают и затяжки сделать, как слышат — урчит сзади танк.

Значит, вторым заходом на поле вышел, ну и шум сразу, и «ура». Правда, не дружное, слабенькое.

— Обождем своих, — говорит Рябиков.

Коншин соглашается и чуть высовывает голову посмотреть назад, на ребят.

Вторая рота за танком опять двинулась, а его взвод и третий и не шелохнулись, да и как поднимешься, когда немцы снова: и бризантными, и минами, и пулеметами стали сечь...

Но команды «вперед», слышные позади, словно стегают Коншина по душе — надо подниматься. Если он не поднимется — рота не двинется, не стронут ее отделенные. Опять кидает взгляд назад Коншин — да, лежат люди... По тому, как жадно докуривает он сигарку, понимает Рябиков — сейчас вставать придется, и как-то померк взгляд... Досмаливает сигарку, поправляет ремень... Неохота смертная им обоим вылезать сейчас из этой воронки.

И неизвестно, смог бы Коншин заставить себя, если бы не голос политрука сзади:

— Первая рота! Слушать мою команду! Вперед! Вперед!

Выходит, думает политрук, что погиб Коншин, раз берет роту на себя, а он здесь отлеживается... Что политрук решит? И то, что политрук, или помкомбата, или бойцы смогут подумать, что струсил он, толкает его, выбрасывает из уютной воронки, вырывая из груди отчаянный крик:

— Первая рота! Направление — подбитый танк! За мной! Вперед!

И не бежит Коншин, а стоит под пулями, пока не видит — поднимаются люди, делают рывок вперед, ну и он тогда... К танку, скорей к танку... Бежит, падает, поднимается, опять бежит...

— Давай, давай! — кричит, не переставая, машет левой рукой призывно. — За мной, ребятки, за мной! — пока не спотыкается о падающего ему под ноги Рябикова и, ваясь кулем в снег, не слышит откуда-то, кажется ему, будто с неба, торжествующий голос: «Попался, рус... Сдавайся...» — и близкую дробь автомата, пули которого прошиваются над головой.

Отвалившись от Рябикова, жметесь Коншин в умятый гусеничный танковый след, в который они упали, не понимая еще ничего, не соображая еще ничего, только видя побелевшее лицо Рябикова с вытаращенными глазами и чувствуя, как холодный, липкий пот заливает лицо.

— Немцы... Под танком... Я как увидел — вам под ноги, — шепчет Рябиков.

Начинает теперь понимать обстановку Коншин, и ужас, объявивший его поначалу, сходит, потому как слышатся и крики, и стрельба, правда, не густая, — двигается, значит, рота, не одни они будут, подойдет подмога.

До танка метров сорок. Гранату, пожалуй, с лежачего положения не докинешь, голову не высунешь. Одно остается — дожидаться роту, а пока вкопаться поглубже. Рябиков это уже сообразил, вернее, не сообразил, а сработала пехотинская выучка — где ни лег, скорей за лопату...

Снег они наружу не выбрасывают, а сдвигают его поперед следа и довольно скоро до стерни доходят, тут и конец их окапыванию, мерзлую землю лопаты не берут, но уже достаточно, скрыты они в этом следе хорошо...

Несколько раз, пока они копали и ненароком их туловища немного высывались, немцы пускали короткие очереди, но больше не орали. Сколько их там может



быть — двое-трое? Но наверняка окопчик у них там под танком — придумали неплохо. Сверху машиной танка закрыты, от пуль окопчик спасает. Видно, сторожевой пост сюда выдвинули. И что было бы, если они этот танк обошли,— прямо в спины, с тыла начали бы немцы их обстреливать, ну и паника, конечно, в цепи вышла.

Теперь уже Коншин соображает, как этих немцев им прихватить, когда рота подойдет, но там, сзади, видимо, опять заминка — что-то не слышится никакого движения, а посмотреть не помотришь...

— Как ты их заметил? — спрашивает Коншин.

— Вы все время назад оборачивались, а мне почему-то к этому танку подбегать не хотелось. Словно чуял чего. Ну, и все время к нему приглядывался. И когда бежали, и когда залегли мы. А тут смотрю, вроде автомат торчит из-под днища. Стрельнуть не успел, сразу вам под ноги.

— Зачем же они крикнули? — вслух думает Коншин.

— Кто их знает? Может, забоялись, что в тыл им забежим?

— Они пристрелить нас могли запросто... Что-то непонятно.

Коншин вынимает «лимонку» и кладет около себя, Рябиков тоже.

— Как ребята к нам подойдут, будем бросать. Может, достанем.

— Попробуем.

Они уже очнулись и разговаривают спокойно, только жаль, высунуться нельзя посмотреть, что сзади, а там чего-то затихло, никто команд никаких не кричит, только рвутся мины немецкие... Может, политрука ранило и некому людей поднять. Да, конечно, не надо было отрываться так далеко от роты, думает Коншин.

И тут вдруг сквозь грохот боя прорывается пронзительно:

— Отхо-о-о-д... Отхо-о-о-д...

У Коншина падает сердце, он всем нутром ощущает, как поворачивают назад бойцы, как ползут обратно, а может, кто и бежит, чтоб поскорей убраться с этого мертвого поля. У Рябикова опять глаза выпучились, заерзал всем телом, словно готовя его к рывку.

— Лежать! — Коншин кладет руку на его плечо и прижимает к земле.

— Одни же остаемся, командир... Совсем одни,— бормочет он.

— Лежать,— повторяет Коншин, еле сдерживая и себя, чтоб не подняться и не побежать назад.

А сзади — «вторая рота — отход!»... И это повторяется на разные голоса — «отход, отход»... Коншину хочется закричать то же самое, вскочить и бежать, бежать изо всех сил назад, лишь бы не остаться им одним на этом поле, в сорока метрах от немцев...

— Что делать? — шепчет Рябиков.

— Не знаю...

Коншин переворачивается на другой бок, и его плечо на секунду высовывается наружу, тут же автоматная очередь и тот же противный торжествующий голос: «Попался, рус, сдавайся».

Коншин безобразно, как никогда в жизни, матерится, и это грязное ругательство, произнесенное шепотом, как-то отводит душу, как-то заставляет забыть о безвыходности положения, но все же каждое новое «отход», доносящееся до них, наливает отчаянием — одни, совсем же одни они на этом поле...

И главное, не может он сосредоточиться, не может найти выхода, только какие-то обрывки мыслей, далеких и ненужных сейчас, носятся в мозгу.

А позади отход... Еще кидают немцы мины по отступающим, но все реже взрывы, утихает пулеметная пальба, и нестерпимое желание быть сейчас со всеми, попасть в тот лес, из которого они наступали и который кажется сейчас чуть ли не землей обетованной, заставляет Коншина напрячься для броска, потому что страшнее лежать здесь, чем бежать под пулями. Но теперь Рябиков прижимает его рукой.

— Дотемна надо лежать, командир,— и эти трезвые слова заставляют Коншина расслабить тело.

— Да, наверно,— соглашается он и смотрит на связаного.

Лицо Рябикова в подтеках грязи, лоб исцарапан, но глаза живые, и вдруг этот чужой паренек, знакомый ему всего месяц, становится для него самым дорогим, самым близким человеком. Нет, не один он на этом поле, в д в о е м они...

— Как тебя звать? — спрашивает Коншин.

— Рябиков,— отвечает тот, удивленно вскинув брови.

— По имени?

— Серега... А что?

— Так...

Коншин протягивает руку, и они, не снимая рукавиц, обмениваются рукопожатием.

— Живы будем — не помрем, — невольно повторяет Коншин слова Чуракова и тут же сжимается от боли: нет уже Ивана, нет... Жив ли Пахомыч?

Рябиков улыбается:

— Выберемся, командир...

А на поле все затихает... И эта наступившая и необычная, после не прекращающегося почти час грохота и воя, тишина наваливается на них тяжелым, мертвящим ужасом... Коншин поворачивается на спину и видит серое безнадежное небо, по которому легкий ветер медленно относит клочья дыма, висящие над полем боя...

И вдруг: «Помогите... Санитары...» Голос совсем слабый, но в наступившей тишине слышится ясно, и Коншин узнает его — это Савкин.

«Братцы... Санитаров бы...» — раздается опять, и Коншин не выдерживает, на миг приподнимается. Тут же стрекочет автоматная очередь — и Рябиков сильно дергает Коншина назад. Несколько пуль пролетают над ними, несколько впиваются в снег рядом.

— Это Савкин, — шепчет Коншин, — и ноги, по-моему, перебиты.

— Ничего не сделаешь, командир...

— Кровью истечет...

— Нечем помочь, командир... Вылезем — убьют немцы верняком.

Да, конечно... Но Коншин представляет, что испытывает сейчас Савкин, какие муки принимает перед смертью, лежа сейчас беспомощный и уже понимающий, что никто к нему не придет. Никто...

Еще несколько раз звал Савкин санитаров, с каждым разом все слабее и тише, а потом умолк... И как ни странно, и Коншину, и Рябикову стало легче, потому что все время мучила их совесть, что они должны и в то же время не могут ничем помочь...

— Отмучился... — вздыхает Рябиков.

Разгоряченные бегом тела начинают остывать. Сперва коченеют ноги, потом руки, а вскоре холод залезает внутрь.

Хорошо, что мороз не велик, градусов восемь — десять, но и то, думают они, дотемна можно закоченеть совсем, надо бы что-то предпринять...

Глубокая вмятина от гусеницы танка идет вправо, в ложину. Видно, он шел оттуда, потом вышел на поле, по-

вернул здесь и, не пройдя от поворота метров пятидесяти, был подбит. Они лежат как раз в следе, идущем вдоль поля, недалеко от поворота. Может, начать прокапывать и потихоньку ползти в прокопе до лощины, а оттуда уже как-нибудь, где ползком, где перебежками, добраться до роши.

След в некоторых местах глубокий, а в некоторых совсем мелкий. Там-то и придется копать. Настоящей темноты ждать здесь не очень гоже — подползут немцы незаметно, закидают гранатами. А еще беспокоит — не могут ли немцы через люк пробраться в танк. Тогда с башни Коншин с Рябиковым как на ладони — расстреляют запросто. Правда, танк сильно разворочен. Наверно, все внутри смято, а потом, кабы могли, то давно бы забрались, но все же лучше от танка подальше... На том и поехали.

Лежат лицом друг к другу. Коншин справа. Ему и разворачиваться, а как? След узкий, вертись не вертись, а какая-то часть тела высунется, немцам покажется — врежут непременно. Но делать нечего, начинает Коншин подбирать под себя ноги.

— Погодите, командир, — говорит Рябиков, снимая с себя каску, и пятится назад. — Отвлеку фрица.

Нацепляет он каску на ствол автомата и, отползая от Коншина на несколько шагов, готовится высунуть ее.

— Приготовились? Валяйте, — он высовывает каску, а Коншин рывком перебрасывает тело. По каске ударяют несколько пуль, и она, звеня, раскачивается на стволе.

Еще раз благодарит Коншин случай, что не один он здесь, а с этим Серегой, который оказывается и находчивей и сообразительней его.

Теперь за работу... Тело и руки маленько согреваются, но ноги замерзают все больше и больше.

У Коншина как-то странно пусто и в душе, и в голове. Он не думает ни о прошедшем бое, ни о том страшном, что произошло, ни об убитом на его глазах Чуракове, ни о Савкине, так и не дождавшемся помощи. Он сосредоточенно копает, углубляя танковый след, медленно, буквально по сантиметрам продвигаясь вперед, и только в копанье, в этом движении сейчас весь смысл его существования. Все замыкается для него в этом узком, неглубоком следе от гусеницы, который уводит его от смерти.

Пять человек осталось от отделения Пахомова — трое убиты, четверо ранены, и сейчас сидят они в шалаше, притиснутые друг к другу вокруг небольшого костерика, разожженного в каске. Руки протянуты к огню — бьет озноб. Они еще не верят, что остались живыми, и все угрюмо молчат — как-то не до разговоров. Уж больно страшен и безнадежен был первый бой.

Некурающий Пахомыч раскашливается от каждой затяжки, но все равно мусолит сигарку — тоска сжимает сердце, прямо хоть вой... Он видел труп Чуракова, он знает, что не вернулся с поля Коншин. В роте не осталось больше никого из однополчан — он один. Если завтра будет еще бой, вряд ли ему остаться живым. Конечно, не все из окопа понимает боец. Быть может, и не должен он понимать все. Но всегда хочется понять ему смысл приказанного. Если проводили они разведку боем — тогда ясно. Но если было это просто не совсем продуманное, не очень-то подготовленное наступление — тогда обидно до боли. Двух танков было явно мало, как и двух мин на миномет и двух снарядов на ствол. И раскалывается голова Пахомова от этих мучительных и безответных вопросов...

— Что ж, командир, неужели завтра опять в наступление?

— Ну, откуда ему знать? Это надо комбрига спросить, — перебивает другой.

Разговор начинает разгораться помаленьку, и такой, который Пахомов, как командир, прекратить обязан — начальство стали поминать не ласково, — но Пахомов никогда металлом в голосе не обладал, и командирства в натуре у него не было, да и согласен он с бойцами — чего говорить, порядка не было, а кто в том виновен, среднее ли начальство или большое, кто знает. Но кто-то ведь виноват...

— Ну чего ты лаешься? — наконец прерывает кто-то. — А политрук наш? Почитай, без него половину раненых на поле оставили бы. Видал, как метался он под пулями, а заставил всех подобрать.

— Я о политруке ничего не говорю. Чего политрук. Он с нами в цепи шел...

— А ты что хотел? Чтоб и комбриг в цепи с тобой топал? У каждого свое место.

— Это оно так. Но вижу я, наше место самое худшее.

— На то ты и рядовой ванька.

Разговор утих на время, а потом молоденький боец, совсем мальчонок, произносит с таким надрывом в голосе, что все поневоле поеживаются:

— Неужели побьют всех нас?..— на что пожилой, первый начавший разговор, отвечает:

— Всех не всех. Кого-то ранит, ну, а кого-то, конечно, и прибьет до смерти... На то и война...

Да, война,— наверно, каждый произносит про себя, но разве это успокоит?

Метров шестьдесят, наверно, пробились Коншин со своим связным по танковому следу, и танк теперь от них видится в три четверти. Теперь немцам, чтоб стрелять по ним, надо из окопчика вылезать, потому как ходовая часть танка видимость им закрывает.

Уже начинает пробиваться надежда, что выкарабкаются все же, доберутся до своих. И когда опасность понемногу отодвигается от них, тем больше начинает клонить их в сон. Еле сдерживаются, чтоб не задремать прямо здесь, в снегу, в шестидесяти метрах от немцев. И одна мечта: как доползут они до своих, заберутся в шалашик, отогреют у огня иззябшие, заочневшие ноги и провалятся в небытие, чтоб забыть обо всем.

Понемногу темнеет небо над ними, и — к счастью. Добрались они почти до склона, и снег отмечен тут ветром, след от гусениц мелкий, с торчащей колкой стерней. Дальше невидимыми не проползешь... Придется дожидаться настоящей темноты, но наступит она не так скоро, а когда ждешь чего-нибудь с нетерпением, время тянется... Опять холод по всему телу, и томит бездействие. Коншин, более нетерпеливый, предлагает:

— Рванем, может, Серега?

— Нет, командир, потерпим маленько... Обидно же будет, если...— он не договаривает, но Коншин понимает: конечно, обидно, почти же выкарабкались, на что поначалу и не особо надеялись.

Медленно, очень медленно гаснут кровавистые облака над деревней. Самого солнца не видать, но тучи оно сделало малиновыми, даже чуть лиловатыми. Нехороший закат, мрачный, но им не до того — лишь бы скорей стемнело...

Разговора не заводится, да и одолевает их обоих зевота нервная, но опять ощущает Коншин, что ближе Сереги нет у него сейчас человека, что спаялись они за

несколько часов крепко. Надо бы теперь всегда вместе, думает Коншин...

Но вот с востока налезает на небо синева, начинается вроде смеркаться, и надо готовить затекшие тела для рывка. Но рвать ли? Может, лучше ползком до лощины? И благоразумный Рябиков склоняет Коншина к этому.

И вот ползут они, вжимая тела в землю, непрерывно ожидая автоматной очереди из-под танка, все еще боясь верить, что уходят от смерти, и когда добрались до лощины, когда сползли с ее склона, долго лежали обессиленные, перемученные, глотая махорочный дым, пряча огоньки сигарок.

— Ну, пошли, что ли? — говорит Коншин, приподнимаясь.

— Пошли, командир.

И, согнутые в три погибели, тяжело переставляя затекшие ноги, идут они по дну лощины к чернеющей стене леса, из которого не слышится ни звука, не видится никакого движения, будто мертвый он, будто нет там людей.

И когда подошли уже близко и с немецкой стороны взвилась первая ночная ракета, испугались, как бы не бабахнули свои из леса, приняв за немцев, а что может быть обидней — свои уgroхают.

Они поднимаются в рост, начинают громко разговаривать...

— Ребята, есть кто? Это мы — свои... Слышите? — не выдерживает Рябиков, но в ответ ни звука.— Дрыхнут, что ли?

— Может, отвели батальон? — предполагает Коншин.

Но двигаться дальше страшно — врежет какой-нибудь со страху... Они останавливаются. Еще раз Рябиков, уже погромче, спрашивает черноту стоящего перед ними леса — есть кто-нибудь? Откликнитесь! Но опять никакого ответа.

Поколебавшись немного, наконец решаются они двинуть дальше. Входят в лес, раздвигают ельник, спотыкаются о трупы, о поваленные деревья — никого... Проходят дальше и наталкиваются на кого-то сидящего на пеньке. Поставив винтовку между колен, согнувшийся, сидит он и дремлет.

Коншин дотрагивается до его плеча, но тот даже не вздрагивает от неожиданности, а только медленно поднимает голову и смотрит на них каким-то отсутствующим, бессмысленным взглядом.

— Где люди? — спрашивает Коншин.

— А нет людей... Побило всех...— отвечает он усталым, бесцветным голосом.

— Ну чего порешь? — вступает Рябиков.— Давай очухивайся!

— Я не порю,— опускает снова голову.— Побило людей...

Он начинает сопеть носом, затем закрывает голову руками, и его плечи сотрясаются во всхлипах.

— Побило всех, побило...— бормочет он.

Коншин, встряхивая его, приказывает идти к краю леса и наблюдать. Тот с трудом встает и бредет, как слепой, натываясь на деревья... Коншин глядит вслед, хочет выругаться, но сил нет. Наконец недалеко от землянки помкомбата встречаются они нескольких человек со второго, коншинского, взвода. Наложили лапнику под большой елью, и кто сидит, кто лежит съезжившись, попыхируют огоньки сигарок.

Коншин подходит. Один-два человека поднимают головы, но глядят на него без удивления, безразлично, будто он не с поля приполз, а был с ними все время. И понимает Коншин, что смяты люди, подавлены настолько, что все им теперь безразлично. Да и не знают они, что остался он на поле, потому как, видимо, разбрелись все кто куда.

— Ротного ранило? — спрашивает Коншин после некоторого молчания.

— Убило.

Подходит сержант, командир отделения. Он удивлен.

— Откуда командир, мы думали...

— Откуда, откуда,— вступил Рябиков.— Кабы вы поближе к нам были, могли бы немцев прихватить... А вы, как отход дали, сразу назад, а не подумали, почему командир не отходит, почему нет его...

— Какие немцы? — спрашивают, оживившись, бойцы.

— Какие, какие? Под танком — немцы. Поняли? И держали нас дотемна. Как шевельнешься — так очередь над головой...

Рябиков теперь, как отошло все, видать, гордится тем, что приключилось с ними, рассказывает подробности взайма, а Коншин отправляется к землянке помкомбата.

Там накурено, темно. Лейтенант сидит прямо на полу, прислонившись к стене, воротник шинели поднят, глаза на осунувшемся лице закрыты, в губах торчит потухший окурочок.

— Товарищ лейтенант,— трогает его за плечо Коншин.

Тот открывает глаза, непонимающе смотрит, потом



опять закрывает. Да, нелегко ему после такого, думает Коншин, но все же какое-то раздражение, даже злость входит в душу: наломал-таки дров лейтенант с этим «на пробу», и он, уже не церемонясь, встряхивает помкомбата.

Тот вздрагивает и просыпается окончательно.

— Коншин? — не очень-то удивляется он.

Видно, после этого страшного боя — никому ни до чего... В живых остались и — ладно, потом во всем разберемся...

Коншин рассказывает о случившемся.

— Значит, немцы под танком? — спрашивает помкомбата и морщит лоб, что-то соображая.

Коншин догадывается, о чем тот думает, — можно ли прихватить тех немцев ночью? И его схватывает опасение — не ему ли прикажут идти на это, а он так умучен, что только одно хочется — спать, спать и ни о чем не думать...

Помкомбата приказывает связисту соединить его с комбатом, и тот начинает крутить телефон — «Волга, Волга»... Под эту «Волгу» Коншин, присев рядом со связистом, вдруг проваливается в сон, от которого через несколько секунд его отрывает оглушительный грохот артиллерийских залпов. Некоторое время огонь идет по тылам, а потом обрушивается на их местоположение...

Дрожит земля. Дрожит потолок землянки. Разрывы хлопают совсем близко, но самое страшное — сильнейший огонь по тылам. «Отрезают», — думают и помкомбата и Коншин, иначе чем же объяснить эту канонаду позади?

И тут вваливается в землянку Рябиков.

— Бегут люди! Паника! — выхрипывает он. — Вроде танки немцы пускают.

Расстегивая на ходу кобуру, помкомбата выбирается из землянки, за ним Коншин.

Черными тенями мимо пробегают бойцы.

— Куда? Отставить! — кричит помкомбата, стреляя в воздух из пистолета, но вдруг осекается — разрыв рядом освещает кошмарное: в нескольких шагах от землянки стоит, пока еще стоит, покачиваясь, что-то непонятное, уже не похожее на человека, все разодранное спереди — грудь, живот, а вместо лица окровавленная маска. Коншин закрывает глаза, а когда открывает, видит обмякшего, осевшего лейтенанта.

А люди бегут... Кто-то уже кричит — «отрезают», кто-то визжит — «танки»...

И Коншин чувствует, как паника охватывает и его, как

хочется ему тоже разорвать рот и, что-то крича, бежать и бежать из этого ада, чтобы и с ним не случилось того же, что с тем у землянки... Видит, что и с помкомбата творится то же самое.

Что случилось бы дальше — бросились бы они бежать вместе с бойцами или все же нашли силы взять себя в руки и остановить панику, неизвестно. Только замечает Коншин, как слева взмывает фейерверком автоматная очередь из трассирующих — и люди останавливаются, потом медленно пятятся назад: на них с поднятым ППШ, из ствола которого летят красные точки, наступает политрук его роты.

— Какие танки? Кто видел танки? Назад! Нет никаких танков! — кричит он. — Всем занимать оборону! По своим местам! Где бронейщики? Занять позиции!

За политруком идет с карабином какой-то старший лейтенант, видимо артиллерист, который тоже кричит:

— Вот стоят мои пушки! Мы не пустим танки! Прекратить панику! Где помкомбат? Где командиры рот?

Народ понемногу успокаивается, хотя и рвутся вокруг мины, хотя и бухают сзади артиллерийские снаряды, хотя в редкие промежутки между разрывами слышится рокот танковых моторов.

— Вы помкомбат? — подходит артиллерист к лейтенанту. — Что же вы? Остановите людей! Организуйте оборону! Что с вами? — помкомбат вдруг сламывается, и его начинает тошнить. — Вы кто? — обращается старший лейтенант к Коншину.

— Коншин! — восклицает политрук. — Живой? Откуда? Это сержант Коншин, он принял первую роту.

— Так чего же вы? Тоже скисли! Мальчишки! Давайте организовывать оборону. Командуйте же, черт вас возьми! Это же ваши люди!

Коншин наконец очухивается. Спокойный и требовательный голос старшего лейтенанта, презрительное — «мальчишки» — заставляют его стронуться с места, и он мечется по роще, собирая бойцов и отделенных, направляя их к опушке в ненадежные снежные окопчики...

Обстрел начинает утихать. Не слышно и рева танковых моторов. Выходит, поугали их немцы только, показали, на что они способны, ну и кровушки пустили. К тем потерям, что при наступлении понесли, еще прибавилось. Сколько в батальоне осталось, придется завтра подсчитывать. И в наступившей тишине — стоны раненых и жалобное: «Братцы, санитаров...»

Превозмогая невероятную усталость, Коншин вместе с политруком еще долго ходят по леску, организуя вынос раненых... Коншин с удивлением отмечает, что нет уже в его сердце той щемящей жалости к ним, какую испытывал вначале, — вот как торопятся в тыл, вот как боятся, чтобы не добило...

— Ждите своей очереди. Санитаров мало, — бросает Коншин, поражаясь холодности своего голоса, и ловит себя: не завидует ли он им, которые завтра будут в санроте, в безопасности и тепле?

Ему же завтра опять принимать утренний минометный налет, опять, может, идти в наступление... Так чего же ноете? Потерпите, всех вынесем, только не сразу...

Было около десяти вечера, когда наконец они с политруком устроили ротный КП в большой воронке от авиационной бомбы. Настлали лапнику вниз, сверху перекрыли воронку тонкими стволами сломанных березок и елок. В центре разожгли костерик и разместились вокруг него все шестеро: двое связистов, двое связных и их двое. Все были измучены донельзя, но заснули только бойцы — Коншин и политрук спать не могли. У Коншина вертелась в голове картины прошедшего дня, и какая-то огромная обида, что так неудачно все вышло, сдавливала грудь.

«Почему так случилось? Почему так нелепо все сложилось? Почему? Почему?» — громоздились, налезая друг на друга, и не находили ответа.

Политрук посасывает сигарку и смотрит в огонь потухшим, усталым взглядом, думает, видать, о том же... Но пока они молчат, каждый в своих мыслях, да и сил нет говорить. Политрук вообще не особо разговорчив, не изводит бесконечными беседами и поучениями. Он старался поговорить с каждым в отдельности, по-простому, ну и на старшину часто нажимал, чтобы с довольствием порядок был. В общем, ничем он не выделялся, на голос никого не брал, а вот он все-таки остановил панику, организовал вынос раненых и с поля боя, и после вечернего налета...

Коншин приглядывается к нему... Он понимает, что политрук внутренне сильнее и жизненного опыта ему не занимать, лет на двенадцать старше он Коншина. И смущает его, что по стечению обстоятельств этот человек оказался у него в замполитах... Ненадолго это, конечно, пришлют скоро кого-нибудь на роту, думает он.

Костерик потрескивает. Иногда какая-нибудь сухая веточка вспыхнет ярким огнем, осветит их пристанище,

плеснет красным бликом по измученным лицам и багряной точкой отразится на стволе автомата.

— Кто же виноват? — вырывается у Коншина.

Политрук поднимает голову, затягивается сигаркой и отвечает не сразу:

— Не виноватых надо искать, а причины... — Потом, посмотрев на растерянное лицо Коншина, добавляет: — Считай, Коншин, что в общем плане это наступление было необходимо и имело определенную цель... Давайте так, — и кладет руку на плечо Коншина.

И тут дребезжит телефон. Связист, мгновенно проснувшись, берет трубку.

— Вас... Комиссар батальона, — говорит он Коншину.

— Ну, как вы там, москвич? — слышится в трубке сочувственный голос батальонного.

— Доложить обо всем, что произошло? — спрашивает Коншин.

— Нет, нет. Я все знаю от помкомбата... Как вы думаете, немцы еще под танком?

— Наверное...

— Если мы сейчас пошлем отделение разведчиков, удастся ли им взять немцев?

— Думаю, удастся... Надо две группы. Одной зайти с тыла...

— Да, конечно, — комиссар некоторое время молчит, видно обдумывая что-то. — Коншин, вы... не смогли бы возглавить группу? Сразу не отвечайте, подумайте...

— Товарищ комиссар... — устало начинает Коншин.

— Понимаю, очень устали, — сразу же прерывает комиссар. — Тогда встретьте разведчиков и покажите пути подхода.

— Есть встретить.

— Группа подойдет к землянке помкомбата в двадцать три ноль-ноль. У вас есть часы?

— Да. Встречу у землянки.

— Так вот, Коншин, вы боялись струсить, а мы думаем представить вас к награде...

— Я и трусил, товарищ комиссар... Еще как, — говорит Коншин правду.

— Но превозмогли, Коншин, превозмогли... Это главное... Дайте мне политрука.

Коншин передает трубку и закрывает глаза... Сквозь усталость проходит приятное — «думаем представить к награде». Значит, выдвинул он все-таки свой первый бой... Но скоро это приятное улетучивается. Очень хочется

спать, и очень не хочется идти встречать разведку в двадцать три ноль-ноль. Взглянув на часы, видит: у него еще сорок минут.

Просыпается Коншин за десять минут до срока и будит Рябикова. Тот, ничего не спрашивая, протирает глаза и встает. Политрук тоже просыпается, подкидывает в костерик ветки.

— Идете?

— Идем,— отвечает Коншин.

— Пожалуй, я пойду тоже,— политрук свертывает сигарку, прижигает от костра.— Знаете, это очень важно, если разведчики захватят хоть одного немца. Тогда... тогда...— он не договаривает, но Коншин понимает.

Выползают из воронки... Голубовато поблескивает снег от ракет, в небе красные нити трассирующих... Красива ли ночная передовая? Наверное, если добавить — жутковато красива...

К землянке помкомбата подходят одновременно — отделение разведчиков в белых маскхалатах и они. Молча приветствуют друг друга. Лейтенанта — командира взвода разведки — Коншин почти не знает. Помнит только, как звонил тот на станции Воробьевы горы по телефону-автомату и говорил с кем-то непринужденно, даже весело, не как остальные — запинаясь, сдавленными голосами.

Сейчас он возбужден первым заданием. Глаза поблескивают, движения энергичны.

— Кто был у танка? — спрашивает резко.

— Я и мой связной,— отвечает Коншин, показывая на Рябикова.

— Точно там немцы?

— Днем были точно.

— Пошли, покажите.

Из землянки выходит помкомбата, и все направляются к опушке.

— Товарищ командир,— шепчет Рябиков, трогая Коншина за рукав.— Можно мне с ними попроситься?

— Ты что? Мало досталось? — удивляется Коншин.

— Больно охота прихватить гадов. Сколько мы из-за них натерпелись, пока от танка ползли. Разрешите? А?

— Лейтенант, мой связной хочет с вами,— говорит Коншин.

Тот кидает мимолетный взгляд на Рябикова и сразу соглашается.

— Очень хорошо, будет полезен... Петров, снимите маскхалат и передайте этому бойцу.

Разведчик Петров вроде бы хочет возразить, но взгляд лейтенанта колок и холоден.

— Есть передать халат.

Дисциплинка у них будь здоров, думает Коншин, и ему вдруг начинает казаться — у этих ребят получится.

Подбитый танк — хотя до него почти полкилометра — виден хорошо в свете ракет. Лейтенант внимательно вглядывается в поле и вскоре решает:

— Товарищ помкомбата, пойду по ложине. Первая группа заползет по ней за танк, вторая — из ложины зайдет сбоку. Одобряете?

— Хорошо, действуйте, — решительный и уверенный тон лейтенанта ободряет помкомбата и внушает надежду на успех поиска.

Лейтенант снимает с плеча автомат. Видать, решил идти вместе с разведчиками, думает помкомбата, и трогает его за плечо.

— Может, вам самому не стоит?

— Стоит. Первая разведка. Обязан возглавить сам, — отрывисто рубит лейтенант и, тихо подав команду «вперед», первым спускается в ложину.

Коншин подходит к уже одетому в маскхалат Рябинову:

— Осторожней, Серега...

— Ничего, командир... Рассчитаюсь с фрицем за сегодняшнее.

Коншину как-то не по себе — вроде бы отнекнулся он от предложения комиссара возглавить группу, но, с другой стороны, кажется ему, что командир разведчиков лучше справится с этим делом — не деморализован безудачным боем, не устал так, как Коншин, который сейчас еле еле на ногах держится, так и тянет броситься наземь. И когда разведчики скрываются в ложине, присаживается Коншин на что-то и проваливается сразу...

— Коншин, они прошли без потерь, — слышит он сквозь сон напряженный шепот политрука.

Разведчиков не видно, но тишина на передовой говорит о том, что и немцы не видят их... Ракеты, правда, все так же методично взлетают с разных концов поля — погаснет одна, вспыхивает другая. Берегутся фрицы. Значит, боятся их, несмотря на неудавшееся наступление. Драма с Коншиной сошла, и он, как и другие, напряженно вглядывается в поле, на котором пока ничего не видно, —

разведчики отошли далеко, да и вблизи сливались они в маскхалатах со снегом.

Долго тянется время, а с поля — ни звука... Мусолит сигарку политрук, нервно затягивается помкомбата, пряча огоньки самокруток в рукава шинелей, будто школьники на перемене, думает Коншин. И таким далеким кажется ему недавнее прошлое, словно не годы прошли, а целая вечность, или вообще ничего не было — ни Москвы, ни школы, ни института...

И вдруг — хотя и ждали этого — взблеск яркого света у танка, а уже потом глухой звук разорвавшейся гранаты, и сразу же стрельба со всех сторон — и с нашей, и с немецкой, и около танка... По нашим пулеметам начинают немцы бить минами, несколько взрываются недалеко от их группы, но они не обращают внимания — все не спускают глаз с танка, сейчас там самое главное... Ракет немцы прибавили, и они загораются то там, то здесь и все время висят над полем, освещая его... Одна надежда на лощину, по которой разведчики смогут выбраться незамеченными.

Коншин переживает больше всех, беспокоясь за Рябикова, — эх, Серега, не надо бы тебя отпускать, вдруг что случится, а ты единственный для меня сейчас близкий человек... Нет Чуракова, нет ротного, неизвестно, жив ли Пахомов...

И вот наконец-то! Ухватывают они взглядом что-то темное, барахтающееся, иногда вдруг пропадающее и понимают, что немец это, которого тянут невидимые в своих маскхалатах разведчики...

— Вышло, Коншин, вышло! — хлопает по плечу Коншина политрук, да так сильно, что тот даже приседает.

И то, что целый маетный этот день и вечер сжимало грудь тоской, давило до боли, начало помаленьку растаивать, уходить куда-то, и стало сердце наполняться новым, прежде не испытанным чувством — чувством победы, пусть пока небольшой, пусть даже совсем махонькой, но все же победы — взяли они «языка», взяли... А что это значит, понимают все — будут сведения о противнике, будут знать они расположение огневых точек и в следующее наступление пойдут уже подготовленными.

И почти нестрашным кажется уже Коншину предстоящий день, утренний минометный обстрел и все, что будет происходить на этом клочке земли, называемом передовой... Взяли они «языка», взяли... Значит, не зря все, не зря...

## ОВСЯННИКОВСКИЙ ОВРАГ

---

**Р**ябикова не захоронили. Не заставить было людей рыть землю для мертвого, когда нету сил копать ее для себя — живых. Свалил шалашик, в котором он умер, на его тело, а сверху набросал еще елового лапника.

Прощай, Рябиков... Ни прощальных залпов, ни чувственных речей над тобой, но останусь живым — будешь в памяти навсегда. Вот и все.

Ушел последний из моего взвода. Не осталось почти никого и из нашей первой роты. Шестнадцать, которыми командую, из тыла: ездовые, повара, проштрафившиеся писаря. Все они — обросшие, почерневшие, в заляпанных грязью телогрейках — словно на одно лицо. Не успеваю запоминать фамилий — приходят, уходят... И только я, как заговоренный, пока еще живой и даже не поцарапанный.

Скоро май, но стоят серые, неприветные дни, и только по утрам в запахи передовой — талого снега, прелых листьев, дыма от костров, серы от разорвавшихся снарядов и мин — врываются еще еле уловимые ароматы весны.

Чуть приобсохло, но в воронках от мин, даже небольших, вода, и когда сверкнет редкое солнце, передовая загорается сотнями блестящих блюдец. Распускаются почки, чирикают какие-то пичуги, по неразумению залетевшие в нашу изломанную, продымленную, просквоженную трупным духом рощу, а немецкая «рама» закидывает угрожающими листовочками.

После того как несколько дней тому назад, в одну из ночей, нас сменили и отвели в тыл, а в следующую привели обратно, на замену уже почти не надеемся. Стреляем друг у друга махру, газетку на закрутку, присаживаемся у костериков. Вроде уже не холодно, но бьет все время противный озноб, а протянешь руки к огоньку — вроде проходит. И пьем кипяток — часто и понемногу.



Без сахара, разумеется. Каким-то образом появились на передке бутылки с уксусом — добавляем в кипяток для вкуса, как бы с лимоном получается.

Темнеет... Немцы уже отстрелялись, и пора спать, но что-то неохота лезть в шалаш одному. Привык с Рябиковым. Укроемся с головой шинельками, прижмемся друг к другу, надышим, и тепло вроде. Надо бы выбрать себе связного, но не знаю, из кого.

Шатаюсь по роще в надежде раздобыть курева, но табаку давно не давали, и если есть у кого остатние крохи, то курят втихаря и украдкой.

Неожиданно повезло. Встретившийся маленький чумазый солдатик из недавно прибывших предложил сам:

— Закурить не хотите, товарищ командир?

— Хочу. Откуда разбогател?

— Проявил находчивость, командир.— Он хитро подмигивает, и грязная его рожица расплывается в плутоватой улыбке.

Благодарю и с удивлением гляжу, как он щедро, не примеряясь, сыплет мне в горсть махорки закурки на четыре,— живем...

Вглядываюсь в паренька — глаза живые, даже озорные, что на передке удивительно, но уж больно неряшлив. Вся шинелька в комьях засохшей грязи. Может, его взять в связные?

— Как фамилия? — спрашиваю.

— Лявин.

— Почему такой грязный?

— При налете в воронке ховался. В первый день очень боязно было.

— А сейчас?

— Сейчас ничего, пообвык маленько. Жить можно.

— Можно, говоришь? — удивляюсь я.

— А чего?

— Ну, спасибо за курево.

— Завсегда пожалуйста, командир. Я не жадный.

Закручиваю сигарку, сажусь на пенек у края рощи, закуриваю. В небе сизая тяжелая туча вдавликает рдяной диск солнца в острые крыши сараев и изб деревеньки, которую брали, брали и не смогли взять, а впереди поле... Раньше с трудом заставлял себя глядеть на него, теперь ничего, привык.

На поле треть моего взвода... И Савкин... Это он, учитель математики, шедший на войну вторым заходом, говорил мне еще на марше:

— В бою надо думать, командир. Бой — это вроде алгебраической задачи. Только данные в ней все время меняются. И надо ее решать каждый момент заново.

Увы, думать не пришлось. Закрутило, завертело. А Савкин с перебитыми ногами умирал на поле — долго и страшно. Сперва звал санитаров, потом пытался ползти назад, потом затих. Мы с Рябиковым были недалеко, но сделать ничего не могли. Так казалось тогда. А сейчас? Может, и могли?

Иду проверять посты. Их у меня пять. На посту двое — один отдыхает, другой должен бодрствовать и наблюдать. Должен! На деле — спят оба. Процедура однообразная — бужу, ругаюсь, грожу трибуналом и ухожу в полной уверенности, что через несколько минут оба опять будут спать.

Что делать? Не знаю! Видно, есть предел силам человеческим.

Подхожу к своему шалашу. В нем холодно и пусто. Набираю веточек и разжигаю костерик в каске. Конечно, не в своей, а подобранной, их валяется по передовой предостаточно. А в каске для того, чтобы не загорелся от костра уложенный в шалаше лапник.

Легкое потрескивание, маленькие язычки пламени, едкий дымок — становится уютнее. Ставлю котелок с водой — попить кипяточку на ночь, согреться. Потом сигарка — и спать...

Перед тем как заснуть — обрывки воспоминаний: Москва, станция Воробьевы горы, что на Окружной железной дороге, силуэт Крымского моста, нервная очередь у телефона-автомата, звонок к матери, ее нарочито спокойный голос и мои тоже нарочито уверенные и бесконечно глупые слова: «Мама, жди меня весной... Чувствую — увидимся весной. Весной...»

Уже весна!

Проснулся, как от толчка. Что-то тяжелое зависло в сердце — беспокойно. Выползаю из шалаша и иду на самый крайний пост. Окликают.

— Все спокойно, ребятки?

— Пошебаршился немец, пострелял маленько, а сейчас тихо, командир.

Действительно тихо. Только всплески ракет.

— Закурить бы...

Отказать не могу и отсыпаю на закурку.

Обхожу свой пяточок, который занимает моя битая-перебитая рота, — все нормально. И вдруг... В свете ра-

кеты вижу в поле маленькую фигурку. Что за чертовщина? Может, мерещится?

Взвожу автомат, хоронюсь за деревом, наблюдаю. Нет, не мерещится. Человек определенно направляется к роше и, уйдя из зоны наблюдения немцев, спокойно и уверенно поднимается в рост и идет прямо на меня.

Выхожу из-за дерева — он испуганно шарахается в сторону, но я узнаю того бойца, что давал мне махорку.

— Лявин, подите-ка сюда, — приказываю негромко. — К немцам в гости ходили?

— Что вы, командир... За сухариками я... — Он вывертывает карманы и показывает: — Вот они. Нынче слабый трофей, а вчера много раздобыл. Хотите? — Он протягивает мне сухарь.

— Мертвых, значит, обшариваете?

— Я только насчет жратвы и курева. Вещевой мешок пощупаю, если чую сухарики или хлебец — беру. А по карманам — ни-ни.

— Покажите! — Он выворачивает наружу карманы брюк, но, кроме сухарей и махорки, ничего нет.

— У наших-то ни хрена нет, а вот у тех, кто до нас наступал, богато. Только далеко они, почти под самым немцем.

— И туда доползали? Не страшно?

— А чего? Жрать-то надо.

— Так вот, Лявин, — решаю я, — разбудите отделенного и сдайте ему свои трофеи. Пусть завтра перед обедом разделит на всех. Поняли?

— Нет! — Он исподлобья глядит на меня и отступает на шаг.

— Повторите приказание!

— Каждый сам может, командир. Я шкурой рисковал. Не отдам! — В его глазах вспыхивает злобный огонек. — Чего тут делить? Пущай сами поползают.

— Вы что, не поняли меня?

— Не понял! — почти кричит он и лезет в карманы, сухари летят на землю. — Пущай подбирают!

— Значит, ни себе, ни людям? А говорили, не жадный.

— Не жадный. Меня чуть не прихлопнуло сегодня. Глядите — вся шинель в дырках, как взяли вперехлест. — Он отвертывает полы разодранной пулями шинели. — Они дрыхнут спокойно, а я делюсь с ними! Неверно это, командир! Неверно.

Я раздумываю: может, я не прав?

— Ладно, подберите свои сухари. Я отменяю приказание. Но на поле больше ни ногой. Ясно?

— Ясно.— Он проворно собирает сухари и подходит ко мне.— Вот с вами, командир, могу поделиться.— Он протягивает мне несколько сухарей.

Я отказываюсь и, не совсем уверенный в правильности своих приказаний — что первого, что второго,— поворачиваюсь и направляюсь к своей лежке. Пареньку не откажешь в смелости, но брать его к себе в связные раздумалось.

В шалаше долго не могу согреться и засыпаю нескоро, сном мелистым и беспокойным. Просыпаюсь задолго до утреннего обстрела. Хуже нет этой маеты ожидания. Начисто, до последней табачинки опоражниваю карманы, закуриваю.

Три узких лучика просверливают шалаш. Смотрю, как играют дыминки — голубые, почти синие, с горящего конца сигарки и серые — выдыхаемые...

Почти два месяца одно и то же, а все не привыкнешь. Унизительно и обидно — ответить-то нам немцам нечем. Артиллерия наша давно молчит, не подают голоса и минометные батареи — боеприпасов нет и не предвидится. Распутица.

Ну, вот началось... Съезживаюсь, прижимаюсь к дереву, к которому прилеплен мой шалаш, нахлобучиваю каску и лежу жду — прихлопнет сегодня или нет?

Не считаю, но с полсотни мин он на наш пяточок кидает. Из них около десятка (чуешь по звуку) летят прямо на тебя, рвутся близко, шалаш прорезывается осколками, тебя обсыпает землей и хвоей, малость оглушает. Вечером то же самое. Это не считая шальных пуль, которые запросто летают стайками по роще, немецкого снайпера, может и не одного, и самолетных бомбежек, правда несчастых. Так вот и живем...

И на этот раз опять мимо. Выползаю на свет божий. Свет божий в дыму и гари. И в тишине. Только треск падающих перебитых осколками веток деревьев. Никто не кричит «братцы, санитаров», никто не стонет — утро доброе, значит, никого не задело.

Иду... Из шалашей вылезают «братья славяне». С лиц еще не сошли белила, еще нервно позевывают, но глаза уже ожившие. День начался — поиски курева и ожидание обеда.

Тоже хочу курить и знаю, где достать, — у того солдата, но не иду его искать.

Пройдясь по роще и убедившись, что все ладно, плетусь к своему шалашику. Сегодня солнце. Стягиваю телогрейку, расстегиваю ворот гимнастерки и ложусь на землю. Простудиться мы тут не боимся. Всю весну мы мокрые, непросыхаемые — и хоть бы хны, хоть насморк какой или кашель. Глаза слипаются — всегда после обстрела тянет в сон. Задремливаю...

Будит меня знакомый голос:

— Прибыл для прохождения дальнейшей службы, товарищ командир.

Открываю глаза — передо мной Филимонов. А я и думать о нем забыл. Когда Волгу переходили, он не то вывихнул, не то сломал ногу и угодил в санроту — и вот, видно, вылечился, раз здесь, и вроде как родной, потому как из моего второго, не существующего уже, взвода последний.

— Здравствуйте, Филимонов,— говорю, приподнимаясь.

— Здравствуйте, командир.— Он оглядывает меня и покачивает головой.— Ну, и разделали вас...— Потом, увидев кубарь на моих петлицах, поздравляет со званием и добавляет: — Что-то знакомых личностей не приметил. Неужто никого не осталось?

— Да, Филимонов. От взвода только вы да я.

— Дела...— протягивает он.

— Мы ж наступали, Филимонов.

— Это я понимаю.

— Ну, а вы что там в тылу подделывали?

— Недельку повалялся, потом склады охранять поставили.— Тут только я заметил за плечами Филимонова пребольший, плотно набитый вещмешок.

— Тоже дело,— говорю, чтоб не угас разговор.

— Ну, я здесь около вас буду? Тут и живете? — спрашивает Филимонов, оглядывая мой шалаш.

— Располагайтесь,— отвечаю, не раздумывая.— Рябикова, моего связного, убило вчера. Помните его?

— Как не помнить. Шустренький такой.

— Будете моим связным.

— Согласен,— отвечает он по-штатски, потом поправляется: — Есть быть связным!

Филимонову за сорок. Таких мы называем «отцами». Он небольшого роста, худощав, узкое лицо сухо и морщинисто. Конечно, не заменить ему Рябикова, но все же он свой, из моего взвода, и знаю я его с начала формирования бригады. А хотя что я о нем знаю? Помню, на мар-

ше несколько раз обрывал его нитье — и кормежка не годится, и порядка нету. Все было так, но другие помалкивали, а он... Ладно, на передке люди узнаются быстро, расколется и Филимонов. А пока он садится около меня, неспешно развязывает свой мешок, запускает в него руку, долго шурует ею, потом вынимает: сперва пачку концентрата — пшенку, потом два сухаря и, наконец, целую нераспечатанную пачку «моршанской», которую молча протягивает мне.

С каким-то противным замиранием гляжу на все это богатство и с нетерпеливой дрожью в руках начинаю распечатывать махру.

— Погодите курить, командир. Сперва позавтракаем,— говорит Филимонов, и это дофронтное словцо «завтракать» теплит и умиляет.

Уже целую вечность мы знаем только обед — полкотелка жидни пшенки на двоих, когда с сухарем, а чаще без него. А тут — завтракать!

Я быстро залезаю в шалаш, разжигаю костерик, хочу поставить на него котелок, но воды нет. За мной вползает и Филимонов.

— Ваше место где, командир? — Я показываю. Он снимает шинель, аккуратно расстилает ее, тщательно хитроумным узлом затягивает свой мешок и кладет под голову.

За водой ходил, разумеется, Рябиков, но что-то удерживает меня приказать Филимонову пойти за ней, и я беру котелок сам. Филимонов смотрит настороженно и тревожно, а когда я направляюсь к выходу, облегченно вздыхает, но приподнимается.

— Ладно, сидите. Сегодня схожу сам,— говорю я, подчеркивая «сегодня».

— Да, да, командир, я малость с местностью ознакомлюсь и тогда... — Напряжение на его лице спадает.

Поход за водой не радость. Овсянниковский овраг, в котором вьется ручей, просматривается и простреливается немцами, и около него валяется не один пробитый котелок. Переходя его, Филимонов, конечно, видел все, и я понимаю его. По первому разу глядеть на это — мурашки по телу.

К сожалению, я вроде всех и все понимаю. А понять, как говорится, наполовину простить. И я многое людям прощаю. На передке такое, наверное, ни к чему. Но что делать? Надо избавляться от этого недостатка, но я почему-то не тороплюсь этого делать. И так с каждым днем

становишься все равнодушнее к стомам раненых, все тупее воспринимаешь ежедневные потери.

Минут через двадцать я молча работаю ложкой. Филимонов только два раза прикоснулся к каше: видать, не голоден. Я уминаю все. Вскипел второй котелок, и Филимонов опять шурует в своем мешке, выкладывая два куска сахара. Это уж сверх всего! Меня развозит, как от водки, а от дыма, который я заглатываю лошадиными дозами, кружится голова. Я откидываюсь к стволу и отпускаю пояс. Теперь и помирать не страшно. Вспоминаются слова Рябикова: «Обидно голодным подыхать». Он умер голодным.

— А вам повезло, Филимонов. К шапочному разбору явились. А нам тут досталось...— Говорю без зависти, просто констатируя факт.

— Это еще как сказать,— бурчит он в ответ.— Немец-то наступать будет. Выходит, к самой заварухе и попал.

— Наступать? Откуда такие сведения?

— Артиллерию-то нашу за Волгу отправили. Техника — ее-то жалко.

— Это правда, Филимонов?

— Да, командир.

Внутри сквозняком прошел неприятный холодок. Надо переварить это.

— Не вздумайте, Филимонов, кому из бойцов это рассказывать,— выдавливаю из себя.

— Понимаю я.

Завернув самокрутку, вылезаю из шалаша. Надо пройтись, побыть одному, подумать. А чего думать? Невольно сжался, вспомнив, какой огонек дали фрицы после наших захлебнувшихся наступлений, можно представить, что будет, если они начнут наступать. А мы — в шалашиках! Только один блиндажик на весь передок — помкомбатовский. И ни одного окопа! Нужны окопы! Надо рыть окопы. С этим решением иду в центр роши, подхожу к кучке бойцов — один курит, другие жадно смотрят ему в рот и ждут: «сорок», «двадцать», «десять»... У меня в руках сигарка — и жаждущие взгляды на меня. Некоторые приподнимаются, вяло козыряют. Мы все делаем здесь вяло — ходим медленно, говорим негромко, еду и курево растягиваем сколько возможно, и не поймешь — то ли силы бережем, то ли их уже нету вовсе?

— Сидите. Как настроение? — спрашиваю.

— Обыкновенное... Сегодня не прибило — прибьет завтра, — отвечает один. Потом просительно: — Докурить не оставите, товарищ командир?

— Оставлю.

Я присаживаюсь на сваленное взрывом дерево, оглядываю серые, изможденные, небритые лица, и вдруг комом стыд — я-то сегодня сытый. Такой стыд, что решаю отобрать у Филимонова мешок и разделить его содержимое между всеми, а пока вынимаю пачку махорки. Протягиваются руки — отсыпаю. Задымили все. Курят молча, проникновенно. Жду. Когда откурили, говорю:

— Окопы надо рыть, ребята.

— Окопы? — с хриплым смешком слышу ответ. — Нам неделю отъедаться надо, командир.

— Что вы, не сдюжим сейчас.

— Не выйдет, командир, ослабли совсем.

— Ну, кто еще выступит? — говорю спокойно. — Никто не хочет? Голосовать не будем? Тогда все. Это приказ. Поняли?

— А лопаты?

— Будем копать малыми саперными.

— Разве ею выроешь? Смех один.

— Приступить немедленно. Все понятно?

Иду за Филимоновым — будем рыть тоже. После пшенки и сухарей кажется, что смогу, но не проходит и получаса, как понимаю — не выйдет. В глазах черные круги, дрожь в коленках.

Отправляюсь посмотреть, как идет работа. Никак она не идет. Одни только сняли дерн, другие выкопали ямки сантиметров на десять, трое вообще не роют.

— Почему не работаете?

— Хоть стреляй, командир, не можем!

— Объяснять про распутицу? Или не стоит? — спрашиваю ровно, даже стараюсь улыбнуться.

— А про весну не знали? Что дороги непроезжие будут, не знали?

Подходит сержант. Он и отделенный, и взводный, и мой заместитель.

— Товарищ лейтенант! — прибавляет он мне «кубарь». — Не могут люди. Я покрепче многих да и не голодовал так в разведке, и то лопата из рук валится.

Сержант — сибиряк, жилистый и не старый. Беру его за плечо, отвожу в сторону.

— Нас не скоро сменят. Понимаете?

— Значит...



— Да, да,— продолжаю я,— если немец попрет, то принимать его будем мы.

— Горстка же нас... Не может быть.

— Копайте хоть по часу в день, помаленьку, но каждый день. Понимаете?

— Попробуем, лейтенант.

Оставляю без внимания это неопределенное «попробуем». За полторы недели, что сержант у меня, успел его узнать, положиться можно.

Подхожу к шалашу. Филимонов возится с костром. Обед принесли без хлеба и сухарей, но он выложил уже свой НЗ и разогревает пшенку.

Вид всего этого отнюдь не укрепляет мой порыв разделить его мешок на всех, а Филимонов, словно читая мои мысли, говорит:

— Мы с вами, командир, дней десять на мои запасы протянем. Ну, а ежели на всех — на один раз и без всякой пользы.

Верно, конечно, но...

Хлебаю пшенку без вкуса, грызу сухари без удовольствия.

До вечера дремлю, покуривая, и совсем не томлюсь ожиданием обстрела: если немец и правда попрет, то чего уж переживать каждый налет.

А обстрел оказался посильнее обычного. Около нашего шалаша три воронки (так близко еще не было). Филимонову еле заметным осколком поцарапало руку. Когда ударило и появилась кровь, заметил я вроде в его глазах радостный огонек (а может, показалось), который тут же потух, когда увидел он, что царапина пустяковая, в санроту с такой не пойдешь.

— Ну, как? — спрашиваю Филимонова.— Первое крещение?

— Мне смерть, товарищ командир, не в новинку. Но помирать не хочу.

Лицо его еще бледнит пережитый страх, но говорит он спокойно.

— А кто хочет? — усмехаюсь я.

— Просто некоторые цену жизни не понимают...— И, помолчав немного, он добавляет: — Кто по глупости, кто по молодости.

— В мой огород камешек?

— Может, и в ваш. Вы себя небось убитым и представить не можете?

— Пожалуй,— удивляюсь я его догадке.

— А я вот очень себе представляю, как валяешься здесь и тухнешь.— Я морщусь, а Филимонов продолжает: — А жизнь-то одна и на один раз дадена. Уважать ее надо, жизнь-то...

— Уважать? — Для меня это нечто новое.

— Именно,— солидно подтверждает Филимонов.

— И на войне?

— На войне особенно. Вы, командир, наверное, из школы да в армию?

— Из института, Филимонов.

— Не дали, значит, доучиться?

— Не дали. Обстановка была не та, сами знаете.

— Баб-то хоть знали?

— Не люблю, когда так о женщинах...

— Понимаю. Прошу прощения.— Он внимательно смотрит на меня.

Уж не раз замечаю на себе его пристальный, словно что-то ищущий во мне взгляд. Видно, хочет разобраться, каков его командир. Что ж, это понятно.

Филимонов не только мой связной, но и ротный писарь (людей-то мало), и потому каждое утро после обстрела носит он в штаб строевую записку. С этим порядок. Лишней пайки не получишь. Только в первый день, после боя, отвалили на всю роту продуктов согласно списочному составу — и хлеба, и грудинки, и табаку «Беломор» — пировать можно было на славу, но не лез тогда кусок в горло: стоял в глазах первый бой.

Филимонов же и приносит редкие, скупые распоряжения начальства и разнообразные слухи.

— Как дороги пообсохнут, так он и попрет.

— Паникер вы, Филимонов,— успокаиваю я себя.— Должны же понимать в бригаде, что не можем мы немецкое наступление принимать.

А сам вспоминаю первое наступление, не подготовленное, не обеспеченное огнем, прямо с ходу, с марша, растерянного помкомбата, побелевшего нашего ротного, обреченно доказывавшего, что так наступать нельзя, и решение комбата, и все, все, что произошло после этого...

Ночью разбудил сержант:

— Выйдите, командир.

— Что случилось? — спрашиваю тревожно.

— Вот отобрал.— Он показывает пачку денег.— Знаете, у этого Лявина, который недавно...

— Знаю.

— Иду с обходом, смотрю, ползет с нейтралки. Думаю, что дальше? А он присел на опушке, достал из-за пазухи купюры и считает, сволоочь.

— Где он? Пойдемте.

Подошли к Лявину. Сидит, покуривает, поблескивает белками, и ни страха, ни раскаяния.

— Рассказывай, Лявин, как до такого дошел? — спрашиваю я.

— Чего рассказывать? Начал-то я с сухариков и с табачка... Потом думаю — чего добру пропадать, сгниет же...

— Да как ты мог здесь, на передке, о деньгах думать? Смерть же рядом!

— А чего? Смерть, она и есть смерть. Убьют так убьют. А ежели ранят? Тут наголодался и в госпитале голодовать? А с деньгами я пан-король. Отъежусь да погуляю. Товарищ командир, сержант мне по уху съездил. Это разве положено?

— Не выдержал я, командир. Дал ему, паскуде, разок...

— Сдайте оружие, Лявин. Завтра, сержант, отправите его в штаб. А сейчас — в шалаш и поставьте часового.

— Вы что, командир, под арест меня? За что? Разве я что совершил? Разве уворовал что? Валяется же, ничейное. Товарищ командир, ну не буду я больше. И на счет часового... Что, я к немцам подамся?

— Ладно, хватит, — перебивает его сержант. — Пошли!

Лявин и вправду не понимает своей вины. Не понимаю и я его поступка. Такая жадная жизненная сила. Да, сила! Не хочет он в свою смерть верить, раз о гулянке в госпитале мечтает.

Утром сидим с Филимоновым, пьем кипяток. Свое НЗ расходует он умненько, по два сухарика в день. Один в обед, если пшенку без хлеба принесут, второй вечером, когда «чаевничаем». А на завтрак только по куску рафинада. Обсуждаем происшедшее.

— И сколько же денег насобирали этот Лявин? — спрашивает Филимонов.

— Около трех тысяч.

— Большие деньги по-довоенному. Он что, урка бывший?

— Нет, из деревни.

— Таких денег и в глаза не видывал, вот и обалдел. Понять можно.

— Понять? — возмущаюсь я. — Подонок он!

— Бирочек не надо, командир. Человек-то не прост, одним словом не обоймешь.

— А вы философ, я смотрю. — Говорю без иронии и как-то по-новому приглядываюсь к Филимонову.

— Какой философ? Жизнь знаю.

— Кем на гражданке были?

— Спросите, кем не был? Все умею — и плотником, и каменщиком, и землекопом... Последнее время кладовщиком был. Уже за сорок, командир, а жизни настоящей еще не видел. Вот так-то...

— Почему же?

— А кто его знает? Не повезло, видно. А может, другое что причиной.

— А где жили?

— На Магнитке. В Магнитогорске, значит. Слыхали?

— Конечно.

— Домишко сколотил недавно, женился... И вот война. Вам сколько годков, командир?

— Двадцать два.

— Ну, а моей жене чуть поболее. Тоже у девки судьба крученная — вот и сошлись... — Филимонов задумался, а потом, словно сожалея: — Молоды вы, командир, очень молоды.

— Я почти три года в армии, — говорю я, внутренне придавая этим годам большое значение, возможно, большее, чем они имели на самом деле.

— Я вижу, что не из новоиспеченных, — заметно. И к людям подход имеете. А может, зря Лявина-то в штаб? А? Судить ведь будут.

— А что же, по-вашему, с ним делать?

— А ничего. Дал ему сержант — и хватит. Мальчонка же. По глупости натворил. Тут, на передке, все вины искупаются, и он искупил бы.

— Я обязан был доложить об этом начальству, Филимонов.

— Это все так, но жаль парня. Влепят, клеймо на всю жизнь.

Мне неприятен этот разговор. И так осадок в душе противный после этой истории, а тут еще Филимонов бередит. Я вылезаю из шалаша и иду бродить по роще.

Окопы кое-как, медленно, но все же роются. Каждый роет пока для себя ячейку для стрельбы стоя, когда вы-

роют, соединим ходами сообщения. Не подгоняю, потому как вижу: люди выжимают из себя последнее.

К вечеру появляется помначштаба и с ним... Лявин, с независимым и, как мне кажется, победоносным видом.

— Лявина что, обратно в роту? — спрашиваю я.

— Да. Дознание проведено, и пусть пока будет здесь. Идите, Лявин.

— Есть идти! — козыряет Лявин и, посвистывая, уходит.

— Не будут его судить?

— Еще не решили. Оказывается, он почти до самых немецких заграждений доползал. Знаете это? — спрашивает ПНШ.

— Знаю.

— Значит, можно добраться? — Что-то не нравится мне в интонациях ПНШ.

— Значит, можно, — отвечаю без выражения.

— Ну, как у вас? Все так же?

— Да.

— Окопы не роете?

— Роем. Когда наладится с кормежкой?

— Неизвестно.

— Политрука пришлют мне?

— Пока неоткуда. В общем, вот что. — ПНШ глядит на меня внимательно. — Завтра к вам, возможно, пожалует начальство. Комбат и из бригады...

— Давно пора, — говорю безразлично и сломанной веткой начинаю скovyривать грязь с сапог. — Пусть посмотрят.

— Приведите людей, да и себя, в порядок. Побрейтесь хоть.

Тут меня прорывает.

— Чем? Чем бриться-то? — почти кричу я. — Люди без смены белья, портянок, без бритв, без мыла, без клочка бумаги. Я докладывал не один раз.

— Ладно, знаю. Придумайте что-нибудь, — отмахивается ПНШ. — Ну, кто вам сейчас вещмешки доставит? Подумайте.

ПНШ был командиром нашей роты на формировании, и у меня с ним хорошие отношения, но спросить его, скоро ли нас заменят, я почему-то не решаюсь: все равно не ответит, даже если и знает.

Бритва оказывается у Филимонова. Треснутое маленькое зеркальце, что валялось у меня без надобности в планшете, показывает мне мое лицо без прикрас — об-

росшее, со впалыми щеками, подтеками грязи, а глаза, подведенные чернью, как неживые. Мужественного в нем оказалось меньше, чем я ожидал. Тупая бритва рвала волос, но крови из порезов не шло, словно брею мертвое.

Ребята тоже бреются филимоновской бритвой, и я многих не узнаю. Щетина как-то прикрывала наш доходной вид, сейчас все наружу — и обтянутые скулы, и вдавленные щеки, и худые шеи.

Иду по ночной передовой... Методично хлопают ракеты, вырывая своим мертвенным светом то один, то другой кусок поля... поля боя... И на каждом чернеют словно обугленные незахороненные русские солдаты. И подкапывает что-то к горлу...

Как бестрепетна и проста была мысль о смерти там, на Дальнем Востоке, когда строчились докладные с просьбой отправить на фронт, когда самым страшным казалось — вдруг война мимо. Не увидишь, не узнаешь, просидишь в тылу. И каким негаданно трудным все оказалось... Бывает, кольнет сожаление, но это по ночам. А поутру опять подписываешь строевую записку со все уменьшающимся наличием личного состава, бродишь по роще в поисках курева, ждешь обеда, чистишь автомат, пресекаешь нытье, бодришь намеками о скорой замене, в которую сам не веришь, — в общем, проживаешь обычный день, еще один день так называемых фронтовых будней, делая и принимая все, что положено на передке.

Возвращаюсь в шалаш. Филимонов не спит. В каске тлеет огонек, освещая красным, тревожным светом внутренность нашего обиталища. Филимонов вздыхает и тихо говорит:

— Чую, командир, случится что-то завтра... Чую — и все.

— Глупости, — бормочу в ответ, а у самого на душе муторно.

Еще затемно обрушивается на нас невиданной силы обстрел. Визг сотен мин сливается в один рвущий душу вой, а их разрывы — в оглушающий, безостановочный грохот, такого еще не бывало. Все гудит, сотрясается, с шалаша срывается полкрыши, шелкают прямо над ухом разрывные пули, свистят осколки. Лежим, вжавшись в землю, одним виском к стволу дерева, другой прикрыв каской, а надо подняться. Мне надо! Но власти над те-

лом нет, придавливают, жмет к земле страх, кажется, в шалаше не убьет, а как выйдешь — трахнет.

Филимонов приподнимается и начинает креститься, что-то шепча, и не смешно это сейчас — не идет с губ насмешка, молчу. Хоть бы на минуту затихли, дали бы мне выскочить из шалаша и добежать до края, чую же, неспроста немцы так, может, наступать вздумали, может, идут уже сейчас по полю, а вся рота, знаю, лежит сейчас распластанная, уткнувшаяся в землю — не до наблюдения.

Я ползу к выходу.

— Куда вы? — шепчет Филимонов.

— За мной, Филимонов! Надо!

Высовываю голову из шалаша — в дыму и гари все вокруг, не продохнешь. Только хочу приподняться — вой очередной мины прижимает опять. Разрыв совсем близко. Забрасывает землей, и от каждого комка, падающего на спину, сжимаюсь в противном ознобе. Все же встаю и, согнувшись в три погибели, бегу к овсянниковскому оврагу. Слышу, как тяжело дышит бегущий за мной Филимонов. У оврага приданный моей роте станковый пулемет, направленный на лощину. По ней-то скорей всего и попрут немцы; укрытисто и метров за двести можно подобраться к нам незаметно.

Бегу. Падаю. Встаю и опять бегу. И так раз десять, пока не добираюсь до пулемета. Плюхаюсь около пулеметчика, спрашиваю: где второй номер?

— За ребятами послал. Что же это, командир, неужто наступать фрицы задумали? Хана нам тогда.

— Без паники! Филимонов, разыщите сержанта — и чтоб на крайний пост с отделением выдвинулся. Остальных шлите сюда. Быстро!

— Есть! — отвечает Филимонов и убегает.

Подползают бойцы, жмутся к пулемету, но я приказываю рассредоточиться. Все взглядами в поле — серую пелену, угрозную и пока безмолвную, а слухом ловят самое страшное, что может быть, — урчание танковых моторов. Есть у нас, правда, четыре сорокапятки, установленные на прямую наводку, да несколько противотанковых ружей, но уповать на них не приходится: не знаем даже, сколько у них снарядов в боекомплекте.

А обстрел не прекращается — такой трепки нам немцы еще не давали. Уже слышится из рощи: «Братцы, санитары...» Сколько потерь? Будет ли с кем бой принимать? Около меня человек шесть пока.

Прибегает запыхавшийся Филимонов, падает около меня, докладывает. Пока говорю с ним, от поля отвернувшись, раздается какой-то не то вздох общий, не то гул.

— Идут, идут!..— быстро шепчет пулеметчик.

— Без команды не стрелять! — тоже шепчу я и вижу, как из-за поворота лощины серыми тенями появляются немцы.

Они приостанавливаются, поджидая остальных, я вижу офицера, который жестом руки подтягивает солдат, вижу, как осторожно и неспоро выдвигаются они вперед, и начинаю понимать, что это вряд ли наступление, и облегченно вздыхаю.

— Это разведка, ребята. Разведка,— шепчу я, ободряя и бойцов и себя, потому как видим так близко немцев в первый раз и как бы не оробеть. Но, оборачиваясь, вижу — лица бойцов бледные, сосредоточенные, но страха особого не заметно.

Немцы тем временем накапливаются в лощине и числом не менее взвода. Для того, видно, чтобы сразу, всем скопом, в одном рывке достигнуть нашего края. Вот тут-то и надо накрыть их огнем не мешкая.

— Дай я лягу к пулемету,— говорю я пулеметчику и начинаю отжимать его, но он упирается.— Кто здесь командир? — шепчу я.— Освободи место.

— У нас свой командир. Я только приданный вам,— противничает он.

— Давай, давай! Хватит ломаться! Пойдут они сейчас.— Я нажимаю сильнее, и пулеметчик нехотя отодвигается, уступая мне место.

Я проверяю прицел и теперь уже через него вижу немцев, в которых я вот-вот сейчас буду стрелять, квитаться с ними за каждодневные обстрелы, за захлебнувшиеся наши наступления, за потери наши, за нелепую смерть Рябикова... За все, за все получают они сейчас!

Но немцы чего-то ждут... И я не сразу догадываюсь, что ждут они окончания обстрела наших позиций: не лезть же им в рощу, которая вся в огне и грохоте.

И верно, как только обстрел прекращается, немцы сразу бегом, молча бросаются низом лощины вперед.

— Стреляй, командир, стреляй! — шепчет кто-то за спиной, но я жду, хочу подпустить ближе, но один из нас не выдерживает и открывает автоматный огонь, тут и я нажимаю гашетку.

Немцы рассредоточиваются, залегают, открывая от-



ветную стрельбу. Над нами мечутся пули, и наш огонь редет. Только я, чувствуя себя за щитком пулемета не очень уязвимым, продолжаю водить стволом и вижу, как снежные фонтанчики взмываются среди немцев, как некоторые с криком отползают назад и скрываются за поворотом лощины, а остальные, уже плохо видимые (только черными точками темнеют каски), лежа ведут безостановочный автоматный огонь. Несколько пуль щелкают о щиток, и я инстинктивно прячу голову и перестаю стрелять. Немцы пользуются этим и, что-то крича, свистя, поднимаются и бегут на нас.

— Давай, командир, стреляй! — слышу я за спиной чей-то голос. Кричат и другие:

— Бей гадов!

— Жмите, командир!

Я стреляю... Немцы опять залегли. И тут же завыли мины, и несколько взрывов совсем близко от пулемета заставляют меня уткнуться в землю.

— Отползай в сторону! — кричу я, понимая, что засекли немцы пулемет и весь огонь сосредоточат сейчас на нем.

Я бы и сам сейчас не прочь бы от пулемета, но неудобно перед пулеметчиком, и я остаюсь на месте. Изредка я приподнимаюсь и пускаю короткие неприцельные очереди и тогда вижу, как немцы отходят. Кто отползает, кто отбегает. Из-за поворота лощины мечутся желтые огни ручного пулемета, но самого пулеметчика не видно — высунул ствол и сыплет.

Но вот летит моя мина, звук нарастает, доходит до воя — во мне все замирает. Взрыв! Меня чуть откидывает от пулемета, обдает вонью, оглушает, но вроде не задевает. Минуту-две прихожу в себя, и когда очухиваюсь окончательно, то вижу в лощине только двух немцев — одного лежащего, а второго пытающегося тащить его. Я открываю огонь, и второй отскакивает и скрывается за поворотом.

Ну, вроде все... Я вздыхаю и обтираю рукой лоб — жарко. Вынимаю кисет и даю пулеметчику:

— Заверни. Мне и себе.

— Здорово мы их! — Почерневшее, в подтеках грязи лицо пулеметчика расплывается в улыбке. — Жаль, кто-то стрельнул, испортил все дело, а то бы мы побили поболее. — Он прислонивает сигарку и дает мне, я с наслаждением затягиваюсь, но тут, видимо, тот же немец появляется из-за поворота и в несколько прыжков дости-

гает лежащего, хватает его под мышки и тащит к повороту.

Я накрываю его очередью, но он успевает протащить того несколько шагов.

— Упрямый, черт,— цедит пулеметчик, потом добавляет: — Позицию надо сменить, товарищ командир, засекли нас, вы уж из автомата его добивайте.

Я соглашаюсь. Он откатывает пулемет в сторону, а я, направив ствол ППШ к повороту оврага, жду. Я уверен, что немец появится еще раз, и так увлечен этой охотой, что мало обращает внимания на минометный обстрел, а он только чуть стих в середине роши, а по краю идет с прежней силой.

Немец осторожно высовывается из-за поворота, но я не стреляю, жду, когда он выйдет совсем. Но в рост он уже не идет, а начинает тихонько ползти, скрываясь в складках местности. Я беру его на мушку, но она дрожит, и я никак не могу успокоить ее на его каске. Даю короткую очередь. Немец исчезает, укрывшись за какой-то кочкой. Я жду и, когда он опять начинает двигаться, стреляю еще раз. Слышу сзади одиночные выстрелы: кто-то из бойцов помогает мне.

Лежащий немец будто пошевелился, а может, привиделось мне, но второй фриц бесстрашно бросается вперед. Я сбиваю его очередью, но он уже совсем близко к лежащему.

До них метров полтора ста, и я вижу, что из автомата я вряд ли сумею попасть.

— Филимонов, дайте мне винтовку,— поворачиваюсь я к нему.

Тот смотрит на меня как-то отчужденно и говорит:

— Может, хватит, командир? Пускай тащит он его к своим. Живой, может, еще. Отбили разведку, чего теперь...

Я не понимаю, о чем это он. И гляжу на него, видно, глазами ошалелыми, потому что он добавляет:

— Очнитесь, командир.

Я отвожу от него взгляд и, пробормотав: «Не мешайтесь, Филимонов», пускаю длинную очередь по опять поднявшемуся немцу.

— Раненых у нас много, нести некому, распорядиться бы надо...— продолжает Филимонов, но до меня как-то не доходит смысл сказанного, и я ловлю в мушку залегшего опять немца и стреляю.

Стреляю долго, три длинных очереди пускаю я в него, и он не выдерживает, подается назад и, уже уйдя полутоловищем за поворот, грозит кулаком.

— Ах, ты еще грозишься, сволочь! — бормочу я и опять жму на спусковой крючок.

Он исчезает совсем. Я раскуриваю потухший окурок. У меня дрожат руки, колотится сильно сердце, мне жарко, и я расстегиваю ватник.

— Чего вы говорили, Филимонов?

— Раненых нести некому.

— Идите к сержанту, пусть распорядится. Пусть попросит людей во второй роте.

— А вы тут останетесь?

— Ага.

Филимонов отползает от меня, а я опять глазами — в лощину, палец на спусковом крючке — жду.

Искурилась уже сигарка, а немец не появляется. Неужели так я и не прихвачу его? Обидно.

Тут подползает ко мне Лявин:

— Товарищ командир, связной от помкомбата. Вас требуют.

— Стреляешь хорошо, Лявин?

— А чего? Конечно, хорошо.

— Останетесь здесь — и наблюдать за убитым. Если кто...

— Будьте покойны, — перебивает он меня, — прищучу, не уйдет.

Я иду через нашу покореженную рощу — дымятся развороченные шалаши, поломаны многие деревья, лежат наскоро перевязанные раненые, кто молча, кто подстанывая, в глазах мольба: унесите скорей в тыл, отвоевались же, обидно будет очень, если добьет немец окончательно. Понимаю, но всех вынести сразу и роты не хватит — потерпите, братцы: сначала самых тяжелых надо, авось немец не начнет больше.

Встречаю Филимонова, забираю его с собой, идем к землянке помкомбата. Сходит постепенно напряжение боя, и еле-еле волочу ноги, сейчас бы в шалашик...

По дороге Филимонов спрашивает:

— У вас что, командир, под немцем кто из родных находится?

— Нет. Почему вы решили?

— Уж больно вы зло стреляли. Вот я и подумал...

У помкомбата все командиры рот. Оказывается, немцы в трех местах разведку производили и в одном из направлений добились успеха — захватили «языка». Помкомбата, разозленный, осунувшийся, разводит руками: как командиру батальона о таком докладывать? Командиру той роты, из которой немцы бойца утащили, конечно, втык хороший, ну а мне вроде благодарность, что не проморгали немцев, что вовремя прихватили.

О приходе начальства помкомбата не поминает, видеть, раздумали, ну и к лучшему, не до них сейчас.

На обратном пути захожу к Лявину, точнее, подползаю к нему:

— Ну как?

— Наблюдаю безотрывно, командир, но к фрицу никто не подбирался. Вон он лежит, как лежал.

Я смотрю в лошину, вижу распростертое тело убитого мной немца, и тут впервые что-то неприятное кольнуло сердце. Достая табак, угощаю Лявина, закуриваем.

— Неужто, товарищ командир, меня судить будут? — спрашивает Лявин.

— Не знаю, Лявин. Что вам в штабе сказали?

— Допрос сняли — и все... Ну, намекнул один капитан, что ежели я что-нибудь геройское совершу — простят, может.

— Я доложу, Лявин, что вы хорошо действовали сегодня.

— Зря вы меня, командир, так... Не подумавши делал...

— Это не оправдание, Лявин. Ладно, может, обойдется все. Продолжайте наблюдать.

— Есть!

Я отползаю от него, потом поднимаюсь и двигаюсь к своей лежке. Дотянул кое-как, залезаю, разваливаюсь на лапнике, непослушными пальцами еле сворачиваю сигарку — ни мыслей каких, ни ощущений, спать, спать, и больше ничего не надо.

Сны на передке снятся редко. Намучившись при вечернем обстреле, после него — размякшие и обессиленные — засыпаем сразу, словно проваливаемся, но сегодня давит какой-то кошмар.

Долго лежу с открытыми глазами, глядя в клочок неба, видный через дырку в крыше шалаша, и думаю, что положение наше сейчас усложнилось, что немцы теперь знают, что нас горстка, что выбить нас можно без особого труда и что можно ждать всякого...

Сон ушел, и я иду бродить по роще. У шалашей группами по двое, по трое сидят бойцы, обсуждают происшедшее. Обсуждают оживленно. Куда делось то тупое безразличие, с которым слонялись раньше. Подхожу к одним.

— С первым немцем вас можно поздравить, товарищ командир,— говорит один.

— Спасибо.

— Лиха беда — начало,— говорит другой.— Все ж отыгрались маленько. Я смотрел: человек десять мы у них ранили.

— Больше не полезут теперь. В общем, подкормить нас — еще сгодимся.

— Да, когда только эта распутица кончится?

— Может, слазить к фрицу, пошукать насчет табачка? Как, командир, позволите?

— Один уже дошукался... до трибунала,— отвечаю я.

Отхожу от них, петляю по роще. Тянет меня почему-то опять к оврагу, но не иду туда, а возвращаюсь в шалаш. Опять растягиваюсь на лапнике и незаметно ухожу в сон. И опять начинает сниться что-то тяжелое — стрельба, немцы, а потом вдруг я оказываюсь около убитого мною, и мне хочется посмотреть в его лицо. Я наклоняюсь, поворачиваю его и... ужасаюсь: вместо незнакомого, чужого лица передо мной — Мишка, мой друг детства Мишка Бауэр, с которым жил в одном доме, вместе учился в немецкой школе, что была на 1-й Мещанской.

Я холодею от отчаяния, и страшное чувство непоправимости случившегося сковывает меня, и я только лепечу: «Мишка, как же так? Как ты здесь оказался?» Я пытаюсь поднять его голову, ощущаю в руках его жесткие волосы, которые никак не укладывались у него в пробор, начинаю трясти его, словно стараясь оживить, но Мишкина голова никнет, и только открытые голубые глаза смотрят на меня с отчаянной тоской и укоризной. Я прижимаюсь к его лицу и начинаю реветь, реветь навзрыд, как ревет только в детстве или во сне...

Будит меня Филимонов:

— Приснилось страшное, командир?

— Да, ерунда какая-то,— только и могу ответить, а перед глазами белое Мишкино лицо.

— Я вхожу, вижу — плачете вы во сне. Думаю, разбудить надо.

— Хорошо, что разбудили,— говорю я, но не могу сбросить то безысходное ощущение непоправимости со-

вершенного, которое так живо, реально схватило меня во сне и которое не отпускает и сейчас. И вдруг набегают мысли: а что, если немец похож на Мишку?

Мишка сейчас на Урале и, конечно, никак не может оказаться в рядах врага. А вдруг убитый немец и вправду похож на него? Уже вторым заходом пробегает мысль, и я чувствую, как прикипает она к мозгу и что я никак не могу от нее отделаться.

Я поднимаюсь и, уже не сопротивляясь опять вспыхнувшему желанию пойти к оврагу, иду туда. К Лявину я не подхожу, а останавливаюсь недалеко и из-за дерева гляжу в лощину. Отсюда, конечно, не разобрать, каков немец собой, да и лежит он ничком, уткнувшись в землю.

«Вот я и убил,— вначале как-то вяло прокатывается мысль, и так же вяло выползает другая,— я и нахожусь здесь, чтобы убивать, это мой долг, это моя обязанность...— А потом вдруг словно толчок в грудь.— Но ведь что-то случилось? Случилось!» Я повертываюсь резко и иду обратно.

У шалаша Филимонов разогревает пшенку. Он поднимает глаза и, видно, замечает на моем лице что-то, потому как спрашивает:

— Маетесь, командир?

— Почему маюсь? — отвечаю я вопросом.

— Так. Показалось мне.

— Вы что, крестились при обстреле? Верующий, что ли? — довольно грубовато, сам не знаю почему, спрашиваю его.

— А если и верующий? Что с того?

— Ничего. А по немцам вы стреляли?

— Стрелял.

На этом разговор наш обрывается. Пшенку лопаем молча.

После обеда Филимонов принимается исправлять шалаш, а я лежу подремливаю — разбитый и вялый.

О доме, о Москве, о возможном возвращении я запрещаю себе думать здесь — это расслабляет, это ни к чему. Ни прошлого, ни будущего сейчас для нас не существует — только настоящее. Жестокое, вечное настоящее, в котором живем. Но все же лезут иногда мысли-воспоминания, вот и сейчас думаю: если возвращусь домой, расскажу ли я матери о сегодняшнем? Наверное, все-таки не расскажу...

К вечеру с трудом беру себя в руки и обхожу вместе с сержантом наш пятачок: надо по-другому расставить

посты, надо обдумать, куда установить станковый пулемет (на старом месте оставлять нельзя). В роте осталось одиннадцать человек, а у меня четыре поста, значит, всем бесценно придется быть в наряде.

Уже по делу подходим к овсянниковскому оврагу, и опять, глядя на убитого, думаю: а если он похож на Мишку? И чего это ко мне привязалось? Какая мне разница — похож или не похож? Мне-то что? Стараюсь опять отмахнуться от этой мысли, но она словно прилипла — не отдерешь.

Когда возвращаюсь в шалаш, неожиданно решаю — ночью сползать к немцу и посмотреть, каков он. И это внезапное решение даже пугает: не свихнулся ли я? К черту! Никуда я не полезу! Глупость!

Подходит время к вечернему обстрелу, и ожидание это, маетное, томительное, отодвигает все прочее. Филимонов каркает:

— Дадут нам сегодня немцы за свою неудачную разведку. Ох как дадут!

Я молчу. Сказать Филимонову, что разведка-то немцам все же удалась на другом участке, нельзя. Надеюсь, что не просочится это, не собьет людям настроение. Мы-то отбили!

Что-то невольно стало сидеть в шалаше и ожидать обстрела, выхожу. Уже притемнело, но немцы ракеты еще не пускают. Подхожу к краю роши и, задумавшись, прикуриваю неосторожно, и сразу на огонек — сноп трассирующих. Бросаюсь на землю, откатываюсь в сторону, судорожно ищу укрытие и вдруг взрываюсь — посылаю в ответ целый диск, семьдесят два патрона, как один, в сторону немцев.

Слышу беспокойные голоса бойцов, крики «тревога», треск веток, тяжелое дыхание кого-то подползающего ко мне, но, словно оглашенный, меняю диск и опять нажимаю спусковой крючок.

— Немцы? — хрипит сержант (это он подполз ко мне).

— Нет. Закурить не дают, сволочи! — отвечаю я, продолжая стрелять.

— Прекратите, лейтенант! С ума сошли, что ли? — Сержант хватает меня за руки, стараясь оттащить в сторону, но я сопротивляюсь и не прекращаю огня.

Небо над полем расцветилось густотой ракет, а чернота переднего края немцев — фонтанами трассирующих. Завыли мины. Только тут я поддаюсь сильным рукам сержанта. Отползая в сторону, бухаемся в воронку

из-под мины, холодная вода обжигает живот, и я прихожу в себя окончательно.

— Ну, заварили вы кашу. Разве можно нам дразнить немца? — Лицо сержанта строго, взгляд отчужден и осуждающ.

— Сам не знаю, как накатило...— оправдываюсь я без ложного стыда, понимая, что совершил больше чем глупость.

А немцы шпарят минами, не жалея их, не особо прицельно, кидают и кидают, будто нет никакой весны, никакой распутицы, будто к этому проклятому Овсянникову тянется прямо из Берлина асфальтовая дорога, снабжающая их бесперебойно всем необходимым.

Минут через пятнадцать огонь вроде начинает стихать, и немецкая передовая успокаивается. Я с сержантом бегом по всей роще, по всем постам: удивительно и счастливо — все целы, никого не задело, потерь нет. Вдыхаем облегченно.

— Повезло, лейтенант. Вам повезло,— со значением говорит сержант.— Но в такие игрушки играть нечего. Нервишки-то в руках надо держать.

— Вы правы,— отвечаю я и вспоминаю длинного щеголеватого капитана, повадившегося к нам на передок охотиться на немецкого снайпера.

Ему-то что — пощекочет нервы, поиграет с опасностью, а когда немцы на его выстрелы сыпанут минами, он смывается. А нам-то некуда. У нас после его «охоты» то убитые, то раненые.

Бойцы поначалу ворчали только, потом заматюгались откровенно, и наконец сержант не выдержал — поговорил с капитаном по душам, и тот больше не появляется.

Неравны больно наши возможности: пульнем мы очередишку из автомата или пулемета, а немец в ответ такое, что взвоешь. Потому и осторожничаем. Не по трусости, а по здравому смыслу.

Возвращаюсь в шалаш злой на себя, взбудораженный. Филимонов смотрит на меня внимательно, но ничего не спрашивает. Меня раздражает его поглядывание на меня, и я не выдерживаю:

— Чего на меня уставились, Филимонов?

— Да так. Спали вы с лица за этот день. И так худой, вроде дальше некуда, ан нет, еще более осунулись.

— Ну и что? — грублю я.

— Да ничего. Просто говорю, что вижу. Кипяточку попьем?



— Давайте.

— Сейчас, я мигом.

Филимонов раздувает тлеющий костерик, подкладывает веток и ставит котелок с водой. Потом начинает колдовать со своим мешком, развязывает хитроумный узел и вытаскивает два сухарика. Смотрю и думаю — мне бы такое богатство! Я не стал бы растягивать, я бы сразу все слопал, наелся б от пуза, а там будь что будет. Филимонов не таков. Возраст, наверное? Или характер? Он дней на десять растянет, а там, гляди, и наладится снабжение или сменят нас к тому времени. Последнюю мысль безжалостно прижимаю — не думать об этом! Не надо! Это расслабляет!

Поужинав, укладываемся спать... Часа через два надо проснуться и пройти по постам, правда, сегодня ребята дремать вряд ли будут — встряхнула нас немецкая разведочка, но все же...

Непонятное желание сползать к немцу, загнанное внутрь трезвыми дневными рассуждениями, притаилось и знать пока о себе не дает, но заснуть не могу. Поворочавшись без толку с бока на бок с час, встаю. Обхожу посты — бодрствуют, просят покурить, тревожно спрашивают, не попрет ли немецкая разведка еще раз. Что ответить? Будьте начеку, не проспите, не прозевайте, тогда опять отобьем.

Подхожу все-таки к этому чертову овсянниковскому врагу, а не хотел... Убитого не видать. Тень от склона закрывает его даже тогда, когда светят ракеты. Присаживаюсь на пенек, кручу самокрутку, но не закуриваю, кладу ее, уже прислуживленную, в кисет, и вдруг — словно и не зарекался, словно и не запрещал себе и думать об этом — поднимаюсь и прямым ходом вниз, в лощину. Куда это я? Зачем? Беспомощные набегают мысли, а ноги несут меня дальше.

Я машинально пригибаюсь при вспышках света, замираю, а когда гаснут ракеты, иду дальше, не раз натыкаясь на трупы, не раз проваливаясь в заполненные водой воронки. И свет — тьма, свет — тьма...

Неожиданно одна из ракет вспыхивает прямо над лощиной, осветив ее дно, и, падая, вижу я на миг убитого мною немца и... рядом с ним какую-то колеблющуюся тень — что за чертовщина! Мерещится, что ли? Или кто из бойцов не выдержал, полез за табачком? Может, Лявин опять сноровился? Ну и задам же я ему!

Я осторожно, чтоб щелчка не было, взвожу затвор ав-

томата. Лежа я ничего не вижу, небольшой бугорок передо мной пригораживает мне немца, а когда ракета погасла и я чуть приподнимаюсь, глаза не сразу к темноте привыкают, и я ничего впереди себя не различаю.

Решаю ползти дальше, но тут не то стон, не то всхлипывание какое-то останавливает меня — становится жутко, сердце колотится, дыхание сбивается, и я судорожно стискиваю ложу ППШ. Что ж это такое? Неужто жив еще убитый мной немец?

Некоторое время лежу неподвижно, потом, немного придя в себя, продолжаю опасливо двигаться дальше... Ракеты то вспыхивают, разливая мертвый, потусторонний свет, то гаснут отгоревшие: свет — тьма, свет — тьма...

Проползя еще несколько метров, я поднимаю голову и чуть не вскрикиваю: пилотка на голове склоненного над убитым человека показывает мне ясно — это немец! Немец!

Я вжимаюсь опять в землю и сразу из похожего на сон состояния возвращаюсь к действительности. Дышу тяжело и лихорадочно соображаю, что делать дальше. Немца надо забрать — это несомненно! Но что он здесь делает? Выглядываю осторожно и в сумеречном свете ракет разглядываю — немец, сняв с себя ремень, прилаживает его к убитому... Понимаю, хочет вынести труп. Но не удастся тебе это, фриц! Не удастся! Меня охватывает то же нетерпение, что и утром, тот же азарт, но от волнения я делаю неловкое движение — ложа автомата задевает висящую у пояса «лимонку». Раздавшийся легкий стук кажется громом — немец поднимает голову...

Раздумывать некогда — рывком бросаюсь вперед и вот уже стою над немцем, направляя на него ствол ППШ...

Тот не успевает ни рвануть автомат с живота, ни даже приподняться — так и остается стоять на коленях, а его руки, державшие ремень, медленно, очень медленно начинают подниматься вверх...

Теперь — все!..

Немец смотрит на меня без страха, как-то безразлично. Может, чуть растерянно. Мы очень близко друг от друга, и в свете то тут, то там вспыхивающих ракет ясно вижу его лицо — худое, с запавшими щеками и резкими морщинами. Он кажется мне старым, очень старым...



Я слегка откашливаюсь перед тем, как скомандовать немцу бросить оружие, но он опережает меня и, кивнув на убитого, бормочет:

— Майн брудер... Эр ист майн брудер...

Я невольно кидаю взгляд на убитого — скрюченное конвульсиями маленькое тело залито кровью, в предсмертном оскале страдальчески искривлен рот, мундир на груди весь в дырках от пуль... Ком тошноты подступает к горлу — и происходит нелепое, необъяснимое, невероят-

ное: я опускаю автомат, повертываюсь и неровными, тяжелыми шагами ухожу из этого чертова овсянниковского оврага...

Войдя в рощу, я оседаю на землю, все еще ошеломленный, придавленный случившимся... Дрожащими пальцами еле-еле свертываю сигарку — газетка рвется, махорка сыплется...

— Товарищ командир, — слышу шепот около себя. Оборачиваюсь — Лявин!

— Чего вам? — еле проговариваю я.

— Закурить не найдется, командир? Мочи нет — курить охота.

Достаю кисет, молча протягиваю ему. Он завертывает самокрутку, выбивает кресалом огонь, со вкусом затягивается и благодарит.

— Что же теперь со мной будет? — спрашивает он, а я не могу понять, о чем это он. — Черт тогда попутал... Да и голодуха эта... Вот думаю, чего совершить такого, чтоб простили меня...

Я не отвечаю, и Лявин, потоптавшись около немного, отходит от меня.

Я ни о чем не думаю, голова совершенно пустая, я только затягиваюсь дерущим рот дымом и бессмысленно гляжу на этот чертов овсянниковский овраг. Меня даже не тревожит, что Лявин мог видеть, как спускался в него, может, даже ходил за мной и видел все происшедшее. Мне все совершенно безразлично. Я с трудом поднимаюсь на ноги и медленно, не разбирая дороги, возвращаюсь к своему шалашу.

Филимонов сидит на корточках перед разожженным костериком и греет руки.

— Замерз что-то, — говорит он безразлично. — Что за весна беспогодная, такой холодище по ночам, — продолжает он, потирая руки. — Может, кипятком побалуемся?

Я не возражаю и тоже протягиваю руки к огню — бьет меня противная мелкая дрожь. Филимонов вроде хочет поймать мой взгляд, но я уставился на огонь и молчу.

Разливая пахнувший дымом кипяток, Филимонов говорит:

— Неважно выглядите, командир... Почернели даже.

Я не отвечаю, а он продолжает:

— Вы... до этого, командир, хоть скотину какую... или хоть петуху голову рубали?

— Нет, Филимонов... Только на охоте один раз ко-  
сулю...

— Ну то дичь, другое дело, а тут...

— Я был сейчас там... В овсянниковском овраге,—  
вдруг вырывается у меня.

— Были?! — восклицает Филимонов, упершись в меня  
глазами.— Ну и что?

— Потом, Филимонов, потом...

— Понимаю...

Зачем я сказал Филимонову, не знаю. Просто я еще  
оглушен и мало что соображаю. То нелепое, что я совер-  
шил, отпустив немца, кажется мне совершенным не мною,  
я не понимаю и не могу анализировать свой поступок.  
Пока в глазах — оскаленный, искривленный рот убитого  
с черной струйкой крови, идущей по подбородку, и ощу-  
щение, страшное ощущение непоправимости всего слу-  
чившегося, и еще какое-то неопределенное предчувст-  
вие — что-то будет, что-то будет...

Потрескивают догорающие ветки в костре, порой  
вспыхнет одна из них последним огоньком и осветит ша-  
лаш красноватым, колеблющимся светом, а я лежу на  
спине с открытыми глазами — опустошенный, словно вы-  
потрошенный, без единой мысли в голове...

Рядом ворочается Филимонов, покряхтывает и, как  
мне кажется, поглядывает на меня. И тут мелькнуло: а  
смогу ли рассказать Филимонову все? И вдруг пони-  
маю, что никому, никому из находящихся здесь людей  
сказать об этом не решусь. Почему же?

Да, почему же?

Я просто поступил по-человечески... Да, да! По-чел-  
овечески!

Я твержу это про себя всю ночь, но успокоения не по-  
лучаю.

Начинает светать. Первые стелющиеся лучи солнца  
пробиваются сквозь щели шалаша, и я тянусь за махор-  
кой. Скоро начнется обстрел, и на время отходит вче-  
рашнее. Чего думать, чего мучиться? Хлопнет мина в ша-  
гах двух-трех — и конец всему.

Открывает глаза и Филимонов и разгоняет рукой гу-  
стоту табачного дыма: некурящий он.

— Томят нас немцы, не начинают что-то,— бурчит он.

И верно, скорей бы начинали, скорей бы отстреля-  
лись.

Ну вот, начали наконец-то... Только вдалеке пока  
бьют, из Усова по левому краю нашей рощи, но сейчас

и к нам приблизят, сейчас и из Овсянникова начнут бить уже по нашему пятаку.

Но Овсянниково что-то молчит. Идет огонь все левее, и нас пока не задевают.

Я приподнимаюсь. Странно это. Два месяца немцы своему порядку не изменяли. Часы проверять было можно, как сигнал точного времени, ровно в шесть ноль-ноль завывала первая мина, а сегодня что-то замешкались.

Уже начинает стихать в стороне налет, а по нашей роте ни одной мины... И заползает в душу страшное подозрение: не молчат ли немцы потому, что отпустил я их солдата, что я дал ему вынести убитого? Если так, то я словно в сговоре с врагом оказываюсь? Я сжимаюсь в своем шалашике в каком-то мучительном предчувствии, что мой поступок ночью будет еще иметь какие-то ужасные, непоправимые последствия...

— Что ж это немцы сегодня? Передышку нам дают? — говорит Филимонов, когда обстрел левого края прекратился совсем.

Выхожу из шалаша. На лицах бойцов недоумение и в то же время напряженность: чего немцы задумали, почему не бьют, заразы, какую еще каверзу готовят?

У овсянниковского оврага стоят несколько ребят, переговариваются, среди них и Лявин.

— Утащили-таки фрица, товарищ командир, — обращается один.

— Да, закурили немецкого табачка. Зря, командир, запретили слазить да пошукать его.

— Не побоялись, гады, так близко к нам подойти.

— Небось офицер был — вот и забрали. Из-за рядового не пошли бы. Кто на посту здесь был? Не ты, Лявин?

— Ну я, а чего? — с нехотью отвечает он.

— Чего, чего... Проспал фрица, вояка.

— Я не спал. Но разве ночью углядишь? Темно в этом чернорое, ракеты его не просвечивают... Вот и командир приходил ночью, а ничего не заметил. И не спал я, верно, товарищ командир?

— Верно, — отвечаю я, — не спал... Ладно, черт с ним, с немцем, разойдитесь.

Я достаю кисет, протягиваю ребятам. Тянутся грязные, черные от копоти костров руки, берут деликатно на полцигарки, а мне сжимает что-то сердце, будто обманул в чем этих людей, будто и правда нахожусь в каком-то сговоре с врагом.

Филимонов внимательно поглядывает на меня, а когда мы отходим с ним от бойцов, спрашивает:

— Ночью, значит, лежал еще фриц?

— Лежал.

— На рассвете, значит, его уволокли?

— Нет, ночью,— неожиданно для себя говорю я и вдруг решаю рассказать обо всем Филимонову.

Он удивленно скидывает голову.

— Вы видали?

— Видал.

— И много их пришло, немцев-то?

— Один. Брат убитого.

— Вот оно что! За родным, значит, приполз... за братьяньником... Эх, война, война...— Филимонов замолк.

— Что же не спрашиваете меня дальше?

— А чего спрашивать? Отпустили вы его. Понял я это еще у оврага. Лицом-то своим владеть не умеете. Эх, молоды вы, командир... очень молоды! Зачем мне-то рассказали?

— Не знаю.

— Трудно в себе держать?

— Наверное.

— Говорил вам, хватит стрелять. Пусть бы тогда утром и уташил бы... Не послушали. А теперь вот какое дело получилось.

— Какое дело? Не в бою же с немцем встретились.

— Это оно так, конечно. Но вы, командир, больше никому об этом не говорите.

— Почему?

— Не говорите. И мне-то зря сказали.

Перед обедом приходят два связиста. Принесли новый телефон (мой-то в первых боях разбит был), протянули связь с помкомбата. Давно просил — не давали. А теперь, после немецкой разведки, раздобыли.

Говорю с помкомбата. Он приказывает, чтоб рыл я себе блиндаж, хватит в шалашике обретаться. Отвечаю, что сил у людей нет, что пока себе окопы не выроют, не имею права заставлять их рыть для себя лично, да и вода еще из земли выжимается.

— Что это тебя немец сегодня не бил? — спрашивает напоследок.

— Черт его знает. Может, в обед угостит...

— Да, чуть не забыл. Лявина этого пошли в штаб.

— Зачем?

— Не знаю. Приказание комбата.

— Пришлю.— Я кладу трубку и посылаю Филимонова за Лявиным.

Тот приходит обеспокоенный, в глазах истома, губы вздрагивают. Говорю, что вызывают его в штаб.

— Не знаете, для чего, командир?

— Не знаю, Лявин.

— Честно, не знаете?

— Да.

— Чую, командир, хана мне... Цельный день маюсь.— Он стоит, переминаясь с ноги на ногу, и вижу, что уходить ему неохота.— Я тогда, командир, так, для форсу сказал, что деньги на гулянку собирал. Своим хотел послать. Голодуют там, а тут пропадают, гниют денежки...

— Ладно, Лявин, думаю, обойдется все. После обеда идите,— говорю, а сам думаю: может, прав был Филимонов — не стоило мне рапорт писать, обошлось бы своими средствами?

Угощаю его куревом. Дымим молча. У меня на душе мерзко, тянется какая-то тоска.

В шалаше сидеть невмочь — иду бродить по роще... Смотрю, как неспоро, с частыми передышками копают люди окопы. Не подгоняю — нету сил у самого, знаю, что нет их и у бойцов. Вышагиваю из конца в конец наш пятак и думаю: какая спокойная жизнь была у меня до вчерашнего дня... Все было — и тяжело, и холодно, и голодно, но чисто на душе. Делал все, что положено на передке, возможно, не всегда и не совсем правильно, но в меру своих сил и возможностей, а сейчас?..

Вспоминаю этого старого жалкого немца уже с раздражением. И то, что поступил «по-человечески», не кажется мне уже таким несомненным... Заслуживают ли вообще немцы, чтобы с ними поступали по-человечески? Наверное, нет. Но когда встают перед глазами скрюченное тело убитого мной мальчишки, его оскал, его раскинутые руки, когда представляю, что стрелял в него, раненного, еще живого,— в душе опять разлад и смятение.

Около двух приносят обед. Приходит и Филимонов из штаба, куда носил строевую записку.

Столпившись около термоса с кашей, позвякивают котелками. На плащ-палатку, расстеленную на земле, выкладывают буханку сероватого, с выступающими на корке неразмолотыми зернами хлеба, один боец начинает резать, а потом знакомая процедура — кому, кому? Доста-



ется по кусочку. Потом дележ махорки начинается, разрывают пачки, делят на кучки, и тоже — кому, кому?

Филимонов получает пайку и на себя и на меня, и мы отправляемся к своему шалашу. Только разожгли костерик, чтоб пшенку разогреть, как какой-то треск, щелчки доносятся с немецкой передовой. Не успеваем разобраться, что же это такое, как на весь передок заревел динамик: «Товарищи бойцы и командиры...»

У меня проваливается сердце, напряженным становится взгляд Филимонова — сейчас они сообщат, что кто-то отпустил немецкого солдата и дал ему вынести убитого... Они способны на это, сволочи! Что делать тогда?

Но голос чисто по-русски вещает другое: «Мы знаем, какой обед вам сейчас принесли. Мы знаем, что у вас нет боеприпасов. Ваше положение безнадежно. Переходите на нашу сторону. Сегодня ночью все немецкие посты будут предупреждены беспрепятственно пропускать каждого. Немецкие кухни готовят еду, чтобы накормить перешедших. Вам будет обеспечена жизнь, свобода и работа. Ваше положение безнадежно...» И еще раз то же самое.

С середины роши, где стоят наши сорокапятки, раздается одинокий выстрел — не выдержал артиллерист, кинул снарядик. В ответ завыли мины. Выбегаю к бойцам.

— Вот гады! — со злостью шепчет один.

Остальные замерли с ложками у ртов — не до хлеба.

В третий раз начинает немец долдонить то же самое.

— Долбануть бы минами по этому репродуктору — заткнулся бы.

Прибегает Филимонов, зовет к телефону. Голос помкомбата злой и раздраженный.

— Слышишь, что трепят, заразы?

— Слышу.

— Огня не открывай. Сорокапятку минами засыпали. Как народ реагирует?

— Злится.

— Это хорошо. Никто у тебя ночью не вздумает немецкую кашу попробовать?

— Нет, конечно.

— Уверен?

— Уверен.

— Но все же смотри. Эту ночь спать не придется.

— Понимаю.

— Бывай! — Помкомбата кончает разговор.

Филимонов помешивает ложкой разогреваемую кашу и говорит:

— Может, концентратик прибавить?

— Ваш НЗ, Филимонов,— распоряжайтесь! — Он развязывает свой мешок и добавляет в котелок пачку пшенки.

После обеда лежим в шалаше... Каждую неделю я пишу матери успокаивающие письма, в которых все хорошо, и эта святая ложь до сих пор мне удавалась. Старался писать чернилами спокойным, ровным почерком. Сегодня подошло время, и надо бы написать, но не могу. Боюсь, что прорвется между строками мое состояние и угадает мать сумятицу и разброд в моей душе...

Филимонов пришел из штаба мрачный — я это сразу заметил — и сейчас сидит нахохлившись и что-то помалкивает.

— Что с вами, Филимонов?

— Так... Не понравилось мне нынче в штабе.

— Что такое?

— Так, суета какая-то... Начальство из бригады появилось.

— Этого еще не хватает,— думаю вслух и прикасаюсь к связисту соединить меня с помкомбата.

— Это я, товарищ помкомбата. Говорят, в штабе начальство из бригады? Не в курсе?

— Нет. И по телефону такие вопросы задавать нечего. Недалеко и пройти, если такой любознательный. Понял?

— Понял,— отвечаю и кладу трубку.— Паникуете вы все, Филимонов. Не в курсе помкомбата.

— Может, и не в курсе пока.

Разговор с помкомбата не успокаивает. Курю одну за другой сигарки, курю до кружения в голове, до противной шипоты во рту...

Тем временем клонится день к вечеру... Заволакивается солнце за Овсянниково, тянутся длинные лиловые тени от танков, рдеет рыжая стерня поля, словно налитая кровью, а на ней темно-бурыми пятнами вразброс — оставшиеся навечно... Стелется легкий дымок от костров, пахнувший хвоей, и этот запах вдруг напоминает мне тихие летние вечера на подмосковной даче, где у каждого домика дымит самовар и приятно пахнет горящими еловыми шишками, а я лежу в гамаке и читаю... Диккенса... Какая нелепица!

Скоро вечерний обстрел, и вся рота, как и я, бесцель-

по бродит по передку в мучительном ожидании. Как ни маетен предстоящий налет — по мне, лучше, чтобы он был. Тогда, значит, утром просто по случайности не били немцы по нашему участку.

Обстрел начинается, как обычно — только закатилось солнце за деревню, так и пошло... И бьют, как обычно — не сильнее и не слабее. Спасает нас малое наше число. Всего четыре поста, друг от друга далеко, попробуй попади, и на сей раз обходится без потерь. Вздыхаю облегченно — и что обстрел обошелся, и что был он все-таки.

Укладываемся спать. Связист соорудил рядом небольшой шалашик, в моем-то втроем тесно. Засыпаю быстро, измученный прошлой, неспаной ночью и всем этим напряженным в каком-то ожидании днем, но вскоре будит меня тревожный шепот Филимонова:

— Товарищ командир! Товарищ командир! Связной от помкомбата.

Вылезаю из шалаша. Связной отводит меня в сторону и шепчет:

— Вам приказано, командир, выдвинуть пять человек с ручным пулеметом под командой сержанта в подлесочек тот, знаете, что за краем роши, и протянуть туда связь.

— Зачем?

— Ничего не знаю. Видите, помкомбата по телефону не стал, меня прислал. Стало быть, секрет.

— Разведку, что ли, немецкую со стороны Панова ожидают?

— Ничего не знаю.

Я делаю шаг к шалашу связиста, но связной предупреждает:

— Не звоните. Не велел лейтенант.

Что за черт! Должен же я знать, к чему все это? По-сылаю Филимонова за сержантом.

— А вам, — продолжает связной, — к часу ночи ровно с остальными людьми подойти к овсянниковскому оврагу. Там помкомбата встретите.

— Хорошо. Передайте — все будет выполнено.

— Когда сержант выдвинется, пусть доложит по телефону, — заканчивает посыльный и растворяется в темноте.

Подходит сержант, протирая глаза, видно, тоже только уснул. Лицо бледное, встревоженное. Объясняю задачу. Он просит закурить. В свете зажженного огонька вижу запавшие глаза.

Собираем бойцов. Вижу, какая смертная нехоть покидать людям свои шалашики, которые хоть и не спасают ни от чего — ни от мин, ни от пуль, ни даже от холода, но в которых обжились, обвыклись, которые стали хоть каким, но домом, и выходить неизвестно зачем в редкий просматриваемый и простреливаемый подлесок и оставаться там неведомо сколько, в отрыве от своих, где ни костерика не разведи и не закури даже. Но надо!

Подлесок тот в метрах ста от нашего края, и идти к нему по открытому месту, правда, кустики кой-какие есть, и подобраться можно в промежутках между вспышками ракет.

Ныряют ребята во тьму и пропадают. Вот и все перебрались. Только красный шнур телефонного провода соединяет их с нами.

Вынимаю часы — половина первого. Через полчаса буду у оврага и все узнаю от помкомбата.

До оврага от правого края нашего участка метров пятьсот, как ни тяни шаг, придешь раньше часу, но сидеть в шалаше и ждать не хочется — идем с Филимоновым прямо туда, захватив по дороге оставшихся людей.

— И чего удумали напоследок! — ворчит Филимонов у меня за спиной.

Идем гуськом по еле угадываемой тропке. Справа, сквозь черные стволы деревьев, просвечивается мертвенно вспыхивающее поле. Поглядываем с опаской — неужели опять, в который уже раз, придется идти по нему — и зябко поеживаемся в своих потертых, обожженных шинелях. Погремливает оружие, глухо отдаются шаги, кто-то осторожно покашливает, кто-то вздыхает — идем в неизвестность...

Да, ребятки, видно, предстоит нам еще хватить лиха...

У оврага темные тени нескольких человек. Смотрю на часы — без четверти. Останавливаю людей, а сам спускаюсь по склону и перехожу ручей. В темноте различаю только помкомбата и ПНШ, остальные незнакомые, кто-то из бригады. Чуть поблескивают новые ремни и портупей, пахивает чем-то спиртным — то ли водочкой, то ли одеколоном, — а может, и тем и другим в смеси, — и щекает запах легкого табака.

— Прибыли? — поворачивается ко мне помкомбата. — Где люди? Расположите их на правом склоне.

— Есть. Что задумано, товарищ помкомбата? — спрашиваю я тихо. Он отводит меня чуть в сторону.

— Сейчас увидишь,— не то с раздражением, не то с болью отвечает он и отходит.

Я иду обратно. Укладываю бойцов у кромки леса, и тут мы слышим негромкое урчание танка, треск ломающихся кустов, лязганье гусениц.

Ничего не понимаю! Зачем танк? Не наступать же задумали? Что за черт! А внутри нарастает ледок и распирает грудь тупой, ноющей болью.

Рокотание танкового мотора приближается, и я спускаюсь в лощину и вскоре вижу, как черная неуклюжая махина танка ползет по дну овсянниковского оврага. Он останавливается, не глуша двигателя, метрах в двадцати от переднего края... Но что это? Сзади танка что-то привязано? Я подхожу ближе — пахнуло горячим железом и маслом, — к танку стальным тросом закреплены обычные деревенские сани, только без оглоблей. Сами сани перевязаны толстыми веревками. Ничего не понимаю!

И только тогда, когда к саням подходят шесть человек в маскировочных халатах, понимаю — это разведчики!

Филимонов кладет мне руку на плечо:

— Только без глупостей, командир...

К разведчикам подходит какой-то капитан из бригады, что-то говорит, потом достает флягу и передает разведчикам. Те прикладываются поочередно, слышно, как булькает водка, как разведчики откашливаются, как один из них спрашивает капитана разрешения покурить. Тот разрешает, и я вижу шесть красных точек, то разгорающихся, то затухающих...

Подходит помкомбата и так же раздраженно говорит:

— Теперь понял?

— Да,— упавшим голосом отвечаю я.

— Как только танк выскочит из оврага — откроешь огонь по немцам, да погуще... Ну и когда будет возвращаться, тоже прикроешь огнем. Ясно?

— Ясно. Кто придумал?

— Не я, конечно. Разработка штаба бригады.

— Они же не пройдут!

— Мы с комбатом доказывали — не послушали. Ну-жен «язык», понимаешь, до зарезу. Иначе не сменят нас. Вот и решились на такое. Может, дуриком что и выйдет. Нахально же, авось растеряются немцы. А вообще... — Он машет рукой и отходит.

Меня тянет ближе к саням, слышу слова капитана:

— ...отходить сообразно обстоятельствам. О раненых

не беспокоиться, за ними пришлют санитаров. Ничто не должно отвлекать от выполнения боевой задачи. Все понятно? Повторите, сержант!

Один из разведчиков, запинаясь, неровным, дрожащим голосом повторяет приказ.

— По возвращении — ордена, — добавляет капитан, слабо улыбувшись, но у разведчиков нет ответной улыбки — сумрачны, сосредоточенны лица, а в глаза лучше не заглядывать...

Молча стали они усаживаться в сани. Происходит заминка — никому не хочется быть с краю, каждый norовит попасть в серединку. Приходится капитану рассаживать их самому.

Я стою помертвелый... То, что вчера ночью и сегодня днем еще могло быть предметом отвлеченных рассуждений, беспомощной болтовни с самим собой о праве поступать по-человечески, сейчас приобрело свое истинное и страшное значение... Эти люди, которые в смертном томлении сидят сейчас в санях, погибнут из-за меня!

Разведчики расселись, и командир танка, высунувшийся из башни, спрашивает:

— Все в порядке? Ну, тронулись. Держитесь крепче!

И тут один из разведчиков поворачивается ко мне лицом:

— Это вы, товарищ командир? Это я — Лявин. Не поминайте лихом. Видите, как дело-то повернулось. Искупать кровью приходится. Прощайте...

Я хочу что-то ответить, но спазма в горле — не могу.

Танк трогается. Натягивается трос, скрипят полозья по гальке ручья...

Я все еще окаменело стою. Но когда танк выползает на нейтралку — бросаюсь вслед, догоняю, ухватываюсь за веревку и кидаю тело на сани, наваливаясь на кого-то. Разведчики теснятся, давая мне место, но никто ничего не спрашивает — не до того. Сани болтаются из стороны в сторону, подпрыгивают на ухабах, мертвой хваткой держусь за веревку, лишь бы не сорваться...

Танк набирает скорость и вырывается из оврага.

## НА ПОЛЕ ОВСЯННИКОВСКОМ

---

**В** окошко было видно, как немец, скинув мундир, в одной фуфайке вязаной, рубил дрова — умело, споро, крякая при каждом ударе, с одного маха раскалывая тяжелым колуном большие сучкастые чурки. Лицо его покраснелось, на лбу выступил пот. Здоровый был немец, сильный.

И Ефимия Михайловна, когда глядела на него, всегда представляла со страхом, что, если встретится в бою ее сын с таким вот верзилой, не сдюжит. А вообще-то германец этот был не сказать что плохой. Работу крестьянскую знал, и руки его к ней, видать, тянулись... И сам и других солдат, несмотря на морозы лютые, заставлял ходить в отхожее место. В других-то домах гадили прямо в избе — на холоде не могли большую нужду справлять. А этот немец, право, ничего... Вот такую грудку дров нарубил, а быть им здесь уже недолго — гремит фронт за Волгой и все ближе к их деревне подкатывается. Вчерась бабы сказывали, что уж к Бахмутову подошли, а это всего верст шесть от них.

Ох, трудно будет нашим Волгу осилить. Берег-то правый крутой, высокий. С него как на ладони и Бахмутово, и все окрест. Лихо нашим придется, и кровушки прольется немало.

А что делать? Уж больно далеко германца пустили. Теперь за каждую деревеньку, за каждую высотку кладут людей. Немец-то цепкий. Уходить ему из деревень — нож острый. Тепло любит. Потому и обороняется крепко. И знала Ефимия Михайловна, что и за их деревню будет бой и тогда вряд ли уцелеет ее дом — или в бою разобьют, или сожгут немцы при уходе. Ладно уж, поскорее бы приходили наши. О добре ли думать сейчас. Все пропадом идет в войну. Как-нибудь переможет она это, лишь бы скорей наши.

Боятся она только одного — кабы не увели их немцы за собой. Поговаривает об этом народ. Вот это страшно. И под немцем опять неизвестно сколько, и по чужим домам скитаться, и, главное, ничего опять знать не будет про своих сынов. Душа и так в мýке вся измаялась — живы ли еще? Или лежат где-нибудь на полюшке, снегом занесенные, с глазами незрячими?

Она своему немцу несколько раз закидывала просьбу, чтоб сообщил он заранее, когда уходить будут, — спряталась бы она где-нибудь и дождалась бы наших, но немец посмеивался — разве плохо с нами, матка? Конечно, плохо. Но впрямь так ответить она все же не решалась, кто его, басурмана, знает, озлится еще.

Избу если и спалят, то все же в подполе у нее картошка есть, до весны для одной хватит. Зерна мешок припрятан у нее в старой церкви. Церква-то вся побита, а подвалы не завалены. Там и самой можно схорониться на ден несколько. А угонят немцы — где жить, чем пропитаться?

Немец с дровами покончил, вернулся в избу. Слышала она, как зазвякал ковшником — знать, пить захотел — и как шумно глотал воду в сенях.

— Много полена будет, матка,— сказал он, входя в горницу.

— Чего старался? Скоро уходить ведь вам.

— Скоро, скоро,— согласился немец.

— И зачем вы Гитлера послушались? Загнал он вас в этакую даль на погибель...

— Но, но, матка...— погрозился пальцем немец, а потом вытащил свои вонючие сигареты и закурил.

Волосы у него были светлые, назад зачесанные, но непослушные, и прядка часто у него на лоб западала, и он головой всегда потряхивал, чтобы ее назад закинуть. Вот и сейчас тряхнул, откинул ее и дымом глубоко затянулся, взглядом в окошко уставившись.

Человек ведь вроде... И жена, наверное, и дети, и все такое... А лютует на чужой земле... Зачем? Для чего?.. Второй раз за ее век воюет немец против России. Но ту войну разве сравнить? Немца самого они и в глаза не видывали. Шла война где-то далеко, за тридевять земель. Правда, мужиков в деревне поубавилось, но не так, как сейчас,— одни бабы, да детвора, да старики древние.

А тем временем за окнами здорово громыхнуло, даже изба вздрогнула, где-то недалече, видать, бьют. Потом



еще и еще... Совсем близок стал фронт. Ночами уж зарево виднеется.

Немец поднялся, подошел к окну, поежился. Видно, после распарки работой заохлодало тело. Накинул мундир и что-то про себя сказал, выругался небось.

Да, придется тебе из тепла да приюта опять по снегу да по морозу шастать, без одежды справной, в шинелишке на рыбьем меху, в сапогах холодных... Подумала она так, но без особого злорадства.

Вот когда фронт далеко стоял и были на постое у них тыловые части — те паскудничали. Охальные такие были, простого слова не скажут — все криком да руганью, и зло из них так и перло. Чисто собаки какие. А эти тихие. Смерть перед ними близко маячит. Может, потому и такие...

Вот тогда и убежала Ванина Тонька к тетке в глухую деревушку, что вдалеке ото всех дорог стояла и где немцев не было. Так и не возвратилась. И что с ней — неизвестно. Если объявится Иван или письмо придет — чего отвечать?

Правда, мало было надежды у Ефимии Михайловны на возвращение сыновей. Сергея-то, старшего, еще в финскую забрали. С тех пор и не отпускали, и принял он эту войну на самой границе — вряд ли живой. А Ивана в сороковом, осенью, призвали, и служил он на Дальнем Востоке, но в сорок первом, еще в апреле, в Россию перевели. Тогда письмо она получила. И в мае было письмо. А как война накатилась — уже ни звука. Но все же насчет Вани какая-то надежда теплилась, чуяло материнское сердце, что живой он еще.

Когда войска наши отступали и шли по большаку через Погорелое, ходила она туда и целые дни простаивала — а вдруг сынки объявятся. Но нет, никого из их местности не проходило. И тогда, когда уже одиночные к фронту пробивались, надеялась она, что вдруг? Но опять нет. В других местах, наверное, воевали ее сыновья, а то бы сумели бы как-нибудь к дому пробраться.

К вечеру фронт запыливал слева и грохот оттуда уж доносился. Немцы — а их было человек двенадцать — к печке прилепились и дымили так, что хоть топор вешай. Прокурили всю избу своим табачищем поганым. И смурные были, обеспокоенные. Приходит их час, чуют, супостаты. Эх, скорей бы наши...

Уже совсем к ночи, когда залегли все, пришел тот не-

мец, здоровый, что дрова рубил, отвел Ефимию Михайловну в сторону.

— Завтра гнать вас будем, матка. Здесь пиф-паф будет. Ферштеен? — тихо сказал так и посмотрел на нее внимательно. — Нур дих сказал. Ни-ни, никому, — и пальцем погрозил.

Картошка была у нее сварена, лепех было несколько, и все это в котомочке приготовлено. Если не замерзнет, то с голоду не помрет. Авось недолгий бой будет.

Церковь эту, в которой она прятаться собиралась, еще в тридцатых годах закрыли и под склад использовали. Когда работала там, прознала про все ходы и выходы. Склепы там были, гробы каменные в них. Прямо туда, к покойничкам, картоху и сваливали. Вот в одном из склепов и задумала она схорониться. Страшно, конечно, будет, но как-нибудь перетерпит, лишь бы не замерзнуть насовсем. Тулуп худой, правда, она туда уже отнесла, ну и сейчас оденется во что можно.

Где посты немецкие стояли — она знала и как обойти их, уже придумала, ну, а из дома выйти, когда дрыхнут все немцы, не задача.

Конечно, выходить из теплой избы ох как неохота, а как в склеп забираться — и думать страшно, но другого хода нет. Вообще-то не худо сообщить односельчанам, но куда в ночь по избам ходить. Немец нарочно так поздно сказал, чтобы не вышло ей других предупредить. Да если многие попрячутся, то немцы, знамо, искать начнут и найдут бесприменно. Зимой человек след оставляет. Она и веник приготовила, чтоб свой след разместить. До церкви, не до самой, а до кладбища протор есть, и на кладбище тропки, пробитые еще с рождества, а около-то самой церкви, конечно, целина снежная. Вот там-то и нужно будет разметать за собой снег.

Старшой немец спать еще не лег, сидел у стола, покуривая, и пальцами по столу выстукивал что-то нешибко, видать, томился перед завтрашним боем. Да и понятно это. Помирать-то никому охоты нет.

— Морген пиф-паф, матка, — сказал он наконец, глянув на нее тоскливыми глазами.

— Понимаю... — ответила она, а сама потихоньку собираться стала, все же опасливо поглядывая на спящих немцев.

Немец увидел это и тихо сказал:

— Матка ушел Овсянниково за шнапс. Понял? Так скажу. — И он показал рукой на спящих.

Одевалась она во дворе. Оттуда и выходить будет. Скотины у нее никакой не осталось, только пахло навозом на скотном, да на грязной соломе было скользко — замерзли следы буренушки. Тихо открыла она дверцу в воротах и вышла...

За Погорелым, через поле, в леске у Волги взвивались ракеты лунным мертвым светом.

У правого края деревни стоял немецкий пост, стоял открыто, не таясь, и даже издали были видны огоньки сигарет — курили фрицы. Она подалась к кустарнику, что был вдоль дороги, и через него обошла пост. Ночь хоть и безлунная, но тьмы настоящей не было. На снегу каждый темный предмет обозначался заметно. Немцы-то на посту вперед должны смотреть, а если, не дай бог, кинут взгляд назад, приметить ее смогут. Однако пронесло. От поста она уже далеко, да и дорога на Усово, по которой она идет, делаая крюк, вся сквозь кусты.

К церкви она подходила уже смелее... Странно она у них стояла. Не посередке села, а по краю. Сказывали, что село-то дальше шло, а после пожара большого, которого она не помнила, отстроилась только одна половина деревни. Но и в детстве следов пожараща на той стороне она не замечала.

Дверей, конечно, в церкви давно не было. Здорово ее побило, когда немцы наступали. Вошла она, перекрестилась — и по привычке и потому, что боязно все же было, — и пошла на ощупь, руками по стенке. За бывшими царскими воротами был ход в подвал. Страшно было туда ступать. Как в могилу забираешься, но что делать. Спустившись, она шла дальше, согнувшись в три погибели, спотыкаясь о плиты, шла к самому крайнему склепу. Был тот без входа, но кто-то когда-то, небось после революции, сделал в кирпичной кладке проруб, чтобы туда пробраться (тогда все золото искали). Проруб был небольшой, но она-то — маленькая и худенькая — пролезть должна без труда.

Наконец нащупала она его рукой, нащупала рядом и тулуп свой, который принесла сюда заранее. Сперва тулуп в дыру просунула, а потом и сама полезла.

Была у нее немецкая зажигалка. Нашла во дворе и припрятала. Теперь согдилась, чиркнула и ахнула — черепа валялись и глазами черными глядели на нее жутко. Она посветила еще немного, выбрала место, где не было останков, расстелила там тулуп и примостилась полулежа, спиной в стену упершись.

Вот и не стало у нее ничего — ни дома, ни имущества, только то, что на себе накручено, да тулупчик этот прохуdivшийся, что под ней, полный разор во всем. И одна надежда махонькая, что, если выбьют немца быстро, не успеет он деревню сжечь. Судя по тому, что оборону они здесь не рыли, возможно, не будут они очень за их Черново держаться, но кто знает...

Раньше-то, в мирные дни, казалось, самое страшное — вдруг пожар, вдруг изба сгорит. Ничего хуже вроде быть не могло, а сейчас... Сейчас кругом все горит, сейчас не о добре думать, а о жизни надобно — своей и сынов своих. Сейчас это главным стало. Останутся в живых ребята — построят и дом и хозяйством обзаведутся. Но все же, что ни говори, когда представилось ей, как горит ее изба, в которой вся жизнь прожита, в которой и сыновей родила, в которой и радость и горе, — заломило сердце болью и вздохнула она тяжело.

Пока холода она не чувствовала. Ветра здесь не было, да и когда добиралась сюда, укутанная во все одежды, дюже запарилась, но знала, что будет мерзнуть, и если пробыть здесь не день, а несколько — не выдержать, так и остаться сосулькой замороженной. Одна надежда, что возьмут завтра наши Черново.

Заснуть она не решалась — можно и не проснуться, а потому занимала свою голову разными мыслями: сынов вспоминала, жизнь свою, которая не сказать что была больно счастливая, но и жаловаться особо грех. Жила, как все, работала, как все, и принимала все, что жизнь ей подсовывала, безжалобно, и кабы не война, хулить ей свою жизнь не приходится.

То, что утро занялось, она в своем подземелье видеть не могла, но почуяла, что светает, и стала прислушиваться... И вскоре услышала гомон, команды немецкие, — значит, угоняют немцы народ из деревни. Недолго шумели, быстро немцы дело справили. Это они умеют. И тихо стало.

А часа через два, а может, и поболее загрохотал фронт... Она знала, если наши Волгу перейдут, то до большака, на котором Погорелое стоит, немцам зацепиться не за что. Поле идет ровное, и деревень никаких. Главный бой должен быть за Погорелое, и если фашисты его не удержат, то и из Чернова покатятся.

Окоченела она к тому времени и решила походить малость, но много здесь не находишься — четыре шага туда, четыре обратно, да и боялась на черепа наступать,

и так что-то под ногами похрустывало. Потом поела чуток и лепех и картошки. И в сон потянуло. Сейчас она заснуть не так боялась, грохот боя не даст крепко уснуть, и она задремала. И сквозь дрему доносились до нее громы все разгорающегося сражения, которые слились скоро в один грозный гул.

Очнулась она окончательно, когда грохнул разрыв прямо над нею, содрогнулись стены и посыпались со всех сторон кирпичи. Прикрыла она голову руками, а сверху над нею все что-то падало и падало, вселяя в нее страх — а вдруг засыплет ее совсем и не станет ей хода отсюда. И решила она проверить это, двинулась к прорубу. Он оказался незаваленным, и она, пролезши через него, выбралась в следующий склеп. А из следующего уже виден был брезжущий свет,— значит, не засыпало, слава богу.

И хотелось ей вылезти и посмотреть, но побоялась, что немцы могут в самой церкви оказаться,— тут за стенами толстыми удобно оборону держать. И верно — услышались ей голоса, а потом и пулеметная очередь. Не мешкая, заторопилась она в свой закуток. С одной стороны, хорошо, что немцы тут,— узнает она сразу, как уйдут они. Видно, что дела у них плохи. Раз здесь стрельбу открыли, значит, Погорелое-наши уже взяли. Недолго теперь ей здесь маяться.

Опять то ли мина, то ли снаряд разорвался в самой церкви, и опять над головой застучали кирпичи.

И тут наконец-то глухим надрывным воем — «а-а-а» — раскатилось русское «ура» вперемежку с родной русской руганью... Судорожно плеснул пулемет последнюю очередь и захлебнулся. А «ура» покатило дальше, замирая уже где-то за церковью, небось на Усово подались наши солдатики...

Она подождала еще малость, перекрестилась облегченно и двинулась к выходу, но света не забрезжило — неужто завалило? Она похолодела, а сердце провалилось куда-то, и в ноги ударила такая слабость, что пришлось остановиться. А впереди какой-то звук непонятный, словно капало что-то. Подняв руки, она пошла дальше, нашаривая на потолке ход, и вдруг уткнулась во что-то мягкое и мокрое. Не враз она поняла, что попала рукой в тело человеческое, которое закрыло люк тот грудью.

Лестницы здесь никакой не было, и она знала, что, когда нужно будет выбираться, придется ей поднавалить

каменной и кирпичей, потому что так она еле-еле руками доставала до потолка. Вот и занялась этим. Шарила в темноте по полу и подтаскивала к пролому камни, сначала те, что потяжелше, а наверх их такие, которые поднять было ей под силу.

Долго она этим занималась, а из убитого кровь все капала и капала... И когда на грудку эту сооруженную встала, скользко было ногам. Уперевшись руками, подалась она вперед и хоть и с трудом, но выкарабкалась наружу. Цела ли деревня, цел ли дом ее?

Приложила она руку к сердцу — уж больно трепыхалось — и стала неторопливо из церкви выбираться. Дым кругом красный, и гарью тянет. Сожгли, знать, Черново... Не сразу она голову повернула, чтоб на деревню взглянуть, — уж больно страшно было, а когда все же глянула — увидела: целехонька их деревня! Целехонька! Только один дом с краю горит, мишинский, а остальные целы! А дымом-то тянет с Погорелого. Там сплошной огонь...

И хотя тело было все затекшее, будто не свое, понесли ее ноги почти бегом к родной избе.

Навстречу — никого. Пустая совсем деревня. Видать, наши войска все на Овсянниково и Усово подались, там бой ведут. И верно, и стрельба ружейная и пальба оттуда доносились, из черновского леса.

Вбежала в избу — тоже никого. Двери открытые, на полу банки консервные валяются и тряпье какое-то немецкое, окошко одно разбитое. Закрыла двери, окно подушкой завалила и сразу печку растапливать принялась, а как растопила, присела окошь, руки к огню вытянула и вбирала всем телом, душой всей тепло родного очага. Господи ты боже мой, счастье-то какое! Надолго ли только? Если наши Овсянниково и Усово возьмут, тогда фронт от них отойдет, тогда, почитай, останется ее дом целый и можно будет ей тута проживать, по чужим людям не мотаться. Ну, а если встанет тут фронт, тогда беда, тогда не сегодня, так завтра пропадет Черново и дом ее тоже. Но чего загадывать, бой-то идет, дай бог нашим солдатикам дальше немца погнать.

Чугунок с водой, который поставила она сразу, уже закипал, и теперь попьет она кипяточку, согреется, потом закроет печь и завалится на лежанку, прогреет иззябшее за ночь и день тело, а там видно будет...

Тем временем послышалось на улице ржание лошадиное, голоса человеческие — подходят, видать, тылы...

Но тут же и вой минный раздался, и пошли они шелкать то тут, то там... Рано она радость себе дозволила.

Тут рванулась дверь и затопали в сенях тяжелые шаги, вбежал в избу красноармеец в полушубке, запыхавшийся, глаза дикие...

— Попить, мать,— выдохнул только.

А она к нему бросилась. Душили слезы, рвалось сердце. Приникла к нему и слова вымолвить не может.

Красноармеец приобнял ее, прижал, а потом отодвинул от себя осторожно.

— Некогда. Попить дай...

Она вынесла ему ведро, и он прямо из него шумно хлебал воду, потом, поблагодарив кратко, махнул рукой и был таков.

А она присела обессиленная и думала — вдруг бог даст ей счастье, вдруг вот так же вбежит в избу ее сынок когда-нибудь... Большого и не надо ничего — увидеть, прижаться губами, знать, что живой. После этого и помереть не страшно.

Но на такой случай надежды, конечно, никакой... Такой фронт большущий, разве может Ванечке или Сергею выдаться попасть в родные места, разве может случиться такое? Теперь лишь бы весточку какую получить — и то счастьем будет несказанным.

Дверь она запирать не стала, вдруг кому погреться надо будет, или водицы попить, или еще что, полезла на лежанку. Глаза слипались, и в сон тянуло сильно, да и не согрелась она как след и после кипяточку.

А за окнами шел бой... Немцы из Усова их деревню просматривали хорошо и били без останову. Но в своей избе ничего не страшно, и заснула она на лежанке быстро.

Проснулась только ночью от какого-то стука, будто бросили на пол что твердое, и от скрипа двери.

— Кто там? — спросила она с лежанки.

— Ты, Ефимья?

— Я.

— Егорыч это.

— Откуда ты?

— В лесу ховался. В моей избе войско. Приюти. А ты как умудрилась немцев избежать?

— В церкви пряталась,— ответила она и, кряхтя, стала слезать с печи.— Замерз небось?

— А ты думаешь?

— Чего это ты в сенях грохнул?

— Да так...

Ефимия Михайловна полезла в печь. Вода в чугушке была еще горячая, подала Егорычу.

— Жить тут нам не придется, Ефимья. Завтра в Бахмутово надо подаваться.

— Не пойду.

— Сама не пойдешь — прогонят. Не взяли наши пока ни Усова, ни Овсянникова. Если фронт здесь станет, пиши пропало Черново, разобьют.

— А может, и не разобьют.

Егорыча трясло сильно, кружку с кипятком ко рту подносил, так руки как с похмелья ходили, а глаза какие-то чудные были.

Она это все заметила, так как бил в окна неяркий свет от догорающего Погорелого.

Егорыч попил кипятку, завернул махры, шелкнул немецкой зажигалкой, задымил, а Ефимию Михайловну все занимало: чего это грохнул Егорыч в сенях? Какой-то звук неприятный.

Пока курил он, вышла она в сени и сразу споткнулась обо что-то. Открыла дверь во двор, плеснуло немного светом, и рассмотрела — четыре сапога снятых.

— Ирод ты эдакий! — бросилась она на Егорыча. — Чего приволок мне, изверг?

— Трофеи, — усмехнулся криво Егорыч. — Не пропадать добру-то.

— Вон уходи со своими трофеями!

— Чего вскипятилась? Немцы же...

Схватила с полу полено и бросилась на Егорыча:

— Вон отседава! Прибью!

— Ну, успокойся, Ефимия... Куды я пойду в ночь-то?..

— А куда хочешь. Проваливай, и все. До чего тебя жадность довела, до сраму какого!

— Жадность, говоришь? Какая, к черту, жадность? В Бахмутово приду, кто накормит? Вот на первое время и взял. Сменяю сапоги на что-нибудь.

— Не объясняй, ничего и слушать не хочу. Иди вон! Нету для тебя здесь приюта. Катись куда хочешь!

Прогнала она Егорыча, а на душе так тошно, так тошно, что и не сказать. Егорыч этот... Ведь тоже человеком был, ну непутевым, правда, слабым, пьющим, но человеком же... И вот образ свой потерял из-за сапог каких-то... Что же это в мире творится-то? Господи...

Ушел сон от нее, как ни ворочалась на лежанке, все никак уснуть не могла.



Поутру, только чуть светать стало, понаехало в Черново войско, и стали дома занимать. Пришли и к ней в избу капитан, два лейтенанта и рядовых человек восемь.

Капитан поначалу удивился, что в избе хозяйка имеется. Но она ему все рассказала: и как немец ее предупредил, и как в церкви пряталась, и он только спросил:

— Помогать нам будете? Мы здесь медпункт в вашей избе устраиваем. Раненых перевязывать.

— Конечно, буду. И печку топить, и готовить вам что, и раненым помогу чем можно,— ответила она.— Мне бы только здесь при своем дому остаться и я на все готовая.

— Ну и ладненько,— сказал капитан, и начали они устраиваться.

Носилок было у них много, одеял... В одной комнате топчанов понаделали, в другой перевязочную устроили.

А как рассвело совсем, бой опять у Овсянникова разгорелся, а вскоре и раненые потекли один за другим, кто сам добирался, кого на носилках приносили.

Три дня шли бои... Гремели за лесом, но, видать, все без толку. Уперся немец — и ни в какую. Три дня и врачу и фельдшерам работы было невпроворот — сли на скорую руку, спали вполглаза. И по Чернову били немцы эти три дня здорово. Несколько изб разворотили. Сарай колхозный начисто в одну из ночей разрушили. Снаряда два разорвалось. И людей там побил много.

Капитан не раз ей говорил:

— Может, податься вам, Ефимия Михайловна, в тыл. Прибить могут.

Но она отказывалась:

— Пока сами не погоните — не уйду. В своем дому и смерть не страшна.

И старалась она, конечно, всюю: и бинты стирала, и белье окровавленное, и печку топила не переставая. Готовить, правда, не приходилось, из кухни носили термосами, но не всегда врачу в это время поесть можно было, так разогревала потом. У них и кормилась, делились с нею братишки. Ну, иной раз картохи им варила, когда пшенка им надоедала.

Бои приутихли. Так ни Усова, ни Овсянникова не взяли наши. Встал фронт. Но раненые все равно все дни шли. Утром завсегда, после обстрела немецкого, и к вечеру тоже. А иногда и днем.

Господи, сколько ж страданий она увидела, сколько стонов услышала!.. За всю жизнь свою долгую столько не видела, а тут за неделю какую-то.

Раненые тут долго не задерживались. Легкие своим ходом в Бахмутово шли, тяжелых на санях отправляли. Задерживались только те, кого отправлять было неудобно, которые дорогу могли не выдержать. Таких всегда человека два-три бывало. И жалела их Ефимия Михайловна очень — страшно им было лежать тут, когда обстреливали ежедневно, больно не хотелось им, уже раненым, из войны вышедшим, попасть тут под мину или снаряд. Но пока бог миловал. В ее избу ни одна мина не попала. Близко было и стекло в одном окошке осколком выбило.

Но Ефимию Михайловну это как-то все не очень беспокоило. До сих пор радость не сходила, что наши пришли и что в избе своей осталась, — чего другого желать можно в такое время?

В одно утро пришел к врачу лейтенант чернявый, не раненый, но с передовой, весь обожженный, с черным лицом небритым.

— Принимай, доктор, — сказал он и закашлялся сильно.

— Живой? — вскрикнул врач и сжал лейтенантовы руки.

— Живой пока. Только воспаление легких у меня, доктор. Тридцать девять и пять.

— Проходи скорей. Так уж сразу и воспаление?

— Было у меня в прошлом году. Симптомы знакомые.

Прошли они в капитановский закуток, что плащ-палаткой занавешен, и пошел у них там разговор. Ефимия Михайловна все-то не слышала, но кое-что доносилось.

Вначале врач, видно, спиртиком лейтенанта угостил — булькало что-то, а потом стал про передовую его расспрашивать. Чего-то лейтенант ему сбивчиво так рассказывал, неразборчиво было, но вскоре голос повысил, и услышала она явственно:

— Понимаешь, одним взводом в наступление посылали. Если потери будут большие, дескать, — отведем. Если нормальные — остальные взвода пойдут. Это же черт знает что! — И пошел дальше матом.

Тут она в сени отошла, а когда вернулась, слышит, лейтенант тот что-то опять говорит наболевшее, а врач успокаивает.

Отоспался лейтенант в тепле ночку, а на другое утро температуру смерил — нормальная. Засмеялся горько:

— Разве заболел на этом передке чертовом. Тридцать шесть и шесть!

Врач ему еще денек отлежаться предложил, но лейтенант покачал головой:

— Нет, доктор. К ребятам надо.

Капитан попросил Ефимию Михайловну разогреть вчерашнюю пшенку и покормить лейтенанта. Она это сделала да еще от себя несколько картофелин вареных подала.

Лейтенант ел жадно, а в картошку так и вцепился зубами... Да, негуста, наверное, еда на передовой, подумала она и полезла в погреб. Набрала картошки покрупнее, уложила в мешочек и предложила лейтенанту:

— Для ребяток твоих... Напекете в костре-то.

— Спасибо, мать... Спасибо.

Только и успел он у них в медпункте отоспаться да побриться. И лицо его теперь бритое совсем молоденьким ей показалось. Всего-то ему лет двадцать, наверное, не больше, а сколько уже пережить довелось, какие страсти увидеть.

Собрал лейтенант свое оружие, затынулся пояском и побрел на передовую обратно, а доктор ему вслед глядел тоскливо. Дружки небось, подумала Ефимия Михайловна.

Уже около месяца бьются наши и все никак деревень тех достигнуть не могут. Уперся немец, не сдвинуть. А тут еще разговоры она слышала, что со снарядами и минами у наших непорядок, нету подвоза. И верно, тишает наша артиллерия, все реже и реже тявкает, а фрицы — те каждый день, да не по разу долбят — и по лесу, где войско, и по Чернову. Все меньше домов живых в деревне остается, но ее дом, слава богу, пока еще не тронутый. Но рано ли, поздно ли разобьют и его. С этим Ефимия Михайловна уже вроде смирилась.

Хоть наступать наши и перестали, раненные шли и шли.

Да, трудная идет война... А сколько еще пройти надо, сколько городов, сколько деревень освободить, пока до ихней границы дойдут, — уйму. И за каждую высотку, за каждую деревеньку бой. Хватит ли народу в России? Смогут ли ее сыны такую войну выдюжить и живыми домой вернуться? Мало надежи. И вековать ей тогда одной, доживать свою жизнь бесполезную. Не услышать внучьих голосов. Горькая будет жизнь, безрадостная.

Потому Ефимия Михайловна и не боялась налетов

немецких, не лезла в подпол при обстреле. Не так уж жизнь ей была дорога, чтобы беречься очень.

В одну из ночей прибыло в Черново пополнение... Много народу пришло, но в деревне не задержались, а сразу среди ночи на передовую отправились. Быть, значит, опять боям, опять кровушка русская польется. Щемило сердце, словно камнем придавило... Ребята все молодые, Ванины одногодки. Забегали в избу попить водицы, а скорее это предлог был, хотели, видно, погреться... Морозы хоть и спали чуть, но все же...

На рассвете загредел бой. Перекрестилась Ефимия Михайловна, пожелала нашим победы, чтоб осилили наконец Овсянниково. На пригорке оно стояло, а перед ним поле на версту будет. Вот эту версту-то и никак наши одолеть не могут.

Этой ночью-то и танки урчали. Может, с ними одержат наши победу?

Но скоро бой угас... Только немцы стали бить опять по их деревне. Сильно били и еще два дома порушили.

В ночь вернулись те войска. Слышала она команды, ржание лошадиное, и танки гусеницами громыхали. И ушли куда-то в другое место. Опять затишье наступило.

В один из дней зашел к ним в санвзвод лейтенант тот, доктора навестить. В штаб его вызвали, потому и зашел. Еще больше похудевший стал, щеки совсем ввалились, под глазами круги черные. Говорил капитану, что от роты его двадцать два человека только осталось. Подстригли его тут, подровняли, больно обросший был, а она опять ведро картошки ему приготовила. Но он вроде и не обрадовался, как в первый раз, принял ее дар с безразличием, чувствовалось — устал невпроворот. Пересыпал картоху в свой вещмешок, приподнял, усмехнулся криво: «Донесу ли? Ослабли мы, мать, там здорово». А всего-то полпуда, не более, дала она ему, что это для мужика? — плюнуть.

Спрашивал он доктора, не слышно ли что в штабе насчет смены, на что доктор ответил, что нет пока об этом разговора. А пора бы. Полтора месяца на передовой. Апрель уже на носу.

Как-то раз утром пришла к ним девушка военная. Не знала Ефимия Михайловна, что тут есть у них девицы-солдатки, удивилась и обрадовалась с женщиной словом перемолвиться, а то все мужики кругом. Та вроде тоже удивилась и обрадовалась. Ладная такая девушка, полу-

шубочек сидит складно, сапожки по ноге. Шапка-ушанка командирская, только невеселая пришла.

Доктор ее в свой закуток пригласил, говорили они там долго. Вышла она от него расстроенная и сразу к Ефимии Михайловне бросилась — поговорить, дескать, нужно.

А где у них по душам поговорить, полна изба народу. Вышли во двор. Она сперва имя-отчество у нее узнала и только тогда разговор начала:

— Ефимия Михайловна, одна вы тут женщина. Посоветуйте, что делать? Хины доктор мне не дал. Может, вы какое средство народное знаете? Не хочу рожать, безотцовщину разводить.

— Почему ж безотцовщину? Есть же отец, не от духа же святого? — спросила Ефимия Михайловна.

— Сегодня есть, а завтра может не быть, — резко так ответила и рассказала, что ждет батальон пополнения, и как оно придет, опять Овсянниково брать будут и комбат сам решил наступление возглавить. Сам сказал, пойду — или возьмем эту чертову деревню, или голову положу. Знает она, что это значит. Он такой, ее комбат, что сказал, то и сделает. Пойдет в первом ряду, первую пулю и схлопочет.

— А почему врач-то отказал? — спросила Ефимия Михайловна.

— Он сказал, хорошо, что так получилось. Не место женщинам здесь. Иди в санроту, а через несколько месяцев уволят из армии, и кончится для тебя война.

— А может, прав он? Куда, девонька, нам, женщинам. Мужики не выдерживают...

— Я от него никуда не хочу. Поняли, Ефимия Михайловна?

— А он-то знает?

— Нет, конечно.

Что могла Ефимия Михайловна присоветовать? Зельев никаких она на этот счет не знала, да кабы и знала, вряд ли сказала. Не дело дите в утробе убивать. И народу после войны ох как поменеет, нужно сейчас бабам рожать, как ни тяжело.

— Рожай, девонька... А если некуда будет дитя деть — ко мне приноси. Своих внуков мне, наверное, уж не видать... Приму хорошо.

Рассмеялась солдатка вдруг:

— Не сирота я. Свои родители есть. Примут. Но на добром слове спасибо, Ефимия Михайловна.

Комбата Ефимия Михайловна мельком видала. Видный мужик, статный. Нос, правда, с горбинкой, кривоватый. Но всем другим вышел.

Не послушалась Катя (так звали девоньку) доктора, не пошла в санроту, при своем капитане осталась, санитаринструктором. А зря. Ведь она теперь не только о своей жизни должна думать. И комбату, наверно, ничего про то не рассказала, иначе он бы ее мигом в тыл отправил.

Тем временем стало приходиться пополнение в батальон, о котором Катя говорила. Когда двадцать бойцов новеньких придет, когда с полсотни. На передовую их пока не отправляли, здесь расположили и водили каждый день за Погорелое на занятия. Иной раз слышать было, как «ура» они кричали на учениях.

В ту ночь проснулась Ефимия Михайловна от стука в дверь сильного. Дневальный спросонья спрашивает:

— Кто ломится?

А в ответ голос знакомый:

— Открой, друг, дай свою избу поглядеть.

Господи ты боже мой — Ваня же это!

Скатилась она с лежанки к двери... Руками дрожащими засов никак подвинуть не может, и голосу нет, чтобы сказать: «Ваня, тут я, мать твоя».

Наконец открыла. Иван как ее увидел — так и обмер. Тоже слов не находит, только смотрит, глазами моргает. Потом лицо скривил и бросился ее целовать. У обоих лица мокрые, ее слезы с Ваниными перемешиваются.

Доктор тут из своего закутка вышел. Он поздно спать не ложился, все писал чего-то каждый вечер.

— Ефимия Михайловна, неужто сын?

— Он самый. Ванечка мой. Господи, услышал ты мои молитвы. Довелось свидеться.

Сказала, а сердце вдруг сжалось — воевать же здесь Ване. Не на побывку прибыл, на войну.

А Ваня слезы отер, отошел от нее на шаг, каблуками прищелкнул, руку к ушанке приложил:

— Товарищ капитан...

— Ладно, — махнул рукой врач. — Проходите в свой дом, располагайтесь, товарищ...

А у Вани в петлицах четыре треугольника. Врач, как назвать, не знает — то ли старшина, то ли замполит.

— ...Замполит Разумихин, — четко так Ваня доложил, а улыбка во все лицо, глаза сияют. — Я сейчас, мама. Скажу только, что здесь остаюсь, — и выбежал.

Доктор в свой закуток зашел, а потом отодвинул плащ-палатку.

— Ко мне заходите, Ефимия Михайловна. По такому случаю я спиртику израсходую.

А Ефимия Михайловна в печку сразу.

Там у нее чугунок с картошкой стоял, горячий еще. Больше ей сына попотчевать нечем.

Ваня вернулся скоро, стал свой вещмешок развязывать. Хлеба достал, банку консервов каких-то. Присели они за стол. Доктор разлил всем спирта.

Ваня поднялся с кружкой в руке:

— За встречу, мать, и за победу.

— До победы-то далеко, вот за встречу необыкновенную надо выпить,— сказал доктор.— Повезло тебе необычайно. И мать увидеть, и в своих родных местах воевать.

— Значит, все около Овсянникова топчемся? — спросил Ваня, когда рассказала она ему про свое житье-бытье.

— Да, сынок. Никак не осият.

— Осилим, мать, осилим. Надо его взять непременно. Весь фронт из-за этих деревень стоит,— говорил Ваня уверенно очень, а у нее сердце кровью обливалось, как представляла Ваню на этом поле, на этом овраге овсянниковом среди фашистского огня.

— Не то видали,— продолжал Иван и стал рассказывать, как встретил войну почти на самой границе, как отступали с боями, как из окружений выбирались, как ранило. В самой Москве в госпитале обитался.

Про Тоню спросил, и когда узнал, что она у тетки в деревне, под немцем еще, губы сжал, брови нахмурил.

Поняла тогда Ефимия Михайловна, что будет драться Иван бесколебленно, жизни своей не щадя. Деревенка-то та, где Тоня сейчас, всего в нескольких верстах от Овсянникова.

И опять захолонуло душу страхом и болью прижало сердце. Одно дело знать, что сын где-то воюет, другое — прямо из рук своих его в бой отправлять.

Выглядел Иван неплохо. Кормили, говорил, в Москве, в госпитале, сытно, да еще всякие делегации подарки приносили. Курили, говорил, «Беломор», папиросы, а иной раз и «Казбек».

Ночь эту и не спали почти. Только под утро забрались они с Ваней на лежанку. Он сразу как прилег, так и заснул, а к ней сон не шел — стояло перед глазами поле

овсянниковское и как бежит по нему Ваня с автоматом, а кругом бушует огонь фрицевский.

Еще не рассвело, прибежал связной, требовал замполита Разумихина. Иван спал одетый, только сапоги скинул, а потому собрался мигом, плеснул на лицо водицы и к ней.

— Ну, мать, ты не переживай. У родного дома меня убить не должно. Ну, а если раненый буду — сюда вернусь, к доктору твоему. А если не приду, — значит, жив-здоров. Поняла?

— Поняла, милоч... — Хотела она его перекрестить, но он руку ей придержал:

— Не надо, мать. Я ж заместитель политрука. Неудобно. Ребята смеяться будут. Капитану привет, — сказал он тихо, чтоб связной не слышал, а потом прижался к ней, расцеловались трехкрагно, и глаза были сухие — и у него и у ней.

Вышла на крыльцо проводить, но темно еще было, и скоро ее Ванечка из глаз скрылся. Тут она и осенила крестным знаменем его вслед и пошла в дом, уже чувствуя, какой день тяжкий ей предстоит, а может, и не один, как будет она теперь прислушиваться к каждому выстрелу, к каждому разрыву снарядному и представлять, что вот этой пулей или этим осколком ее Ванечку убило. Да, предстоит ей мука мученицкая, и только одно у нее есть — увидела сына...

Утром прибежала Катенька — белая, глаза опухшие.

— У вас побуду. Не могу одна в блиндаже. Ушел мой комбат на передовую.

— А у меня сынок был...

— Неужели?

— Да. Вот вместе и будем переживать. Значит, бой сегодня будет непременно, раз твой комбат ушел?

— Непременно.

— Ну, что ж, девонька, ждать будем.

Хоть сил никаких не было, стала растапливать печку Ефимия Михайловна. Много горячей воды будет нужно.

Катенька скрутила себе самокрутку и дымилла, кашляя, пока доктор не вышел и сигарку эту из ее рта не выдернул.

Но было пока тихо. Пострелял немец поутру, как всегда, но настоящего боя было еще не слышать. Но к приему раненых и врач и фельдшер готовились — и шприцы кипятили, и бинты готовили.

Так до обеда время прошло... Принесли в термосе ка-



шу и флягу водки. Нечасто солдатиков водочкой баловали, ну, а сегодня принесли, значит, бой будет.

Катя от водки отказалась и отдала Ефимии Михайловне.

— Есть у меня,— показала Катя на флягу у пояса.— Оставил капитан помянуть его, если что... А сейчас не буду.

А Ефимия Михайловна чарку приняла с удовольствием — может, полегчает на сердце. Сжато все внутри до боли и тянет, тянет... Но не полегчало. Да и на Катеньку смотреть мочи нет — ходит из угла в угол, в лице ни кринки.

Доктор, проходя мимо, кинул Ефимии Михайловне:

— Ты бога своего моли, чтобы ранило Ивана, да не сильно. Тогда в Бахмутово вас отправим. Будешь его сама выхаживать.

— У меня и молитвы-то нет, доктор. Как за своего буду молить, когда столько их сегодня на смерть пойдут. Всех-то бог помиловать не может. Кому-то голову положить придется сегодня. А за всех матери-то молятся...

— Мда... — промычал капитан. — Это ты верно... Всех не помилует.

И тянулся день, словно кошмар какой. Никто себе места не находил. Только и вслушивались все в тишину угрозную и одного хотели, на одно надеялись: может, отменят наступление сегодняшнее?

Катя не выдержала, опять закурила, и врач мимо это пропустил, ничего не сказал.

Смеркаться уже начало... Уходил день, а с передовой все ни звука. Неужто на ночь наступление задумали? Ни разу такого не бывало. Но раз сам комбат на передовой, он-то разумеет, как лучше. Может, ночью-то сноровистей, потерь меньше будет и для немца неожиданно.

И вот неожиданно рывкнули сзади тяжелые орудия... Вздрыгнули все. А у Ефимии Михайловны ноги подломились, осела на скамейку.

А тут с передовой уже гром... Минут десять наши били, а потом, чего никогда не было слышно, версты же две до передовой, услышали они «ура» раскатное. Здорово ребята кричали, раз через такую даль они услышали.

И громыхал бой и громыхал... И каждый разрыв снарядный разрывал сердце, каждая очередь пулеметная словно через ее тело проходила.

Не выдержала Катенька, закатилась в истерике. Глаза выкатились, и выла она страшно, по-бабьи, как воют

некоторые женщины над покойником. Доктор ее лекарствами отпаивать. Не помогает. Но тут и первые раненые пошли, доктору не до нее.

Спросила Ефимия Михайловна, как там дела? Только рукой махнул один из раненых, а сам черный весь, изодраный.

А бой не кончался... Вышла на крыльцо она. За лесом зарево кровавое, ракеты со всех сторон, красные нити по небу вьются. И спросить некого насчет Ванечки. Кто его тут знает. Только пришел сегодня, не перезнакомился еще. Да и раненым не до вопросов, головы-то после боя шумят. Спрашиваешь их, а они и не понимают о чем, только пить просят.

Вначале все легкие шли, кто в руку, кто в ногу несильно, а потом понесли на носилках тяжелых. Тех вообще не спросишь. Но в каждого Ефимия Михайловна вглядывалась — не Ванечка ли? Но не было его среди раненых. Значит, либо живой еще, либо убитый уже. И не узнать... И вот эта неизвестность мучила ее пуше всего.

Катенька очнулась, тоже стоит у крыльца вместе с Ефимией Михайловной и про комбата своего спрашивает.

— Шел капитан. В цепи шел, видал его. Красиво шагал, а потом меня трахнуло... Не знаю, что дальше...— ответил один боец ей.

И другие тоже вразумительного ничего ответить не могли — видали, шел в цепи, а что дальше, никто не знает.

Наша артиллерия замолкла, теперь только немцы шпарят. Бьют по лесу непрерывно. И непонятно — вошли ли наши в Овсянниково... или опять захлебнулось наше наступление. Раненые говорили, что пока идет бой и близко уж подобрались.

Тяжело раненных перевязывали, раны обрабатывали и — кого можно — на подводу и в Бахмутово. Вместе с подводами и некоторые легко раненные уходили. Если бы не так — набралось бы уже их не меньше сотни. В избе не продохнуть уже. И страшно — как бы немцы Черново не стали обстреливать, добить тогда раненых могут. Раненые это понимали, с нетерпением ждали, когда подводы за ними придут, глаза у всех такие — лучше не смотреть.

Но все же хотела бы Ефимия Михайловна видеть среди них своего Ваню. Знала бы, что и как. А так — ведомо ничего.

И вот затих бой... Уже редко так, то в одном, то в другом месте, громыхнет разрыв... Но на душе не легче стало. Наоборот, тишина эта мертвая давила грудь страшным предчувствием — не выдюжил ее Ваня этот бой, лежит на овсянниковском поле неживой.

Через час или более ворвался в избу комбатов связной — здесь Катя? Увидел ее и крикнул в темень:

— Здесь она, товарищ капитан!

А Катя на глазах живела, румянец пробился, из глаз словно лучи засияли.

Вошел капитан. Рот перекривленный, лицо исцарапано, шинель в глине измазана, глаза сумасшедшие. Катя к нему бросилась, словно полетела, но он отстранил ее, отцепил флягу с пояса, поднес ко рту и пил из горлышка долго-долго...

Доктор вышел и глядел на капитана не то что зло, но как-то отчужденно, неприязненно. Тот допил все, отдал молча флягу Кате, бросил взгляд на врача:

— Чего смотришь?

— Смотрю, и все,— ответил тот спокойно.

— Раненых всех отправляйте в Бахмутово. Всех, всех.

— Отправляю по мере возможности.

— Не по мере, а всех! Поняли?

— Понял.

Потом комбат подошел к доктору вплотную, взгляд в взгляд.

— Осуждаешь? — спросил и глазами впился. Доктор не ответил, но взгляда не отвел.— Мне это Овсянниково вот где стоит,— продолжил комбат и рукой по горлу.— На всех совещаниях меня склоняют. Побольше бы огонька — взяли бы. Почти совсем подобралось. Надо было... Понимаешь — н а д о!

— Кому? — спросил доктор и, резко повернувшись, ушел в перевязочную.

Комбат постоял еще немного, хотел было сказать что-то вослед, потом махнул рукой, буркнул про себя что-то и громко Кате:

— Катя, пойдем! — И ушли они.

В избе кто стонет, кто бредит, кто матерится от боли, а один боец, когда комбат ушел, сказал:

— Красиво, черт, шел... Комбат-то наш. Красиво.

— Что толку,— другой в ответ.

— Нет, красиво шел, черт чернявый, красиво.

Опять вышла на крыльцо Ефимия Михайловна...

Стрельба редкая с передовой все еще доносилась, и ракеты шпарили густо. Все небо над Овсянниковом в голубых вспышках, словно марево. И трассирующие нет-нет да прочертят небосклон красными точками.

Вышел и доктор. Закурил и на небо тоже уставился.

— Мучаешься, Михайловна?

— Мучаюсь, Васильевич.— Стали они так звать друг друга недавно.— Если живой Ванечка, прислал бы с кем восточку...

— Да куда там, в заварухе. Не до того, наверное, было.

— Ну как же, должен все-таки о матери подумать. Нет, чует мое сердце — не живой он уже.

Доктор затянулся несколько раз сильно. Разгорелась самокрутка и лицо его усталое осветила.

— Вот что, Михайловна. Могу я послать санитаря на передовую, чтоб про твоего Ваню узнать, но... сама понимаешь... Попросить могу. Не приказать — попросить. Вот сама решай. Убьет его — на нашей с тобой совести будет...

Задумалась Ефимия Михайловна. Нет, не может она ради своего спокойствия чьей-то жизнью рисковать. Не может. Так и ответила:

— Нет, Васильевич, на такое дело права у нас с тобой нет.

— Потерпи до утра, Михайловна. Утром и писаря будут приходиться со строевыми записками, и раненые после налета утреннего. С кем-нибудь твой Иван и даст о себе знать. На том и порешили?

— Больше нечего делать.

— А теперь идем спать. Ту ночь не спали. Наверное, с ног валишься?

С трудом до своей лежанки добралась, по всей избе на полу друг к другу впритык лежали раненые. Залезла, накрылась полушубком, и забил ее вдруг озноб, хотя печь-то была горячая, цельный день топили, и подумалось — не Ванин ли озноб ей передается, не лежит ли он на поле, еще живой, но замерзающий, не зовет ли мать губами заволодалыми? А как подумала это, уже покою не было никакого — ясно виделся ей Ваня на овсянниковском поле.

— Пойду,— решила она.— Пойду.— И как решила, уже знала — ничто ее не остановит.

Оделась она прямо на печи. Ноги в валенки сунула, полушубок надела, спустилась с лежанки и тихо, чтоб не

потревожить кого, прошла между ранеными, мимо дневального, что в сенях дремал. Как-то невольно пакет с бинтом, что на столе лежал, захватила и положила в карман полушубка. И озноб ее сразу прошел, как рукой сняло.

Дорога ей, конечно, знакомая, да и тропки на передовую протоптаны. Только где и как она будет искать Ваню — пока не представляла. Лес, из которого наступление вели, версты на две тянется. Одним концом к Усову подходит, другим в Паново упирается. Но раз наступление на Овсянниково было — к нему и пойдет, то есть к тому куску леса, что напротив Овсянникова располагается.

Пока по подлеску шла, с неба, ракетами рассвеченного, падал снег, но в самом лесу темно стало. Но тропка все же была видна.

Кое-где в стороне от тропки шалаши стояли. В них, значит, наше войско и обретается. Из иного дымок вьется — греются ребятаки.

Боялась она, что остановят ее по дороге, но никого ей не встречалось. Если посты и есть, которые бодрствуют, то у опушки, а тут, с тылу, охранять нечего.

Лес этот она как свои пять пальцев знает. С детства в нем и ягоды и грибы собирала, хотя ночью в нем ни разу, конечно, не бывала. Ночью он какой-то другой. И деревьев побитых много и воронок.

Вот и поле сквозь деревья проглядывается... Голубится от ракет. Но ракет-то все меньше и меньше. Шалашей здесь у края много, но она их обходить старалась.

Один обходя, чуть не ступила ногой на убитого... Упало сердце, не Ванечка ли? Нагнулась, повернула (лежал он лицом уткнувшись) — нет, незнакомый.

Потом и еще и еще ей солдатики убитые на глаза попадались. И к каждому подходила со страхом, каждого оглядывала...

Но вот и к краю самому подошла — развернулось перед ней овсянниковское поле, развороченное снарядами, с тремя танками подбитыми — на середине.

И поняла она ясно так, словно выдалось ей какое-то чувство особое, — на поле Ваня! И спрашивать никого не надо. На поле он, и все!

— Ванечка, — вырвалось у нее, — Ванечка... Погодь помирать, к тебе иду, — и ступила на поле.

И не слышала, как закричали сзади ей:

— Куда ты? Убьют же! Немцы там! Давай назад!



Столпились бойцы у опушки, разбуженные ее криком, не знают, что делать. За ней побежать — немцы пристрелят. Одну ее оставить — совесть не велит.

А она метров пятьдесят уже прошла... Бросился один все же за нею, догнал, схватил за плечи:

— Куда ты, мать? Опомнись! — и стал тащить ее обратно, но она оттолкнула его с неожиданной силой, так что не удержался тот на ногах, и прибавила шаг. Пока

тот на земле барахтался, она еще отошла. Пополз тот боец обратно.

А она шла и уже негромко, почти про себя, говорила:

— Ванечка, погоду помирать — иду к тебе... — и шла, над каждым убитым останавливаясь, каждого убитого разглядывая.

И хотя начало светать, стоял густой туман и ни одного выстрела с той стороны не слышно.

Так и шла она по полю не прямо, а зигзагами, ни одного убитого не пропуская, над каждым наклоняясь.

Вся передовая не спускала с нее глаз. Лежали у кромки леса, побледневшие, руками оружие судорожно стискивая, и ждали — вот-вот немец откроет огонь, и что тогда делать? Как отомстить? И тишина стояла, кашлянуть боялись, не то что слово вымолвить, дыхание за-таили.

А она шла и шла... В своем полушубке черном, в длинной юбке, в платке распустившемся, сквозь дымку серую...

На Овсянниково, где немец, она совсем не глядела, смотрела только на землю. А оно близило с каждым ее шагом.

Но вот обошла она всех, и впереди только два тела валяются. Вот подошла она к одному, нагнулась, потом выпрямилась и пошла к последнему, глянула и упала рядом. Прильнула ухом к Ваниной груди и уловила толчки слабые, а когда к лицу прижалась — почувяла теплое.

Нога у Вани была разбита. Поднялась она, огляделась невидящим взглядом, поняла, что одна она на этом мертвом поле, что помощи ждать неоткуда, и стала думать, как ей Ивана тащить половчее, чтобы ногу его не тревожить. Нагнулась, взяла его под мышки, приподняла и сделала шаг назад. Стронулось Ванино тело; но раненая нога по земле поволочилась. Как же сделать так, чтобы не бередить ее? Но ничего не придумала и потащила дальше.

Так, шаг за шагом, часто приостанавливаясь для передыха, тянула она своего Ваню от смерти...

А на передовой гадали — живого или мертвого тащит?

И тут Ваня, наверное, от боли в ноге, очнулся, глаза открыл и застонал. Вот тут она испугалась. Положила его на землю, наклонилась к лицу:

— Молчи, Ванечка, молчи только. Не надо, чтоб немцы прознали, что живой ты...

— Где мы, мама? — прошептал он.

— На поле овсянниковском. Не говори ничего, немцы близко.

Он опять застонал и закрыл глаза... И она потащила его дальше. Только бы сил хватило, только бы самой не свалиться. В голове-то у нее кружило, темные круги ходили перед глазами. А еще половины пути не прошли, еще полверсты, не менее...

Тут Иван опять глаза открыл, но взгляд неосмысленный какой-то, стал дергаться из ее рук. Тогда положила она его, начала успокаивать, а он ничего не понимает, блуждает глазами и не узнает вроде ее. И стал он пытаться на ноги встать. Она его телом прижала, а он все вывертывается и хрипит: «Скорее, скорее...»

Ребята с передовой это заметили и выдохнули разом: «Живой парень-то». Теперь жди короткой очереди, и добьют парня. Беспременно добьют...

Этого и Ефимия Михайловна забоялась... Когда по полю шла в тумане, совсем почему-то не думала, что могут немцы по ней огонь открыть, и после тоже, а сейчас, когда Ваня затрепыхался, не ровен час зачнут стрелять. О себе-то не думалось, ей что, ее жизнь прожита... Ваню добьют — вот что страшно...

И не совладала она с ним, вырвался он, поднялся, ухватился за нее руками и запрыгал на одной ноге. Глаза безумные, рот открыт, дышит часто...

Пошли-то они теперь быстрее, но ждала она ежесекундно выстрелов в спину. Хотя туман-то над полем сильный...

Ну, и передовая замерла... Санинструктор к ротному бросился:

— Разрешите помочь им?

Но ротный головой покачал — не разрешаю, дескать. И, видимо, верно сделал. Немцы по живому, да не раненому, обязательно стрельнули бы, ну, а потом в азарт могли войти и этих бы пристрелили, а пока молчат... Не могут же они, гады, такое сотворить — допустить их до самых русских позиций и здесь уж добить. Это уж такое гадство будет, слов не найти. Но они, сволочи, конечно, на все способные...

Носилки приготовили, четыре санитары при них, чтоб мигом до санвзвода. Но надо дойти им, вот задача...

Иван поначалу вроде резво на одной ноге прыгал, но вскоре обессилел, упал... Ефимия Михайловна около него тоже на землю опустилась... Долго они так передыхали.



Сколько они на поле-то? Час или два? Ей кажется, век целый, а идти еще вон сколько...

И передовая истомилась до невозможности. Забыта бойцами своя доля нелегкая, забыто наступление вчерашнее. Лишь бы фашист, гад, тех, кто сейчас на поле, не тронул...

А Иван опять в беспамятство впал... Лицо как неживое, челюсть отвисла... Снова его Михайловна под мышки взяла и потянула, а сил-то уже совсем не осталось. И тут услышала:

— Держись, Михайловна!

Глянула и ахнула — бежит к ним доктор в распахнутой шинели и сумкой медицинской размахивает, чтоб красный крест на ней немцы заметили. Крикнула в полный голос:

— Не ходи, Васильевич! Христом-богом молю!

Но не послушал и уже на поле выскочил. Но тут лейтенант, тот, чернявый, схватил его полу шинели, сбил с ног — лежат оба, и видит она, что не пускает его чернявый дальше, — ну, слава богу...

Опять она к Ване, опять под мышки, опять потянула его, идя лицом к немцам, — так спокойней ей, чем когда спиной к ним была, когда Иван на одной ноге прыгал.

И опять тишина замерзшая на овсянниковское поле легла.

Когда шагов двадцать до наших позиций оставалось, а у Михайловны ноги уже совсем не могли — выбежали два бойца, подхватили ее и Ваню и бегом, бегом к лесу. Тут и доктор и чернявый к ним бросились, но у Ефимии Михайловны в голове уже совсем помутилось, ничего она уже не понимала, никого не видела — рухнула около Вани, и только одно в груди бьется счастьем нездешним — спасла своего сына, вытянула от лютой смерти, значит, внял бог ее молитвам.

И тут вдруг, когда рассеялся чуть туман, немецкая сторона, следуя своему фашистскому «орднунгу», взорвалась воем мин, треском пулеметных очередей и стала бить, бить нещадно по нашему переднему краю, который тоже начал бешено отстреливаться, стараясь заглушить вражеский огонь, стараясь спасти упавшую вместе с сыном и санитарями Михайловну, с отчаянием понявшую, что не даст фашист уйти им живыми с этого места... Не даст...

## САШКА

---

*Всем воевавшим подо Ржевом —  
живым и мертвым —  
посвящена эта повесть*

**К** вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края роши прилеплен был к ели редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги занемят, но наблюдать надо было безотрывно.

Сектор Сашкиного обзора не маленький: от подбитого танка, что чернеет на середине поля, и до Панова, деревеньки махонькой, разбитой вконец, но никак нашими не достигнутой. И плохо, что роща в этом месте обрывалась не сразу, а сползала вниз мелким подлеском да кустарником. А еще хуже — метрах в ста поднимался взгорок с березняком, правда, не частым, но поле боя пригораживающим.

По всем военным правилам надо бы пост на тот взгорок и выдвинуть, но побоязничали — от роты далековато. Если немец перехватит, помощи не докличешься, потому и сделали здесь. Прогляд, правда, неважный, ночью каждый пень или куст фрицем оборачивается, зато на этом посту никто во сне замечен не был. Про другие того не скажешь, там подремливали.

Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный: то у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт, видно, и вправду недужный, да и ослабший от голодухи, ну и возраст сказывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запаса, в летах, тем тяжко.

Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтоб немцы огонек не заметили, и стал думать, как ему свое дело ловчее и безопаснее сделать — сейчас ли, пока не затемнело совсем и ракеты не очень по небу шаркают, или на рассвете?

Когда наступали они днями на Паново, заметил он у того взгорка мертвого немца, и больно хороши на нем

были валенки. Тогда не до того было, а валенки аккуратные и, главное, сухие (немца-то зимой убило и лежал он на верховине, водой не примоченной). Валенки эти самому Сашке не нужны, но с ротным его приключилась беда еще на подходе, когда Волгу перемахивали. Попал тот в полынью и начерпал сапоги доверху. Стал снимать — ни в какую! Голенища узкие стянулись на морозе, и, кто только ротному ни помогал, ничего не вышло. А так идти — сразу ноги поморозишь. Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на сменку. Пришлось согласиться, голенища порезать по шву, чтоб сапоги стащить и произвести обмен. С тех пор в этих валенках ротный и плавает. Конечно, можно было ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует, либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто недосуг с этим возиться.

Место, где фриц лежит, Сашка заприметил, даже ориентир у него есть: два пальца влево от березки, что на краю взгорка. Березу эту пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая — откладывать ничего нельзя.

Когда напарник Сашкин откряхтелся в шалаше, закашлялся вдосыть и вроде заснул, Сашка курнул наскоро два разка для храбрости — что ни говори, а вылезать на поле, холодком обдувает — и, оттянув затвор автомата на боевой взвод, стал было спускаться с пригорка, но что-то его остановило... Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: не делай этого. Так было с Сашкой зимой, когда окопчики снежные еще не растаяли. Сидел он в одном, сжался, вмерзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг... елочка, что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей. И стало Сашке не по себе, махнул он из этого окопа в другой. А при обстреле в это самое место — мина! Останься Сашка там, хоронить было б нечего.

Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и все! Отложу-ка на утро, подумал он и начал взбираться обратно.

А ночь плыла над передовой, как обычно... Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и минами земле... Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада... Как обычно... Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что непохожа война на то, что представ-

лялось им на Дальнем Востоке, когда катила она свои волны по России, а они, сидя в глубоком тылу, переживали, что идет война пока мимо их, и как бы не прошло совсем, и не совершить им тогда ничего геройского, о чем мечталось вечерами в теплой курилке.

Да, скоро два месяца минет... И, терпя ежечасно от немцев, не видел еще Сашка вблизи живого врага. Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые, не видать в них было никакого движения. Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки, которые, контратакуя, перли на них, урча моторами и поливая их пулеметным огнем, а они металась на заснеженном тогда поле... Хорошо, наши сорокапятки затаивали, отогнали фрицев.

Сашка хоть и думал про все это, но глаз от поля не отрывал... Правда, немцы сейчас их не тревожили, отделивались утренними и вечерними минометными налетами, ну и снайперы постреливали, а так вроде наступать не собираются. Да и чего им тут, в этой болотной низинке? До сих пор вода из земли выжимается. Пока дороги не пообсохли, вряд ли попрут немец, а к тому времени сменить их должны. Сколько можно на передке находиться?

Часа через два пришел сержант с проверкой, угостил Сашку табачком. Посидели, покурили, побалакали о том о сем. Сержант все о выпивке мечтает — разбаловался в разведке, там чаще подносили. А Сашкиной роте только после первого наступления богато досталось — граммов по триста. Не стали вычитать потери, по списочному составу выдали. Перед другими наступлениями тоже давали, но всего по сто — и не почувствуешь. Да не до водки сейчас... С хлебцем плохо. Навару никакого. Полкотелка жидни пшенки на двоих — и будь здоров. Ра-с-пу-ти-ца!

Когда сержант ушел, недолго и до конца Сашкиной смены. Вскоре разбудил он напарника, вывел его сонного на свое место, а сам в шалашик. На телогрейку шинелишку натянул, укрылся с головой и заснул...

Спали они тут без просыпу, но Сашка почему-то дважды ото сна уходил и один раз даже поднялся напарника проверить — ненадежный больно. Тот не спал, но носом клевал, и Сашка потрепал его немножко, встряхнул, потому как старший он на посту, но вернулся в шалаш какой-то неуспокоенный. С чего бы это? Подсасыва-

ло что-то. И был он даже рад, когда пришел конец его отдыху, когда на пост заступил,— на самого себя надежи-то больше.

Рассвет еще не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать — так, реденько, одна-другая в разных концах поля. Но Сашку это не насторожило: падоело пультя всю ночь, вот и кончили. Это ему даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается...

До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до березы, а вот тут незадача... Расстояние в два пальца на местности в тридцать метров обернулось, и ни кустика, ни ямки какой — чистое поле. Как бы немец не засек! Здесь уж на пузе придется, ползком...

Сашка помедлил малость, обтер пот со лба... Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались — и за лето не просушить, а тут сухенькие наденет и походит в сухом, пока ему сапоги со склада не доставят... Ладно, была не была!

Без останову дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит! То, что приходится мертвого тела касаться, его не смущало — попривыкли они к трупам-то. По всей роще раскиданы, на людей уже не похожие. Зимой лица их цвета не покойницкого, а оранжевого, прямо куклы какие, и потому Сашка брезговал не очень. И сейчас, хотя и весна, лица их такими же остались — красноватыми.

В общем, лежа снять с трупа валенки не получалось, пришлось на колени привстать, но тоже не выходит, тянется весь фриц за своим валенком, ну что делать? Но тут смекнул Сашка упереться ногой в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошел... Значит, один есть.

Небо на востоке зажелтилось немного, но до настоящего рассвета еще далеко — так, еле-еле начинало во-круг кое-что проглядываться. Ракеты немцы совсем перестали запускать. Все же перед тем, как за второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно все, можно снимать. Снял и пополз быстро к взгорку, а оттуда меж осинок и кустов можно и в рост без опаски до своего шалашика.

Только подумал это Сашка, как завыло над головой, зашелестело, а потом грохнули разрывы по всей роще, и пошло... Что-то рановато сегодня немцы начали. С чего бы так?

Со взгорка сполз он в низинку и залег под кустом. В рощу возвращаться сейчас незачем, там все в грохоте, треске, в дыму и гари, а сюда немец не бьет. Опять подумалось: неспроста в такую рань начали, и обстрел большой — рвутся мины одна за другой, пачками, будто строчит очередь какой-то здоровенный пулеметище. А вдруг наступать, гады, надумали? Эта мысль обожгла, но заставила Сашку глядеть в оба. В роще-то теперь под таким обстрелом вдавились все в землю, им не до наблюдения.

Вот заразы так заразы! Все не перестают! И верно, такого налета Сашка не помнит, уж больно силен и долог. Глянул назад, и впрямь творится там страшное — разрывы по всему лесу, взмечаются вверх комья земли, падают вывороченные с корнем деревья. Как бы не побило всех. Сашке даже неловко стало, что оказался он случайно в безопасности, от своей роты в отрыве, но валенки рукой погладил.

Курнуть захотелось смертно, и Сашка начал крутить сигарку, глаза на миг от поля отведя, а когда поднял их — обомлел!

Из-за взгорка поднимался громадный немец... Огляделся и дал сигнал рукой остальным, еще не видимым Сашкой: дескать, можно идти. Высунулись еще двое, такие же огромные, — сперва головы в касках, потом в полтуловища, а потом и во весь рост...

Сигарка у Сашки выпала из рук, дыхание перехватило, сердце провалилось куда-то, тело зацепенело — ни рукой, ни ногой не двинуть. А немцев тем временем прибавлялось — то здесь, то там появлялись. Большие, серые, размытые предутренней дымкой, страшные...

И Сашка понял, не выдержит он сейчас, поднимется, засрет благим матом «немцы» и бросится бежать в рощу, к своим, лишь бы не быть одному. Уже напряглось тело, уже растянулся рот... Но тут услышал он приглушенную команду «форвертс, форвертс», которую немцы исполнили не сразу, а заколебавшись. И вот эта минутная заминка у них, безоходное выполнение приказа дало Сашке время прийти в себя, и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошел с него.

Двигались немцы осторожно, с опаской, и это дало Сашке мысль: побаиваются они тоже, разве знать им, сколько русских в роще и что ждет их здесь? И это вдруг успокоило Сашку, голова заработала, мысли не пересе-

кали друг друга, а стали строиться в ряд — что делать сначала, что потом... Наперво поглядел он назад и выбрал место поукрытистей, да не одно, а два, потом, встав на колени, чтоб видеть лучше, резанул длинной очередью по немцам и сразу побежал к намеченному кусту, тут он опять с колена дал веерок трассирующих, перекатился в сторону, а уж оттуда что есть мочи бросился в рощу.

Здесь только услышал он ответную пальбу, крики, свист, улюлюканье и треск разрывных пуль вокруг, а оглянувшись, увидел — немцы бежали вовсю, раскрыв рты, прижав автоматы к животу...

Сашка влетел в рощу, крича «немцы! немцы!», чтоб упредить своих, и тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо:

— Много их? Много?

— Много! — выдохнул Сашка.

— Беги передай — всем за овраг! Там залечь и ни шагу!

— А вы?

— Беги! — повторил ротный, и Сашка побежал.

И верно, подумал Сашка, принимать бой здесь, когда немцы вошли уж в рощу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое, там немцы, если попрут, на виду будут, там и прищучить можно, ну и вторая рота поможет.

В середке пяточка столпилась их битая-перебитая рота около раненного в ногу политрука. Тот размахивал карабином и кричал:

— Ни шагу! Назад ни шагу!

— Приказ ротного — отойти за овраг! — крикнул Сашка. — А оттуда ни шагу!

Этого будто и ждали, побежали резво, откуда силенки взялись, а политрук, побелевший, скривившийся от боли, растерянно глядел, как неслась схваченная паникой рота.

Один из бойцов, коренастый татарин, нагнулся над политруком, схватил под мышки и потянул к ручью. Сашка подмогнул ему, а потом, спешно подзарядив диск, бросился туда, где остался ротный. Опять столкнулись они, чуть не сбив друг друга с ног.

— Попридержи их! — прохрипел ротный и, пустив короткую, видать, из последних патронов очередь, миновал Сашку.

Схоронившись за ель, Сашка водил стволом автома-

та, пуская длинные очереди, но его выстрелы тонули в резких и звонких хлопках разрывных, которыми была наполнена роща. Да и обычные пули взрывали совсем рядом, сбивая ветви елей, взрыхляя землю вокруг. Стало Сашке страшновато — как бы не ранило! Тогда хана! Тогда к немцам попадешь запросто. И, не расстреляв всех патронов, Сашка метнулся назад.

За оврагом командовал сержант, останавливая не в меру разбежавшихся. Теперь-то к политруку подбежали человек пять и, пожалуйста, готовы нести в тыл его хоть на руках. Но он, ругаясь, гнал их от себя, посылая в оборону, а потом и подоспевший ротный разметал всех по местам.

Немцы к тому времени неожиданно замолкли — ни стрельбы, ни криков, ни свиста...

И рота, занявшая оборону — кто за деревом, кто за кустиком, кто в окопчике для стрельбы лежа (были тут такие, неизвестно кем копаные), — тоже притихла в напряженном ожидании, что вот-вот начнут выползать фашисты и пойдет уже настоящий бой. Лица были хоть и бледные, но живые, хоть и со сдвинутыми бровями и сжатыми ртами, но не испуганные, не такие, как при налетах и бомбежках, когда нету другого спасения, как вжаться в матушку-землю... Тут враг был рядом и, главное, их оружию доступный — и пуле, и гранате, и штыку, — а стало быть, от них самих зависит, как этот бой провести.

Но немцы не выходили... И тишина, такая неожиданная после грохота сегодняшнего утра, тяготно давила на них ожиданием неизвестного и страшного, что вот-вот должно сейчас произойти, и потому, когда взорвалась она не громом выстрелов, не криками немцев, а хриплым и жалким:

— Братцы, помогите... Братцы... — они растерялись, и даже ротный выкрикнул не сразу:

— Сержант! Все люди на месте?

— Вроде все... — не враз, а сперва приподнявшись и глазами пересчитав людей, ответил сержант не особо уверенно.

— Точнее!

Сержант еще раз огляделся, помедлил малость с ответом, но подтвердил:

— Все, товарищ командир.

— Провокация... — процедил ротный. — Передать по цепи: без команды не стрелять!



Сашка тоже вертел головой, стараясь разглядеть, все ли на месте, потому как голос этот ему знакомым показался, но ребята затаились, замаскировались, кто как мог, не разглядишь. Да и кто мог там остаться, такой огонь проспять, такой шум?

— Братцы...— донеслось опять оттуда, еще более хриплое, придушенное, и снова тяготящая тишина нависла над ними.

И вдруг другой голос — молодой, какой-то торжествующий и даже приятный на слух — прокричал им:

— Товарищи! Товарищи! Бросайте оружие, закурим сигареты! Товарищи...

— Ух, лярвы,— проскрежетал Сашка.— Знают, сволочи, что мы без курева...

А приятный голос продолжал уговаривать настойчиво:

— Товарищи! В районах, освобожденных немецкими войсками, начинается посевная. Вас ждет свобода и работа. Бросайте оружие, закурим сигареты...

Они продолжали слушать, ничего не понимая, стараясь разгадать, какую игру ведут с ними немцы, пока ротный не поднялся с перекошенным лицом и не закричал каким-то не своим голосом:

— Это разведка! Ребята, их мало! Это разведка! Их мало! Вперед! — и бросился через ручей без огляда, бегут ли за ним люди.

Но люди побежали, растянув рты в «ура» и недружно стреляя редкими выстрелами из винтовок и короткими очередями из ППШ, а за ними и Сашка, который, вскоре обогнав ротного, заглянул тому в лицо, увидел, как растерянно оно, потому как взводит он на ходу затвор автомата, а тот не стреляет. Смекнул Сашка, что ротный расстрелял свой диск, а сообразить это не может и недоумевает. Отцепил он с ремня свой диск и сунул в руку ротному. Тот кивнул благодарно, и побежали они дальше... А за ними, шумно дыша, матюгаясь, топала их рота, а за нею и подоспевшая вторая.

Хоть и впервые Сашка столкнулся так близко с немцами, страха он почему-то не ощущал, а только злость и какой-то охотничий вспыл — настичь немцев непременно и перестрелять их, когда они на поле высыпаются и будут видны как на ладони, а он с того взгорка, у которого сегодня фрица искал, будет резать по ним трассирующими... Вот будет им закурка! А то «закурим сигареты»! Вот гады! В таком раже обогнал Сашка ротного,

который задерживался, подтягивая людей, и проскочил уже больше половины их леска, не встречая ни немцев, ни их стрельбы ответной. Странно что-то... Но тут недолго и до края, а там уже будут на виду немцы, деться им некуда, обратный путь через поле, другого нету. И жал Сашка из последних сил, пока не рассекся над ним воздух нарастающим, выворачивающим душу воем. И уже по нему понял Сашка: не одна, не две летят мины, а целая стая. И впрямь грохнули разрывы по всей роще, а особенно густо перед краем. Стали стеной перед Сашкой, огненными кустами. Пришлось брякнуться на землю, и, падая, понимал он: отрезают немцы их от своей разведки, которая спокойненько уходит сейчас во свояси. И так обидно стало — уйдут, заразы, безнаказанно, — что Сашка поднялся и рванул через огонь. Когда бежал сквозь разрывы, страшно не было, а когда добежал до опушки и залег, пробрала дрожь. Отсюда и взгорок виден, и часть поля, но немцев не было. Куда же они, сволота, делись? Как сквозь землю провалились!

И Сашка уже просто так, чтоб выплеснуть злобу и обиду, пустил длинную очередь наобум, пока не заглох ППШ. Тут только опомнился — запасного диска-то нет, ротному отдал...

А минометный огонь подползал сзади, к опушке, и пришлось Сашке вперед податься, чтоб от него уйти. Опять он от роты оторвался, но что делать, немцев-то они упустили, как ни верти. Обидно очень. Только раз за эти месяцы выпал им случай поквитаться с фрицем, ан нет, не вышло! Матюгнулся Сашка, но что-то ему говорило, не все еще кончилось. Может, податься ему к тому взгорку, может, застанет еще немцев на поле? Но что он один да с пустым диском? Но, когда услышал Сашка, как кричит сзади ротный, поднимая людей, видно стараясь прорваться с ними через огонь, решил и он продвигнуться подальше и приподнялся... Но тут же просвистевшая над ним автоматная очередь бросила его наземь.

Откуда? Значит, тут еще немцы! Сашка быстро отполз чуток в сторону и осторожно поднял голову, чтоб оглядеться, и чуть было не вырвался у него вскрик: «Стой, мать твою! Халы!» Впереди метнулось что-то серое и скрылось. Непослушными пальцами расстегнул Сашка чехол «лимонки», а когда вынул ее и прихватил пальцем кольцо, зашептал:

— Теперь не уйдешь, гад... Не уйдешь...

Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрерывно налезавшую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его от поля.

Немца было не видать. Залег, наверно, а всего скорее — ползет он к взгорку. Теперь кто кого опередит.

Кадровый боец, Сашка полз умело, не приподнимая зада, полз споро и потому решил: если немец лежит на месте, то должен он его уже обойти, а если тот тоже ползет, то сравняться по крайней мере. Приподняться Сашка боялся — немец, наверно, нет-нет да оглядывается. Если заметит, то режет из автомата, и потому приходилось двигаться вслепую — какой обзор у ползущего?

То, что патронов у него нет, Сашка помнил и на что идет, понимал, но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца, а скольких ребят из разведки положили, пока за «языком» лазили, Сашка знал.

Сполз он уже в низинку, и теперь, как немец на взгорок поползет, будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка пока не знал.

Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешкав и секунды, бросился Сашка вдогон и хотел было метнуть гранату вслед — достал бы! — но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живьем нужен. Судя по тому, что отстал фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный... Эти мысли пробегали в Сашкиной голове, пока он за немцем гнался, но главной была: не дать уйти тому на поле — там его не взять, там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы за просто.

А до взгорка считанные метры! Пока они здесь, в низинке, надо и действовать! На Сашкино счастье, не обернулся фриц ни разу, знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои, а насчет Сашки думал небось, что прибил его своей очередью... Раздумывать больше некогда! Сделал Сашка хороший замах и бросил «лимонку» с расчетом, что упадет она впереди немца и тот, увидя ее, бросится наземь, тут Сашка и навалится...

Так и вышло... В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг рванулась граната, просвистели осколки, обсыпало Сашку землей, но он крепко прижал правой рукой фрицевский «шмайссер», а левой сбоку что

есть силы ударил немца по виску, благо был тот без каски, а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и стал он под Сашкой изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал барахтаться. Но все же чуял Сашка, немец не сильнее его и, кабы не маета их двухмесячная, смял бы он его быстро. Пахло от немца каким-то чужим запахом: и табаком не таким, и одеждой другой, и даже потом другим... Лица его Сашка не видел, только затылок и шю, не особо толстую, которую он отпустил на секунду, чтоб трахнуть еще раз левой по виску. Но удара не получилось — дернулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину и держал крепко, не вырвать... Теперь вправо немного немец повернулся и часть его лица показалась. Молодой был и курносый, чему Сашка удивился — в роще все больше длинноносые лежали. Обезручел Сашка — одна рука немцем прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет, вывернуться из-под Сашки.

Хоть бы подоспел кто. Но звать на помощь Сашка не стал — метался сзади минометный отрезающий огонь, как бы не прибило кого, если начнут пробиваться. Беспokoился Сашка, конечно, за ротного. Тот у них такой, побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью обязан, природнились за эти месяцы страшные.

Не успел Сашка это подумать, как услышал сквозь разрывы голос ротного:

— Сашка! Где ты? Сашка!

Не ответить было нельзя, и он откликнулся:

— Здесь я, командир! Фрица прижал!

— Иду! Не выпускай, Сашок!

«Догадался ротный, что без патронов я», — с теплотой подумал Сашка, но немец враз стал выворачиваться, пытаясь скинуть его, и пришлось рискнуть — оторвать руку от фрицевского «шмайссера»... Удар, который нанес Сашка правой по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистей, приговаривая:

— Ну что? Не ушел, зараза! Теперь все, капут!

Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом так же резко сорвал с

пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя.

— Теперь все, можешь отпустить...— сказал он Сашке, и тот отвалился от немца влево. И лежал фриц между ними уже обезоруженный, плененный уже окончательно.— Молодец, Сашок! Как это вышло?— спросил ротный.

— А шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я к краю проскочил—никого. Ну, думаю, упустили фрицев. Потом приподнялся...—но тут Сашке пришлось умолкнуть.

Заметили их, видно, разглядели в бинокли, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение—если прибьют, то с немцем заодно. Близко рвались мины, взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты, и все это носилось над их головами, потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую, прошлогоднюю траву... Но все это было привычное, испытываемое ими каждодневно и потому особого страха не вызывало и не могло забить того радостного, что ощущалось,—ведь первого немца взяли!

Захотелось Сашке курить, прямо невмочь, и стал он сворачивать сигарку.

— И мне сверни,—попросил ротный.

Немец вроде с любопытством смотрел, как рвет Сашка газетку, насыпает махру, сворачивает недрожащими пальцами, спокойно прислуживает, и все это под огнем, когда то здесь, то там рвутся мины, свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, делал это еще неспешней, еще размеренней—дескать, плевать мы хотели на ваш огонь... Но еще большее удивление, если не сказать—недоумение, вызвало у немца то, как Сашка, вынув кресало и трут—«катюшей» они это называли,—начал выбивать искру, а она, как назло, то не выбивалась, то выбивалась слабая, и трут никак не загорался. Тогда немец заворочался, полез в карман... Ротный его руку, лезшую в карман, прихватил, но тот зажигалку вынул и протянул ее лейтенанту.

Ротный обмундированием от Сашки не отличался: такая же телогрейка, грязью заляпанная, ремня широкого командирского ему еще не выдали, такое же оружие у него солдатское—автомат. Только маленький кубарь в петлицах отличает его, но немец рассмотрел.

Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует.

Был он вроде бы Сашкин одногодок, лет двадцати — двадцати двух, курносый и веснушчатый, на вид прямо русский. Напомнил он Сашке лицом одного его дружка деревенского — Димку. Тот чуть поскуластей был и поплотнее. С Димкой Сашка в борьбе не справлялся, и была у них либо ничья, либо бывал Сашка побежденным.

Ротный взял зажигалку, чиркнул, прикурил и дал огня Сашке. Улыбнувшись, сказал:

— Гляди, какие мы вежливые,— повертел зажигалку, рассматривая, и подал ее обратно немцу.

— Хорошая зажигалка,— сказал Сашка и добавил: — Все не кончат никак, заразы. Прибьют тебя свои же, фриц. Ферштеен?

Немцу было не до «ферштеен» — кровь из носа хлестала, не переставая, и весь платок, который он прижимал к лицу, был красный. Есть такие, подумал Сашка, чуть до носа дотронешься — и сразу кровь. Видно, немец из таких. Правда, ударил Сашка, не жалея кулака, до сих пор костяшки пальцев ноют. Кабы не обстрел, перевернули бы немца на спину, может, кровь и перестала, но сейчас не до того — ужались в землю, аж до боли в животах, скорей бы пронесло...

— Может, рванем, товарищ командир? — предложил Сашка, но ротный покачал головой: порядочно до рощи, могут пулеметом прихватить, место-то открытое.

Но вот наконец начинает сбавлять силу налет, редчают разрывы, тихнет вой над головой... Чавкнули в стороне две мины, видать, последние, и затихло все.

Они пролежали еще немного, докуривая, потом ротный сказал что-то фрицу по-немецки и, прихватив его руку, резко поднялся, за ним немец, потом и Сашка. И все трое ходу, без перебежек, в свою рощу. Хоть и нет там ничего — ни укрытий, ни окопов, ни щелей, только шалашики,— но попривыкли к ней, словно дом родимый...

Влетели, запыхавшись, а их уж встречают. Стабунилась рота около сержанта, и стыда не заметно, что не помогла, а отлеживалась, пока Сашка с ротным немца брали. И сразу к немцу поближе, оглядывают, любопытничают.

Немец стоял потупившись, переминаясь с ноги на ногу, руки длинные болтались как-то потерянно, но страха особого не выказывал. Был он без шинелишки, в сереньком мундирчике с погонами, в коротких сапогах, довольно побитых, с аккуратной заплатой на голенищах.

Роста он был повыше Сашки. Лицо в грязи и крови. Воротник мундира в красных разводах.

— Ранен он, что ли? — спросил один из бойцов.

— Да нет. Это я по носу его вдарил, — не без гордости ответил Сашка.

Подошел к ротному сержант, пробормотал виновато:

— Простите, товарищ командир. Сплошали. Отрезал немец. И хотим к вам пробиться, да через огонь не перескочишь. Больно густо бил.

— Ладно, — вроде добродушно ответил ротный, но сержант подошел ближе и шепнул что-то. Ротный нахмурился, помрачнел и скомандовал Сашке резко: — Веди немца ко мне.

Но тут один из бойцов, недавно к ним прибывший из пополнения, но быстро здесь освоившийся, озорной такой парень, сказал немцу с вызовом:

— Ну что, фриц... Манили нас сигаретами, так давай закуривать.

Немец понял и вытащил из кармана небольшой портсигар и протянул его ротному, но без суеты и подобострастия. Ротный отказался. Тогда Сашке. Но тот тоже отрицательно помотал головой — раз ротный не берет, и он не будет. Немец отвел руку с открытым портсигаром к ребятам, те брезговать не стали, навалились, и фрицевский портсигар мигом опустел, да и было там сигарет восемь. Только один замахнулся на немца:

— Да иди ты, гнида, со своими сигаретами!

Остальные задымили вдумчиво, не спеша, оценивая немецкий табачок, и вроде не одобрили — крепости мало, с нашей «моршанской» не сравнить.

После этого повел Сашка немца к землянке ротного (выкопали ему недавно через силу, вышла не ахти, но все ж не шалашик) и там остановился. Немец все прижимал платок к носу, но, видимо, кровь пошла на убыль. Ротный пришел скоро, в глазах бывлой радости нет, озабоченный чем-то, смурной...

— Забрали у нас немцы одного разяву, Сашок...

— Неужто? Это, верно, напарника моего, с кем на посту стоял... Когда «братцы» кричал, чую, голос знакомый, а чей, не пойму. Эх, негораздь какая!

— Это очень плохо, — сказал ротный серьезно.

— Достанется вам?

— Не в этом дело, — махнул рукой ротный и приказал немцу спускаться в землянку.

Сашка слышал, как балакают они что-то по-немец-

ки. Потом крутил ротный телефон и разговаривал с помкомбатом.

Привалился Сашка к пеньку, вытянул ноги и только тут почувствовал охватившую тело усталость и тянущее изнутри ощущение пустоты в желудке, которое прихватывало их всех по нескольку раз на день.

Немец вылез из землянки красный, со сжатыми упрямо губами и какими-то ошалелыми глазами, а ротный, наоборот, побледневший и злой.

— Вот тебе рапорт начальнику штаба. Ну, и сам расскажешь, как все было. И веди немца.

— В штаб?

— Да. И смотри, чтоб не случилось чего с немцем. Он мне главного ничего не сказал.

— Во паразит,— удивился Сашка.

— Перехитрили они нас. Пока мы, раскрыв рты, их болтовню слушали, остальные уходили с этим... раззявой. Этот фриц, которого ты взял, прикрывал переводчика. Вот такие дела. Понял?

— Вот гады,— пробормотал Сашка.— Кто бы мог подумать...

— Ну, ладно, после драки кулаками не машут. Иди,— ротный махнул рукой, а Сашка, сменивший уже диск в автомате, щелкнул затвором и скомандовал немцу «комм».

Немец поежился от звука взводимого затвора и пошел, поначалу часто оборачиваясь на Сашку, видно боясь, что тот может стрельнуть ему в спину. Сашка это понял и сказал наставительно:

— Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем.

Немец, опять посеревший, сморщил лоб, стараясь понять, что толкует ему Сашка, который, видя это, добавил:

— Мы,— ударил он себя в грудь,— ниht шиссен теб, — устали палец на немца.— Ферштеен?

Теперь тот понял, кивнул головой и пошел резвее, поглядывая по сторонам. Изредка недоуменно пожимал плечами, покачивал головой, а иногда чуть кривился в улыбке. Это, как понял Сашка, дивился он никудышной нашей обороне. А чего дивиться? Мог бы рассказать Сашка, как с ходу после ночного марша бросили их в атаку на Овсянниково, да не раз и не два... Потом каждый день ожидали — сегодня опять идти в наступление. Чего ж перед смертью мучиться, окопы в мерзлой земле



колупать? Земля — как камень. Малой саперной лопатой разве одолеешь? Потом, в апреле, водой всю рощу залило, каждая махонькая воронка ею наполнилась. Ну, а сейчас, когда пообсохло малость, силенок уже нет, выдохлись начисто, да и смену со дня на день дожидаем. Чего тут рыть? Придут свеженькие, пусть и роют себе... Но немцу этого не расскажешь, да и незачем тому это знать... Просто взял Сашка левее сразу, в глубь леса, чтоб миновать расположение второй роты, хотя и хотелось ему форснуть перед знакомыми ребятами своим немцем.

Здесь, в роще, много наших, советских листовок было разбросано, когда немцы еще тут находились. Пользовали их на завертку самокруток, на розжиг костров и еще кое для чего. В одной они разобрались без труда: была там таблица, сколько немцы в нашем плену продуктов получают. «Брот» — столько-то, «буттер» — столько-то и всего прочего столько-то... Выходило богато! Особенно в сравнении с тем, что они сами сейчас здесь получали. Даже обидно стало. Начальника продснабжения бригады без матерка не поминали, но, когда в апреле концентрат-пшенку получили с отметкой на этикетке, что выпущена она в марте месяце, задумались...

Так вот сейчас попалась на глаза Сашке эта листовочка, поднял он ее, расправил и дал немцу — пускай успокоится, паразит, и поймет, что русские над пленными не издеваются, а кормят дай бог, не хуже своих.

Немец прочел и буркнул:

— Пропаганден.

— Какая тебе пропаганда! — возмутился Сашка. — Правда это! — Немец еле заметно пожал плечами, а Сашка, не успокоившись, продолжал: — Это у вас пропаганда! А у нас правда! Понял? Мог я тебя прихлопнуть? Мог! Гранату под ноги — и хана! Валялся бы сейчас без ног и кровью исходил. А я не стал! А почему? Потому как люди мы! А вы фашисты!

— Их бин ниht фашист, — сказал немец.

— Ну да, рассказывай... Скажи — Гитлер капут! Скажи! — немец молчал. — Вот зараза так зараза! Значит, фашист, раз молчишь.

— Их бин ниht фашист, — упрямо повторил немец. — Их бин дейче зольдат. Их бин дейче зольдат.

— Заладил — зольдат, зольдат... А ну тебя! — махнул рукой Сашка. — Что я, с тобой политбеседу проводить буду! Пропади ты пропадом!



Немец листовку все же не бросил, а, сложив аккуратно, положил в карман мундира.

Встречались на передовой и другие наши листовки. На одной была фотография девушки в белом платье с аккордеоном, а рядом парень в гражданском, и написано было: «Немецкий солдат! Этот счастливый час не вернется для тебя, если ты не сдашься в плен...» Ну и, конечно, что будет обеспечена жизнь, возвращение домой

после войны и прочее... Эту листовку ротный им перевел. Вот эту бы немцу дать почитать, но что-то ее по дороге не попадалось.

То, что немец не стал повторять «Гитлер капут», вначале разозлило Сашку, но, поразмыслив, он решил, значит, немец не трус, не стал ему поддакивать. А раз так, победа над ним показалась Сашке более значительной. Разве уж таким дуриком он взял его? Все же проявил смекалку и красноармейскую находчивость. И, что ни говори, смелость. Ведь с пустым диском немца догонял.

Прошли они почти половину пути... Эти две версты до штаба последнее время Сашка без передыха не осиливал. Ходил всегда через вторую роту, там и делал перекур, чтоб поболтать со знакомыми. Правда, почти совсем не осталось однополчан-дальневосточников, один-два на роту...

И теперь, почувствовав слабинку в ногах, решил Сашка приостановиться и малость передохнуть. Должна быть тут недалеко большая воронка, а около поваленное взрывом дерево. Вот на нем и посидеть можно. Забыл только Сашка, что рядом лежат там еще не захороненные убитые, а немцу смотреть на них ни к чему. Но было уже поздно сворачивать, подошли вплотную.

Воронка была доверху наполнена черной водой, в которой плавали желтые прошлогодние листья, обертки от махорки и табака «Беломор», какие-то тряпки, бинты. Тут можно и в порядок себя привести, обмыться да почиститься. В штаб же идут, не куда-нибудь.

Сашка первым набрал в ладони воды, плеснул на лицо и жестом пригласил немца последовать его примеру. Тот постоял, посмотрел на застойную воду, поморщился, потом взял свой окровавленный носовой платок, пополоскал его и стал вытирать лицо и воротник мундира. Сашка после умывания стал свою телогрейку отряхивать, грязь с брюк счищать и даже попытался налипшую глину с ботинок соскрести и все норовил перед немцем быть, загораживая телом полянку, на которой и лежали наши.

Немец, глядя на Сашку, тоже стал отряхиваться. Закончив приводить себя в порядок, Сашка присел на ствол поваленного дерева и сказал:

— Передохнем, фриц...— и стал наскребать из кармана махру, но немец, присевший рядом, не замедлил вытащить смятую пачку с несколькими сигаретами и

предложил Сашке.— Попробуем вашего табачку,— не отказался Сашка.

Немец чиркнул зажигалкой, поднес огонек. Задымили...

Жаль, немецкого не знаю, подумал Сашка, поговорил бы... Многие можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в семилетке, все выветрились, призабылись, а если и всплывали в памяти какие, то не те, которые нужны. Вертелся в голове какой-то «Геноссе Купфербарт» из учебника, а вот спросить, какая у них в Овсянникове оборона, сколько народа, сколько орудий и минометов, слов нет. Не то учили, зубрили стишки какие-то. И для чего? А многое было Сашке любопытно: и как у немцев с кормежкой, и сколько сигарет в день получают, сколько рому, и почему перебоев с минами нет, да мало ли что можно было спросить?

Про свое житье-бытье Сашка, разумеется, рассказывать бы не стал, хвалиться пока нечем. И со жратвой туго, и с боеприпасами. Но это все временное, далеко от железной дороги оторвались, распутица. Еще стояли в Сашкиных глазах газетные январские фотографии, когда гнали немцев от Москвы,— и трупы их замерзшие, и техника брошенная, и какие они были жалкие, в бабьи платки закутанные, с поднятыми воротниками жидких шинелишек... Какие у них шинели хлипкие, Сашка знает, просвечивают насквозь, с нашими не сравнить.

Тут немец кинул случайно взгляд на поляну, покачал головой и залопотал что-то по-своему, из чего только «шлехт... зэр шлехт» Сашке было понятно. Сам знает Сашка, что плохо, но нету силенок ребят хоронить, нету... Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах. Но немцу об этом не скажешь, он и так нагляделся предостаточно на то, на что ему глядеть не положено.

А немец, подняв две веточки с земли, обломил их, соединил крестом, показывая Сашке, как хоронят они своих. Знает это Сашка! Видал в Малоярославце, как всю площадь центральную березовыми крестами немцы украсили.

Озлился Сашка и, вспомнив немецкое слово «генуг», прервал немца резко:

— Генуг! Хватит болтать! Не твоего ума дело! — немец сразу осекся, умолк.— Ты мне скажи, чего с моим напарником, что в плен к вам попал, делать будете? Шиссен, наверное? Иль пытаться будете?

Немец, кроме «генуг», ничего, конечно, не понял, но

при слове «шиссен» вздрогнул, сжался, лицо побелело... И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. Он, Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. Захочет — доведет до штаба живым, захочет — хлопнет по дороге! Сашке даже как-то не по себе стало... И немец, конечно, понимает, что в Сашкиных руках находится полностью. А что ему про русских наплели, одному богу известно! Только не знает немец, какой Сашка человек, что не такой он, чтоб над пленным и безоружным издеваться.

Вспомнил Сашка, был у них в роте один больно злой на немцев, из белорусов вроде. Тот бы фрица не довел. Сказал бы, при попытке к бегству, и спросу никакого.

И стало Сашке как-то не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком.

— Ладно уж, — сказал он, — кури спокойно. Раухен.

Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла... Курил он мелкими неглубокими затяжками, не как они — взახлеб, вдыхая дым что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра.

Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоевался? Или переживает? В плену, ясно, не радость, но живым-то останется.

Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше руки на себя наложить. Но можно и не успеть. А если раненый да без сознания? Вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы и прозевать немцев, могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу — бр-бр...

Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни? Припомнив, как по-немецки «рабочий» и «крестьянин», он спросил:

— Ты кем был? Арбайтер или бауэр?

— Штудент.

— Вот оно что... — протянул Сашка. Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался. — Эх ты... штудент, а пошел с фашистами.

— Их бин ниht фашист, — как-то устало перебил его немец.

— Это я уже слышал. Ну ладно, отдохнули, и хватит, — поднялся Сашка. — Пошли.

Как ни старался Сашка вести немца так, чтоб не по-

падались убитые, нет-нет да натыкались они на них, и опять стыдно было Сашке, что незахороненные, словно сам в чем-то виноватый.

При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка на опушке свежую могилку — настоящую, закиданную лапником и даже с венком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было (не успели, видно), но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так? Ладно, дойдем, узнаем у ребят...

В деревне было пусто... И верно, расхаживать по ней днем не очень будешь. На пригорке она и прямо напротив Усова, что немцем занято, и просматривается оттуда куда хорошо. Каждый раз, приходя сюда то с донесением, то когда раненых помогал приносить, примечал Сашка, как уменьшалась и без того малая эта деревенька... Вот и сейчас увидел: не стало сарая, где они первую ночь укрывались, дома крайнего тоже нет, одни головешки, ну и воронок поприбавилось.

Всю дорогу, пока вел сюда немца, где-то на самом краешке души затаенная хоронилась у Сашки надежда: а вдруг его с немцем в штаб бригады отправят? Далеко это, за Волгой, туда-обратно целый день протопаешь, но могла быть у него тогда встреча, о которой мечтал и в глубине сердца держал все эти месяцы. Поэтому сейчас, подходя к штабу, где могло все решиться, Сашка забеспокоился. Хоть и не любил он ни у кого ничего просить, тут решил даже попроситься, как бы в награду за то, что немца полонил.

Изба, в которой штаб батальона находился, была пока целехонькая, только рядом две воронки здоровые — это, наверно, после бомбежки самолетной, что недавно была. На крыльце сидел боец с винтовкой, покуривал, греясь на солнышке. Увидев Сашку и немца, вскочил:

— Гляди, ребя, фриц!

Из дома выскочили несколько человек связистов, уставились.

— Это ты его? — спросил один.

— Ну я, — вроде неохотно, но с достоинством ответил Сашка. — Мне к начштаба. Тут он?

— Нет никого. Всех в штаб бригады вызвали.

— Куда же мне его? — кивнул Сашка на немца.

— Ждать придется... Или к комбату веди, он у себя. Только, понимаешь, больной он сейчас, не в себе... — сказал один. — Знаешь, где блиндаж его?

— Знаю.

— А может, не стоит капитана тревожить? — вступил другой.— Несчастье вышло: убило вчера Катеньку нашу. Переживает комбат...

— Значит, ее могилка на опушке? — спросил Сашка упавшим голосом.— Жалость-то какая...

— Ее. Когда хоронили, страшно на комбата глядеть было — все губы покусал, почернел весь...

Вспомнил Сашка, как на марше, когда они с ротным подтягивали отстающих в хвосте колонны, подъезжал комбат на белом жеребце, сам в белом полушубке, к штабным саням и ласково справлялся, не замерзла ли, сидевшую там сестренку из санроты... Катей ее вроде звали. Эх, жалко дивчину! Очень жалко. И зачем только берут их на войну? Неужели без них не обойтись? Какое им среди мужиков-то? Хорошо, что остальные девчата в тылу, за Волгой, но и там может всякое приключиться. Засосало у Сашки под ложечкой — ничего он про Зину не знает... Последний раз на разгрузке свиделись, попрощались, и все... А времени два месяца прошло — для войны время огромное.

— Ладно, поведу к комбату,— решил Сашка.

У комбатовского блиндажа, не особо крепкого, тоже, видать, на скорую руку сделанного, сидел на бревнышке, полуразвалясь, комбатов связной — парень расторопный, но нахальный (знал его Сашка, из одной дальневосточной части они были). Лицо красное, загорелое, наверно, часто на солнышке припухает, глаза полузакрытые и будто хмельные.

Поднялся он лениво, поправил на груди автомат, скользнул взглядом по немцу небрежно (словно видал их каждый день) и процедил:

— Привет.

— Здорово,— ответил Сашка, уязвленный немного равнодушием связного к его немцу.

— К комбату, что ли?

— К нему.

— Нельзя! — резанул тот и сделал шаг к двери.

— Я ж с немцем, разве не видишь?

— Нельзя!

— Чего заладил? Пойди доложи. Разведка немецкая сегодня на нас нагрянула. Выбили мы их и вот фрица взяли. Доложи.

— Не велел комбат никого пускать. Понял?

— Понял. Знаю, что у вас. Но куда мне с фрицем? Может, его в бригаду вести надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен.

— Ты его, что ли, взял?

— А кто же?

— Кроме тебя, народу на передке нет, что ли, чудило?

— Я самолично. Только под конец ротный подмогнул.

— Герой,— усмехаясь и, видно, завидуя, процедил связной.

— Может, и не герой, а повозиться пришлось. Я ж его с пустым диском брал, в рукопашной. Ну, иди доложи.

— Фриц-то не из здоровых,— оглядывая немца, сказал тот.— Такого не велико дело взять.

Сашка озлился, хотел было съязвить насчет мурла, которое наел тот на тыловых харчах, да раздумал.

— Иди доложи.— Уж очень надеялся Сашка, что пошлет его комбат в бригаду немца вести, потому и настаивал.

— Уж так и быть,— снизошел связной и стал спускаться в блиндаж.

Немец что-то забеспокоился, вытащил свои сигареты, быстро прикурил, жадно затянулся несколько раз. Дал сигарету и Сашке.

— Ты не робей,— решил подбодрить немца Сашка.— Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял?

Немец, разумеется, не понял, но одернул мундир, подтянул пояс, поправил пилотку, а лицо его, несмотря на суетливость движений, наоборот, как-то поспокойнело, отвердилось, хоть и побледнело. Губы упрямо сжались, на лбу складка наметилась.

— Проходите,— не поднимаясь, а снизу пригласил связной.

В блиндаже было совсем темно, только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. После света Сашка не сразу и разглядел комбата, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи шинели. И, разглядев, не узнал. Всегда чисто выбритый, подтянутый, в белом подворотничке, сейчас комбат имел вид другой — обросший, со спутанными волосами, лезшими ему на лоб, в расстегнутой гимнастерке, согнутый, с отвисшей нижней губой и черными кругами около глаз, необычный и страшноватый.



— Докладывайте,— приказал он негромко, взглянув на Сашку и немца мертвыми, пустыми глазами.

Сашка вытянулся, набрал воздуха, но что-то мешало ему... Он откашлялся, скользнул взглядом по столу, а там разбросанные окурки, куски черного хлеба, бутылка водки, кружка, банка консервов початая, раскрытая планшетка с картой, и понял, что вот этот беспорядок на столе и вид самого комбата мешают ему начать.

— Я слушаю,— комбат отпил из кружки.

Сашка вздохнул еще раз и громко начал с того, как обрушили на них немцы утром огонь невиданной силы, как...

— Тише,— перебил капитан, поморщившись.

Это сбило Сашку, и он скомкал все остальное — как навалилась неожиданно немецкая разведка, как пришлось, опасаясь окружения, отойти за овсянниковский овраг...

Тут комбат позвал к столу и велел показать на карте, откуда пришла разведка. Сашка показал и, закончив доклад, передал рапорт ротного.

Комбат прочитал записку, вскинулся вдруг, поднялся резко во весь рост, стукнувшись головой о потолок, выругался и, ударив кулаком по столу, закричал:

— Разини! Своего проморгали! А вы тут заливаете — выбили, отбили, в плен взяли... А своего упустили! Судить буду ротного! Судить! — он опустил на стул, хлебнул еще из кружки, смяв беломорину, сломал ее, взял другую, закурил и уставился на немца.

Тот вытянулся по-солдатски и вначале глядел на комбата прямо, но потом, не выдержав упорного, тяжелого капитанова взгляда, вздрогнул, потупился и отвел глаза.

Капитан тем временем поднялся, вышел из-за стола и медленно надвигался на немца. Сашка глянул на комбата, на побелевшие его глаза, на сведенные губы, и пробрала его дрожь — такого взгляда не видел он у людей никогда.

— Немец... — прохрипел капитан, подойдя вплотную. — Вот ты каков, немец... — тот отшатнулся.

Комбат не переставал смотреть на немца немигающими мутными глазами, пока тот не отступил назад, прижатый взглядом капитана к стене блиндажа.

— Сейчас ты мне все расскажешь, фашист, все... — продолжал капитан. — Толик! Где разговорник? — Ординарец бросился к топчану, вынул из-под матраца рус-

ско-немецкий словарь и подал комбату. Тот отошел к столу, сел и буркнул: — Выйдите оба!

Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось. А думалось, порадуетя комбат «языку», похвалит Сашку, поблагодарит. Не исключал он и стопочку преподнесенную и обещание награды... Ан нет, по-другому все обернулось. И за ротного беспокойно стало, неужто и вправду судить будут? Сержант же подвел, не смог с перепугу людей сосчитать. Кабы хватились сразу, разве отдали бы? Поднялись бы в атаку, отбили бы Сашкиного напарника... Да... и комбат нехорош сегодня...

Начальство Сашка уважал. И не только потому, что большинство командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он за два года кадровой — в армии без этого нельзя. И теперь ему было неловко за комбата, что не в своем он виде, хотя горе его понимал... Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного...

Вот когда поднялись они из-под взгорка — серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги! Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно! Но, когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым... Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе...

Привалившись на бревнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила его усталость — обмякло тело, залипли веки, зазевалось. И захотелось ему растянуться прямо тут и вздремнуть хоть минутно. Сказались и ночь неспаная, и напряг во время обстрела, и драка с немцем из последних сил... Чуток попротивившись сну, он все же не выдержал, прикрыл глаза и провалился, ушел от тяготы этого утра.

Очнулся он, когда потрянул его за плечо комбатовский ординарец:

— Слушай! Хватит дрыхнуть! Не говорит твой немец ничего. Понял? Ни номера части, ни расположения. Ничего, сука, не говорит.

Из блиндажа неясно раздавался хриплый капитанов голос, кричавший на немца.

Сашка протер глаза.

— Он и ротному ничего не сказал. Такой немец...— проговорил Сашка, подавляя зевоту.

— Ничего,— продолжал Толик.— У капитана заговорит. А не расколется — к стенке!

— Чего городишь? — уже проснувшись окончательно, встревожился Сашка.

— А чего с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.

— А ты бы заговорил, если бы в плен попал?

— Чего равняешь?

— Так он тоже присягу небось принимал.

— Кому? — возмутился Толик.— Гитлеру-гаду! Ты что-то запутался, герой,— он снисходительно похлопал Сашку по спине.— Нельзя нас с ними равнять. Понял?

— Именно,— сказал Сашка.— Раз они гады, значит, и мы такими должны быть? Так, что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев читал?

— Нет.

— То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны. Вот так.

— Так это если добровольно сдастся, если расскажет все. А этого ты в бою взял, и говорить он, сука, ничего не желает.

— Ладно, дай покурить лучше. Труха у меня одна,— попросил Сашка, а у самого зависло в сердце что-то тяжелое от этого разговора.

— Держи,— Толик протянул туго набитый кисет с вышитой надписью «Бей фашистов».

— У вас тут с табачком, видать, получше.

Сашка оторвал газетки побольше и махры прихватил не стесняясь. Цигарка свернулась на славу, раза три можно прикладываться.

— Фриц сигаретами угощал, но не тот табачок, до души не доходит,— добавил Сашка, затянувшись во всю силу, и, выдыхнув дым, спросил: — Откуда кисет такой?

— Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала.

— До нас что-то не дошло,— заметил Сашка, возвращая кисет, а потом спросил: — Много капитан выпил?

— По нему не поймешь. Как Катю вчера утром похоронили, так и начал. И ночью не спал, небось подкреплялся.

— Как убило-то?

— Шла из штаба в блиндаж, и убило... У нас здесь тоже потерь хватает.

— Ну, с нашими-то не сравнить.

— Не скажи... Вы сами виноваты, капитан говорит, окопов вырыть не можете.

— Тебя бы туда. Рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем, не до рытья,— стало Сашке обидно. Что они, враги себе? Кабы могли, разве не выкопали бы?

Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез, никто особо не интересовался, что чувствует, что переживает рядовой боец Сашка, не до того было. Только одно и слышал: Сашка — туда, Сашка — сюда! Сашка, бегом в штаб с донесением! Сашка, помоги раненого нести! Сашка, этой ночью придется в разведку! Сашка, бери ручной пулемет!

Только ротный, бывало, перед тем как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: «Надо, Сашок. Понимаешь, надо». И Сашка понимал — надо, и делал все, что приказано, как следует.

Но на все, что тут делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он — не слепой же — промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки... И с распутицей этой, на которую теперь все валят, что-то не так. Разве весна негаданная пришла? Разве зимой припасов нельзя было заготовить? Просто худо пока все, недостаток во всем, и воевать, видать, не научились еще. Но в том, что вскорости все изменится к лучшему, Сашка ни на минуту не сомневался.

От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас только одного — поскорей бы с немцем все кончилось и отпустили бы его обратно в роту. На то, что в штаб бригады направят, уже не надеялся — не та обстановка сложилась.

— Может, идти мне можно? Разберетесь тут с немцем без меня,— спросил он у Толика.

— Разобраться-то разберемся, будь спок,— насмешливо осклабясь, ответил тот.— Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания твоему ротному с тобой отправит.

— Муторно что-то,— вздохнул Сашка.

Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно и не было. Молчит, зараза! А чего молчит? Рассказал бы все, выложил начистоту, и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него поднялось у Сашки — все задумки из-за него, гада, пошли прахом. И вообще неурядь вышла — и дивчину эту убило, и ком-

бат из-за этого не в себе, и в штабе никого, и немец не раскалывается... Все к одному.

Наконец затихло в блиндаже и потянулась тишина... Сашка уж полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то...

— Ко мне! — расколочил тишину капитанов голос.

И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять в полутьме блиндажа.

Желтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблескивал вороненым металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени, и когда Сашка, проходя вперед, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьет немца дрожь.

У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он стоял — большой, в свалившейся с одного плеча шинели и оттого какой-то скособоченный, странно непохожий на себя прежнего, прямого и собранного. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу выдавил:

— Немца — в расход.

У Сашки потемнело в глазах и поплыло все вокруг — и стены блиндажа, и лампа, и лицо комбата, даже качнулся Сашка... Но потом, придя в себя, бросился к немцу, схватил того за грудки и закричал:

— Да говори ты, гад! Говори! Убивать же будут! Понимаешь? Говори, чего капитан спрашивает! Говори, зараза!

Немец, обмякший, недвижимый, только мотнул головой и закусил губу.

— Не понимаешь? Шиссен будут! Тебя шиссен! Говори...

— Прекратить! Не ломайте комедии! — крикнул капитан и, размяв чуть дрожащими пальцами папиросу, уже спокойно добавил: — Выполняйте приказание.

— Вы мне, товарищ капитан? — упавшим голосом спросил Сашка, отпуская немца.

— Вам, — негромко сказал капитан, а Сашке показалось, будто гром с неба. — По исполнении доложить. Толик, пойдешь с ними, проверишь.

— Есть проверить! — вытянулся тот.

— Товарищ капитан... — начал заикаться Сашка. — Товарищ капитан... Я ж обещался ему... Я листовку на-

шу ему показывал, где все сказано... Где у тебя листовка? — подался он опять к немцу. — Где папир, которую тебе дал? Покажи капитану!

Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтоб достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил оттуда сложенную аккуратно бумажку и ринулся к комбату:

— Вот она, товарищ капитан! Там сказано... Вы ж по-немецки читаете... Вот она!

Комбат листовку не взял, отстранил ее от себя будто брезгливо, и обескураженный, растерянный Сашка сунул ее опять в карман немцу.

— Сколько у вас в роте было человек? — спросил капитан, упершись в Сашку тяжелым взглядом.

— Сто пятьдесят, товарищ капитан.

— Сколько осталось?

— Шестнадцать...

— И ты гада этого жалеешь? — гаркнул капитан, переходя на «ты».

— Я... я... не жалею... — у Сашки сметало рот, занемели губы, и он еле-еле выдавливал слова.

И сказал он неправду. Жалел он немца. Может, не столько жалел, сколько не представлял, как будет вести его куда-то... К стенке, наверно, надо (читал он в повестях о гражданской войне, что к стенке всегда водили расстреливать), и безоружного, беспомощного стрелять будет... Много, очень много видал Сашка смертей за это время — проживи до ста лет, столько не увидишь, — но цена человеческой жизни не умалилась от этого в его сознании, и он пролепетал:

— Не могу я, товарищ капитан... Ну, не могу... Слово я ему давал, — уже понимая, что ни к чему его слова, что все равно заставит его капитан свой приказ исполнить, потому как на войне они, на передовой и приказ начальника — закон.

— Какое право имел обещать что-то? И кому — фашисту!

— Он не фашист, — вырвалось у Сашки.

— Выпить бы ему, товарищ капитан, перед этим, — осторожно вмешался Толик, чуть побледневший и наглость свою малость утративший.

Но капитан оставил это без внимания — и Сашкин возглас, и предложение Толика. Глядя на Сашку в упор, отчеканил:

— Повторите приказание!

Сашка утер рукавом липкий пот со лба... Он видел, пошло дело на принцип, и капитан от своего не отступится, придется покориться. Но повторить приказание просто физически не мог, не раскрывался рот, залип язык...

— Повторите приказание! — уже раздраженно и повысив голос, сказал комбат и потянулся к пистолету.

Толик дернул Сашку за полу ватника — не валяй дурака, дескать, а то плохо будет. Так понял его жест Сашка.

— Я жду! — прикрикнул капитан и положил ладонь на ручку ТТ.

Ординарец дернул Сашку еще сильнее, и Сашка, уже обессиленный этим неравным поединком, прошептал чуть слышно:

— Есть, немца — в расход...

— Не слышу! — перебил капитан.

— Есть, немца — в расход, — погромче повторил Сашка.

— О выполнении доложить!

— О выполнении доложить...

— Теперь сначала и как следует!

— Есть, немца — в расход. О выполнении доложить.

— Выполняйте! — капитан отвернулся от Сашки и сел.

— Есть выполнять, — Сашка попытался повернуться по-строевому, но не получилось, не было силы в ногах, и услышал вслед:

— Отставить!

Пришлось еще раз. Старался Сашка прицелиться каблуками, но заляпанные грязью ботинки звука не давали, и ожидал он опять «отставить», но комбат сказал только:

— Выполняйте.

Сказал тихо, каким-то усталым, без прежнего напора голосом.

Когда Сашка повернулся, немец, понявший все, без Сашкиной команды пошел к выходу, тяжело топя ногами по лестнице. За ними вышел и Толик.

— Ты чего ломался? — бросился он на Сашку. — Из-за этого гада жизни лишиться хотел? Видишь же, не в себе капитан. Такой он все может...

— Ладно, не суети... — Сашка неверной рукой стал выбивать искру и прижег свой чинарик. — Обещал я жизнь немцу. Понимаешь?

— Чокнутый ты, что ли? Обещал он! Тоже мне, командующий нашелся! Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали — исполнил! А ты...

— Не суети, говорю,— Сашка глубоко втянул в себя дым, даже раскашлялся и сказал немцу: — Кури тоже...

Тот вытащил свои сигареты и, видно забыв про свою зажигалку, потянулся к Сашке прикурить дрожащей сигаретиной. И тут столкнулся Сашка с его глазами...

Много пришлось видеть на передовой помиравших от ран ребят, и всегда поражали Сашку их глаза — посветлевшие какие-то, отрешенные, уже с того света будто бы... Умирали глаза раньше тела. Еще билось сердце, дышала грудь, а глаза... глаза уже помертвевшие. Вот и у немца сейчас такие же... Отвел Сашка взгляд, потупился.

А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил цепким взглядом часы на его руке и уже не отпускал.

— Боишься ты, что ли? — сказал он, вскинув автомат.— Давай я.

— Не балуй! — ударил Сашка рукой по стволу ППШ.— Горазды вы тут... Ты бы взял его наперед, а тогда...

— Да я пошутил,— поспешил Толик.

— Нашел чем...

— Куда поведем фрица-то?

— Не знаю.

— К сараю пойдем, в сторону.

— погоди, дай человеку докурить.

— Слушай, а куда ты трофей денешь? — спросил наконец Толик, не сводя взгляд с часов на руке немца.

— Какой трофей? — не понял Сашка.

— Часики фрицевские.

— А, часики... Что ж, трофей законный, в бою добытый... Ротному отдам. Ему без часов нельзя, а свои разбил он намертво при обстреле.

Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно:

— Я бы тебе буханку черняшки дал... за часики-то...

— Нет, ротному отдам.

— Обойдется твой ротный... Махры могу пачку в придачу. Идет?

Сашка слушал вполуха, а сам соображал, что же такого придумать? Хоть и повторил он приказание комба-



та, но до сих пор представить не мог, как выполнять его будет. И решил он, что надо наперво отделаться от этого Толика, чтоб не мешался. И он закинул:

— Может, я тебе часики и за так отдам.

— За так? — удивился тот.

— За так, — повторил Сашка. — Только не мешайся. Договорились?

— А чего я тебе мешаю? Я приказ получил — проверить.

— Потом и проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать. Понял?

— Как хочешь. Мне смотреть на это удовольствия никакого.

На немца Сашка не глядел. Не мог глядеть. Однако, пересилив себя, повернулся к нему и хотел было подойти и часы снять, но увидел, что немец, видно догадавшись, о чем речь у них шла, стал сам ремешок у часов расстегивать, только не мог — дрожали пальцы. Остановился тогда Сашка.

— Потом тебе часы отдам... Понимаешь? — бросил он Толику.

— Понимаю, — тихо ответил Толик, а сам в лице изменился, побледнел, сробел, видно, и сказал немцу как бы с сожалением: — Эх, фриц, надо было шпрехен. Понимаешь, шпрехен. А теперь на себя пеняй.

Немец его не слушал. Он вынул из кармана листовку и стал рвать ее на мелкие куски, бормоча что-то и только слово «пропаганден», повгоренное не однажды, понял Сашка. Хотел он было крикнуть: «Не смей нашу листовку рвать! Не смей!» Но... не крикнул, только кольнуло сердце — сроду никого он не обманывал, а тут обманул. И в чем? В самом главном, чего уже не поправишь.

— Пошли, — сказал он немцу.

Медленно, тяня шаг, двинулись они к полуразрушенному сараю — впереди Сашка, за ним немец, а Толик в хвосте. Сарай этот Сашке памятен. Ночью после самого первого их наступления дали немцы огня по тылам, и под этим сараем погребены человек двенадцать его однополчан-дальневосточников. И до передка не дошли ребята, а все молодые, Сашкины однолетки. У сарая до сих пор трупным духом веет. Остановились...

— Здесь и решать будешь? — спросил Толик.

Но у Сашки свои мысли.

— Нет, больно близко к штабу... Вон туда поведу, — показал Сашка на пепелище, черневшее по обеим сто-

ронам большака, что проходил в полуверсте от Чернова.— А ты меня здесь подождешь.

— Чего ты крутишь, герой? — подозрительно оглядел Толик Сашку.— Надеешься, одумается капитан? Нет, брат, он не такой. Что сказал...

— Подождешь? — перебил Сашка.

— Подожду,— как-то странно ответил тот, оглядывая Сашку.

Что делать и как быть, Сашка еще не решил. Разные мысли метались, но ни одной стоящей. Может, встретится кто из начальства и приказ комбата отменит (по уставу последнее приказание выполняется), может, комиссар и начштаба вернутся, тогда все в порядке будет — отменит комиссар приказ этот непременно... Может быть, обойти это разорище, что на большаке, и, минуя Черново, в роту податься и к помкомбата сразу?.. Ничего-то пока Сашка не решил, но знал одно — это еще в блиндаже, когда приказ повторял, в голове пронеслось,— есть у него в душе заслон какой или преграда, переступить которую он не в силах.

— Побудь с немцем чуток, я мигом,— попросил он ординарца.

— Куда ты?

— Только немца не тронь! А то часики тебе не понадобятся,— пригрозил Сашка больше так, чем по делу. Видел он, что Толик похвалиться любит, а сам слабак.

— Валяй, иди. Не трону, не бойся.

Сашка затрусил к штабу батальона — авось пришел кто, может, дежурный есть?

И верно, сидел на перилах крыльца незнакомый лейтенант, видать, из пополнения. Сашка к нему. Козырнул и напрямик:

— Такое дело, товарищ лейтенант. Немца я в плен взял, к комбату привел, а тот...

— Что?

— Ну, не в себе комбат немного... И приказал немца — в расход.

— Ну и что вы хотите?

— Нужен же немец... Отмените его приказание.

Лейтенант удивленно вскинул голову, подумал и спросил:

— Допрашивал его комбат?

— Допрашивал вроде,— в подробности Сашка вдаваться не стал.

Лейтенант опять подумал, провел рукой по подбородку.

— Мда... Не могу я, брат, отменять приказание комбата, когда он здесь, на месте. Понял? Не могу.

Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно, но вскоре на шаг перешел, а потом и остановился совсем. Не забежать ли в санчасть, там военврач — мужик хороший и по званию тоже капитан, его попросить за немца вступиться? Да нет, едва ли тот станет. Строг комбат, все его побаиваются, повернет кругом, и весь разговор.

— Ну как? — усмехнулся Толик. Видел он, как Сашка с лейтенантом разговаривал.

— Дожди меня здесь. Приду, вместе на доклад пойдем.

— Ну, хорошо, — Толик с любопытством смотрел на Сашку. Понял он, хочет Сашка как-то выкрутиться, но ничего у него не получится. — Смотри только... Ты капитана не знаешь, он на руку скорый. Учти. Из-за тебя и я рискую.

— Не пугай. С передка я. Пошли, — кивнул Сашка немцу.

Шел Сашка позади немца, но и со спины видно — мается фриц, хотя виду старается не подавать, шагает ровно, только плечами иногда передергивает, будто от озноба. Но, когда поравнялся с ним Сашка, кинул взгляд, лица немца не узнал, так обострилось оно, построжало, посерело... Губы сжатые спеклись, а в глаза лучше не глядеть.

Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому, серьезней и даже с некоторым уважением — блюдет свою солдатскую присягу фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что зазря все это, ведь за неправое дело воюет! И захотелось Сашке сказать: «Эх, задурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера-гада! Эх ты...» — однако не сказал, понимая, не до слов сейчас, не до разговора, когда такое страшное впереди.

На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку.

— Не надо, себе оставь, — мотал головой Сашка, отказываясь, но фриц совал и совал.

Хотел было сказать Сашка, что сгодятся еще ему сигареты, но не сказал — не может он его зря обнадеживать, может, и верно, не нужно будет курево немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку.

Пока стояли, обернулся Сашка — Толика уже было не видно, да и Черново лишь крышами виднелось. А погорелая деревня, которая на большаке, почти рядом. Если в штаб бригады идти, надо этот большак пересечь и по полю до леса, а через лес к Волге. И только за ней уж Бахмутово будет. Далеко. Если до этого была у Сашки мысль вести немца в штаб бригады, то теперь отошла — нет у него права без приказа в такую даль идти, дезертиром могут счесть запросто.

Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли еле-еле, а куда спешить?..

Немец всю дорогу слюну глотал часто, и дергался у него кадык, и у Сашки тоже в горле комок давит, дышать мешает. Понимает он, чего немец сейчас испытывает, какую тяготу несет, и завел с ним Сашка мысленный разговор: «Понимаешь, какую задачу ты мне задал? Из-за тебя, язвы, приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, трибунал, а может, комбат вгорячах прихлопнет? Есть у него такое право — война же! Ты вот листовку порвал, «пропаганден, пропаганден» бормотал, а каково мне было глядеть, как ты нашу листовку рвешь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка. А не так это! Правда она! И писалась людьми повыше комбата. И что мне теперь делать? Что?» — закончил он безответным вопросом.

А пепелище уж близко... Вот подошли они к первой сожженной избе. Надгробием торчала печная труба из груды пепла. Немец в нерешительности приостановился, но Сашка повел его дальше, чтоб из Чернова было их не видно. Вокруг пепелище, кое-где остались стены изб обгоревшие, а так только уголья чернели да что железное сохранилось: кровати искореженные, чугуны, сковороды, ну и кирпичи битые. Немецкая, видать, работа. При отходе сожгли, сволочи! Вот поджигателей этих стрелял бы Сашка безжалостно, если б попались, а как в безоружного? Как?..

Тут подумал Сашка, а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмешь! Он бы слова для капитана нашел! А что Сашка — растерялся начисто, лепетал только «не могу»... Да что может Сашка,

рядовой боец, которому каждый отделенный — начальник? Ничего вроде бы. Но хватило же у него духу капитану перечить, а сейчас такое умыслил, душа переворачивается — приказ не выполнить! Да кого? Самого командира части.

Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть, что сплелось с остальным: не может он беззащитного убивать. Не может, и все!

Остановился Сашка. Приставил ногу и немец. Близко стоят друг против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая из них, больно хлестнула по Сашкиному сердцу... Отвернулся он и, забыв, что есть у него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул сигарку, прижег... Потом очнулся и протянул немцу его пачку. Тот помотал головой, отказался, и понял Сашка, почему: небось решил, что последняя перед смертью эта сигарета, и не захотел этой милости.

— Кури, кури... — не убирал Сашка пачку.

Немец опять вскинулся, и пришлось Сашке принять его взгляд, а лучше бы не видеть... Померкшие глаза и мука в них: чего тянешь, чего душу выматываешь? Приказ есть приказ, ничего тут не поделасшь, кончай скорей... Так или не так понял Сашка его взгляд, но обдал он его такой тоской, что впору и себе пулю в лоб.

Поглядел он с надеждой на поле — не идет ли кто? Нет, не видать. Он и вышел-то сюда, к пепелищу, потому что отсюда поле почти до самого леса проглядывается и, если будет начальство из Бахмутова возвращаться, он издали увидит, а как увидит, побежит сразу навстречу и к комиссару...

И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. Обернулся Сашка и обмер — маячила вдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом напрямик к ним, а рядом ординарец Толик, то забегавший поперек капитана, то равнявшийся с ним. Он-то и кричал что-то, наверно, Сашку звал.

Побледнел Сашка, съежился, облило тело ледяным потом, сдавилось сердце — идет комбат, конечно, проверить, исполнен ли приказ его! И что будет-то?..

Кинул он тоскливый взгляд опять на поле, а вдруг... Но пусто поле. Тогда вышел Сашка из-за обгоревших

бревен показаться Толику, чтоб не орал он; ординарец, заметивший его, перестал кричать и размахивать руками.

За спиной Сашки тяжело задышал немец, подошедший и тоже увидевший идущих. Задышал часто, с хрипом, словно воздуха ему не хватало.

«Теперь все! Теперь уже ничего не придумаешь! — безнадежно проносилось в Сашкиной голове. — Конец теперь немцу...»

Комбат был без шинели и без фуражки (ушанку он вообще не носил, даже на марше в метели лютые в фуражечке красовался), воротник гимнастерки расстегнут, незатянутый ремень оттягивался кобурой, но походка была твердая, не качнулся ни разу.

Вспомнил Сашка, так же вот ровно шел комбат в последнем их наступлении на Овсянниково, когда ни ротные, ни помкомбата не смогли поднять вконец измученных перемаянных людей. Красиво шел... Глядели на него тогда с восхищением и поднялись как один через немоготу и усталю... И теперь прет, как танк, сравнил Сашка, потому как ощущения были схожие — тогда он знал, что никуда не денешься, и сейчас тоже...

И секундной вспышкой мелькнуло — ну, а если... хлопнуть сейчас немца и бегом к капитану: «Ваше приказание выполнено...» И снята с души вся путань... И, не тронув автомата даже, только повернувшись чуть к немцу, увидел Сашка, прочел тот мысль эту секундную, смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык...

Нет, не могу... Прислонился Сашка к уцелевшей полубогорслой стене, такая слабость охватила, но в душе нарастало: не буду, не буду! Пусть сам комбат стреляет. Или своему Толику прикажет. Не буду!

И, когда решил так бесповоротно, вроде спокойней стало, только покой этот — покойницкий... Лишь бы скорей подходил комбат, лишь бы скорей все это кончалось. И немцу маета эта невпроворот, и Сашке...

А капитан с ординарцем все ближе и ближе... Ну, что комбат делать будет? Силой заставит немца угрожать? Есть в уставе такое — обязан командир добиться выполнения своего приказа во что бы то ни стало и, если нужно, оружие применить. Или просто за невыполнение приказа Сашку на месте кокнет?

Уже шагах в сорока они. Видно, как попыхивает сбивая в самый угол рта папироска, как треплет ветром незачесанный чуб на лбу капитана, и ждать уж недолго.

И стал Сашка считать капитановы шаги, чтоб не думать ни о чем: раз, два... семь, восемь... двенадцать... двадцать, двадцать один... тридцать... тридцать четыре, тридцать пять...

Совсем рядом комбат... Что будет-то? Приослаб Сашка, но все же нашел в себе силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться под стойку «смирно» и уставить ся в лицо комбата.

Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку, но долго взгляда не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошелся вскользь, переводя потом на немца, тоже ненадолго... Откинув прядь со лба, комбат затянулся сильно папиросой и вроде задумался, уставившись в землю.

Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолетно: что, допрыгался, предупреждал я...

Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маетными, такими же мытарными... И тихо бывало так же. Только теперь за спиной Сашки шумно глотал слюну немец и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах.

Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять отбросил налезший на лоб клочок и, шагнув к Сашке, уперся в него своим неморгающим тяжелым взглядом.

Теперь конец, подумал Сашка, сейчас закричит, затопают, вытащит пистолет, и что тогда?

Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить — ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь, все равно я правый, а не ты... Ну, стреляй... Ну...

Чуял Сашка, озлится комбат на его непокорный ответный взгляд, но на Сашку тоже накатило, ничего ему не страшно, будь что будет... И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого с горбинкой носа, но не закричал, не затопал, к кобуре руку не потянул, а глядел на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьезно и вроде раздумчиво,— может, отошел малость, одумался...

Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил, и смотрел на комбата уже без дерзости, но твердо, хотя и колотилось сердце, как бешеное, отдаваясь болью в висках.

И отвернул глаза капитан.

— Пойдем,— сказал он пораженному ординарцу, который хотел было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев задеть Сашку недоуменным взглядом.

Сашка же стоял окаменело в той же стойке «смирно», все еще не сводя глаз с комбата, все еще не зная, радоваться ему или нет.

Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке и бросил:

— Немца отвести в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

У Сашки zaseкся голос ответить «есть», закружилось все, и чуть не осел он у обгоревших бревен, чувствуя, как железный обруч, стягивавший его голову все это время, начинает понемногу ослабевать и наконец отпускает совсем.

— Повторите приказание, боец! — словно издали услышал он капитана и, набравши воздуха, выдохнул:

— Есть отвести немца в штаб бригады! — очень громко, как ему казалось, а на самом деле еле слышно.

— Выполняйте! — комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой, а около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непонимающие взгляды на Сашку.

Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтер со лба пот, провел рукой по ежику отросших за эти месяцы волос и окинул взором все окрест — и удаляющегося комбата, и большак, и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеватый бор за полем, и нешибко голубое небо, словно впервые за этот день увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал: коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым незабывным...

2

Поначалу, когда что-то толкнуло Сашку и сразу вдруг ничего не стало видно, кроме неба, он ничего не понял.

Только потом, когда вырвавшийся из рук котелок со звоном поскакал вдоль ручья, а левую руку в двух местах ожгло болью, до него дошло — р а н и л о.

Но, обнаторенный двухмесячной игранкой со смертью, Сашка даже не повернул головы, лежал недвижно



и только тихонько подвигал пальцами — шевелятся, значит, порядок, и только не колыхаться, немец-то наблюдает и, стоит шелохнуться, режет очередь. Но долго смотреть в одну точку тот стомится и, убедившись, что русский готов, удовлетворенно хмыкнет и потянется за сигаретами... Вот тогда можно рвануть, но как угадать?

И потому лежал Сашка застывше, уставившись в небо, чувствуя, как быркая вода, промочив ватник, заледенила спину, затекла в левый ботинок и ознобила все тело.

Но все же надо поглядеть, что сотворил немец с его рукой, и Сашка скосил глаза. Из разорванного в двух местах рукава телогрейки торчала вата, но не белая, а бурая, и два темных до коричневости пятна медленно расплывались вокруг дырок.

Почему это кровь не красная, удивился Сашка, а потом испугался, что уйдет она из него вся без перевязки и не добраться тогда до санзвода. И страсть как захотелось очутиться наверху оврага, перевязаться и немедля в тыл, пока есть еще силенка и пока не добились.

Но что-то удерживало Сашку внизу — как бы не промахнуться. И, все так же бессмысленно глядя в небо, старался он представить себе немца, который его подбил. И виделся ему его враг не таким, каким был взятый им недавно в плен немец, а совсем другим — старым, с лицом злым и желтым, как у трупов, а из-под нахлобученной каски выпучен белесый, прижатый к окуляру глаз, нацеленный на Сашку, а скрюченный палец на спусковом крючке готов вот-вот сжаться, чтоб пустить очередь.

И вдруг словно всочию увидел Сашка, как отнял немец руку от оружия и зашарил ею по карману — но глаза все еще на прицеле, — как вынул сигареты, потом зажигалку, и тут... тут надо рвать! И Сашка не замешкался, вскочил рывком, охнул от боли, и пулей через ручей, и взлетом по склону оврага. Плюхнулся он на землю под первой же елью. Дальше не побежал — нельзя! Если приметил его фриц, то хлобыстнет поперед его, хлобыстнет наобум, но может и прибить...

И впрямь пулевая очередь проскочила впереди Сашки, посбивала ветки с деревьев, потом прорезала в правую сторону, где шел дальше редкий подлесок и где обитает его первая, битая-перебитая рота в тринадцать штыков — чертова дюжина, — измытаренная, оголодавшая, мокрая.

Кривясь от боли, стащил Сашка с левого плеча ватник, засучил рукав гимнастерки и увидел рваное, развороченное мясо — одна из пуль прошла касательно — и кое-как, наскоро перевязался.

Крови было почему-то немного, и подумал Сашка, что от этой треклятой жизни на передке ее вообще у него осталась самая малость. В голове кружило, тело обмякло в слабости, и захотелось курнуть, хоть одну затяжку сделать, чтоб прибодриться, но одной рукой самокрутку не свернешь, да и табачишко у него — одна труха, придется перетерпеть.

Ну что ж, подумал Сашка, полежу чуток, отдышусь и в тыл... Неужто отвоевался на время, неужто живым отсюда выберусь? Даже не верилось.

Спустя немного поднялся он и небоязно — закрывали его тут деревья и кустарник — затопал по тропке, ведущей в тыл, но, не пройдя и десятка шагов, остановился... Постоял в нерешительности недолго, потом, махнув рукой, двинулся дальше.

На передовой такой порядок: если ранило, уходишь в тыл, отдай свой автомат или СВТ оставшимся, воевать которым, а сам бери родимую трехлинейную, образца одна тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, которую и сдашь в тылу. Будет проходить Сашка расположение второй роты, там и произведет обмен. Но его-то роте ППШ тогда не достанется... Сашка опять приостановился. Да и с ребятами, и с ротным надо бы проститься, начал уговаривать он себя, потому как смертно не хотелось ему перебежать опять этот проклятый ручей, возле которого не один десяток пробитых котелков и касок... И главное, уж больно редок лесок за оврагом, кустики одни да осинки тонкие. Сквозь них весь на виду будет Сашка, и только метров через сто станет укрытистей. Вот эти-то метры самые злые, и если приметит его там немец, врежет наверняка!

И Сашка заколебался... Конечно, фриц не ждет его обратно — какой дурак, ежели ранен уже, попрется назад, на тот гнилой болотный пятачок, — немец ждет кого другого, кто приползет за водичкой, и наблюдает, конечно, зараза. И дважды придется пройти Сашке под смертью — туда и обратно. А такая неохота, если добьют.

Но Сашка все эти страшные два месяца только и делал, чего неохота. И в наступления, и в разведки — все это ведь через силу, превозмогая себя, заколачивая страх

и жажду жить вглубь, на самое донышко души, чтоб не мешали они делать ему то, что положено, что надо.

Но сейчас-то это надо не так уж обязывало, потому как раненый он и имел право распоряжаться собой по-своему и надо ему топтать поскорей по этой тропке, которая в тыл, которая к жизни, да поторапливаться, пока тихо, пока силы есть... Но, пока эти мысли крутились в голове, ноги принесли его обратно к оврагу.

И здесь с ходу, даже не приостановившись — потому, если задержаться хоть на минуту, не заставить себя дальше,— бросился Сашка вниз по уклону, перемахнул через ручей и грохнулся на землю уже на той стороне, вжался в траву и замер, ожидая выстрелов, но их не было — проморгал фриц! Но сердце колотилось как бешеное, и пришлось Сашке некоторое время полежать, прежде чем поползти дальше.

Как ни старался он не бередить раненую руку, задевалась она о землю и мешала. Мешал и автомат, и диски у пояса, и гранаты, и каска, налезавшая на лоб, и не раз замирал Сашка для передыху.

Миновав это гиблое, прозрачное место, он приподнялся и заковылял в расположение роты, но не совсем в рост, а пригнувшись.

Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, кругом вода. Даже мелкие воронки от мин и те ею дополнена, и ютилась битая-перебитая в шалашиках. Только у ротного был жиденький блиндажик, на бугорке выкопанный, но и в нем воды до колена. К нему-то и держал Сашка направление.

Ротный стоял у своего обиталища и, видно, ждал Сашку. Он ведь и послал его за водой к ручью.

— Вот ранило, товарищ командир,— словно извиняясь, доложил Сашка.— Снайпер поймал, чтоб его...

— Зачем вернулся? — перебил ротный.

— Автомат принес... Да и с ребятами проститься...

— Тоже мне, сантименты,— буркнул ротный свое любимое словечко.

— Неудобно же так, не доложив...— Сашка бережно опустил автомат на землю.

— Ладно. Не задерживайся только, чем черт не шутит...

— Закурить бы... Не завернете, товарищ командир?

— Сейчас.

Ротный вынул кисет и немного дрожащими пальцами стал крутить большую сигарку. Ему тоже это неспод-

ручно, руки-то у него перевязаны. Уж месяц, как пошла по ним какая-то болезнь нервная от этой их жизни, что невпроворот, но в санчасть ротный не шел, а когда ребята уговаривали, отделялся небрежно этими своими «сантиментами».

Сашка принял сигарку, поблагодарил, затянулся во всю мочь, и поплыло все перед глазами — хорошо...

Подошли бойцы-товарищи, обступили Сашку, обглядели.

— Отвоевался, Сашок.

— По-легкому отделался — в ручку.

— Повезло черту...

— А он везучий, Сашка-то.

— К праздничку в тыл подастся.

— Я говорю, везучий.

— За нас праздник отгуляй. Прижми в санроте сестренку какую за всех нас.— Это сержант сказал. На передке недавно, из разведки прислали. На несколько деньков его хватило анекдоты да байки про баб рассказывать, а потом заглох, сник, жадные глаза навывкат потухли.

— Он прижмет! Его самого сейчас... Верно, Сашка? С наших харчей не разбежишься.

Потом присели кто куда и откурили. Молча.

— Давай отваливай, Сашок,— ротный тронул его за плечо.— Нечего рассиживаться.

Сашка поднялся. Конечно, надо идти, чего судьбу пытаться, но неловко как-то и совестно — вот он уходит, а ребята и небритый осунувшийся ротный должны остаться здесь, в этой погани и мокряди, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда живым, как уходит сейчас он, Сашка.

И топтался он на месте, все не решаясь стронуться, пока ротный не прикрикнул:

— Прирос ты, что ли! Проводите его, сержант, до ручья.

— Сменят вас! Скоро сменят! Сколько ж можно? Сменят обязательно,— торопливо, словно боясь, что перебьют, залепетал Сашка.— Свидимся еще. Я из санроты ни ногой, дождусь вас непременно.

— Ладно, не загадывай,— ротный протянул руку.— Ну, бывай, Сашок, смотри, чтоб не добило. Не хочу я этого. Понял? — и подтолкнул тихонько Сашку.

— До встречи, ребята,— бодро выкрикнул Сашка и сам почуял фальшивину в этой бодрости, потому как

знал он точно, никаким встречам со многими оставшимися здесь не бывать, а кому уж из них остаться здесь, на этой ржевской, набухшей от крови земле, это уж судьба...

Сашку немного пошатывало, и сержант поддерживал его за локоть. Перед тем местом, откуда ползти надо, сидели они чуток, и скрутил сержант Сашке на дорогу самокрутку, да не из «легкого», а из махорочки. Продрала она до самого нутра, приглушила боль.

— Счастливым ты, Сашка... — не тая зависти, протянул сержант.

Хотел было ответить Сашка, что нечего пока ему завидовать: впереди ручей, два километра по передовой, да и Черново обстреливают. Верст шесть надо пройти, тогда можно сказать наверняка — отвоевался, а пока...

Но глянул на сержанта, а у того глаза словно пленкой какой подернуты, нехорошие глаза, и ничего не ответил, — конечно, счастливый по сравнению с другими-то.

Долго набирался Сашка духу перед оврагом — страшно через него идти. Пожалуй, ползком придется. Конечно, замокришься весь, в грязи изваляешься, зато фриц не заметит... Но неподобно Сашке, бывалому бойцу, праздновать напоследок перед немцем труса. И опять в рост метнулся он через овраг, и опять строкотнула по нему очередь, и опять отлеживался он под той же елью... Только теперь немец так быстро не отстает, поливает и поливает... Вот и мины пустил, зараза, чтоб ему провалиться, и шлепнулась одна прямо в ручей, обдав Сашку комьями грязи.

Вот язвы так язвы, шептал он, неужто не дадут уйти, гады? Но где-то предчувствие — обойдется... Минут пятнадцать бушевал фриц, а для Сашки век целый.

Теперь все, никаких задержек больше, сказал он себе и что было сил затрусил по тропке. До второй роты шла она вдоль опушки, и виднелось ему сквозь деревья поле, то страшное ржавое поле, по которому бегал и ползал и на котором мог бы остаться навечно, как остались многие его друзья-товарищи.

Там, где тропа сворачивала влево, в глубь леса, он приостановился и окинул последним оглядом это поле и попрощался мысленно со всеми, там оставшимися... Не его вина, что не разделил он их судьбу, выпал ему просто счастливый случай до времени, но впереди-то у него еще вся война...

Свернув в лес, Сашка поспокойнел. И идти тут легче — посуше.

Два месяца не гляделся он в зеркало. Тот осколочек, что употреблял при бритье, показывал ему только отдельные части лица, ну а осмотреть себя всего где уж...

А вид был у него не ахти: обгоревшая, заляпанная грязью телогрейка вся в дырах, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие брюки, диагоналевые, тоже протертые, и виднелись из них бежевые теплые кальсоны, а потом уж и тело синело; ушанка, задетая пулей (каска-то не всегда надевали), тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжи от налипшей глины, а руки черные, обожженные... Грели их над костром, а когда задремлешь на миг, падали они в огонь безжизненно. оттого и ожоги.

Не один Сашка такой, все на передке такие же и как бы в порядке вещей, но сейчас ощутил он на себе весо-мость двухмесячной грязи и замечтал о бане: как прогреет в парилке вконец измерзшее тело, как сдерет с него коросту наросшей грязноты, как наденет после прожарки горячее белье и как избавится наконец от противного зуда, изводящего всех их постоянно... Даже блаженная улыбка проползла по Сашкиным губам, когда представилось это, но в тот же миг очутился он на земле — тонко пропелли две шальные пули над головой.

И понял он, ничего загадывать пока нельзя, слишком ненадежно пока его бытье. Так и смерть может захватить расплохом... И навалился на Сашку после этих пуль страх, как бы не добило.

Насколько позволяли силы, прибавил он шагу, про-клиная голодуху. Из-за нее, проклятой, не может он сей-час убыстрить ход и плетется, как обезноженный, а не ровен час, надумает фриц из миномета бабахнуть или «рама» в небе загудит, которая хоть и для разведки, но может и бомбами закидать, что не раз бывало.

Лес погустел, потемнел, и пала на Сашку мысль, что не выпустит его передовая, что возьмет свое напоследок, не даст добраться до тыла живым, и так тошно стало, что остановился он, прислонился к ели и стал пытаться одной рукой сигарку завернуть,— может, легче станет. Сыпался табак, рвалась газетка, но кое-как прислоня-вил он самокрутку, кое-как выбил искру «катюшей» и за-курил.

О многом передумалось здесь за эти месяцы, вдосьть набедовался Сашка под этими ржевскими деревеньками,

которые брали, брали, да так и не смогли взять... Но ни разу не засомневался он в победе. Казалось уж яснее ясного — сильнее немец пока и воюет осторожно, людьми не раскидывается, ночами бережется... Сколько ракет надо иметь, чтобы вот так все ночи подряд запуливать их в небо без передыха, уйму. Мин и снарядов тоже не жалеет. Значит, навалом их у него...

Но все же знал Сашка точно — не победить немцу! Да и деревни эти могли бы взять. Один раз совсем уже подобралась. Чуток бы огоньку да пару тридцатьчетверок, и хана фрицам.

Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу, в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не обезверел и делал свое солдатское дело как умел, хотя особых геройств вроде не совершал. И совсем не думал, что одно нахождение тут, в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом.

Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Черново. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди, но он безжалостно погасил его. Не о доме то, не о матери... До дому ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте и опять айда обратно, но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить... И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний — ох как далече до настоящего тыла, и всякое может приключиться.

Мина шлепнулась неожиданно, не предупредив воем, прямо на тропку впереди Сашки, оглушив, обдав землей и вонью, охолодив тело и швырнув его в неглубокую воронку, полную мутной рыжеватой воды. За ней еще одна, и еще... И подбирались они все ближе к нему.

Заметался он между деревьями, перебегая с места на место, надеясь по звуку угадать, куда она, стерва, шарахнет, хотя и знал, лучше залечь и не суетиться, все равно не угадаешь.

Но сейчас отдаться на волю случаю, как прежде, он не мог. Так близок и зрим был перед ним конец его маеты, так до отчаянности было обидно замертвевть здесь, на этой тропке, которая в тыл, что не один холодный пот прошиб Сашку и никогда не мельтешил он так

под обстрелом, никогда не падал на него такой неумный страх, вдавливающий его до боли в землю.

Немец обстреливал, разумеется, не Сашку... Огонь велся по Чернову и по подходам к лесу. Явственно прослушивалось шелестенье тяжелых снарядов над головой и громовое уханье их разрывов впереди.

Неспроста это, неспроста... Чего надумал фриц? Вдруг наступать? Вот незадача! Не дает уйти, гад, шпарит и шпарит.

Наконец устал Сашка перебегать туда-сюда и безвольно привалился к дереву — будь что будет... Сжался комком и только вздрагивал при каждом разрыве. Будь что будет... Даже глаза закрыл. Не судьба, значит, уйти живым с передка.

Но стон где-то совсем рядом встрепенул Сашку. А потом услышал он:

— Братцы... Есть кто поблизости? Братцы... Ранило меня... Санитаров бы...

Вот еще негораздъ какая! Матюгнулся Сашка, но на голос пополз.

Раненый — большой и грузный, из «отцов», с седой щетиной на квадратном подбородке — жадно хватал ртом воздух. На груди растекалось рыжее пятно.

Одного взгляда достаточно — плохо дело. Знал Сашка, если не перевяжешь сразу, не заткнешь дырку марлей, то раненные в грудь долго не тянут, помирают тут же.

— Вот, сынок, отвоевался, видать... — с трудом выпершил раненый.

— Пакет где? — спросил Сашка и, не дожидаясь ответа, осмотрелся. Шагах в трех валялась сумка от противогаза. — Там?

— Там.

Кое-как расстегнул Сашка ватник, задрал гимнастерку, рубаху. Из черной щели в груди толчками била кровь. Сашка поморщился. Стало страшно — а если б его так? Быстро сунул марлевую салфетку в рану, но, пока прилаживал бинт, пропиталась она уже кровью.

— Не выдюжу... — раненый бессильно запрокинул голову, а изо рта пузырилась розовая пена.

— Ничего, потерпи. — Сашка тоже кривился от боли, пришлось и левой рукой действовать. — Что делать будем?

— Не уходи, сынок, долго не протяну.

— В санчасть тебя надо. Пойду я, санитаров пришлю. А ты лежи.



— Не найдут меня. Ты покричи, может, есть кто поблизости.

Не один раз видел Сашка смерть, и всегда дивило его, как безжалобно помирают люди. И не понимал он этой безропотности. А теперь вроде дошло — просто, когда ранит тяжело, нету уж сил за жизнь бороться.

Понимал Сашка, что, пока дойдет он до санвзвода, пока придет оттуда помощь, будет уже поздно и единственное, что он может сделать для этого человека, — остаться с ним, пока не умрет тот. Но такое бездействие не по Сашке, да ему и самому в тыл нужно, нужно скорей уйти отсюда. Немец пока приутих, но может и по новой пачать. Так что же делать?

— Я пойду все же, — поднялся Сашка. — На тропке заметку сделаю для санитаров, найдут тебя. А так что? Пособить-то тебе ничем не могу...

Раненый не ответил, глаза прикрыл, только дышал вздохом с хрипом.

— Слышишь? Пойду я. Ты потерпи, я мигом. И санитаров пришлю. Ты верь мне... верь.

— Прощай, парень...

— Ты дождись только. Обязательно дождись. Понял?

— Иди...

Сашка тронул холодную мягкую руку, сжал несильно и пошел. На тропке прочертил штыком глубокую стрелу и нацарапал «раненый». Вроде все сделал, а на душе как-то нехорошо.

На подходе к Чернову увидел он мечущихся из стороны в сторону бойцов, растерянно и зло кричащих командиров, видать, новая часть прибыла. Вдруг им на смену? Хорошо бы. Тогда отвели бы их битую-перебитую на отдых, тогда не так совестно, что один он живым выскочил. И свиделись бы, может.

Но надо же, завтра первое мая, а вновь прибывшие все в белых новеньких, прямо со склада полушубках и валенках! Им-то в самые морозы в шинельках пришлось промаяться. Да и для немца примета — новенькие. Вот и угостил их сразу. Это он любит — ошеломить необстрелянных, примять страхом. Их тоже так перед наступлением разметали по всему передку, пустили кровушки.

Возле дома, в котором санвзвод расположен, толпились раненые, все больше из прибывшей части (своего медпункта покамест еще не развернули), — очередь. Видя такое и поняв, что скоро его не перевяжут, протолкался Сашка вперед сообщить о своем раненом.

Запаренный военврач увидел Сашку, и зная его — не раз притаскивал он тяжелораненых, помогая санитарам,— бросил второпях:

— Обожди маленько, видишь, что тут...

— Я-то обойдусь, товарищ военврач, но в лесу раненый в грудь лежит, наш, с нашего батальона. Я там на тропке замету сделал. Надо бы санитаров поскорей, а то ~~я~~ доживет.

— Сейчас пошлю. Ну, что у тебя? Показывай.

— Ладно уж, может, до санроты и так дотопаю.

— Не валяй дурака! Быстрей!

Военврач оглядел Сашкины раны, перевязал и вкатил ему два укола.

— Недолго погуляешь, кость не задета. Уходи скорей, видишь, что здесь творится. Идиотство! Прибыли утром, да еще в полушубках. Из-за них весь сыр-бор.

— Небось нам на смену? — спросил Сашка с надеждой.

— Да нет,— пробурчал врач.— Куда-то в сторону направляются. Ну иди,— врач улыбнулся и подтолкнул Сашку.— Сейчас тебе не больно будет и даже весело.

Сашка растолковал санитарам, где найти раненого, и хотел было уходить из Чернова, но посмотрел, как неспоро поплелись они, размахивая не в лад носилками, и чертыхнулся — знает он этих санвзводовских, на передок арканом не затащишь. Вернутся и скажут — не нашли, дескать, или что помер уже раненый. Кто их проверять будет? А потом вдруг замету его затоптали или мина в это самое место ненароком угодила? Тогда и будут искать — не найдут. А ведь он слово дал. Умиравшему — слово! Это понимать надо. И Сашка крикнул:

— Погодите, провожу вас! — и пошел им вдогон.

Те приостановились и удивленно глядели на Сашку.

— Рехнулся, что ли? — сказал один из них.

— А вдруг не найдете?

— Ошалел от морфину,— произнес другой.— Катись обратно, нечего судьбу пытаться. Мало тебе немец влепил? Добавки захотел?

И впрямь был Сашка словно пьяный немного, и с руки боль снялась. А главное, не страшно ему обратно к передку идти, хоть и «рама» в небе зависла, а после нее, как пить дать, жди обстрела...

Когда подошли к тому месту, и верно, стрелка, нацарапанная штыком, была почти не видна, а надпись «ра-

ненный» и вовсе стерта — прошелся, видно, по тропке народ, затоптал.

Раненый лежал там же. Глаза закрытые, но дышал. — Ну вот, привел тебе санитаров, дядя. Не обманул. Слышишь? — нагнул над ним Сашка.

Тот глаза приоткрыл, но ничего не ответил, обессилел, видно, совсем.

И тут Сашка, довольный собой, что слово сдержал и что раненый подмоги дождался, не помер, не зря, значит, санитаров он проводил, задерживаться больше не стал и весело, почти рысцой затрусил в тыл.

Над Черновом все еще кружилась «рама», высматривала, зараза, и деревня как вымерла, попрятались все кто куда, и новенькие в полушубках тоже скрылись, и прошел Сашка ее, никого не встретив, ни с кем из знакомых не простившись.

От Чернова дорога шла в низинку, и опять грязища, но тут недолго и до большака, вон и виднеется черными трубами разорища. Деревеньку эту сожженную Сашке не забыть... Тут он со взятым им немцем и стоял, дожидая комбата, маясь и не зная, что капитан с ним сделает за то, что не выполнил он его приказ немца застрелить... Отсюда и повел фрица к штабу бригады, после того как капитан приказание свое отменил.

Большак Сашка пересек и пошел напрямик через поле к виднеющемуся вдаль лесу. Не шибко разъезжена здесь дорога, да и дорогой-то не назовешь, так, протор какой-то, следы тощие, редкие. По ним как по писаному видно — бедует фронт.

От укулов докторских в Сашкиной голове туман приятный, боли в руке никакой, и шел он ходко, глубоко втягивая в себя чистый, пахнувший весной воздух, весной, которая и неприметна была там, на передке, где трупный дух и гарь забивали все ее запахи. И идти было хорошо, просторно, не надо под ноги глядеть — ни воронок тут, ни убитых.

Солнце било прямо в глаза, немного пригревало и радвало. На передовой его не жаловали и ясную погоду недолюбливали — из-за самолетов. При пасмурном, облачном небе было спокойней.

Когда дошел Сашка до подбора и пахнуло на него пряно хвоей, остановился он, вздохнул полной грудью, снял с головы ушанку, провел рукой по голове и осел на родимую землю, где желтую прошлогоднюю траву отдельными пучочками живила зелень нынешней. Сорвал не-

сколько травинок, поднес к лицу, и только тут непрерывное напряжение, не отпускавшее его ни на минуту, даже во сне, все эти долгие кровавые месяцы нахождения на передке, начало понемногу сходить с него, и радость, что он все же живой, которой не давал до этого хода, нет, не нахлынула на него, а так, потихоньку начала пробиваться, просачиваться в душу... Столь долго держал себя Сашка на замке, что просто было отомкнуться.

Но все же оживал он помаленьку... Оживал и разрешил себе теперь подумать о Зине, сестренке из санроты, с которой бегал вместе при бомбежках в эшелоне — вагоны их рядом были, — о Зине, которую прикрыл своим телом, когда шпарили «мессера» крупнокалиберными и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли.

Разрешил и сразу же забеспокоился: как она там? Хоть и в тылу она, конечно, от передней линии километров восемь, но это по Сашкиному понятию тыл, а вообще-то фронт тоже — и бомбить могли, и дальнобойной достать нетрудно, и всякое могло случиться.

И опять — в который уже раз — заглушил в себе радость Сашка. Не время еще. Дойти еще надо, встретиться, тогда...

Поднялся Сашка, потянулся, а потом остервенело здоровой рукой начал скрести по всему телу. Пригрело солнышко, и зазудело во всех местах, спасу нет.

Отчесавшись, побрел он дальше и вскоре вступил в сухой светлый сосновый бор, обжитый каким-то войском.

На передовой казалось, нет уже народа у страны, вроде побило всех за одиннадцать месяцев войны (ходили же Паново братья в двадцать штыков!), а людей вон сколько у неоскудной России-матушки! И в землянках настоящих живут, и кухни дымят, и сквозь маскировку танки виднеются, и для артиллерии позиции по всем правилам (у них-то сорокапятки за кустиками стояли). Почему у них в бригаде так все боком вышло, задумался Сашка, но ответа не нашел, только стало на душе спокойней и уверенней от этой уймы народа и техники.

На Сашку поглядывали. На передке, видать, еще не бывали и любопытничали — вот как парня измочалило.

Подошел один лейтенантик молоденький, спросил:

— Ну, как т а м?

— Да ничего, — ответил Сашка и вроде не покривил душой. Издалека все прошедшее не казалось уж таким страшным, будто ничего особенного и не было.

— По тебе видно, досталось,— медленно и как-то раздумчиво произнес лейтенант, покачивая головой.— Закуришь?

— Это с удовольствием. С табачком неважно было.

— А с чем хорошо? — усмехнулся тот, протягивая Сашке завернутую сигарку.

Сашка поблагодарил, а на вопрос отмолчался — не зачем лейтенанту раньше времени знать, все у него впереди: и обгорит, и наголодуется, и в грязи изваляется...

Тронулся Сашка дальше и минут через несколько дошел до того места, где с начальством повстречался, когда немца вел. Здесь он с этим фрицем и распрощался. Тот все «данке, данке» лепетал и даже руку хотел Сашке протянуть, но сделал Сашка вид, что не заметил,— начальство же вокруг.

Забрал немца капитан из разведки и повел того в штаб бригады, а Сашка вместе с комиссаром, начштаба и другими командирами пошел обратно в Черново. По дороге комиссар спрашивал, чего это немец Сашку благодарил. Сашка ответил, небось за то, что пленил его, что живым теперь немец останется, вот и «данкал». Про комбата и его приказание расстрелять немца Сашка, конечно, ни слова не сказал.

Ну вот наконец и блеснула сквозь сосны Волга крутым поворотом, близится конец Сашкиного пути.

Берег этот угористый Сашка помнил. Лезли на него ночью по скользоте, падали, а кто и обратно вниз соскальзывал. Небо над ними, тогда уже расцветенное ракетами, показалось и багрянело дальним заревом.

И припомнилась ему та ночная маета, когда знали уже точно — дошли! И уже на рассвете примет их неизвестная и потому жутковатая передовая, и беспрерывно пойдут они утром в бой... В первый бой! А что это такое, ни Сашка, ни шедшие с ним люди еще не знали и даже не представляли, и потому стягивало сердце холодком, а изнутри шла и разбегалась по телу мелкая противная дрожь...

Остановился Сашка... Надо бы порадоваться, что стоит он живой на этом берегу, что достался ему случаем обратный билет от туда, с той, почти необратной дороги на передовую, что развернулось уже на том берегу Бахмутово, целехонькое, непобитое, но сжато еще все внутри, напряжено, не пробиться радости в душу, особенно как подумает, скольким его товарищам не выдалось пути

назад, сколько осталось там, на ржевской земле, перед теми тремя русскими деревеньками...

Внизу по воде сновали туда-сюда две плоскодонки — вот и вся переправа. Волга здесь, правда, неширока, но много ли таким манером перевезешь припасов? И съездов к реке никаких, ни на чем к воде не подъедешь, значит, вручную все, и снаряды, и провизию, на своем горбу по крутизне. И стало Сашке попонятней, почему они так бедовали. Выходит, зря материли начальника ПФС и все тыловые службы. Но уж очень обидно было — жизни люди клали, а ни курева, ни жратвы, ни боеприпасов.

Спустился Сашка к воде и стал ждать лодку. Тут еще несколько раненых, ходячих, находилось. Ребята незнакомые, из других батальонов, но выглядели не лучше. Видать, всем на этом пятаке досталось. Завернули Сашке самокрутку, дали огоньку, но разговора что-то не завязывалось. Все в себе, усталые невпроворот, глаза пустые, равнодушные — поскорей бы в санроту, отлежаться в тепле да сухости, а может, и в сытости. На последнее особо надеялись.

— А по переправе-то бьют, — заметил один из бойцов, показывая на воронки у берега.

— Скажешь тоже, далече же, — ответил другой, но, взглянув на воронки, поежился, словно от озноба. Верить в это никому не хотелось.

— Старые воронки. Чего пугаешь?

— А что? Врежет напоследок, и к рыбкам...

— Не болтай. Раз там уцелели, прорвемся...

Одна из лодок подошла к берегу и стала разгружаться. Сухари в бумажных крафт-мешках с хрустом ложились на землю. У Сашки да и других, наверно, тошнотно заныло в желудках.

— Пожевать бы... — вырвалось у кого-то.

И направились мысли к другому. На завтрак они опоздали, придется обеда дожидать, а каков он будет — с хлебушком или с сухарями, опять ли пшенка или в тылу чего другого дадут?

В лодку садились суетливо и, когда отошла она от берега, дружно вздохнули с облегчением — отчеркнет их от войны Волга.

Гребцы не спешили, за день намотаешься туда-обратно, а раненым хотелось, конечно, поскорей.

Шелестенья снаряда услышали все, мгновенно сжались, оползли со скамеек. Сашка свернулся в три погибе-

ли, уткнулся головой в колени, закрыл глаза — неужто добьют, гады?

Разрыва он не видел, но, по звуку, близко шарахнуло. Плеснуло водой, закрутило лодку... Потом рвануло еще два раза, но подальше. Гребцы поднажали, и, когда лодка резко ткнулась носом в берег, Сашка открыл глаза и выпрямился.

— Ну что, говорил я, долбанет фриц напоследок!

— Да иди ты к...

Выскакивали все из лодки резво и, не оглядываясь, заспешили от берега, только один Сашка почему-то не заторопился — каким-то слабым был, разбитым... Не хотелось ему таким вот встретиться с Зиной. Он постоял на берегу немного, теребя подбородок и стараясь успокоиться. Хоть и плохо рос у него волос на бороде, но все же колелось. Побриться бы где перед встречей. Да ладно, поймет Зина, что другим возвратиться он не мог, не с тещиных же блинов пришел. Беспокоило другое — как встретятся? Ведь два месяца прошло. И ничего вроде у них и не было... Ну, бегали вместе при бомбежках, ну, рванул он ее в сторону от пулевого веера, прикрыл своим телом, ну, и поцеловались несколько раз... Но когда ночью при разгрузке эшелона глянул на нее, помахал рукой, понял, что роднее и ближе нет у него сейчас никого, а когда она, спрыгнув с вагона, подбежала к нему, прижалась холодным мокрым лицом и шепнула, чтоб возвращался он обязательно, что будет ждать его, то прищемило сердце какой-то сладкой болью и понял он, что готов для этой девчушки в шинели сделать все что угодно, лишь бы было ей хорошо и покойно.

И потом в наступлениях, чтобы унять страх и поднять злобу на немцев, представлял Сашка, что идет он в отчаянные атаки не только для того, чтобы взять эти деревни, но идет защищать и ее, Зину, ждущую его там, за Волгой... И легчало от этого.

Но о встрече Сашка там не думал, вернее, отгонял мысли о ней. А теперь вот должна она произойти, вроде бы неожиданная, но в то же время давно ожидаемая. А как? И потому шел он медленно, как бы оттягивая эту минуту.

Бахмутова он почти не помнил... Тогда ночью темнели углами крыши домов как-то угрозливо и неприятно, знали ведь, приходит конец их пути и ждет их страшное и неизвестное з а в т р а .

К приемному пункту для раненых подошел он пос-

ледним и занял очередь, присев на крыльцо. Наскреб махры, попросил соседа завернуть и жадно затынулся. Рука почти не болела, голод особо не сосал, тело не зудело — вроде бы все хорошо, но волновала предстоящая встреча и робел он как-то.

Когда подошел черед и направился он в перевязочную, Зину увидеть совсем не ожидал и потому, наткнувшись прямо на нее, похудевшую, с опавшим лицом, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то, а когда осмотрела она Сашку, и слезы.

В помещении, резко пахнувшем лекарствами, находился еще врач в белом халате и незнакомый Сашке старший лейтенант.

Сашка шагнул к Зине, хотел было что-то сказать, произвольно потянул руки к ней, но она, отступив в сторону и давая ему проход, почти беззвучно произнесла:

— Проходите, раненый...

Сашкины руки, повисев недолго в воздухе, бессильно упали, а сам он не сдвинулся с места.

— Ко мне проходите, ко мне,— сказал военврач вроде ласково.— Зина, снимите повязку.

Как во сне подошел Сашка к столу, сел на табурет и протянул раненую руку Зине. Она ловко размотала бинт, но, когда присохшая подушечка отрывалась от раны, резануло болью и Сашка еле-еле сдержал стон.

— Пошевелите пальцами. Вот так. Еще,— врач осмотрел раны, потрогал руку и начал что-то писать.

— Опять в руку. И опять в левую,— поморщился старший лейтенант.— Обратите внимание, доктор. Слишком много у нас таких ранений.

— Перевязывайте, Зина,— пропустил мимо слова лейтенанта врач.

— Я повторяю, товарищ военврач, обратите внимание!

— У него два пулевых ранения.

— Это ничего не значит. Они там умудряются по-всякому делать.

До Сашки пока не доходил смысл этого разговора. Он замирал и таял от прикосновения Зининых рук.

Но потом, поймав на себе подозрительный пристальный взгляд, догадался: этот аккуратненький, поскрипывающий новыми, еще не успевшими пожелтеть ремнями штабник в чистенькой гимнастёрке с ослепительно бе-



лым подворотничком, не хлебнувший и тысячной доли того, что довелось Сашке и его товарищам, подозревает его, Сашку, что он... сам себя... Да в самые лихие дни, когда, казалось, проще и легче — пулю в лоб, чтоб не мучиться, не приходила Сашке такая мысль.

Кровь бросилась в голову, а горло петлей захлестнуло — не вздохнуть, не выдохнуть. Не помня себя, поднялся Сашка, шагнул на лейтенанта... Будь в руках автомат, невесть чего мог натворить...

— Да ты что?.. Ты что, старшой, сдурел, что ли? Ты что?.. — дальше Сашка слов не находил, только сжимал до боли, до хруста в костях пальцы правой руки.

Зина, охватив его сзади, потянула к себе, а лейтенант поднялся и цыкнул:

— Молчать! Прекратить истерику!

— Да ты роту... роту собери здесь... и я с тобой обратно на передок какой есть, раненый пойду! Понял? Пойдем! — Сашка захлебывался, выбрасывая все это. — Пойдем с ротой-то? Да в наступление, да в разведку! Посмотрел бы я на тебя там. Эх ты... — Сашка выругнулся и, притянутый Зиниными руками, рухнул на табуретку.

Из ран хлынула кровь, в глазах потемнело. Не держи его Зина за плечи, свалился бы на пол.

— Уйдите, старший лейтенант, — сухо сказал врач. — Зина! Морфий.

— Как его фамилия? — потянулся лейтенант к Сашкиной санкарте. — Распустились там совсем...

— Я прошу, выйдите и не мешайте работать, — повторил военврач.

А Сашка, бывалый боец Сашка, у которого все смерти на передке не выжали ни одной слезинки, вдруг забился во всхлипах вперемежку с ругательствами.

Словно в полусне было остальное — как сделала Зина укол, как снова перевязала руку, как украдкой поглаживала его по голове, говоря, будто чужому:

— Успокойтесь, раненый... Успокойтесь...

Очнулся Сашка только на улице, когда солнечные лучи полоснули по глазам, а Зинина рука, сжав его локоть, повела по ступенькам крыльца.

— Что это я?.. Психанул никак? И матерился?

— Ничего, ничего... Идем до палаты. Отдохнуть тебе надо. Успокойся, обойдется все...

— Кто этот старшой?

— Из штаба... А кто по должности, не знаю.

— Вот оно что... Вы тут разве не слышали, что меня

сам комиссар батальона к награде представил... за немца... А он...

— Ну его! Забудь об этом. Пойдем.

— погоди, закурю,— Сашка полез в карман за табаком.

— Давай заверну.

— Умеешь? — удивился он.

— Научилась, просят раненые-то.

Сашка поглядел на Зину — изменилась она. И не только что побледневшая и похудевшая, а что-то новое в лице и глаза беспокойные.

— Ну, как ты тут?

— Что я? О себе расскажи.

— Что рассказывать? Видишь, живой я...

— Вижу, Сашенька... И не надеялась. Раненые такое рассказывали — сердце холодело. Спрашивала о тебе всех, а смешно, фамилию твою не знаю, в какой роте, в каком взводе, тоже. Никто ничего толком мне ответить и не мог. А целых два месяца... Господи, хоть весточку какую прислал с кем.

— Не до того, Зина, было... — он опять взглянул на Зину. — Досталось и тебе, вижу. Скулы-то подвело.

— Вначале, когда первые бои шли, раненых была уйма, уставали очень. Сейчас чуть посвободней стало, так о тебе думала, как ты там...

— Думала-таки?

— А как же?.. Спас ты меня тогда, — сжала она ладонь Сашкины пальцы.

— Ну, об этом ты не поминай, — перебил Сашка, а потом, помолчав немного, спросил: — А зачем он приходил в перевязочную-то?

Повернулись его мысли на происшедшее. Все же неудобь вышла — старшего лейтенанта да на «ты», да матом... Не то что Сашка боялся — чего ему бояться, когда самое страшное позади, — но не по себе как-то было. Ведь Сашка боец дисциплинированный, а тут вот как получилось...

— Ты про кого? — спросила Зина.

— Да про старшего этого.

Зина замялась как-то, и он заметил это.

— Кто его знает? Зашел зачем-то... Не помню.

— А ты вспомни, — не отставал Сашка.

Зина помолчала в нерешительности, а потом сказала:

— Ладно, скажу, все равно узнаешь. Завтра же Первое мая. Так приглашал в штаб на вечер...

— На вечер? — недоуменно протянул Сашка.

— Да, на вечер. У них там патефон есть, баян... Танцы будут...

— Какие танцы! Врешь, Зина! Быть этого не может! — почти выкрикнул Сашка, и шатнуло его даже.

— Может, — ответила Зина. — Еще как может, Саша. Не пойду я, не волнуйся. Еще до тебя отказала.

— погоди. Как же это так... — все еще не приходил в себя он, все еще не укладывалось у него в голове услышанное.

Шагов пятьдесят они прошли, и только тогда смог Сашка осмыслить, что тыл есть тыл, конечно, и у него своя жизнь, что ничего, в сущности, нет зазорного, что будет праздновать он Первомай, что из какого-то НЗ будет и выпивка и закуска... Но то умом, а душой принять этого он не может. Ведь, что ни говори, бригаду-то почти всю побилло... До праздников ли тут, до вечеров ли?

— Успокойся, Саша, успокойся. Не пойду я, — говорила Зина, видя, что у Сашки подрагивают губы, а лицо будто почернело.

— Да, не ходи, Зина, — строго так сказал он. — Понимаешь, нельзя это... Веселиться нельзя, когда все поля в наших! Понимаешь?

— Понимаю, конечно. Не переживай ты. Сейчас уложу тебя на койку, отдохнешь, поспишь... Хлеба принести тебе? У меня есть немного.

Сашка проглотил слюну, но отказался. Еще не хватало, чтобы он Зину стал объедать. Вот табачку бы... Кончился у него.

— Есть у меня, — радостно сообщила она. — Девчата на сахар меняли, а я оставила пачку...

— Надеялась все же, что вернусь я?

— Не очень, Саша, — как-то серьезно ответила она. — Но все же надеялась. Как без надежды-то?

Изба, к которой подвела его Зина, была большой, на две половины, и в просторной комнате стояло коек двенадцать — с одеялами и простынями! Даже не верилось Сашке, что ляжет он сейчас в настоящую постель.

Встретила их заунывная, тягучая песня, которую не то пел, не то выстанывал сидящий на койке и медленно раскачивающийся из стороны в сторону раненый — одна рука по плечо отнята, другая без кисти. Этот отвоевался вчистую.

Зина откинула одеяло свободной койки, но Сашка за-

протестовал — куда он такой грязный да на простынь, так пока приляжет. Зина помогла скинуть ватник, и он присел.

— Отдыхайте, раненый. Сейчас принесу, что обещала,— сказала она и выскользнула из палаты.

Сашка огляделся, знакомых вроде нет. В их первой роте последнее время все чаще убивало либо ранило тяжело, а здесь все легкораненые — кто в ногу, кто в руку.

— Ну, как там? — спросил один, раненный в ногу.— Наступать фриц не думает?

— Вроде нет. А там кто его знает.

— А тут паникуют. Кто ходячие, сразу в тыл мотают. А мне вот на костылях далеко не уйти, сижу, жду у моря погоды...

— Кормежка как? — заинтересовался Сашка. Ни раны, ни уколы, ни волнения не забили противно тянущего из нутра ощущения пустоты.

— Не густо. Та же пшенка. Только с хлебушком.

Сашка вздохнул, ладно... Зато в тепле, в сухости и в покое, а со жратвой перетерпеть можно.

Пение безрукого на всех нагоняло тоску, но как ему скажешь? Понимали, мучается человек и от боли, и оттого, куда же ему теперь без двух рук-то? Куда? И собственные ранения казались пустячными, а о том, что ждало их после выздоровления, не задумывались, привыкли на фронте жить часом, а то и минутой.

Сашка прилег, не раздеваясь,— ну, оторву минуток шестьсот! — но сон не приходил.

— А я тут, в санроте, останусь,— сказал он, воображая, как месяц целый, никак не меньше, будет он с Зиной вместе.

— Ну и дурак! — раненный в ногу погасил чинарик о спинку койки и сплюнул.— Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. И вообще чем подальше отсюда, тем спокойней... А ежели немец попрет? Прихлопнет запросто. Сам знаешь, сколько народу на передке, раздавит сразу.

— Не раздавит. За Волгой людей много. И танки даже есть.

Вошла Зина и, подойдя к Сашкиной кровати, сунула незаметно ему под подушку пачку махорки.

— Не спишь почему?

— Сам не знаю.

— Я к вечеру высвобожусь, приду. Надо спать, раненый,— досказала громко.

Сашке донельзя хотелось прикоснуться к ней, взять ее

руку в свою, погладить, но при народе неудобно, да и видел он, не хочет Зина открываться при посторонних.

— Приду...— Зина поглядела на него каким-то особенным, обещающим взглядом, от которого бросило Сашку в жар.

Разговоры в палате плыли тихие — кто о доме, о родных, кто о прошлой жизни на гражданке, о войне не говорили. Только гадали, дадут ли на майский праздник водочки. Уж больно хотелось всем забыться хоть минутно, смыть хмельком воспоминания о фронте, о смертях, о крови, о погибших товарищах. Под них Сашка и задремал.

Очнулся он от шума отодвигаемых табуреток, скрипа коек и, когда открыл глаза, увидел, что почти все раненые стоят. Он тоже вскочил и вытянулся... В палату вошли врач, делавший ему перевязку, тот самый старший лейтенант и комиссар бригады.

Комиссара Сашка видел только раз, на формировании, и еще тогда показался он ему больно неказистым для такой должности — и ростом невысок, и шинель не подогнана, мешком, видать, не кадровый, а из запаса комиссар, а сейчас в сравнении с видным, подтянутым лейтенантом и совсем не смотрелся.

— Сидите, товарищи, сидите,— поспешно сказал комиссар, обводя всех внимательными и, как показалось Сашке, добрыми глазами.— Как самочувствие?

— Обыкновенное. Отдыхаем со всеми удобствами. Только еды пока не хватает,— ответил за всех раненый в ногу.

А Сашка подумал: сказал что лейтенант комиссару или нет?

— Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй...— продолжал комиссар, но безрукий перебил:

—А водочки дадут завтра? На передке не баловали, так, может, здесь попотчуют?

— Обязательно,— улыбнулся комиссар,— и покорить постараемся получше, хотя, сами знаете, положение со снабжением неважное, распутица. Но что-нибудь придумаем.

— А как с эвакуацией? Я в ногу раненый, сам не могу...

— Для машин дороги пока непроезжие, а на подводах отправляем только тяжелораненых. Потерпите, товарищи, вот пообсохнет...

— Тогда и фриц попереть может,— сказал раненный в ногу.

— Есть данные, товарищи, что на нашем участке фронта немцы наступать не собираются.

Сашка приметил на себе взгляд лейтенанта. Он не был злым, скорее любопытным, но стало Сашке опять неловко. Не то чтоб страшился чего, просто происшедшее было противно Сашкиному нутру и он никак не мог отделаться от чувства какого-то неудобства.

И показалось ему теперь, что ничего уж такого не было в подозрениях «старшого». Чего греха таить, были же самострелы. Двоих из трофейной команды засекали, один, совсем пацан, к ним в роту был прислан уже после трибунала — искупать кровью. И Сашка вдруг, еще не зная, чего скажет лейтенанту, спросил комиссара:

— Разрешите обратиться к старшему лейтенанту, товарищ комиссар?

— Обращайтесь,— разрешил тот.

Сашка помялся немного, потом нашелся:

— Вы меня, товарищ старший лейтенант, простите за давешнее... Не в себе был...

— Очнулся, герой? Ну, ладно. Я тоже не прав был,— улыбнувшись и совсем добродушно ответил лейтенант.

— Что это такое у вас было? — полюбопытствовал комиссар.

— Так, погорячились немного,— ответил «старшой» и добавил, обращаясь ко всем: — Завтра, товарищи бойцы, командир бригады будет лично вручать награды. У меня нет с собой списков, но могу сказать почти точно, что кое-кого из вашей палаты можно будет поздравить,— и показалось Сашке, что глянул лейтенант именно на него.

Что ж, вполне возможно. Ротный еще до немца послал на него наградные листы, но и за немца-то должны дать обязательно. Сашка заулыбался — меньше, чем «За отвагу», быть не должно, а может, и «Звездочка»...

Когда начальство ушло, угостил Сашка на радостях всю братву Зининым табачком, и мутный осадок, остававшийся с утра, разошелся в его душе совсем. Доволен он, и что с лейтенантом вроде улажено, и что награда впереди почти верная. А потом и обед — правда, не очень, та же пшенка, только погуще и с хлебушком — окончательно поднял Сашкино настроение, и продремал он в покое почти до вечера.

Проснувшись, вышел Сашка на крыльцо покурить и воздухом свежим подышать. Солнце еще высоко было, но

подходило уже к западу, к передовой. Там оно закатывалось за Овсянниковом и раскаляло разбитую эту и не достигнутую ими деревеньку докрасна, и после маялись они в ожидании обстрела — немец был точен и бил в аккурат после захода солнца.

И представилось Сашке, как через час будет дрожать его родная рота в продувных шалашиках и как кого-то беспрерывно сегодня пришлепнет, пожалуй, сержанта — не понравился он Сашке сегодня утром, — и как ротный будет говорить стоящим около убитого бойцам: «Ребята, только без сантиментов, война есть война», — и как закидают того лапником, а потом разбредутся по своим лежкам, выскребывая из карманов последние табачинки.

И смутно стало на душе и вроде стыдно, что находится он сейчас в тихом, словно дремлющем в майском вечере селе, где звенят ведра у колодцев, негромко перебирает лады гармонь, вьются приятно пахнущие дымки из труб, где ходят люди спокойно, не таясь и не крадучись, не ожидая ни шальных пуль, ни минометного обстрела, а его товарищи и его ротный — там...

Зина пришла не сразу после ужина, а когда все раненые улеглись по постелям, и присела около Сашки.

— Ну вот, пришла я. Как ты тут?

— Нормально. Тебя ждал.

— Я спиртику малость достала, — сказала шепотом. — Ночью у вас дежурить буду, а пока свободная...

— Знаешь, приходил этот «старшой»...

— Ну и что? — с тревогой перебила Зина.

— Порядок... Прощения я попросил за мат-то...

— Ты — прощения? Это он должен...

— Он тоже неправым себя признал. Так что порядок, Зина.

— Ты правду говоришь?

— Конечно.

Зина помолчала немного, поглядела на Сашку, хотела что-то сказать, но потом тряхнула головой, раздумав, и проговорила безразлично:

— Вот и хорошо, — и стала разливать спирт, Сашке в кружку, а себе в мензурку. Потом достала хлебца немного и... — Смотри, что раздобыла, — и показала ему соленый огурец. — У хозяйки выпросила. Здорово?

— Здорово! С гражданки не ел.

— Ну, давай, Саша... За твое возвращение и за праздничек...

— ...за победу, Зина,— серьезно и проникновенно до-сказал Сашка.

— Конечно. Но главное, за то, что живой ты... Правду сказать, в последние дни совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то... что в эшелоне, и вот все, не встречу тебя никогда больше... Не поверишь ты, а я тогда, честное слово, впервые в жизни целовалась... Ну, чокнемся, Сашенька, только тихонечко.

Спирт огнем прошелся по Сашкиному телу, и стало ему хорошо, так хорошо, как никогда в жизни. Зинина рука лежала в его заскорузлых обожженных пальцах, и тепло от нее доходило до самого его сердца.

И отошло куда-то все, что было в эти месяцы, ушло страшным сном, стало небылью, а в мире только эта изба, неяркий свет керосиновой лампы, тишина, прерываемая неровным дыханием раненых, и Зина, ее руки, ее глаза, смотрящие на него ласково и жалостливо.

Ничего-то она не спросила о том, что было там. Видно, знала все — не один раненый прошел через ее руки, и рассказывали, и жаловались,— и потому в ее взгляде видел Сашка какую-то смятенность и сострадание.

— Как чувствуешь себя, родненький? Рана не болит?

— Не болит,— соврал Сашка. К вечеру-то рука за-ныла.

— Может, пройдемся до Волги? Сможешь?

— Смогу, конечно,— обрадовался он и подумал, какое счастье его ждет — побыть с Зиной наедине, без людей-свидетелей.

Было еще не темно... Солнце, правда, уже ушло за правый кряжистый берег, но еще не закатилось совсем. Там оно еще висит над Овсянниковом и его отблески кроваво полосят небо и сжигают рваные края темного, растянувшегося по всему горизонту облака.

Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли, крепко прижатые друг к другу, так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела.

— Я сюда часто приходила вечерами. Смотрела на небо и думала, думала... И всегда оно страшное было, словно в крови,— Зина крепче прижалась к Сашке.— Думала, как ты там? Живой ли? Или отмучился?

Они остановились... Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него.





Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы. И не верилось, что сейчас он может опять прижаться к ним и испытать ту же острую сладость, которую испытывал тогда, когда отстрелявшиеся «мессеры» с воем уходили от эшелона, а он медленно притягивал ее лицо к своему и касался ее губ... Они замирали, а в их придавленные страхом души опять возвращалась жизнь.

И оба оттягивали поцелуй, но, когда их губы сошлись,

все было так же, только без той отчаянной горькости, какая была в тех поцелуях после бомбежки, когда думали они, что это последнее в их жизни, что вот-вот возвратятся самолеты опять и что будет, неизвестно.

А теперь Сашка сможет целовать Зину и завтра и послезавтра... И казалось это ему чудом.

От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, немного потом, и Сашка знал, эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут связаны с нею, с Зиной, всегда будут напоминать об этом вечере. И он упивался ими, близостью Зины, но, даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания — только нестерпимая нежность заполняла до краев.

Вначале это не встревожило его, но когда разморенная поцелуями Зина сама прижалась к нему, распахнув шинель, и он почувствовал ее в сию, и его рука невольно пошла вниз по Зининому бедру до края юбки, а потом, приподняв ее, пошла вверх по шершавому в резинку чулку и, пройдя его, наконец коснулась голой горячей Зининой ноги, и тут Сашка ничего в себе не ощутил, и его рука, остановившись на миг, обескураженно пошла вниз.

— Потом, Сашенька, потом... — зашептала Зина. — Пойдем дальше, там скамейка есть, — и потянула его по тропке.

Слева от них зеленовато поблескивала река, зримой чертой отделяя мир этот, в котором Сашка сейчас, и мир тот, в котором он находился еще сегодня, и ему представилось, что не взаправду все это, а сон, который вот-вот прервется, и он заспешил.

— Далеко еще?

— Сейчас, родненький, вон у той сосны.

Хотя Сашка и не был опытен в любви, он чувствовал, позволит ему Зина все, и потому, когда подошли к скамейке, он не грубо, но настойчиво стал приваливать Зину на нее.

Но и тут — когда совсем близко живое, трепетное женское тело, к которому не прикасался по-настоящему целую вечность, — в нем никакого ответа, словно ничего мужского в нем нет.

Сашка недоумевал, не понимая, что же такое с ним сотряслось, а Зина уже мягко отталкивала его от себя, пришептывая:

— Не надо, Сашенька, потом... Слабенький ты сейчас, израненный, не надо... Вот что с тобой сделали-то... Господи...

Она взяла черную, обгоревшую Сашкину руку и припала к ней губами.

— Не надо,— смутился Сашка, отнимая свою руку, которую жгли Зинины слезы.— Ну, что плачешь? Пройдет это...

— Не о том я, глупенький... Но что сделали-то с тобой...

И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, даже рада, что не вышло у них ничего,— уж больно скоро она стала его отталкивать... И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого, и слова-то она говорила все жалкие: родненький, глупенький, бедненький... Может, из жалости и решилась на все да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной?

Стал он гладить Зинины плечи, и тоже жалость к ней пронизала душу — потерянная она какая-то, не такая, какой была в эшелоне, будто гложет ее что-то...

— Достается вам тоже, Зинок?

— Да нет. Мы ж под смертью не ходим. Разве сравнить.

Они помолчали немного, потом Сашка спросил:

— Пристают мужики-то?

— Пристают,— просто ответила Зина.

— А этот... «старшой», не лез к тебе?

— Понимаешь, Саша...— не сразу ответила она.— Нравлюсь я ему. Ухаживает он за мной, но... по-хорошему, без глупостей... Понимаешь?

— Понимаю.

— Гулять приглашал не раз...

— Ходила? — с тревогой спросил Сашка.

— Ходила,— чуть замявшись, дала она ответ.— Два раза ходила.

— Ну и что?

— Ничего. Он до меня даже пальцем не дотронулся... А вообще-то, Саша, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же...

— Останусь у вас, при мне никто к тебе лезть не посмеет.

— Конечно, милый,— без особой уверенности сказала она.— Месяц у нас только, Сашенька... А что потом, родненький? Что потом? — всхлинула опять Зина.

Что потом, Сашка не знал и ответить ничего не смог, только привлек ее к себе, потянулся губами, прижался...

И прервала их поцелуй неожиданная вспышка на том берегу — первая ночная ракета. И смотрели они на мерцавшее недолго — минуту-две — небо и как потухло оно, погрузив опять в темень правый берег с соснами на нем.

А подумалось Сашке почему-то — вот такой же короткой, как вспышка ракеты, и будет их любовь... Погорит недолго, согреть как следует не успеет и... погаснет — разведет их война в разные стороны.

Наверное, и Зине пригрезилось то же, потому как вздрогнула она, сжалась комочком и затихла у Сашкиного плеча.

Так и сидели они, примолкнувшие, отрешенные от всего, связанные негаданно пришедшей любовью, любовью ненадежной и зыбкой, как ненадежна и непрочна была их жизнь вообще в эту лихолетнюю весну сорок второго года, весну подо Ржевом.

И, словно напоминая им об этой ненадежности, на западе мертвенно и угрозно вспыхивало небо и глухо рокотала артиллерийской переголосицей недалекая передовая...

Еще глубже пронзила Сашку жалость к этой прижавшейся к нему девчужке в военной форме, дарившей ему себя и свою любовь без всякой надежды на долговость, на крепость, без веры в хоть какое-то будущее. И он подумал: пожалуй, даже хорошо, что не случилось главного... Которое, может, и не главное совсем, а так...

С реки несло прохладой, но Сашке было жарко, видно, температура поднялась, и, как всегда при тепле, зазудело тело.

— Как бы не набралась от меня,— сказал Сашка, осторожно отодвинувшись от Зины. Она тихонько засмеялась:

— Это не самое страшное, Сашенька... Пойдем, милый, пора мне, да и ты, вижу, притомился.

— Есть малость.

И они пошли слитно друг к дружке, и опять Сашка ощущал сладостное колыхание Зининого бедра у своей ноги.

— А меня не погонят от вас в госпиталь какой? — затревожился вдруг Сашка.

— Нет. Но тебе-то в тылу будет лучше, чем у нас...

— Без тебя-то? Нет. Понимаешь, должны же нас смелить наконец. Тогда и на формировании вместе будем. Вот что загадываю.

— Хорошо бы,— вздохнула Зина.

А недалекая передовая непрестанно давала о себе знать то негромким похрипыванием, то взблеском ракет, то красными нитями трассирующих, режущих небосклон.

— Устал, Саша? Замучила я тебя. Не надо бы сегодня ходить, не отдохнул ты еще.

— Ну что ты. Хорошо же было...

— Вот вернемся в палату, уложу тебя, дам снотворного, выпишься как следует,— Зина ласково провела рукой по Сашкиной щеке.

— Небритый я... Да и вообще грязный я, оборванный...

— Будто я не знаю, откуда ты,— махнула она рукой.

— Тут у вас все чистенькие, побритые...

— Ты ж с войны настоящей, Саша, разве я не понимаю, о чем говорить.

— Да-а,— задумчиво протянул Сашка.— Война была взаправдашняя, это ты верно сказала. Видишь, что со мной наделала. Ты уж не обижайся на меня... Усталый я сильно. Очень усталый,— повторил он.

— Глупенький, ты опять о том же. Понимаю я все. Отлежаться тебе надо, отдохнуть...

Последние метры перед селом Сашка насилу шел.

В палате уже все спали — кто храпел, кто подстанывал, а кто и вскрикивал во сне,— только обезрученный сидел на койке, уставившись в одну точку.

— Заверни, браток,— поднял он глаза на Сашку.

Научившись за день справляться с сигаркой одной рукой, Сашка свернул, прижег и, присев рядом, прямо в рот сунул тому самокрутку.

— Вот какие дела, парень... Куда я теперь? Прибило бы лучше... Тебе-то повезло.

— Да, повезло,— согласился Сашка.

Зина оправила ему постель, взбила подушку и сказала:

— Ложитесь, раненый.

Сашка усмехнулся. Да и верно, зачем кому знать, что у них промеж собой.

— Сейчас, сестрица, покурим с товарищем,— ответил он в тон ей, и Зина тоже улыбнулась.

Так он и просидел с раненым, пока тот не докурил, то давая ему в рот сигарку, то отнимая, словно малому дитю соску.

Подойдя к постели, Сашка подивился еще раз. Когда же он спал раздетый до белья да на простыне, дай бог памяти? И оказалось, что с двадцатого ноября, как сел

в эшелон на далекой приморской станции, не видел он настоящей постели.

Долго возился он со шнурками от ботинок — заскорузли и пригорели намертво, хоть режь их, — но все же осилил. Но гимнастерку снять позвал Зину. Не лезла забинтованная рука в рукав, хоть и разрезанный, пришлось еще подрезать, а гимнастерка-то хорошая, суконная, теперь одно — выбросить, а жаль. Когда Зина принялась за брюки, Сашка застеснялся, но она ловко стянула их, не дав ему и опомниться, и остался он в бежевом трикотажном белье — неудобно, будто голый, — и нырнул скорей под одеяло.

Зина дала ему выпить чего-то горького, сказав:

— Я тут буду, только выходить придется, у меня в трех избах раненые. Спи, родненький, — добавила совсем тихо. — Спи...

Сашка растянулся на койке блаженно — ну вот, посплю сегодня по-людски.

Гармоника, тихо наигрывавшая целый день, перебирая разные мотивы, сейчас заливалась вовсю — и «Катюшу», и «Синенький платочек», и какие-то вальсы.

— Празднуют штабные-то, — хриловато и недобро сказал безрукий.

— Шут с ними, пусть веселятся, — равнодушно ответил Сашка.

Это утром, когда Зина сказала об этом, вспыхнуло в нем злое, а теперь разошлось.

— Веселиться-то вроде не с чего... — хмуро продолжил тот, покусывая губы.

— Праздник все же... Ты, брат, не завидуй. Этот пирог на всех. Сегодня они тут, в тылу, а завтра там могут оказаться.

— Тебе-то что, поднесла сестрица выпить. Знакомая, что ли?

— Знакомая. Дадут завтра всем, обещал же комиссар.

— Они дадут... Много тебе на передке водочки доставалось? То-то и оно, — добавил он, не дожидаясь Сашкиного ответа.

Думал Сашка, что уснет сразу, но не получилось. И на постели как-то непривычно, и подушка вроде ни к чему, да и рука ныла.

За день не пришлось Сашке о доме подумать, о матери. Занято все было Зиной, а сейчас подумалось — непременно завтра письмо отписать, что раненый он, что в

госпитале, чтоб не беспокоилась мать. С передовой он только два письма отправил, да и неизвестно, дошли ли. Если бы не война, осенью сорок первого отслужил бы он кадровую и был бы дома, а дом Сашкин не так уж далеко отсюда — верст триста. Ерунда расстояние, если с Дальним Востоком сравнить, где служил Сашка срочную.

Но он и не задумывался о том, что может он, пока раненый и вне строя, до дома своего добраться и повидаться с матерью. Слишком дорога для него сейчас Зина, и покинуть ее и в голову не приходило.

Слышится ему, как возится она сейчас в своем закуточке, и сладко ему от ее близости и покойно. Уже засыпая, услышал он Зинины шаги, ощутил на своем лбу ее прохладную ладонь — вот и избыл этот первый тыловой день, оказавшийся для него совсем не легким, а каким-то заботным и сумятым, — и великий покой сошел на Сашку, покой, которого не знал долгие и тяжкие месяцы фронта.

Ничего ему не снилось — ни плохого, ни хорошего, — и потому не понимал он, почему проснулся с тоской, точно такой же, как в тот день на передовой, когда нагрянула на них немецкая разведка.

Еще глаза не открыл, как придавила голову безысходная мысль — не пережить ему эту войну... Потому как в пехоте он и судьба его ясная: передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну, раз, как сейчас, ну, два... Но не вечно же? А война впереди долгая. И не избежь ему, что в каком-то из боев прибьет его насмерть.

— Зина... — позвал он тихо.

Но подошла к нему не она, а незнакомая медсестра.

— Что вам, раненый?

— А Зина где?

— Вышла Зина. Что, рана болит?

— Да нет.

— Тогда спите, раненый, — она отошла, а Сашка полез за махоркой.

Поначалу он не забеспокоился — говорила же Зина, что выходить будет, не одна у нее палата, надо и за другими ранеными приглядеть, — но сон ушел и, как ни старался уснуть, ничего не выходило.

Мысли смутные он прогнал. Научился он там не давать воли ни тоске, ни надежде. И сейчас вроде бы ни о чем плохом не думал, только хотелось отчаянно, чтоб

пришла Зина, прикоснулась опять ко лбу, погладила по-матерински... И может быть, тогда опять обрел бы Сашка покой и безмятежность, но она не шла, и драл Сашка горло дымом «моршанской».

В штабе все еще гуляли. Вперемежку с гармонью играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе... Давно это было. И тихие вечера в дальневосточном полку, и приятные разговоры с ребятами о скором увольнении, и задумки о будущей жизни на гражданке...

Сколько прошло времени, час ли, два, Сашка не заметил, только не выдержал более и встал. Натянув брюки и кое-как приладив ботинки, вышел. В Зинином закутке сидела та, незнакомая сестра и, привалившись к столу, дремала.

— Чего тебе? — проснулась она сразу и спросила недовольно.

— Зина не вернулась еще?

— Чего тебе далась Зина? Сказала же я...

— Где она?

— Ну... вызвали ее.

— Куда вызвали?

При свете лампы разглядел Сашка девушку — востроносенькая, некрасивая, но губки накрашены и надушена так, что голова закружиться может. И понял он, что не в других палатах Зина, а там, в штабе, на гулянке.

— Она ж не хотела идти, — упавшим голосом пробормотал Сашка.

— Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали, и пошла.

— На гулянку идти приказать не могут. Не загибай.

— Ну, не приказали, так какой-нибудь предлог нашли. А ты чего беспокоишься, парень? А, поняла... Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?

— Я, — кивнул он.

— Ничего там с ней не случится, — голос ее помягчел. — Поест как следует, выпьет, ну потанцует с кем. Иди-ка ты спать.

Посмотрел на нее Сашка еще раз: видно, готовилась она сама на вечер идти, потому накрашилась так и надушилась, а заставили ее вместо Зины дежурить, и потому особого сочувствия ни Сашка, ни Зина у нее не вызвали.

— Ну, чего стоишь столбом? Иди на койку и не переживай.



— Я и не переживаю,— соврал Сашка.

— Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло...

— Причем здесь время? — не понял он.

— Подумай,— повторила востроносенькая и усмехнулась.

Ах ты, язва, подумал Сашка и чуть было не выругался.

Безрукий проснулся, а может, и не спал совсем или вполглаза, и попросил закурить. Присел Сашка к нему на койку, и задымили, как два паровоза.

В избе было душно. Пахло нечистым бельем, грязными портянками и кислым от волглых, не просохших ватников.

Откурили по одной, закрутили по второму разу, и все молча. Потом отошел Сашка к своей постели.

— А ты плюнь! — вдруг сказал безрукий.

— Ты про что?

— Знаешь про что. Только не думай, что сама она... Приходил лейтенант тот, уговаривал. Она вначале ни в какую — нельзя, сказала, веселиться, когда на передке люди бедуют. А он ей: не на веселье тебя зову, а на прощанье. Отправляют его, как я понял, завтра в батальон то ли ротным, то ли помкомбатом. Ну, тогда она согласилась ненадолго... — Он помолчал немного, а потом добавил не без злости: — Снимет с него стружку передовая-то, а то ходят тут фертами...

Но Сашка тому не зародовался. Зла у него на лейтенанта не было. А то, что Зина сейчас там, на вечере, затронуло больно, и что-то тошнотное стало подступать к горлу. Задышал он прерывисто, тяжело и торопливо непослушной рукой стал натягивать гимнастерку.

— Ты-то оклемаешься,— продолжал обезрученный,— это все пустяки, а мне-то как? Как домой таким ехать? Думаешь, примет меня баба?

Сашка надевал брюки.

— Зачем я ей такой? Ей ребят кормить, себя да еще меня, прихлебая...

Сашка наворачивал обмотки.

— И куда податься после госпиталя, ума не приложу. Только не домой,— не переставал тот свое, наболевшее.

Сашка накинул телогрейку и поднялся.

— Куда надумал? — спросил безрукий с тревогой.

— На двор выйду. Духота здесь.

— Ты смотри, браток, без глупостей. Оружия-то трофейного нет у тебя случаем?

— Нет. Был «вальтер», ротному подарил.

— Ну, ладно, приходи скорей. Чую, без сна будет у нас эта ночка. Вдвоем-то с разговором легче.

Сашка вышел на крыльцо. Темно, тихо. Музыка из штабного дома умолкла. Боец из охраны, проходивший мимо, шикнул на Сашку, чиркнувшего «катюшей». Сашка махнул рукой — тоже мне вояка, за столько верст от немца искры боится. Они на самой передовой такие костры запускали, и ничего.

Спустился он с крыльца, присел на завалинку и стал перебирать в уме все, что произошло у них с Зиной на прогулке. Другая она какая-то стала... Вот распахнула себя для Сашки, а как-то без легкости. Вроде и сама вела его к скамейке, но как-то безохотно, хоть и торопилась, словно точку какую-то на чем-то поставить хотела. Это он и тогда почувствовал. Может, потому и не получилось у него ничего, что уловил он Зинино нежелание тайное? Верно, есть у нее кто? А если и есть, то не кто другой, как лейтенант этот. Почему и нет? Из себя видный. И звание подходящее. И должность. С таким будешь, никто не пристанет, всплыли Зинины слова о том, что не выдерживают девчата, сойдутся с кем, чтоб другие не лезли. А может, и любовь у них настоящая? Говорила же Зина, хороший он. Живым живое. Сама говорила, что надежду на Сашкино возвращение потеряла в последнее время. И это понять можно. Представил он, что могли ей рассказывать раненые, ужаснутые первыми боями...

Да нет, успокоил себя Сашка, не должно быть так. Сказала бы Зина прямо: так, мол, и так, прости и не обесудь. Разве повела бы его тогда она к Волге? Нет, конечно. Ну, а на вечер пошла просто потому, что неудобно отказаться, раз завтра на передок уходит лейтенант. Это понять можно.

Но все же мысль, что могут обидеть Зину там, на вечеринке, промелькнула и ожгла болью. И то, что музыка кончилась, показалось Сашке приметой того, что распозлились празднующие по углам тискать девчат и что Зину тоже тянет этот старшой... А он, Сашка, сидит здесь на завалинке и ничего, ничего не может сделать, ничем помочь.

И такое же унижительное отчаяние бессильности, какое бывало на передовой, когда немец накрывал их рядами и минами, а им нечем было ответить, охватило

Сашку, и, еще не зная, что будет делать, поднялся он и быстро запетлял огородами, чтоб не столкнуться с патрульным, к тому дому.

Он хорошо виднелся белым фасадом, да из окошка второго этажа еле заметной полоской пробивался свет из-под маскировки.

Обошел он его издалека, чтоб не заметили часовые у дверей, и приблизился к дому с другой стороны, где был не то сад, не то парк какой, и затаился за деревом.

Опять взвизгнула гармонь с переливами, раздалась песня, и слышны были даже разговоры и смех девчат.

Сашка заостенело стоял, привалившись к стволу, стараясь в шуме голосов услышать ее, Зинин, голос, но напрасно. Кончилась песня, и вскоре завели там патефон, и послышалось ему шелестение шагов — танцуют, верно.

Может, и правда, как сказала востроносенькая, выпьют, закусят, потанцуют, и ничего того страшного, что мерещится Сашке, и не произойдет, и вернется Зина, как была.

Но даже если и так, то все же не дело это, подумал он. Рассказать про такое ребятам на передке — осудили бы непременно и поматерились бы обязательно. Что ни говори, пока война, пока истекает кровью его батальон, пока белеют нижним бельем на полях незахороненные, какие могут быть праздники, какие танцы?

Конечно, понимал Сашка, что любого из тех, кто поселится сейчас в штабном доме, в любое приспевшее время могут мигом отправить туда, к смерти, от которой счастливым случаем ушел сегодня Сашка и навстречу которой пойдет утром старший лейтенант, но все же...

Патефон нес из окон знакомую давнюю песню «Любимый город может спать спокойно...», песню, под которую и началась для него война в июньский теплый вечер у танцплощадки в дальневосточном полку... Ребята посмелее танцевали с боевыми подругами, женами командиров, а Сашка стоял, покуривая, и слушал музыку. И лились тогда эти же, задевающие за сердце слова, словно для Сашки и его одногодков сложенные. «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» — и вдруг оборвались, прохрипел динамик «важное сообщение», и пошла речь Молотова.

А после нее закричал кто-то визгливо: «Тревога! Боевая тревога! По подразделениям!» — и побежали они по своим ротам. В небе гудел самолет, и тревожно царапа-

да мысль — не начнет ли теперь Япония? И, несмотря что вечер был тих и ясен, показалось им, будто потемнело небо. До ночи простояли они на плацу в полном боевом, а когда распустили, в курилке было необычно — ни смеха, ни шуточек, ни ласкового матюжка... Понимали, ворвалось в их жизни необыкновенное, очень важное и страшное, что станет их судьбой. Правда, тогда грезились им еще и подвиги, и поступки геройские, которые совершат они непременно, лишь бы война не мимо, лишь бы не просидеть ее на востоке. И потом, после всего совершенного, вернуться они героями по своим домам — и «...любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд...». Да, приманчива была война издали...

Вот и прошел Сашка не все «бои и войны», прошел только одну свою первую, не ахти какую долгую, всего в два месяца войну, прошел вроде честно, не давая себе послаби, и стоит он сейчас, переломанный и умаянный малой этой войной, в чужом селе, около чужого дома и слушает для него написанное, но не для него сейчас предназначенное: «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» — и даже покурить ему здесь нельзя, вдруг заметят и пойдут расспросы, зачем он здесь и для чего.

И эта, казалось бы, мелочь, что нельзя ему здесь курнуть, вдруг сжала Сашкино сердце горькой, унижительной жалостью к самому себе, что бывала только в детстве, когда выплакивал он свои обиды, прижавшись к материнским коленям. И почувствовал он себя почему-то таким чужим здесь, никому не нужным, чего никогда не бывало на передовой, где все были свои, как бы родные, даже комбат и комиссар, не говоря уж о ротном...

А из окон неслось: «...когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят, любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...»

И только один у него здесь родной человек — Зина, и та не с ним, а там, за окнами... И представилось Сашке, как липнет лейтенант к ней, как тянет ее где потемнее, как шарит жадными пальцами по ее телу... И забродило в душе страшное: если обидят Зину, махнет он обратно на передок, заберет у ротного свой «вальтер», а там будь что будет...

И только мысль, что не одна же там Зина с лейтенантом, народу много, возможно, и комиссар сам там, а при

гем никакого баловства никто допустить не посмеет, умирала Сашку немного.

Но все равно нарастало комом в груди что-то холодное, тяжелое, подступало к горлу, давило... И пойти бы ему сейчас в палату, броситься на койку, забыться, не держат же ноги совсем, как-никак оттопал он сегодня без мала верст пятнадцать, но неотступен Сашка в своем решении дожидаться Зину во что бы то ни стало. Он и не подошел бы к ней. Только посмотрел, что возвращается она беселая и необиженная. И за вечер корить бы не стал. Сделал бы вид, что и не знает.

И намедлил — услышал Зинин голос! Но не там, где музыка, а прямо из ближайшего к нему окна. Не разобрать что, но мерещится ему что-то жалкое, упрашивающее, а мужской голос по-пьяному настырен и с приказными нотками.

И тут будто разорвалось что в Сашкиной голове — что делать-то, что делать?

Бросился он вперед, поближе к окну, а там уж громче Зинин голос, и чудится Сашке даже зов о помощи, и тогда, не помня себя, нашаривает он рукой на земле что-то твердое, не то камень, не то кирпича обломок, и еще минута... рванулась бы в броске Сашкина рука, но окно вдруг раскрылось и в его проеме беловато засветилось Зинино лицо, и услышал Сашка уже явственно, как сказала она стоящему за ее спиной лейтенанту:

— Не надо, Толя... — и отвела его руки мягко и несердито.

Вздыбись рядом земля от взрыва, не ошеломило бы так Сашку. И ни слова, ни обращение по имени, а вот жест этот покойный, даже ласковый, каким отвела она его руки, словно имеет она силу на лейтенанта, поразил Сашку в самое сердце и уверил его, что любовь у них...

Словно ударом под вздох надломило Сашку и откинуло назад. Медленно пятясь, не сводил он глаз с окошка, где неясно мерцали два плывущих и колеблющихся пятна — Зинино и лейтенантово лица... Они говорили еще о чем-то, но Сашка не вникал...

Так и пятился он, пока не ткнулся локтем раненой руки о ствол дерева и не сдержал матерного вскрика. И замолкли тогда в окне, и высунулись, прислушиваясь... Тогда, повернув резко, побежал Сашка, не разбирая дороги, натыкаясь на деревья, царапаясь о кусты, не таясь уже никого, все держа еще в намертво сведенных паль-

цах ненужный уже кирпич. Бежал как оглушенный, раздрав рот в беззвучном крике,— не закричишь же... Это там, в наступлениях, выхлестывали они в протяжном «ура-а-а» и боль, и отчаяние, а тут подвалило к горлу, а не выплеснешь.

На крыльце стояла Зинина сменщица и смотрела на штабной дом, откуда опять гроханула музыка, и «Синенький платочек» в который уже раз поплыл над селом. Она глянула на Сашку удивленно и вроде вознамерилась спросить что, но, разглядев почерневшее Сашкино лицо, смолчала, поняв, видать, откуда он прибрел.

Палата пахнула на Сашку спертым, тяжелым духом... Чуть заметным огоньком чадила керосиновая лампа. Не раздеваясь, рухнул он в постель, моля бога, чтоб не заговорил безрукий... Рухнул лицом в подушку, закусил губы, чтоб стон не прорвался, и лежал так, будто омертвелый, только в душе клокотала и билась шальная мысль — завтра же утром на передок податься, пусть добивают...

И только под утро, когда зажелтелось чуть небо, смог он поразмыслить обо всем малость спокойней — не один он на свете и нет у него права своей жизнью самовольно распоряжаться. Мать у него, сестренка малая... И опять, перебрав все, что у него с Зиной за тот день и вечер было, припомнив опять разговоры их все и представив ее жизнь тут за эти месяцы, пришел он к тому — неосудима Зина... Просто война... И нету у него зла на нее...

А за горизонтом тем временем вспыхнула последняя ночная ракета, плеснула в окошко далеким мертвенным, будто нездешним светом и, посветив недолго — минуточку-две,— отгорела...

### 3

Уже совсем обутрело, когда Сашка и еще двое раненых из ходячих приостановились у края села на совет. Продуктов им на дорогу не дали, только продаттестаты, отоварить которые можно будет лишь в Бабине, что в верстах двадцати отсюда. Вот стояли и гадали, дойдут ли за день. А если не осият, то где ночевать, где покормиться? Правда, особо не сомневались, что их-то, Родины защитников, должны удовлетворить в деревнях обязательно, неужто картохи да хлеба кус не заработали они своим ратным делом? Только деревень-то живых по дороге мало, тем более по большакам, а крутить им другими путями

без удобства — и заблудиться можно, и путь удлинить, а силенок маловато.

Сашка в разговор не мешался, как-нибудь доберутся, лишь бы поскорей из Бахмутова. Потому и пристал к этим двум, которые решили подальше в тыл податься, где и жратва должна быть погуще и где немец, если попрет, не достанет.

Скользнул он последним оглядом по селу, по штабному дому, белеющему вторым этажом, и вздохнул. А ребята уже тронулись. Докурил Сашка сигарку, сплюнул и пошел вдогон...

А верст через двенадцать обессилели они окончательно, а до этого Бабина, где продукт обещанный, еще неизвестно сколько, и дойдут ли сегодня, потому как день уже к вечеру клонился, солнце на западе к горизонту запало и потянуло холодком.

Сашка всю дорогу позади плелся не потому, что был других усталей, а просто говорить не хотелось, а один из раненых уж больно болтливым оказался, лопотал что-то все время. А Сашке не до болтовни, весь он в своих мыслях, во вчерашнем вечере, проведенном с Зиной. Но из всего, что у них было, не поцелуи вспоминались, не объятия, а как прижималась Зина губами к почерневшим его пальцам, как горячили руку ее слезы. Вот тут и была, наверное, вершина его чувств к ней — и жалость, и нежность необыкновенная. И, когда представлялось это, сдавливало сердце больно — навсегда же расстались.словно умерли друг для друга, словно листья павшие разнесло ветерком в разные стороны, не сбиться уж вместе никогда.

Остановились впереди двое Сашкиных однопутников, видать, невмочь больше ноги тащить, присели, поджидая Сашку, а он, подойдя, свалился тоже, даже самокрутку скрутить не в силах.

И пошли разговоры, что они в Бабине сухим пайком получить должны, да не на один день, а поди, дня на три. Это по целой буханке черняхи на брата должно выйти, по несколько пачек концентрата, ну а за жир и мясо по банке консервов каких-нибудь. Такого обилия еды не видели они давно. Замечталось наесться от пуза, за все месяцы, что на передовой голодовали, там к какой-нибудь вдовухе на печку — в тепло и сыть... Уже слюнки пустили, а потом забеспокоились — как бы продпункт не закрыли, пока они здесь прохлаждаются. Кто знает тыловые

порядки! Тогда зря вся их торопа через силу — придут к закрытым дверям, что может хуже?

Один из них, в ногу раненный, правда, не сильно, но все же более других намучившийся, сказал:

— А если, ребята, в первой деревне, которая попадет-ся, и заночевать? А с утра прямо в Бабино это, к открытию продпункта. А?

— А жрать чего? — спросил другой.

— Неужто не дадут чего?

— Может, и дадут,— сказал Сашка,— но неудобно... побираться-то.

И призадумались... Вспомнили, как через деревни проходили и интереса к ним никто не проявлял, никто не спросил ни разу: откуда, мол, идете, где ранило, большие ли бои были? Так, пройдутся взглядом, словно невзначай, и отвернутся. Странно им поначалу это показалось, а потом поняли — сотни их проходят за день, дивиться на них нечего, побывное это для людей дело стало, потому и равнодушны. А как поняли, просить поесть чего не решились, как-нибудь до Бабина перетерпят. Махорочкой, правда, разжились у одного деда. Хорошего дал самосада, крепкого, с каким-то желтым цветом, пахучий. Им-то и поддерживали себя на передыхах — покуришь, и голод не так сосет, и подбодрит табачок малость.

Да, поняли они кое-что за этот долгий утомный день: и что в тылу голодуха и тяготы, и что на них никто как на героев каких не смотрит. Это когда по Сибири катили, глядели на них все жалостливо, руками махали, приветствовали, а бабы некоторые даже крестом осеняли их вагоны — едут защитники Родины, едут кровь проливать, жизни ложить...

А тут пролили они кровушку, а никакого по этому случаю события, никто в ладони не хлопает, никто по этому поводу не умиляется, никто самогону на их пути не выставляет. Конечно, так они не думали, но все же представляли, что будет к ним внимания в тылу больше, а сейчас видели — прошлась война по этим проселкам, по этим деревням, разорила, своих забот полон рот у людей, не до солдатиков, которых и виноватить можно, что допустили войну до них, до глубокого тыла, чуть ли не до Москвы самой... И, когда подходили к кому дорогу спросить, отвечали им охотно, но в лицах напряжение (как бы чего другого не спросили), а отходя, примечали они, как облегченно вздыхали те.



— Вы как желаете, а я больше не ходок. Буду на ночевку проситься, — сказал хромой и поднялся.

— Лады, дойдем до деревни, а там посмотрим, — решил второй, тоже в руку раненный, только в правую, и в шину проволочную упакованную, и встал вслед.

И поплелись они, тяня шаг, вздыхая и побряхтывая... Вскоре вышли к небольшой деревеньке, домов десять — двенадцать, и постучались в избу, что побогаче выглядела, с наличниками резными и палисадом из штакетника, но никто не отзывался. Постучали во второй раз, тоже ни звука. На душе смутно — никто из них в странниках не был, никто сроду не побирался, а вот довелось, стоят, будто нищие.

Раненный в ногу озлился, застучал палкой в окошко, да так, что чуть стекло не разбил. Отодвинулась тогда занавеска, и выглянула старуха древняя.

— Переночевать, бабка, требуется. Раненые мы. С фронту идем, — сказал он грубовато и настырно.

— Вижу, родимые, вижу, — запричитала старуха. — Только опоздали вы. До вас калечные пришли, все места заняли, — а глазами шаркает, прямо не глядит.

— Пошли дальше, ребята, — не выдержал Сашка, но в ногу раненный не успокоился:

— А не врешь, старая?

— Ей-богу, родимые... Зачем врать-то. Разве жалко?

— Лады, спасибо этому дому, пойдем к другому, — взял за рукав хромого третий из них, разговорчивый сильно.

— Врет же она! — упирался хромой.

— Если и врет, силой же не погрешь. Пошли, ребята, до места, — махнул рукой Сашка.

— Вы идите, а я здесь ночлега просить буду. Не могу больше топать, и все! Бывайте... — и раненный в ногу заковылял в дом напротив, Сашка и другой раненный пошли дальше.

— Нам с тобой расставаться не след, у меня левая целая, у тебя правая. В общем, две руки на двоих — не пропадем! — весело закончил раненный в руку.

Сашка посмотрел на попутчика, вид у того какой-то ошалелый, глаза чудные, и улыбка с лица не сходит. Всю дорогу слышал Сашка, как говорил тот без умолку, похохатывал, рукой здоровой размахивал, словно чокнутый какой. И сейчас совсем вроде не расстроился, что в ночлеге отказали, что переть еще неведомо сколько.

— Ты чего скучный такой идешь? — спросил он Сашку.

— А чего радоваться-то?

— Как чего? Живые ведь... Понимаешь, живые! Из такой мясорубки — и живые! Как же не радоваться?

— Тяжелая у тебя рана?

— Кость перебитая. Месяца два, а то и три отваляюсь верняком. Думаешь, мне жрать неохота? Думаешь, не устал я? Но все это мелочи жизни. Главное, солнце вижу, небо, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев! Это же понять надо! — он опять хохотнул чудно, а Сашка покачал головой — впрямь парень тронутый.

Сам Сашка особой радости не ощущал. Давила грудь разлучная тоска, да и дорога эта среди пожарищ и разора на веселье не располагала.

Правда, когда с большака сходили и шли дорогами незжалыми, там деревни были целые, но в запустении. Много домов покинутых, ни скота не видно, ни лошадей, ни сельхозмашин каких, ну, а о тракторах и говорить нечего — туго будет колхозникам весновать. Осими тоже нигде не зеленеет, видно, не сеяли под немцем.

В каждой деревне теперь спрашивали они, как до этого Бабина путь ублизить, и везде отвечали по-разному. И вот что оказалось, сказал один старик вроде точно — не двадцать верст до Бабина, как им в Бахмутове сказали, а все сорок наберется. И позавидовали они хромому, что скумекал тот дальше не топать, а ночевать остался. Теперь и им надо куда-то к месту прибиваться, смеркается день. А тут как назло завела их дорога в лес — потемнело сразу, засырело, грязища, лужи огромные обходить приходится. Даже Сашкин однопутчик смешки свои оставил, хотя улыбочка блажная с губ не ушла.

Задумался Сашка... Осенью ровно три года будет, как покинул он свой дом. И с тех пор все у него казенное — и одежда, и еда, и постель, и жилище. Ничего своего у него нету, поди, только платок носовой, да огрызок карандаша, да жалованье красноармейское — двенадцать с полтиной в месяц. До войны на махорку или папиросы дешевые уходило, иной раз в редком увольнении пива кружку выпьешь. Но этим он не тяготился, зато забот никаких. И вообще служба в армии ему нравилась, интересно было, да и знал — надо!

Войну они на Дальнем Востоке давно чуяли. Понимали, что не зря великих русских полководцев — Суворова

и Кутузова — поминать часто стали (в школе-то на уроках истории о них не учили), ну, а когда в апреле сорок первого потянулись эшелоны на запад и в мае лекцию им прочли о «мифе непобедимости немецкой армии», тогда уж совсем ясно стало — не отслужить им мирно кадровую, придется показать немцу, что почем.

Конечно, никто в уме не держал, что так обернется. Думали, будем бить гадов на чужой территории и малой кровью. Не вышло! По-другому завертелось. И нету войны пока конца-краю, и достается на ней всем — и военным, и гражданским. Вот почему и стеснялся Сашка на ночлег набиваться. Понимал, сколько деревенькам этим ржевским довелось... Только от немца избавились, только чуток в себя приходиться стали, хозяйство поправлять, а тут течет мимо река покалеченных, и всех приюти, всех накорми, а чем?.. Это за день около сотни пройдет, а с февраля, как наступление пошло, и до сих пор сколько?

А дорога эта неторная все петляла лесом, и никакого просвета впереди. Неужто в лесу заночевать придется?

К вечеру раны начали побаливать сильнее, каждый шаг отдавался, и шли они оба, кривясь от боли, еле тая ноги, матеря ту тетку, которая на эту дорогу их послала.

Наконец шедший немного впереди Сашкин попутчик закричал радостно:

— Выходим! Слышишь, браток, выходим! Красота-то какая открывается!

Сашку раздражал он малость и своим смехом не к месту, и восклицаниями бесконечными «красота». Все у него красота: к ручью вышли — красота, на поляну какую — красота, лес вдали засинел — тоже красота! Но как узнал, что из города он, наборщик типографский, и землю-то родную только по воскресеньям видел, да не по каждому, стал понимать его вроде. Ну, а то, что не в себе он после передка и ранения, ясным-ясно. Она, передовая, может довести — это не диво. Один у них совсем рехнулся, чуть отделенного не застрелил. Шут с ним, пусть радуется, что ни говори, живыми из такой заварухи вышли... Только где-то внутри посасывало у Сашки — не к добру это.

Просвет впереди ширился, и вскоре кончилась эта запалая дорога, и вышли они к полю незасеянному, а за пригорком и деревуха показалась, домов в несколько, но не побитая и не сожженная. Видать, немец здесь не бывал.

С нехотью, скрепя сердце подошел Сашка к одной избе и постучался робковато. Сразу же на крыльцо вышла баба немолодая, лет тридцати пяти, глянула на них усталыми прищурными глазами и спросила:

— Переночевать, что ли?

— Да, хозяйюшка. Идем весь день, а до Бабина никак не дойдем. Продпункт там у нас...

— Да до него, поди, еще верст пятнадцать.

— Неужто? Придется просить у вас ночлегу. Дальше ийти сил нет, да и затемнело уже.

— Что ж, заходите... Только, ребята, вот что, место я вам предоставлю, постели устрою, но... покормить вас нечем. Может, у кого другого найдется, а у меня нету ничего. Не обессудьте.

Хотя переговоры вел не Сашка, женщина сейчас смотрела на него, видно признав в нем своего, деревенского, и искала понимания. Сашка ответил поспешно:

— Понимаем мы... Не надо нам ничего. Переждем сегодня как-нибудь...

— Не обессудьте, ребята,— повторила она,— картошки чуток осталось, на посадку только. Сами не едим, а у меня дите еще... Ну, проходите.

В дому было прибрано, полы чистые, даже на окнах занавески белые, а на кровати покрывало кружевное.

— Муж-то воюет? — спросил Сашкин однопутник.

— Воюет, ежели живой...

— А что, писем не шлет?

— Нет. Сейчас ложиться будете или погодите?

— Сейчас, только подымить выйдем.

С печки свесилась девчушка лет десяти, бледненькая, худенькая, и глядела на них внимательно, но без удивления, какими-то не детскими глазами.

— На кровати вы вдвоем не поместитесь. На полу постелю,— сказала хозяйка.

— Конечно,— заспешил Сашка,— куда нам на постель? Грязные мы больно.

Женщина, отодвинув немного стол от окна, положила на освободившееся место тюфяк, потом пару одеял старых и две подушки.

— Располагайтесь... Вот и мой небось где-нибудь по чужим домам, если живой... Только вряд ли.

— Ну, почему? — заулыбался Сашкин попутчик.— Обязательно живой должен быть! Обязательно! И не думайте о плохом.

— Вам легко говорить... Вы-то живые вышли,— сказала она просто, но почудилось Сашке словно осуждение какое.

И в деревнях, что проходили они, казалось иной раз ему, что смотрят на них некоторые бабы, у которых мужья, видать, точно погибли, как-то недобро, будто думают: вы-то целехонькие идете, а наши мужики головы сложили.

На крыльце присели они на ступеньки, завернули дедовского самосада, помогая друг другу. Так же вдвоем «катушу» запалили — один держал кресало, другой бил, — и затянулись до круготы в глазах.

А из лесу по той же дороге и по другой, которая слева через поле тянулась, плелись калечные. Перед деревней приостанавливались на совет, а потом расползались по избам.

Разделись они в избе до белья, только брюки постеснялись снять, укрылись одеяльцами — тепло, сухо, а сон не идет. Бурчали пустые животы, и оттого тошнотная слабость во всем теле, вот и ворочались, кряхтели, вздыхали. И хозяйка на печи, видно, тоже не спала, тоже вздыхала.

— Хоть бы пожевать чего, — прошептал Сашкин сосед.

— Тише ты, — перебил Сашка, а сам о том же мечтал.

Сколько они без сна промаялись, сказать трудно, полчаса, час ли, только вдруг услышали, соскользнула хозяйка с печи, загремела чугунами и к ним подошла.

— Держите, пожуйте малость. А то ни у вас, ни у меня сна нету, — и сунула им в руки по две картофелины.

— Спасибо, — выдохнул Сашка и сразу зубами в теплую мякоть. Зажевал медленно, сосед тоже не спешил — знают они, как есть надо, научила передовая.

Утром, проснувшись рано, задерживаться они не стали. Поблагодарили хозяйку за хлеб-кров, мечтая, конечно, втайне, не даст ли она чего на дорогу, но она, пожелав доброго пути, отвернулась от них сразу. Попутчик Сашкин потоптался еще немного, делая вид, что одежду поправляет, но Сашка тронул его за локоть — пошли, дескать, нечего себе и хозяйке душу мытарить.

Утро не выдалось — пасмурно, небо в серых облаках, но Сашкин однопутник (Жорой его звали) воздух ноздрями потянул, расплылся в улыбке и за свое:

— Утро-то какое! Воздух! А тишина... Красота!

— Курево у нас к концу, — остудил его Сашка.

— Подумаешь, курево! Ерунда! Попросим где-нибудь

табачку. Ты об этом не думай. Все это суета сует. Главное, к жизни идем, Сашка, к жизни!

— Ты почему в санроте не остался?

— Свободы, брат, захотел. Три года в армии я, все по приказу делать приходилось. А сейчас иду куда хочу. Захочу, на травке поваляюсь, захочу, в любой деревне останвлюсь, а захочу, мимо пройду. С в о б о д а, брат, великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, но сам я себе хозяин, а в санроте врачей слушайся, сестер слушайся, начальство приветствуй... Понял?

— Понял,— кивнул головой Сашка.

Сегодня и у Сашки настроение куда лучше: во-первых, выспался нормально, во-вторых, часам к двум дотопают они до Бабина и продукты получают, а потом эта ночь чертой какой-то отчеркнула все, что в Бахмутове с ним произошло. Вернее, не отчеркнула, а отодвинула назад, словно давно, давно это было. Только временами толчками какими-то пробивалась боль в сердце, но воли ей Сашка не давал — прошло это, возврата не будет, чего ж бередить напрасно...

Шли они проселками, а то и тропками, и деревень на их пути не попадалось, спросить про дорогу некого, и только к середине дня вышли они на большак к селу Луковниксво. Большое село, войском заселенное. Почти у каждого дома машины стояли груженные, и шоферня вокруг них суетилась веселая чересчур, видать подвыпившая.

Подошли табачку стрельнуть и спросить, как на Бабино пройти. Оказалось, по большаку надо, никуда не сворачивая, верст семь, совсем близко.

— Чего припухаете? — спросил Жора шоферов.— Фронт-то голодует.

— А чего мы можем, распутица. Вторую неделю пухнем.

Ну, этим-то припухать можно — с продуктами машины. И сыты, и пьяны, и нос в табаке, а тем, кто со снарядами, тем скучней, сами небось у баб картошечку выпрашивают.

По большаку идти было плохо — разбитый весь, в ямах и колдобинах, но веселей — прохожих попадалось больше. И военных, и гражданских, женщин, конечно, с ребятней. И куда бредут?

Тут увидели они, как плелись им навстречу несколько лошадей тощих, каждую боец за узду вел, а на них вьюками крафт-мешки бумажные с сухарями. Ну, сколько на каждую нагрузить можно? Пудов пять, не больше. Разве

таким макаром фронт снабдишь? Попонятнее стало, почему голодуха на передке. Значит, верно, распутица во всем виновата.

Бабино завиднелось издалека белой колоколенкой. Шагу они прибавить не смогли, но на душе полегчало. Подходит конец их маете. Казенного получают сейчас довольствия по полной норме и до эвакогоспиталя дойдут в сытости — милостыню просить не придется, а это самое в их пути занозное.

Вот и добрались вроде... Прошли домов несколько, ища глазами, у кого спросить, где продпункт этот. Увидели у колодца лейтенанта, тоже в руку раненного. Стоял он и поливал из ведерка кисть безжизненную медленно так, струйками. Чего это он, подивился Сашка, и подошел к нему. Тот глаза поднял:

— Попить, что ли?

— И попить можно... Спросить мы хотели...

— Сейчас освобожу ведро,— перебил лейтенант, выливая остатки воды на руку.

— Зачем это вы? — заинтересовался Сашка.

— Боль унимается. Ранен-то я в плечо, а болит кисть. Жмет, спасу нет, а водой смочишь — легчает.

— Мы спросить хотели, товарищ лейтенант, продпункт где находится?

— Продпункт? — зло засмеялся лейтенант и пошел материться, да так, что Жора от удивления рот открыл.— Был он, продпункт! Зимой! А сейчас нету, перевели куда-то!

— Как нету? — упавшим голосом прошептал Сашка.

— А так, нету, и все! — и пошел опять лейтенант матом.— Вторые сутки топаю, у баб картошечку выпрашиваю...

— И куда же его, продпункт-то? — спросил Сашка, все еще не веря, что лопнули все их надежды, и надеясь, что перевели продпункт куда-нибудь недалеко отсюда.

— А никто ни хрена не знает! Поближе к тылу, наверно.

— Что ж делать будем? — присел Сашка.

— Вы утром лопали чего? — спросил лейтенант.

— Нет.

— Я тоже. В первой же деревне жрать будем просить. Беру на себя. Не дадут так, купим. Денег у меня навалом.

— А здесь не раздобудем? — спросил Жора.

— Нет, пробовал. Тут своих вояк полно.



— Ну, что ж, пойдёмте, товарищ лейтенант, вместе тогда,— сказал Сашка, вставая.

— Брось ты «лейтенанта». Не в строю мы. Володькой меня звать. Из Москвы я. Вас-то как?

— Александр я, а он Жора.

— Срочную служили?

— Ага. Я с тридцать девятого, а он...

— ...с тридцать восьмого,— досказал Жора.



— Я тоже два года отрубил рядовым. А как война началась, послали на трехмесячные и вот кубари привезили. А они мне...— махнул рукой лейтенант.— Я привык за себя отвечать, а тут всучили взвод, да почти все из запаса... В первую ночь на передке один у меня к немцам решил податься. Поймали, конечно. Перед строем хлопнули, а меня за шкуру: как ты врага не распознал? А я его, сукиного сына, только две недели и знал, как формировались. Да и не враг он никакой, струсил, дрянь. Ну, тронулись, ребятки...

Повернули они обратно и потащились. Надо опять по большаку, а там налево будет дорога на Лужково, где этот эвакогоспиталь расположен.

Изредка обгоняли их машины. Голосовали без особой надежды, и верно, ни одна не тормознула даже.

В первой же деревне, что попалась им, когда они с большака сошли, направился лейтенант решительно к какому-то дому и, не постучав даже, вошел.

Сашка и Жора присели на завалинке. Вскоре лейтенант вышел со стариком — старым, худым, но с глазами живыми, колючими.

— Вот, трое нас только, дед. Надо нам передохнуть, поесть чего-нибудь... Ну и табачку надо...

— Только и всего? — спросил дед.— Довоевались. Хлебушка побираетесь. Что же это вас не кормят? А?

— Продпункт из Бабина выбыл, потому и требуем...

— Требуем? А какое у вас такое право требовать-то? А?

— Раненые же мы... Кровь пролили,— вступил в разговор Жора.

— А знаешь, сколько вас с февраля идет? — повернулся старик к Жоре.— И все к мужику... за хлебушком. А мужик давно вконец разоренный. Это ты понимаешь? Нет у меня, ребятки, ничего. Сам до лета вряд ли протяну. Пройдитесь по деревне, может, у кого другого и есть, может, подаст кто...

— Подаст! — вспыхнул лейтенант.— Мы не нищие какие! Вот деньги,— вытащил дрожащей рукой из кармана тридцатки.— Сколько за картошку хочешь? Одну, две? Ну, отвечай!

— Ну что мне твои деньги? Было бы что, дал бы... Идите вы от меня, и весь сказ. Докудова немца пустить решили? До Урала, что ли?

— Молчи! За такие слова...— лейтенант задрожал весь, глаза выкатил и зашарил рукой в кармане брюк.

— Отойди, лейтенант,— встал перед ним Сашка.— Отойди! Тут другой разговор нужен.

— Солдат-то поумнее тебя будет,— сказал старик и добавил:— Послушайте лучше, чего посоветую...

— Говори, дед, и прости, с фронта мы, нервные...— подступил к нему Сашка.

— Вот это разговор другой. А то — требуем. А чего требовать? Ты спроси сперва, есть ли чего у меня. А если нету, чего требовать? Что нервные вы и перемаянные, понимаю. Не с тещиных блинов идете. Но и нас понять надо... Так вот, идите-ка на поле, там картоха, с осени не копанная. Накопайте и лепехи себе нажарьте. Поняли? Сам это жру.

— Поняли,— сказал Сашка.

— Пользы, может, и немного, но брюхо набьете, и полегчает малость. Идите. Сковороду, так и быть, дам и присолить чем.

Копали картошку руками. Слизнявые, раскисшие клубни расползались в руках, и, как есть такое можно, вначале не представлялось, но когда выдавили из кожуры синеватую мякоть, размяли в руках, присолили и стали печь на сковороде, то уже от запаха, что шел от лепех, закружило в голове и сладко заныло в желудке. А когда попробовали горяченьких, то Жора зачмокал и пробормотал:

— А ничего, ребята, лады! Можно сказать даже, красота!

И вправду, то, что казалось несъедобной гнилью, шло им сейчас в горло за милую душу, а если б примаслить маленько да присолить покрепче — совсем еда хорошая.

Только у лейтенанта стояли слезы в глазах, хотя и он жевал вовсю... Обидно, конечно, но что поделаешь, война...

Решили покопать еще и напечь лепех впрок, на дорогу, благо сковорода есть. Отняло у них это часа два. Когда возвращали деду сковороду и поблагодарили, тот полез за печь, достал самосаду и дал им табаку немного, но все же подковырнул:

— И махры, значит, для вас не припасли. Как дальше воевать-то будете?

— Не беспокойся, дед, провоюем и немца погоним,— сказал Сашка.

— Кабы так, все бы я простил...— вздохнул дед.

Чего простил, кому, он не разъяснил.

Вышли они за деревню и расположились покурить не спеша, полежать немного, разморило после еды-то.

— Значит, говоришь, погоним немца? — обратился лейтенант к Сашке, чуть усмехаясь.

— А разве не так?

Лейтенант затянулся дымом, сплюнул.

— Так-то так, только скажи, откуда у нас такая глупая уверенность? Разве ты на передке не убедился, что немец пока сильнее нас, организованнее, умелее...

— Вот именно, умеет, гад, воевать, — сказал Жора. — Только бросьте вы о войне. До сих пор в ушах звон, дайте покурить спокойно.

— Забыть хочешь? — спросил лейтенант.

— Хочу. Я тишину слушаю... — и опять блаженная улыбка растянула Жорины губы.

— Недолго придется слушать. Через два месяца как штык опять на передке будешь.

— Знаю. Но думать об этом не хочу. Нам теперь часом жить надо. И если час твой — радуйся на всю железку. Давайте договоримся — о войне ни слова. Лады?

— Валяй радуйся. Долг свой ты выполнил, совесть у тебя чистая, валяй радуйся.

— Вы так говорите, лейтенант, словно завидуете. А вы тоже долг свой выполнили...

— Да иди ты к черту и с выканьем, и с лейтенантом. Сказал вам — Володька я! Так и зовите, — и лейтенант задумался, так и не ответив Жоре.

А Сашка, видя, что скребет что-то на душе лейтенанта, сказал:

— Война все спишет.

— Глупость! — взметнулся Володька. — Самая настоящая глупость. Вы рядовые, вам что, вы никого на смерть не гнали... Ничего не спишется. Всю жизнь помнить буду, как глядели на меня ребята, когда я им приказ на наступление выкладывал... Всю жизнь... — и замолк лейтенант.

Посидели они еще немного. Сашка с Жорой кое о чем еще поговорили, а Володька мусолил одну самокрутку за другой и ни слова. Но надо и идти, понежились, и хватит. перевязки на ранах у них пожелтели, бурые пятна на них выступили, а внутри присохли и при движении об раны терли, больно было. А с этим крюком на Бабино, возней с лепехами и отдыхом после потеряли они времени много, да и шли не ходко, дойти им дотемна к этому Лужкову вряд ли удастся.

И верно, к вечеру пришлось им в какой-то безымянной деревеньке ночлега просить.

Оприютили их две женщины пожилые, сестры видимо, и приняли хорошо, участливо, про войну спрашивали, и ужинали они щами, постными, ясно, но горячими. Хлебца им дали по кусочку махонькому и по две картофелины большие. И на том спасибо, и то здорово.

Предложили хозяйки две постели на троих (больше не было, свои уступали), но они отказались и постелились опять на полу. Спали крепко, потому как все же сытые были, хоть и не очень.

У Саши и Жоры раны ночью прибаливали больше, а у лейтенанта наоборот, тот с утра начинал кривиться и кисть раненой руки водой примачивать.

Из этой деревни вышли они вскоре опять на большую дорогу... Тут тоже машины ходили — и газики и «ЗИСы-пятые», — но на их поднятые руки ноль внимания. А лейтенант тяжелей всех шел, красный весь, небось жар поднялся, и каждую прошедшую машину матерком провожал.

И вот один «ЗИС» порожний показался, лейтенант на дорогу вышел, руку поднял, и по лицу видно — не отступит. «ЗИС» засигналил, но скорости, лярва, не сбавил и только в шагах нескольких от лейтенанта вывернул круто в лужу огромную, обдал Володьку грязью с ног до головы и дальше покатил.

И тут лейтенант не выдержал, матюгнулся жутко, из кармана пистолет выхватил (не знали, что при оружии он) и пальнул вслед два раза, хотел, видно, по шинам, но промазал. «ЗИС» тормознул до юза, из окна кабины высунулась рожа толстая, а затем и ствол автомата... Они замерли поневоле — чем черт не шутит, может, пьян шофер, бабахнет поугасть, но ненароком и задеть может. Только Володька, пистолета не пряча, к машине поперся, шальной, право... Шофер дверцу открыл и вышел, стал баллоны задние осматривать. Ну, тогда и Сашка с Жорой тронулись.

Володька к «ЗИСу» подошел и криком:

— Ты что, гад, остановиться не можешь?! Видишь, ноги еле тянем.

— Полегче, лейтенант, и пушку спрячь, — спокойненько так сказал шофер. — Без запаски я. Пробил бы баллон, что делать, а я по заданию. Эх, надо бы по вас очередишку да в кювет загнать, может, опомнились бы...

— Голосуем, голосуем, и ни одна машина не остановится, — вступил Сашка.

— И правильно. Вы ж через полчаса обратно просить-ся будете.

— Это почему ж? — спросил Жора.

— А потому. Ну, ладно, залезайте, только по-бы-строму.

Залезли в кузов. Жора бледный, зуб на зуб не попа-дает.

— Ты, лейтенант, эти штучки с пистолетом брось. На кого другого нарвался — и врезал бы. А я свои два меся-ца отгулять хочу.

— Не ной, отгуляешь ты свои два месяца. И бабешку какую найдешь побаловаться.

— Между прочим, — сказал Жора задумчиво, — странное дело, о женщинах совсем не думаю. И во сне не снятся.

— А с чего им сниться-то? — усмехнулся лейтенант.

— Нет, странно все же... Молодой я...

— Довела тебя, знать, Жора, передовая. Смотри, на всю жизнь можно таким остаться, — продолжал травить Володька.

— Неужто? — забеспокоился Жора. — Разве у вас не так?

— У нас? — засмеялся лейтенант. — Нам с Сашкой только подай. Верно, Сашок?

— Нет, правда? — волновался Жора.

— Ну, какие бабы, Жора? Другие мысли у нас — где пожрать, где курица достать... — успокоил его Сашка.

А дорожка не приведи боже! Кидает их из стороны в сторону, и каждый толчок в ранах отдается, да еще бочка с бензином по кузову катается, то одного, то другого по ногам трахнет. Километров пять помучились, а потом за-стучали в кабину — давай останавливайся.

— Ну что? Говорил вам, порастрясет. По такой дороге и здоровому душу вытряхнет. Потому и не берем вас. Вер-сты три преседете и слезаете. Только время с вами терять. А мне вот к такому-то пункту надо ровно в ноль-ноль. По-няли? — сказал шофер, нетерпеливо глядя, как они из ку-зова выкарабкиваются. — Ну, бывайте.

— Поняли, — вздохнули они и потопали опять пехом.

Когда мимо картофельных полей проходили, видели, как копошатся там калечные, дымят кострами. Не одни они, значит, так кормятся. Тоже какой дед надоумил, а может, своим умом дошли. В общем, эта картошечка не-копаная идет в ход всюю, помогает раненым эту дорогу выдюжить.

Пришлось им вскоре опять на лесную дорогу свернуть, от большака вправо. Сказали им, так поближе будет, верст несколько сократить можно. Но, как вошли, пожалели, что послушались. Неприветная дорога, сумрачная... По обеим сторонам ели вековые наверху ветвями сплелись, света белого не видно.

Когда полями шли, перелесками, по опушкам, взгляду было где разгуляться. И солнце видно, и дали, и воздуху кругом полно, в общем, «красота», как Жора говорил, а здесь даже дыхание сперло — сыро, душно, смрадно. А дальше еще больше дорога поугрюмела, их передовую стала напоминать. Войско вроде зимой тут стояло, а может, и бои были, потому как валялись по сторонам каски простреленные, сумки от противогазов, ящики цинковые от патронов, обмотки ржавые, обрывки бинтов окровавленных, и даже труп один они заметили, но подходить не стали — хватит, на всю жизнь насмотрелись!

Только мысли о войне они с трудом отбросили, а дорога эта опять к ней возвратила. У лейтенанта губы сжались, взглядом в одну точку уставился, и у Сашки сердце тяжестью прихватило. Разговора не получалось — каждый свое вспомнил. Только Жора, впереди их идущий, без внимания это оставил (наверно, нарочно) и даже насвистывал что-то, пока Сашка не крикнул ему вслед:

— Брось, Жора, свистеть!

— А что? — остановился тот.

— Место вроде не для свиста... Бои были... Люди гибли...

— Вот ты о чем, — вроде небрежно бросил Жора и пошел дальше, но насвистывать перестал.

— С него еще телячий восторг не сошел... Все радуется, что живым остался, — немного раздраженно заметил лейтенант.

Видел Сашка, что Жора лейтенанту на нервы действует — и улыбочкой своей постоянной, и охами и ахами по всякому поводу, но что поделаешь? Светла и дорога и доля одинаковая — терпите, приноравливайтесь друг к другу.

Лейтенант труднее других шел. Боли его не отпускали, нерв же перебитый, а он дает боль непрестанную, только ночами отходит. Сашка поэтому равнял шаг на него, хотя и мог идти шибче. А сейчас, видя, что совсем лейтенант еле ногами переступает, предложил перекур, на что тот с радостью согласился.

Присели, завернули по сигарке, задымили... Жора из

глаз скрылся, делала дорога тут поворот. Ладно, догадается, что перекуривают они, обождет.

— Лейтенант...— начал было Сашка, но тот перебил:

— Опять?

— Ну, ладно, Владимир. Давно я хотел спросить: почему ты звания командирского не хотел? Мой ротный тоже, когда кубарь ему повесили, что-то не радовался.

— Значит, не дурак твой ротный.

— Я понимаю,— сказал Сашка,— людей на смерть посылать трудно, но все же лучше такие командиры, как вы, кадровую отслужившие, чем из училища «фазаны» желторотые. Разве не так?

— Может, и так...— неохотно как-то ответил лейтенант, потом задумался и досказал не сразу:— У меня все «отцы» были во взводе из запаса, семейные все... Ох, как не хотелось им помирать. А я — вперед, мать вашу так-то, вперед! — и примолк, опять задумавшись.

Сашка помолчал немного, тоже вспомнил, как наступали...

— Приказ же,— немного погодя сказал он.

— Что приказ?.. Мне сержант мой, помкомвзвода, который на войне второй раз, советовал завести взвод за балочку и там переждать немного, чуял он, захлебнется наступление... А я ни в какую! Вперед и вперед! А ребят косит то слева, то справа. Клочья от взвода летят, а я вперед и вперед. Потом залегли, невозможно дальше было, и через минуту-две отход. Если б в этой балочке переждали, считай, полвзвода сохранил бы. Понимаешь, Сашок? И все по своей дурости, умней людей себя воображал. И помкомвзвода моего хлопнуло. Ну, как после этого? А?

— Да,— протянул Сашка.— Выходит, рядовым-то спокойней?

— Еще бы. Рядовой только за себя в ответе... Да что говорить! — махнул рукой Володька.— Я тоже забыть все хочу, как и Жора, но не выходит. Наверно, на всю жизнь это...

— Так война же, Володя...

И тут грохнул впереди взрыв. Глухо так вначале, а потом раскатился эхом голосистей.

Они вскочили, не понимая — откуда, что? Самолеты вроде не гудели, от фронта далеко... И тут словно толкнуло что-то Сашку в грудь.

— Жора!!! — закричал он и бросился бегом по дороге, а за ним и побелевший лейтенант.

Поворот они проскочили, и дорога далеко видна ста-

ла, но Жоры на ней не было. Пробежали еще немного, остановились, по сторонам стали осматриваться и... увидели: слева, на прогалине, шагах в десяти от дороги, лежал Жора, опрокинутый навзничь, руки разметаны, а грудь вся в дырах... И на глазах у них расползаются на ватнике бурые пятна у дыр, и, странно очень, на неподвижном и мертвом еще движется что-то...

Улыбки уже не было на Жорином лице, только скривлены были губы в удивленной, недоуменной гримасе и обиженно приоткрыты... Чуть поодаль от его тела у ели синел подснежник. За ним-то, наверное, и свернул Жора с дороги, и словно услышал Сашка его голос: «Смотрите, ребята, цветок какой! Красота!»

Ни одна смерть на передке не ошеломляла так, как эта... Стояли они будто оглушенные, и ни одного слова не выдавливалось. Лейтенант стал как-то оседать и неуклюже опустился на корточки, прикрыв лицо трясущейся рукой, закашлялся неестественно, стремясь, видно, перебить кашлем рвущиеся из горла всхлипы. А у Сашки рука сама потянулась к ушанке, стянул он ее перед покойником, чего никогда не делали они там, пальцы невольно сложились шепотью и пошли ко лбу, хотя не был Сашка, конечно, верующим (в церквах, правда, бывал на панихидах, когда родственников отпевали, и там крестился, как все), и, когда коснулся лба, разомкнул пальцы и провёл просто ими по волосам.

— А я все смеялся над ним...— пробормотал лейтенант сквозь кашель.

— Покури,— сказал Сашка и протянул кисет, а сам пошел за Жориной шапкой, отброшенной взрывом в сторону.

— Не ходи!— взвизгнул Володька, но Сашка не послушал, только внимательно смотрел под ноги — нет ли еще тут этих проклятых «шпрингмин»,— подняв шапку, накрыл ею Жорино лицо. Вроде легче стало, а то нет мочи глядеть на скривленные Жорины губы.

Лейтенант уже выпрямился, и искурили они по сигарке, молча и стоя, а потом Сашка подошел к Жоре и, распахнув ватник, полез в карман гимнастерки — надо же документы взять, но все было порвано, измазано кровью, красноармейская книжка расползлась в Сашкиных руках.

— Медальон ищи,— сказал лейтенант, а сам отвернулся.

Смертный медальон хоть так и называется, но на ме-



дальон не похож. Поначалу выдали им такие жестяные ладанки, на шею вешать, отсюда и «медальон», наверно. А потом уже футлярчики черные из пластмассы. Сашка нашел его в кармане брюк и, развинтив, вынул оттуда желтую бумажку, в которой и прописано все, что надо знать живым о погибшем: имя, фамилия, год рождения, каким райвоенкоматом призван, домашний адрес и группа крови по Янскому.

— Не Жора он — Григорий... — прочел Сашка.

— Спрячь. В госпиталь дойдем, напишем родным.

— Напишем... Только правды не надо.

— Конечно... Погиб смертью храбрых в боях за Родину.

— Может, лапником его закидать? — сказал Сашка.

— Не надо. Так увидит его кто, проезжая, захоронят, — лейтенант вытащил пистолет и подошел к телу. — Ну, Жора, прости за насмешки... Не пришлось тебе в госпитале погулять. Прощай, — и выстрелил в воздух.

Негромкий звук выстрела одиноко и тоскливо прокатился эхом по лесу и иссяк где-то вдали.

Шли они дальше молча, какие тут слова... Лейтенант кусал губы, часто нападал на него кашель, и только одно вымолвил за дорогу:

— Напиться бы...

От стопки и Сашка не отказался бы — такая маета на душе. Вроде бы случайный был Жора попутчик, в боях вместе не были, а ведь так спаялись за дорогу, словно родными стали, и идти им сейчас вдвоем как-то неприятно, не хватает Жориных выкриков по поводу и без повода. Эх, Жора, Жора, не свернул бы за этим подснежником, шли бы вместе. Как же нелепо вышло. Пройти бои такие страшные, а по дороге в тыл, к жизни погибнуть...

К середине дня доплелись они до Лужкова, до эвакогоспиталя. Встретили их тут приветно. Правда, обед чуть-чуть не захватили, и терпеть им теперь до ужина. Но что делать, раз такие порядки в тылу: хоть и есть у тебя продаттестат, хоть он десять дней не использованный, но на довольствие ставят лишь с того дня, как прибыл, и за прошлое ни грамма.

Лейтенант было зашумел, чтобы пайки хлеба за обед дали, но порядки эти криком не переломашь, да и шумел он не очень — умаян был и не до хлеба как-то сейчас, после того, как товарища они потеряли.

Зарегистрировали их и в баню направили, а там в раз-

девалке девчата. Как при них раздеваться? А они тут как раз им для помощи и без стеснения стаскивают с ребят гимнастерки, брюки, белье даже нижнее и в прожарку. Ну тут еще ничего, прикрыли срамные места руками и скорей в баню шмыгнули, а там тоже девки! И что делать? А девчата смеются — привыкли, видно — и подходят то к одному, то к другому и мыться помогают: и спину потрут, и головы намылят. Раненые-то все больше в руки, мыться одной рукой несподручно, но неудобно при женщинах. Правда, девчата веселые, смеются: «Вы для нас сейчас не мужчины, а бойцы раненые, так что не стесняйтесь».

Только один из них бесстыжим оказался, носился по бане голый, бил себя в грудь и гоготал: «Глядите-ка на меня. Все для фронта на мне написано», — а сам, видно, и был лещеватый, а теперь мослы так и торчат и ребрышки все пересчитать можно. Чудной парень, словно чокнутый или клоуна из себя строит.

Сашке его крики и посмешки не понравились, и он пошел к нему:

— Чего изгиляешься? Над чем смеешься? Кончай базар...

А Володька-лейтенант, услышав это, крикнул:

— Дай ему, Сашок, правой, а я левой добавлю!

Тот попятился.

— Ну чего вы, ребята, посмеяться, что ли, нельзя? Да вы на меня поглядите, верно же...

— Замолкни, — перебил Сашка.

После бани направили их на перевязку. Как увидел Сашка сестренку в белых халатах, так и кольнуло сердце — нет, не ушла Зина из души... А девчата ласковые, приветливые. Разбинтовывали их раны осторожно, чтоб боль не причинить.

С лейтенантом врач долго возился и, сказав, что ранение серьезное, посоветовал ему дальше не идти, а полежать тут недельку и дожждаться транспорта (дороги вот-вот пообсохнут), но Володька ни в какую! Хочет он во что бы то ни стало до Москвы добраться и с матерью повидаться.

А Сашка здесь с удовольствием бы остался отлежаться и подкормиться, что ни говори, тяжелая выдалась им дорога, но, раз лейтенант не хочет, покидать его Сашка не будет. Может, и ему самому, пока раненый и вне строя, тоже домой махнуть? До Москвы вместе с Володькой доберется, а там недалеко. Тоже мать более двух лет не ви-

дал, и если сейчас не свидеться, то вряд ли в другой раз случай такой выпадет.

После перевязки повели их в большой дом, клуб раньше был, наверно, а там разместили на двойных нарах, но у каждого матрасик, простыня, одеяло. Лейтенанта хотели было в другую палату, командирскую, но он наотрез отказался, и лежали они теперь вместе, чистенькие после бани, на чистом белье,— красота, сказал бы Жора.

Лейтенант, полежав немного, вынул из кармана пачку тридцаток, пересчитал и, ничего Сашке не говоря, смылся. Видать, в деревню, самогону доставать.

К ужину пришел повеселевший малость и, когда стали еду разносить, вытащил из кармана бутылку мутного желтоватого самогону и одну луковицу на закуску.

— Знаешь, сколько отдал?

— Сколько?

— Пять сотен!

— Деньги-то какие по мирному времени! — удивился Сашка.— Совести на них нет, что ли?

— И то еле выпросил, за деньги-то. Если б керосинчика, говорят, или крупы какой, или что из одежонки, тогда бы с радостью.

Ужин дали приличный. Ребята, кто давно здесь, говорили, что в обед и вчера и сегодня котлеты были и по стопке выдали в честь праздника — третье мая уж наступило. И сейчас каша из гречки, хлеба по полной норме, сахар к чаю. Если б не такие оголодалые были, хватило бы. Но сейчас это для них на один заглот. Как хлебешек увидели, скулы свело.

Раздобыл Сашка кружки, разлили, чокнулись... Соседи по нарам поглядывали жадно, но бутылка-то одна, на всех не разделишь.

— Жору помянем,— сказал лейтенант и всю кружку одним махом влил в себя, не поморщившись.

А Сашка выпил с трудом, еще до армии чуть этим самогоном не отравился и запаха его не терпел, но сейчас не до вкуса — забыться бы на миг, отогреть душу...

Потом за победу пили... За то, что живыми пока остались... За матерей своих выпили ждущих (это Володька предложил). Как выпили, подобрали и соседям своим ближайшим чуток налили. И потекли разговоры разные: кто про бои, кто про дом, кто про прошлую жизнь на гражданке, кто гадал, что после войны будет, и все дружно начпродов материли, потому как со жратвой везде плохо было.

Тут один лейтенанта спросил, как тот наступления их понимает, каков смысл был, все же он командир, может, ему поболее известно.

Володька задумался, потер лоб, скривил губы.

— Сам голову ломаю... Одно знаю, немцам покоя от нас не было, то в одном месте куснем, то в другом. Может, в том и смысл, что не давали ему маневра, связывали его... Так, наверное...

Сосед ответом не очень удовлетворился и пробурчал:

— Может, и так... Но людей все же много поубивало, вот что...

— На то и война, чтоб убивало,— заметил Сашка.

На том разговор этот прекратился и перешел на мелочи, которые вскоре и забылись начисто.

Утром на врачебном обходе опять доктор посоветовал лейтенанту остаться, тем более, предупредил он, до самой станции Шербово, где госпиталь, ни продпунктов, ни эвакогоспиталей других не будет. Но разве Володьку убедишь в чем. А Сашке ох как не хотелось уходить отсюда.

С ними в путь собрались еще человек десять. Уж неизвестно, по каким таким причинам они уходить решили, небось просто от фронта подальше захотелось, где и с кормежкой будет получше, и с помещением, и с уходом.

Вышли они не рано, часов в десять, после завтрака, и к другим прибавиться не стали, вдвоем-то лучше, чем табуном идти: и с ночевкой легче, и еду попросить на двоих как-то удобней.

Больше пятнадцати верст за день им теперь не одолеть и к Шербову одним переходом не попасть, где-то ночь придется проводить, где-то на ночлег проситься.

После самогона идти плохо — горло пересохло, у каждого колодца или ручья водой наливаются, а от нее слабость еще больше. Потеть стали в ватниках, а снять — не жарко, ветерок майский продувает, просквозит запросто. Это там никакая их простуда не брала, но то передовая! Там и захочешь приболеть, ан нет, не выходит. Там они словно железные были. А тут в мире и расслаб, и заболеть можно ненароком, и им это совсем ни к чему, им добраться до места надо.

Шли они очень не ходко, версты четыре протопают — и перекур на полчаса, а то и поболее. На одном из передыхов Сашка лейтенанту про своего немца и рассказал, давно на языке вертелось, да все как-то не выходило. Володька слушал внимательно, переживал, видно, себя на

место Сашки ставил, а в конце рассказа раскашлялся, этим он всегда так свое волнение скрывал.

— Ну, Сашок... Ты человек... И как ты думаешь, комбат шел к тебе, уже решив отменить свой приказ немца шлепнуть или тебя проверить?

— Тогда думал, идет меня проверять и силой заставить приказ исполнить или хлопнуть за невыполнение, а сейчас думаю, может, еще в блиндаже одумался и шел с отменой...

— Мда... случай... Дай-ка лапу, Сашка,— лейтенант протянул руку и стиснул Сашкину в крепком рукопожатии.— Я бы не смог.

— Ну да,— улыбнулся Сашка,— еще как смог бы. Не простое дело человека убить... да безоружного. И ты бы не стал... Люди же мы, не фашисты,— досказал Сашка просто, а лейтенант еще долго глядел ему в глаза с интересом, словно впервые видел, словно старался отыскать в них что-то особенное, пока Сашка не сказал:— Ну, чего на меня глаза пялишь, как на девку. Ничего во мне нету.

Володька глаза отвел, но не раз после этого замечал на себе Сашка его взгляд, любопытствующий и уважительный.

Немного они протопали, а дню конец уже приходил... Попалась им проходная случайная, спросили, скоро ль деревня какая. Ответила, что верстах в трех будет, но там ночлегу лучше не просить.

— Это почему же? — выкатил глаза лейтенант.

— Да побитая она вся. Фронт тут держался. В Прямухино идите, село большое, под немцем не было. Там хорошо примут.

— А до него сколько? — спросил Сашка.

— Верст семь будет...

Послушались проходную, двинули на Прямухино. А ту деревню, ближнюю, прошли, и верно, всего три дома целых, куда уж тут на ночлег проситься... Да что говорить, насмотрелись они по дороге на многое. Обидный путь выдался. И главная обида, что продпункты эти проклятые, как нарочно, с места на место переезжают — и знать никто не знает куда. Вот и приходится картоху копать на виду у людей, а при ночевках глаза голодные прятать... И представляли они себе, каково бабонькам каждую ночь постояльцев принимать и делиться с ними последним куском... Памятник им, этим бабам из прифронтовых деревень, после войны поставить надо...

Лейтенанту Володьке, московской, городской жизнью балованному, к голоду непривычному, тяжче, конечно, ну а Сашка к невзгодам более приученный — был в детстве и недоед, а в тридцатых и голод настоящий испытал, — ему эту дорожку перемочь легче.

Подходили они к этому Прямухину, где ночевать проситься, с щемотью в сердцах — ходи опять по избам, кланяйся, проси приюта. Хорошо, что последний это ночлег, дойдут завтра до Щербова, до госпиталя настоящего, и там все законное получают — и место, и довольствие.

Начали они с краю... Домов побогаче на вид уже не выбирали, лишь бы куда приткнуться. Постучали в первый же дом. Вышла женщина рябоватая, посмотрела на них, головой покачала — небось на обтрепанные, обожженные их телогрейки, на небритые опавшие щеки — и сказала:

— К председателю идите. У нас черед установлен, кому вас, горемычных, принимать. Сегодня вроде Степанида должна...

— Порядок, значит, установили? — буркнул лейтенант.

— А как же? Вы все норовите дом поприглядней выбрать, а достаток у нас сейчас один. Это когда при мужиках были, разлились. А теперь бабы работницы, вот и сравнялись все. И выходит, одни чуть ли не каждый день раненых принимают, а другим не достается.

— Где председателя искать? — спросил Володька.

— А к середке идите. Там сельсовет у нас.

— Ну, спасибо. Может, у вас и такой порядок заведен — кормить раненых?

— Конечно. На то черед и установили. С едой, конечно, у нас не очень, но что бог послал, как говорится.

Двинулись они к сельсовету, и на душе покойно, везде бы так — без мытарства, без упрасиваний.

Лейтенант губы кривить перестал и на лицо даже поживел немного.

У сельсовета народу толпилось много, женщины конечно.. Одна крикнула громко, заметив подходивших к ним Сашку и лейтенанта:

— Степанида! Принимай гостей! Пришли к тебе на постой. Где ты, Степанида?

Степанида — грузная, крупная — подошла, оглядела их и, улыбнувшись добродушно, сказала:

— Ну, пошли ко мне, герои... Как в вас душа-то держится?

— Держится покамест,— ответно улыбнулся Сашка, но тут первая женщина, которая Степаниду звала, приблизилась к ним, остановилась и странно как-то, очень внимательно осмотрела Сашку с ног до головы, а осмотрев, сказала:

— Этого ясноглазого я к себе возьму. Пойдешь, парень?

— Так с лейтенантом я...

— Ничего. Лейтенант твой к Степаниде пойдет, а ты ко мне. Он теперь тебе не начальник.

— Не в том дело,— перебил Сашка.— Вместе идем почти с самого фронта.

— Иди, иди,— усмехнулся Володька.— Раз тебе персональное приглашение, отказываться не следует.

— Если ты не возражаешь...— неуверенно произнес Сашка.

— Иди, иди. Хозяюшка-то твоя ничего... Не зря зовет.

— Ладно, ты зубы не скаль, командир,— обрезала она.— Раз зову, значит, причина есть. Понял?

— Как не понять,— опять ослабился лейтенант.

Сашка оглядел ее, статную, крутобедрую, молодую, годков на несколько только его старше, наверное, и решил:

— Согласный я, пошли...

— Видали, согласный он! — засмеялась Степанида, да и остальные бабы.— Да Пашка у нас, поди, первая красавица на деревне, а он сомневается еще.

Смутился Сашка немного от смеха бабьего, а Володька не удержался добавить:

— Смотри, Сашок, не теряйся.

На что Паша замахнулась на него рукой:

— Заткнись, лейтенант! На мужиков-то вы уже не похожие, а мысли кобелиные все оставить не можете. Куды вам не теряться? До постели бы ноги дотянули, а вы... Разве неверно говорю?

— В самую точку! — засмеялся Володька.

— То-то и оно. Пошли, парень. Зовут-то как?

— Александром,— ответил Сашка.

— Александром? — переспросила она почему-то.— Я думала, по-другому тебя кличут.

— Почему?

— А так.

Шли они к дому молча. Паша впереди, и Сашка поневоле видел, как колышутся под юбкой ядренные ее ягодички, как поблескивают полные икры, не закрытые голени-

щами коротких сапог, но волнений особых вид этот у него не вызвал, только отметил в мыслях, что баба-то в самом соку и без мужика ей небось трудно.

Ввела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть, и сказала:

— Ты пока отдыхай, покури, а я через полчаса управлюсь, приду, и ужинать будем,— и ушла по своим делам.

Сашка присел на скамью, крутить сигарку начал. Покойно как-то на душе стало, размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся... Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели. Подошел Сашка ближе для разгляду — чинные, приодетые, глядели на него старики и старухи, родители или деды Пашины или мужа ее. Но все это без интереса для Сашки, а вот мужчиной в полушубке белом и шлеме красноармейском он заинтересовался. Глядел тот с фотографии весело, с улыбочкой, и папироска длинная в углу рта торчала как-то задорно, и показалось Сашке лицо его очень знакомым. Но откуда? И не сразу догадался он, что парень этот на него, Сашку, очень похожий. Такие же скулы приметные, такой же нос чуть курносый, и глаза так же широко ставлены. Усмехнулся Сашка — бывает же такое! Словно брат родной или родственник близкий, чудеса прямо.

Паша вошла, Сашкой не замеченная, и, увидев, что он фотографию разглядывает, кинула скороговоркой:

— Муж мой Максим, в финскую взятый.— А потом подошла к печи, вытащила чугуна с водой, отлила в ковшик.— Может, щетину сбреешь? Дам я тебе и помазок, и бритву.

— Хорошо бы,— провел Сашка рукой по колючему подбородку.

— Ну вот, побреешься, умоешься, и вечерять будем. Здорово голодный-то?

— Голодный,— ответил Сашка прямо.

Бритва Максимова была не ахти правленной, да и без руки левой бриться неудобно. Но все же с грехом пополам побрился Сашка. Подала ему Паша умыться и даже одеколону тройного дала подушиться. Погляделся Сашка в зеркало — никакой солидности, мальчишечье лицо совсем. Душой-то он себя старше чувствовал и удивился даже, что не очень-то изменила его двухмесячная та мытная на передовой, только глаза сильно усталые. Паша тоже удивилась и спросила:



— С какого года ты?

— С девятнадцатого.

— Я поначалу подумала, постарше ты. А щетину сбрил — мальчишка совсем.

— А вы с какого? — задал неудобный вопрос Сашка, но Паша, не смутившись ничуть, ответила:

— С пятнадцатого я. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.

— Хорошо, Паша.

— Ты скажи, почему идете такие? Кожа да кости. Один другого краше. Не кормят вас на войне, что ли, или, пока дойдете сюда, тощаете?

Рассказал Сашка. Ну, не все, конечно. Все гражданским знать незачем, но кое-что про фронт рассказал...

— Господи ты, боже мой, — запричитала Паша. — Что же это на свете делается?

— Растянулись тылы, ну и распутица, — объяснял Сашка лейтенантовыми словами, да и сам так понимал. Конечно, братву полегшую жаль до невозможности, но по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили.

Стала Паша на стол накрывать, еду выставлять. Сашка рот от удивления открыл — чего только не было. В первых, огурцы соленые, с детства им любимые, потом грибки с порезанным луком, потом кусок сала свиного с розовыми прожилками, лепешки ржаные с мятой картошкой посредине вместо творога и, наконец, самогона бутыл!

— У вас немца не было? — только и спросил Сашка.

— Миловал бог. Чуток не дошел.

— Я смотрю, еда у тебя больно богатая.

— Какое богатство! Я и щами тебя угощу, и на второе картошкой, жаренной с яйцами, — улыбнулась Паша, видно довольная, что есть ей чем угостить.

Налила она Сашке полный стакан граненый, а себе половину. Протянула чокнуться.

— За что выпьем-то? — спросила.

— За победу, конечно, — не замедлил Сашка с ответом.

— Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство. Небось догадался ты, почему позвала я тебя?

— Вроде.

— Похож ты на Максима. Как увидела, так и ахнула.

Одно лицо. И надо же такое. Как фамилия твоя, может, каким образом сродственник ты с Максимом?

Сашка сказал.

— Нет,— другая совсем,— чуть разочарованно сказала Паша.— Пропал мой Максим. Так с финской и не отпустили. На западную границу послали. Там в первых боях и сгинул, наверно.

— Может, в плену?

— Все может. Но на Максима не похоже. Не из таких он...

— Из каких ни будь, а всякое бывает.— И рассказал Сашка, как обманули их немцы, как его напарника, с которым на посту стоял, полонили, как и сам мог попасть, задержись он с валенками.— Ты надежду не теряй,— закончил он.

— Нет, Саша, чует сердце, пропал Максим... Ты закусьвай как следует, не стесняйся,— переменяла разговор Паша, а Сашка и так навалился на еду, того и другого прихватывал, не в силах удержаться, и потому, что ел много, самогон на него не очень-то подействовал.

Смог он под второе, под картошку, на сале жаренной и яйцами облитой, еще стакан опрокинуть и тут только захмелел. И стало ему так хорошо, будто в доме он родном, и Паша, сидящая напротив и ласково на него глядящая, тоже показалась родной и знакомой, будто знает он ее много, много лет.

Тяжело человеку долго быть обездомленным, без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку, разоткровенничался вовсю и про все, про все стал Паше рассказывать. И про Зину не скрыл. Как бегали при бомбежках в эшелоне вместе, как простились они в Селижарове перед ночным маршем, как обещала она его ждать, как поцеловались напоследок горьким поцелуем, как думал о ней там и как встретились в санроте. Все рассказал, даже о том, что бессильным оказался, не умолчал.

Паша слушала внимательно, с сочувствием, прерывала иногда Сашкино повествование разными бабьими охами и ахами, переживала за Сашку, видать, по-настоящему.

— Эх ты, бедненький,— потрепала она его по отросшему ежику волос.— Хорошо, что Зину эту не хулишь. Справедливый, значит. Вошел в ее женское положение, понял...

А Сашке захотелось вдруг уткнуться головой в Паши-

ны колени, как маленькому, и отреветь все свои обиды, но сдержался, только взял Пашину горячую шершавую, рабочую руку и стал приглаживать пальцами. Она прильнула к нему плечом минутно и сразу отпрянула, сказав отрывисто:

— На печи спать будешь.

— Куда положишь, там и буду.

После этой ласки мимолетной стала Паша какой-то беспокойной. С печки убрала все лишнее шумно, резко, словно спешила куда.

У Сашки же глаза слипались, еле на стуле держался... В бутылки самогону еще осталось, и Паша спросила:

— Сейчас допьешь или завтра перед дорогой выпьешь?

— Можно, Паша, я лейтенанту оставлю? Боли у него сильные, особенно с утра...

— Оставь, если добрый такой, мне не жалко, — улыбнулась Паша. — Хороший он, лейтенант-то твой?

— Свойский парень. Сдружились за дорогу. Горячий только.

Постелила Паша на печке простыни и все такое.

— Залезай, — скомандовала она, и Сашка уже в полусне забрался на печь, растянулся блаженно, но тут закачалась изба, закружилась, и стало Сашку то приподнимать на высоту какую-то, то вниз с этой высоты бросать, и замутило страсть как, и забоялся он, как бы всю еду не вырвать — этого еще не хватало! Крутился он и так и этак, чтобы тошноту перебороть, и все же переборол, свернулся калачиком и заснул.

А во сне случилось необыкновенное: ощутил вдруг он на своих губах чьи-то влажные, жаркие губы, и не понять, Зинины ли, Пашины ли? Смешалось все, перепуталось. Только запомнил он, что мешала ему все время рука его раненая...

Утром, как проснулся, вначале и решить не мог, сон ли то был или наяву? И по Пашиному виду не определишь, такая же она, как вчера, простая и приветливая, накрывает на стол завтрак и внимания вроде на Сашку не обращает.

В бутылке самогону оставалось столько же, но перед Сашкой опять стакан полный. Хоть и пить после вчерашнего не хотелось, но как от такой редкости отказаться, когда еще выпить придется, и Сашка стакан ополовинил. А на закуску опять яичница с картофелем да грибки и огурчики!

— Вот, Паша,— сказал Сашка.— Встретились мы случайно и дня вместе не пробыли, а ведь помнить тебя весь век буду...

— Брось заливать-то! Знаю я вас...

— Нет, правда, Паша. Я врать не люблю...— У Сашки приятно кружило в голове — на старые дрожжи и полстакана ударило.

Паша посмотрела на него в упор, задумалась, а потом, отвернувшись, вроде совсем безразлично спросила:

— Может, остаться хочешь? Передохнешь недельку. Фельдшер у нас есть, рану перевяжет.

— Нахлебником, что ли? Нет, Паша... И лейтенанта бросить не могу, вместе должны идти.

— Ну что ж, воля твоя. Насчет нахлебника — ерунда. Недельку тебя покормить мне без труда, одна же я...

— Детей разве нет у тебя?

— Были бы, увидел.

— Я подумал, может, у деда с бабкой. Ты ж на работе, поди, цельный день.

— Нет, не выдались у нас с Максимом дети. Уж кто виноват, не знаю. Раньше переживала, а теперь думаю, к лучшему.

В окошко постучали.

— Наверное, дружок твой, лейтенант этот.— Паша приоткрыла дверь и крикнула:— Заходи!

Володька вошел скромненько, но все же спросил усмешливо:

— Жив мой Сашка?

— Жив! Не съели! Присаживайся. Выпить тебе оставили,— сказала Паша.

— Неужто? Этим Степанида меня не потчевала.

— Не за что было, значит. Сашку благодари. Я бы тебе, зубоскалу, ни столечки не дала.

— Выпей, Володь,— наливая полный стакан и пододвинув его лейтенанту, по-хозяйски предложил Сашка.

— И закусывай,— добавила Паша.

— Спасибо. За ваше здоровье! — Володька опрокинул стакан разом, крикнул, зажевал соленым огурчиком.— Ну как спалось, Сашок? — и подмигнул.

— Хорошо спалось, не волнуйся,— вступила Паша сразу,— и перестань лыбиться.

Лейтенант улыбку спрятал, посерьезнел, и что-то растерянное появилось в глазах.

— Ты, может, остаться решил тут? — спросил он Сашку тихо.

— Нет, Володь. Вместе путь начали, вместе и докончим.

— Если ради меня...— начал было лейтенант, но Сашка перебил:

— Давай собираться,— и поднялся.

— Уже? — потеряннм голосом спросила Паша.— Погодите немного. Соберу чего-нибудь вам в дорогу. Погодите...— стала суетливо в какой-то мешочек холщовый совать вареную картошку, хлеба, сала куски...

Уходил Сашка с тоской... Паша стояла у крыльца и долго провожала их глазами, а они, пока видно было, оборачивались часто и помахивали руками.

— Словно из дому ухожу,— сказал Сашка лейтенанту, когда скрылось совсем приветное это сельцо с хорошим таким прозванием — Прямухино, скрылось навсегда, потому как вряд ли военные Сашкины дороги смогут привести его сюда когда-нибудь. Навсегда ушла из жизни и Паша, оставив только сладкую зарубину в сердце и живое, не проходящее пока ощущение теплоты и уюта.

— Приголубила, значит?

— Не в том дело... Хорошая женщина очень, сердечная. Звала остаться на недельку...

— Я догадался. Чего ж ты?

— Ни к чему это...— в раздумье ответил Сашка, а у самого не сходил с губ обжигающий жар Пашиного рта, и словно слышался ее ночной задыхающийся шепот, выговаривающий какие-то сладкие слова.

Дорога, по которой они сейчас шли, полюднела. Войско, правда, не попадалось, войско-то ночами идет, но отдельные группки военных встречались и машин много туда-сюда сновало. Даже одного мужчину молодого в гражданском встретили, шел в плащике, и на ремешке фотоаппарат болтался, прямо чудно на него глядеть. По их разумению, вся Россия сейчас в шинели да сапоги облачена, но нет, ходят еще мужчины невоенные.

— Ну вот, вроде близится конец нашей одиссеи,— сказал лейтенант.— А если, Сашок, в госпиталь не заходить, а прямо на станцию, на поезд, и махнуть в Москву?

— Нет, Володь, передохнуть нам малость необходимо. Без этого в такой путь трогаться нельзя. Это сейчас тебе, после стопочки да еды хорошей, кажется, что силы есть, а на самом деле...

— Пожалуй, прав ты.

Вообще теперь лейтенант, после рассказа Сашкиного

про немца, почти во всем с ним соглашался и перечил редко. Не стал он спрашивать его и про ночку в Прямухине. Да и не сказал бы Сашка, он про такие дела распространяться не любил и до сих пор не понимал, почему он перед Пашей так открылся и про Зину рассказал.

Хоть и сытые они были, но шли все равно тяжело. Последние километры всегда самые мытарные. Ведь сто верст оттопали, да на таком харче, да раненные, да после передка, на котором ни дня сна настоящего не знали. И если голод сейчас не мучил, то слабость и усталость непроходимая знать о себе давали: дыхание уже сбитое, неровное, ноги пудовые, еле передвигаешь, и одна мечта — завалиться в постель, да не на день, не на два, а на неделю целую и не вставать вовсе.

Раненых на дороге что-то мало было, растеклись по разным путям: кто в Кувшиново подался, кто в Селижарово, да и между этими станциями госпиталей, наверное, полно, туда могли пойти. Но когда железную дорогу перешли, то на тропке, что к госпиталю вела, народу калечного шло много, а у приемного пункта собралось человек тридцать. Шумела братва, торопилась оформиться скорей — время-то к ужину, как бы не опоздать!

Госпиталь оказался большой, корпусов несколько. Непонятно только, что здесь до войны было — больница или дом отдыха?

Всех вновь прибывших в большую залу направили, где были двухэтажные нары сооружены. Места почти все заняты, но Сашка с лейтенантом местечко наверху нашли, притиснулись кое-как и залегли, закурив в ожидании ужина. А здесь-то, в тылу совсем, около железной дороги самой, должны покормить их хорошо. Здесь на распутицу не свалишь!

Лейтенант Володька что-то сдал совсем, почернел даже. Губы кривит, кусает, видать, рана болит очень.

Ужин принесли, и... разочарованный матерок прошелестел по нарам. Две ложки каши — и опять эта пшенка! Если б не ждали здесь еды настоящей, может, и промолчали бы, а так зашумели, галдеж подняли и стали начальство требовать. Сестры на это без внимания — привыкли небось, — но за начальством пошли.

Через некоторое время вошел в палату неведомо кто по должности, но в петлицах две шпалы, майор, значит, поднял руку, крикнул:

— Ша, товарищи, ша! В чем дело?

Но его вид братву не успокоил, а, можно сказать, наоборот, потому как был этот майор с заметным брюшком, лицо было круглое, румяное, чисто выбритое, сытое. Заорали кто во что горазд — и что кровь проливали и жизни ложили, а кое-кто в тылу на казенных харчах морды отъедает... Это уже прямо по майору били, но того это не смутило. Видно, каждая новая партия раненых так шумит, видно, он к этому привычный. И он спокойно, не повышая голоса, будто давно надоевшее, сказал поморшась:

— Ну, тише! Не все сразу. По одному говорите. Кто хочет сказать?

И тут братва замолкла, поджали хвост. Когда миром шумели, все болтать можно, все не страшно, а как поодиночке, пороху не хватило, затихли калечные.

Майор это, конечно, знал, не первый раз такое, и, отвернувшись к сестрам, стал говорить им что-то.

Но здесь Володька-лейтенант выступил (ему же больше всех надо): почему хлеба на завтрак и обед не выдали? Куда их порции хлебные пойдут? Почему такие порции — курам на смех?.. Но майор перебил его сразу:

— Почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда и отправляйтесь.

— Это к делу не относится! — не сбился Володька.— Я на передке из одного котелка с бойцами хлебал, в одной цепи в атаки ходил. Какая разница, где нахожусь? За всех говорю! Почему бардак такой?

Ребята Володьку сразу поддержали, опять шум поднялся, кто-то засвистел даже, кто-то ложкой по нарам застучал — тот концерт...

— Успокойтесь, товарищи! Вы же сознательные бойцы и должны понимать... — и пошел майор про временные трудности говорить, складно говорил, как заученное и много раз повторяемое, а потом ввернул что-то, чего Сашка не разобрал точно, но вроде того, что вы, дескать, сейчас, после передовой и дороги, такие голодные, что и маму родную скушать сможете...

Здесь полетела в него тарелка с верхних нар, близко так пролетела, прямо мимо уха свистнула и о противоположную стенку разбилась вдребезги со звоном. Майор побледнел, глаза выкатил:

— Кто кинул? Отвечать!

У Сашки сердце упало. Почуял он, что кинул тарел-

ку не кто иной, как Володька. Кто другой на такое способен? И верно, услышал за спиной шепот чей-то:

— Вроде лейтенант вмазал...

И в ответ:

— Он самый...

А майор напирал: кто да кто? Появился капитан какой-то, тоже нажал: говорите, кто это сделал?

Тишина стояла такая, что слышно было, как тяжело дышал майор, как тикали на его руке часики. Молчали все. Но это сейчас молчат, подумал Сашка, пока все вместе, табуном, а как будут вызывать по одному, кто-нибудь да расколется, и будет тогда лейтенанту вместо Москвы и отпуска трибунал!

Майор, улыбнувшись презрительно, бросил капитану:

— Трус какой-то схулиганил. Нету мужества сознаться.

Почувствовал Сашка, как Володька рукой его отодвигает, высунуться хочет, но Сашка не сдвинулся в сторону, а, наоборот, прижал его спиной, закрыл и, опережая лейтенанта, выкрикнул:

— Ну, я бросил!

— Вы? — только и сказал майор, подходя к Сашке вплотную и глядя на него снизу вверх не столько зло, сколько удивленно.

— Ну я... А что?

— Вы понимаете, что совершили? — подлетел капитан.

— А чего? Ну, не подумавши, сделал... Так майор тоже, не подумавши, сказал. Значит, квиты,— спокойно так проговорил Сашка и отодвинулся в глубь нар, задвигая собой Володьку, который рычал что-то возмущенно и даже пнул Сашку кулаком в бок.

— Хулиган! — вдруг взвизгнул майор.— Разболтались на передовой! — на что Сашка резанул твердо:

— Передовую не трожьте! Мы на ней Родину защищали! Кровь пролили...

И братва, услышав такие слова, опять заголосила, подняла гомон, поддерживая Сашку.

Майор отошел к капитану, пошептался с ним о чем-то, потом, повернувшись к ним, сказал спокойно и негромко:

— Отдыхайте, товарищи. Спокойной ночи. А вы, сестра,— обратился он к сестрице,— отведите лейтенанта в другую палату.



Володька слез с нар, погрозил Сашке рукой и ушел с сестрой. Ушли и капитан с майором.

Народ опять загалдел, обсуждая происшедшее, кое-кто к Сашке бросился: зачем признался, дурак, судить, мол, могут, да и не ты кинул, а вообще правильно, отъели тут хари... Сашка отмалчивался, а потом сказал:

— Плевать я хотел! Дальше передка не загонят! А меня там и так ждут не дождутся.

Немного погодя вернулся лейтенант и вызвал Сашку на улицу покурить, а там навалился:

— Ты чего вылез? Тебя кто просил? Я сам за себя отвечу! Идем к майору! — и матюгом опять.

— Не суети, Володь. Думаешь, я без ума это сделал? — Сашка положил руку ему на плечо. — Подумал я... Ну, какой с меня, рядового ваньки, спрос? На меня и время тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая и передок. А ты лейтенант. С тобой разговор другой — и разжаловать могут, и под трибунал отдать. Понял? Обдумал я все, ты только не колыхайся.

— Хорошо ты меня понимаешь! Сволочь, значит, я? Ты за меня под суд, а я в кусты! Не пойдет так! — И, вырвав плечо из-под Сашкиной руки, повернулся круто и зашагал куда-то, видно майора искать.

Догнал его Сашка:

— погоди! слышь, погоди! дай досказать-то.

Лейтенант остановился:

— Ну чего?

— Не лезь на рожон. Не суети. Давай так договоримся — уж если на меня начнут дело шить, тогда поступай как знаешь, а пока подождем. Может, обойдется все. Договорились?

— Ну, ладно, если так... — закашлялся опять Володька, скрывая этим свое волнение. — Спасибо, Сашок, — протянул он ему руку и сжал Сашкину до боли.

Когда температуру на ночь мерили, у Сашки вдруг тридцать девять! То ли от раны, то ли от переживаний сегодняшних. Перевели его сразу с нар на койку, в другую комнату, где тяжелые лежали, дали лекарства какого-то...

Три дня провалился он в жару и почти не вставал, но зато в другом пофартило ему крепко. Утром пришел к нему боец оттуда, с нар, и сказал: иди свою пайку получать. Сашка, конечно, заковылял, завтрак получил и съел положенное, а в палату вернулся — ему и тут еда! Не сняли, значит, его с довольствия там, а в этой поста-

вили. И все три дня Сашка двойной порцией пользовался без особого зазрения совести (сколько дней у них с Володькой аттестат не отоваривался) и хлеба даже скопил граммов шестьсот, ну и махорки немного. Подвезло здорово, что ни говори!

Никто его за это время не беспокоил, никуда не вызывали, и он почти и позабыл о происшедшем. С Володькой на дню по несколько раз виделись — то он приходил в Сашкину палату, то на улице встречались. Дни начались погожие, и посиживали они на солнышке, покуривая и строя планы. Решил Сашка твердо тоже домой податься. До Москвы вместе с лейтенантом доберутся, а там уж Сашка один.

Как начнут их эвакуировать в другой какой госпиталь, должны они санкарты свои на руки получить (а этот документ теперь их единственный, без него никуда), и тогда они смогут в любом месте с поезда сойти — и в Калинин, и в Клину, а оттуда до Москвы рукой подать. Правда, врач лейтенанту сказал, что ему необходимо в нейрохирургический госпиталь, где нервы сшивают, а то быть ему без руки, отсохнуть может. Но в Москве-то такой госпиталь обязательно должен быть.

Хоть температура у Сашки давно спала, но из этой палаты, с койки его не переводили, там и оставили. Тоже хорошо, не па нарах, а на постели настоящей полеживает. Еды начало вроде хватать, все же регулярная она, три раза в день, навар хоть и не очень, но хлеба зато по полной норме. В общем, все хорошо бы было, кабы не пришла к нему старшая сестра и не пригласила за собой следовать. Сердце у Сашки екнуло. Надеялся он, что история та с тарелкой забылась, но нет, оказывается. Спрашивать сестру, куда она его ведет, он не стал — и без того ясно.

Шли они долго. Оказывается, тут, вокруг всей станции, госпитали, и вела она его, кажись, в какой-то самый главный корпус. Там поднялись они на второй этаж и подошли к двери без всякой таблички.

Сестра постучалась и ввела Сашку в комнату, где сидел за столом лейтенант, на вид моложавый, не старше Сашки, наверно, чернявый, но глаза светлые и чуть навывкат. Пригласил он Сашку сесть, а сестре наказал в коридоре обожждать. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот в бумаги уткнулся и на Сашку ноль внимания. Проманежил он его так минут пять, если не десять, а потом упер взгляд и гаркнул:

— Фамилия?

Сашка вздрогнул невольно, но ответил спокойно — и фамилию, и имя-отчество, и звание. Лейтенант взгляда не спускал, и Сашка решил, нечего с ним в переглядки играть, и опустил глаза. Лейтенант вроде доволен этим остался и остальное спрашивал уже без крика. Записав все, что положено, лейтенант опять устался на Сашку немигающе и долго молчал, постукивая карандашом по столу. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой, да и не то видал он. Но все же подумалось Сашке, что поробее показаться будет ему на пользу, и он глазами заморгал, носом захлюпал.

— Вы понимаете, что совершили? — наконец строго спросил лейтенант, не отставляя глаз.

— Виноват, товарищ лейтенант... Черт попутал. Не знаю сам, как получилось. Обидно стало, вот вгорячах и махнул этой тарелкой... Но в майора я не хотел. Так, об пол бросил. Звону захотелось...

— Звону захотелось? — вытарашил глаза лейтенант. — Знаете, чем этот звон для вас обернется?

Сашка опять глазами захолопал, на лице жаль соорил.

— Да и врите вы все! — продолжал лейтенант.

— Чест... чистую правду говорю, — поправился Сашка, потому «честное слово» с детства для него свято, не продавал никогда и даже сейчас не мог.

— Не вы это сделали, — огорошил лейтенант Сашку и уперся опять взглядом.

У Сашки упало сердце — неужто продал кто Володьку? Но с виду не смутился, непонимающее лицо сделал и нарочито удивленно протянул:

— Разве не я? Тогда чего меня допрашиваете?

— Вы мне дурочку не валяйте! — прикрикнул лейтенант. — Советую правду говорить.

Сашка лихорадочно соображал: конечно, лейтенант до него кое-кого из ребят спрашивал, может, кто про Володьку и вякнул, но без уверенности. Чтобы все это выяснить, надо долгое дело тянуть, а Сашка тут, на месте, вину свою признает, ни от чего не отпирается. Надо свою линию гнуть, и все! Изобразив на лице покаяние, Сашка пробормотал:

— Чего мне темнить, товарищ лейтенант... Виноват, и все. Если можно простить, простите. А нельзя... ну что

ж, тогда отвечать буду. Сгоряча только это сделано... в лихорадке. У меня ж тридцать девять и пять было...

— Знаю,— сказал лейтенант.— Но отвечать придется,— он поднялся.— Можете идти.

— Совсем? — вскочил Сашка радостно.

— На днях вызову. Подумайте за это время, стоит ли на себя чужую вину брать.

— Есть подумать! Только вина-то моя, никуда не денешься.

— Идите.

Старшая сестра, когда Сашка вышел, посмотрела с любопытством и вроде хотела спросить его что, но поостереглась, ведь от начальника Особого отдела выходил Сашка, особенно не поспрашиваешь.

Володьке, конечно, Сашка про это ни звука.

День прошел, другой, а Сашку не вызывают... Что ни говори, на сердце все же скребло. Пусть трибунал сейчас, в войну, и не страшный, потому как все сроки передовой заменяют, а там-то — до первой крови, как ранило, так и искупил свою вину, а от передка Сашке все равно никуда не деться, как рана заживет, так и айда т у д а! Но посадывало на душе противно — сроду Сашка ни под каким судом-следствием не был, а вот довелось, кажись...

Но о сделанном он не сожалел. Он себя благоразумней Володьки считал и похитрее, может. Тот бы с этим лейтенантом из Особого схватился бы сразу, начал правоту свою доказывать, а еще, не дай бог, если б лейтенант ему чего грубое врезал, и за пистолет схватился. Он такой, Володька этот, сперва патворит чего, а потом подумает.

Вообще пистолет этот покоя Сашке не давал. Сколько раз говорил он лейтенанту: брось ты его к лешему, зачем он тебе сейчас? А Володька только лыбился в ответ — я, говорит, с детства оружие всякое обожаю, сколько пугачей у меня было, не перечести, а перед армией раздобыл «смитт-вессон» настоящий, а за этим «вальтером» я, говорит, полночи по полю боя полз к фрицевскому офицеру убитому, ни в жизнь не брошу! Чудак, право. А при его характере разве можно ему оружие в кармане иметь?

Через пару дней вызвали Сашку опять... Шел он с сестрицей к тому корпусу, и на душе было смутно, кое-какой страшок примораживал сердце, только одно легчило: может, выяснится все окончательно, неизвестность-то хуже всего.

Лейтенант принял его спокойно, спросил даже, как он себя чувствует, нет ли температуры. Сашка ответил, что температура нормальная и чувствует себя ничего, отоспался чуток, передохнул, хотя со жратвой пока не хватает, не хватает пока еды.

— С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы?

— Нет. В пути познакомились, — ответил с беспокойством Сашка.

— Так... — протянул лейтенант, поглядывая на Сашку как-то раздумчиво и с некоторым любопытством, без напора и зла. — Значит, только по дороге познакомились?

— Да.

— Дальше идти можешь? — перешел вдруг лейтенант на «ты».

— Куда это? — удивился Сашка.

— Ну... в другой какой эвакуогоспиталь. — Тут еще больше удивился Сашка — к чему это лейтенант клонит и как на это отвечать?

— А зачем, товарищ лейтенант? — закинул осторожно Сашка.

— А затем, — постукивая карандашом и глядя на Сашку, сказал лейтенант, — чтоб духу твоего здесь не было! Понял?

— Понял! — радостно воскликнул Сашка. — Я, товарищ лейтенант, домой задумал, мать повидать, пока вне строя. С тридцать девятого служу. Значит, можно?

— Держи свою санкарту и мотай куда хочешь — домой ли, в другой госпиталь, но чтоб я тебя здесь больше не видел. Ясно?

— Ясно, товарищ лейтенант! Значит, не будут меня судить?

— Я сказал — мотай, да поскорей. И без болтовни. По-тихому.

— Понятно! Сегодня после обеда и махну.

— И смотри, — погрозил лейтенант рукой, — чтоб таких эксцессов больше не повторялось. Скажи своему лейтенанту. Распустились там, думаете, все теперь можно... Иди.

Сашка подскочил резво, повернулся по-строевому, но когда из дверей выходил, улыбку спрятал и к сестре подошел с видом безразличным. Зато к лейтенанту Володьке мчал на рысях.

Хоть и понял Сашка по последним словам лейтенанта, что догадался тот про Володьку, но, видно, Сашкино

дело ему было легче закрыть, потому и не стал особо разбираться, только дал Сашке понять напоследок, что правду-то он знает, что обвести его Сашке не удалось. Да неважно это, главное, закончилось все благополучно.

— Понимаешь,— говорил он Володьке, отведя того в сторону,— я с лейтенантом этим осторожненько беседовал, покаяться, как положено, все тихо, мирно, вот он и отпустил. А ты бы на басах начал, знаю я тебя, и все дело испортил.

Володька хлопнул его по спине сильно, даже покачнулся Сашка, закашлялся опять, хотел было что-то сказать, но, махнув рукой, отвернулся, потер глаза и только потом, немного успокоившись, сказал дрогнувшим голосом:

— Я, Сашка, ничего не боюсь — ни трибунала, ни передка, но, когда бросил эту тарелку, опомнился — мать же меня ждет, а я по своей глупости встречи ее лишаю. Ведь ребята мои наверняка отписали ей, что ранило меня, мы ж там адресами менялись. И будет она меня ждать... Да что говорить, должник я твой на всю жизнь...

— Чего там,— махнул рукой Сашка,— обошлось, и ладно.

— Я к врачу побегу за санкарточкой. Вместе отсюда и смогаемся,— и убежал.

А Сашка, завернув сигарку, закурил неспешно, и легко у него на душе, спокойно. Что ни крути, а история эта нервишек стоила, если по-честному, то совсем не «наплевать» было Сашке.

Вскоре вернулся Володька, расстроенный и обескураженный — не дал ему врач санкарту, не отпускает,— и опять матюжком зашелся. Тут Сашка не выдержал, давно на языке вертелось:

— Что ты, Володь, все матом и матом? Я из деревни и то такого не слыхивал. Нехорошо так, к каждому слову.

Лейтенант рассмеялся:

— Прав, Сашок, нехорошо. Но я ж с Марьиной Роши...

— Что это за роща такая? — удивился Сашка.

— Район такой в Москве... Понимаешь, со шпаной приходилось водиться. А с ней — кто позакovskyристей завернет, тот и свой в доску... А вообще-то я сын интеллигентных родителей...

— Я и вижу, не идет к тебе мат.

— Знаешь что, черт с ней, с этой санкартой, мотанем без нее!

— Нет уж, Володь, больше глупостей я тебе делать не дам. Хватит,— солидно так произнес Сашка.

Лейтенант опять рассмеялся и хлопнул Сашку по плечу:

— Во каким командиром стал, Сашок...

— Не командиром, а постарше я тебя на два годика. Ты жеребчик еще не объезженный, горячий больно, а я в жизни поболее тебя видал, потому и...

— Ладно,— перебил Володька,— согласен. Прав ты, как всегда.

— Придется нам расставаться, Володь, ничего не поделаешь.

Тогда нацарапал на бумажке лейтенант свой адрес московский и наказал Сашке обязательно к его матери зайти и все, все рассказать подробно. В крайнем случае, опустить его письмо в Москве, если какие-то обстоятельства зайти помешают. Потом полез в карман, вытащил пачку тридцаток и сунул Сашке в руку, да так решительно, что тот отказываться не стал, все равно без толку. Таких деньжищ Сашка не только никогда не имел, но и в руках не держал, только что они теперь? Хотя буханки две хлеба купить, наверно, можно?

В палате Сашка свои запасы переглядел — не густо. Хлеба четыре пайки, несколько кусков сахара сэкономленных, ну и махорка... На первое время хватит. Продаттестата лейтенант из Особого Сашке не выдал, и из этого выходило, что отпустил он Сашку не совсем официально, а, видать, на свой страх и риск. За это, конечно, Сашка ему благодарен по гроб жизни, но на продпункты ему рассчитывать нечего. И решил он пойти на поле и картошки накопать да лепехи на всякий случай напечь, какое-то НЗ себе на дорогу сотворить.

Поле было недалеко, и раненых там копошилось порядком. Не хватало ребятам жратвы, особенно в первые деньки, вот и добывали себе доппаек. Кто неделю-полторы пробыл, те не копали. Все же еда три раза, жить можно, с передком не сравнить.

Накопал себе Сашка клубней, примостился к одному костерику, где братва себе лепехи жарила, и, когда кончили они, стал сам кухарничать. Сольцы-то на кухне спроворил.

Уходить он после обеда надумал — надо же последнее казенное питание использовать. Поскольку вещевого мешка у него не было, сгодилась Пашина котомка, в которую и уложил свои запасы, а укладывая, Пашу вспомнил, и

вдруг подумалось: а что, если ночь та с последствиями окажется, вдруг забеременеет Паша? А он и знать не будет, что станет у него сын или дочь в какой-то деревне Прямухино... Даже фамилии Пашиной не знает, и письма не напишешь... И решил он твердо: жив останется, обязательно в это Прямухино приедет, навестит Пашу. И, если взаправду ребенок у него окажется, тогда... тогда думать надо, что делать. Может, и женится на ней, если Максим ее не вернется.

Но это, если жив останется... Конечно, надежду на это Сашка никогда не терял — так уж устроен человек, — даже в самые лихие минуты. Но, если по-трезвому разобратся, война долгая предстоит и надежи на жизнь маловато... Ладно, чего об этом думать.

После обеда (а в обед ему повезло, один тяжелораненый от супа отказался и Сашке отдал) собрал Сашка нехитрые свои пожитки и тронулся в путь-дорогу. Лейтенант Володька, конечно, пошел проводить его до станции.

Шли молча... Какие слова, когда навек расставаться приходится. Вот так на войне... Потому и дороги встречи с хорошими людьми, потому и горьки так расставания — навсегда же! Если и живыми останутся, то все равно вряд ли сведет их опять судьба, а жаль...

Лейтенант губы кривил, покашливал всю дорогу, глаза протирал... Нервишки у него совсем разошлись от болей постоянных, да и с Сашкой, видать, расставаться не хочется... Вот и станция близко. Остановились они. Целоваться, конечно, не стали — мужчины же, — но приобняли друг друга здоровыми руками, похлопали по спинам и... разошлись.

Опять обездомел Сашка... Вышел к станции, поездов уйма. Надо разобраться, который куда, а то ненароком обратно к фронту поедешь. Тут эшелон подошел. Красноармейцы в вагонах чистенькие, обмундирование новенькое, оружие блестит, лица румяные, сытые, и к Сашке: как там немец, браток? Табачку предлагают. От табака Сашка не отказался, а на вопросы отвечал уклончиво, дескать, приедете на фронт, сами немца пощупаете, но вообще-то немец уже не тот, приослаб малость, но кусается еще, гад, крепко.

Тут какой-то состав буферами лязгнул, и Сашка, не теряя времени, вскочил на тормозную площадку и ребятам в эшелоне помахал рукой — счастливо воевать, братва! — и разъехалась.

И пожалел их Сашка от души — что-то ребят ждет,



какие бои предстоят, какие деревни ржевские будут брать?

Колеса застучали чаще, поезд ходу дал, и мелькнули слева здания, где госпиталь расположен, где Володька-лейтенант остался, а дальше пошли места уже незнакомые — леса, поля, перелески... По этой дороге Сашка и на фронт ехал, но проезжал ночью, потому и не видел Торжок разбомбленный, который к концу дня проплыл мимо, краснея развороченными кирпичами, будто ранами. Поезд постоял тут немного, и Сашка прошелся вдоль вагонов в надежде место поудобней найти, в какой вагон забраться, но вагоны закрыты все были, и пришлось опять на площадку.

Ночь застала Сашку в пути. Не повезло. Площадка эта тормозная почему-то без скамейки была, днем-то Сашка на ступеньках посиживал, а ночью того не сделаешь, чего доброго, задремлешь и загремишь вниз под насыпь. Приспособился он прямо на полу, но тряска в руке такой болью отдавала, что заснуть не вышло, так, дремалось чуть. И тьма кромешная вокруг (маскировка же везде) тоску нагоняла в душу, и одиноко стало Сашке, о Володьке сразу вспомнилось — как хорошо вдвоем-то было, прижались бы друг к другу, согрелись, ну и разговором тоску разогнали, путь скоротали.

К Калинину подъехал состав на рассвете, но от вокзала остановился далеко, и пошел Сашка по путям к станции. Здесь и пассажирские поезда стояли, возможно, ходят они до Москвы, тогда бы по-людски поехал, в настоящем вагоне — не в телятнике, не на площадке.

На вокзале народу много — и военных, и гражданских, — хоть время и раннее. Тут, наверно, и кипятком разжиться можно, а хорошо бы, иззябься Сашка за ночь основательно. С кипятком и хлеба можно пожевать — лепехи-то картофельные, НЗ свой особый, Сашка по дороге улопал, не сдержался.

Люди на станции, хоть и занятые своими делами, на Сашку все же кидали любопытные взгляды. Тут таких — прямо от туда, войной перемолотых — вроде не было. Красноармейцы все справные, в обмундировании хорошем, а то и новом. Сашке даже малость неудобно стало, что грязный он такой да оборванный. Хорошо еще, что после бани и прожарки одежды насекомых на нем помелю, но все же, заразы, дают о себе знать — покусывают. Поэтому выбрал он себе местечко в стороне, побезлюдней где. Там кипятку и попил. Пришлось два кусочка

сахара употребить и одну пайку хлеба съесть — большего он себе не позволил.

Узнал Сашка, что пассажирский поезд на Москву, точнее, до Клина только, пойдет в середине дня. Времени еще много, можно поспать маленько, передохнуть. В Клину, сказали, надо на другой поезд пересаживаться, хорошо бы так угадать — приехать в Клин и сразу на московский пересесть, но это как случится, расписания твердого нет, и никто того не знает.

Хоть и погрелся он горячей водицей, но озноб не проходил. Может, опять жар поднялся. Тяжесть в теле его не оставляла, и рука, конечно, побаливала. Завернул он самокрутку (с табачком у него пока порядок), прикурил у кого-то — «катушечку» свою первобытную вынимать здесь стыдно, — затянулся во всю мочь, глаза прикрыл... Сколько же ему отдыхать нужно, чтобы эту ослабу перестать чувствовать. Неделю, две, а может, и месяц целый?

Так и задремал он с сигаркой непотухшей, и вдруг перед ним словно наяву лицо Зинино и голос ее ласковый: «Родненький». Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье, да не одно, а два целых. Очнулся Сашка совсем и увидел, наклонились над ним две девчушки в военной форме, и одна осторожненько так до его плеча дотронулась и сказала:

— Извините, что разбудили вас, но у нас поезд вот-вот уходит... Вам хлеба не нужно?

— Что? Хлеба? — встрепенулся Сашка. — Сколько стоит? — и полез в карман, зашелестел Володькиными тридцатками.

— Что вы? — улыбнулась другая. — Не продаем мы, что вы! Мобилизованные мы, из Москвы в часть едем. Ну, нам наши мамы на дорогу дали продуктов разных, а мы тут в продпункте еще получили. Куда нам столько? Ну, мы и решили... Вы с фронта же? — робко спросила под конец.

— С фронта.

— Мы видим, раненый... Ну вот и хотим с вами поделиться...

Тут у Сашки комок к горлу, глаза повлажнели, как бы слезу не пустить сейчас перед девчатами, еле «спасибо» выдавил.

— Мы принесем сейчас! — сказали девушки и убежали.

Слава богу, дали время в себя прийти. Скривился Сашка, будто от боли, подбородок свой небритый в кула-



ке мнет, глаза протирает, чтоб не заметили девчушки его состояния, когда вернутся... Неудобно же, фронтовик он, боец...

Они прибежали скоро — ладные, раздумянные от бега, пилотки у них чуть набекрень, талии осиные брезентовыми красноармейскими ремнями перетянуты, шинельки подогнаны, и пахнет от них духами, москвички, одним словом... Принесли Сашке кружку кипятку, в кото-

рую при нем сахара куска четыре бухнули, буханку хлеба серого московского, точнее, не буханку, а батон такой большой, несколько пачек концентратов из вещмешка достали (причем гречку!) и, наконец, колбасы полукопченной около килограмма.

— Вы ешьте, ешьте...— говорили они, разрезая батон, колбасу и протягивая ему бутерброды, а он от умиления и расстройства и есть-то не может.

А тут сели они около Сашки с обеих сторон. От одной отодвинется — к другой вплотную, как бы не набрались от него. И ерзал Сашка, а им, конечно, и в голову не приходит, чего он от них все двигается. Хлопочут около Сашки, потчуют — одна кружку держит, пока он за хлеб принимается, другая колбасу нарезает в это время. И вет от них свежестью и домашностью, только форма военная за себя говорит — ждут их дороги фронтовые, неизвестные, а оттого еще милее они ему, еще дороже.

— Зачем вы на войну, девчата? Не надо бы...

— Что вы! Разве можно в тылу усидеть, когда все наши мальчики воюют? Стыдно же...

— Значит, добровольно вы?

— Разумеется! Все пороги у военкомата оббили,— отвстила одна и засмеялась. — Помнишь, Тоня, как военком нас вначале...

— Ага,— рассмеялась другая.

И Сашка, глядя на них, улыбнулся неволью, но горькая вышла улыбка — не знают еще эти девчущки ничего, приманчива для них война, как на приключение какое смотрят, а война-то совсем другое...

То ли заметили девушки в Сашкиных глазах горечь, то ли просто так, но смех вдруг сразу оборвали, а потом одна из них спросила тихо:

— Вас сильно ранило?

— Да нет. Двумя пулями, правда, но кость не задетая.

— А немцев вы видели? — спросила другая.

— Как вас сейчас.

— Неужто? Так близко?

— Куда ближе... Дрался я с ним... в плен брал.

— Он вас и ранил?

— Нет, меня снайпер подцепил.

У девушек глаза расширились, и как-то по-другому оглядели они Сашку и остановили взгляд на его ушанке, пулей пробитой. Сашка улыбнулся, снял шапку.

— Вот видите, чуть пониже и...— сказал, не рисуясь, просто.

Девушки замолчали, обдул, видно, холодок души, приморозил губы.

Потом одна из них, глядя прямо Сашке в глаза, спросила:

— Скажите... Только правду, обязательно правду. Там страшно?

— Страшно, девушки,— ответил Сашка очень серьезно.— И знать вам это надо... чтоб готовы были.

— Мы понимаем, понимаем...

Поднялись они, стали прощаться, поезд их вот-вот должен отойти. Руки протянули, а Сашка свою и подать стесняется — черная, обожженная, грязная,— но они на это без внимания, жмут своими тонкими пальцами, с которых еще маникюр не сошел, шершавую Сашкину лапу, скорейшего выздоровления желают, а у Сашки сердце кровью обливается: что-то с этими славными девчушками станется, какая судьба их ждет фронтовая?

И вот опять прощание с людьми хорошими... Сколько их на Сашкиной дороге за последние дни было? И со всеми навсегда расставался. Только и знает, что Тоней одну зовут, а ведь в сердце навсегда останутся.

Он смотрел им вслед, на фигурки их легкие, и опять комок к горлу подошел: милые вы девчухи, живыми останьтесь только... ж и в ы м и... и непокалеченными, конечно... Это нам, мужикам, без руки, без ноги прожить еще можно, а каково вам такими остаться?..

Вскоре и Сашкин поезд на посадку подали. Народу около вагонов невпроворот, около дверей толчея невообразимая. В самую гущу лезть Сашка поостерегся — как бы руку раненую не замаяли, но, когда двери отворили, завертело его, закружило и вынесло к площадке, а там и в дверь воткнулся и даже место сидячее прихватил.

Вначале пытался в окна глядеть — интересно же, места новые,— но окна немые, небо с самого объявления войны, ничего через их муть не разглядишь, да и поезд больше стоял, чем ехал, а через мосты вообще полз еле-еле — разрушено все и, видно, на скорую руку восстановлено. Поэтому уходил Сашка в дремь часто, досыпал за ту ночь, которую на площадке мытарился. Ехали они до Клина до самого вечера, а всего тут восемьдесят километров.

В Клину поезд московский уже стоял на платформе, но народу около него толкалось поболее, чем в Калинин, не пробиться ему с его рукой, подумал Сашка, но тут кто-то крикнул: «Раненого пропустите! Иди, парень!» — и

расступились люди, дали пройти Сашке к самым дверям. Приметил он, чем дальше от фронта, тем к раненым сочувствия больше. Это и понятно, пореже их тут встречается.

В общем, досталось Сашке лежачее место, да не на третьей полке, которая для багажа, а на второй, откуда и в окошко смотреть можно и дышать легче.

Растянулся Сашка... Хотел было котомочку Пашину под голову положить, но отставил — хлеб примять можно и батон тот серый, что девчата дали. Прошлось по душе теплом, вспомнил девчушек этих милых. С такими припасами дорога ему не страшна, суток на пять хватит, если с умом пользоваться.

В вагоне было тепло, от народа, конечно, и снял Сашка свою телогрейку, всякие виды выдавшую, под голову положил. Гимнастерка суконная у него совсем приличная, на формировании даденная, только рукав попорчен, и почувствовал себя Сашка по-другому, словно приоделся. Брюки ватные, конечно, никуда не годятся, на коленках дыры, вата торчит, во многих местах сожженные, но что поделаешь, с передовой же он...

Когда сигарку завертывал, с нижнего места пожилой один, рабочий с виду, попросил у Сашки:

— Махорочкой не богат, солдат?

— Угощу,— ответил он охотно, но обращение такое его удивило немного — какой он солдат? Боец он Красной Армии!

Разговорились за куревом... Спросил тот, где воевал Сашка, большие ли бои были. Сашка распространяться особо не стал — были бои местного значения, но досталось все же. Рабочий головой покачал и повторил:

— Местного значения, говоришь? Это, значит, техникой не баловали, больше на винтовочку небось надеялись? Так ли я понимаю — бои местного значения?

— Об этом, папаша, не положено. Что было, то было... Но угадал почти.

Рабочий усмехнулся:

— Угадать не сложно. Достаточно на тебя посмотреть. А как кормили-то?

— Распутица...

— И это понятно,— усмехнулся опять попутчик, но тему переменял.

О филичевом табаке заговорил, который выдают им сейчас вместо папирос и махорки и который табак не табак, а не поймешь что, действия никакого и удовольствия

тоже, только дым один. То ли дело настоящая «моршанская», закончил он и со вкусом затынулся.

Потом спросил он Сашку, куда тот путь держит. Сашка ответил, но зевота его одолевала, так хорошо на верхней полке в тепле и сухости, что сосед, видя это, разговор прекратил, а Сашка заснул сразу, будто провалился.

И только под утро выдался ему сон: идет он с Зиной по полю тому овсянниковскому, но нет на нем ни воронок, ни трупов, ни танков сожженных, а чистое оно и зеленое от озими, но перегораживает его почему-то речка какая-то, и до самого Овсянникова не дойти, а так охота туда добраться, самому посмотреть и Зине показать, как там немцы устроились, почему взять его не удалось, но речка не пускает... Тут его и разбудил сосед:

— Знаешь что, сынок? Ты лучше до самой Москвы не доезжай. Здесь сойди.

— Почему же?

— Проверка документов на вокзале...

— Ну и что? У меня санкарта законная. Все заполнено — где ранило, какие эвакуогоспитали проходил... Печати везде...

— Да я в том не сомневаюсь. Но все равно задержать могут и в военно-пересыльный пункт направить. А оттуда сунут в госпиталь, домой и не попадешь. Тебе мой совет — сходи в Останкино, это Москва уже, только окраина. Там на трамвай сядешь и куда хочешь доберешься. Тебе с Казанского надо? Так вот, туда тоже не ходи, а доезжай до Москвы-третьей, что ли, а там уж на любой поезд, что в твою сторону. Понял меня?

— Понял. Спасибо за разъяснения. Мне, конечно, в пересылку ни к чему...

Поезд уже замедлял ход перед этим Останкином, и Сашка слез с полки, угостил рабочего табачком напоследок и, наскоро попрощавшись, двинулся к выходу.

— Счастливого тебе пути, солдат. И главное — живым остаться, — услышал он вслед.

В проходе толпилось чуть ли не полвагона, многие здесь выходить надумали, наверное, все те, кому проверка документов ни к чему, а поезд стоял недолго, и Сашка уже на ходу выпрыгнул.

Постоял он на перроне, огляделся — неужто Москва, столица Родины! Думал ли он, гадал там, под ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз, думал ли, гадал, что живым останется и что Москву увидит?

Прямо диво случилось, и не верится, наяву ли?

И это ощущение чуда не покидало Сашку, пока шел к трамвайному кругу, обгоняемый спешащими на работу людьми, людьми самыми обыкновенными, только не для Сашки, потому как были они в гражданском — кто в пиджаках, кто в куртках, кто в плащиках,— и в руках у них не оружие, а у кого портфели, у кого свертки, и у каждого почти утренняя газетка из кармана торчит.

Ну, а о женщинах и девушках и говорить не приходится — стучат каблучками туфелек, кто в юбке и кофточке, кто в платьице пестром, и кажутся они Сашке нарядными, праздничными, будто из мира совсем другого, для него почти забытого, а теперь каким-то чудом вернувшегося.

И странно ему все это, и чудно — словно и войны нет никакой!

Словно не бушует, не обливается кровью всего в двухстах верстах отсюда горящий, задымленный, в грохоте и в тяготе фронт...

Но чем разительней отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что было там, тем яснее и острее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь, тем значительнее виделось ему его дело там...

И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной, обожженной телогрейки, своей ушанки простреленной с торчащими клоками ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью обмоток и даже «катюши» своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.



## ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ

---

**К**огда Володька-лейтенант вскарабкался на заднюю площадку трамвая, все шарахнулись от него в сторону, и он, поняв причину этого, сразу же озлился и настроился против публики.

Правда, какая-то женщина поднялась, уступая ему место.

— Садитесь, товарищ военный...— Но он глянул на нее такими мертвыми глазами, что она, вздрогнув, пробормотала: — Господи, а такой молоденький.

Да, видать, нечасто видели в Москве вот таких — прямо с передовой, обработанных и измочаленных войной, в простреленных, окровавленных ватниках, в прожженных, заляпанных двухмесячной грязью сапогах... И на Володьку смотрели. Смотрели с сочувствием. У некоторых пожилых женщин набухали слезы, но это раздражало его — ну чего вылупились? Не с тещиных блинов еду. Небось думаете, что война — это то, что вам в кино показывали... Особенно раздражали его мужчины — побритые и при галстучках.

Когда он сел на уступленное ему место, соседи заметно отодвинулись от него, и это добавило раздражения — видите ли, грязный он больно... Так и сидел, покусывая губы и не глядя на людей, пока не почувствовал себя так неудобно — разве таким он мечтал вернуться в Москву, — что, рванув борт ватника, приоткрыл висевшую на гимнастертке новехонькую медаль «За отвагу» — нате, глядите! А то грязь и кровь приметили, а на награду ноль внимания! И, быстро встав, прошел на площадку, толкнув не совсем случайно хорошо одетого мужчину с портфелем и при галстукке.

Уткнувшись в окно, он глядел, как проплывают мимо знакомые московские улицы, но все еще не мог пред-



ставить реально, что это московские улицы, что он живой и едет домой...

И только тогда, когда трамвай остановился на его остановке, почти у самого его дома, что-то дрогнуло в душе. Значит, это правда! Он дома! И все позади...

Он вылез из трамвая, но не побежал, шалея от счастья, а, наоборот, даже приостановился, приглядываясь к родной улочке, и, лишь увидав свой дом — целый и не-

вредимый, лишь больше прежнего обшарпанный, с грязными, видать, давно не мытыми окнами, с выпавшими кое-где глазурированными кирпичиками у подъезда,— он вдохнул, выдохнул и ощутил, что с этим выдохом уходит из души то невероятное, предельное напряжение, в котором жил он те страшные, ржевские месяцы.

Не то всхлипнув, не то застонав, он побежал. И на третьем этаже, около двери своей квартиры, стоял не тот отчаянный, шальной лейтенант Володька, пехотный ротный, поднимавший людей не в одну атаку, выпученных, бешеных глаз которого боялись не только обычные бойцы, а даже присланные к нему в роту урки с десятилетними сроками, а стоял намученный, издерганный донельзя мальчишка, для которого все пережитое подо Ржевом было непосильно трудно, как ни превозмогал он себя там, как ни храбрился...

— Господи, что с тобой сделали! — услышал он откуда-то издали голос матери, а на своем жестком, неделю не бритом лице ощутил ее слезы.— Ты живой! Живой! — бормотала она, не обнимая, а ощупывая его всего, словно стараясь убедиться, что это он, ее сын.

— Живой, мама... Только очень грязный,— наконец-то нашел силы ответить Володька и тихонько отстранился от матери, когда почувствовал ее пальцы на том месте своего ватника, где были зажухлые пятна крови.

Он отступил от матери и начал снимать его.

— Я помогу тебе,— заспешила она.

— Нет, нет... Я сам.— И стал стаскивать ватник, освободив руку от косынки.— Куда бы его деть?

— Я отнесу в чулан.— Мать протянула руки.

— Я сам, мама,— отдернул он ватник от нее и вышел из комнаты.

Когда он вернулся, она спросила:

— У тебя тяжелое ранение?

— Нет.— И этот ответ не обрадовал ее. Она как-то спикла и прошептала:

— Значит, ты ненадолго?

— Да, мама, наверно, ненадолго...— Он присел на диван и стал оглядывать комнату, и только тут мать обратила внимание на его медаль.

— У тебя награда! За что?

— За войну, мама,— ответил он довольно безразлично.

— Я понимаю... Но чем-то ты ее заслужил.

— Там, где я был, все заслужили... Только давать уже было некому.

— Почему некому? — спросила она с беспокойством, но, когда Володька в ответ пожал только плечами и нахмурился, поняла.

После недолгого молчания он глухо произнес:

— Мама, у нас нет водки?

— Нет, Володя. Но я сейчас сбегая к соседям. У кого-нибудь да найдется, и мне не откажут...

Потом, когда мать согрела в ванной колонку, он залез в горячую воду, все еще ошеломленный тем необыкновенным происшедшим с ним рывком из одного пространства в другое. Всего неделю тому назад была развороченная снарядами передовая, где Москва, дом представлялись ему чем-то таким далеким, недоступным, не существующим вообще. И вот — дом, его комната, мать, зовущая его к столу, а на столе — варенная в мундире картошка, тоненькие ломтики черного хлеба, бутылка водки и... банка шпрот.

И даже это скудное, что было на столе, поразило его:

— С едой, значит, у вас не так плохо, — вырвалось у него.

— Нет, Володя, очень плохо... Кончилась крупа, и вот пришлось прикупить на рынке картошки, а она стоит девяносто рублей килограмм. Мне пришлось продать серебряную ложку. Ну, а шпроты еще с довоенных времен храню.

— Мама, — полез Володька в карман гимнастерки, — вот деньги. Много, три моих лейтенантских зарплаты.

— Сколько же это?

— Много. Около двух тысяч.

— Спасибо, Володя. Я положу их здесь, на столик... Но, увы, это совсем не так много, как ты думаешь.

— Две тысячи немного? — удивился он.

— Да. Садись, Володя.

Он сел, налил себе полный стакан, и мать широко раскрыла глаза, когда он сразу, одним махом, не поморщившись, выпил его, а потом стал медленно, очень медленно, как ели они на передовой, закусывать.

— У тебя очень странные глаза, Володя, — сказала мать, тревожно вглядываясь в его лицо, видно ища те изменения, которые произошли с сыном за три года.

— Я ж выпил, — пожал он плечами.

— Ты с такими пришел... Они очень усталые и какне-

то пустые. Такие пустые, что мне страшно в них глядеть... Почему ты ничего не рассказываешь?

— Что рассказывать, мама? Просто война...— И он продолжал долго прожевывать каждый кусок, и поэтому мать догадалась:

— Вы голодали?

— Да нет... Нормально. Только вот странно есть вилок, — чуть улыбнулся он, впервые за это время.

Они долго молчали, и Володька непрерывно ощущал на себе тревожный, вопрошающий взгляд матери, но что он мог ей сейчас сказать? Он даже не решил еще, о чем можно говорить матери, а о чем нельзя, и потому налил себе еще полстакана, отпил и молча закусывал.

— Мама, что с ребятами? И школьными и дворовыми? — наконец спросил он.

— Кто где, Володя... Знаю, что убит Галин из твоего класса и погибла Люба из восьмой квартиры.

— Люба? Она-то как попала на фронт?

— Пошла добровольно...— Мать взглянула на него и продолжила: — А ты?..

Володька не отвечал, уткнувшись в тарелку.

— Меня это мучает, Володя. Одно дело — знать, что это судьба, другое, когда думаешь — этого могло и не быть. Ты молчишь?

— Это судьба, мама, — не сразу ответил Володька.

— И ты не писал рапортов с просьбами?..

— В начале войны мы все писали. Но это не сыграло роли... Не сыграло...— Володька видел, что мать не поверила ему, но сказать правду он не мог.

Спустя немного мать робко спросила:

— Ты, наверное, Юлю хочешь увидеть?

— Нет... Пока нет, — не сразу ответил он.

— Как началась война, она почти каждый день прибегала ко мне. Мы вместе ждали твоих писем, вместе читали... По-моему, Володя, в том, что она так долго не писала тебе, нет ничего серьезного. Просто глупое, детское увлечение. Она совсем еще девчонка. Вы должны увидеться, и ты... ты должен простить ее, — сказала мать, видимо придавая большое значение этому, надеясь, что Юля как-то поможет сыну прийти в себя.

— Что простить? — равнодушно спросил Володька.

— Ну... ее долгое молчание, — немного растерялась мать.

— Это такая ерунда, мама, — махнул он рукой.

— Но ты как будто очень переживал ее молчание?

— Когда это было? Теперь все это...

Мать опять пристально поглядела на него — такого сына она не знала и не понимала. Он стал другим.

— Где Сергей?

— Сережа в Москве. У него белый билет после ранения на финской... Ему я очень обязана, Володя. Он устроил меня надомницей. Видишь, я шью красноармейское белье и получаю рабочую карточку. А до этого целый месяц была без работы. Наше издательство эвакуировалось, ну, а я не поехала. Все время думалось... вдруг ты попадешь каким-то случаем в Москву...

Володька поднялся, подошел к дивану.

— Я прилягу, мама...

— Да, да, конечно, тебе надо отдохнуть,— заторопилась она, укладывая подушки.

— Пока я никого не хочу видеть, мама. И Юльку тоже.— Он зевнул и растянулся на диване.

Но с Юлькой он увиделся в тот же день, точнее, вечер. Она пришла, когда он только что проснулся, и, услышав два звонка, уже понял, что это Юлька. Он закурил и, не вставая, напряженно уставился на дверь. Он слышал, как топают ее каблучки по коридору, как здоровается она с матерью, как приближаются ее шаги к комнате. И вот...

Юлька впорхнула и, увидев Володьку, отпрянула назад, потом охнула, всплеснула руками и замерла, а в ее глазах вместе с удивлением, радостью мелькнуло какое-то отчаяние.

Он нарочито не спеша поднялся с дивана и начал натягивать вымытые уже матерью свои кирзашки, которые и сейчас выглядели неприглядно, потом так же нарочито медленно сделал шаг к Юльке и остановился.

— Володька... ты? Господи, так и умереть можно. Твоя мама ничего не сказала... Когда ты приехал?

— Утром.

— Ты ранен?.. И у тебя медаль! Я знала, что ты будешь хорошо воевать... Господи, я не о том... Ты надолго?

— Ну проходи, раз появилась. Нечего в дверях стоять.

Юлька изменилась. Нет, она не выросла и не попышнела телом. Только не стало смешных, нелепых косичек, а была короткая стрижка «под мальчику», были чуть

подкрашены губы, и были серьезные, очень серьезные глаза.

— Я пройду...— сказала она, но продолжала стоять в дверях.— Господи, что я натворила! Ты надолго?

— Не знаю... Проходи.

Юлька как-то неуверенно подошла к нему, остановилась, словно ожидая чего-то, но Володька только протянул ей руку и довольно грубовато сказал:

— Ну садись. Рассказывай, чем занималась, пока я ишачил в училище и ждал твоих писем?

— Володя, это потом... Это не главное. Я принесу тебе такую черную тетрадочку, там все описано, и ты... ты поймешь. Это была глупость, Володя, страшная глупость...

— Что же не глупость? — хмуро спросил он.

— Сейчас не могу... Ты меня убьешь.

— Не очень-то я походил на Отелло,— усмехнулся Володька.

— К сожалению, да...— Юлька вытащила из сумочки папиросы, спички и закурила.

— Это что за новость? А ну, брось! — почти крикнул он.

— Я курю, Володя. Давно, с начала войны.

— Брось! — Юлька сделала короткую затяжку и положила папиросу в пепельницу.— Чему еще ты научилась с начала войны?

— Больше ничему...

— Вон водка... Может, тоже научилась?

— Нет, но налей немного. Мне надо прийти в себя...

— Бить тебя было некому,— сказал Володька, покачивая головой, но взял из буфета рюмку и налил.

Юлька выпила и начала так серьезно, что Володька насторожился.

— Я должна сказать тебе... Не знаю, с чего начать. Но ты должен понять меня и... простить.

— Говори! — нетерпеливо, приказным тоном сказал он.

— Завтра к двенадцати мне нужно... в военкомат... С вещами...

— Какой, к черту, военкомат! — загремел он.— Ты сдурела, что ли!

— Я ж не знала, что ты приедешь... Я хотела быть с тобой... на фронте,— еле слышно произнесла она и присела на диван.

— Дура! Ты знаешь, что такое война! И для девочек! Это ты понимаешь?

— Зато я испытаю все, что и ты...

Вошла Володькина мать.

— Мама, представляешь, что она выкинула? Завтра ей в армию!

— Господи... Как же это, Юля? Володя приехал, а вы... вы уезжаете... И вообще...

— Откуда я знала, что он придет? Я думала, вдруг мы на фронте встретимся,— чуть не плача, пробормотала Юлька.

— Нашла место для свиданий! Ну, не дуреха...— Володька бросил в сердцах папиросу и стал вышагивать по комнате, громыхая сапогами.

— Успокойся, Володя,— сказала мать.

— Я спокоен. Пусть отправляется, если по рукам захотелось...

— Володя...— укоризненно прервала мать.

— Я не Майка! И ни по каким рукам ходить не собираюсь! Я воевать иду!— вскрикнула Юлька и заревела уже по-настоящему.

— Воевать! Ты знаешь, что это такое! Вздуть бы тебя сейчас как следует!— взорвался опять Володька.

— Володя...— остановила его мать.

— Какой ты трудный, Володя,— сквозь слезы бормотала Юлька.— Моя мама всегда говорила, что ты трудный мальчишка.

— Мальчишка! Я мужик теперь! Понимаешь, мужик! Я видел столько за эти месяцы, чего за сто лет не увидишь. Ты посмотри на меня, посмотри.— Он подошел к ней и стал.

Юлька подняла глаза и, наверно, только сейчас увидела, как изменился Володька, как он худ, какие черные круги у него под глазами, в которых стояла какая-то непроходимая усталость и пустота. И она прошептала:

— Скажи, что там было? У тебя такие глаза... Господи. Почему ты молчишь?— Она глядела на него в упор и вдруг, закрыв лицо руками, прошептала:— Мне почему-то стало страшно. И я не хочу завтра в военкомат.

У Володьки кривился рот, ему было нестерпимо жалко Юльку, но он сказал:

— Я даже не пойду провожать тебя завтра.

— Не мучай меня... У нас всего один вечер. И ты пойдешь...



И Володька пошел. На другой день в одиннадцать часов он уже был у Юльки дома, о чем-то говорил с заплаканной ее матерью, чем-то успокаивал растерянного, пришибленного Юлькиного отца, который, конечно не зная, что она идет в армию добровольно, все время безнадежно приговаривал: «Довоевались... Девчонок в армию забирают. Довоевались...» Он отпросился с работы, чтобы проводить дочь, но Юлька категорически заявила: провожать ее будет только один Володька. Мать суетливо собирала вещи, которые Юля молча выкладывала обратно, говоря, что они ей не нужны, а мать через некоторое время опять собирала их в маленький Юлькин чемоданчик, памятный Володьке еще со школы.

Отец дрожащими руками достал из буфета початую четвертинку, стал разливать, и горлышко бутылки било по краям рюмок, и они дребезжали дробным печальным звоном, от которого всем было не по себе.

Володька, глядя на эту предотъездную суету, на страдальческие лица Юлькиных родителей, на муку в их глазах, почему-то вспомнил очередь к штабу полка, в которой они стояли с докладными в руках, возбужденные, гордые своими решениями, полные ощущения своей значительности, совсем не думая о том, что где-то далеко их матери молят бога, молят судьбу, чтоб остались их сыновья на Дальнем Востоке и война прошла бы для них мимо...

Тем временем Юлькин отец, разлив водку, протягивал неверной от волнения рукой рюмки и, видимо будучи не в силах ничего говорить, приглашал жестом присесть всех перед дорогой. Они присели на разбросанные по комнате стулья, молча выпили по маленькой рюмке теплой противной водки и поднялись. Володька, взяв Юлькин чемоданчик, вышел в коридор и уже оттуда услышал, как заголосила ее мать, как выдавливал из себя какие-то прощальные слова ее отец...

Призывной пункт в Останкине они нашли сразу: около него толпились девчушки — и красивые, и не очень, высокие и маленькие, худенькие и полненькие (таких меньше), но все до невозможности молоденькие, совсем-совсем девчонки. Одеты они были во все старенькое, так как знали, что одежду эту отберут и дадут военное. В руках у всех маленькие чемоданчики или вещмешки. Все были коротко острижены, как и Юлька, и только одна высокая вальжная блондинка не смогла расстаться со

своей роскошной, в руку толщиной косой. И провожали их только матери или младшие сестры и братья.

Стоял нервный шепотливый гомон. Матери что-то говорили им напоследок, давали какие-то наказания или напутствия, а девочки почти беззвучно шептали в ответ: «Да, мама... Хорошо, мама... Конечно, мама...»

На Володьку посматривали — он был единственный мужчина из провожающих, да еще раненый, с фронта, на который скоро попадут и они, эти глупые девчушки. И слышалось: «Видать, только приехал — и сразу на проводы попал... Вот не повезло парню... А может, брат? Да нет, непохожи вроде...»

Из одноэтажного деревянного домика, где располагался призывной пункт, вышел немолодой старший лейтенант. Володька бросил руку к шапке, тот ответил на приветствие, обвел всех усталым, сочувственным взглядом и вытащил список.

— Ну вот, девчата... Надо построиться, — начал он. — Буду выкликать фамилии, отвечайте — «я». Поняли?

Девушки стали неумело строиться. Было их человек пятнадцать.

— Абрамова Таня...

— Я!

— Большакова Зина...

— Я!

Так выкликнул он все пятнадцать фамилий. Все были на месте. Все ответили — «я», кто смело и громко, кто тихо и неуверенно, а кто и с легкой дрожью в голосе.

— А теперь, девушки, попрощайтесь со своими родными и проходите.

Юля сразу же ткнулась холодными губами в Володькино лицо и, круто повернувшись, пошла в дом. Только перед дверью приостановилась, махнула ему рукой и улыбнулась. Улыбка была вымученной и жалкой.

Тем временем за Володькиной спиной слышались материнские причитания:

— Как же ты будешь там, девонька? Господи...

— Пиши. Как можно чаще пиши. Как время выдастся, так и пиши...

— Мужикам-то не особенно верь...

— Бог ты мой, как же отцу твоему пропишу про это?

— Береги себя, девочка... Прошу тебя, береги...

Раздались всхлипы, рыдания... У Володьки придавило грудь, и он начал кашлять — ну, какие дурешки, какие дурешки, думал он, и было ему и жалко их всех,

в том числе и Юльку, до невозможности, и зло брало за глупость их, наивность.

— Куда их, старшой? — подошел он к старшему лейтенанту. — Понимаешь, только вчера с фронта, и вот... выкинула номер моя.

— Не беспокойся, — улыбнулся тот. — В Москве пока будут. Запасной полк связи на Матросской Тишине. Знаешь, недалеко от Сокольников.

— Знаю, конечно, — обрадовался Володька.

— Сам-то надолго?

— А хрен его знает. Не был еще на комиссии. Думаю, месяц, полтора...

— Ну, а их пока обучат, пока присягу примут, пятое-десятое, и больше пройдет. Так что не теряйся, когда в увольнение прибегать будет, — подмигнул старший лейтенант.

— Будь спок, не растеряюсь, — в тон ответил Володька, а у самого ныло в душе.

Постоял он еще немного вместе с плачущими матерями, искурил папиросу, а потом медленно пошел вдоль трамвайной линии. Перед глазами все еще стояла вымученная, жалкая Юлина улыбка, не очень-то его успокоило то, что Юлька будет пока в Москве. Все равно же впереди фронт.

Выйдя на Ярославское шоссе, он стал подниматься в гору, и тут бросилась ему в глаза огромная очередь около продмага, но тянущаяся не из дверей, а со двора, и было в ней, в этой очереди, порядочно мужичков, что удивило Володьку.

— За чем очередь? — поинтересовался он.

— Водку без талонов дают.

— А сколько она стоит без талонов?

— Вы что, с неба свалились? — обернулась женщина. — Ах, простите, вы, наверное, недавно в Москве, тридцать рублей бутылка.

— Дешевка! — поразился Володька. — Я в деревнях за самогон пятьсот платил.

— Так на рынке у нас столько же берут. Мы стоим, думаете, чтоб выпить? Нет. Ну, мужики, те, конечно, в себя вольют, а мы, женщины, только посмотрим — и на рынок...

— Пожалуй, я встану, — решил он, тем более что до встречи с Сергеем оставалось еще два часа.

— Так вас, раненых да инвалидов, через пять человек ставят. Идите вперед, как увидите калеку какого, отсчи-

тывайте от него пять человек и становитесь... Привыкли, наверное, на фронте к наркомовским граммам? — добавила женщина.

— Не очень-то, — ответил он и пошел вперед.

Очередь была длинная, но инвалидов стояло только трое — двое на костылях, один с рукой на черной косынке. За ним-то и стал Володька отсчитывать пять человек. Очередь не очень-то охотно, но потеснилась, пропустив его.

— Наши-то уже головы сложили, а эти отвоевались, живыми вышли, а все им льготы разные, — проворчала одна женщина в черном платке, но на нее зашикали:

— И не стыдно тебе? Кому пожалела? Им-то теперь забыться надо хоть на миг, отойти мыслями от войны этой проклятой...

— Я, бабоньки, не отвоевался, — сказал Володька, перейдя на армейский говорок. — Я на месяцок только. И обратно — добивать фрица.

— Ну вот, в отпуске человек, а ты... — Женщина в платке потупилась и замолкла, но тут вступил пожилой мужчина:

— Добивать, говоришь? Что-то не больно вы его бьете, солдатики. Пока он вас кроет.

— Ну, ну, разговорчики. — Подошел инвалид с рукой на косынке, а потом к Володьке: — Давно, браток, с фронта?

— Только вчера прибыл, — ответил Володька.

— Слыхала, язва? Человек, можно сказать, только из боя вышел, а ты хвост поднимаешь. На кого? — набросился он на бабу в платке. — Небось для спекуляции за водкой-то стоишь?

— Конечно, глаза наливать вроде вас не буду. Мне дитев кормить. Понял? — огрызнулась та.

— Ладно, кончаем базар. Закурить у тебя, лейтенант, не найдется? Ты извини, что я тебя на «ты», по-свойски, по-фронтному. На каком участке лиха хватил?

— Из-подо Ржева я, — ответил Володька, давая закурить инвалиду.

— Калининский, значит... А меня под Смоленском шарахнуло, еще осенью. Я уж месяц, как в Москве, а то все по госпиталям разным валялся. Нерв у меня перебитый. Видишь, как пальцы скрючило — не разогнуть. Пока на полгода освобождение дали. Но вряд ли рука разойдется. Обидно, что правая — рабочая. В общем, видать, отвоевался...

Володька с интересом слушал и инвалида, прислушивался и к разговорам в очереди. Они шли разные, кто о чем. И о том говорили, как карточки в этот месяц удалось хорошо отоварить, и о том, как в деревню ездили без пропуска менять вещички на картоху, и о том, что соседка две похоронки сразу получила — на мужа и на сына, и о том, что самое страшное позади — зима прошла, что теперь полегче в тепле-то будет... Колхозничков поругивали за сумасшедшие цены на рынках... И радовались, что налетов немецких совсем поменело и, дай бог, больше к Москве не допустят... О многом еще говорили в очереди, но плыли эти разговоры спокойно, без особого уныния и паники, а главное, без страха. А ведь немец-то пока еще как близко от города. Но чувствовалась и вера и убежденность — то, что случилось прошлой осенью, больше не повторится.

Давали по две бутылки в одни руки. Володька получил, засунул в карманы бриджей и подумал, что ему повезло: при встрече с Сергеем можно будет выпить маленько, и хотел было идти, как подошел к нему тот инвалид разговорчивый, видно поджидавший его.

— Побалакать не желаешь, лейтенант? — предложил он. — О многом спросить тебя хочется.

— Давай поговорим, — согласился Володька.

Они отошли от магазина в сторону, завернули в какой-то небольшой дворик, нашли скамейку, присели, закурили...

— Ну, как фриц поживает? — начал инвалид.

— Фриц пока лучше нашего поживает, — в тон ему ответил Володька.

— Чего-то мы прохлопали с этой войной. Небось товарищу Сталину много липы подсовывали. Обманывали его начальнички. Да и не без вредительства было. Вон танки-то и самолеты-то и вышли на бумаге только... Знаешь, как он летом пёр? Ох как пёр! Я ж с самого запада драпал. Меня ж в тридцать девятом из запаса взяли, да так и не отпустили... Понимаешь, только мы кой-какую оборону организуем, а он, сука, обтекает нас с флангов — и в кольцо...

— Как сейчас-то живешь? — прервал Володька его разглагольствования.

— Как живу? — усмехнулся инвалид. — Моя жизнь теперича, можно сказать, пречудная... Пенсии мне положили по третьей группе триста двадцать рубликов, выдали карточку рабочую и к спецмагазину прикрепили — к ин-

валидному. Там и продукты получше, и сразу за месяц можно все отоварить... Ну, пенсия эта, сам понимаешь, — только паек выкупить. А пайка этого, сам увидишь, — на месяц, тяни не тяни, никак не растянешь. Его в три дня улопать можно, за исключением хлеба, конечно... Вот так... Значит, если хочешь жить — соображай. Вот и соображаешь. Бутылку одну я, конечно, употреблю, а вторую — на базар, как те бабоньки, что в очереди стояли. За пятьсот, может, и не продам, долго стоять надо, а за четыреста верняком... Вот на них-то тебе и килограмм картошечки, вот тебе немного маслица или сальца... Вот так, браток. Понял?

— Понял, — кивнул Володька, добавив еще несколько словечек из своих любимых.

— Гадство — верно. А что делать? Водку без талонов, поди, каждый день где-нибудь да дают. Я вот сейчас до Колхозной пешочком пройду, авось еще где дают, может, еще пару бутылок приобрету. Вот так, брат, пока и кручусь. Жрать-то надо...

— В общем, в рот пароход, якорь... — процедил Володька хмуро, без усмешки.

— Ха-ха, — грохнул инвалид. — В самую точку. Ты откуда понабрался такого, лейтенант? Не из блатных или флотских будешь?

— С Роши я. С Марьиной...

— Тогда понятно, — досмеивался инвалид.

— Не противно базарить-то? — спросил Володька после паузы.

— Противно! Первый раз с этой водкой на рынке стоял, аж покраснел весь — и стыдно, и гадостно, и себя жалко, чуть ли не слезы на глазах. Обидно уж очень. А потом привык. Все сейчас так. Хочешь жить — умеи вертеться. Угости еще папиросочкой.

— Держи. Может, в запас дать?

— Нет, спасибо. Махорочки куплю на базаре... Ты пивка небось давно не пивал?

— Давно.

— С пивом в Москве порядок, и по довоенной цене — два двадцать кружечка, почитай даром. Ну, очередь, разумеется, но нас, инвалидов, как везде, — через пять гавриков. Но все равно постоять надо. Зато дорвешься — и сиди себе, попивай всласть... Иной раз кружечка десять в себя вольешь — и сыт, и пьян...

Они помолчали немного, попыхивая папиросками. Переваривал Володька услышанное. А инвалид тем време-

нем поднялся, спеша, видно, к следующему магазину, где вдруг удастся отхватить еще пару бутылочек.

— Ну, бывай, браток. Желаю погулять как следует, пока вне строя. Второй раз можешь и не попасть в Москву, да и вообще... никуда...— Инвалид протянул левую руку, Володька правую. Пожали крепко и разошлись.

Проходя на обратном пути мимо своего дома, повстречался Володька с двумя пареньками со своего двора — Витькой Бульдогом и Шуркой Профессором. Когда уезжал в армию, были они еще совсем пацанятами, а сейчас один вымахал ростом выше Володьки, а второй стал хоть не высоким, но крепеньким, складным парнем.

— Володь...— жали они ему руку, глядя с восхищением на его медаль и на перевязанную руку.

— Ну как, мелочь пузатая, живете? — небрежно спросил он, прекрасно понимая, что он для них сейчас представляет.

— Призываемся мы, Володь. Вот Шурка выпускные экзамены сдаст и сразу в армию.

— Витьке бронь могут дать, но он не хочет,— сказал Шурка.

— Какую бронь? Ты работаешь? — удивился Володька.

— Конечно. Разряд у меня... Ну ее, эту бронь... Про Любу-то знаешь?

— Знаю,— кивнул Володька.

— Мы зимой ее последний раз видели. Приходила во двор. В полушубке белом, а сама такая веселая. Она с Зоей Космодемьянской вроде пошла.— Витька Бульдог шмыгнул носом и потер глаза.

И Володька понял — влюблен, видать, был Витька в Любу первой мальчишеской любовью, какая тут может быть бронь...

— И Абрама убило, Петьку Егорова тоже... А Вовка Кукарача Героя получил,— выпалил Шурка.— Он трех фрицев из разведки приволок. Один. Понимаешь?

Володька кивнул головой, задумался...

— Да, ребятки, не очень веселое вы рассказали.

Вытащил папиросы, угостил ребят, а сам подумал, что разметала война весь их двор и никогда, никогда не увидит он тех ребят, с которыми толкался в подворотне, играл в «казаки-разбойники», перекидывался мячом на

волейбольной площадке... Да, никогда! И ткнуло тупой болью в сердце.

Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый... вот и двадцать четвертый год уходит — и сразу на войну... Володька смотрел на ребят — мальчишки же совсем, но уже знают, что можно и не вернуться, так как война прошла по их дому, смела старших товарищей; но по мальчишеству, конечно, всерьез не могут вникнуть, а потому и сверкают в их глазах огоньки восхищения от блеска Володькиной медали...

— Куда собрались такие приодетые? — спросил он.

— В «Эрмитаж».

— В «Эрмитаж»? — удивился Володька. — Неужели он открыт?

— Открыт... Пойдем с нами, Володь, погуляем...

— Нет, ребятки. Встреча у меня. Идите, гуляйте...

— Последние денечки... — сказал Витька, вздохнув.

Встреча с Сергеем была назначена в центре, на Кузнецком мосту, и Володька пришел точно к двум. Сергей уже ждал его. Он был одет в полувоенное, на груди «Звездочка». Они молча потискались друг друга в объятиях, долго хлопали друг друга по спинам, но не поцеловались — нежности у них были не приняты.

— Ну, пойдем, — сказал Сергей. — Спрашивать я тебя пока ни о чем не буду, придем в одно местечко — посидим, выпьем, поговорим.

— Неужели есть в Москве такие местечки?

— Только одно — коктейль-холл. Он открылся уже после твоего отъезда в армию.

— Может, там и пожрать можно? — заинтересовался Володька.

— Увы. Ты голоден?

— Пожрал бы...

Сергей взглянул на Володьку и покачал головой.

— Вижу по твоей физике — досталось. Да?

— Досталось, — безразлично ответил Володька.

Дальше они шли молча, и Володька с интересом поглядывал по сторонам, ища изменений в знакомой улице, но их не было. Кузнецкий мост, Петровка выглядели как и раньше, до войны, только народу поменьше, но все равно по сравнению с обезлюденной передовой много, очень много.

Так вышли они к улице Горького.



— Нам сюда,— сказал Сергей, показав на вывеску — «Коктейль-холл» и на дверь, около которой стояла очередь.

Сергей, бесцеремонно отодвигая стоящих в очереди, пробился к двери и постучал. Дверь приоткрылась, и бородатый швейцар заулыбался.

— Милости просим, Сергей Иванович. Здравствуйте. Проходите.

— Этот товарищ со мной,— сказал Сергей и взял Володькину руку в свою.

— Извините, Сергей Иванович... Разве вы забыли... В военной форме не положено. Не могу-с,— сладким голосом заизвинялся швейцар.

— Ах ты, черт! Совсем забыл. Придется тебе, Володька, съездить переодеться...

У Володьки задрожали губы, сузились глаза.

— А в какой положено, борода? — процедил он, наступая на швейцара.

— Ну-с, в обычной гражданской одежде.— Все еще улыбался тот.

Но на Володьку уже накатило — такой обиды он не ожидал, и глаза начали наливаться кровью.

— Это моя Москва, борода! Я ее защищал! Понял? И в сторону! — Володька оттолкнул плечом швейцара, и тот уже не улыбался, а начал бормотать:

— Уж так и быть... Как исключение... Я бы сам с радостью. Приказ такой... — но Володька уже прошел...

Сергей с любопытством глядел на эту сцену, а когда они вошли в зал, сказал:

— Пойдем наверх, там уютней.

Но Володька остановился посреди зала и оглядывал ресторанное великолепие этого «коктейль-холла», которого еще не было в Москве, когда он уезжал в армию. Да, это был не обыкновенный ресторанный зал какого-нибудь «Иртыша» или самотечной «Нарвы», где когда-то бывал Володька,— это для него было дворцом... Наверх шла широкая лестница, устланная темно-вишневым ковром, справа — полукруглая стойка с высокими стульями, за которыми сидели мужчины в гражданском и тянули что-то из соломинок. За стойкой стояла хорошенькая девушка.

Несовместимость этого с тем, что все еще стояло перед его внутренним взором,— изрытого воронками поля, шатающихся от усталости и голода бойцов в грязных шинелях, бродящих от шалаша к шалашу в поисках щепот-

ки махры, вони от тухлой конины, незахороненных трупов,— была так разительна, так неправдоподобна, так чудовищна, что у Володьки рука невольно полезла в задний карман бриджей — ему захотелось вытащить «вальтер» и начать палить по всему этому великолепию — по люстрам, по стеклам, по этому вишневому ковру, чтоб продырявить его пулями, услышать звон битого стекла... Только это, наверное, смогло бы успокоить его сейчас, но Сергей, внимательно наблюдающий за ним, взял его под руку:

— Пойдем... Сейчас выпьешь, и все пройдет...

Они поднялись наверх, заняли столик, к которому ментально подошла черненькая официантка и, ослепительно улыбнувшись, сказала:

— Добрый день, Сергей Иванович. Вам, как всегда, бренди? Или martini?

— Познакомься, Риммочка. Это мой друг... Только вчера с фронта, так что, сама понимаешь, обслужи нас — шик модерн.

— Разумеется, Сергей Иванович,— ответила она, протянув Володьке руку, и как-то многозначительно пожала Володькину своими теплыми мясистыми пальцами.

Володька все еще не мог прийти в себя и сидел набычившись, чувствуя, как нарастает внутри что-то тяжелое и недоброе... Ему было совершенно невозможно представить, что этот зал и болотный пятак передовой существуют в одном времени и пространстве. Либо сон это, либо сном был Ржев... Одно из двух! Совместить вместе их нельзя!

А Риммочка тем временем уже принесла высокие бокалы, наполненные чем-то очень ароматным и, видимо, очень вкусным, потому что Сергей уже причмокивал губами.

— Ну, давай, за твое возвращение... живым,— протянул он Володьке бокал.— Да, живым,— добавил он дрогнувшим голосом, положив руку на Володькино плечо.

И Володька оценил и сердечность тона, и дрогнувший голос. Для Сергея, не отличавшегося сентиментальностью, это было уже много.

— Пей.

Володька взялся за соломинку, втянул в себя что-то освежающее и необыкновенно вкусное.

— Ну, как martini? — спросил Сергей, улыбаясь.

— Мне стрелять охота, Сережка,— тоскливо как-то сказал Володька.

— Не глупи... Это пройдет. Тыл есть тыл, и он должен быть спокойным.

— Серега, но ты-то почему здесь, с этими... Да еще Сергеем Ивановичем заделался...

Сергей засмеялся:

— Привыкаю помаленьку. Я ж теперь знаешь кто?

— Мать что-то говорила...

— Я коммерческий директор. Ничего не попишешь, семья, ребенок...

— Я сегодня услышал от одного: хочешь жить — умеи вертеться. Это что, лозунг тыла?

— Все гораздо сложнее, Володька,— очень серьезно произнес Сергей, и по его лицу прошла тень.— Расскажи, что на фронте?

— Поначалу наступали, и здорово. Драпал немец дай боже. А потом выдохлись. Возьмем деревню, а на другой день выбивает нас немец. Опять берем, опять, гад, выбивает. Так по нескольку раз — из рук в руки. Ну, а затем распутица, подвоза нет, ни снарядов, ни жратвы... Вот в апреле и досталось.— Володька отпил из бокала, задумался, потом досказал: — Я, разумеется, храбрился... перед людьми-то, все-таки ротным под конец был... Но досталось, Сергей, очень досталось. И не спрашивай больше. Отойти мне надо.

— Понимаю,— кивнул Сергей.— Только один вопрос: за что медаль?

— За разведку... «Языка» приволок.

— Ого, это кое-что значит.

— Для меня это слишком много значило,— тихо сказал Володька и опустил голову.

Они молча потягивали мартини, а Риммочка все приносила и приносила бокалы, и Володька пил, надеясь, что хмель как-то забьет душившую его боль, но мартини не помогал...

Перед глазами проплывали одно за другим лица оставшихся ребят его роты, их обреченные глаза, их оборванные ватники, их заляпанные грязью обмотки... Да, за них было больно ему сейчас, больно так, будто рвали из души что-то.

— Мне стрелять охота,— опять пробормотал он почти про себя.

— Не дури! У тебя действительно пистолет с собой?

— С собой.

— Это уж глупость! Для чего таскать?

Володька ничего не ответил, но немного погодя спросил:

— Они что, все такие нужные для тыла? — обвел он глазами зал.

— Ну, знаешь, хватит! Тебе прописные истины выложить, что победа куется не только на фронте... — чуть раздраженно буркнул Сергей.

— Да, я понимаю... Но вот этого лба, — показал он пальцем на полного мужчину, — мне бы в роту. Плиту бы ему минометную на спину — жирок быстро спустил бы... А то за соломинку держится.

— Это становится смешно, Володька. Ну, хлебнул ты горячего, так все, что ли, должны этого хлеба попробовать? Ты же не удивляешься, что работают кинотеатры, что на «Динамо» играют в футбол, что...

— Тоже удивляюсь, — прервал его Володька. — Ладно, ты прав, конечно. Нервишки...

— Тут же мальчишек полно, которым призываться на днях, ну и командировочные... Набегались по наркоматам, забежали горло промочить...

— Ладно, — махнул рукой Володька.

И тут подошел к ним высокий, хорошо одетый парень с красивым, холеным лицом, который уже давно поглядывал на Володьку с соседнего столика, словно что-то вспоминая. Володьке тоже казалось, что где-то встречались они, но припомнить точно не мог.

— По-моему, мы знакомы... — неуверенно начал парень.

— Как будто, — поднял голову Володька и вдруг сразу вспомнил, но вида не подал — ох, как обрадовался он этой встрече. — Да, мы где-то видались. В какой-нибудь довоенной компании, наверно.

— Возможно.

— Там твоя девушка сидит?

— Да, — подтвердил тот.

— Познакомь. А?

— Что ж, пожалуйста. У нее брат на фронте, ей будет интересно с тобой поговорить.

— Может, не стоит, Володька. Нам уже пора, — Сергей увидел по Володькиным глазам, что назревает неладное.

— Стоит, — промычал Володька и направился к столику.

— Вот товарищ хочет с тобой познакомиться, Тоня. Девушка подняла голову, хотела было мило улыб-

нуться, но, столкнувшись с шальными глазами Володьки, испуганно отпрянула назад, как-то сжалась, но быстро овладела собой.

— Тоня,— представилась она и протянула ему руку.

— Володька. Лейтенант-Володька.— Он охватил ее тонкую кисть своей шершавой, заскорузлой, еще со следами ожогов, еще как следует не отмытой лапой и крепко пожал.

— Больно,— воскликнула Тоня.

— Извините, отвык от дамских ручек,— усмехнулся Володька.

— Почему так странно — лейтенант-Володька? — спросила она, потирая кисть правой руки.

— Так ребята в роте прозвали... Наверно, потому, что я хоть и лейтенант, но все-таки Володька, то есть свой в доску...

— Присаживайся,— пригласил парень.

— Спасибочко...

Перед дракой Володька всегда был спокоен и даже весел, и сейчас шальной блеск в его глазах потух, а большой лягушачий рот кривился в вполне добродушной улыбке. Тоня, видно, совсем успокоилась и глядела на него с некоторым любопытством, ожидая рассказа о его фронтовых товарищах, прозвавших его так чудно, но вроде бы ласково. Но Володька молчал. Он еще не знал, с чего начать.

— Мой брат на Калининском... И очень давно нет писем,— сказала Тоня.

— Я тоже оттуда... Распутица... Значит, брат на Калининском, а вы... тут. Интересно...

— А почему бы нам здесь не быть? — с некоторым вызовом спросила Тоня.

— Я не про вас, а вот про него.

— У Игоря отсрочка, он перешел на четвертый курс.

— Уже на четвертый? Ох, как времечко-то летит... Не вспомнил, где мы встречались?

— Пока нет,— ответил Игорь, пожав плечами.

— Напомню... Тридцать восьмой год. Архитектурный институт. Экзамены... И оба не проходим по конкурсу. У тебя даже, по-моему, на два балла меньше было.

— Да, да, верно... Ох уж эти экзамены...— заулыбался тот, не заметив пока в голосе Володьки странных тонок.

— Но ты все же поступил? — Володька поднял глаза и уже не сводил их с Игоря.

— Да, понимаешь, был некоторый отсев — и... мне удалось...

— С помощью папаши?

— Нет, я ж говорю... отсев... Освободилось место.

— А на следующий год вы поступили? — живо спросила Тоня, видно желая переменить разговор.

— Поступил... Но через пятнадцать дней... «ворошиловский призыв». Помните, наверно?

— Да,— кивнула Тоня.

— Так-то, Игорек,— начал Володька вроде спокойно.— Выходит, мое место ты занимаешь в институте.

— Ну почему? Просто мне повезло,— сказал Игорь, уже с некоторой опаской поглядывая на Володьку.

— Просто повезло, просто отсев? Здорово получается... А я сегодня девчонку в армию проводил... Маленькую такую, хрупкую. Связисткой будет... Добровольно пошла, между прочим. А ты знаешь, сколько катушка с проводами весит? И как таскать она ее будет? Да под огнем, под пулями? — Володькины глаза сузились, губы подрагивали.— Нет, вы здесь ни хрена не хотите знать, вы тут... с соломинками. Вам плевать, что всего в двухстах километрах ротные глотку рвут, люди помирают... Эх, тебя бы туда на недельку!..— потянул Володька руку к лицу Игоря.

— Знаешь что, иди-ка ты за свой столик. Посидел, и хватит,— приподнялся Игорь и отвел Володькину руку.

— Погоди, погоди... Не торопись,— растягивая слова, произнес Володька, а потом, резко встав, ударил Игоря по щеке.— Это тебе за институт, а это за то, что в тылу укрываешься, падло.— И второй раз тяжелая Володькина рука выдала пощечину.

Игорь замахнулся, но Тоня встала между ними:

— Не отвечай! Ты можешь задеть ему рану. Он сумасшедший! Разве не видишь!

Несколько мужчин, сорвавшись из-за столиков, подбежали к ним. Кто-то схватил Володьку за руку, кто-то за плечо.

— Нельзя так, товарищ военный,— сказал один из них.

— Успокойтесь, успокойтесь,— уговаривал другой.

Но Володька завопил:

— Руки! Прочь руки! — и стал вырываться.— Ах, гады, рану...

Володька разбросал державших его людей, отскочил к стене, резко бросил руку в задний карман. Секунда,

и ствол «вальтера» черным зловещим зрачком уставился на окружавших его людей.

— А ну, по своим местам! Живо!

И люди стали медленно отступать к своим столикам — зрачок пистолета и сумасшедшие, выпученные Володькины глаза были достаточно выразительны, чтобы сомневаться, — этот свихнувшийся окопник и верно начнет палить... Когда все отошли к своим столикам, Володька скомандовал:

— А теперь слушать мою команду! Встать! Всем встать! И две минуты — ни звука! Помянете, гады, мою битую-перебитую роту! И ты встань, Сергей. Гляди на часы. Ровно две минуты! Там все поля в наших, а вы тут... с соломинками...

И люди поднялись. Кто неохотно, с кривыми усмешечками, кто быстро. Молодые ребята, призываться которыми, глядели на Володьку с восхищением: «Во дает фронтовик!..» Кто-то сказал, что они бы и так помянули его роту, зачем пистолет?.. Один начальственного вида мужчина поднялся с ворчанием:

— Безобразие, распустились там...

— Не твякаты! Влеплю! — резанул Володька, направив пистолет в его сторону, и тот поневоле вздрогнул, а Володька, кривясь в непонятной улыбочке, водил пистолетом по залу — затвор не был взведен, но никто этого не заметил...

Сергей смотрел на часы — ему, видимо, все это казалось забавным. Тоня стояла почти рядом с Володькой и глядела на него в упор без всякого страха, только тяжело дышала...

Но не прошло двух минут, как вбежала Римма:

— Сергей Иванович! Внизу патруль вызвали! Я вас черным ходом!

Сергей бросился к Володьке, схватил за локоть, и они покатались вниз по крутой, узкой лестнице... Выбежав во двор, рванули влево. Выскочили они со дворов где-то около «Арагви» и скорым шагом стали спускаться к Столешникову переулку. Там, смешавшись с людьми, прошли немного, потом остановились и закурили.

— Ну, вы даете, сэр... — усмехнулся Сергей. — А если б патруль?

— Черт с ним! Кого я теперь могу бояться? Это ты понимаешь? — Володька сказал это без рисовки, просто и как-то уныло. — Для чего ты повел меня в этот кабак?

— Как для чего? Посидеть, выпить... поговорить.

— Нет, Серега, не только для этого...

— Может быть,— неопределенно произнес Сергей, усмехнувшись и сломав папироску в пальцах.— Ладно, пошли...

Три дня после этого отлеживался Володька дома, сходя только на перевязку. Идя в поликлинику, прошел он мимо своей и Юлькиной школы. Сейчас там находился пункт формирования, у калитки стоял часовой, а во дворе он увидел две большие воронки — рыжая развороченная земля... И то, что на передовой казалось обычным, здесь, на родной Володькиной улице, всего в одном квартале от его дома, представилось ему неправдоподобным.

Дальше прошел он мимо старинного особняка, в котором до войны была психбольница, с примыкающим к нему садиком. В этот садик забирались они с Юлькой через дырку в заборе. Вечерами был он пуст, темен, и они могли без опаски, пристроившись на одной из скамеек, целоваться... Сейчас забора не было, и садик со срубленными, наверно на дрова, деревьями был доступен взору, и эта открытость сняла былую таинственность с его дорожек, деревьев, скамеек, которых, кстати, тоже уже не было.

В поликлинике Володьку пропустили без очереди. Хирург, обработав и перевязав рану, сказал:

— Вы должны оформить отпуск, иначе я не имею права принимать вас больше.— Потом, глядя на Володьку тоскливыми глазами, он спросил, как дела на фронте. Володька пробурчал в ответ нечто невнятное.— От моего сына уже месяц нет писем...— Врач вопросительно поглядел на него, и Володька поспешил его успокоить: месяц это не страшно, сейчас еще распутица и перебои с почтой вполне закономерны...

Валяясь дома на диване, Володька думал: для чего все-таки Сергей повел в «коктейль»? Должен же он был предполагать, какие чувства вызовет у Володьки этот кабак... А Сергей ничего не делает просто так.

— Мама,— спросил он мать,— что ты думаешь о Сергее? Сегодня о нем?

— Сережа для меня многое сделал, я говорила тебе... Не забывал он и тебя эти годы. Он порядочный человек, Володя...

Он усмехнулся... Для его матери мир делился на порядочных и непорядочных. Мать продолжила:

— Он пошел добровольно на финскую, он женился на



Любе. Не знаю, Володя, кроме хорошего, я ничего не могу сказать про Сережу. Да разве ты сам не знаешь его?

— Теперешнего не знаю. В нем появилось что-то...

— Это тебе кажется... Сейчас тебе все видится не таким. Я понимаю, но это пройдет...

Но это не проходило... Все Володьке казалось каким-то не таким. Оформив отпуск — сорок пять дней с обязательным амбулаторным лечением, — он получил в домоуправлении продовольственные карточки, и, когда показал их матери, та несказанно обрадовалась:

— Ты получишь продукты за весь месяц! Понимаешь, они не вырезали талоны за прошлые дни... В общем, держи сумки и отправляйся в магазин.

Инвалидный магазин находился у Сретенских ворот, и Володька затопал по знакомой с детства Сретенке, довольно многолюдной, и вглядывался в прохожих в надежде, а вдруг встретит кого-нибудь из школьных ребят или хотя бы девчонок. Из девчонок ему хотелось бы увидеть Майю, в которую с восьмого класса сразу влюбились все ребята, — она пополнила, у нее стала умопомрачительная походка, ее бедра почти взрослой женщины колыхались так, что мальчишки столбенели и как гипнотизированные не могли оторвать от нее глаз, когда величаво, чувствуя свою силу и прелесть, проходила мимо. Снилось она и Володьке на востоке — часто и сладко-мучительно.

Проходя около «Урана», подивился он на рекламы и на то, что крутят тут фильмы, несмотря на войну. Повернув голову налево, увидел очередь в пивной бар, находящийся в переулке, и сразу сметало губы сухостью и страсть как захотелось выпить пивка, но он прошел мимо.

— Садись, садись. Мы сейчас тебя мигом отоварим за весь месяц сразу. Чего тебе, раненому, ходить несколько раз? Верно? — говорил Володьке директор магазина, мужчина лет тридцати с розовой физиономией и мутноватыми глазками, в кабинет которого он вошел, чтоб прикрепить карточки.

Володька молчал, не очень-то тронутый лебезящим тоном директора, и смотрел на него угрюмо, думая, что такого здорового бугая неплохо бы на передовую — жирок спустить.

— Значит, вместо мяса у нас селедка сегодня, но какая! Залом настоящий! Ну, за жиры я тебя, конечно, сли-

вочным маслом отоварю. Зина! — крикнул он, и сейчас же вошла полноватая молодая продавщица. — Обслужи товарища... Да водочки, разумеется, получишь бутылочку. Отдай сумки-то, она тебе все завесит... Да, за крупы гречку получишь. У нас в магазине все первый сорт. Знаем, кого обслуживаем: фронтовиков, защитников наших...

— А ты что ж... не там? — спросил Володька в упор, сузив глаза.

— Я бы с радостью! Не берут. Язва проклятая! Жрать ничего не могу. Казалось бы, все в моих руках — жри сколько влезет, а не могу.

— А водочку можешь, — скривил Володька губы.

— Водочку могу. Ну, будь здоров. Отоварил я тебе на все сто, — заерзал директор на стуле.

— Ну, спасибо, — промычал Володька, а сам подумал: попробовал бы ты, гад, отоварить меня не на все сто, я показал бы тебе что почем. Умел Володька качать права.

Да, раздражение против всего, что он видел в Москве, не проходило. Он понимал, что причиной этого его растрепанные нервишки и голод, который он не переставал ощущать, — ему не хватало хлеба. Поэтому, придя домой, он, не дождавшись обеда, который сегодня должен быть роскошен благодаря полученным им продуктам, не выдержал и навалился на хлеб. Он сидел и медленно жевал черняху и дожевал перед обедом всю свою пайку в восемьсот граммов...

После обеда разморило, и он отправился в свою комнату подремать. И снилось ему снова заснеженное поле с подбитым танком, чернеющие крыши деревни, которую они должны взять, и его ротный с загнанными глазами, говоривший ему: «Надо, Володька, понимаешь, на до...»

От Юльки пришла открытка. «Дорогой Володя, — писала она, — вот я уже красноармеец. Занимаюсь строевой, зубрю уставы. Тоскую. Нас никуда не выпускают, и мы, все девочки, все свободное время сидим у окон и смотрим... Под нами московская улица, ходят прохожие... Приходи завтра к трем часам к проходной. Я увижу тебя из окна, а может, сумею выскочить на минутку на улицу (это смотря кто будет на посту). Вообще-то ребята относятся к нам хорошо, жалеют... Приходи обязательно. Целую».

На другой день в три часа был уже Володька на Матросской Тишине около кирпичного забора с проходной, за которым краснело трехэтажное здание училища. Он остановился на противоположной стороне улицы и стал глядеть в окна — они были открыты, но пусты. Пока он закуривал, зажигал спичку, а потом опять поднял голову, в окнах уже зазеленели гимнастерки и замелькали разноволосые девичьи головки. Он прищурился, стараясь разглядеть Юльку, но вдруг услышал свое имя — она стояла у проходной. Он побежал...

На глазах у часового было неудобно ни поцеловать ее, ни обнять, он только схватил ее руку.

— Ну, как ты, дурочка?

— Ойдем немного, чтоб нас не видели из окон.— И она потащила Володьку влево.

Гимнастерка была ей немного великовата, юбка длинна, но пилотка шла.

— Я очень уродливая... в этом?

— Тебе идет,— не совсем правду сказал он, и шемящая жалость скребанула по сердцу.

— Ты очень сердисься, что я испортила тебе отпуск? — Виноватая улыбка пробежалась по лицу.

— Сердишься — не то слово, Юлька. Я злюсь...

— Ну, Володечка, что ж делать? Но, знаешь, я все-таки не жалею,— тряхнула она головкой.

— Дурешка. Еще как будешь жалеть. Все впереди.

Они остановились и замолчали. Володьке не хотелось ее расспрашивать; она стояла, потупившись, и крутила пуговицу на гимнастерке. А время шло. И то, что оно шло, и то, что его было очень мало, еще больше сковывало. Наконц Юлька тихо и робко спросила:

— Ты не прочел еще мою черненькую книжицу?

— Нет.

— Ты прочти... Тогда ты все поймешь. Хорошо?

— Хорошо, прочту...

Они еще постояли несколько минут молча.

— Ну, мне пора, Володька.— Она прижалась, как-то нескладно поцеловала его и побежала.— Я постараюсь позвонить,— крикнула она на ходу и исчезла в проходной.

Володька постоял еще немного, понурив голову... Радости эта короткая встреча не принесла ни ему, ни, наверное, Юле.

Обратно Володька пошел пешком. У трех вокзалов его окликнули:

— Здорово, браток! Как жизнь крутится?

Володька обернулся и увидел того инвалида, с которым говорил во дворике после проводов Юльки.

— Здорово.— Он даже обрадовался немного: настроение после встречи было скверное.

— Куда топаешь?

— Прогуливаюсь.

— Пойдем со мной. Пивка хочешь?

— Хочу. Только очереди везде.

— Для кого очереди, а для нас... Пошли.

И они отправились по Домниковке, потом по Уланскому и вскоре вышли к Сретенским воротам. Инвалид был сегодня неразговорчив, лицо помятое, припухшее. Володька тоже помалкивал, поглядывая по сторонам: ему все еще было чудно и странно ходить по московским улицам. Дошли до Кузнецкого, и только тут инвалид, мотнув головой на большое здание слева, буркнул:

— Кидал сюда немец. Он, сука, что ни говори, знал, куда метить. Здесь небось шпионов его уйма сидит. Думал, разбомблю, может, разбегутся... И вообще, я смотрю, зря он не кидал. Разведка у него поставлена.

— Да,— согласился Володька, вспомнив воронки около своей школы.

— Теперь уж не бомбит. Так иногда один-два самолета прорвутся.

— Куда идем-то? — спросил Володька.

— В кафе-автомат возле метро. Знаешь?

Володька кивнул: как не знать первый автомат в Москве, специально бегали смотреть, когда открылся он.

Они вошли в переулок, сразу в глаза очередь, но не только мужички стояли, было и женщин много с маленькими детьми, а еще больше старушек и старичков. Володька удивился.

— Они что, тоже за пивом? — спросил тихо.

— Нет. Тут кроме пива пшенку дают без талонов.

— Тогда неудобно вроде... через пять человек,— смутился Володька.

— А мы и не будем через пять. Держи,— инвалид высыпал в Володькину ладонь несколько медных жетонов.— Ну, а теперича смело вперед. Швейцару скажешь — выходил оправляться. Туалета там нет. Понял?

Показали они швейцару жетоны, и тот пропустил их без звука. Справа у прилавка давали кашу, маленькую порцию, ложки на две, и туда направлялись женщины из очереди, держа в руках бумажные талончики, выдавае-

мые при входе, а мужички отправлялись налево, где стояли пивные автоматы.

Володька пил с удовольствием. За всю службу на Дальнем Востоке ему только один раз довелось выпить пива. Вообще там с этим было строго. Ни в магазинах, ни в ресторанах вина военным не продавали, даже командному составу.

После двух кружек инвалид поживел.

— Ну, как тебе жизнь в Москве показалась? — спросил он.

— Странная.

— А я что говорил! Знаешь, я решил жить, ни о чем не думая. День прошел — и слава богу. Стопку выпил, брюхо набил, и на боковую. Главное, живой, а остальное все мура... Хорошо пивко? Ну, а как, по-твоему, война летом повернется?

— Не знаю... Совсем не знаю, — задумчиво произнес Володька, нахмурившись.

— Попрет он опять. Только где?.. Да, такую силищу обратно повернуть, да до границы дойти, да еще Германию протопать... А жратвы уже нет, а если еще год, два?..

За такие разговорчики на передовой обкладывал Володька марьинорошинским матюгом с блатными при-сказками, да такими, что грохали бойцы смехом: во дает ротный, откуда такого поднабрался... Но здесь не передовая, да и была горькая правда в словах инвалида. И, вспоминая обезлюденный передний край, понимал Володька: туго нам придется, еще как туго, но по привычке взгляд его построжал.

— Ты глаза не пяль, лейтенант, — сказал инвалид. — Я теперь вольный казак, ни перед кем тянуться не обязан. Я тебе по-откровенному, по-солдатски, свои мысли высказываю, и нечего таращиться... Ты небось надеешься живым из этой войны выйти?

— Не очень-то.

— Врешь, надеешься! Без этого ни жить, ни воевать нельзя. Но вот помяни мое слово, попрет немец летом. А чем остановим? Много ли техники, много ли народу, сам знаешь. — Он безнадежно покачал головой и закурил.

— Ты ж говорил, брюхо набью и на боковую, а сам... — усмехнулся Володька.

— Мало ли что говорил. Душа-то болит. И знаешь, что еще мучает? Ненужный я сейчас человек... На завод

вот зашел — одни девки да пацаны. Какая, думаю, работа от них? Смотрю, нет, получается. Но разве сравнить, ежели бы я сам к станку стал! Постоял я около своего станочка... Руки-то работы требуют, соскучились. Эх, лучше бы в ногу долбануло, — закончил в сердцах инвалид и переменял тему: — Как пивко? Давай еще по паре кружечек махнем. Учти — после него себя сытым чувствуешь.

Конечно, Егорыч — как звали инвалида — о своей войне рассказывал, как отступали, как из окружений выходили, какие бои страшные под Смоленском принимали... Володька про свой Калининский особо не распространялся, только вырвалось у него, что должен он по одному московскому адресу сходить, что это для него сейчас г л а в н о е...

— Не ходи, — решительно заявил Егорыч, поняв сразу, о чем речь, — только ей душу растрaviшь и себе. Не ходи.

— Надо.

— Ты знаешь, как на живых смотрят те, у кого убитые?

— Представляю.

— Ты представляешь, а я знаю. Ходил я, как в Москву вернулся, к жене дружка своего убитого. Обменялись адресочками перед боем. Ну что? Лучше не вспоминать! Не знал, как от нее выбраться поскорей. Три ночи потом не спал.

— Должен я.

— Почему должен? — спросил инвалид, прищурившись и начав вроде догадываться. — Себя, что ли, виноватым считаешь?

— Да, — тихо произнес Володька.

— Тебе через полтора месяца обратно. Там за все вины и разочтешься. Жизнью своей молодой. Сколько годков-то тебе?

— Двадцать два. В августе будет.

— Эх, тебе сейчас девок любить, песни петь, на танцульки ходить, а тебе роту всучили и... в бой... на смерть. — Егорыч потер переносицу, потом глаза. — Я-то хоть не очень пожил, сам понимаешь, годы нелегкие были, но все же хоть повидал чего, хоть девок всласть до женитьбы попробовал, а ты... — Он отхлебнул из кружки, потом вскинул голову, словно что-то вспомнив. — Хочешь, познакомлю тебя с девахой одной? Соседка у меня твоих годков, на «Калибре» работает. Огонь девка! Понима-

ешь, у станка всего несколько месяцев, а вкалывает дай бог. Наши мужские довоенные нормы перебивает. Только жаль — одна мается. Женишка ее на границе убило, в первые дни... Хочешь?

— Нет...

— Ну и дурак! А то бы сейчас и поехали. Она как раз с ночной пришла, дома... Бутылочка у меня найдется. Ну, поехали?

— Нет, Егорыч, — покачал головой Володька.

— Ну, если не хочешь, запиши-ка мой адресок на всякий случай. На Домниковке я живу...

Володька записал, чтоб не обидеть. На этом и разошлись.

Следующий день Володька слонялся по дому, не зная, чем себя занять. Часто подходил к книжной полке, вынимал какую-нибудь книгу, перелистывал и откладывал — не интересно. После того, что им пережито, этот, когда-то захватывающий его, книжный мир с его выдуманными героями сейчас оставлял его равнодушным. Не мог он начать читать и Юлькину черную тетрадку. Не хотелось ему выходить и во двор — боялся встретить матерей тех ребят, которые уже не вернутся...

Привыкший за два с половиною года армии быть все время с людьми, сейчас он изнывал от одиночества и от ничегонеделания. А воспоминания о Ржеве не уходили, и нечем было отвлечься от них. Выходя иногда на улицу, он уже видел, что Москва не такая, какой показалась ему в первые дни, что не так уж красивы и нарядны московские девушки. Они были худы, бледны, а их платья не так цветасты, как виделось поначалу его глазам, привыкшим за годы службы к серо-зеленым цветам военного обмундирования. И не так много было народа на улицах. Пусты были дворы, и совсем не видно было детей... Вечерами плыли по улицам аэростаты заграждения, как какие-то гигантские рыбы, которых, зацепив на крючок, тащили девушки в военной форме. И совсем становилась Москва пустынно, когда темнело, а за час до комендантского часа на улицах уж не было никого.

И вот, намаевшись в тоске и безделье несколько дней, Володька решил заглянуть в кафе-автомат, благо медные жетоны позвякивали в карманах.

Не успел он допить первую кружку пива, как к его столику подошел инвалид на костылях и с ходу спросил:

— Не с Калининского, командир?

— Как угадал? — удивился Володька.

— Угадать немудрено. По лицу видно, что распутицу прихватил.

И пошел разговор... Воевал инвалид под самым Ржевом и рассказывал такое, что было, пожалуй, пострашней Володькиной войны, так как нейтралка местами в городе была не более пятидесяти метров и каждую ночь либо наши, либо немцы делали вылазки, и почти всегда доходило до рукопашной... А что может быть страшней боев лицом к лицу, когда идет в ход что попало — и штык, и кинжал, и лопата порой.

Потом еще кто-нибудь к столику пристраивался и тоже о войне. Так до обеда пролетало время незаметно, и был Володька среди людей, своих в доску, тоже хвативших лиха.

Появлялся в кафе-автомате и Егорыч, и тогда с ним текли беседы. Однажды к их столику подошел мужчина с перевязанной рукой. Егорыч, конечно, сразу спросил:

— На каком фронте трахнуло?

— Ни на каком,— весело ответил мужчина.— Не рана у меня — травма. Бюллетеню сейчас. С начала войны к пивку не прикасался, некогда в очередях-то стоять. А сегодня схитрил, за инвалида через пять человек прошел, дорвался до пивка...

И вправду дорвался. Принесенные три кружки выпил почти разом, не прерываясь на разговоры, только подмаргивал им после каждой. Лицо у него было землистое, с проваленными щеками — будто с передовой. Выпив и отдышавшись, он утер вспотевший лоб платком.

— Вот теперь и поговорить можно...

— Теперь можно,— подтвердил Егорыч.

— Вы, фронтовички, небось думаете, в тылу малина?

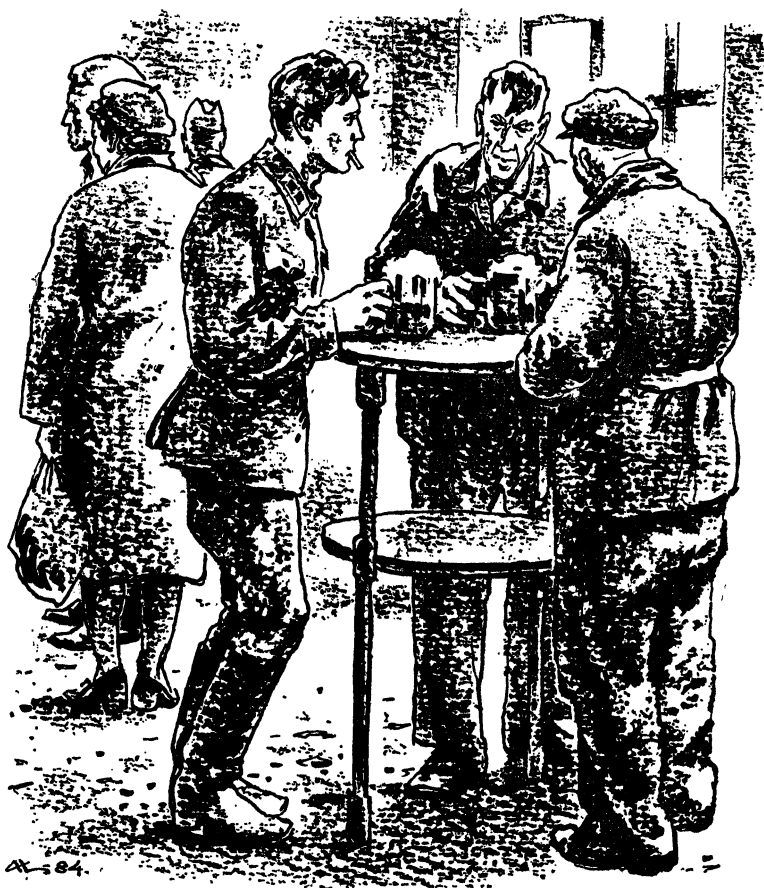
— Малина, может, и не малина, но с фронтом не равняй. Что ни говори, в своей постели спишь, да с бабой, если она у тебя имеется,— сказал Егорыч.

— Имеется,— усмехнулся мужчина.— Только хошь смейся, хошь нет, а я до нее цельную зиму не дотрагивался. Так прижмешься иногда для согреву, а другого тебе от нее и не надо. Вот так.

— Ты хоть прижмешься, а бойцу в окопе только косявую обнять можно, а от нее и тепла нет,— заметил Егорыч.

— Знаю. Я ж финскую попробовал. А все равно в середине зимы заявление в завком грохнул: снимайте с





меня бронь к чертовой матери и на фронт.— Он допил пиво.— Конечно, есть которые устроились, а нашему брату, рабочему, достается. Рабочий день сами знаете какой. Жратвы не хватает. Зимой на заводе холодина, дома тоже зуб на зуб не попадает. Кипяточку попьешь, зажуешь чем-нибудь и еле-еле ноги до кровати дотягиваешь...

— С передовой все же не равняй,— опять заметил Егорыч.

— Я не равняю... Но перед боем хоть покормят досыта, стопочку дадут и — была не была.

— Не всегда покормят, и не всегда стопочка,— уточнил Егорыч, усмехнувшись и глотнув пива.

— И это знаю, но все же заявление грохнул.

— Я понимаю, что не ради водочки заявление-то ты... Немец-то зимой под самой Москвой стоял. Но такие, как ты, с квалификацией, здесь нужны. Техники на фронте не хватает... Ты вот жалишься — работы много, а я бы сейчас, честное слово, от станка и ночь бы не отходил... Кто я теперь? Пар отработанный, не нужный никому человек...— Егорыч склонил голову, задумался.

И тут загремели на улице тягачи... Все к окнам бросились. Проезжали несколько тяжелых артиллерийских орудий, блестели свежей зеленой краской.

— Нашего завода работка. Прицельные приспособления делаем,— сказал мужчина с перевязанной рукой и расплылся в улыбке.— Хороши игрушки?

— Хороши! — восхитился Егорыч и хлопнул соседа по плечу.— А ты — заявление... Я, знаешь, к тыловикам, которые вкалывают, полное уважение, но есть в тылу и дрянь. Верно, лейтенант?

Володька ничего не ответил. Постепенно из разговоров с разными людьми вырисовывалась у него Москва совсем другая, чем в первые дни, когда огорошил его Сергей «коктейль-холлом», когда увидел он там холеного Игорька, занимающего его, Володькино, место в институте и ничуть не стыдящегося того, что он не воюет. Да, Москва была спокойна, но настороженна и очень сосредоточенна. И люди работали по двенадцать часов, на скудном пайке, который в три дня «улопать можно», как говорил Егорыч. И Володька смотрел на москвичей уже другими глазами, начиная понимать, что жизнь их не так уж резко отличается от фронтовых будней. Тот же недоед, тот же труд невпроворот, и смерть тоже вполне возможна — много было бомбежек зимой...

Так прошло несколько дней. Мать поглядывала на него, когда он возвращался домой, не то чтобы с осуждением, но с некоторым недоумением и наконец не выдержала:

— Мне кажется, отпуск ты проводишь не лучшим образом.

— Посоветуй лучший,— пожал он плечами.

— Я не знаю... Тебе там лучше, чем дома?

— Не обижайся, мама, но, видимо, так. Я привык

быть с людьми. Ну и там в разговорах незаметней проходит время, и не думаешь ни о чем.

— Я тоже стараюсь не думать о том, что нас ждет... Но я слабая женщина, Володя...

— Ты сильная, мама,— улыбнулся он.— Но ты не поняла меня. Я не боюсь возвращения на фронт. Мне не хочется думать сейчас о том, что было подо Ржевом. Понимаешь?

— Стараюсь понять, но... каждый день пить пиво... Прости, для интеллигентного человека это, на мой взгляд...

— Какой к черту я интеллигентный! — перебил ее Володька, усмехнувшись.— Никому это не нужно сейчас, даже мешает...

— Я не согласна с тобой. Интеллигентный человек должен оставаться им всегда и везде, независимо от обстановки и обстоятельств. Даже вопреки им, если хочешь знать.

— Тебе легко рассуждать. Ты всю жизнь просидела в своем редакционном закутке с тремя литературными дамами. А я с детства на нашем марьинорощинском дворе, где не очень-то ценились хорошие манеры. Там для того, чтобы быть своим, требовалось нечто другое... Кстати, и в армии тоже.— Володька свернул сигарку и продолжил:— Знаешь, был у нас в полковой школе взводный, лейтенант Клименко. Бывший беспризорник, матерщинник жуткий, но свой в доску. Ребята его обожали. Мне тоже он нравился, и думалось, что таким вот командиром надо и быть, наверно...

— И ты стал подражать ему? От него и некоторые выражения, прорывающиеся у тебя?

— Ну, выраженьица-то у меня со двора, мама,— улыбнулся Володька.

— Раньше я их не слыхала.

— Разумеется. Дома я был пай-мальчик, но разве ты не помнишь, с какими фингалами я появлялся частенько. А ведь это были драки, хорошие драки...

— Ты говоришь об этом, словно о чем-то приятном...

— А было неплохо! Кстати, мама, вот это дворовое презрение к трусости очень сгодило мне на фронте... Понимаешь, струсить казалось страшнее смерти...— Володька задумался на миг.— И знаешь, как меня прозвали ребята? Володькой-лейтенантом. Чувствуешь в этом этакую солдатскую ласковость? Таким быть на войне легче мама... А интеллигентность...— Он махнул рукой.

— Но скажи: «легче» — это и лучше? — очень серьезно спросила мать.

— Наверно, — небрежно бросил Володька.

— И тебе нравилось это прозвище?

— Нравилось. А тебе нет?

— Мне трудно судить, ты же ничего не рассказываешь. — Мать сказала неуверенно, но он понял, что она не разделяет его «нравилось».

На площади Коммуны в середине скверика стояла зенитная батарея, а театр ЦДКА был весь перекрашен для маскировки, располосован черными линиями, намалеваны были фальшивые окна, и вид его был странен. Володька постоял, посмотрел и побрел дальше к парку, где находилась выставка трофеев немецкой техники, взятой в зимних боях под Москвой. Туда Володька и отправился, в родной парк ЦДКА, куда часто они ходили дворовой компанией, зимой — на каток, а летом просто так потолкаться среди народа около танцплощадки. На самую площадку танцевать ходил из них только Володька Кукарача, потому так и был прозван. Нередко затевались тут и драки, о которых говорил он матери.

Парк был почти пуст, но к выставке, расположенной на бывшем катке, тянулся народ — в большинстве военные и подростки.

Володька со странным чувством глядел на немецкие танки, орудия, самолеты, машины — такие, казалось, неуязвимые подо Ржевом, но теперь выглядевшие совсем по-другому: разбитые, поломанные, покореженные, они уже были не страшны. Но... но чтобы все это уничтожить, нужны такие же орудия, такие же танки, такие же самолеты. Володька усмехнулся, вспомнив свой восторг при получении ППШ. Семьдесят два патрона! Можно разбить целый немецкий взвод! Одному! Вспомнил самодельные мишени, по которым хлестал очередями, и продырявленные пулями немецкие рожи, намалеванные им на листах газеты. Было здорово! А подо Ржевом — мертвая деревня за полем и ни одного живого немца, по которому можно было стрелять из этого ППШ с семьюдесятью двумя патронами. А из деревни на них — снаряды, мины, пулеметные очереди...

Около бронетранспортера на гусеничном ходу его кто-то спросил:

— У нас есть такие?

— Нет.

— Да, этот гад Гитлер готовился как следует,— вздохнул спросивший.

Володька прошел дальше, остановился около танка, и тут кто-то осторожно положил руку ему на плечо. Он обернулся.

— Володя, ты? — спросил его человек, которого он не сразу узнал.

— Я,— ответил Володька.

— Я — Мохов. Помнишь? Я учился с тобой в одном классе. А после седьмого ушел в техникум.

— Помню, Мохов. Привет,— Володька протянул руку.

Одно время они дружили, но потом как-то разошлись. Странноватый был Мохов. С класса пятого ходил он всегда в галстук и белой рубашке, но пиджачок был плохонький, из чего-то перешитый, видимо, самой матерью. И поражал всех его идеальный пробор. Волосы он припомаживал чем-то, они блестели, и никто никогда не видел его растрепанным.

Сейчас он был худ, лицо в каких-то прыщах, но тщательно выбритое. Рубашка была ослепительна, пробор тоже, а черный галстук аккуратно завязан.

— С фронта? — спросил Мохов.

— Да, в отпуску. А ты работаешь, бронь?

— Да, на заводе, мастером цеха. Пацанами команду да девчонками. Скажи, что же случилось? Ведь в октябре многие думали...

— Что я знаю, Мохов? Барахтался в болотах подо Ржевом под тремя деревеньками. Вот и весь сектор обзора... Куришь? — вынул Володька кисет.

— Не курю... Техники не хватает на фронте?

— Хотелось бы побольше.

— Да...— вздохнул Мохов.— Работаем сейчас много. И знаешь, что удивительно? Организованней стали работать. Хотя все время чего-то не хватает, но дело идет... Если бы так работали, вот с таким же накалом до войны, было бы у нас всего навалом.

— Ну, а как вообще жизнь? — спросил Володька.

— Трудная, Володя,— очень серьезно сказал Мохов.— Устаем все до невозможности. Даже не знаю, сколько еще можно выдержать такой темп. О зиме не спрашивай. Зима была очень тяжелой. Если вторая такой же будет...— Он помолчал немного, потом добавил: — Я понимаю, на фронте тяжелей. Все это пони-

мают, потому и работают так, выкладываясь до последнего... Как ты думаешь, надолго война?

— По-моему, надолго, Мохов... Как бы немец опять на Москву не начал наступления. Всего двести километров от Ржева, а он там уперся, не сдвинешь. Оттуда может и начать. И по сводкам, все время там бои местного значения, на Калининском... А мы там здорово выдохлись. Нажмет немец, может, за Волгу нас откинут. Каждый день включаю радио и боюсь — вдруг там началось?

— Да, двести километров не много. Но, по-моему, что-то на юге начинается?

— Это могут быть отвлекающие операции. Мне все кажется, что подо Ржевом главное будет. Может, потому, что я там был и знаю, как там дела.

— Да вот, Володя, не думали не гадали, а случилось такое, — вздохнул Мохов.

— Мы на Дальнем Востоке чувствовали приближение войны. Это вы здесь не гадали... — Володька прижег потухшую сигарку, затаился.

— А я один сейчас, — сказал после паузы Мохов. — Умерла мать.

— Умерла? От чего?

— Так она у меня старенькая была. Поэтому я в техникум и пошел. Мне надо было скорей на ноги становиться.

Володька посочувствовал, пожал еще раз ему руку, и жалко ему стало почему-то Мохова, мочи нет. Он долго стоял и глядел, как шел тот от него какой-то деревянной походкой, размахивая не в шаг руками, сгорбившийся и какой-то нелепо старомодный со своим галстучком, прибором клерка и — как показалось Володьке — все в том же перешитом пиджачке, хотя пиджачок, конечно, был другой.

Выйдя из парка, Володька опять бросил взгляд на зенитную батарею на скверике. Красноармейцы были справные, в чистом обмундировании, на вид сытые. Сидели на солнышке, попыхивая папиросками. Тут воевать можно, подумал Володька, но не было в этой мысли зависти. Тем более знал он, что первые бомбы и первые очереди всегда обрушиваются на зенитчиков.

Медленно поднимался он в гору по Божедомке, а теперь улице Дурова, прошел Дуровский уголок, а дальше налево увидел полуразрушенное здание — «Цветметзолото». И опять воронки так недалеко от его улицы напо-

нили, что Москва не такой уж тыл, что эти бомбы могли попасть в его, Володькин, дом и... страшно подумать... убить его мать.

Наконец-то приступил Володька к Юлькиной черной тетрадке. Это были не то обрывки дневника, не то неотправленные письма к нему, потому что в некоторых местах она обращалась прямо — «Володя».

«Ты помнишь, Володя,— писала она на одной из страниц,— как я признавалась тебе в любви? Это было на школьном вечере. Ты все время танцевал с Майкой, а я умирала от ревности. И вдруг я решилась на отчаянное. Я подошла к тебе и сказала, что мне неприятно смотреть, как ты танцуешь с Майкой, что у тебя при этом идиотское выражение лица. Ты засмеялся, пожал плечами и спросил, а какое мне, цыпленку, до этого дело, и тут я пролепетала, что люблю тебя. Ты, по-моему, очень растерялся и пробормотал что-то невразумительное, вроде того, что я тебе тоже нравлюсь, так как я своякая девчонка... Потом ты пошел меня провожать. Наверное, счел своим долгом. Таким же долгом, по-видимому, ты считал и поцелуй в парадном, который порадовал меня только тем, что я поняла — целуешься ты, как и я, в первый раз... Потом я ждала тебя все время после уроков, но у тебя расцветала тогда дружба с Сергеем, и ты часто бросал мне, что сегодня тебе некогда меня провожать, а сам шел с Сергеем шататься по улицам и философствовать...

Сейчас у меня другое. Меня лю б я т по-настоящему! Любит человек, который для меня готов на все. Он намного старше нас, но зато умнее и интеллигентнее в тысячу раз. Мне столько пришлось прочесть, чтоб хоть чуток стать ему вровень. И ты знаешь, на какое-то время твои письма мне стали неинтересны...»

Володька читал все это, не ощущая почему-то ревности, ему даже казалось, что Юлька все нафантазировала, выдумала себе эту любовь, но по некоторым деталям все же было видно — что-то и вправду было.

Правдой было и то, что относился он к Юльке несерьезно, особенно вначале, когда разница в возрасте была очень ощутима, и он вроде бы милостиво разрешал любить себя глупой девчонке из седьмого «А», еще цыпленку, хотя это и льстило как-то его самолюбию. Но в дальнейшем стало в порядке вещей — для него и для

остальных,— что Юлька — это его девушка... В армии же было приятно получать часто хорошие письма...

Володька задумался и вдруг понял, что той настоящей, с томлениями, с муками ревности, с трепетным ожиданием встреч, влюбленности у него не было. Может быть, это еще у него впереди, подумал он, но сразу же перебил себя, усмехнувшись,— когда впереди-то? В эти полтора месяца? На другое время он рассчитывать не может. Ладно, усмехнулся он еще раз, переживем, и вдруг... схватило холодом низ живота — неужели у него только полтора месяца жизни всего?! Только! И сдавило душу — не страхом, не ужасом, а какой-то невероятно горькой обидой, что он еще ничего не испытал в жизни, ничего не сделал, а жизни-то впереди только полтора месяца... Даже меньше...

Ночью ему приснилась Майя. Он встретил ее на улице, и она бросилась к нему, сияющая, обрадованная, и он тоже почему-то почувствовал необыкновенную радость, почти счастье, словно ожидал этой встречи всю жизнь. И они вдруг начали целоваться, не обращая внимания на прохожих, и Володька, как наяву, ощущал Майкино тело и ее горячий, жадно открытый рот, до боли прижатый к его губам... Потом она потянула его в какую-то дверь, и Володька знал зачем, но сон прервался. Он лежал с открытыми глазами, сердце билось, и ему нестерпимо захотелось увидеть Майку. Сейчас казалось, что он любит ее и что только она нужна ему...

А дни шли... Шли быстро, потому что были однообразны и похожи один на другой. После разговора с матерью он перестал ходить в кафе-автомат, да и наскучили как-то ему эти посещения. Если вначале ему хотелось сравнить «свою» войну с войной на других участках, с войной других, то вскоре он увидел, что война была более или менее одинакова,— и на Западном и на Северо-Западном приблизительно было то же, что и на его, Калининском фронте.

Все чаще подходил он к книжной полке... Полистав Джека Лондона, он усмехнулся: неужели когда-то это могло увлекать, волновать, а герои служить примером для подражания?

Однажды он полез за чем-то в чулан и наткнулся взглядом на свой ватник. И то, что отбрасывал он от себя, старался забыть,— навалилось на него. Ясно вспом-



нилось, с каким чувством невозвратимой потери отмывал он свои руки, свой кинжал и ватник от чужой, но человеческой крови... То была черта, разделившая Володькину жизнь. После этого он стал другим и никогда уже больше не сможет стать прежним. Это необратимо. Он понимал, что это неумолимый закон войны и что он будет это делать, пока идет война, но этот ватник в его московском доме показался чем-то противоестественным, чужеродным.

Надо его выкинуть к черту или сжечь, подумал он, вытащил ватник и стал искать какую-нибудь тряпку, чтоб завернуть его, но тут пришла мать из магазина.

— Что ты собираешься делать? — спросила недоуменно, переводя взгляд с Володьки на лежащий ватник.

— Надо выкинуть, наверно, — смутился он.

— Что ты выдумал? Давай я отнесу к тете Насте, она отмоеет эти пятна и, может быть, сумеет продать. — Она нагнулась и протянула руки к ватнику.

— Я сам. В какой квартире она живет, в первой? — Володька схватил ватник и направился к двери.

— Володя, — остановила его мать, — Володя... эти пятна... это твоя кровь?

— Конечно, мама, — поспешно ответил он.

Сергей не один раз звонил ему, но Володька почему-то под всякими предлогами отнекивался от встречи.

Но все же они встретились. Сергей был бодр, оживлен, крепко пожал Володьке руку, сказав, что у него здесь неподалеку есть квартирка — товарищ в эвакуации и просил присматривать. Там они смогут спокойно поговорить.

— Ну вот, располагайся, — сказал Сергей, когда они вошли в квартиру.

Он раскрыл портфель, достал бутылку пива, батон и небольшой кусок полукопченой колбасы.

— Хлебнем пивка, пожуем немного и решим все мировые вопросы.

— Так уж и все, — усмехнулся Володька.

— Как всегда, — весело ответил Сергей и вдруг серьезнел. — Ты знаешь, Володька, по некоторым обстоятельствам у меня очень мало по-настоящему близких людей, но среди них — ты первый, а потому... Ладно, давай сперва пивка и закусим.

Он нарезал хлеб, колбасу, разлил пиво.

— А потому, сэр, мне очень важно, как вы относитесь ко мне сейчас.

Володька вздрогнул от неожиданности — не предполагал он, что Сергей спросит об этом напрямик. А тот смотрел на него пристально, в упор.

— Точнее, к тому, что я в Москве... Хотя ты и знаешь — у меня «белый билет» после ранения и осколок в ноге, — разъяснил Сергей, продолжая так же в упор смотреть на Володьку.

— У тебя семья, родился ребенок... Я понимаю... — медленно начал Володька.

— Ты знаешь, дело не в этом, — резко перебил Сергей и забарабанил пальцами по столу.

— Знаю... — опустил голову Володька.

— Так отвечай.

— Ты пошел на финскую... ради отца? — спросил Володька после долгой паузы.

— Не только. Хотя мне было нужно доказать... Да, доказать, что я не хуже других... Что воевать буду, может, лучше других. И ты видишь, — показал он на «Звездочку», — зря ордена не дают.

— Это большой орден... боевой.

— Он не помог, Володька, — вздохнул Сергей. — Я бился во все двери. Стена. Понимаешь, стена. Если б получил Золотую Звездочку, может, тогда?.. Я хлопочу об отце и сейчас, но... — Он пожал плечами и снова вздохнул.

Они долго молчали, и только стук Сережкиных пальцев о стол нарушал тишину. Наконец Володька начал:

— Я понимаю... Но, Сергей, это же такая война... Решается судьба России — быть ей или не быть?

— Нам ли с тобой решать судьбу России? Это наивно, Володька.

— А кому же ее решать? — Володька поднял голову и посмотрел на Сергея — тот усмехнулся.

— По-моему, ты видел — воюют далеко не все.

— Сергей, нам должно быть плевать на этих «не всех».

— Что ж, значит, мне следует пойти в военкомат, положить свой «белый билет» на стол и сказать — забирайте? Так, по-твоему? — Сергей перестал барабанить пальцами.

— Не знаю, Сергей... Я понимаю, идти во второй раз гораздо труднее.

— Дело не в «труднее», — резко выпалил Сергей. —

Просто уже нет никаких иллюзий...— А потом совсем тихо добавил: — Моя Танюшка так мала...

Что мог сказать Володька, не представлявший совершенно чувства отцовства. Сергей опять забарабанил по столу и через некоторое время сказал:

— А может, мы свое уже отвоевали? — и напряженно уставился на Володьку.

Володька пожал плечами.

— Сергей, мне очень трудно поставить себя на твое место... А потому не считаю себя вправе ни осуждать тебя, ни оправдывать. Это для меня слишком сложно. Ты принимаешь такой ответ?

— Да.— Он взял Володькину руку и слегка пожал.— Мне совершенно наплевать, что думают обо мне другие, но мне было бы больно, если бы ты... ты считал меня трусом или... шкурником.

Когда вечером позвонила Юлька и попросила его прийти завтра к трем часам на Матросскую, Володька решил дочитать ее черную тетрадку, которую он еще не дочитал, потому что слишком уж подробно было все в ней — «он сказал, я сказала»... Для Юльки все это было, наверное, значимо, а Володьке казалось скучноватым и чересчур наивным. И еще было смешно, что называла она своего типа — этот человек. Перелистав несколько страниц с любовными мерехлюндиями, он дошел до двадцать второго июня.

«Сегодня началась война! И первая мысль о Володьке! Он в армии и, хотя на Дальнем Востоке, непременно выпросится на фронт. Он такой, мой Володька! А об этом человеку совсем не подумала. Что же это? Значит, Володька все-таки мне дороже, значит, люблю-то я его, а не этого человека? В моей душе что-то непонятное, полный разброд. Надо немедленно написать Володьке! Но что? Как объяснить ему, почему не писала почти полгода? Господи, я совсем запуталась! Если Володька поедет на фронт, я должна быть тоже там. С ним. Обязательно!» Это «обязательно» было подчеркнуто тремя жирными чертами.

Опомнилась, усмехнулся Володька, и стал листать дальше.

«Этот человек заболел и умоляет меня прийти к нему. Я долго колебалась, но пошла. Он лежал в постели, небритый и очень похудевший...» — тут следовало опи-

сание, какие у него были глаза, как нежно дотронулся он своей тонкой рукой до Юлиной щеки, каким трагическим голосом сказал: «Родная девочка, вот повестка, я иду на фронт. Я не боюсь, но знаю — меня убьют, и у нас только этот вечер и только эта ночь, если, конечно, ты согласишься остаться у меня...» Здесь у Володьки потемнело в глазах и похолодело в груди...

Вот гад, вот гад, шептал он про себя. В морду, в морду... Да нет, чего там в морду! Пристрелить такого! Он представил, как этот уже немолодой фрайер, видно бабник и любитель зеленых девчонок, лезет к Юльке, а она отбивается от него своими маленькими кулачками. Адрес? Узнать адрес этого гада! Ох, как он его будет бить!

На этом и закончилась необыкновенная Юлькина любовь. И еще оказалось, что повестка из военкомата — вранье, так как встретила его она через несколько месяцев в штатском.

Володька задыхался от ярости, которую нечем было разрядить. Впервые он ревновал Юльку, и это незнакомое ему прежде чувство вызывало в его душе целую бурю. Пусть не случилось главного, но совсем не невинна оказалась Юлькина любовь — были и обнимания, и всякие прикосновения, и поцелуйчики, и Володька шел на свидание с ней взбудораженный, злой, и шел с одной целью — узнать у нее адрес этого человека, которого он либо измордует до полусмерти, либо пристрелит — давить таких гадов, давить...

Таким и пришел он к казарме на Матросской, с перекошенным ртом, выпученными глазами и судорожно сжатым кулаком правой руки.

Ни в окнах, ни у проходной Юли не было. Володька стал сворачивать самокрутку — бумага рвалась, табак рассыпался, и он выругался про себя. Наконец-то Юлька появилась в окне, она разводила руками, стараясь жестами объяснить что-то Володьке, и показывала на проходную. Он пошел туда, открыл дверь.

— Пропуск, — строго спросил часовой, а потом улыбнулся: — Тебе, что ли, записка?

— Наверное, мне.

— Держи.

— Что вы их не выпускаете?

— Беда с этими девчонками. Пропускаем иногда, но вчера засыпалась одна. Стояла, болтала со своим парнем, а тут начальство, будь оно неладно. Ну, мой дружок, что на часах стоял, — на «губе». Ясно?

— Чего неясного? Сам того же хлеба пробоval.

— Ну ты иди, на воле прочтешь. Ответ напишешь, приноси.

Володька перешел на другую сторону и стал читать записку.

«Вчера случилось ЧП, и теперь нас не выпускают. Еле-еле упростила вчера позвонить из канцелярии. Пишу тебе большое письмо обо всем, на днях получишь. Немного устала от однообразия нашей жизни. Уже научилась работать на коммутаторе (полевом). Вообще-то ничего сложного нет, особенно после института и высшей математики. Может быть, скоро станут пускать в увольнения, тогда увидимся и поговорим по-настоящему... А такие встречи мне тяжелы, да и тебе, наверно...»

Володька нацарапал на обратной стороне Юлиной записки только одно: «Пришли мне адрес этого человека». Передав записку часовому, он опять перешел к своему наблюдательному пункту. Минут через пять Юля оказалась в окне и стала отрицательно качать головой.

— Адрес! — крикнул он, но Юлька все так же показывала головой, и лицо ее было грустным, грустным.

— Ах, ты, значит, жалеешь этого типа, — пробормотал Володька, перенося сразу всю свою злобу на нее, — жалеешь... Ну, ладно. — Он круто повернулся, не сделав никакого прощального жеста, и быстро пошел от казармы.

Чтоб успокоиться и разрядить раздражение, пошел он пешком, быстрым и широким армейским шагом, и, погруженный в свои мысли, незаметно для себя вышел к трем вокзалам, а потом и на Домниковку. Мысли были такие: что ни говори, а Юлька изменила ему, пока он трубил службу на Дальнем Востоке, пока тянул тяжелую лямку в училище... Поцелуйчики, обнимания... Он себе такого не позволял. Ну, не позволял, может быть, слишком громко сказано, вернее, не было почти у него никаких возможностей, хотя... Те из ребят, кто уж очень к этому стремился, знакомились в увольнениях с девицами, а некоторые и с «боевыми подругами» командиров, заводили шашни в самом полку, были случаи. И на Володьку часто посматривала одна на танцплощадке, и екало у него сердце, но дальше танцев не пошло дело. И не из-за одной Володькиной робости, да и не был он робок, что-то другое удерживало его... И теперь душила его обида. Че-

рез месяц опять на фронт, а ничего-то он в жизни еще не видел, ничего не испытал. Сегодня же вечером иду к Майке, решил он твердо, а там будь что будет... Потом вспомнил про Егорыча, достал адрес — как раз через дом он живет. Завернул во двор.

— Эй, лейтенант, ко мне топаешь? — окликнул его Егорыч, сидящий на скамейке с двумя дружками-инвалидами.

— К тебе.

— Давай присаживайся. Сейчас мы тебя настоящей «моршанской» угостим...

Володька присел к инвалидам, завернул махорочки, задымили.

— Странно... — протянул Егорыч. — Смотрю сейчас на небо, чистое оно, без облачка, и ничего не опасуюсь, а на фронте...

— На фронте клянешь его в бога и в мать за то, что без облачка оно... — пропитым басом досказал один из сидящих.

— Тоже воевали? — спросил Володька.

— Отвоевался, — вытянул тот пустую штанину. — Как костыли куда-нибудь по пьянке задеваешь, так и прыгаешь воробьем — скок, скок. Там казалось — любое ранение, лишь бы не смерть, а сейчас ох как ногу жалко. Не вырастет же. На всю жизньюгу, до конца дней на одной прыгать...

— Что смурной такой? Не ходил? — Егорыч внимательно поглядел на Володьку, и тот понял, о чем тот спросил.

— Не ходил.

— И не ходи. Война все спишет... Ну, познакомить тебя с Надюхой? Она дома, кажись.

— Спит перед ночной, — уточнил второй инвалид.

— Разбудим. Бутылочка у меня есть.

— Давай знакомь, — вдруг решительно заявил Володька. — Войду в долю.

— Сегодня без доль — угощаю. Вот ежели не хватит и прикупать будем, тогда уж... Ну, пошли в дом.

Егорыч поднялся, безногий тоже, а другой дружок отказался почему-то. Прошли они в дом, поднялись на второй этаж по деревянной, дышавшей на ладан лестнице, вошли в кухню, пахнувшую керосиновым чадом, вошли в комнату Егорыча, неприбранную, с незастланной постелью, с валяющимися на полу бутылками из-под пива, с остатками еды на столе.

— Садись, братва. Хоромы, как видите, не царские, но все ж не землянка — стол есть, стулья есть, постель тоже имеется, — сказал Егорыч, доставая из крашеного, видать самодельного, буфета несколько кусков черняхи, несколько картофелин и завернутые в газетку кильки. Бутылка на столе уже стояла, ждала хозяина. Расселись быстро и тут же приступили. Разлили по граненым стаканам и махнули по половине. За победу, конечно. А за что могли пить бывшие бойцы в июне сорок второго? Разумеется, только за нее — за победу, до которой еще неизвестно сколько годков, но которая придет бесприменно.

Вторую половину хлопнули за тех, кто там... И пошли, конечно, разговоры...

— Пей, братва! Что нам еще осталось, — разглагольствовал Егорыч. — Долг мы свой выполнили, кровушки пролили. А что немца до Москвы допустили, в том нашей вины нет. Наша совесть чиста. Верно, братва?

— Верно. Мы свое сделали. Теперь на одной ноге прыгать будем, — мрачно подтвердил одноногий.

— И так удивительно, что остановили, — продолжал Егорыч. — Гитлер, гад, все рассчитал. Он думал, что мужик-то наш коллективизацией не очень доволен, что не будет мужик особо здорово воевать, а мужика у нас — две трети России. А он стал! Да еще как! Откуда такой фокус, Гитлеру не понять, весь его расчет кувырком. А раз мужичок стал воевать, немцу рано или поздно капут... Тут уж, братцы, народ...

— Ты что ж, рабочий класс за народ не считаешь? — вступил обезноженный.

— А много ли его, рабочего класса? Не так уж. В пехоте-матушке кто? В основном — мужичок из деревни. А в пехоте вся сила. Хоть ей без техники, конечно, тяжело, но и технике без нее — труба.

Володька развалился на стуле, покуривая, и с интересом слушал Егорыча, как слушал всегда на фронте рассуждения бойцов. Ох как порой умно говорили, метко, в самое яблочко, в самую суть попадали... Народ все понимал. В этом Володька уверился на фронте окончательно. Это на собраниях жевал он резину, говоря трафаретные слова, а между собой... Послушать бы койкому.

Разговор на время иссяк, сделали перекур и молча потягивали пиво, несколько бутылок которого оказалось у Егорыча в НЗ, и в наступившей тишине ясно слышался какой-то шум в соседней комнате.

— Надюха! Не спишь? Заходи пивка выпить, пока осталось,— крикнул Егорыч.

— Не хочу, дядя Коля,— раздалось в ответ.

— Заходи. Один человек познакомиться с тобой хочет.

— Какой такой человек?

— Лейтенант один. Фронтовичок.

— Это мне без интересу. Вы бы лучше, дядя Коля, мне такого нашли, которого на войну не возьмут.

— Ладно, заходи. Нечего ломаться, а то пиво допьем.

Дверь приотворилась, и выглянула девушка с заспанным лицом, но веселыми, смеющимися глазами.

— Дай погляжу, что за человек,— сказала она и смело глянула на Володьку.— А вроде ничего лейтенантик,— усмехнулась, прикрыла дверь и уже оттуда добавила:— Сейчас зайду.

— Ну, как девка? — спросил Егорыч.

— Не разглядел,— ответил Володька.

— Не разглядел! Ты, парень, случайно в одно место не контуженный? Мне бы твои годки — я бы разглядел. Мне бы на это времени много не потребовалось.

За стеной фыркнули... Володька чуть смутился, а Егорыч продолжал:

— Если в это место контуженный — скажи сразу. Не будем девку обнадеживать,— засмеялся он, а Володька смутился еще больше, так как из-за стены опять насмешливо фыркнули.

Минут через десять вошла Надя, чуть подмазанная, переодетая в другое, более нарядное платье. Села, взглянула усмешливо на Володьку и прыснула смехом. Егорыч налил ей пива, подвинул стакан.

— Володимир, может, сообразим еще? Я достану, только по коммерческой,— спросил Егорыч.

— Давай.— Володька зашелестел тридцатками.— Сколько нужно?

— Половину я, половину ты. Двести пятьдесят.

— Держи.

— Ну, я моментом,— схватил Егорыч деньги и заторопился.

Надюха была, наверное, Володькиных лет, но казалась взрослее, держалась уверенно, чуть небрежно, видно зная себе цену и не особо придавая значения знакомству, а Володька, наоборот, стал вдруг скован, робок, как обычно, когда ему приходилось ухаживать за простыми девушками. Не знал, с чего начать разговор и о чем говорить. И он пока молчал, не оправившись еще от



смущения, в которое привел его Егорыч своими подко-  
вырками.

Надя тоже молчала, только дрожали губы в усмеш-  
ливой полуулыбке.

— Ну чего, молчишь, лейтенант? Не понравилась я  
тебе? Или вправду дядя Коля о контузии сказал?

Безногий, уже порядком осоловевший, приоткрыл гла-  
за и грохнул хриплым смехом. Залилась и Надюха.

— Да нет, ты ничего...— промычал Володька наконец.

— Ничего? Тоже мне комплимент! — играя глазами и  
деланно возмущенно ответила она.— Знаешь, лейтенант,  
мне же таких вот залетных не очень-то надо...

— И мне не очень-то ты нужна,— разозлившись, ляп-  
нул Володька.

— А ты с норовом жеребчик,— рассмеялась она и  
хлопнула его по плечу.— Ладно, пошутили, и хватит.  
В отпуск ты или отмучился совсем?

— В отпуску,— хмуро ответил он.

— Когда обратно-то?

— В начале июля.

— Не много гулять тебе осталось, лейтенант...— по-  
смотрела на него жалостливо и вздохнула Надюха.

Тут вернулся Егорыч, со стуком поставил бутылку на  
стол, начал разливать.

Безногий накрыл свой стакан ладонью.

— Пойду я, Егорыч... Мне теперь много пить нельзя.  
С твоей лестницы спускаться — как бы последнюю ногу  
не сломать...— Он тяжело поднялся, оперся на костыли и  
заковылял к двери.— Бывайте...

— Страшно обратно-то? — спросила Надя Володьку.

— Как тебе сказать...

— Ты кого спрашиваешь? — вступил Егорыч.— Ему  
страшно! Не видишь ли, что на груди у него? «За отвагу»!  
А за что, спросила? За разведку! А в разведке что глав-  
ное? Смелость да сноровка. Я тебя с каким-нибудь тыло-  
вичком знакомить не стал...

— Хватит, Егорыч,— прервал его Володька, хотя пья-  
ные похвалы приятно ложились на душу.

Надя опять посмотрела на Володьку, опять вздох-  
нула.

— Жалко мне всех вас,— задумчиво произнесла  
она.— И себя жалко... Перебьют вас всех на этой войне...

— Для тебя останется кто-нибудь, Надюха,— сказал  
Егорыч.— Я тебе полный наливаю — штрафную.

— Наливай,— безразлично ответила она, взяла ста-

кан, подняла.— За тебя, лейтенант, чтоб живым остался...

— Поехали,— ударил Егорыч по стаканам.

Помнил Володька, что еще два раза шарил он по своим карманам, выгребая последние уже тридцатки, а Егорыч бегал куда-то, а пока его не было, Надя брала его голову в свои руки, притягивала к себе и как-то задумчиво, медленным, долгим поцелуем целовала его в губы, потом отодвигалась, глядела в лицо затуманенными глазами и шептала:

— Жалко мне тебя, лейтенант, жалко...

Затем приходил Егорыч, и опять глотал Володька водку под какие-то, казавшиеся очень важными, разговоры...

— Ты не смотри, что он молоденький такой на вид,— шумел Егорыч.— Он ротой командовал. Понимаешь — ротой. Это сто пятьдесят гавриков. Поняла?

— Поняла,— лениво отвечала Надя.— Только целоваться не умеет герой-то твой...

Володька возмущался и уже не стеснялся Егорыча.

— Умею,— тянулся он губами к Надюхе, но та отталкивала его ласково, мягко и только тогда, когда отправлялся Егорыч в очередной рейс за водкой, целовала Володьку сама теми долгими, неспешными поцелуями, от которых Володька терял голову...

Очнулся он в незнакомой темной комнате на разбросанной постели.

— У меня останешься или домой пойдешь? — спросила Надя, стоя у зеркала и причесываясь.— Я на работу собираюсь.

Володька протирает глаза, ничего еще не понимая.

— Я у тебя?

— А где же тебе быть? Кого ты стрелять идти собирался? Еле удержали тебя с Егорычем. Ну, если пойдешь — вставай, а если останешься — спи. Я около девяти утра приду...

— Нет, я пойду,— вскочил Володька и стал поспешно одеваться.

— Ну вот,— задумчиво протянула она.— Может, вспомнишь меня когда... Там, где около смерти будешь... Полстакана у тебя осталось, допей, если хочешь.

Володька зачем-то нашарил рукой стакан на столе и выпил с отвращением. В комнате было почти темно, и Надино лицо неясным пятном белело перед ним.

— Как работать буду? — вздохнула она. — Ну, оделся?

— Да.

— Ну, прощай тогда. — Она протянула руку, провела по его щеке, а затем тихонько подтолкнула его к выходу...

На другой день утром мать вошла к нему в комнату, когда он еще лежал с трещащей головой и пересохшим ртом.

— Я иду на рынок, Володя. Дай мне деньги, у меня уже ничего не осталось.

— Сейчас, мама, — сорвался он с постели и бросился шарить по карманам брюк и гимнастерки — денег не было. Несколько смятых пятерок и одна красненькая тридцатка — вот все, что осталось после вчерашнего «пускания лебедей». — Мама, я совсем забыл. Я дал вчера займы одному товарищу. На днях мне отдадут...

— Ну, хорошо, тогда я не пойду на рынок, — сказала мать и вышла из комнаты, прикрыв дверь.

И по тому, как она это сказала, и по тому, что даже не заикнулась о вчерашнем — а пришел он поздно и сильно пьяным, — он понял — мать расстроена и недовольна очень.

Первой мыслью, мелькнувшей в его тяжелой голове, было позвонить Сергею и попросить у него тысячу, но он ее отбросил — не годится. Но что же придумать? Что? Покрутившись с боку на бок в постели еще несколько минут, Володька понял, что другого придумать ничего нельзя — надо из автомата позвонить Сергею.

Завтракать он не мог, лишь выпил залпом два стакана чаю. Мать смотрела на него удрученным взглядом, который был для него хуже, чем любой самый крупный и неприятный разговор.

— Больше этого не будет, мама, — сказал он твердо, отставляя от себя стакан. — И на днях я верну деньги.

— Дело не в деньгах, Володя. Я в первый раз увидела тебя таким. И не хочу больше. Понимаешь?

— Да, мама...

Вернувшись в свою комнату, он бухнулся на постель... Несколько раз всплывали в памяти Надюхины слова, сказанные грустно, с каким-то вроде сожалением: «Я у

тебя первая, видно?», «Что ж, нету у тебя в Москве де-вушки, с которой...» Словно и ей, Надюхе, из жалости подарившей себя ему, было неловко, что совершил он это спяну, без любви, с совсем незнакомой женщиной, просто попавшейся под руку, будто и она понимала, что не годится так... А почему «будто»? Конечно, понимала, хотя ей самой уже не для кого беречь себя...

И получилось все это слишком просто, как-то безрадостно, совсем не похоже на его сны, а особенно на последний, в котором снилась Майя... И непонятно Володьке, почему от реального не получил того, что ожидал, что предвкушал, что было так необыкновенно во сне, почему лежит на душе мутный осадок какого-то сожаления о чем-то утраченном, потерянном навсегда, чем-то — только гораздо слабее — напоминающем то, что было после «случая» с немцем?

Конечно, легче всего было свалить все на Юльку. Будь она с ним — этого не случилось бы. Не прочти он ее тетрадку, не взревнуй ее к «этому человеку» — не пошел бы к Егорычу, не стал бы знакомиться с Надюхой. Но таким мыслям Володька ходу не дал. Никогда не искал он себе оправданий за счет других.

Чтобы как-то отвлечься, оглядел он опять свою книжную полку и наткнулся взглядом на «Огонь» А. Барбюса. Читал он эту вещь еще до армии, но она оставила его почти равнодушным, но сейчас, раскрыв книгу, он уже не мог оторваться — это была война, страшная война, густо замешенная на деталях фронтового быта, война без романтики... Серые, жуткие, непроглядные будни войны, и, казалось, запах тлена шел со страниц этой повести... Да, это была правда войны, но не полная правда, как подумалось Володьке, потому как его война была иной. Иной в главном, в том пронизывающем всех их ясном и огромном чувстве понимания справедливости этой войны. Оно-то и помогало им всем выдерживать и преодолевать то нечеловеческое, присущее любой войне.

Именно это и заставляло хорошо воевать даже тех, кто в какой-то мере был обижен и на которых, вероятно, и возлагали надежды немцы. Володьке вспомнился один боец из его роты, раскулаченный в свое время под горячую руку середняк с Поволжья, который прямо говорил ему: «В том, что моя жизнь порушена, Россия не виновата. Это с нашей местной властью у меня есть счеты, а с Россией нет. И вы, командир, на меня положиться може-

те, не хуже, чем на кого другого. Вот победим немца, авось разберутся...»

В кафе-автомат Володька больше не ходил — надое-ло. Не хотелось ему и на улицу. Только вышел позвонить Сергею. Тот сразу же согласился дать Володьке тысячу и, казалось, был вроде бы рад, что может оказать Во-лодьке какую-то услугу. Они встретились на ходу — Сер-гей спешил на работу — около Колхозной, и денежный вопрос был решен — Володька отдал деньги матери.

Потом он целые дни валялся на кушетке и думал... А думать было о чем. Во многом нужно было разобраться ему.

Плетясь вместе с другими ранеными рядовыми бойца-ми с передовой в госпиталь, слушая их рассуждения о войне, рассказы о том, что довелось испытать им на раз-ных участках, их соображения насчет действий их коман-диров, Володька начинал понимать: если звание и долж-ность давали ему право распоряжаться чужой жизнью, то как должен он быть осмотрителен и осторожен, потому что все эти люди не глупей его и не хуже, а может быть, в чем-то и лучше разбираются во многом, так как стар-ше его по возрасту и по жизненному опыту.

И что не всегда его решения были уж так правильны, обдуманны, как следовало бы.

В общем, вторая половина его отпуска началась томи-тельными раздумьями. Он без конца прокручивал в го-лове Ржев, и мать, видя, как шагает он из угла в угол комнаты, все беспокойней поглядывала на него, пока на-конец не сказала:

— Быть может, Володя, тебе нужно прогуливаться по улицам и заходить иногда в этот автомат с пивом?

— Мне не хочется и туда... Я думаю, мама...

— О чем?

— О многом... Дни-то бегут, а мне надо многое ре-шить.

— Да, дни бегут.

— Знаешь, мама, я обдумываю сейчас все, что было со мной подо Ржевом, и мне начинает казаться: в про-звище «лейтенант Володька» была, пожалуй, не только солдатская ласковость, но и другое...

— Что же?

— Некоторая снисходительность, что ли. Хоть ты и лейтенант, а все-таки Володька, то есть мальчишка еще. Знаешь, мои ребята одним словом определили мою тог-дашнюю суть.

— Очень хорошо, что ты понял это сам.

— Ты поняла раньше?

— Да, наверно...— Она взглянула на него, ожидая продолжения разговора, но Володька отвернулся, уйдя опять в себя.

Да, очень точно определили ребята его суть, думал он, все больше начиная понимать, что, наверное, не заковыристым матом и бездумной лихостью, не небрежением к опасности, чем иногда шеголял он, можно и надо заслужить уважение людей, а чем-то совсем другим,— может, совсем обратным: осторожностью, тщательной продуманностью всех своих действий и решений, так как за ними — человеческие жизни.

Иногда, устав от размышлений, прерывал он свои внутренние монологи горькой усмешкой: ну чего голову ломать? Через несколько недель может все кончиться. Можно ведь и до фронта не доехать, попав в «хорошую» бомбежку в эшелоне... Так чего же мучить себя? Не лучше ли как Егорыч: пузо набил, стопку выпил — и на боковую? Или еще лучше — двинуть на Домниковку, а там, прижимая горячее Надюхино тело, забыться, отдаться естественному чувству обреченного, вырвать от жизни напоследок все, что она может тебе дать в настоящую минуту, и не думать ни о чем?

Но не чувствовал себя Володька обреченным. Не чувствовал даже там, подо Ржевом, когда казалось — уже все, каюк, не выйти живым. Тем более не мог считать себя обреченным сейчас, находясь в Москве, в собственной комнате... Потому-то и продолжал размышлять, анализировать, чтоб в будущем не допустить тех ошибок и недогадок, которые случались подо Ржевом.

Однако Володьке было всего двадцать один год, и продолжаться такое состояние долго не могло. Однажды, убирая свою комнату, наткнулся он на обрезок трамвайного рельса, служивший ему до армии вместо гири. Было в этом обрезке пуда полтора, и поднимал он его правой до тридцати раз, а левой даже чуть больше. И вот попробовал и выжал правой еле-еле пятнадцать. Это его обескуражило. Надо входить в форму, подумал он. И хотя физическая сила пригодилась ему на фронте только один раз, при взятии «языка», он любил ощущать себя сильным, любил выходить победителем в мальчишеском состязании перегибания рук, которым они увлекались в школе после прочтения джек-лондонского «День пламенеет».

И теперь, позанимавшись до завтрака рельсом, от-

правлялся он бродить по московским улицам, делая большие — километров до десяти — круги по Москве, и в этом вроде бы бесцельном хождении стал находить удовольствие и какое-то успокоение. Рана в предплечье почти затянулась, и было уже не больно сжимать и разжимать кисть, и, бродя по улицам, он исподволь тренировал руку... Ходьба — все-таки какое-то дело — помаленьку вносила душевное равновесие, и Володька начал оттаивать.

Так было до получения большого письма от Юльки, в котором она путано и несвязно старалась объяснить ему, почему она не хочет его встречи с «этим человеком», и просила прийти в воскресенье к училищу, — может, она вырвется на минутку и объяснит ему все подробней.

Володька знал, что врать он не умеет и что по выражению его лица Юлька сразу догадается о том, что произошло на Домниковке. Но не идти было нельзя, и в воскресенье он потопал пешком на Матросскую Тишину.

Юлька не вырвалась, и он стоял вместе с другими, пришедшими навестить своих, напротив казармы и видел только Юлино лицо среди остальных девичьих лиц, высунувшихся в окна. Он махал рукой, пытался что-то кричать, но в шуме других голосов не разобрал, что кричала ему Юлька, а она тоже вряд ли поняла, что выкрикивал ей он.

Возвращаясь домой, Володька поймал себя на ощущении, что он совсем не расстроен несостоявшейся встречей, а даже несколько рад, и тут впервые замаячил перед ним вопрос: а любит ли он Юльку?

А дни шли... Каждый раз, когда шел он на перевязку, проходил Володька мимо дома Толи Кузнецова, приостанавливался, поглядывал на окна, закуривал, и сдавливало сердце тяжестью, будто виноват он в чем-то, что живым проходит мимо дома, в который уже никогда не вернется Толя... И заставить зайти себя в этот дом он пока не мог. Ладно, к концу отпуска, успокаивал он себя. обязательно зайду. На конец отпуска отложил он и посещение жены сержанта.

В поликлинике пожилой врач, все еще не получивший писем от сына, встречал Володьку тревожным, беспокойным взглядом, и Володьке было неловко, что своим приходом он поневоле наталкивал врача на мысли о сыне, доставляя тем самым боль. По дороге обратно кидал он взгляд на свою бывшую школу, на прибольничный садик,

и тут уже колото виной вполне понятной, виной перед Юлькой за случившееся на Домниковке.

В один из вечеров пришло письмо на имя матери. Она пробежала его глазами, почему-то разволновалась и сунула письмо в карманчик фартука.

— От кого? — спросил Володька.

— Письмо? Да так... неважное... От сослуживицы из эвакуации... — неуверенно ответила мать.

— Что же ты разволновалась?

— Я не разволновалась... Почему ты решил? — сказала она и отошла.

Но поздно вечером, перед тем как лечь спать, мать вошла к нему в комнату.

— Володя... Я солгала тебе. Правда, это письмо действительно мне. Но оно для тебя.

— Откуда? — удивился Володька.

— Оно из твоей бывшей части, — ответила она и чуть дрожащей рукой передала письмо.

Писал помощник начштаба Володькиного батальона лейтенант Чирков, скромный человек, приходивший к ним на передовую — нужно не нужно — каждый день, твердивший Володьке про неубранные трупы, про невыкопанные окопы, про небритые лица бойцов... Писал он, что бригаду отвели на отдых и формирование (наконец-то!) не очень-то далеко от тех мест, где воевали, и если мать лейтенанта такого-то имеет связь с сыном, то пусть сообщит адрес госпиталя или перешлет это письмо туда. Может быть, он захочет вернуться после излечения в свою часть. Он-де, Чирков, сейчас занимает должность начштаба и хочет по возможности собрать старый состав средних командиров, проверенных уже в боях и имеющих опыт.

Володька прочел, задумался, опустив голову и ощущая на себе пристальный и тревожный взгляд матери.

— Разумеется, ты ответишь сам? — спросила она.

— Да, отвечу.

— Что? — в голосе матери чувствовалось напряжение.

— Мне не хочется туда возвращаться, — медленно проговорил он, вспомнив их первое наступление — неподготовленное, без разведки, с ходу, и даже поежился от пробежавшего по телу холодка.

Вспомнилось и обострившееся, посеревшее лицо ротного, доказывающего помкомбата, что без артподготовки днем наступать нельзя, что нужно перенести на раннее утро, чтоб неожиданно навалиться на спящего еще нем-



ца... А потом встал в ушах его голос и слова: «Надо, Володька, надо...», — и как подтолкнул его ротный, и в этом легком ударе была какая-то отеческая ласка и просьба о прощении, что посылает он Володьку на трудное, почти невозможное, почти на верную смерть... Но смерть пришла к самому ротному, пришла через несколько минут боя, а через три часа Володька первый бросил ком земли в неглубокую ямку, в которую уложили старшего лейтенанта.

Но, несмотря на всю тяжесть всколыхнутого письмом Чиркова, обдало Володьку и чем-то теплым — помнят, значит, его в батальоне, хотят, чтоб вернулся. Значит, не так уж плохо воевал он там.

Прошло уже больше половины Володькиного отпуска. Бродя каждый день по Москве, попал он однажды к Рижскому вокзалу и решил оттуда пройти в Сокольники тем путем, каким ездили они когда-то на велосипедах — он, Солька Галин и Левка Итальянцев... Солька служил срочную на западе и убит в первых же боях, Левка же закончил военное училище перед самой войной и где-то воюет.

Проходя мимо Пятницкого кладбища, где захоронен его дед, умерший в тридцать шестом году, вспомнил, как не мог заставить себя при последнем прощании поцеловать лоб покойника, как мучился от этого, не представляя, конечно, что всего через шесть лет будет он черпать котелком воду в двух шагах от лежащего трупа, как однажды ночью привалится головой куда-то, а утром увидит, что привалился-то он на грудь мертвого немецкого солдата, и что это не будет вызывать у него ни страха, ни отвращения.

Уже почти перед самыми Сокольниками надо было переходить Окружную железную дорогу, но пришлось остановиться около переезда: медленно полз воинский эшелон. У раздвинутых дверей «телятников» стояли красноармейцы, но не такие мальчишки, кадровики, из которых состояла их бригада, а постарше, видать, из запаса. Были и совсем пожилые, на Володькин взгляд, у тех лица были пасмурны и сосредоточенны — они-то понимали, куда едут и что их ждет. А в Володькином эшелоне, когда они проезжали Москву, горланили ребята песни, подмаргивали женщинам и думали, что ждет их впереди что-то интересное, ждут подвиги необыкновенные и что их бригада погонит немцев к чертовой матери от Москвы...

Поезд остановился, и один из немолодых бойцов, глядя на Володьку тоскливыми глазами, спросил:

— Отвоевался, что ли, насовсем, браток?

— Нет, в отпуску.

— Значит, скоро опять?

— Да.

— Как немец-то сейчас? — Тут повернулось к Володьке несколько человек в ожидании ответа.

— Слабеет немец... Не тот уж,— улыбнулся он ободряюще.

— Не тот, а убивать убивает,— засмеялся кто-то не весело.

— Убивает...— подтвердил Володька.

Эшелон тронулся. Володька махнул ребятам рукой, те вяло ответили. И вдруг крик:

— Командир! Командир!

Володька вздрогнул от знакомого голоса, вскинул голову — из предпоследнего вагона свесился сержант Буханов...

— Буханов! — крикнул Володька и бросился за вагоном.

Буханов протягивал руку, и Володька схватился за нее. Сердце билось, горло свело спазмой.

— Живой, лейтенант... живой,— сдавленным голосом бормотал сержант, а на глаза навернулись слезы.— Как там наши?

— Нет наших... Одиннадцать оставалось, когда меня ранило.

Володька бежал все быстрее, не отпуская руку Буханова, и не было для него сейчас на свете родней человека.

— Ребята, это ротный мой,— объяснял Буханов бойцам в вагоне.— Подо Ржевом бедовали вместе... Лейтенант! Жратвы надо?

— Да нет, что ты...

— погоди,— вырвал руку сержант.— Сейчас я, сейчас... Ребята, давай скидывайся, кто что может... ротному моему.— И полетели на землю пачки махры, банки консервов, концентратов.

Володька не подбирал, а все еще бежал за эшелоном, крича задыхающимся голосом:

— Живым желаю, Буханов, живым... На какой фронт едете?

— Не знаем... Ну, бывай, командир. Век тебя не забуду.

— Я тоже.

— Сколько гулять осталось?

— Мало.

— Я два месяца провалялся. Под Москвой в госпитале был. Ну, бывай, командир, может, встретимся еще... Бывай...

— Живым желаю... Живым, Буханов...

Эшелон набирал скорость, и Володька отставал все больше и больше, наконец остановился, помахал рукой и, когда эшелон уже отошел далеко, побрел обратно подбирать гостинцы от Буханова и его ребят.

И так его тронула эта негаданная встреча, что долго не мог успокоиться, долго тер глаза рукой, долго откашливался, глядя вслед эшелону. Только две недели пробыли они вместе, но какие! Самые первые, самые кровавые... Вспомнил, как не хотел сержант уходить с поля, несмотря на ранение, как почти силком, отчаянным матюгом заставил его Володька ползти обратно. И как-то не по себе стало ему, что Буханов уже едет туда, а он, Володька, припухает пока в тылу...

Он распечатал пачку «моршанской», поднял с земли обрывок газеты, завернул махры, и ее дым, едкий, продирающий горло, вернул его опять туда, в разбитую, изломанную рощу, где происходило самое главное в его короткой жизни. Посидел, покурил, поглядывая в сторону скрывшегося уже из глаз эшелона с сержантом Бухановым, хорошим русским бойцом, с которым бок о бок провел он самые страшные, еще непривычные дни на передке и с которым вряд ли судьба сведет его еще раз.

Возвратившись домой, Володька вытащил из карманов свои «трофеи» и рассказал матери о встрече. Она долго растроганно молчала, глядя на него влажными глазами, а потом спросила:

— Значит, любили тебя твои бойцы?

— Вроде... — немного небрежно ответил он.

— Для меня это очень важно, Володя, — серьезно сказала мать.

А для Володьки важным в этой встрече было другое: он уже реально представил конец своего отпуска, через восемнадцать дней ждет его дальняя эшелонная дорога, перестук вагонов, протяжные гудки паровозов, отчаянные крики «Воздух!», вой пикирующих на эшелон самолетов, взрывы и треск пулеметных очередей.

А дни шли... И Володькины прогулки по Москве наполнялись грустью скорого расставания. Он уже прощался с родными московскими улочками, переулками, по которым бродил, может, в последний раз...

Но кроме грусти томило его чувство чего-то несостоявшегося, так и не свершившегося за время его отпуска. Может быть, какой-то необыкновенной встречи? Да, пожалуй... И, бродя по улицам, он ловил себя на мысли, что он все время чего-то ждет, ждет... И это ожидание чего-то было приятным.

Как-то раз, проходя мимо сада «Эрмитаж», он решил заглянуть. Не так уж часто заходили они сюда школьной компанией — ближе был парк ЦДКА, да и публика в «Эрмитаже» была чересчур нарядная, и они в своих ковбоек и парусиновых ботиночках чувствовали себя здесь довольно скованно, но помнил он, как еще при подходе к саду доносившаяся оттуда музыка наполняла душу праздничностью, ожиданием каких-то необычных встреч, и входили они туда всегда с каким-то трепетом.

Сейчас сад был почти пуст. В шахматном павильоне двое мальчишек играли в шахматы. На скамейках парами сидели девчонки с учебниками в руках, видно, зубрили.

Володька присел на скамейку, закурил. Если бы месяц тому назад кто-нибудь сказал ему, что этим летом он будет в «Эрмитаже», он даже не смог бы рассмеяться тому в лицо, настолько это было невероятно, немыслимо. Но вот он сидит на скамейке, рядом, отрываясь на время от зубрежки, смеются девушки, и над ним чистое голубое небо, лениво шелестят кронами деревья, из репродуктора льется какая-то музыка... И опять на миг ему показалось, что либо сон это, либо сном был Ржев. Совместить это невозможно. Он прикрыл глаза, вытянул ноги. И вдруг внезапно, совсем близко — залпы зениток! Девчата взвизгнули и куда-то побежали. Володька тоже поднялся и пошел из аллеи, где деревья мешали видеть небо.

На площадке около кинотеатра несколько человек стояли, задрав головы, — маленькая золотистая точка немецкого самолета очень медленно плыла среди облачков разрывов.

Никакого страха Володька не обнаружил на лицах людей, только некоторое любопытство, да и то не очень сильное. Видимо, для москвичей это было обычным и совсем не страшным. Да и чего бояться какого-то одного пропавшего самолета такому огромному городу! Самолет-

разведчик уходил, ближайšie зенитные батареи, наверно те, что на площади Коммуны, перестали вести огонь, и хлопки зениток уходили все дальше.

— Это вы, лейтенант Володька?

Он обернулся: около него стояла Тоня и серьезно, без улыбки смотрела на него.

— Здравствуйте,— смутился Володька поначалу, вспомнив свое поведение в «коктейле».

— Надеюсь, вы больше не носите пистолет в кармане и вас можно не бояться?

Володька как-то растерялся, не зная, что ответить, но потом нашелся:

— Вы, наверно, ждете извинений?

— От вас? О нет,— слегка усмехнулась Тоня.— Мой Витька, наверно, поступил бы так же...

Они немного помолчали.

— Я почему-то была уверена, что встречу вас,— наконец сказала она.— Как вы проводите отпуск? Сколько сам еще осталось?

— Пятнадцать дней.

— Только пятнадцать! — воскликнула она.

— Да.

Они опять немного помолчали. Тоня задумалась, будто решала что-то для себя, потом подняла на него глаза и спросила с деланным равнодушием:

— Что вы делаете сегодня вечером, лейтенант Володька?

— Ничего.

— Заходите ко мне. Будет несколько моих подруг с приятелями. Игоря, конечно, не будет,— добавила она, заметив, что Володька в нерешительности.— Я живу на Пироговке. Запишите...

— К каким часам прийти? — Согласился он сразу, потому что длинные вечера наедине с матерью были не о иень-то веселы.

— Часам к шести. Вы же знаете, комендантский час...

— Хорошо, я приду. Спасибо.

— Ну тогда до вечера,— улыбнулась Тоня слегка и взглянула на него каким-то странно-задумчивым взглядом, от которого у Володьки почему-то екнуло сердце.

Он сразу же, вслед за Тоней, вышел из сада и быстрым шагом направился домой — надо успеть пообедать, погладить брюки и вообще привести себя в надлежащий для гостя вид. Матери он сказал только, что он приглашен, но к кому — умолчал; так, одни знакомые.

Дом на Пироговке он нашел без труда, но, войдя в парадное, был остановлен строгой старушкой лифтершей.

— К кому?

Володька растерялся. Тониной фамилии он не знал.

— Меня пригласили... Квартира шестнадцать... Тоня.

— Проходи, знаю... Кто головы на фронте ложит, а у кого гулянки кажинный день,— пробурчала старуха.

Володька поднялся по широкой и чистой лестнице, чему удивился — не до уборок было домоуправам в ту пору,— и позвонил в единственный звонок, около которого не висело никакого списка жильцов. Значит, квартира отдельная, подумал Володька.

Открыла ему Тоня в нарядном платье, радостно улыбнулась, провела в прихожую с огромным, во всю стену зеркалом, а потом и в большую комнату, показавшуюся ему чуть ли не залой.

— Это Витькин товарищ с Калининского фронта. Лейтенант Володя,— соврала Тоня без всякой заминки, видимо отрепетировав заранее, представляя его двум девицам и двум парням, сидящим за столом.

— А Игоря разве не будет? — протянула одна из девиц.

— Не будет,— отрезала Тоня.— Садитесь, Володя.

— Тогда, может быть, приступим,— поднялся рыхлый, полноватый парень в очках и поднял рюмку.— Тогда за здоровье новорожденной!

Володька смутился, что пришел без подарка, и пробормотал:

— Почему вы не сказали, Тоня...

— Ребята,— не обратила она внимания на его слова.— Володя учился в нашем институте.

«Да? Когда?» — посыпались вопросы, и Володьке пришлось признаться, что учился он всего пятнадцать дней в сентябре тридцать девятого.

— Все равно он наш,— заявила Тоня.

Накрытый стол удивил Володьку не военным, не по времени изобилием, хотя ничего особенного и не было. Но все же это насторожило Володьку.

Но начались тосты за новорожденную, за победу, за Тониного брата Витьку, за всех, кто на фронте, и даже за него, Володьку, и он примирился и с сытыми лицами присутствующих, и с их хорошей одеждой, с обилием еды, что поначалу ударило резким контрастом с собственным домом, а тем более с халупой Егорыча.

Архитектурный институт был до войны моден, конкур-

сы были большие, поступить было трудно, так как требовался грамотный рисунок, и поступали в него большей частью ребята из обеспеченных семей, имеющих возможность нанять преподавателя и подготовить своих отпрысков. Видимо, и Тоня и ее друзья были из таких семей... Ну, а очкарика не взяли в армию из-за зрения, а второго, может быть, еще из-за чего-нибудь, хотя на вид он был вполне здоров. В общем, Володька подавил в себе неприязненные чувства, появившиеся поначалу, а после большой рюмки водки настроился благодушно, правда, только до тех пор, пока очкарик не заявил авторитетным тоном, что Москву осенью спас случай... Володька хоть не участвовал в битве под Москвой, но знал, какое это ч у д о и какой с л у ч а й — по пояс в снегу, в лютые морозы шли бойцы в атаки с одной мыслью: отогнать немцев от города. Он нахмурился, скривил губы и сузившимися глазами достаточно выразительно посмотрел на очкарика, и Тоня, настороженно следящая за ним, очевидно опасаясь такой же вспышки с его стороны, какая случилась в «коктейле», сразу же подошла к нему, взяла за руку.

— Пойдемте, Володя, я покажу вам Витькины фотографии. Вам будет интересно,— сказала и увела его в другую комнату, наверное кабинет отца, где стояли большой письменный стол, кожаный диван, два кожаных кресла, а на стене висели две скрещенные шашки с именными пластинками на ножнах.— Вам не нравится у меня?

— Зачем говорить то, чего не знаешь,— хмуро произнес он.

— Не обращайтесь внимания. Он неплохой мальчик, только считает, что должен иметь собственное мнение, в корне отличающееся от мнения других. Садитесь.

Володька опустился на диван. Тоня стояла напротив и смотрела на него пристально, и опять от ее взгляда у него екнуло сердце. После недолгого молчания она сказала:

— Вы все еще не можете представить, как можно поселиться, когда там, на фронте... Да?

— Нет. Я уже понял — жизнь есть жизнь...

— Расскажите что-нибудь... о фронте,— попросила она.

— Вы ждете романтических эпизодов? — усмехнулся Володька.

— Нет. Я немного представляю, что такое война. Мой отец военный. Он рассказывал...

— Ну, ваш отец видел войну, наверное, с другой точки,— взглянул он на шашки.— Не с окопа.

— Вообще-то да. Но ему приходилось выходить из окружения, и он бился вместе с красноармейцами. Что же видели из окопа?

Володька вынул из кармана папиросы, долго разминал в пальцах беломорину, потом нехотя ответил:

— Не то, что вам в кино показывают...

Тоня улыбнулась, а затем как-то застенчиво коснулась Володькиной руки.

— Я вижу, вам очень досталось подо Ржевом, лейтенант Володька,— прошептала она и уже смелее провела пальцами по его руке.

И искренность ее тона, и поглаживание по руке тронули Володьку, и он подумал, что вот Тоне, пожалуй, он сможет рассказать в с е...

Из другой комнаты раздалась музыка: ребята завели патефон.

— Идемте танцевать,— вошла в кабинет одна из подруг.— Вы уже посмотрели Витькины фотографии?— спросила не без ехидства.

— Посмотрели,— ответила Тоня, отпуская Володькину руку.— Вы не хотите танцевать?

— Нет. Не получится у меня, наверно,— отказался Володька.

— Мы не хотим танцевать, Зоя.

— Тогда я исчезаю,— выпорхнула та из комнаты.

Они посидели еще немного на диване. Тоня молчала, а Володька опять подумал, что почему-то ей он сможет рассказать в с е.

— Пойдемте, а то неудобно. Бросила гостей.— Тоня поднялась.

Пластинка кончилась, все уселись за стол, и опять начались тосты и малоинтересные для Володьки разговоры об институтских делах. Часть института, как понял он, эвакуировалась, слившись со строительным, а часть осталась, но занятия шли нерегулярные, часть дня студенты работали в круглом зале, делая деревянные коробочки для противопехотных мин. Поэтому они часто собираются у Тони, чтоб позаниматься, а старушка лифтерша, считая, что идут тут гулянки, встречает всегда их злым ворчаньем, как встретила сегодня Володьку.

Для него институт был сейчас чем-то очень далеким. Как началась война, он перестал совсем о нем думать, как и вообще о своем будущем.

И, слушая рассуждения очкастого о том, что их будущая профессия после войны будет самой главной — надо



же столько строить, Володька даже не испытывал горечи. Было только немного грустно, что он не может вступить в разговор: его судьба другая и главное у него в другом.

Тоня, видя отсутствующее выражение Володькиного лица, пыталась переменить тему, но для ребят она была интересна, это было их будущее, и они продолжали горячо спорить, пока кто-то шутливо не предложил: не сыграть ли им в «бутылочку».

— Вы не устарили для этой детской игры? — спросила Тоня, улыбнувшись.

— Наверное, нет. Но играл в нее очень давно, в классе девятом... — ответил Володька и посмотрел на девушек, гадая, с кем из них ему доведется целоваться: хорошенькими они были все.

— Я кручу, — сказала Тоня.

Бутылка долго крутилась и наконец остановилась горлышком против Володьки. Он покраснел.

— Берегись, лейтенант, — засмеялся кто-то.

Тоня же без улыбки, какая-то серьезная, подошла к Володьке, взяла его голову в свои руки и крепко прижалась к его губам. У него закружилась голова, исчезли все окружающие, комната куда-то поплыла...

— Хватит, Тоня, задушишь лейтенанта, — сказал кто-то.

Тоня оторвалась от него, но продолжала держать его голову и смотрела затуманенными, но серьезными глазами, и ее взгляд притягивал Володьку. Ничего не соображая, забыв о присутствующих, как во сне, поднялся он со стула, прижал Тоню к себе, нашел ртом ее полураскрытые губы...

— Это уже не по правилам, — заметил очкарик, а остальные рассмеялись.

Но когда Володька отпустил Тоню, никто уже не смеялся. Смотрели, переводя взгляды с него на Тоню, и молчали. А Володька, не сразу очнувшись, тоже обвел глазами комнату, притихших и недоуменно смотревших на него Тониных приятелей и приятельниц и смущенно побормотал:

— Простите... Не знаю, как это получилось... Мне уйти? — сделал он шаг.

— Нет, — еле слышно произнесла Тоня, заступая ему дорогу, тоже смущенная и побледневшая. — Нет, не уходите...

Тут поднялся один из парней.

— Кажется, надо уходить... нам?

— Да, ребята,— как-то просто сказала Тоня.— Извините, но вы видите: что-то произошло... Я пока сама не понимаю... Но что-то произошло.

Ребята без ухмылок и двусмысленных взглядов поднялись и направились к выходу, только одна из подруг что-то шепнула Тоне на ухо. Тоня слегка пожалала плечами и пошла провожать гостей. Володька все еще стоял столбом посреди комнаты. До него доносился негромкий разговор в передней, но он не вникал в него — он был смятен, ошарашен случившимся. Он слышал, как захлопнулась дверь, зазвенела цепочка, затем слышал Тонины шаги и как мимо него прошелестело ее платье. Он обернулся. Тоня стояла напротив и глядела на него.

— Да, что-то случилось...— задумчиво сказала она и опять прикоснулась к его руке.— Со мной случилось. С вами-то ничего. Вы просто очень давно не целовались...

Она прошла к столу, налила себе рюмку и медленно, маленькими глотками выпила вино, затем провела рукой по волосам и как-то обессиленно опустилась на диван.

— Кажется,— начал он глухо,— со мной тоже что-то случилось.— Он вынул папиросы и жадно закурил.

— Неужели? — тихо, с радостным изумлением прошептала Тоня.

— Да...— так же тихо ответил он и присел. Но не на диван, где сидела она, а на стул.

Ему не хватало дыхания, в горле пересохло, и он облизывал обметанные, сухие губы и молчал, не находя да и не ища слов для выражения того, что чувствовал сейчас. Молчала и Тоня. И они долго не решались прервать молчание, переживая, каждый по-своему, то значительное и необыкновенное, что произошло с ними.

— Последние дни я все время бродила по улицам... И вот встретила вас все-таки. Мне вообще везет в жизни.

Володька усмехнулся и покачал головой.

— Вы считаете, что это не так? — с тревогой спросила она.

— У нас только... пятнадцать дней.

— Не надо об этом! Я не хочу думать! — почти крикнула она и, протянув руку через стол, взяла Володькину кисть.— Вы знаете, все началось с руки... Когда вы протянули ее мне, еще грязную, со следами ожогов, такую жесткую... я подумала...

— Не надо... про руку,— попросил он и осторожно высвободил ее.

Тоня пристально взглянула на него и не сразу, а помедлив немного, спросила:

— Это связано... с фронтом?

— Да.

— И это страшно? — спросила, догадавшись.

— Очень.

— Господи, я как-то никогда об этом не задумывалась. Я дочь военного, и никогда... Значит, папины сабли... Может быть, ими тоже...

— Сабли — это очень давно,— сказал Володька, и опять ему подумалось, что Тоне он сможет рассказать про все, и не только сможет, но и должен, потому что держать все это в себе больше невозможно. И его провало: — Вы спрашивали — что из окопа? Так вот.— Он поднялся и начал вышагивать по комнате.— Я никому еще не говорил. Трупы. Много трупов — и немецких и наших! А кругом вода, грязь. Жратвы нет, снарядов нет. Отбиваемся только ружейным огнем... И каждый день кого-нибудь убивает. Еле таскаем ноги. Ждем замены. Приходит помкомбата: «Ребята, «язык» нужен позарез, иначе нас не сменят! Батальонную разведку всю побил. Давайте сами!» Даем! Отбираю трех посильнее. Ночью ползем... Добираемся, сами не знаем как, до немецкого поста. Там — двое фрицев. Двоих не дотащить. Одного надо кончать. Кому поручить? Смотрю на ребят — боюсь, не сдюжат. А надо наверняка. Вот и пришлось самому...— Володька остановился около стола.— Можно выпить?

— Я налью,— заспешила Тоня и дрожащей рукой налила рюмку.

Он выпил одним махом.

— Ножом в спину... Рукой ему рот зажал, а через пальцы — крик. И кровь со спины на меня! Весь ватник забрызган... Утром кинжал от крови отмываю... Ну, враг, немец, фашист, гад. Но... человек же. Не пожалел я его. Нет! Но противно, физически противно. Я буду их убивать, буду, но... понимаете, я уже никогда не буду таким, каким был. Никогда! Ну хватит вам — что из окопа?

Тоня подошла к нему, положила руку на голову, стала поглаживать.

— Вот что довелось вам, лейтенант Володя... Вот что...

— А думаете, сменили нас? Черта с два! Изменилась



обстановка. А до этого, в первом наступлении... Я ж кадровый, привык все по уставу, как положено. Приказали двигаться по полю, а как? Немец лупит из всего, что у него есть, головы не поднять, а сзади ротный — вперед, давай вперед! — Володька приостановился, вытер пот со лба. — Сержант Степанов, помкомвзвода мой, говорит: «Давайте, лейтенант, чуть вправо подадимся, лощинка там, поукрытостей будет...» А я: «Струсили, сержант,

какое направление указано? К трем березкам! Его и держать! Вперед, мать вашу, давай, давай...» Ну и пошли...— Голос Володькин задрожал, и он обессиленно опустился на диван, достал папиросы и закурил, часто и глубоко задыхаясь дымом, до кашля...

— Ну и пошли,— повторил он.— Я ж умнее всех, зачем мне кого-то слушаться. Сержант из госпиталя вторым заходом на фронте, а мне что — я лейтенант, училище окончил. Ну и... сержанта насмерть, и треть взвода на поле осталась... До сих пор не могу заставить себя к его жене сходить... Вот что из окопа. Тоня...— Он встал и опять замаячил по комнате.

Тоня глядела на него неотрывно и о чем-то думала.

— А отпуск к концу,— продолжил он.— Через пятнадцать дней — опять то же. И ни черта я в жизни не видел — школа, армия, фронт... Нет, вы меня только жалеть не вздумайте! Я же сам, все сам... На Востоке думал — как же война без меня? Как в Москву вернусь, не мною отбитую... Нет, я все сам, сам...

— Вот вы какой, лейтенант Володька... Вот какой...— Тоня подошла к нему, остановилась, взяла его руку и вдруг очень серьезно и решительно заявила: — Я не пушу вас туда больше. Не пушу! Не верите? Вот возьму и не пушу! Когда я сильно чего-нибудь хочу, у меня выходит.

— Это не тот случай, Тоня,— пожал Володька плечами и улыбнулся.

Они сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, и говорили, говорили... Может, и не об очень значительном, но для них казавшемся очень важным и интересным.

Они не целовались больше, видимо опасаясь того смятения, в которое привел их обоих первый поцелуй. И только тогда, когда Володька уходил и они прощались в прихожей, а времени было уже в обрез до комендантского часа, Володька прижался к полураскрытым, ждущим Тониным губам и долго-долго не мог оторваться от них...

До Садовой он бежал, непрерывно поглядывая на часы,— была уже половина двенадцатого. Домой он вернулся в первом часу. Мать встретила его встревоженным взглядом и словами, что звонила Юля.

— Да? — равнодушно бросил он.

— По-моему, ей было неприятно, что тебя не оказалось дома.

Спать ему не хотелось. Какой сон, когда произошло такое... Когда за один вечер незнакомый до этого чело-

век стал самым дорогим, самым близким, когда кружат голову только одни воспоминания об этом вечере...

Но все же Володька разделся и лег в постель в надежде, что память прокрутит перед ним все, что произошло с ним сегодня, и снова переживет этот незабываемый вечер, но Тонин образ не появлялся перед его закрытыми глазами, а закрутились обрывки из рассказанного им Тоне о Ржеве: то метельная темная дорога на войну, то обреченные глаза ротного, то хриплый шепот сержанта Степанова, то перекошенное лицо немца... И как ни старался он отогнать от себя это, недавнее прошлое накапывалось на него, и опять противно выли мины и стрекотали пулеметные очереди.

А когда он заснул, снилась ему не Тоня, а самолетная бомбежка. Черные тени «юнкерсов» висели над ним, и маленькая черная точка, оторвавшаяся от самолета, летела прямо на него, все увеличивалась в размерах, и он знал: это его бомба...

И утром не сразу ушло от него приснившееся, а когда ушло, то начало медленно наплывать предвосхищение того необыкновенного, что его ждет сегодня,— встречи с Тоней. И тут же резко зазвонил телефон, и Володька, neodетый, бросился в коридор.

— Это вы? Значит, правда, что вы есть на свете? Мне не приснилось? — услышал он в трубке Тонин голос.

— Это я...

— Я совсем не спала... Приезжайте сейчас же. Хорошо? — И действительно, говорила она устало, измученным голосом.

— Еду, Тоня...

Когда Володька лихорадочно, как по тревоге, одевался, мать, слышавшая, конечно, краем уха его разговор, вошла к нему в комнату, остановилась и смотрела на него вопрошающим взглядом.

— Ты даже не будешь завтракать?

— Нет, мама... Я должен бежать.

И он бежал до трамвая, который потом нестерпимо медленно тащился до Самотеки. Так же бесконечно долго полз и троллейбус по Садовому кольцу. По Пироговке Володька опять бежал и только у Тониного дома приостановился, чтоб успокоить дыхание, но не простоял и минуты — бросился в парадное, буркнул сердитой лифтерше: «В шестнадцатую» — и запрыгал по ступеням.

Дверь была открыта, и Тоня стояла в проеме — бледная, с припухшими глазами.

— Наконец-то... — прошептала она и уткнулась ему в грудь. — Господи, что же это такое? Я думала — это радость, а это мука... Я совсем не могу без вас.

И полетели какие-то сказочно-необыкновенные дни. Рано утром, кое-как второпях позавтракав, Володька несся на Пироговку, а там бешено крутились стрелки больших старинных часов, висящих на стене, и они не успевали оглянуться, как время неумолимо приближалось к роковым одиннадцати вечера, когда Володьке надо было уходить, чтоб успеть добраться домой до комендантского часа.

И последние минуты они стояли в прихожей, целовались, и Володька, с трудом отрывая от себя судорожно сцепленные Тонины руки, выходил на затемненную Пироговку, громадным усилием воли заставляя себя уходить все дальше и дальше от ее дома, и у него было такое ощущение, будто раскалывался мир на две половины, и в той половине, где не было Тони, ему страшно одиноко и бесприютно.

Из-за того, что ему хотелось поскорей заснуть, хотелось, чтоб быстрее прошла ночь и наступило утро, когда он опять побежит сближать расколотые миры, он, наоборот, очень долго не мог уйти в сон, и не помогали ни чтение, ни курево... Володька осунулся и выглядел сейчас не краше, чем когда вернулся из-под Ржева. Обедать домой он не приходил, а у Тони, после того как уничтожили они присланные ее отцом ко дню рождения продукты, остались в доме только кофе и галеты, да и было им как-то не до еды.

— Володя, — как-то раз сказала Тоня, когда они стояли в прихожей и часы отбивали одиннадцать, — неужели скоро наступит настоящее прощание? Неужели?

То, что это наступит, знали они оба. Потому и были так напряженно-лихорадочны их дни, потому-то и летели так минуты, часы, дни... И уже не однажды повторяла Тоня:

— Я думала, любовь — счастье, а она еще и мука...

Да, но это была сладкая мука, потому что каждое прикосновение друг к другу, не говоря уже о прощальных поцелуях в прихожей, доставляло им ни с чем не сравнимое, не изъяснимое никакими словами блаженство, горькая острота которого усугублялась неотвратимым приближением конца Володькиного отпуска.

Однажды Тоня повела его на Новодевичье кладбище — была годовщина смерти ее матери, и они долго бродили среди памятников, пока не добрались до скромной могилы. Тоня положила несколько цветков, купленных при входе, а Володька немного отошел от нее, чтобы оставить ее одну, и стал осматриваться.

Здесь смерть была благообразна, даже величественна и красива, а перед Володькиным взором маячили разбросанные по полю, окровавленные, полураздетые, то скрюченные, то распластанные, еще не захороненные русские ребята, его одногодки, которым жить бы и жить, если б не война...

Когда Тоня подошла к нему, он задумчиво произнес:

— Интересно, сколько тут могил?

— Почему тебя это заинтересовало?

— Так, — пожал плечами он, а сам подумал, что такое вот кладбище, на котором хоронят уже сотни лет, можно было заполнить после двух-трех хороших наступлений стрелковой дивизии.

На обратном пути, проходя мимо большого памятника, Володька усмехнулся.

— Ради такой груды мрамора и бронзы можно даже захотеть помереть. — Перед глазами стояли одинокие бугорки с фанерными звездами, которые попадались ему по всей дороге, которой он шел с передовой.

Тоня заметила и горечь слов и боль в глазах.

— Ты что-то вспомнил?

— Да так, — нарочито небрежно ответил он и взял ее за руку. — Пойдем.

Иногда они вместе ходили на Усачевский рынок и покупали один-два килограмма безумно дорогой картошки, и тогда Тоня командовала:

— Лейтенант Володька, вам сегодня наряд без очереди — чистить картошку.

— Есть наряд вне очереди. — И он отправлялся на кухню.

Правда, он очень скоро доказал Тоне, что чистить картошку в военное время — преступление. Ее надо варить в мундире.

Эту странную, почти семейную жизнь, только без ночей и близости, можно было бы назвать счастливой, если бы... Этих «если бы» было много. Первое и главное — это быстрота, с которой пробегали дни. Вторым «если бы» была Юлька. Потом — мать, с которой он не проводил и часа в день. Не был он и у матери Толи Кузнецова.



Никак не мог решиться пойти к жене Степанова. Не очень-то ясно было с Сергеем, который, как сообщила ему мать, перешел на другую работу, где ему вроде бы дают бронь.

— Ты должен все написать Юле,— не раз говорила ему Тоня.

— Пока не могу. Понимаешь, если бы она была дома, не в армии, все было бы проще. Я сказал бы ей — и все... А сейчас... Это, знаешь, как ударить лежачего,— отвечал Володька, и она молча соглашалась с ним, но через несколько дней возвращалась опять к этому.

В отношении Володькиной матери, которая почти его не видела, Тоня была жестче.

— Ты находился с матерью больше половины своего отпуска. Остаток его — мой и только мой,— заявила она однажды.— А потом, ты знаешь, для меня сейчас отец, брат — все ушли на второй план, а они же на фронте. Это страшно эгоистично, но я ничего не могу с собой поделать. Для меня сейчас существуешь только ты, лейтенант Володька. Я спокойна, только когда ты со мной. Разве у тебя по-другому?

У Володьки было, наверное, немного по-другому. Он был мужчиной, и та полная поглощенность своими чувствами, то напряженное, но бездумное состояние, продолжавшееся целую неделю, как-то расслабляло его, и эта расслабленность была ему неприятна, потому как знал он, что ему надо собраться, решить все вопросы перед тем, что его ждет. И Тоня стала замечать, как временами он уходил в себя, задумывался, хмуря брови, и его взгляд становился отрешенным.

— Я вижу, с тебя сходит понемногу хмель, Володя,— сказала она, грустно покачивая головой.

— Не в этом дело, Тоня.

— Да, я понимаю.— Тоня положила руку ему на лоб, потом, взъерошив волосы: — Можешь уйти сегодня, когда тебе нужно... Но мне, мне будет очень тяжело без тебя.

Мать ничего не говорила Володьке, но он видел — она была обижена, обижена глубоко, что ради какой-то девчонки (а кем для нее может быть Тоня?) он забросил и дом и ее. Когда он возвращался в полночь, она разогревала обед и молча подавала ему. Володька наскоро съедал его, после чего спешил в свою комнату, бухался в постель — скорей, скорей заснуть, чтоб быстрее прошла ночь и наступило утро.

Когда же вернулся он в шесть вечера, мать была не только удивлена, но и обеспокоена.

— Что-нибудь произошло? — спросила она.

— Ничего, мама,— улыбнулся он.— Просто этот вечер мы проведем вместе.

— Ну что ж, спасибо... Тебе без конца звонит Сергей. У него какие-то идеи в отношении твоего будущего. Вам необходимо встретиться. Это первое. Во-вторых, Володя, я не знаю, что отвечать Юле? Ну, а потом, по-моему, мне надо познакомиться с той девочкой, у которой ты пропадаешь.

— Самое сложное с Юлей, мама... Наверное, ей ничего не надо говорить. Скоро кончится отпуск, и все решится само собой... Что же касается этой девочки... Она Тоня. И у нас все очень серьезно.

— Ну, разумеется, очень серьезно. Разве в твои годы может быть это несерьезным, тем более ты знаешь ее уже больше недели. Так, кажется?

— Не иронизируй, мама,— улыбнулся он.— Сейчас я иду на полчаса, вернусь, и мы поговорим.

К дому Толи Кузнецова он шел медленно и тяжело, а когда дошел, остановился и долго курил, забывая волнение. Наконец постучал в дверь.

— Мне кого-нибудь из Кузнецовых,— сказал он открывшей ему женщине.

Та внимательно посмотрела на него, на перевязанную руку на косынке и тихо спросила:

— Вы знаете, что Толя?..— Володька кивнул в ответ.— Проходите, темно у нас. Вот дальше вторая дверь направо.— Она осторожно постучала.— Тетя Груша, к вам пришли.

Дверь открылась, и пожилая, гораздо старше его матери женщина, худенькая и маленькая, встретила его растерянным взглядом, который на миг высветлился надеждой. У Володьки сжало горло. Этого он больше всего и боялся — надежды, которую принесет его приход, и того, что эту надежду ему же придется и загасить...

— Я служил с Толей...— с трудом выпершил он.

— Проходи, сынок, проходи... Поняла я, что отсюда ты.

И робкое ожидание чуда, которое вдруг принес он, Толин товарищ, опять мелькнуло в ее глазах, и она вся как-то сжалась, оттягивая свой главный вопрос, а может,

просто была не в силах его задать и напряженно вглядывалась в Володькины глаза, которые тот невольно прятал, боясь, что в них она сразу прочтет правду.

Они прошли в небольшую, забитую старой мебелью комнату... Володька продолжал молчать, мучительно решая, сказать ли правду или оставить надежду Толиной матери, не говоря ей, что был с Толей на фронте, но глаза женщины потускнели уже.

— Молчишь? Значит, правда?.. Ежели правда, садись и рассказывай, как случилось это. Не бойся мою надежду убить, ее и нет у меня. Может, чуток на самом доньшке души была. Рассказывай, сынок. Ты ж единственный, кто рассказать мне может, кто его перед смертью видел. Ты с ним и на Востоке служил?

— Да.

— Тоже из института тебя взяли?

— Да.

— Ну рассказывай, да на мои слезы внимания не обращай... Мучился он перед смертью-то?

— Нет. Очень большой снаряд... Почти весь его взвод погиб.

— При тебе это было?

— Нет. Мы пришли ночью к передовой. Деревенька небольшая, разбитая. Моя рота пошла на самую передовую, а Толя со своим взводом остался в деревне. Вот тут мы и распрощались... Днем мы в наступление ходили, а вечером немец открыл очень сильный огонь и по передовой и по деревне. Вот в этот обстрел... Я на другой день утром пришел в штаб и... узнал...

— Значит, до самого фронта он и не дошел?

— Да...— Немного помешкав, он добавил: — Вы знаете, были такие моменты, когда завидовал я Толе, что отмучился он сразу.

— Да, да, понимаю,— рассеянно ответила она и прижала платок к глазам, а Володька весь напрягся, ожидая тех же вроде бы укорных слов, которые слышал он от баб в проходимых им деревнях: «Ты-то живой остался...»

Но Толина мать ничего этого не сказала. Вытерев глаза, она подняла их на него — старческие выцветшие глаза, в которых стояла непроходимая боль.

— У меня скоро кончается отпуск... вот я и решил...— пробормотал он, чтоб разрядить молчание.

— Господи, значит, опять туда!

— Опять.

— Ну, спасибо, сынок, что зашел. Хоть узнала чего...

как сын мой... Господи...— опять заплакала она.— Одной доживать придется, одной. Хоть бы меня господь прибрал, старуху-то... Нет, молодые гибнут. Ну, желаю тебе счастья... Одногодок Толин, наверное?

— Да.

— Матери-то твоей какое счастье выпало... Повидала тебя. Только каково ей опять тебя провожать? И скоро?

— Скоро... Когда мы Москву проезжали, то два дня на Окружной крутились. Хотели мы с Толей домой сбежать, но... нельзя было.

— Значит, рядом был Толя, совсем рядом! И не почувяло мое сердце, не почувяло...

Вышел он от матери Толи в полном разброде и с тяжестью в душе. Как же они могли с Тоней забыть обо всем? Ведь совсем рядом война, умирают люди, срывают голоса ротные, посылая в атаку, гремят выстрелы, рвутся снаряды, а в московских домах погибают от отчаяния матери и жены, получая похоронки.

— Так больше нельзя,— заявил он Тоне на другое утро, еще не войдя в квартиру.

— Что нельзя? — испуганно прошептала она.

— Мы забыли обо всем.

— О чем, Володя?

— О том, что война, о том, что кругом горе... А мы...

Тоня помолчала немного, потом, сдвинув брови, сказала непривычно сухо, даже жестковато:

— Вот ты о чем... А что впереди у нас? Тоже горе и тоже страдания. Они совсем близко. Я не знаю, что будет со мной, когда ты уедешь, не знаю, как буду жить, если с тобой что-нибудь случится... В чем же мы виноваты? — Она говорила отчетливо и убежденно.— Нет, ни в чем и ни перед кем не чувствую себя виноватой. Даже перед Юлей...

Но, почувствовав, что не убедила Володьку, подошла, обняла и уже другим тоном, ласковым и нежным, прошептала:

— Глупый ты мальчик... Очень хорошо, что ты так совестлив, но впереди у нас... И не надо сейчас ни о чем думать...

В этот день Володька пришел к Тоне не утром, как обычно, а в середине дня — ходил перед этим на перевязку и получать по карточкам продукты. Поэтому те

несколько часов, которые оставались им, пролетели как одно мгновение. И когда они вышли в прихожую прощаться, старинные стенные часы пробили не одиннадцать ударов, а только один — было половина двенадцатого!

— Ты не успеешь,— сказала Тоня.

— Что ж делать? — растерялся он.— Я побегу все-таки, Тоня. Как-нибудь, доберусь...

— До комендатуры? Тебе очень хочется ночевать там? Позвони матери, что ты остаешься у меня. Я постелю тебе в столовой.— Тоня улыбнулась, заметив и растерянность и смущение на лице Володьки.

— Мама спит, да и всех соседей разбудишь звонком. Черт возьми, как мы проглядели время!

Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, еще не решив, что делать, но тут Тоня, уже несшая белье в столовую, сказала, что если его мать будет волноваться, то позвонит сюда, и будет лучше, если он окажется здесь, чем неизвестно где. Это убедило Володьку.

— Я открою дверь своей комнаты, и мы сможем переговариваться. Правда, я привыкла жить одна, но иногда ночами бывает жутковато. А тут я крикну — вы здесь, лейтенант Володька? А ты ответишь — я здесь, и будет очень здорово,— говорила Тоня, стеля белье на диван.

И только сейчас до Володьки дошло, что этой ночью он будет с Тоней. Он не знал, что случится этой ночью, но предощущение чего-то необыкновенного пронзило его, и он неверными, чуть дрожащими пальцами достал портсигар, вынул папиросу и закурил, изломав не одну спичку.

— Надо немного отодвинуть стол, Володя,— сказала Тоня и опять улыбнулась, глядя, как Володька стал отодвигать тяжелый стол, который полз вместе с ковром, задирая его и морща, не догадываясь от волнения приподнять его.

Наконец стол был отодвинут, ковер запровлен.

— Принеси, пожалуйста, подушки из моей комнаты,— попросила Тоня.

В Тонину комнату Володька не заходил ни разу. Тоня всегда говорила: «Там у меня страшный кавардак»,— и сейчас он входил туда с каким-то трепетом. Свет был там не зажжен, и в полумраке белела опривленная Тонина постель, голубовато поблескивали какие-то флаконы на туалетном столике, пахло Тониными духами... Володька, будто совершая святотатство, чуть до-

тронулся пальцами до ее постели и сразу отдернул руку, словно обжегшись.

— Принес? Давай.— Тоня взбила подушку и положила ее на диван.— Теперь баиньки, лейтенант Володька.

— Я не засну, Тоня,— как-то жалобно пробормотал он.

— Заснешь,— ответила она и прикоснулась губами к Володькиному лбу.— Спокойной ночи.— Тоня пошла в свою комнату, щелкнув по пути выключателем. Свет погас.

Володька, не раздеваясь, сел на диван, обхватил голову руками. Громко отбивали в тишине секунды большие настенные часы, на улице изредка, шелестя шинами, проезжали машины, где-то прозвенел запоздалый трамвай. Из Тониной комнаты доносился звук ее шагов, потом скрип кровати,— видимо, она легла.

— Спокойной ночи,— шепотом сказала она.

— Спокойной ночи,— ответил он почти беззвучно и стал снимать ботинки.

И от простыни и от подушки, в которую он уткнулся, пахло Тониными духами. Тоня была совсем рядом, всего в нескольких шагах от него. Она не закрыла дверь своей комнаты, и Володька видел синеющее окно, туалетный столик... Саму Тоню он не видел, но она была рядом, и одно это казалось чем-то удивительным и необыкновенным.

— Ты не спишь? — донесся шепот Тони.

— Нет.

— Я тоже. Но ты спи.

— Постараюсь,— прошептал он.

— Как тихо...

— Да, очень...

Этот тихий, приглушенный ночной разговор был тоже чудом. Володька перевернулся на спину, протянул руку к столу, достал папиросы, чиркнул спичкой.

— Ты куришь? — спросила Тоня.

— Да.

Потом они долго молчали... Володька чутко прислушивался — вот Тоня вздохнула, вот перевернулась на другой бок, и кровать скрипнула, вот как будто она поднялась... Да, поднялась и пошла открыть окно. Володька видел ее легкую тень около рам. Потом опять легла и долго ворочалась. Кашлянула. Вздохнула. И прошептала:

— Тебе хорошо?

— Очень.

— Мне тоже.

Володька докурил папиросу и лежал с открытыми глазами и знал, что пролежит так всю ночь не только потому, что не хочется спать, а потому, что жалко заснуть и потерять во сне то, что сейчас наполняет его.

И вдруг где-то далеко грохнул взрыв, потом еще, еще... И сразу же уже совсем близко затрещали зенитки, стоящие, видно, около Новодевичьего.

— Володя, тревога...

— Слышу.

Он видел через открытую дверь Тониной комнаты, как небо заполосилось прожекторами. Тоня в накинутом халатике бросилась к окну.

— Самолеты! Володька, иди посмотри...

Он поднялся, начал нашаривать рукой брюки, но не нашел, а тем временем Тоня, увлеченная воздушным боем, крикнула:

— Один падает! Ну, иди скорей!

Тогда он вскочил и, как был, в трусах и майке, подбежал к Тоне.

— Видишь?

— Вижу.

Немецкий самолет, взятый в перекрестье лучами нескольких прожекторов, медленно падал, перевортываясь в воздухе, а прожектора все еще не отпускали его, сопровождая почти до самой земли. Бухнул далекий взрыв.

— Один готов! — захлопала в ладоши Тоня.

Но в небе висело несколько самолетов. Зенитки били со всех сторон, и облачка разрывов вспыхивали около них. Володька легко обнял Тоню и почувствовал через тоненький халат, как дрожало ее тело.

— Ты дрожишь. Холодно?

— Это от волнения... Смотри, Володька, сейчас второй подобьют. Смотри. Все ближе и ближе... Ага, есть! — закончила она торжествуя.

И второй самолет, также сопровождаемый лучами прожекторов, начал валиться на крыло, а потом, крутясь, падать... Через минуту-две опять раздался глухой взрыв.

Стрельба начала утихать. Прожектора потянули свои лучи в сторону, вслед оставшимся самолетам, которые уходили из города. Они еще немного постояли у окна, провожая глазами уходящие самолеты и облачка разрывов... Володька прижал к себе дрожащее Тонино тело.

— Все-таки ты замерзла,— сказал он.

— И ты. У тебя холодные руки.

И вдруг, ничего больше не говоря друг другу, будто бы с этой постели они и были подняты тревогой, они легли вместе на Тонину кровать и замерли...

Тоня лежала на спине, а Володька на боку, прижавшись к ней и обнимая ее правой рукой... Они долго молчали, ошеломленные этой неожиданной близостью, лежали не шевелясь, затаив дыхание.

— Отпусти меня на минутку,— попросила она.

— Не могу,— прошептал он.

— Я только скину халат.

Володька осторожно отнял руку. Она, не вставая, кинула халатик на стоящий рядом стул и осталась в трусиках и лифчике. Он опять обнял ее и, ощутив своими ногами ее голые горячие ноги, замер... Через некоторое время он чуть приподнялся, захотел поцеловать ее губы, но она закачала головой:

— Не надо. Мне и так очень хорошо... Ты со мной, совсем со мной. Господи, если бы можно было остановить время...

Да, было и так необыкновенно хорошо, чего же больше. И не знал еще Володька, что сколько бы ни было у него женщин и какими бы они ни были, ничего более прекрасного не будет у него в жизни уже никогда. Что эта короткая июньская целомудренная ночь, пролетевшая сказочным мигом под далекий грохот зенитных батарей, останется в душе навсегда и воспоминания о ней будут томить сердце до конца дней...

Они почти не спали... Может быть, на какие-то минуты они и уходили в сон, но только на минуты, и, просыпаясь, сразу же глядели друг на друга, чтоб увериться — они вместе, это взаправду...

Июньский ранний рассвет уже с трех часов ночи начал высветлять окна, а к пяти луч солнца пробился к ним и золотой полосой лег на их счастливые, но осунувшиеся лица. Володька решил уходить в шесть — к семи он попадет домой, и «святая ложь» — попал в комендатуру — будет правдоподобна.

В прихожей Тоня протянула ему губы для поцелуя.

— Что ж ты боялась ночью? Разве ты не верила мне?

— Я не боялась. Просто было так хорошо, что большего не нужно.

Ровно в шесть спускался Володька по лестнице, ста-



раясь прошмыгнуть незаметно мимо лифтерши, но она бдила и пробуравила своими глазками.

Он сел в перегруженный трамвай, долго висел на подножке, пока на следующей остановке не подвалило людей и они не втиснули его в вагон. Как ни был он рассеян и погружен в свои переживания, но не мог не заметить — другой народ катит в этом первом утреннем трамвае, чем тот, который ходит в дневные часы по улицам Москвы.

Спешила на заводы рабочая Усачевка — пожилые мужчины в спецодежде, бледные, уже с утра усталые женщины и невыспавшиеся подростки У последних-то и слипались веки, дремали стоя, а кто сидел, спали по-настоящему — несытые, с совсем еще детскими лицами, но уже какими-то озабоченными, серьезными. И эти мальчишки, работнички ранние, несмотря на дрему, все же посматривали на раненую Володькину руку, на медаль, хоть и сдержанно, но все же с интересом — с войны человек, с фронта... Трамвай дико визжал на поворотах, женщина-вагоновожатая остервенело звонила каждую минуту без всякой надобности. Когда Володька сходил, то увидел ее лицо — оно было заплакано и искажено горем.

Он предполагал, что мать еще спит и ему удастся незаметно проскочить в свою комнату, но она встретила его в коридоре, видно услышав, как он ворочал ключом.

— Мама... — начал было он.

— Тише, Володя, — сказала она шепотом. — В твоей комнате Юля.

— Что? — оторопел он.

— Ее вчера отпустили в увольнение. Вечер она провела со своими, а около двенадцати пришла к нам... Ты понимаешь, что при ней я не могла позвонить, и страшно волновалась. Мы ждали тебя до двух часов ночи.

Володька подошел к своей комнатке и тихонько приоткрыл дверь. Юля спала одетая, чуть прикрытая одеялом. На зареванном лице — гримаса страдания. Рот полуоткрыт, губы опущены вниз, как у обиженного ребенка. Его ударило жалостью, он постоял еще немного, а потом закрыл дверь.

— Она спит, — сказал он растерянно, войдя в комнату матери.

— Что ты намереваешься делать? — холодно спросила мать. — Продолжать ложь? — Она набила папиросу и закурила.

— Осталось всего немного. Я уеду, и все разрешится само собой... Мама, я скажу, что попал в комендатуру, возвращаясь от Сережки,— полувопросительно закончил он.

— Говори что угодно, но не вмешивай меня...

Володька искурил папиросу, изжевав весь мундштук, несколько раз прошелся по комнате туда-сюда, прежде чем решил идти к Юле. Когда он вошел, она лежала на спине с открытыми глазами, и ничего не дрогнуло на ее неподвижном лице.

— Ты проснулась? — проямлил он, но она ничего не ответила, продолжая глядеть на него каким-то невидящим взглядом.

Он совсем смутился, начал переступать с ноги на ногу и наконец раскашлялся.

— Ты что, не видишь? Это я. Меня задержали по дороге от Сергея...

— Это не ты, Володька,— каким-то пустым, безразличным тоном проговорила она.— Выйди, я приведу себя в порядок...

— До каких часов у тебя увольнение?

— Не все ли равно. Я сейчас уйду.

— Юлька, но нельзя же так! Ты ничего не знаешь...

— Я ничего не хочу знать. Выйди.

Володька вернулся в комнату матери.

— Юля почему-то решила, что ты встретил эту... Майю, кажется? Была у вас в классе такая пышная девочка, и что пропадает у нее,— сказала мать.

Он ничего не ответил и опять засмолил папиросу.

Вошла Юля, бледная, подурневшая, в помятой гимнастерке и юбке, и опять Володьку ударило жалостью.

— До свиданья,— сказала она только Володькиной матери.— Я ухожу.

— Я провожу тебя,— поднялся он.

— Не хочу,— резко бросила Юля.

— Все равно провожу.

Они молча спустились по лестнице, молча шли по улице. Когда они сходили с тротуара, Володька хотел поддержать ее за локоть, но она вырвала руку:

— Не дотрагивайся до меня!

Так в молчании они дошли до ее дома, и только тут, приостановившись, Юля дрожащим голосом сказала:

— Как ты мог... с этой дрянью. Она же чуть ли не с восьмого класса...

— Да не встречался я ни с какой Майкой! Я напишу тебе...

— Все равно ты предал меня.— Она круто повернулась и вошла в парадное.

Возвратясь домой, Володька принялся строчить большое письмо, стараясь объяснить ей (да и себе тоже), что произошло с ним, предлагая ей остаться друзьями, не обрывать то, что у них было, но письмо не получалось, выходило вымученным, холодным, и Володька разорвал написанное.

Встреча с Сергеем произошла опять на той же квартире в Троицком переулке. Когда они говорили по телефону, договариваясь о встрече, Володьку поразил голос Сергея. Что-то у него случилось, подумал он. Но, встретившись, он ничего не заметил на лице Сережки — оно было спокойно и лишь очень сосредоточенно. Он довольно рассеянно слушал Володьку, рассказывавшего о неожиданном приходе Юли, о сцене, которая произошла.

— Ну и что же? У Юльки, по-моему, был какой-то роман, пока ты был в армии, теперь у тебя. Подумаешь,— небрежно высказался Сергей, не придавая всему этому значения.

— Мама часто мне твердила, что ее счастье и ее беда в том, что она воспитана на святой русской литературе... Я тоже в том же грешен,— заметил Володька.

— Думаю, что здесь больше беды... Слишком много психологии и «проклятых вопросов». Русская литература не смогла воспитать цельного, рационального человека. Она создала либо фанатиков, либо лишних людей,— заявил Сергей.— Кстати, мы спорили с тобой об этом еще на заре туманной юности. Помнишь?

— Помню. Но ты был не прав тогда, как и сейчас. Русская литература воспитала человека, которому очень трудно быть подлецом...

— Возможно, возможно... Прости, Володька, но мне что-то не до дискуссий. Я позвал тебя по другому поводу... Вот прочти.— Сергей вынул из бокового кармана пиджака конверт.— Это от отца...— и отдал Володьке.

«Дорогой Сережа! Не знаю, получил ли ты то, о чем писал. Не знаю — нужно ли это вообще. Без твоей помощи я как-нибудь проживу здесь, и главное не во мне. Я чувствую, ты в страшном разладе и тебе трудно. Я хо-

чу, Сережа, чтоб ты был со всеми, чтоб моя судьба никак не была помехой твоему великому гражданскому долгу. Страна в огромной беде...»

Дальше следовали обычные в письмах слова: вопросы о здоровье, приветы Любе и знакомым...

Володька прочел... Своего отца он не помнил, тот погиб в служебной командировке на Украине, случайно заехав в деревню, занятую махновцами. Поэтому слово «отец», понятие «отец» было у него чем-то большим, почти святым, и, как он ни любил мать, он знал, что отца любил бы больше... И сейчас, прочитав это письмо, он раскашлялся, стараясь выпершить подкативший к горлу ком.

— Первые строки — о броне, ну, а остальное... это тоже из области русской литературы,— пояснил Сергей.— Ну что скажешь? — Володька молчал, а он продолжил: — Ты говорил как-то, что главное слово войны — «надо»... Я не стал тебе тогда ничего говорить, чтоб не оплавилось твое железное «надо». Но видишь ли — есть и другие «надо»...

Они долго молчали. Сергей барабанил пальцами по столу, а Володька, опустив голову, думал. Он мог бы рассказать Сергею, как шел в атаку командир первого взвода Андрей Шергин, сын бывшего комбрига, передавший перед наступлением ему письмо с далеким северным адресом, как, наскоро перевязавшись после первого ранения, поднял залегших людей и, не пробежав десяти метров, получил вторую пулю, после которой опять поднялся и, выхрипывая «Вперед!», не тратя уже времени на перевязку, вел взвод все дальше и дальше... Его, побелевшего, с семью пулевыми ранами, притащили ребята его взвода после того, как наступление захлебнулось... Но не стал рассказывать. У Шергина были те же иллюзии, как у Сергея в финскую: получить высшую награду, доказав этим, что не может быть врагом человек, воспитавший такого сына.

— Что же ты решил? — спросил наконец Володька.

— А что бы решил ты?

— Ты очень добиваешься брони?

— Не очень, но мне могут ее дать... Законную броню.

— Твой отец прав,— сказал Володька не сразу.

— Он думает обо мне... А кто подумает о нем?

— Тебе будет трудно жить после войны... Ты же русский...

Сергей пожал плечами, усмехнулся:

— К тому же тоже воспитанный святой русской литературой...— Он еще раз пожал плечами, а потом, сжав пальцы рук, уставился куда-то взглядом.

Дни были безоблачные, ясные, без дождей и гроз, но холод приближающейся неизбежной разлуки уже коснулся их всех.

Тоня осунулась, все чаще подолгу задумывалась и глядела на Володьку таким взглядом, что у него сжималось сердце. А их прощания в прихожей, их поцелуи перед дверью были уже тронуты ледком отчаяния.

— Я ж приду завтра,— успокаивал и ее и себя Володька.

Но и он и Тоня уже ясно представляли то настоящее последнее прощание, после которого он уже не скажет: «Приду завтра».

Дома было то же самое... Он видел, как в глазах матери металось страдание, которое она изо всех сил пыталась спрятать от него, и ему было не по себе, что он так мало времени и внимания уделял ей. И теперь был он с матерью нежней, чем обычно, стараясь в эти предпоследние дни возместить упущенное.

В своих разговорах они избегали говорить о главном, о том, что впереди, но внутренне были сосредоточены лишь на одном, думали только об одном и делали героические усилия, чтоб не показать друг другу своего состояния.

Как ни странно, сам Володька был, пожалуй, спокойней всех, и если бы не переживания близких, был бы еще спокойней. Он как-то постепенно, еще до наступления предпоследних дней, уже отрешился от московской жизни и половиной своего существа уже был там. И так же постепенно накапливалось в нем мужество, нет, не для фронта, а для скорого и неотвратимого расставания с матерью и Тоней.

Несмотря на довольно скудное, но все же регулярное питание, он поправился и чувствовал себя отдохнувшим и сильным. Рельс уже поддавался ему те тридцать пять раз, которых он хотел достигнуть.

Воспоминания о Ржеве если и не отошли совсем, то стали как-то бледней, и — что самое главное — все страшное, тяжелое как-то смазалось в его памяти. И еще — очень важное — те трагические вопросы: зачем? почему? для чего? как могло так случиться? — которые

мучили его на передовой, если и не получили полного ответа, то ощущение напрасности их безуспешных наступлений покинуло его. Читая постоянно сводки Информбюро, он видел войну шире, чем виделась она ему из своего окопа подо Ржевом. Ему стала яснее взаимосвязь всех фронтов, и он стал понимать значение боев на Калининском, которые связывали немцев и не давали им возможности перебрасывать войска на другие участки, на юг, на котором сейчас идут жестокие сражения.

Но угрозу Москве Володька видел все-таки с Ржева. Не зря немцы так отчаянно удерживали его в своих руках, не боясь даже, что мы сможем окружить город и срезать этот ржевский выступ.

В этот день Володька подходил к Тониному дому в одиннадцатом часу, позже, чем обычно, и думал, что она уже ждет его у двери. Но дверь оказалась закрытой, и Володька долго звонил, прежде чем Тоня открыла дверь. Лицо ее было заспанно, но радостно.

— Володька! — бросилась она к нему. — Сейчас мы поедem к твоей матери.

— Зачем? — недоуменно спросил Володька.

— Надо же нам познакомиться...

— Но почему так вдруг... сейчас?

— Потому! — Она чмокнула его в щеку. — Посиди немного, я переоденусь и приведу себя в порядок... Я почти не спала ночь...

— Почему?

— Много будешь знать — скоро состаришься. Я быстро... — И убежала в свою комнату.

Володька присел, закурил... Оглядел комнату. Никаких изменений не обнаружил, но что-то показалось ему в ней не так, и, когда увидел на столе серебряный портсигар с золотой монограммой, догадался — приехал, видимо, Тонин отец... Но почему Тоня решила ехать сейчас к его матери — не понимал.

— Я готова. Поехали, лейтенант Володька! — Тоня вышла из своей комнаты приодетая и похорошевшая.

— Приехал твой отец? — спросил он.

— Как ты догадался?

— Вот. — Он показал на портсигар.

— Да, приехал... ночью. Сейчас он поехал в наркомат. Вечером я тебя познакомлю. Если он сразу же не уедет обратно. Ну, пошли...

Тоня дала ему в руку довольно увесистую сумку, и они стали спускаться по лестнице...

— Как я выгляжу? — спросила Тоня перед Володькиным парадным.

— Прекрасно.

— Я должна понравиться твоей маме,— заявила она уверенно.

— Не сомневаюсь... Но я все-таки не понимаю, почему тебе именно сегодня приспичило с ней знакомиться?

— Глупенький...— Она погладила его по щеке.

Володька открыл ключом дверь, и Тоня смслом затопала каблучками своих туфель по коридору. Только перед дверью комнаты на секунду приостановилась.

— Мама, вот и пришла к нам Тоня,— сказал Володька, пропуская Тоню вперед.

— Да, это я,— чересчур решительно сказала Тоня.

Мать поднялась из-за стола, улыбнулась и пошла навстречу ей, протягивая руку:

— Очень рада... Наконец-то...

— Я давно собиралась к вам, но... мне было неудобно... Володя все время пропадал у меня, и вы, наверное...

— Проходите, Тоня,— перебила мать.

— Но вы... вы сейчас меня за все простите. Володя, вот тебе письмо, прочти вслух.— Тоня прошла в комнату и села на диван. Вид у нее был какой-то победоносный.— И может быть, даже полюбите,— добавила она.

— Что за письмо? — спросил Володька.

— Ты читай, читай,— нетерпеливо махнула Тоня рукой.

Володька распечатал конверт и начал читать:

«Лейтенант Володя, к сожалению, не буду иметь времени с Вами встретиться — день буду в наркомате, вечером уеду на фронт. Тоня рассказала мне о Вас, однако хочется узнать Вас получше. Поэтому предлагаю Вам подумать — не продолжить ли Вам дальнейшую службу во вверенной мне части? Должен предупредить Вас — служить Вы будете в боевой части, находящейся на боевых позициях, и никаких поблажек с моей стороны не ждите. Но дочь говорила, ей будет спокойней, если мы будем вместе. Скоро в Москве будет мой начштаба, который сможет подготовить соответствующие документы. Очевидно, особых трудностей это не представит. До скорого свидания, если Вы примете мое предложение...»

Володька задумался.

— Ну, что, говорила я, что не пушу тебя больше под этот Ржев! — ликующе воскликнула Тоня.

— И долго ты уговаривала своего отца? — спросил он.

— Я не уговаривала! Я рассказала ему все. Все, все! И он понял, что я и вправду не могу без тебя!

— Что ты решишь? — напряженно спросила мать.

— Что тут решать? — как-то неуверенно произнес Володька. — Наверно, надо согласиться...

— Да, Володя. — Мать опустила на стул. — Даже не знаю, как это выразить? Но понимаешь — мне будет легче.

— Понимаю, мама.

— Не будет той неизвестности, которая мучила меня, — продолжала она.

— Только не смей раздумывать! Ты убьешь меня и мать! — сказала Тоня, заметив в нем нерешительность.

— Почему я могу раздумать? — усмехнулся Володька.

— Потому... потому, что ты какая-то странная смесь рефлектирующего интеллигента с марьинорожинской шпаной. И от тебя можно всего ожидать.

Мать слабо улыбнулась, а Володька стал завертывать сигарку.

— Вообще-то... это вроде поступления в институт по благу... — начал Володька, но Тоня перебила:

— Вот видите, Ксения Николаевна! Я права!

— Володя, ты же поедешь на фронт... — В глазах матери была мольба. — В боевую часть...

— Мама, в самой-пресамой боевой части имеются тылы — одни подальше, одни поближе...

— Ну и что здесь такого! Какое-то время ты не будешь на этом, как ты его называешь, «передке». Десятки тысяч военных служат вообще в Москве и вообще еще не воевали, — сказала Тоня.

— А ты воевал... И хотя ты почти ничего не рассказывал мне, я поняла, что довелось тебе там... Этот ватник, до которого ты не разрешал мне дотронуться... Разве я не догадалась, что на нем чужая кровь... — Мать нервно закурила, и ее рука, держащая папиросу, слегка дрожала.

Володька молчал... Для него самого «случай» с немцем не имел уже того значения, как-то стерся из памяти. Точнее, он стер его сам, потому как знал и понимал неизбежность этого на войне, знал, что и впереди у него бу-



дет то же самое, но для матери?.. Для матери это, наверно, совсем другое, и ему было нехорошо, что мать догадалась.

— Я видела — ты вернулся совсем другим, — добавила мать, поднялась и отошла к окну.

Тоня хотела что-то сказать, но Володька предупредил ее жестом — не надо ничего, а сам подошел к матери, положил руку на плечо.

— Мама, — сказал он, — ты все выдумала. На ватнике, верно, не моя кровь — я помогал тащить раненого, а из него хлестало дай боже...

— Не надо, Володя... Я понимаю, война, враги... И постараюсь примириться с этим...

Потом он пошел провожать Тоню к ее тетке, которой она должна была отнести кое-что из продуктов, привезенных отцом. Тоня, не отличавшаяся особой разговорчивостью, сейчас всю дорогу о чем-то болтала... В Староконюшенном они расстались.

— Я целую вечность не была у тетки. Надо помочь ей прибраться да и вообще побыть хоть часок. Вечером я тебе позвоню, — сказала Тоня.

Володька, уже давно не бродивший по московским улицам, так как всегда торопился к Тоне, сейчас с удовольствием, неспешно зашагал к Арбатской площади, а оттуда направился по Бульварному кольцу.

У памятника Пушкину он остановился — внизу, у постамента, лежали цветы! Что-то дрогнуло в душе Володьки... В военной, полуголодной, измученной непосильным трудом Москве, в Москве, около которой всего в двухстах километрах стоит враг, кто-то не на лишние деньги (таковых у москвичей не было), а может, на последние, покупает на рынке безумно дорогие цветы, чтоб положить их к подножию первого поэта России. Не пайку хлеба, не кусок мяса или масла, чтобы поддержать свое оголодавшее на карточном пайке тело, которые можно купить на эти деньги, а цветы... Это взволновало Володьку, он хмыкнул носом и полез за папиросами.

На бульваре было мало народу и почти не было детей. Кстати, этим тоже отличалась теперешняя Москва от довоенной. Но из немногочисленных прохожих, в большинстве военных, не было ни одного, кто бы не остановился перед памятником, не пробежался глазами по знакомым с детства строкам, не обратил внимания на цветы.

Володька присел на скамейку. Спешить ему было не-

куда, и он сидел, попыхивая папироской, пригреваемый ярким июньским солнцем, и наблюдал. И опять, в который уже раз, ему показался чудом тот вырыв его из одного пространства в другое — из кровавого пятна передовой в тишину Тверского бульвара... Он задумался, а когда поднял голову, то увидел подходившую к памятнику чистенькую, сухонькую арбатскую старушку в старомодной шляпке из соломки, в стареньких лайковых перчатках, в туфлях на невообразимо высоких каблуках. Ей было, видимо, трудно и неудобно ходить, так как она очень неуверенно и осторожно переступала своими тонкими, высохшими ногами. Она остановилась около Пушкина, вынула из сумки один-единственный цветок и, что-то шепча бледными губами, положила его к подножию памятника.

Что шептала эта арбатская старушка, продавшая, наверное, на Центральном рынке какую-нибудь безделушку, чудом сохранившуюся за эти годы, и купившая на эти деньги цветок, мольбу или молитву, Володька не знал, но был уверен, что молит она о победе...

Ему захотелось встать, подойти к ней, взять ее руку в прохудившейся лайковой перчатке и поднести к губам, поблагодарив этим за цветок, но показалось слишком сентиментальным. Старушка все еще стояла у Пушкина, что-то шептала, и Володька не выдержал, подошел.

— У вас кто-нибудь на фронте? — спросил он.

Старушка повернула сморщенное лицо, поглядела на него.

— Увы, молодой человек... Но все... все мужчины в нашей семье воевали за Россию... Мой дед участвовал в Бородинском сражении.

— Ваш дед... при Бородино? — удивился он.

— Мне восемьдесят два... И на моем веку было много войн, но эта... эта самая страшная... Скажите, молодой человек, вы спасете Россию? — Она взглянула ему прямо в глаза.

— Спасем,— тихо ответил Володька, склонив голову.

— Дай вам бог...— Старушка быстро, стараясь сделать это незаметно, перекрестила Володьку, который чуть смутился, и пошла от памятника.

Она шла неровной, колеблющейся походкой на своих нелепых каблуках, в своей нелепой соломенной шляпке — «осколок разбитого вдребезги», но еще живого и тем самым как бы соединяющего его, русского лейтенанта сороковых, с неизвестными им русскими поручиками и

капитанами тех прошлых войн, которые пришлось вести его стране.

Дома его ждало письмо из части, и оказалось оно не от Чиркова, а от самого комбата... Не очень-то долюбил его Володька, но тут вдруг растрогался, вспомнил, как после последнего ночного наступления, в котором сам капитан шел в одной цепи с ними с карабинчиком в руках, вернулись они в рощу, и как присел комбат на пенек, весь почерневший, в измазанной телогрейке с белевшими клочьями вырванной пулями ваты, присел, закрыл лицо руками, и заходили у него ходуном плечи... А они — двое оставшихся в живых командиров — стояли и смотрели, сами еле сдерживая подкатывающие к горлу всхлипы... Нет, не забыть такого. Хоть и осуждал Володька комбата за то ночное наступление, хоть и был зол на него, но повязал себя тогда капитан со своим батальоном одной веревочкой, одной возможностью быть убитым в цепи рядом с любым рядовым бойцом.

И сейчас, читая скупые строчки письма, зовущие Володьку вернуться в свою часть, понимал лейтенант Володька, что не ушел этот человек из его жизни, да и не уйдет никогда, потому как связаны они навечно страшными ржевскими днями и ночами.

...Чуть больше недели осталось до перекомиссии, и Тоня после нескольких спокойных и радостных дней вдруг стала опять взвинченна и нервна.

— Что-то случится, Володька... Не знаю что, но произойдет что-то непредвиденное, и все наши планы рухнут.

— Ну, что может произойти? — успокаивал ее Володька.

— Не знаю, не знаю... Но я чувствую... — И она судорожно обнимала его при прощаниях, с каким-то отчаянием целовала. — Вдруг никто не приедет от папы?

Но Володьку тревожило другое... Все чаще и чаще вспоминались ему передовая, оставшиеся там ребята, как жались в одном шалашике при обстреле, как хлебали из одного котелка, как благодарили, когда свой допнаек (иногда кусочек масла, иногда несколько галет) делил он каждый день то с одним, то с другим, как провожали его, раненного, как жали руку, как желали счастливого пути... И все чаще сжималось сердце жалостью ко всем, кто был с ним там, ко всем, кто так безропотно и безжалобно выполнял его не всегда обдуманые прика-

зы, кто так ни разу не укорил его ни в чем, хотя и было за что... И почти каждую ночь подступало к нему: а не предаст ли он своих ребят решением ехать к Тониному отцу? Имеет ли право менять свою солдатскую судьбу? Сам ведь выбрал он ее, и что ж? Повоевал три месяца — и на попятную?

Но в то же время, видя, как ожила мать после Тониного прихода, как ушли из ее глаз непрерывные напряжения и страх, понимал он, как трудно ему будет обрушить на нее другое и лишит только что обретенной надежды.

И вот в эти предпоследние дни совершенно неожиданно, без телефонного звонка, появилась Юлька.

— Как хорошо, что я вас застала! Бежала и думала: вдруг никого? И что тогда делать? — выпалила она, войдя в комнату.— У своих я была, и у меня еще час времени.

— Вам очень идет военная форма,— сказала Володькина мать, обнимая Юльку.

— Что вы? Гимнастерка велика, сапоги тоже... Ну, как вы тут живете? Когда у тебя перекомиссия?.. Да, конечно, очень жаль, что так получилось, Володька, что твой отпуск мы провели не вместе, но ничего,— заявила она, потрянув головой.— Мы обязательно встретимся на фронте. Что, не веришь? Ты знаешь, как у меня развито предчувствие. Я точно знаю — встретимся...

— Я поставлю чайник,— сказала мать и вышла в кухню.

— Только жаль, Володька, что ты оказался как все.— Юлька сняла пилотку и провела рукой по волосам.

— То есть как это? — не понял Володька.

— Как все мужики,— сказала она резко.

— К тебе приставали?

— У нас на сотню девчонок тысяча мужчин...

— Я предупреждал тебя. На фронте вас будет еще меньше...

— Ну, ко мне-то не очень пристанешь... Я знаю такие слова...

— Какие же слова?

— Я просто говорю: как вам не стыдно! Я пошла в армию воевать, а вы... Это очень нехорошо и стыдно.

— И помогают эти слова? — с горькой усмешкой спросил Володька.

— Очень здорово помогают.

— Ну, дай-то бог...

— Я принесла табак тебе. Я там не курю почему-то. А сейчас хочу. Заверни мне.

— Юлька, никакой Майки у меня не было, и я ее даже не видел,— сказал он, заворачивая себе и Юльке цигарки.

— Честное слово? — совсем по-девчоночьи воскликнула она.

— Честное слово.

— Значит, это правда? Ой, Володька, как это хорошо! Я же считала тебя таким... ну таким... не как все другие. Скажи еще раз — честное слово.

— Это смешно, Юлька.

— Пусть смешно. Повтори.— Володька повторил.— Но где же ты ночевал? Только не ври, что у Сергея.

— Я скажу... Понимаешь, я... я увлекся одной девушкой... у нас ничего не было. Могу дать опять честное слово.

— Володька, вот это-то меня совсем не интересует,— удивила она его.— Разве я могу запретить тебе влюбиться! Это же от нас не зависит. А потом, ты же уедешь — и все это пройдет. А на фронте мы встретимся...— Увидев, что Володька пожал плечами, добавила:— Ну если и не встретимся, то уж после войны обязательно... И вот, Володька,— победа, мы возвращаемся с войны... Кругом будет много всяких девчонок, гораздо красивей меня, но тебе с ними будет неинтересно. Тебе просто не о чем будет с ними говорить... А со мной — будет. Ведь у нас с тобой святое, великое, общее — война, фронт... Понимаешь?

— Неужели ты думала об этом, когда обивала порог военкомата? — Он поглядел на нее внимательно и поновому.

— Конечно, думала! Ты меня все цыпленком считаешь, а думала, еще как думала... Поэтому-то мы и будем вместе после войны. Разве не так?

— Так,— ответил Володька, смотря на Юльку, и другое предчувствие полоснуло по сердцу.

Было что-то в высветлившихся ее глазах, хоть и улыбались они,— потухшее, такое же, как в глазах его ротного перед первым боем.

Из кухни вернулась мать, и Юлька спросила шутливо:

— Ксения Николаевна, правда, что Володька в кого-то втюрился?

— Не знаю, Юля, пусть Володя расскажет вам сам...— смутилась мать и собралась опять выйти из комнаты.

— Погодите, Ксения Николаевна... Мы сейчас присядем на минутку... Ведь я завтра... уезжаю...

— Как уезжаешь? — почти вскрикнул Володька.

— Боже...— прошептала мать.

— Приезжал один дядька с Калининского, какой-то начальник связи. Так вот, ему срочно нужны связистки. Он спросил: кто хочет? Доучитесь, дескать, на месте...

— И ты?

— И я... захотела. Знаешь, надоело уже тут. А потом... месяцем раньше, месяцем позже, чего тянуть. Ты же уедешь через несколько дней.

— Ты не знаешь, что такое месяц! — бросил Володька.

— Господи...— опять прошептала мать и опустилась на стул.

— И когда же ты едешь?

— Завтра. Нас пятеро поедет. Очень хорошие девочки... С этим начальником и поедем до места... Выходит, я раньше тебя на фронт попаду... Так присядем на дорожку?

Володька сел, сцепил руки и уставился в одну точку...

— Ну все,— поднялась Юлька.— Теперь ты поцелуешь меня на прощание и... скажи, несмотря на свою влюбленность, ты еще любишь меня немного?

— Люблю, Юлька...— сказал он, потому как чувствовал сейчас такую нежность, которую можно было, не кривя совестью, назвать любовью.

Он подошел к ней, прижал худенькое Юлькино тельце к себе и поцеловал раз, потом еще... Он почему-то ясно ощущал, что больше он не увидит Юльку, что поцелуй этот последний...

— Ничего, Ксения Николаевна, что мы при вас целуемся? Это же на прощание,— спросила Юлька, счастливо улыбаясь, почувствовав искренность Володькиного поцелуя.

Потом она подошла к помертвевшей Володькиной матери, обняла, чмокнула в щеку и, заметив слезы на ее глазах, сказала:

— Только не плачьте, Ксения Николаевна... Мы обязательно с Володькой встретимся на фронте... Обязательно!

До трех вокзалов они шли пешком... Юлька что-то рассказывала о своих девочках из роты, что некоторые боятся после войны не выйти замуж, так как не останется парней их возраста, что некоторые, их немного, все-таки трусят, хоть и пошли добровольно, и жалеют об этом, но она, Юлька, разумеется, не жалеет, но немножко пугают ее трудности быта, жизни среди мужчин... Володька не очень-то вникал в ее болтовню. У него ныло в груди какое-то очень определенное предчувствие, что эти минуты с Юлькой — последние... И чем беззаботней и веселей была ее болтовня по пустякам, тем сильнее и глубже это пронизывало его...

Не сговариваясь, они оба повернули к Октябрьскому вокзалу и вошли в зал ожидания... Вокзальная предотъездная суета взбудоражила их, и они долго бродили по залам, прошлись по перрону... И пыхтение паровозов, их протяжные гудки, дым, пахнувший разлуками, лязганье буферов, нервные, приглушенные разговоры отъезжающих погрузили Володьку в то томительное, не всегда радостное, но всегда значительное предощущение дороги, которое неизменно испытывал он на вокзалах и станциях, каких немало было в его короткой жизни. Неважно, что предстоящие ему дороги были дорогами в неизвестное, дорогами, может быть, в никуда, дорогами последними, но они всегда тревожили и возбуждали...

Они подошли к расписанию и узнали, что на Калинин идет только один поезд, днем. С ним-то и должна уехать Юлька, а оттуда, как сказал им майор, поедут они машиной до места... На вокзале Юлька затихла, и ее рука, до которой дотронулся Володька, была холодной.

— Не знаю, стоит ли тебе меня провожать завтра? Боюсь разреветься...

— Но-но, товарищ красноармеец, это не положено,— попытался пошутить Володька.

До Матросской Тишины они шли почти не разговаривая... У казармы Володька поцеловал Юльку, но ее губы были холодны, и она не ответила на поцелуй. Возбужденность, с которой она пришла к ним в дом, видимо, прошла — Юлька как-то завяла, будто очень и очень устала... Он долго смотрел ей вслед, как дошла она до проходной, как перекинулась несколькими словами с постовым, как оглянулась и улыбнулась Володьке такой же жалкой, вымученной улыбкой, как и у призывного пункта...

Володька постоял еще немного, потом вынул из кармана черный футлярчик смертного медальона, развернул его, вынул вложенную туда бумажку, прочел — Степанов жил где-то у Крестьянской заставы.

Он долго бродил по каким-то переулкам с одноэтажными деревянными домами, прежде чем нашел нужный. Долго стоял перед дверью, не зная, что ему говорить и как вести себя, если Степанова еще не получила похоронку, и так, ничего не придумав, постучал.

Открыла ему девочка лет двенадцати, поглядела на него и, ничего не спросив, убежала в темноту коридора.

— Мама, мама! К нам дяденька с фронта...

Володька сделал шаг... Навстречу ему шла женщина, на ходу вытирая мокрые руки.

— Вы к нам? — спросила, остановившись перед ним и глядя холодноватыми, настороженными глазами.

— Вы — Степанова? — Она кивнула в ответ. — Тогда к вам

— От мужа? — спросила она сдавленным голосом, и он почувствовал, как напряглась она вся.

— Мы вместе воевали...

— Он жив? — задала она самый главный и страшный вопрос, но каким-то странно равнодушным голосом.

— Вы ничего не получили? — проклиная штабную канцелярию, пробормотал Володька.

— Нет, ничего, — мертво ответила она и перестала вытирать руки, которые плетью упали вдоль тела. — Ну, проходите же, чего мы тут, в коридоре. — Она открыла дверь комнаты и пропустила Володьку.

В довольно большой комнате — простой стол, три кровати, славянский шкаф с зеркалом, в беспорядке расставленные венские стулья. На одной из кроватей, прижавшись друг к другу, сидели девочка, открывшая ему дверь, и мальчуган лет семи. Они смотрели на Володьку как-то очень серьезно, без обычного детского любопытства.

— Садитесь, — сказала женщина, подвигая ему стул, и сама села напротив.

— Спасибо, — поблагодарил он и взглянул на ребят — говорить при них было нельзя.

— Маша, пойдите прогуляйтесь, — поняла женщина его взгляд.



— Да, мама,— сразу согласилась девочка, взяла брата за руку, и они вышли из комнаты.

Женщина стала скручивать сигарку из филичевого табака, пачка которого лежала на столе. Руки ее дрожали. Володька вытащил папиросы и предложил. Она взяла, поблагодарив.

— Никак не научусь крутить,— сказала она, бросив изорванную бумажку на стол.— Да и табак этот — одно название.— Володька зажег спичку.— Вы давно... оттуда-то?

— Третьего мая меня ранило... Отпуск у меня к концу идет,— поспешил добавить он.

Женщина молчала. Молчал и Володька. Оба оттягивали неизбежное.

— Вы, наверное, тот самый лейтенант, о котором муж с Урала писал?

— Он писал?

— Да. О взводном.

— Тогда обо мне. Что же писал?

— Могу показать письмо, если хотите.

— Покажите.

Женщина поднялась, нашла письмо, протянула Володьке. Он стал читать:

«Командир наш взводный вроде ничего, только больно горяченький да молоденький. Правда, хорошо, что не из новоиспеченных — служил кадровую, дело вроде знает. Но, боюсь, дров наломать может. Нас гоняет на тактических, жмет на рукопашный, а будет-то на фронте совсем не так: и тактика эта не пригодится, а уж рукопашный тем более. Намекал я ему, что, дескать, это все ни к чему, что отдохнуть людям надобно. Уж я-то знаю, сколько силенок передок потребует, но впустую намеки мои. Пока сам этого хлеба не попробует — не поймет. Нога моя совсем зажила, но когда лейтенант все бегом и бегом — чувствую боль, и трудно мне это...»

Сжало у Володьки горло запоздалой жалостью, вспомнил, как гонял ребят по сугробам, как доводил их со штыковым боем... И верно, не пригодилось ничего. Положил он письмо и дрогнувшим голосом сказал:

— Да, про меня это...

И опять тягостное молчание придавило обоих.

— Ну, чего уж больше тянуть,— сказала наконец женщина.— Поняла я сразу, как вас увидела. Когда убило-то?

— В апреле.

— Чего ж похоронку не присылают? Вы точно знаете, что убило?

— На моих глазах... Вот,— достал он смертный медальон.— Сам из кармана вынул, чтоб адрес узнать. Он говорил: «Ты, землячок, если в Москву каким случаем попадешь, зайди ко мне непременно и расскажи, как мы на этом болотном пятачке помирали. Ну, а я, ежели живой останусь, к твоим зайду».

И опять потянулось тягостное молчание... Женщина не плакала, не всплескивала в отчаянии руками, только лицо окаменело и чуть подрагивали руки, когда подносила ко рту папиросу.

— Трудно было ко мне идти?

— Да.

— Вижу. Сколько времени не решались. Понимаю, что такую весть приносить — и врагу не пожелаешь... Но я-то... я этот час давно поджидала. И приготовилась. Не было у меня надежды, с самого начала не было. Как письмо его с дороги получила, так в сердце что-то и ударило — не увижу больше. Я вам, наверное, бесчувственной кажусь? А я эту минуту в своей душе не один раз уже пережила... Другие как-то надеются все, до последнего... Похоронку получают — и то все надеются... А я как письма перестала получать, так и поняла: все. Так что не удивляйтесь. Все у меня было — и слезы и отчаяние, все.

— Я пришел...— стал выдавливать из себя Володька.— Я должен... должен рассказать вам, как все это...

— Не надо,— прервала его она.— Скажите только, захоронили где? Может, после войны удастся на могилу съездить.

И опять ударило Володьку по сердцу. Не может же он сказать, что оставили они Степанова на поле, что еле-еле раненых вытащили, живых, что не до мертвых было, когда немец не переставал разметывать их огнем до тех пор, пока ни одного человека не осталось на поле.

— Я... я не знаю точно. В похоронке должны написать. Ну, а место, где находились мы, могу назвать. Это от Ржева километров двадцать на северо-запад... Три деревни там — Погорелое, Черново, Усово... За Черновом лес большой, там наш передний край проходил. В лесу мы и хоронили.

— В общей могиле, значит?

— Да, в общей...— ответил он, а сам подумал: потому и похоронку не присылают пока, что надо в ней ме-

сто захоронения указать, а убрали ли с поля убитых или нет? Видно, не убрали еще. Да и как их уберешь? Пробовали. Посылали по четыре человека ночью, а возвращались три. За каждого мертвого по одному живому отдавать приходилось. И оставили. Но и этого не скажешь женщине.

— Надо бы помянуть Василия... Есть у меня пайковая бутылка, да для продажи приготовила... Но ладно уж...— Она медленно поднялась и пошла к буфету.

— Не надо,— быстро остановил ее Володька.— Дети у вас...

— Да, дети... Не обессудьте тогда.— Она вернулась к столу, села.— Ну, вот все... Настоящая я теперь вдова.

— Я все же должен рассказать вам...— начал опять Володька.

— Что? Почему вы живым остались, а он мертвый? Про это хотите? Так я не виню вас... Каждому своя судьба.

— Но я... я виноват. Не послушал его тогда, в том бою...

Женщина подняла голову, прошлась глазами по его лицу, и еле заметная горькая усмешка тронула ее губы.

— Наломали-таки дров?

— Наломал...— опустил глаза он и весь сжался.

Женщина долго молчала, потом, вздохнув, сказала тихо:

— Бог вам судья. Не хочу я ничего знать.

— Но я должен... должен объяснить вам, что по-другому поступить я не мог. Понимаете, не мог!

— Хотите, чтоб полегчало вам? А обо мне подумали? Каково мне будет думать — кабы не этот мальчишка-лейтенант, живым мог остаться муж мой? Этого хотите? Не надо ничего,— устало закончила она и лишь через некоторое время продолжила: — Что ж, возненавидеть мне вас? А вам через несколько дней опять на войну. Нет, не говорите ничего. Одна война во всем виновата. Только скажите: мучился перед смертью Василий?

— Нет.

— Вот это самое главное. Ребятам, наверное, не скажу, пока,— в раздумье проговорила она.— Пусть надеются. Скажу, что ранен сильно отец, писать не может... Не проговоритесь, когда уходить будете.

— Да, конечно...

— Ну, ладно,— поднялась она.— Даже не знаю, что и сказать вам. Благодарить за то, что такое известие принесли, как-то слова не выговариваются... Ну, а что зашли, все же хорошо, наверное. Исполнили последний приказ Васин... Отпускаю я вам вину вашу, если и есть она какая. Ну, прощайте,— протянула она руку.

— Спасибо вам,— пожал Володька холодную, безжизненную руку, и вдруг то, что сжимало ему горло все это время, прорвалось — он опустился на стул, закрыл лицо и зарыдал.

Женщина положила ладонь на его вздрагивающее плечо, потом перенесла на голову и стала тихо поглаживать.

— Ну, будет вам, будет... Мальчик вы еще совсем... Ну, будет...

А он, бывший отчаянный ротный лейтенант Володька, не позволивший себе ни единой слезинки на передовой, сейчас не мог совладать с собой и бился в всхлипах, ощущая, как горячие слезы пробивались сквозь пальцы и тяжело падали на стол.

— Ну, будет вам, идите, а то и мне держаться невмочь уже.— Она отвела его руки от лица и взяла за плечо.

Володька поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты. Женщина проводила его по коридору, придерживая за плечо и повторяя:

— Ну, будет вам, будет...

Очнулся он на улице, когда, щелкнув английским замком, закрылась за ним входная дверь. Его еще пошатывало, еще били беззвучные рыдания, но он чувствовал, как с каждым толчком его сердца выбивалась из него та холодная тяжесть, которую носил он все дни отпуска и которая мешала ему ощущать и радость возвращения, и радость свидания с близкими, и радость любви к Тоне...

Он глубоко и как-то свободно вздохнул. Огляделся — золотое закатное небо с медленно поднимающимися лиловыми тенями аэропланов заграждения висело над уже окутанными синей предвечерней дымкой московскими домами...

Когда он добрался до Садовой, было уже около десяти вечера и ехать к Тоне вроде бы поздно, да и хотелось ему сегодня побыть одному. Он подошел к телефону-автомату и набрал Тонин номер.

— Куда ты пропал? Я звоню тебе целый вечер. При-

езжай немедленно.— Голос Тони и вправду был измучен.— Что произошло?

Володька, поразившийся женской интуиции, ответил не сразу.

— Ничего не произошло, Тоня. Я сейчас далеко от Зубовской, пока доеду... Я приду к тебе завтра утром.

— Нет, приезжай сейчас. Володька, я прошу тебя — приезжай немедленно, иначе я не знаю, что со мной будет... Слышишь — немедленно.

— Хорошо, Тоня, еду.

Пока троллейбус тащился по Садовой, Володька думал, говорить ли Тоне об отъезде Юльки и о посещении им вдовы Степанова. Но так и не решил...

Тоня, открыв ему дверь, сразу же спросила:

— Что случилось?

— Ничего не случилось, Тоня,— ответил он, опять удивившись женской догадливости.

— Случилось... Я вижу по твоему лицу. Говори, Володька, и не мучай меня.

— Приходила Юля...

— Ну и что?

— Приходила прощаться... Завтра она уезжает на фронт.

— Господи,— упавшим голосом прошептала Тоня.— Ты пойдешь ее провожать?

— Нет, она не хочет... Она уверена, что мы встретимся на фронте.

— Но ты же знал, она рано или поздно должна уехать...

— Да, знал... Принеси воды, пожалуйста,— попросил он.

Тоня принесла воды, которую Володька жадно выпил, и положила руку ему на голову.

— Я понимаю, Володя... Это несколько неожиданно для тебя. Ну ничего, вряд ли их пошлют на передовую. У вас же не было девушек-связисток?

— У нас не было...

— Ты хочешь есть? Сейчас я разогрею консервы... Без тебя я даже этого не могу. За весь день — ни кусочка.— Не дожидаясь Володькиного ответа, она вышла на кухню, а возвратившись, обняла его.— Ты помнишь, что мы каждый вечер прощались в прихожей, я говорила, что мне страшно того последнего вечера, после которого ты уже не придешь?

— Помню.

— Сейчас у меня нет этого страха... Пока папина часть недалеко от Москвы, он сможет, наверно, посылать тебя в командировки. И твой приезд будет всегда неожиданным — вдруг звонок, и лейтенант Володька появляется на пороге, и я буду умирать от счастья. Ведь здорово?

— Да,— пробормотал Володька, а сердце сжалось от того, что скоро — нет, не сегодня, сегодня нельзя — должен он будет разрушить все Тонины надежды. Юлькин отъезд на фронт, да еще на Калининский, добавил ту последнюю каплю, которая и перевесила чашу весов,— все стало на свое место. Выбор был сделан, и после этого уже было не так трудно идти к Степановой.

— Разогрелось,— сказала Тоня, сходя на кухню и принеся еду.

— Что-то не хочется...

— Это мясные консервы,— с ударением на «мясные» произнесла она и поставила перед Володькой сковородку, а потом вдруг, вскинув на него глаза, вздрогнула и прошептала: — Что произошло еще, Володя?

Володька поднял голову, столкнулся с Тониным вопрошающим взглядом и уткнулся в сковородку. «У человека не одно «надо» — вспомнились ему слова Сергея.

— Я был у Степановой,— с трудом произнес он.

— Зачем?! Я же просила тебя!

— Это было необходимо, Тоня.

— Стало легче? — спросила Тоня.

— Не знаю,— пожал плечами Володька.— Наверно, легче.

— Тогда — слава богу.— Она облегченно вздохнула. Володька посмотрел на часы и резко поднялся.

— Мне пора.

— Нет, нет! Не уходи! — бросилась она к нему.— Ты так мало был у меня!

— Я все оставшиеся дни буду только у тебя, Тоня... Только у тебя. И вообще... спасибо тебе... Без тебя мой отпуск прошел бы пусто, скучно, а с тобой было хорошо... очень хорошо. Ну, и я пойду. Я все время буду у тебя, все время...— Володька медленно отступал к двери.

— Володька! — остановила его Тоня.— Поклянись мне, что никакого сумасбродства. Поклянись! Иначе не отпущу! — Тоня схватила его руку и крепко держала.

— Да, Тоня, никакого сумасбродства... Я приду утром и буду весь день, приду...

До Зубовской он бежал... Троллейбус, на который он сел, был пуст. Видимо, последний. Синие лампы еле-еле освещали салон неприятным мертвым светом. От Само-теки Володька пробирался дворами, благо они стали про-ходными — все заборы были сожжены зимой москвича-ми,— наступил уже комендантский час, и он боялся наткнуться на патруль.

Домой он вернулся в первом часу.

— Я думала, ты уже не придешь,— встретила его мать облегченным вздохом.— Будешь пить чай? Я тоже выпью с тобой.

Володьке показалось, что матери хочется поговорить с ним, и он согласился. За столом она часто поглядывала на него тем мучительным вопрошающим взглядом, от которого Володьке было не по себе. Он знал, о чем спро-сит его сейчас мать, и он внутренне сжался.

— Володя, отъезд Юли...— начала мать.

— Не знаю, мама, не знаю,— резко прервал Володь-ка и поднялся.

На другой день отправился Володька на Домников-ку — надо с Егорычем проститься, да и с Надюхой. Не-удобно получилось — не заходил к ней с того раза...

Егорыч сидел во дворе на скамеечке — сумрачный, вялый, смолил самокрутку.

— А, лейтенант...— как-то равнодушно поприветст-вовал он Володьку.— Чего не заходил? Поминала тебя Надюха...

— Дома она? — спросил Володька.

— Нет, на работе.

— Передай ей привет тогда.

— Что привет? Зашел бы, приласкал... Пожалела она тебя тогда...

— Понимаешь, Егорыч, не успею я... А потом... Ты пе-редай ей, что встретил я... ну, одну свою девушку... Она поймет.

— Чего не понять — побаловался и в сторону. Нехо-рошо, браток. Она ж не такая, чтоб с каждым... Зна-чит, понравился ты ей.

— Ты передай, она поймет...

— Поймет не поймет, мое дело маленькое, пере-дам...— Егорыч затянулся и выплюнул сигарку.— Зна-ешь, не вышло у меня с этой торговлей, черт бы ее под-рал. Из-за нее, проклятой, привык к стаканам... День не

выпью — сам не свой. Вот какое дело, брат, получилось. — Он подрагивающей рукой вынул платок, отер пот со лба. — На работу сейчас устраиваюсь. Хоть какое дело, но буду делать. Когда уезжаешь-то?

— На днях...

— Ну что ж, бывай... Хочешь, я тебе про один канал расскажу? На прощальный вечерок водочки-то нужно достать... Так вот, иди в бывший Елисейевский и прямо к директору — так и так, пришел конец отпуску, а выпить на дорожку нечего. Он тебе сразу — платите в кассу шестьдесят рубликов, ну, а когда ты чеки выбьешь, он тебе из собственного сейфа две бутылки. Понял? Мировой мужик... Только по второму разу не вздумай — прогонит.

Володька поблагодарил за «канал», хотя знал, что никакой водки добывать он не будет: не до нее как-то. попрощался с Егорычем, который напоследок расчувствовался, жал Володькину руку и приговаривал:

— Ты поосторожней там... Что ни говори, а бережного и бог бережет, хотя и понимаю — от судьбы не уйдешь. Но ты все же подумай и о себе и о ребятах своих... Наобум и на авось воевать негоже.

— Я понял это, Егорыч... Понял...

Осталось до перекомиссии пять дней... Рана на Володькиной руке давно затянулась, пальцы работали, правда, чуть больновато было, когда кисть сильно сожмешь, но врач сказал, что отпуск ему не продлят — годен Володька к дальнейшей войне.

Начальник штаба Тониного отца должен был приехать сегодня вечером. Так как никто не знал, когда он поедет обратно, — вероятно, что завтра утром и уедет, то прощальный вечер Тоня решила устроить сегодня.

Володька лежал в своей маленькой комнатке при кухне с раскалывающейся от боли головой. Уже второй день ломило голову, видать, оттого, что мучило Володьку — как он скажет матери и Тоне о принятом решении. Не думал он, что будет это таким трудным. И не раз всплывали в памяти слова Сергея о том, что у человека не одно «надо».

Из кухни, где хозяйничали мать и Тоня, до Володьки доносилась часть разговора.

— Знаете, Ксения Николаевна, мне сейчас даже хочется, чтоб Володя поскорей уехал к отцу. Меня не пугает



разлука, лишь бы он был там... Все время кажется — что-то случится, что-то случится...

— Что может случиться, Тоня? — успокаивала мать.

— Не знаю... не придет папин сослуживец или еще что-нибудь...

Для Володьки каждое слово — будто удар по голове, и он закрывал уши руками...

Потом он слышал, как пришел Сергей, поздоровался, спросил, где Володька, передал что-то из продуктов, бросив: «Тут кое-что к столу», — а затем, видно, присел на кухне и со вздохом сказал:

— Вот и пролетели сорок дней...

— Именно пролетели, Сережа... И они были очень нелегкими и для меня и для Володи. Он так ничего и не рассказал мне о фронте, но я о многом догадалась сама... — Мать тоже вздохнула.

— В Володьке слишком много психологии, — заметил Сергей.

— Это хорошо или плохо? — спросила Тоня.

— Увы, мы все воспитаны на святой русской литературе, а в ней слишком много психологии.

— Этим она и хороша, — сказала мать.

— Для мужчины много психологии, наверно, плохо, — заявила Тоня уверенно.

— Bravo, Тоня! Для дочери военного такое заключение вполне естественно. Я согласен — плохо. — Сергей засмеялся.

— Сережа, вы сами не верите в то, что говорите.

— Возможно, Ксения Николаевна, возможно... — небрежно бросил Сергей.

Потом они говорили еще о чем-то. Володька не прислушивался — голову толчками била боль, но когда Тоня завела разговор о Степановой, он напрягся.

— Какой Степановой? — спросила мать.

— Это жена... точнее, вдова его однополчанина, — ответила Тоня. — Когда он пришел от нее, я еле-еле вырвала у него клятву не совершать сумасшедших поступков...

— Расскажите подробнее, Тоня. Я ничего об этом не знаю, — взволнованно попросила мать.

— Ну, Володька, выполняя приказ, не послушал этого Степанова... В общем, почему-то он считает себя виноватым в его гибели...

— Опять психология, — бросил Сергей.

— А может, это совесть,— не сразу и очень тихо произнесла мать.

— Глупость! — быстро вступил Сергей.— В суматохе боя совершенно невозможно рассчитать последствия своих поступков. Володька ни в чем не виноват!

— Что вы еще знаете? — так же тихо спросила мать, но тут раздались звонки в дверь, и она пошла открывать.— К тебе пришли, Володя.

Володька с трудом поднялся, вышел из комнаты — в кухне стояли Витька Бульдог и Шурка Профессор.

— Проститься пришли, Володь... В училище нас берут. Меня в артиллерийское, а Витьку в пехотное,— сказал Шурка.

— Прекрасно, что в училище! — бодро произнес Сергей.— Через три месяца — лейтенанты.

— Нам сказали — шесть месяцев,— уточнил Витька.

Володька смотрел на этих мальчишек и думал, что действительно через шесть месяцев они будут командирами, будут распоряжаться жизнью и смертью десятков людей, и нет у них за плечами даже тех лет срочной службы, которым он придавал такое значение.

— Как настроение? — таким же бодрым голосом спросил Сергей.

— Хорошее,— ответили они разом.

— Витька, ты хоть знаешь, сколько бойцов в стрелковом взводе? — как-то уныло задал вопрос Володька.

— Пока не знаю... Но подучат нас, Володь...

— Подучат, подучат,— подтвердил Сергей.

У Володькиной матери повлажнели глаза. Она подошла к ребятам, провела рукой по остриженным их головам и прошептала:

— Мужества вам, мальчики, мужества.

Потом ребята простились со всеми за руки, особенно трясли Володькину, и вышли тихо, чинно, как и вошли.

— Господи,— пробормотала мать.— Такие мальчишки — и будут воевать.

— Я таким же был на финской,— пожал Сергей плечами, вынул папиросы, закурил.

Затем они пошли в комнату, сели за стол. Володька тер голову и морщился от боли.

— К нашему счастью,— начал Сергей,— сегодняшний прощальный вечер не должен быть уж очень печальным. Конечно, фронт есть фронт, но будем надеяться, Володька, что твоя дальнейшая служба будет немного легче и тебе не придется больше хлебнуть того, что дове-

лось подо Ржевом. Мне хочется поблагодарить Тонечку, которая, как я уже говорил не раз, прямо-таки ангелом-хранителем пришла в этот дом... Но хочу напомнить,— добавил он шутливо,— без меня вашей встречи не произошло бы. Салют!

Надо сейчас и сказать, думал Володька, надо сейчас и сказать... Рубить — так сразу! Чем дальше, тем трудней будет это. Он измученным взглядом обвел всех, и когда встретился с глазами матери — та вздрогнула, сжалась, отвела глаза, а потом вдруг выпрямилась и сказала тихо, но очень отчетливо:

— По-моему, мы все заблуждаемся... Володя... Володя... кажется, принял другое решение...

— Мама! — вырвалось у Володьки облегченно, и сразу же прошла боль, сдавливавшая его голову.

— Володька! — вскрикнула Тоня.

Сергей каким-то мертвым голосом, глухо спросил:

— Это правда, Володька?

— Мама... значит, ты поняла... Тоня... Простите меня, но по-другому я не могу. Я должен... должен к своим ребятам... Ждут же меня... Им, только им я должен доказать... Понимаете? Должен!

— Нет, нет! Володька! Ксения Николаевна! Сергей! Да скажите же ему! Нельзя так, нельзя! Он ни о ком не подумал — ни обо мне, ни о матери! Ни о ком!

— Он и обо мне не подумал,— странно усмехнувшись, сказал Сергей.

— Вы-то здесь при чем? — почти грубо и в упор спросила Тоня.

— Во мне тоже есть эта... психология,— он пожал плечами.— И я тоже воспитан на этой самой... святой...— Он оглядел всех с той же непонятной усмешкой, а потом, буркнув «Салют!» — быстро вышел из комнаты.

Володька бросился за Сергеем, но в коридоре уже хлопнула входная дверь, и он вернулся. Не входя в комнату, он услышал, как мать что-то говорила Тоне...

Он повернулся и пошел в свою комнату, бросился на кушетку вниз лицом. Самое главное позади. Он закрыл глаза, и перед ним поплыла дорога... Замелькали телеграфные столбы, побежали поля, перелески, березовые рощи, бедные серые деревни — русская, родная, политая потом и кровью земля, которую должен он во что бы то ни стало защитить и спасти...

И покой, особенно ощутимый после разлада и разброда последних дней, сошел на него: он возвращается

«на круги своя», на свой, выбранный им самим путь, путь, по которому идет его народ, и ему остается только одно — пройти этот путь достойно, без тех ошибок и недогадок, которые допустил по неопытности и по мальчишеству...

Он сразу словно вырубил себя из московской жизни... Он был уже там, подо Ржевом, рядом со своими ребятами.

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЧЕРНОВЕ

---

**М**ожно будет, конечно, пройти туда тем старым и памятным большаком, что идет от Селижарова на Ржев, по которому мы топали метельными февральскими ночами сорок второго года, или той, другой дорогой обратно, идущей от села Бахмутово, где находилась санрота, на станцию Щербово. Дорогой дневной, солнечной, но тоже незабываемой, пройденной уже в мае того же года.

И тот и другой путь необычны. Путь на войну — и путь к жизни. Всколыхнуть те неповторимые чувства очень и очень хотелось бы, но это хорошие сотни километров... И как найти время для этого?

Дорога туда есть на карте, но я не знаю названий проходимых нами деревень — их просто тогда не было. Ветлы и черные трубы, как надгробия, — вот все, что проплывало перед нами. И ни единого огонька за всю дорогу.

Только сейчас, рассматривая карту, я увидел, что вьется этот большак вдоль Волги, и стало понятным, почему фронт всю дорогу громыхал где-то близко от нас и — то спереди, то справа — зловеще полыхало небо. Лишь днем фронт умолкал.

Путь обратно я могу восстановить только частично. На чудом сохранившейся красноармейской книжке я записал тогда — Лужа, Фомичиха, Лужково, Бабино, Прямухино... Там же записан московский телефон — К-0-85-52... Чей он, кто дал мне его, видно, уже раненному, — не помню! Никакой фамилии нет. Наверно, мне было не нужно этого — я знал, кому и от кого я должен позвонить. Не осталось в памяти — звонил ли я, когда попал в Москву? Разумеется, звонил! Не мог не звонить! Но в мае сорок второго еще многие москвичи не вернулись из эвакуации, и, возможно, я никого не застал.

Прошло двадцать лет с той поры, но ожившая вдруг

память возвращает мне все, даже самые мельчайшие подробности тех дней... Вспоминается даже каждая рытвина на том поле, той страшной меже, отделявшей нас от тех трех русских, но занятых немцами деревенок, названия которых не забыть до конца,— Усово, Овсянниково, Паново... Деревень, которые мы брали, брали и... не смогли взять.

Первый бой... Их много прошло потом, но первый бой, как и первая любовь,— навсегда.

Прошлое неожиданно приблизилось почти вплотную, и в сны, из которых уже давно ушла война, снова ворвались звуки боя, и даже запахи войны ночами ощущаю я.

Что же осталось у меня с того времени? Кроме красноармейской книжки я нашел потертый смертный медальон, похожий на футлярчик от губной помады, с пожелтевшей бумажкой внутри, где, кроме фамилии и группы крови по Янскому, нацарапано что-то карандашом, наверное, что-то важное для меня тогда, но теперь уже не поддающееся расшифровке; три письма оттуда; открытку от раненного в первом бою Мишки Помогаева, отправленную им из госпиталя моей матери; несколько хрупких листков с короткими записями и несколько страниц, на которых я, будучи уже в Москве, пытался как-то запечатлеть то, что случилось с нами подо Ржевом в конце зимы и начале весны сорок второго года. Записки сумбурные, неровные, с трагическими вопросительными знаками почти после каждой строчки: почему, отчего, как могло так случиться? Писались они в конце мая, то есть вслед за свершившимся, и на них не могло не сказаться мое тогдашнее состояние — подавленное, недоуменное, растерянное.

Но все это мертвое, это вещи... А мне сейчас просто необходимы живые свидетели. Те, кто был со мной там. И в первую очередь — Пахомов! Только двое осталось нас из пятидесяти младших командиров, посланных на фронт из нашего дальневосточного полка... Да, только двое. А после того, как меня ранило, Пахомов остался один. Он горьковчанин, влюбленный в Волгу, и потому я уверен, если он жив, то обязательно вернулся в Горький.

И в горьковское адресное бюро я послал просьбу сообщить мне адреса: Пахомова Александра, отчества не знаю, 1918 года рождения, и Чебакова Ивана, 1920 года рождения, тоже до войны проживавшего в Горьком.

И вот такой ответ я получил:

«Пахомов — адресов много, очень много, но с 1918 г.

рождения уроженец Горького значится прописанным только один:

1) Пахомов Александр Федорович, 1918 г., Сормовский р-н, Волжская улица, д. 1, кв. 19.

2) Чебаков Иван, 1920 г., — не прописан. Сведения на убывших хранятся в архиве адресного бюро не свыше трех лет».

Я сразу же послал радостное письмо с довольно глупым обращением: «Значит, ты жив, Пахомыч!» — и с предложением съездить вместе подо Ржев, письмо, за которое потом было стыдно и ответ на которое я получил не скоро.

Даже то, что в Горьком не оказалось Чебакова, меня не очень расстроило: раз жив Пахомыч — найдется потом и Иван.

Нельзя сказать, что за эти годы я не вспоминал своих фронтовых товарищей, — нет, вспоминались они часто, но предпринимать попытки к их розыску что-то мешало. Слишком долго не рубцевались раны войны у матерей и близких, и было страшно касаться их. Я хорошо помню, какую боль причинил матери погибшего Лапшина своим приходом к ней после войны... Тогда было как-то неловко, что ты вот остался живым, а многих твоих товарищей уже нет...

Письмо из Горького пришло, наверное, через месяц. Вот оно, привожу его полностью:

«Уважаемый товарищ! Да, я Пахомов Александр, да, я с восемнадцатого года рождения, но я не воевал — работал на Сормовском заводе. Но, возможно, вы разыскиваете моего двоюродного брата — Пахомова, тоже Александра?.. Он погиб. Посылаю вам его довоенную фотографию. Напишите подробно, что вы о нем помните: где учился, где работал? Может быть, это с ним вы воевали подо Ржевом?..»

Фотография была очень бледная, маленькая, и в пареньке в белой рубашке я узнавал и не узнавал Пахомыча. Смущало то, что Пахомов не курил, а у этого мальчишки торчала во рту папироска.

Я ответил подробно и вскоре получил письмо от старшей сестры Пахомова, в котором она писала, что ее брат не учился в речном техникуме и что призван был в армию только во время войны. Выходило, что это не мой Пахомов...

В Москве был еще один человек, воевавший в нашей бригаде, — Саша Мовергоз. Я разыскал его без особого

труда. Мы встретились, но ему не хотелось ни вспоминать, ни говорить обо Ржеве. Он сказал: «Я старался все забыть. Как можно скорее забыть. И ты мне ни о чем не напоминай — не хочу».

И я не стал. Посидели в кафе, поговорили о пустяках и... разошлись. Видать, не всех томит фронтовая ностальгия. Может, они и правы?

Уже три года меня неотвратно тянет поехать подо Ржев. Каждую весну я достаю карту и вымериваю расстояния, но все какие-то мелкие, по существу, дела мешают мне совершить эту поездку. Мелкие по сравнению с тем большим, что было, и с тем, что я, несомненно, получу от свидания с прошлым.

Телефон, записанный на красноармейской книжке, тоже не дает мне покоя. Кем он мне дан? Кому я должен был позвонить?

Звонок в справочную ничего не дал. Разве возможно через двадцать лет, когда телефоны менялись не раз, что-либо выяснить — ответили мне. Единственное, что оставалось, — найти где-нибудь телефонную книжку тех годов, то есть довоенную. Стал спрашивать знакомых. У одного эта книга каким-то чудом сохранилась. Принес ее домой, перелистал и понял, что придется внимательно просмотреть каждую страницу. Труд адский — и нужный ли? Но все же в свободные минуты, которых, увы, так мало у нас, я листал эту книгу. Через месяц с лишком я наткнулся на этот телефон. Фамилия, которая там была, ничего мне не говорила так же, как и адрес. Но что-то екнуло в груди — теперь я могу надеяться, что узнаю, кто дал мне этот телефон, и узнаю судьбу этого человека. Я переписал адрес в свой блокнот и решил на днях туда сходить, тем более что это в центре города, недалеко от моего дома.

К двадцатой годовщине начала войны я ничего не сделал на Всесоюзную выставку и сейчас не спеша работал над плакатом ко Дню Победы. В эскизе он казался мне довольно впечатляющим: во весь лист, раскинув руки и широко расставив ноги, стоит солдат, закрывая собой почти все поле плаката. Повторяя его, только чуть меньше, справа и слева — противотанковые ежи, а вдали — Москва. Солдат не реалистичный, а словно вырубленный из железа, человек-еж, а надпись — «Отстояли». Он должен как-то перекликаться с военным плакатом «Отстоим



Москву», но по манере, конечно, должен быть другим, более графичным и современным.

Делал я его урывками, перемежая с заказными работами, и прошло недели две, прежде чем я собрался пойти по найденному адресу.

К дому в одном из сретенских переулков я подходил с каким-то странным чувством то ли робости, то ли ожидания чего-то необыкновенного (хотя что может быть необыкновенного?) и у парадного остановился выкурить папиросу и продумать: с чего же начать и что я буду говорить?

У двери несколько звонков, и над каждым фамилия, но та, что была в телефонной книге, не значилась. Я ткнул пальцем в кнопку, что поближе, и долго ждал, прежде чем услышал шаркающие стариковские шаги.

— Кто там? — спросил из-за двери дребезжащий, шамкающий голос.

— Откройте, пожалуйста.

— А кто это? Кого вам?

— Мне нужно... нужно кого-нибудь, кто жил здесь в сорок втором году, — не сразу нашелся я.

— А кого именно?

— Все равно, кого. Откройте.

— Так я не открою. Кого вам надо?

— Скажите, пожалуйста, ваш телефон до войны был К-0-85-52?

— Я не помню.

Я чертыхнулся про себя.

— Ну, а вы сами жили в то время здесь?

— Жила. Кого же вам надо?

Я ничего не ответил — не повторять же эту сказку про белого бычка, а за дверью опять зашаркали шаги — уже от нее. Я нажал другую кнопку. Вскоре послышались другие шаги, на каблучке, быстрые и четкие, и дверь сразу отворилась.

— Кого вам? — строго спросила накрашенная девица в кокетливом халатике.

— Я не знаю кого.

— Чего тогда рветесь?

— Я не рвусь. Мне нужно кого-нибудь, кто жил здесь в сорок втором году.

— В сорок втором? — протянула девица.

— Да. Вас, конечно, тогда еще не было. Кто-нибудь остался из старых жильцов?

— Да. Проходите, ладно. Сейчас я позову.

Я вошел в длинный полутемный коридор и остановился. Вскоре появилась эта же девица в сопровождении старушки, видать, той самой, которая побоялась мне открыть дверь.

— Вот — беседуйте! — Девушка круто повернулась и, затопав каблучками, виляющей походкой отошла от нас.

— Так кого же вам нужно? — спросила старушка, оглядев меня.

— В сорок втором году весной мне кто-то дал ваш телефон и попросил позвонить по нему. Я не помню, кто и кому я должен был позвонить. И звонил ли я? Кто из вашей квартиры мог воевать в том году подо Ржевом? Может быть, вы помните?

Старушка задумалась.

— Володя у нас воевал. Женя воевал. Но вот где, не знаю.

— Они живы?

— Да. Только здесь уже не живут. У Лидочки был жених на фронте. Погиб.

У Лидочки... Я напрягаю память и думаю, что раз я не записал, кому надо мне позвонить, то, вероятно, сказали мне очень простое и легкое имя, без отчества... А Лида... Лида — немудрено запомнить...

— Сколько было Володе и Жене? — спросил я.

— Мальчики совсем... Одного в сорок первом взяли, а Женю, по-моему, только в сорок втором.

— А где сейчас эта Лида?

— Она давно переехала. А телефон, знаете ли, у нас отключили в первые дни войны.

— Куда переехала?

— Не знаю.

— Вы не скажете ее фамилию и отчество?

— Скажу. Фамилия — Крашенникова. А отчество... убей бог, не помню. Мы ее все Лидочка да Лидочка звали. Студенткой она была и жила у тетки. Сама она не москвичка, с Урала вроде... А в институте здесь училась.

— А какого года рождения она?

— Молоденькая была. Девочка совсем. В сорок первом только поступила...

— Ну, хорошо, спасибо. А как жениха ее звали — не помните?

— Нет.

Ну, что ж, попытаюсь разыскать эту Лидочку. Я поблагодарил старушку, распрощался и вышел. Тут же у Сретенских ворот подошел к справочному бюро. Вначале

принимать заказ у меня не захотели. Без отчества не принимаем. Пришлось сказать, что я разыскиваю невесту погибшего фронтового друга,— смилостивились и приняли. Сказали зайти минут через двадцать.

Пошел по Сретенке... Было начало апреля, снега уже не было, но было грязно, мокро, и продувал неприятный влажный ветер. Дойдя до кафе, я почти машинально открыл дверь и вошел — гомон разговоров, дымно и душно. Заказал стакан портвейна и присел за столик.

За моим столиком сидели парень с девицей. Потягивали вино и молчали. Потом наконец, вздохнув, она сказала: «Какие мокасины вчера в Щербаковском давали...» — «Да? — немного оживился парень. — Сколько?» — «Тридцать пять рэ». И опять замолчали. Причем надолго.

Я допил стакан. В голову малость ударило, и я стал думать, что есть все же причина, почему меня тянет так подо Ржев. Было там, наверно, самое важное и главное. Первая встреча со смертью, первые бои, к тому же оказавшиеся безудачными, очень тяжелыми. Конечно, и в сорок третьем, и в сорок четвертом, и в сорок пятом бои не были легки, но они шли по-другому и заканчивались чаще всего победами, успехом...

В справочном мне дали четыре адреса четырех Крашенинковых. Одна была двадцать второго года рождения, другая двадцать четвертого, третья девятнадцатого, а последняя двадцать пятого. Придя домой, я написал им всем открытки с просьбой ответить мне, если кто из них проживал в сорок втором году на Сретенке и имел телефон К-0-85-52.

В середине апреля состоялся выставком, и мой плакат «зарезали». «Вот если бы фигуру дали пореалистичней, тогда...» — сказали мне. Ладно... Погрузил подрамник на крышу своего «Москвича» и увез домой — пусть лежит до лучших времен.

Вечерами достаю карту. Тех памятных деревень нет на ней. Но село Бахмутово есть. От него и танцую. До него можно доехать на машине, но это же не туристическая поездка. Надо пешком, пешком пройти до этих мест. И я решил ехать поездом до станции Чертолино, что в двадцати километрах ото Ржева, а оттуда уже пройти к моим деревням. Прикинул по масштабу: тоже километров восемнадцать — двадцать.

Помня весеннюю дорогу обратно, представляю, что в полуботиночках ее не пройти,— надо покупать сапо-

ги. Синие диагональные галифе у меня чудом сохранились — валяются где-то в чулане. Достал, померил, вроде впору, брюшка я себе не отрастил. Приготовил я и этюдник, нарезал грунтового картона, — наверно, захочется пописать. Пришлось купить и рюкзак. Избалованный машиной, я таких вещей не имел. В общем, я почти готов. Наметил срок — День Победы. Пришлось сбегать на Рижский вокзал и узнать, останавливается ли поезд на станции Чертолино, — останавливается. Все эти приготовления я делаю с трепетным чувством ожидания чего-то большого и важного, что даст мне эта поездка.

Эти деревни, которые мы брали и не смогли взять, снились мне почти десять лет, снятся и сейчас, только редко... Пройти по той земле — значит погрузиться в прошлое, пережить снова необычайно трудное, но великое. Да, пожалуй, великое, потому как было это преодолением себя ради главного... Может быть, потом, в мирной жизни, мне и не хватало вот такого главного стержня, а жизнь стала крутиться по маленьким орбитам, без взлетов и парений, а так — день за днем в повседневности мелких дел и забот.

От четырех Лид никакого ответа я пока не получил, да и, сказать по правде, не особенно о них думал.

Огромному подрамнику, на котором плакат, места в комнате, конечно, нету. Отношу его на чердак. Там пылится многое из того, что задумано, сделано, порой недоделано и которое не нашло признания и применения. Иногда захожу туда, расставляю все и смотрю...

Смотрю с грустью, потому как не сумел я, не смог выразить то, что хотелось... Может быть, сам жанр плаката не дает возможности. Для отражения войны, наверно, нужна живопись, а я же не живописец. Сколько раз пытался я написать солдатские глаза перед боем, — сколько в них всего! — не получилось... Ухожу с чердака всегда каким-то разбитым, в тоске, и тянет промочить горло, что и делаю. Плетусь на Сретенку...

В первые годы после войны на этой узкой, но многолюдной улице довольно часто встречались однополчане по кадровой. Призывались мы Дзержинским военкоматом, а потому Сретенка была как бы главной улицей нашего района. В каждом переулке тогда стояли палаточки «Пиво — воды», и около них обязательно встретишь кого-нибудь из ребят. Сейчас все реже и реже... Кто получил квартиру в новом районе, а кто и... Пораненные же

все, да не по одному разу... Да и времени прошло с войны уж немало.

Помню, как подвел меня один из моих однополчан — Иван Карпов, по прозвищу Слон... Шел я по Сретенке с одной долговязой девицей, генеральской дочкой, с которой только что начал развиваться у меня роман, как подошел ко мне опухший, одетый в какую-то сменку Карпов, и, несмотря на мои отчаянные подмаргивания, осипшим басом попросил десятку. Я, конечно, дал. Девица сделала строгие глаза и поджала губы. Когда же попытался взять ее под руку, она брезгливо отодвинулась... Ну, а я не стал ей рассказывать, что Ванька Карпов провоевал всю войну в пехоте, четырежды покалечен и имеет три «Славы». Бог с ней! Не буду же я ради нее чураться своих фронтовых ребят, кто бы они ни были и что бы с ними ни случилось... Так и закончилось на этом наше знакомство.

На Первоймай пригласила Дина... Связь наша потихоньку затухает, и она теперь увлекает меня интересными знакомствами. Сказала, что будет какой-то растущий и «дико» талантливый актер с женой. Но мне идти что-то не захотелось...

Около одиннадцати раздался телефонный звонок. Наверно, кто-то из приятелей, подумал я, но в трубке услышалось:

— Говорит Крашениникова...

— Которая? У меня их четыре,— ответил я.

На другом конце провода недоуменно замолчали, а потом тот же голос растерянно спросил:

— Разве не вы послали мне открытку?

— Я... Но я не знал вашего отчества, и в справочном мне дали четыре адреса.

— Понимаю... Я только что приехала из командировки. Поэтому не могла позвонить вам раньше. Мне надо вас увидеть. Куда мне приехать и когда? — Голос взволнован и в то же время решителен.

— Ну зачем же вам? Я могу подъехать...

— Сегодня?

— Сегодня, наверное, уже поздновато...

— Нет, не поздно. Если вы можете?

— Вообще-то могу,— согласился я.— Ваше отчество, Лидия...

— Андреевна...

— Ну хорошо, тогда я еду.

Ехать надо было куда-то к черту на кулички, в Кожухово. Ладно, возьму такси.

По дороге зашел в магазин. Выработалась какая-то пошлая привычка: идя в гости к женщине, тащить к ней вино. А ведь когда-то наши деды у самовара, под чаек вели разговоры о смысле жизни и судьбах русской интеллигенции. С трудом ловлю такси и еду.

В машине раздумываю о предстоящей встрече... Голосок у этой Лидии довольно приятный, но особа, видать, решительная. Такие женщины меня как-то пугают. Сколько ей может быть лет? Вынимаю бумажку из адресного бюро — Лидия Андреевна, 1924 года рождения. Значит, тридцать восемь. Кто же мне дал ее телефон? Кто?

Такси несет меня по иллюминированной Садовой. За Крестьянской заставой огней уже меньше, а само Кожухово — это уже сплошная темень. С трудом разыскиваю дом, поднимаюсь на четвертый этаж, звоню. Дверь открывается сразу, и я мужским, довольно бесцеремонным оценивающим взглядом смотрю на стоящую передо мной женщину, но сразу же мне почему-то становится стыдно за свой взгляд, за то, что от меня разит вином, и я отвожу глаза. Во всей фигуре этой женщины была какая-то беззащитность и потерянная. А ее серьезный вопрошающий взгляд сразу отрезвил меня.

— Проходите. Раздевайтесь.

Снимая плащ, вынул из кармана бутылку, уже понимая, что это неудобно, что это ни к чему, но по какой-то проклятой инерции все же вытащил и протянул ей.

— Сегодня же праздник... — промямлил я.

— Понимаю, — сказала, но бутылку поставила на тумбочку передней.

Войдя в комнату, я чуть было не брякнул, что она довольно смелая дамочка — пригласила в такой поздний час незнакомого мужчину, — но вовремя опомнился. Я понял, что мой ироничный и немного снисходительный тон, которым я обычно разговариваю с женщинами, здесь не годится.

— Садитесь. И скажите, когда и где вы получили наш сретенский телефон?

— В сорок втором году. Подо Ржевом. Вот смотрите! — Я вынул красноармейскую книжку в синем переплете и показал. Рядом со схемой нашей обороны и названием деревень, которые я проходил, карандашом был записан телефон. — Кроме телефона, я ничего тогда не записал. Видно, мне это было не нужно, я рассчитывал запомнить, кому и от кого я должен был позвонить. Но сейчас забыл.

— Когда вы записали?

— В сорок втором...

— Какого числа?

— 27 апреля.

Она вздохнула.

— Значит, в апреле он был еще жив. Вы совсем его не помните?

— Хоть убейте. Кем он был — рядовым или командиром?

— Капитаном.

— Капитаном? — протянул я. — Погодите, погодите... Он был не молод?

— Тогда ему было двадцать шесть. Он уже окончил университет и до войны работал.

Я сморщил лоб, стараясь уловить какие-то неясные, но все же всплывшие воспоминания.

— Его звали Виктор, — досказала она. Но это имя ничего мне не говорило, да и не мог я знать по именам всех капитанов, что были в нашей бригаде. — Он был очень высокий, худой... — добавила Лида.

И тут я вспомнил. Нет, я и не забывал этого человека и буду помнить до конца дней, только он не связывался у меня с телефоном, записанным на красноармейской книжке.

— Это было после первого боя... — начал я и рассказал ей, как ночью, приведя с передовой батальонную разведку, я присел у блиндажа комбата — измученный, ошарашенный неразберихой и хаосом первого боя, нескладного, неудачного нашего наступления — и как ко мне подошел какой-то капитан из второго батальона и спросил: «Вы оттуда?» — «Да», — ответил я. «Подождите меня», — сказал капитан и отошел. Через несколько минут он вернулся и принес мне кружку водки, кусок мяса и хлеба... И как после этого, захлебываясь, я рассказывал ему о том, что творилось на передовой, рассказывал долго, пока не свалился и не заснул...

— Это был он, — сказала Лида.

— Почему вы так уверены?

— Он писал мне, как расспрашивал какого-то сержанта о первом бое и накормил его.

— Но я больше его не видал.

— Значит, видели, раз получили от него телефон.

— Возможно, когда я проходил, раненный, мимо штаба... он заметил меня... Но, знаете, я был в таком состоя-

нии, в шоке... Но, значит, так было, иначе откуда у меня этот телефон...

— Да, наверное, так и было.— В ее голосе я заметил некоторое разочарование.— Сейчас я вам покажу... эту... бумагу...— Она не назвала похоронку ее именем.

С трепетом я взял пожелтевший лист и прочел: капитан Болотов Виктор Игнатьевич захоронен в деревне Черново, в могиле, находящейся в десяти метрах на восток от одиноко стоящего дерева (липы)...

— Это прислали его матери на Урал... Я тоже жила там. Мы были дружны домами, и я его знала с детства. Где же находится это Черново? Я еще тогда смотрела карту Калининской области, но такой деревни не нашла.

— Да, их нет на картах, этих деревень. Остались ли они вообще, неизвестно. Я еду туда, числа восьмого, девятого...

— Едете? Туда?

— Да. Что-то последнее время тянет в эти места... Первый бой как первая любовь...

— Неужели можно сравнивать? — перебила она.

— Не знаю. Наверное, можно. В том смысле, что так же остры чувства и так же незабываемы... Вы не принесете бутылку и не разрешите мне выпить?

— Это так обязательно?

— Да нет, просто думаю, может, помянем капитана Болотова...

— Понимаю,— сказала она, видно, любимое ею словечко.

— Да вы не бойтесь — я не опьянею. Иммунитет...

Она принесла из передней бутылку, поставила на стол, вынула из буфета одну рюмку.

— А себе?

— Мне не надо.

— Вы, конечно, разочарованы...

— Да, не скрою,— сказала она просто.— Я надеялась, что кто-то из друзей Виктора разыскивает меня. Но все равно я очень вам рада. Вы пока единственный человек, который был с ним там, который видел его там, видел живым... А это много значит.

Я налил себе рюмку, хлопнул ее разом.

— Извините, я как-то растерялась... Надо бы вам дать закусить. Кекса хотите?

— Да не беспокойтесь! — Я налил вторую.

Она принесла кекс и очень мягко сказала:

— Не надо пить... Прошу вас...



Я посмотрел на нее и отодвинул рюмку. Действительно, какое ей удовольствие глядеть на здорового мужика, хлопающего рюмку за рюмкой, неприлично живого, когда ее Виктор... капитан Болотов... Да, конечно, не надо лакать. Да и вообще пора. Я приподнялся.

— Нет, вы не уходите пока. У меня к вам просьба.

— Какая? — удивился я.

— Возьмите меня с собой... туда... подо Ржев.

— Подо Ржев? Лида, разрешите называть вас без отчества, вы понимаете, я поеду туда поездом. Надо будет пройти пешком около двадцати километров...

— Меня это не пугает. Это очень важно для меня...

— Неужели? Ведь столько лет прошло...

— Да, много лет прошло, но это не имеет значения... для меня...

— Простите, вы что, ждали его?

— Конечно, — сказала она, как само собой разумеющееся.

— До сих пор?

— До сих пор.

— Уму непостижимо... Я понимаю матерей, те ждали и будут ждать до конца своих дней, а женщины... Нет, я не верю.

— Это — ваше дело, я не стану вас убеждать.

— Да и не убедите. В чем вы собираетесь ехать?

В туфельках?

— Наверное, это неподходящая обувь?

— Именно. Для этой поездки я сапоги купил.

— Ну и я куплю.

— Я совершенно не представляю, где придется ночевать. Может, придется сооружать шалаш и...

— Меня это не волнует. Скажите, как вы думаете, сохранилась могила?

— Сомневаюсь.

— Но это место... в десяти метрах на восток... вы сможете найти?

— Смогу, если уцелело это одиноко стоящее дерево.

— Так вы возьмете меня? Уверяю вас, я не буду вам в тягость. Я хороший ходок.

— Но вы связаны временем. Мы можем не обернуться в два дня.

— Я возьму отпуск за свой счет.

— Значит, для вас это действительно важно? — сказал я задумчиво, взглянув на нее.

— Разумеется.

— У вас не сложилась личная жизнь? Простите, если касаюсь...

— Ничего, пожалуйста. Я просто ее не складывала... личную жизнь...

— Но вы же тогда были совсем девчонкой...

— Да, девчонкой... Вначале я не верила в его гибель. Даже тогда, когда мать получила эту бумагу. Он не мог погибнуть... Он был такой хороший...

— Эх, если б убивало только плохих! — с горечью заметил я.

— Я понимаю все это. Но представить не могла.

— Ладно, — махнул я рукой. — Поедем вместе, но... удобств я вам гарантировать не могу. Я мог бы поехать туда на автомобиле, но... понимаете...

— Понимаю, — перебила она. — Значит, через неделю мы созвонимся?

— Да! — Я приподнялся и стал прощаться.

— Не забудьте свою бутылку, — напомнила она.

— Пусть останется у вас. Может, я найду к вам когда-нибудь...

Как выбираться из этого Кожухова, я не имел представления и пошел пешком по какой-то улице — в надежде прихватить по дороге такси.

Мне совсем не хотелось в поездке подо Ржев иметь попутчика, тем паче попутчицу. По этой земле надо пройти одному, не отвлекаясь на пустые разговоры, без суеты, которую вносит всякая женщина. Но что поделаешь, отказать ей я не смог. Вообще я как-то не нашел тона в разговоре с ней, вроде сробел... Непохоже это на меня. Я даже не разглядел ее как следует. Мой первый любопытствующий взгляд был сразу погашен ее беззащитностью, а потом она убила меня своей верностью капитану, хотя не очень-то я в это поверил.

Хотя она была связана с человеком, которого я видел всего два раза, мысли о каком-то флирте с ней мне не приходило: то, что подо Ржевом, свято. Но все же я подумал о пикантности ситуации — быть наедине с женщиной на двадцатикилометровой дороге, очевидно безлюдной, и, может, даже ночевать вместе неизвестно где...

Домой я не поехал, а во втором часу ночи ввалился к Дине.

— Я знала, что ты все-таки придешь, — сказала она, прижимаясь ко мне.

Я-то этого совсем не знал и завернул к ней, сам не зная зачем.

Актер с женой, конечно, уже ушли, а мы, допив остатки вина, легли спать...

Утром, проснувшись с головной болью и пересохшим горлом, я сразу же потянулся за папиросой и, затаившись, вдруг ясно вспомнил, как мне передал Лидин телефон этот капитан.

Это было в избе санзвода. Врач делал мне перевязку, я морщился от боли, а тут зашел он и, поглядев на меня внимательно, видно, вспомнил наш ночной разговор, спросил: «Вы, кажется, москвич?» Я ответил, что да, москвич, и что постараюсь попасть в московский госпиталь, так как не видел три года родных. Вот тогда он и дал мне тот телефон, попросив позвонить, если попаду в Москву, и передать только, что я видел его живым. Ночью, после первого боя, когда он принес мне еды и водки, я не разглядел его, а сейчас днем мог рассмотреть как следует — он был высок, худощав, а на узком интеллигентном лице светились какие-то очень ясные, добрые глаза.

Почему этот момент начисто выплыл из памяти — непонятно. Может, потому, что кольнул врач мне после перевязки хорошую порцию морфия и был я словно пьяный? Но сейчас он всплыл зримо, со всеми подробностями...

И вот нет уж давно этого капитана, а я живой... Лежу с женщиной, которая не так-то мне необходима, к которой хожу то ли по привычке, то ли от одиночества.

Я тихо поднялся, чтоб не разбудить ее, и стал одеваться...

Порядочные люди в праздники не работают, но у нас, свободных художников, почему-то всегда после праздников всякие советы, и всегда приходится гнать работу именно в праздничные дни. Так и сегодня — надо к совету приготовить пару оригиналов, а то останешься без денег.

Завариваю крепчайшего кофе и начинаю работать.

Я не спросил Лиду, какой институт окончил ее капитан, но, судя по его интеллигентному виду, наверное, гуманитарный... Что мог сделать этот человек, если б остался жив? Как бы жил? Может быть, толковее, чем я? Хотя чего я хаю свою жизнь? Живу не хуже других. А то, что один, даже хорошо — сам себе хозяин.

Ну, а долг свой во время войны выполнил я честно. Иногда приятно вытащить ордена и вспомнить, за что их получил. Их не так много у меня — «Звездочка», «Отече-

ственная» и две медали «За отвагу». Первая, самая дорогая,— за Ржев. Да, не так много, но зато ни одной зазря. Все даны за дело, за кровь, за первые годы войны, самые тяжелые и самые безнаградные. Хватит с меня этого, наверное... После того, что было, после того, как в течение трех лет смерть витала над тобой каждодневно, за исключением нескольких месяцев, проведенных в госпиталях, после всего этого — разве грех просто жить, наслаждаться тем, что живой, что можешь дышать, ходить, чувствовать, думать. Но почему же кажется — что-то утрачено? И неужели навсегда?

Седьмого мая вечером позвонил Лиде, втайне надеясь, что она раздумала, но когда спросил, брать ли на нее билет, она быстро ответила, что разумеется и что она очень благодарна мне. Все эти дни шли дожди, и я напомнил ей, что ехать надо обязательно в сапогах. «Не беспокойтесь, у меня все готово»,— ответила она.

На другой день утром я взял два билета на Рижском вокзале, а потом пошел по проспекту Мира, по магазинам, купить съестного на дорогу. В одном попалась полукопченая колбаса, во втором — грудинка. Вместо вина, конечно, взял водки, а вместо папирос — две пачки махры.

Недалеко от дома встретился знакомый художник, который уже вроде начал праздновать День Победы. Увидев у меня рюкзак, он поинтересовался, куда я собираюсь, и, узнав, что подо Ржев, на места первых боев, от меня уже не отставал.

— Как здорово, что ты собрался! Я столько лет все хочу поехать, и все никак... Ты знаешь, у меня на Киевщине Наденька осталась... Вот куда надо...— Голос его дрожал, а я подумал, что не одного меня, оказывается, тревожит и томит прошлое.

Пришлось пригласить его к себе, ну и пошли разговоры... Который раз я слушаю, как он лично подбил «тигра», который раз слушаю о его войне в Польше. И о Наденьке... История трогательная, жалостная, как и все любви солдатские на фронте.

Увидав пачку махорки, он попросил закурить, и, завернув, как в прежние дни, самокрутки из газетки, мы задымили, и вкус, запах махры возвращали нас в прошлое, в те незабывные огневые дни и ночи, когда были мы людьми с большой буквы, когда отвечали за все на свете, когда держали в своих мальчишеских руках судьбу своей Родины.

Он сбегал к себе домой (жил через два дома) и при- тащил мне фронтной кисет, вылинявший, с расплывши- мися после стирок вышитыми словами — «На долгую па- мять. От Нади», и кинжал разведческий с наборной из пластмассы, эбонита, алюминия ручкой. От кинжала я отказался, а в Надин кисет пересыпал махорку.

— Да... была жизнь...— протянул мой приятель дрог- нувшим голосом.

— Была...— согласился я.

Поезд на Ригу отходил в десять часов. Ночь пред- стояла бессонная, но товарищ и не думал уходить, а в конце разговора заявил, что едет со мной.

— Пусть я и не там воевал, но все равно хочу по- смотреть эту политую кровью землю, окопы старые, вор- онки... Очиститься хочу от этой обывательщины. По- нимаешь?

— Понимаю, но... В другой раз как-нибудь...

Не без труда уговорил я его отказаться от этой затеи, и только в восемь вечера он отправился домой, а я на- чал укладывать рюкзак. Получилось весомо, а я по- думал, что мне придется туго на этих двадцати кило- метрах.

В полдесятого я был уже на вокзале — тихом, мало- людном — и сразу нашел Лиду. Она была в бежевом ко- ротком плаще, в беретике, в кирзовых сапожках армей- ского образца. Мы поздоровались, и я спросил:

— Откуда у вас? — и показал на сапоги.

— Сохранились.

— Вы что, были в армии?

— Да.

— Вы же учились в институте.

— Да. Но после... той бумаги... я пошла в воен- комат и...

— И кем же вы были?

— Связисткой. Но я служила в тылах. Войны настоя- щей, в сущности, не видала. И вообще служила недолго. Заболела тифом, и меня демобилизовали для продолже- ния учебы.

— Вот как! — протянул я. — Это несколько меняет дело...

— Понимаю,— опять сказала она и улыбнулась.

— Чего вы понимаете? — несколько раздражился я этим словом.

— Ну... что со мной можно меньше церемониться... Так я поняла?

— Не совсем... Но что-то вроде этого. Мне будет легче.

— Это я и подумала.

У нее за плечами тоже небольшой рюкзак, довольно плотно набитый.

— Чего вы набрали? — кивнул я на мешок. — Я купил все, что нужно... на двоих.

— Спасибо, но я не хотела вас утруждать. Сколько я должна вам за билет?

— Ну, уж это к черту! Отставить эти разговорчики!

Места оказались боковые — одно нижнее и одно верхнее. Пока присели на нижней полке... Все время проходил народ с чемоданами, стукали нас по коленкам, но вскоре все расселись, ушли провожающие, и, несмотря на поздний час, люди начали развязывать баульчики и сумки с едой. Потянулся и я к своему рюкзаку.

— Перекусим?

— Я не хочу, — ответила Лида.

— А выпить?

— По-моему, вы уже выпили?

— Да. Встретил приятеля. Тоже фронтовика. Ну, как?

— Давайте, — сказала она просто.

Я вытащил армейскую флягу.

— У меня водка, — предупредил я.

— Ничего. Только чуть-чуть.

Я налил немного и протянул ей. Она выпила сразу. Мне это понравилось. Страсть как не люблю ломак! И вообще привлекают меня женщины свойские, с которыми просто себя чувствуешь. С Лидой я просто себя не чувствовал с самого начала нашего знакомства, но сейчас вроде ледок растопился.

— Молодец! — одобрил я и как бы невзначай положил руку на ее коленку — интересно, какотреагирует?

Она никак неотреагировала, видно решив, что я сделал это случайно, а так как мне надо было наливать себе из фляги, то руку пришлось убрать. А жаль!

Себе я налил побольше и, глотнув все разом, заметно охмелел.

— Расскажите о себе, — попросила Лидия. — Кто вы, что вы?

Я рассмеялся. Вроде я обрел тон и манеру разговора с ней, а потому ответил с присущим мне обычно подтруниванием и над собой, и над партнером по диалогу:

— Толком и сам не знаю — кто я? Художник... холо-

стяк. Наверно, немного циник, как все холостяки, но не бабник... В общем, человек, не очень-то довольный собой...

— Решили пококетничать своими недостатками?

— Ну, о недостатках-то я умолчал... Их хватает. Но наряду с ними имею святое — война...

— Это уже что-то значит.

Она задумалась...

— Я знаю, что вы сейчас подумали, — стоило ли оставаться живым в этой войне, чтобы так жить? Угадал?

— Я не так подумала.

— Но что-то вроде этого? Да?

— Я не люблю никого судить.

— Понимаю, — быстро сказал я, подчеркнув это слово.

Она улыбнулась:

— Не поддразнивайте. Не вы первый... Но я действительно многое понимаю.

— Это-то и страшно. Боюсь умных женщин.

— Я понимаю не умом.

— Это еще страшнее, наверное. Хотите, плесну еще водочки?

— Нет. Мне и так ударило в голову.

— Это хорошо. Но еще лучше потерять голову. Вы теряли?

— Наверное, нет... — неуверенно произнесла она.

— Это плохо.

— Возможно, — так же неуверенно сказала Лида.

Я мог вести разговор в таком духе до бесконечности, но вдруг, посмотрев на нее, осекся.

У Лиды было довольно простенькое русское лицо, милостивое, но не большое, и если б не какая-то настоящая интеллигентность в ее облике, то и внимания не обратишь... Но вот как раз это, да и отсутствие женской опытности в ней, которое я сразу увидел, остановили меня. Не для легкого флирта эта женщина. Такие принимают все всерьез. А всерьез мне вроде бы ни к чему...

— Извините, я выйду покурить, — сказал я и направился в тамбур.

Там, открыв дверь, я вдыхал влажный весенний воздух и, вглядываясь в мелькающую придорожную полосу, как-то ясно представил — я же еду! Еду подо Ржев! В прошлое! И отошли сразу глупые мысли насчет Лидочки, вся суета сегодняшнего дня, полупьяный разговор с приятелем... Только перестук вагонов, так давно не слышанный мною и пробуждающий воспоминания о

длинных эшелонных дорогах, в которых пробыл, наверно, в общей сложности несколько месяцев... Путь на восток в семь тысяч километров. Потом еще дальше на восток, почти до Владивостока, потом путь обратно на запад до Урала, где формировалась наша стрелковая бригада, потом путь на фронт... А потом пути в санитарных поездах — с фронта до Москвы, с фронта до Иванова, с фронта до Свердловска...

Да, вся юность была в дорогах... В железных, с их станциями и полустанками, с протяжными гудками паровозов и стуками вагонов, а потом — холодных, темных, метельных, зимних и весенних с распутицей и грязью... Да, сколько их было, дорог — дорог разлук и дорог возвращений... И утром у меня будет дорога. И я жду от нее чего-то, сам не зная чего, но жду...

Может, дожидает меня там моя мина, пролежавшая двадцать лет? И притягивает меня, чтоб хоть и с опозданием, но выполнить свою работу? Да нет, глупости! Какие мины через двадцать лет! Хотя?.. Надо, пожалуй, сказать Лиде, чтоб шла за мной шаг в шаг. Чем черт не шутит — эхо войны...

Когда я вернулся, Лида сидела, поджав колени, положив на них локти рук и кистями поддерживая подбородок, какая-то затихшая и почему-то возбуждавшая жалость... Да, если действительно она оставалась верной своему капитану, что было в ее жизни? Одиночество, воспоминания, и больше ничего. Бедные женщины войны... Вашими любимыми высланы поля России, вашими погодками, вашими женихами, вашими мужьями... Я расстрогался и сказал ласково:

— Ложитесь, Лида. У нас впереди дальняя дорога...

Она подняла голову.

— Я не засну, наверное.

— Ну хоть немного передохните. На какой полке вам удобнее?

— Все равно.

— На верхней будет лучше. Давайте я вам помогу.

Она оперлась мне на плечо, а я приподнял ее. Короткая юбка немного задралась, и я невольно увидел ее голую ногу выше чулка, но сразу отвел глаза, а она смутилась... Верно, и вправду она была верна своему капитану. Сохранилась в ней какая-то девичья наивность и застенчивость, хотя и — «я понимаю». Ничего ты не понимаешь, глупенькая... Целовалась ли ты хоть с этим капитаном? Возможно, и нет?



Я растянулся на нижней, но сон не шел... Нападают на меня порой минуты какой-то растроганности, сентиментальности, и становится мне жалко всех — как сейчас почему-то стало жалко Лиду, — всех жалко, и живых и мертвых, всех, по ком прошла война... Но не себя. Своя жизнь кажется мне довольно легкой, ненагруженной, что ли... И верно, деньги достаются мне, пожалуй, легче, чем другим, семейных обязанностей нет, ребенка я не родил, дерева не посадил, книгу не написал... Скольжу по жизни, не углубляясь особенно ни в себя, ни в нее. Что ж, видимо, таким уродился, а может, усталь непроходимая, накопившаяся внутри за четыре года войны, да все в пехоте-матушке, так и не прошла за эти двадцать лет? Потому и нету силенок на что-то настоящее? Ну, а другие как же? Ведь тоже воевали, а пишут и картины и романы, делают что-то стоящее...

Около пяти утра поезд подходил ко Ржеву, и я вышел в тамбур посмотреть на этот город, ни разу в жизни не виданный, но вроде родной. Город, за который полегла наша Отдельная стрелковая бригада, да не одна она...

И вот увидел я небольшой вокзал, маленькие домики около него, а потом, когда отъехали, — разбежавшийся по возвышенностям городок, рассыпанный то белыми, то красными кирпичиками домов — Р ж е в.

Вернулся я в вагон, наверное, с совсем другим лицом, потому как проснувшаяся Лида поглядела на меня с каким-то удивлением и интересом.

— Я проспала Ржев? Почему не разбудили?

— Увидите на обратном пути. Надо собираться. Скоро Чертолино.

— Я сейчас. Я быстро. — Она довольно резво соскочила с полки, видимо стараясь предупредить мою помощь, и достала свой рюкзак. — А у меня кофе! Этого вы, конечно, не захватили?

— Конечно, — развел я руками.

— Сейчас умоюсь и будем пить. Развязывайте пока.

Кофе из термоса был горяч и ароматен. Я с удовольствием прихлебывал его из маленькой чашечки, закусывая печеньем. Я-то, конечно, ничего сладкого купить не догадался. Даже белого хлеба не взял, а вез с собой буханку черняшки.

Мы заранее вышли в тамбур с вещами и смотрели на проплывающую мимо землю. Еще попадались вдоль пути огромные воронки, из которых тянулись деревца. Если б

не они, говорящие, сколько лет прошло с тех пор, можно было подумать, что война прошла здесь совсем недавно. И эти воронки окунали в прошлое. В утомные эшелонные дороги, когда глаза — в небо, в тошнотном ожидании немецких самолетов. Терпеть не мог бомбежек по эшелону. Хуже не придумаешь. Деться некуда, особенно если на поле. Кроме придорожного кювета, никаких укрытий. И бьют-то по тебе, и ты весь на виду. Но еще хуже, когда бомбят санитарный поезд. Тут уж ты совсем беспомощен. И обидно даже — раненный уже, в тыл едешь, к жизни, а тут ухлопает прямо на больничной койке. Два раза мне доставалось так в санитарке. Жутко вспомнить.

Чертолино оказалось даже не станцией, а унылым, безлюдным, расположенным на голом месте полустанком. Вправо шла разъезженная, в ухабах, грязная глинистая дорога с рыжими лужами, но около нее вилась тропка, более или менее сухая, проходистая,— по ней и тронулись.

Вдали узкой полоской виднелся лесок. Утро было солнечное, но прохладное, и Лида зябко поеживалась в своем плашике. С подножки она спрыгнула, не дожидаясь моей помощи, видать, не очень приятны ей мои прикосновения. Ну и бог с ней! Не так мне все это нужно.

Шли молча... Мне было не до разговора, и Лида это понимала. Только спустя час, когда подходили уже к леску, она сказала:

— Вы знаете, мужчины войны казались мне какими-то значительными...

— Но во мне вы этой значительности не заметили,— перебил я, усмехнувшись.

— Откровенно сказать, вначале да, не заметила. Но вот когда подъезжали ко Ржеву и я взгляделась в ваше лицо...

— Очень тронут, Лидочка,— перебил я опять насмешливо.

Она вроде бы поморщилась от «Лидочки», но не звать же мне ее по отчеству, как-никак помоложе она меня на четыре года...

— Я серьезно говорю,— сказала она немного обиженно.— По-моему, вы взяли не очень хороший тон в разговоре со мной... Возможно, вы привыкли говорить так с женщинами...

— Простите, Лида... Действительно, привычка,— почувствовал я неловкость.— А вообще-то вы правы — зна-

чительного во мне нету. Так, самый обыкновенный грешный человек.

— Обыкновенных людей нет. Все люди необыкновенны.

— Да ну? — удивился я. — По-моему, ерунду вы говорите.

— Вы просто не задумывались над этим.

— Пожалуй, да... А вы?

— Я много думала.

Вот и продумала времечко, мужа себе и не пашла, подумал я, а вслух сказал:

— Я бы на вашем месте о другом думал.

— О чем же?

— Мало ли о чем? Необыкновенные люди были на войне...

— Они такими же и остались.

— Ну, нет... Бытие определяет сознание.

— Вы уверены в этой истине?

— А вы знаете другую?

Она не ответила, а мне уж не так был интересен этот разговор, и, прибавив шаг, я пошел впереди.

Я очень давно не был такой вот ранней весной на природе, и сейчас шел, с удовольствием втягивая в себя воздух, смотрел на пучочки свежей зеленой травы, выбившейся на обочинах, на прозрачное, не сильно голубое небо, на белевшие вдоль дороги молодые березки и думал о том, что двадцать лет пролетели так быстро и что уже никогда не вернуть то обостренное ощущение жизни, ту какую-то необыкновенную радость бытия, которая выпадала нам в промежутках между боями, когда каждая мелочь была значительна и неповторима.

Прохожих на этой дороге не было, и мы были совершенно одни, и я подумал, что Лиде не особенно-то уютно с почти незнакомым, чуть подвыпившим мужчиной. Я остановился, подождал ее.

— Не устали?

— Нет.

— Может, присядем?

Она покачала головой, и мы пошли дальше.

На моей карте, конечно, не было ни этой дороги, по которой мы шли, ни той деревни, к которой сейчас приближались. Надо, видно, тут остановиться и спросить, как идти до Овсянникова. Эх, кабы была военная двухверстка — на ней были бы все деревни, все дорожки...

Помню, даже черновская роща была на ней обозначена, и довольно-таки точно.

В деревне мы зашли в первый же дом — спросить дорогу. Хозяева оказались не местные. Старожилов не осталось, не вернулся никто, сказали нам. «Мы тут кто откуда. Овсянниково? Нет, о такой деревне и не слыхивали. Черново? Тоже не знаем. Усово? Усово есть, вон по той дороге, километров восемь... А вам зачем? Воевали здесь? Да? Молочка не хотите?»

От молока я не отказался и влил в пересохшее горло большую кружку. Лида по приглашению хозяйки присела. Было заметно, что она устала. Я развязал свой рюкзак.

— Давайте-ка перекладывайте, что поместится, ко мне.— Я стал впихивать свертки из ее мешка в свой.

Выйдя из дома, я остановился — навстречу шла пожилая женщина, и я решил спросить ее насчет Овсянникова.

— Была такая деревня, была... Сейчас нету ее.

— Как нету?

— Побита была вся. Никто туда не вернулся из жителей-то. Вот и некому было ее заново строить... А как пройти — расскажу...

Мне почему-то хотелось именно с Овсянникова увидеть и черновскую рощу — нашу бывшую передовую, — и Черново, и мы пошли по дороге, указанной женщиной, а не по той, которую показали нам хозяева дома, что шла на Усово. Пошли левее, по тропке и километра через два вошли в лесную, совсем неезженую дорогу, залитую водой.

Идти было трудно, приходилось все время обходить лужи, забираясь в кустарник, искать места получше, порой углубляться в лес метров на тридцать, а то и пятьдесят, и эти лишние метры превращались в километры, и не было этой дороге ни конца ни краю.

Кусты и молодые деревца около дороги были почему-то черные, и я не сразу сообразил, что опрысканы они каким-то составом для их умертвления, что, видно, предстоит тут расчистка и распашка земли, а вначале показалось, что возвратилось время и что идем мы по сожженному фронтовому лесу, тем более то тут, то там зияли наполненные водой воронки.

Лида начала отставать, и я решил сделать привал. Не сразу нашлось сухое место, не сразу увиделось поваленное дерево, на которое можно присесть.

Завернув самокрутку, затянулся махрой, и опять ее вкус и запах возвратили меня в прошлое, да и этот черный лес, эти разводы воды, топкая грязь вернули в весну сорок второго, в черновскую рощу, что была передовой. Только там в ароматы весны вмешивались другие запахи — гари, дыма и тления. Но и тогда плыло над нами это не шибко голубое небо с бегущими неспешно облаками. Было и то, чего нет сейчас, — нестерпимое желание жить и ощущение, что, когда окончится война и ты останешься живым, тебе предстоит какая-то необыкновенная жизнь, нехватимо громадная любовь и такое счастье, которого и не представляешь...

Увы, ничего такого не получилось... Хоть и кончилась война, хоть и остался я живым, но вот такого, о чем мечталось где-нибудь в землянке, не наступило...

А через несколько лет после войны уже начал задумываться, что счастье-то, наверно, было как раз тогда, в те трудные кровавые годы, когда делал ты настоящее дело, преодолевая все. Может, в этом преодолении и было счастье? А сейчас не нашел я себе такого вот дела, ради которого можно было пойти на все — на трудности, на лишения... Да, в жизни человеческой необходима, видать, какая-то сверхзадача. Она была у меня в юности, и ее нет, пожалуй, у меня сейчас.

Лида, видно поняв, что я о чем-то задумался, не прерывала мои размышления, а молча разлила кофе и протянула мне стаканчик.

Она вроде действительно все понимает. С такой женщиной было бы легко. Я всегда боялся, что попадется такая, которая непременно будет лезть в душу, теревить по пустякам... Потому, верно, и не связал пока ни с кем свою жизнь. Да нет, не потому... Просто не полюбил никого по-настоящему. Слишком долго сидела боль и обида на не дождавшуюся меня во время войны женщину.

— Лида, — неожиданно для себя спросил я. — Неужели за все эти годы вам не хотелось кого-то полюбить?

— Почему вы вдруг спросили об этом? Мне казалось, вы думали совсем о другом?

— Да, о другом... Но, наверное, потребность в любви, большой, настоящей, таится в каждом из нас?

— Даже в вас? — улыбнулась Лида.

— Черт возьми, может быть.

— Конечно, хотелось, — ответила она просто. — Но вы знаете, что война не оставила большого выбора женщи-

нам моего поколения. А потом, это желание как-то не выходило за рамки очень смутного ощущения...

— Не было объектов? — сморозил я.

— Видимо.

Прохладны вы, наверное, по темпераменту, миледи, подумал я, а то бы нашлись объекты, но вслух спросил:

— Очень устали?

— Нет, не очень.

Я немного отглотнул из фляги и задымил... Мысли мои вдруг повернулись совсем на другое: а что, если я сейчас ее поцелую? Как она отреагирует? Влепит пощечину? Нет, наверно... Мне показалось занятным прижаться к не целованным двадцать лет губам. Хотя что я? Неужто и правда думаю, что ее верность капитану достигла таких границ. Нет, были у нее, наверное, и легкие романы и связи... Откуда сейчас такие женщины? Нелепость! Чушь! Я придвинулся к Лиде и коснулся ногой ее колена. Она сразу поднялась.

— Вы уже отдохнули? — спросил я.

— Да, пойдете...

— Ну что ж, пойдете,— вздохнул я.

Просвета в лесу все не виделось, и мелькнула мысль, что идем, может, мы не по той дороге. И по времени и по пройденным километрам пора бы уже дойти до Усова.

Овсянникова достигал я только в послевоенных снах, но почему-то оно оказывалось не простой русской деревенькой, домишки и сараи которой я видел через овсянниковское поле, а развалинами какого-то города, с фонтаном в центре, заполненным немецкими трупами, и кирпичными зубцами какой-то башни... Все это из другой были, но почему-то влезало в сны об Овсянникове. И дорога, которой шел в снах, тоже была другой, не той, какой шел в сорок втором... Но сны бывали очень яркие, повторялись часто, потому и помню их до сих пор.

Что я жду от встречи с этими деревнями? Сам не знаю... Опять кольнуло в сердце, и я остановился.

— Я не жалею, Лида, что взял вас. На этой дороге одному было бы неприятно загнуться. По ней, наверное, месяцами никто не проходит и не проезжает.— Я прижал руку к груди.

— Вам плохо? — встревоженно спросила она.

— Сейчас пройдет,— сказал я мягко, тронутый ее тревогой.— Уже прошло. Потопали дальше.

Сказал я бодро, а сам подумал, что моя довольно

беспорядочная жизнь с работами по ночам рано или поздно скажется и, пожалуй, пора уже вводить какой-то, хоть самый элементарный режим.

А дорога все петляла из стороны в сторону, иногда разливаясь целыми озерами голубых луж, которые обходить приходилось, далеко заходя в лес. Но уже светлело впереди, и, видимо, выйдем мы скоро к Овсянникову. И верно, вскоре лес перешел в подлесок и увиделись дома деревни, но какой? Овсянникова же не было. Значит, Усово.

Выйдя к деревне, я увидел слева овсянниковское поле, а впереди три домика — все, что осталось от Чернова.

— Вот вам Черново,— сказал я Лиде и показал рукой. Лицо ее дрогнуло и побледнело.— А здесь, в Усове, были немцы...

Очень близким показалось мне расстояние от Усова до Чернова. Двадцать лет тому назад оно было непреодолимо и мерилось не метрами... И Черново, в которое мы вступили в феврале сорок второго, была довольно большая деревня, почти не побитая и не сожженная немцами при отступлении. Я помню, было два ряда домов и между ними улица, усаженная липами...

Сейчас я увидел две черные липы и только три избы... В одну я зашел, оставив Лиду у крыльца, где она присела и стала осматриваться, ища глазами что-то похожее на могильный холмик, но я-то уже увидел, что ничего такого нет и в помине.

— Здравствуйте,— сказал, входя в избу, поднявшейся мне навстречу женщине.

— Здравствуйте,— ответила она, удивленно меня оглядывая (не часто, видать, тут чужие люди).

— Я из Москвы. Воевал здесь в сорок втором году. Вот мой паспорт. Наверное, мне придется просить у вас разрешения переночевать.— Я вынул паспорт и протянул.

Она взяла и передала лежащему на печке парню:

— Посмотри, Валя, документ... Значит, здесь воевали? А помните танк, подбитый в овсянниковском овраге?

— Конечно. Еще танк в роще был подбитый.

— Валя, не смотри на документы, ясно все. Конечно, приют дадим вам. О чем разговор. Валя, слезай. Принеси молока.

— Я не один. Со мной женщина. Ее жених тут погиб. И должна быть могила... в десяти метрах на восток от одиноко стоящего дерева... Нет могилы?

— Нет вроде. И когда вернулись мы сюда, тоже ничего не заметили. Вы когда в Черново вошли?

— В феврале.

— И цело оно было?

— Да. Только несколько домов сожжено. Сарай большой стоял, вон там внизу. Но его в первую же ночь... разбило.

— А еще большой сарай левее?

— Нет, не было уже.

— Ну, ладно, зовите свою попутчицу-то. И молочком угощайтесь. Что это надумали через столько лет?

— Потянуло. А вас угнали немцы?

— Да. За Овсянники, недалеко... Снаряды ваши до нас долетали, мины. Видали даже, как шли вы цепями на Овсянники, как падали... Господи, жалели-то как мы вас... Сюда только наша семья вернулась.

— А остальные?

— Кто куда. Кто в город подался, кто вообще сгинул...

Парень тем временем принес крынку молока и поставил ее на стол.

— Вот он, Валентин, сорок второго как раз года рождения. И от всего пережитого — и бомбежек, и стрельбы, ну и моих мук — заикается сейчас здорово... В Усове-то тоже местных нету, все приезжие, — продолжала хозяйка.

Я вышел и позвал Лиду. Она вошла, поздоровалась и присела. Хозяйка посмотрела на нее, покачала головой.

— Не было тут могилы никакой. Не было. Когда мы вернулись, вся земля изрыта была воронками. Может, и был холмик какой, так долго ль его разметать разрытыми.

В окошко был виден какой-то бугорок земли, и мне показалось, что именно там была землянка комбата. Я спросил.

— Да, да, землянка была. А до войны яма силосная.

Я вышел из избы... Неужели это все было, было?

— Лида, — сказал я, вернувшись. — Я пойду на бывшую передовую. А вы пока отдохните здесь.

— Вас проводить? — спросила хозяйка.

— Да нет. Найду я. Разве можно забыть такое.



— Лес-то черновский порубили сильно. Видите, елей-то нет совсем. Зато яблони дикие в лесу выросли. Наверное, солдатики получали в посылках, вот из семечек-то и пошли яблоньки. Не узнаете лес. Может, все-таки проводить?

— Спасибо, не надо.

— Можно мне с вами? — спросила Лида. — Или я вам буду мешать?

— Вы устали, наверное?

— Нет. Можно?

Я пожал плечами... Неужели не ясно ей, что туда мне надо пойти одному.

— Знаете что, Лида, давайте поищем могилу... Эта бумажка у вас с собой?

— Да.

— Одинокое стоящее дерево... Где тут могло быть одинокое стоящее дерево? — спросил я хозяйку.

— Вы идите, а мы тут пораскинем мозгами. Может, вспомню я... Хорошо? — обратилась она к Лиде.

— Хорошо.

— А он пусть идет. Ему там без нас будет что вспомнить. Идите.

Я вышел из избы и подался сразу вправо. Где-то на опушке, близ Чернова, стояла артиллерийская батарея. Какие-нибудь следы от нее должны остаться. А от нее я уж сориентируюсь.

Удивительное чувство охватило меня. Я все еще не мог представить реально, что действительно здесь двадцать лет тому назад я был, что вот этой дорогой, тогда протоптанной, я возвращался на передовую после редких вызовов в штаб. Да, этой... Только тогда по сторонам лежали раздетые до белья трупы, только тогда стоял в роще тяжелый дух тления, который не могли забить запахи только пробивавшейся весны. Пахло еще гарью, дымком от костров, а после минометных налетов долго стоял едкий запах серы... И еще чем-то пахло, неуловимым, неопределенным, но присущим только передовой. Иногда этот запах я чуял и в других местах и даже после войны, и он сразу возвращал меня в весну сорок второго.

Да, все происходило здесь... Еще немного, и я войду в черновскую рощу, пройду ее и выйду к овсянниковскому полю... Но пока я не наткнулся на остатки артиллерийской позиции, я все еще не верил в это. А сейчас поверил! Окоп обвалился... Около валялась ржавая про-



битая каска, кожух от гранаты РГД и солдатская кружка... И сразу воскресло все!

Меня забила дрожь, я прибавил шаг, стараясь скорей дойти до роши, скорей выйти к полю, скорей увидеть и узнать все — и воронки от самолетных бомб (они наверняка должны остаться!), и следы редких землянок, и тот пятачок, на котором бедовала моя таявшая каждодневно рота... И овсянниковский овраг, по которому шла

немецкая разведка, и тот выступающий редкий подлесок, с которого ночью наступала на Паново... Все, все хотелось мне увидеть скорей и узнать, потому как в этом узнавании была щемящая сладость — все это было, было не с кем другим, а именно со мной.

Я вошел уже в лес... Дожди, которые были недавно, залили маленькие воронки от мин водой, и они поблескивали голубыми блюдцами по всей роще... Сколько же их? Вся земля буквально через шаг-два была в этих небольших круглых лужицах...

Как жили мы здесь? Как оставались живыми на этой насквозь прострелянной, на каждом метре развороченной разрывами земле? Бог знает.

Конечно, при мне воронок было меньше. Но фронт тут стоял еще год с лишним, и если за два месяца было все разворочено, то можно представить, что еще год по этому черновскому лесу по нескольку раз в день били мины, снаряды, бомбили самолеты...

Да, лес я не совсем узнаю... Больших деревьев почти нет, и он весь заполнен молодой порослью — березками, осинками. Но вот эту воронку я помню, это было при мне. Она и сейчас залита водой. В метрах двадцати находился мой шалаш, и меня немного подбросило вверх, когда взорвалась эта бомба, и оглушило.

Я остановился, закрутил самокрутку... И тогда эту воронку через несколько часов залило водой, и мы, столпившись около нее, удивлялись ее размерам и тому, что никого при этой бомбежке из нас не убило и не ранило. Странно бывало... Порой после сильнейшего минометного и артиллерийского обстрела совершенно не было потерь, а порой несколько мин выбивали у нас трех-четыре человек.

Я пошел дальше... Было очень тихо, только урчание трактора доносилось издалека. Но мне показалось — вот-вот должен загудеть самолет. И если б он загудел, то, наверное, ощутил бы я холодок в груди, который всегда вползал, когда появлялись в небе самолеты. Я зашпешил к полю... Как я шагну на него? Появится ли то тошнотное, тянущееся изнутри, обессиливающее чувство? Нет, не страха, не ужаса, а чувство неизбежности смерти, потому как, вступая на это поле, ты переступал страшную черту и холод небытия уже обдувал твою душу. Невидимая дверь в вечность была распахнута перед тобой, и только один шаг отделял тебя от нее... И ты делал этот шаг! И взмывал духом на такую

высоту, достичь которой, пожалуй, тебе уже не удастся в обычные, мирные дни жизни...

Но что это?

Один, два... В стороне еще один... Я замер! Этого я не ожидал никак! Спазма сжала горло... Я потянулся рукой к голове, но шапки на ней не было. Рвалась газета, сыпалась махорка, и я никак не мог свернуть самокрутку дрожащими пальцами: на ярко-зеленой весенней траве белели три черепа...

— Ребятки...— прошептал я.— Как же это так? Двадцать лет прошло, а не захоронены вы... Как же так?..

И пробежала по телу дрожь запоздалого ужаса, оттого, что одним из трех мог быть я, и одновременно с этим опять ощутил я какую-то вину, что остался живым, что не разделил судьбу остальных, и сожаление за не так проживаемую, дарованную мне случаем жизнь,— все смешалось, перепуталось в моей душе.

Уже стало просвечиваться сквозь деревья овсянниковское поле. То самое поле, страшной межой лежавшее между нами и немцами, то самое поле, которое не удалось нам пройти до конца...

Еще на несколько больших воронок от авиационных бомб наткнулся у края леса... И вот — поле!

Оно было заснеженным, когда мы пришли сюда, только то здесь, то там рыжели комья выброшенной разрывами снарядов земли. Но все же оно было белым. Потом оно закопилось, потемнело, все больше на нем появлялось воронок, все гуще покрывалось оно серыми пятнами распластанных тел убитых... Потом оно долго оставалось ржавым с белыми мазками нерастаявшего снега. И лишь к маю кое-где в низинках зазеленели пучочки весенней травы.

Вот оно... это поле... Сейчас оно распаханно, и коричневая с рыжиной земля простиралась почти до горизонта. Но это было то поле, та земля, и у меня перехватило дыхание... Я закрыл глаза, и гул боя обрушился на меня: захлебываясь, била пулеметная очередь из Овсянникова, противно выли мины, лопались за спиной разрывные пули, в воздухе рвались бризантные снаряды, со свистом секли воздух осколки... Так было... Не сразу они ушли, эти звуки боя, а когда затихли, я открыл глаза,— чуть слева ярко било в глаза солнце, на весеннем бледно-голубом небе плыли белые облачка и стояла тишина...

Сегодня я пройду это поле... А пока я пошел вдоль

опушки, надеясь найти старые окопы, но их не было. Странно. Не наши я искал окопы. Мы их не рыли. Зимой была замороженная, как камень, земля, потом всю рошу залило водой, а когда пообсохло, у нас просто не осталось сил, чтобы их рыть. Но фронт стоял здесь еще больше года. Странно...

Вскоре поравнялся я с тропкой, идущей через поле, и пошел по ней, считая шаги,— интересно, сколько же разделяло нас тогда метров? Шаги я делал большие, не меньше восьмидесяти сантиметров, и через одну тысячу двести двадцать шагов вышел на нераспаханное. И тут увидел остатки немецкой обороны — проволочные заграждения, рогатки, спирали, а пройдя дальше, и обвалившиеся окопы.

Огляделся — от Овсянникова никаких следов. Заросло все травой, репейником, сгладилось и сровнялось... А сколько жизней положили за эту деревеньку? Сколько крови пролито? Не зря, конечно, извивались мы на этом поле, но увидеть бы деревню эту живой, восстановленной, с садами и огородами — отлегло, быть может, от сердца, полегчало бы...

Обернувшись к черновскому лесу, я увидел наше расположение глазами немцев и, присев в полуразрушенный немецкий окоп, представлял, как видели они нас, бегущих, кричащих «ура», как были мы перед ними как на ладони, как легко и просто было им вести огонь, причем перекрестный — и из Панова, и из Усова. Да... Потому и неудачны были наши наступления, потому и захлабывались на половине пути.

Еще тогда мне казалось, что наступали мы не так, что надо было навалиться всей бригадой, поразив и смяв немцев количеством живой силы. Но теперь стало ясно, что и это вряд ли принесло бы успех — уж больно велико поле, уж больно удобны у немцев были позиции.

Я вылез из окопа, присел и закурил... Было около часу дня. Еще часа два поброжу я по бывшей передовой, повспоминаю прошлое, очищусь душой от своего беспорядочного московского жития, прикоснусь к светлой и ясной своей юности, ну, а дальше?..

Я поднялся... Восемьсот метров обратного пути по полю показались мне тяжелыми — сказались и бессонная ночь, и двадцать верст дороги, и глотки из фляги.

Войдя в рошу, я повернул налево и пошел в сторону Панова. Там я должен перейти овсянниковский овраг и попасть в небольшой (метров сто в длину) лесок, в ко-

тором и прошел мой апрель сорок второго. Там, наверное, я найду и землянку ротного и свою, которую, правда, тогда не успели докопать. За этим леском было просматриваемое и простреливаемое немцами пространство, а потом маленький взгорок с несколькими березками. С него-то и было наше последнее наступление на Паново. Не наступление, а отвлекающий немцев маневр, но нам-то об этом сказано не было. Нам приказали наступать на Паново. А в роте было двадцать два человека. О том, что это был маневр, я узнал потом, через день, когда рассказали мне ребята из второго батальона, что в то время, когда мы барахтались в поле перед Пановом, бригадная разведка ходила в ночной поиск.

Я шел довольно долго, но все еще не видел овсянниковского оврага. Вообще здесь я совсем не узнавал места, все было другим. Не узнал и овраг. Он был больше и глубже, а сейчас — небольшая выемка, за ним мелкий кустарник... Но должны же остаться три березы на взгорке? Я шел все дальше, все так же не узнавая, и, если бы не круглые лужицы — остатки воронок от мин, — можно было подумать, что иду я совсем не по тому месту.

Так, не узнавая ничего, я вышел к краю. Впереди растилась поле, за которым и стояло когда-то Паново. Его не было. Где-то вдалеке виднелись серые кирпичные трехэтажные дома. Да, ничего похожего. Все разрослось, затянуло порослью промежутки между лесом и тем взгорком, и не узнавал я эти места. И землянок не нашел — или не наткнулся на них, или обвалились они, сровнялись с землей.

Я помнил все, что со мной было за эти два месяца на передовой. Все вплоть до мелочей, вплоть до самых незначительных разговоров. Это были первые бои, и потому впечатывалось все накрепко и надолго. Помнил я и последний наш рывок на Паново. Только одно я выбросил из памяти... И сейчас оно обрушилось на меня, смяло, и я опустился на землю, где стоял, словно парализовало ноги, как и в тот, вспыхнувший сейчас в памяти вечер.

Сколько лет я как-то бессознательно отгонял это от себя. И вот вернулось. Не потому ли и тянуло меня именно сюда, а не в другие места, где воевал тоже? И не только потому, что здесь моя первая война, а может, именно потому, что вспомнилось сейчас с придавившей меня ясностью.

Еще днем нам приказали выдвинуться на тот взгорок с тремя березами и ждать там дальнейших распоряжений. Первые несколько человек благополучно добрались туда, кто ползком, кто перебежкой. Но потом немцы заметили передвижение и начали обстреливать. Ранило троих. До взгорка дотянулось девятнадцать. Небольшой кустарник плохо скрывал нас, и весь день мы были у немцев на виду под постоянным обстрелом. И если со стороны Панова у нас была какая-то защита — сам взгорок, то со стороны Овсянникова мы были как на ладони. Оттуда и вели немцы огонь.

Мы расползлись кто куда, часто перебирались с места на место в надежде найти какую-нибудь ямку, рывину, в которую можно вжаться и стать незаметными, но все напрасно.

Легко раненные сами перебирались в рощу, а около меня лежал с простреленной грудью пожилой боец, татарин. Мы перевязали его, и я спросил у ротного разрешения вынести его в тыл.

Но ротный, видно, с минуты на минуту ждал у телефона приказа комбата на наступление и не мог разрешить двум людям уйти с исходных позиций. Людей и так слишком мало.

А я лежал около раненого, зная, что при ранении в грудь необходима немедленная помощь, иначе смерть, но ничего сделать не мог. Я вообще тогда не понимал, зачем мы здесь, какое может быть наступление силами чуть больше отделения, когда до этого захлебывались наступления целого батальона? Все мы надеялись, что не сегодня завтра нас должны сменить, а вот приходится идти опять... И если миновала нас судьба два месяца, то еще обидней погибнуть сейчас, за несколько дней до смены...

Раненый же тихо и безжалобно умирал возле меня. Побелел, часто и хрипло дышал... И кто-то еле слышно, чтоб не услышал умирающий, сказал: «Вот уж точно половица — перед смертью не надышишься».

Спустя немного прибежал связной от ротного с приказом выдвинуться влево, в кустарник. Пришлось оставить раненого и ползти. И тут опять немецкий пулемет принялся за работу. Переползая, я неосторожно приподнялся, и сразу несколько пуль впились в землю около меня. Я покатился в сторону, но и там, сбивая ветви кустарника, просквозила очередь. Я перекатился обратно...

И так ловил меня немецкий пулеметчик минут десять, но мне казалось, не будет этому конца...

Когда немцы немного уgomонились, я послал одного бойца проведать раненого. Он вернулся побледневший и дрожащими губами прошептал, что татарин помер.

Я ждал, что на освободившееся место прибудет вторая рота, но она не шла... Для чего тогда нужен был этот маневр, непонятно. Да, к сожалению, не всегда и не все бывает понятно рядовому или среднему командиру, находящемуся на своем пятаке, не знающему, что делают в это время другие подразделения.

Так и сейчас не знали мы, что отвлекаем немца, что готовится где-то разведка... Сейчас мечтали мы о нашей роще, о наших шалашиках, где густо устлано лапником, где всегда горел маленький костерик, о шалашиках, в которых мы были так же беззащитны, как и здесь на поле, но которые были для нас хоть каким, но домом...

Мы все продрогли до костей, а немцы нет-нет да и пускали короткие очереди. Были и отдельные выстрелы — это ловили на мушку снайперы.

Когда начало темнеть, нам приказали переползать обратно к березам на взгорок, и вскоре туда приполз боец с котелком водки. Но братва не поживела, не обрадовалась — раз водочки принесли, значит, придется хватить лиха. Кружек у нас не было (в шалашиках оставили), пошел котелок вкруговую, пили не жадно, по два глотка, чтоб последним досталось. Мне принесли уже на доньшке, и мою долю и помершего татарина. Выпил, словно воду, утерся рукавом — маловато, не согрела водка.

Уже совсем затемнело, и немцы ракеты начали пускать, причем из Панова больше, чем обычно. Ждали, видно, чего же придумает русский Иван. А он придумал вот что.

— По сигналу «красная ракета» начать движение на Паново, — прохрипел запыхавшийся связной от ротного.

Если днем крутились еще какие-то неясные, обнадеживающие мысли, что помаячим мы здесь, отвлечем немцев от чего-то, а потом отправят нас назад, в нашу рощу, то теперь они ушли. Приказ есть приказ.

Рядом со мной лежал недавно прибывший из пополнения боец с ручным пулеметом. Я приказал ему подать вправо, метров на двадцать, и оттуда поддерживать нас пулеметным огнем.

И тут со мной случилось то, чего не было ни в пер-



вые наступления, ни за все эти месяцы. Навалился страх, какого никогда не было, парализовал, обессилил, придавил, сплющил. И когда захотел двинуться с места, ноги не послушались меня. Что это? Паралич? Результат двухмесячного пребывания в мокрых, непросыхаемых ватенках? Или кажется мне это? Но нет, действительно не могу шевельнуть ногами... Вначале это испугало меня, а потом вроде обрадовало — не могу ж я идти в наступление с такими ногами. Не могу — и все! И отлегло от сердца. Подтягиваясь одними руками, я пополз к пулеметчику...

Я поднял голову... Надо мной висело такое же весеннее небо, и лежу я, быть может, на том самом месте, что и двадцать лет тому назад. Лежу живой...

Я не стал прокручивать остальные воспоминания и пошел обратно.

Мне захотелось вспомнить лицо того пулеметчика, но я не мог. Он был у меня во взводе только несколько дней. Но глаза, их выражение, предсмертную тоску, которая хлестнула из них, я помнил. Помнил и то, как возвращались мы в рощу, как докладывал ротному о потерях, как еле-еле добрался до своего шалаша и совершенно изнемогший бухнулся на лапник. Не было никаких мыслей, никаких ощущений — спать, спать... Слишком много смертей было за эти месяцы, чтобы переживать каждую новую. Слишком был замучен этим мытарным днем, слишком скованно все было внутри. Я просто провалился в сон, даже не очень радуясь, что и в этой передыжке остался живым.

На другой день тоже было ни до чего. Утром немцы дали нам хорошую физзарядку, мстя за ночное беспокойство. Сильно ранило моего старого бойца, с которым находился на передовой с самого начала.

И за весь тот день, да и в последующие дни я не возвращался мыслями к происшедшему около Панова...

Почему же сейчас, через двадцать лет, бродя по бывшей передовой, я не могу избавиться от ощущения какой-то вины по отношению ко всем тем, кто остался тут навсегда? Почему хочется шептать: «Простите, ребята, простите, что остался живым...»?

Я возвращался по опушке в сторону Усова. Справа лежало поле. Где-то далеко работал трактор, и рокот его мотора напомнил те минуты, когда после нашего захлеб-

нувшегося наступления немцы двинули в контратаку несколько танков и они, не ведя пушечного огня, а только пулеметами разметывали по полю остатки нашего батальона.

Выйдя к Усову, я направился к маленькому магазину, примеченному мною, еще когда шел по деревне с Лидой. Около прилавка стояли два парня в телогрейках и закусывали солеными огурцами, захваченными, видно, из дому. Я поздоровался. Они ответили, оглядев меня с любопытством, — редки тут, наверное, посторонние.

— Вот приехал посмотреть на бывшую передовую, — сказал я, протягивая деньги продавщице.

— Воевали здесь? — спросил один из парней.

— Да.

— И долго тут фронт стоял?

— Ровно год.

— Тогда понятно... — протянул парень в кепке.

— Что понятно?

— Много останков на полях было... Только в пятьдесят третьем собрали людей со всех деревень. Фанерных гробов понаделали, туда и сложили. А захоронили в Петунове. Там на берегу, на высотке, братская могила. Не проезжали?

— Я с Чертолина шел.

— Вот если обратно поедете по большаку на Ржев, увидите.

Я рассовал по карманам три чекушки, предполагая, что выпьет и хозяйка и ее сын и много не будет. Идя к Чернову, я тоже начал считать шаги, но сбился. А хотелось узнать, сколько же от Усова до Чернова. Тогда Черново казалось тылом. А тыл-то этот был, наверное, в полутора километрах от немцев.

Когда я подходил к деревне, то увидел еще издали, что Лида с хозяйкой сидели на крыльце. Лида поднялась и пошла ко мне навстречу. Она была бледна, глаза покрасневшие — плакала, наверное.

— Я нашла, — сказала она, подойдя ко мне.

— Неужели? — удивился я.

— Да. Вон у того пня. Там было одиноко стоящее дерево. Хозяйка вспомнила. И в десяти шагах на восток... небольшой бугорок... Мы посадили там березку. Пойдемте. — Она взяла меня за руку и повела.

Рука ее немного дрожала и была холодна. Когда мы подошли, она отпустила мою руку. Мы остановились. Да, возможно, здесь и была могила капитана Болотова. Чуть

припухла здесь земля, а пень от большого дерева еще торчал полусгнивший. Мы долго молчали. У меня сжало горло спазмой, как и тогда, когда принес мне капитан Болотов кружку водки, кусок мяса и хлеба, а я рассказывал ему, захлебываясь, сбиваясь, о нашем дневном настулении на Овсянниково, а он слушал внимательно, покачивая головой, и только изредка ронял: «Вы ешьте, ешьте...» И не было для меня тогда ближе человека...

— Я очень благодарна вам, что взяли меня с собой,— тихо сказала Лида.— Как жаль, что не раньше. Его мать умерла в прошлом году...

— Все это очень печально, Лида...

— Да. Но если б вы знали, как много это для меня значит... Я буду приезжать сюда каждый год... в День Победы.

— Сколько можно жить прошлым, Лида?

— Для меня это не прошлое.

Я покачал головой:

— Что ж, можно только позавидовать капитану Болотову... что у него были вы. Меня забыли через два года... живого.

— Понимаю,— сказала она, взглянув на меня.

— Что вы понимаете? Что такого и стоило забыть?

— Нет, совсем нет. Ваше отношение к женщинам понимаю.

— А, это,— ответил я, пожав плечами.— Это все пустое...— Я протянул руку Лиде.— Пойдемте.

Она как-то просто, доверчиво дала мне свою кисть, холодную и чуть дрожащую. Я тихонько сжал ее своими пальцами и сказал:

— И все же нельзя жить прошлым...

В доме хозяйка приготовила уже стол, заставив его и грибками солеными, и капустой квашеной, и огурцами. Я выложил свои запасы.

— Куда вы столько? — воскликнула хозяйка.— Непьющие мы совсем.

Я разлил водку, поднял стакан...

— Ну, за праздничек, за День Победы,— сказала хозяйка.

— Да,— сказал я.— И помянем тех, кто остался здесь. Только они никому ничего не должны. Они отдали все... И за тех, кто их помнит. За вас, Лида...

И потекли разные разговоры... Хозяйка вспомнила, как согнали их немцы с родного Чернова, как полтора года ютились кто где по чужим деревням, а вернулись —

ни одного дома в Чернове. Сказала, что одна из ее сестер в Москве живет и там один ее сослуживец, узнав, что она из Чернова, говорил ей, что воевал здесь, под Овсянниковом. Интересно кто? Из нашей ли бригады? Я записал адрес сестры.

У Лиды сошла бледность с лица, и была она какая-то просветленная и очень сосредоточенная. Я начал о том, что никакие романы, повести и стихи не расскажут о войне столько, сколько может рассказать этот небольшой клочок земли бывшей передовой, что, пройдя здесь, по одним только ранам земли, можно представить себе все, что здесь происходило, что хорошо бы какие-то места, где происходили большие бои, оставить такими, какими они были в то время — с окопами, проволочными заграждениями, с подбитыми танками...

— Как вы думаете, — спросила Лида, — его убило здесь или?..

— Кем он был?

— Я не знаю. Он был химиком, кончил университет...

— Значит, был начхимом... Но в пехоте, Лида, начхимы очень скоро превращались и в ротных, и в помкомбатов, а то и во взводных. Может быть, он принял какую-то из рот и тогда погиб там... Но и здесь можно было быть убитым сколько угодно. Видите — Усово. Там были немцы.

— Мне бы хотелось пройти... туда. Но вы, наверное, устали?

— Пойдемте, — согласился я сразу.

День клонился уже к вечеру, и мне захотелось увидеть заход солнца за бывшим полем боя — незабывные зловещие, багряные зимние закаты, когда раскаленный диск солнца заваливался за острые крыши сараев и изб Овсянникова, а от черных сожженных танков на поле ползли длинные лиловые тени.

Я повел Лиду прямо через лес, не став кружить по старым тропам, которыми ходил когда-то, чтобы выйти быстрее к полю.

Когда мы вышли к нему, на том месте, где стояло когда-то Овсянниково, уже кровенело закатное небо. Мы присели на опушке, я завернул махорки, закурил.

— Вот видите это поле... Его надо было пройти. Вот там, — я показал рукой, — стояли подбитые наши танки, а около них обожженные мертвые танкисты...

И вдруг меня прорвало: я начал бессвязно, путаясь и повторяясь, рассказывать про наше последнее наступле-

ние на Паново... Она слушала, не перебивая, и только после паузы, которая наступила после того, как я сказал: «Я подполз к пулеметчику...», она сказала:

— Вам не хочется рассказывать дальше? Тогда не надо.

— Нет, раз уж начал — буду до конца... Вы понимаете, ноги у меня действительно не работали, будто не свои были. Я подполз к пулеметчику и сказал — у меня с ногами что-то, я не могу идти... Мог бы и не говорить этого, а просто приказать ему оставить ручной пулемет мне, а самому идти с цепью. Но я хотел как-то объяснить... Он в лице изменился, глянул на меня с усмешечкой такой — дескать, неохота самому идти, так меня посылаете, — а потом губы у него задрожали, лицо побелело, и такая тоска хлестнула меня из его глаз, что я отвел взгляд, пробормотав: «Вы поняли? Идите». Он ничего не ответил, подвинул мне резко пулемет и пополз к взгорку, где лежал умерший татарин, взял у него винтовку и залег около остальных бойцов...

Я замолчал, завернул еще сигарку и взглянул на Лиду. Она сидела, подперев подбородок ладонями, и смотрела на поле. Оранжевое солнце зашло уже краем за синевший горизонт, а вокруг дали затуманились голубой дымкой. Закат был таким же, как и двадцать лет назад. Только не было Овсянникова, не было Панова, а было только одно поле, уходящее в бесконечность.

— Вспыхнула красная ракета, — продолжал я. — Я зарорал «вперед!» и открыл огонь из ручного пулемета. Люди поодиночке поднимались и ныряли в темноту. Сразу же начали бить немцы, и я видел, как схлестывались огненные нити на поле, где бежал мой взвод. Бойцы не стреляли, боясь себя обнаружить, и только мой пулемет бил по Панову, и красные точки гасли где-то в черноте... И тут по мне шарахнули две мины. Очень близко. Сейчас трахнет третья... И что же? Вы представляете, мои ноги заработали. Подхватив пулемет, я перемахнул в другое место, чтоб уйти от третьей мины... Вы понимаете?

— Да.

— Я не симулировал. Я и вправду не мог тогда шевельнуть ногами. Но, перебежав, я понял, что внушил себе это... Ну, конечно, после этого я, подняв пулемет, побежал вдогон взводу и вскоре настиг людей. Они лежали, уткнувшись в землю, и единственный младший командир, который был у меня, не поднимал их. Не стал поднимать их и я. Тоже уткнулся и перестал нажимать гашетку...

Я уже стал понимать, что наше наступление — какой-то отвлекающий маневр...

Я замолчал и затаился до кашля дымом махорки.

— Пулеметчика убило? — помедлив, спросила Лида.

— Да. Двоих ранило, а его убило.

— И вы считаете себя виноватым? — тоже не сразу сказала она.

— Считаю, хотя он мог остаться живым на поле, меня могло убить у пулемета. Все это так... Но сегодня мне подумалось, что я проживаю чужую жизнь. Что те, кто остался тут, будь они живыми, сделали бы в жизни больше, прожили б ее лучше...

— Вы не будете жалеть, что рассказали мне об этом?

— Нет. Мне надо было кому-то рассказать... Да, сейчас я чувствую себя виноватым. А как вы считаете?

— Не знаю. Мне трудно судить... Но, наверное, хорошо то, что вы ощущаете какую-то вину...

— Хорошо? — усмехнулся я.

— Да, хорошо... — сказала она задумчиво, а потом спросила: — А тех, кто посылал ваш взвод, тех вы не считаете виноватыми?

— Ротный выполнял приказ...

— А вы? Вы тоже выполняли приказ...

— Да... Но, понимаете ли, тут другое... Если бы я послал пулеметчика в цепь, руководствуясь какими-то тактическими соображениями, — это одно, а я... я послал его вместо себя.... здесь другое. Нет, я виноват, — сказал и бросил сигарку, потом добавил: — Я всю войну казнил себя. Сколько раз вызывался делать то, что мог и не делать... Но на войне я мог быть убитым в любую минуту, а вот когда она кончилась и уже нечем было искупить вину, видно, какой-то защитный рефлекс стал выметать это из памяти... — Я опустил голову.

Солнце уже закатилось за поле, и только узкая полоска тянулась вдоль горизонта.

В это время немцы всегда начинали вечерний минометный обстрел, и у всех перед этим ныло внутри и к сердцу подкатывал ледок — не моя ли сегодня очередь.

И вдруг сейчас, через двадцать лет, я ощутил нечто подобное, поежился и поднялся:

— Пойдемте, Лида.

Лес потемнел, помрачнел и стал походить на тот черновский лес, каким он был двадцать лет тому назад, — так же чернели стволы деревьев, так же рдяно поблескивала вода в многочисленных воронках, отражая закатное

небо, только не было шалашей и не было дыма, который обволакивал и туманил нашу передовую по вечерам.

— Лида,— спросил я.— Останься живым ваш капитан Болотов, он сделал бы вас счастливой?

— Разумеется,— сразу, не задумавшись, ответила она.

— Это «разумеется» немного наивно, конечно, но...

— Почему вы об этом спросили?

— Так,— ответил я, а сам подумал, что, наверное, каждый человек в своей жизни должен сделать кого-то счастливым... Хотя бы одного. Мне этого пока не удалось. Почему? Не знаю сам.

Дальше мы шли молча, обходя воронки, сваленные полусгнившие деревья. Я похлопал рукой по стволу одного из них — вы тоже умирали безропотно, ветераны, и от немецких снарядов и от наших топоров, когда мы рубили вас на шалашах и накатах...

Когда мы выходили из леса и увидели три домика Чернова, в одном из них уже горел свет. И этот слабо мерцающий огонек вернул меня в настоящее — тогда никаких огней быть не могло.

От ужина, предложенного хозяйкой, мы отказались. Тогда повела она нас в другую комнату и, немного смутившись, сказала:

— Постель тут у нас одна... Уж не знала, как вам и стелить? В той комнате места нету, сестра моя сегодня ночует и я с Валею...

— Киньте чего-нибудь на пол, если есть. Я тут и устроюсь,— сказал я.— Вы не возражаете, Лида? Я предупредил вас насчет удобств.

— Да, конечно, не возражаю,— ответила она просто.

Хозяйка принесла тюфяк, подушки и одеяло... Я вышел на улицу покурить и дать возможность Лиде устроиться.

Хмель с меня сошел, сошло и напряжение сегодняшнего дня. Я стоял на крыльце, курил и еще раз оглядывал эти места, эту вроде бы чужую, но ставшую еще давно близкой деревеньку, этот черновский лес, в котором бедовал двадцать лет тому назад, это чернеющее вдаль Усово, которое брали, брали и не смогли взять, и почувствовал, как близка мне окружающая меня ржевская земля, ее поля, ее синие дали, ее неказистые деревенские избы, что хотя я и горожанин, но все равно истоки мои тут, что я есмь отсюда, с этой русской земли, и ей, только ей, должен я служить, только ей отдать то, что у меня есть...

И опять подумалось — для чего - то остался же я живым здесь в сорок втором году, для чего - то не погиб потом?

И еще яснее понимаю — не так я проживаю свою жизнь. Размениваюсь на мелочи, на незначительные работы для денег, и в суете московской жизни не хватает меня на н а с т о я щ е е, которое смог бы, наверное, совершить, если бы все помыслы отдал ему...

И вынашиваемая давно картина — «Солдатские глаза», — которая так и не получилась у меня, показалась мне слишком надуманной, идущей от головы, а не из сердца... И представилось мне другое... Еще очень неясно, неопределенно, но вырисовывался и выстраивался какой-то ряд графического цикла... «ржевских листов», где все здесь происходившее должно получить зримую, очень простую, предельно правдивую и жесткую, да, жесткую форму, пусть даже страшную, как было страшно и жестоко овсянниковское поле... поле боя...

Да, именно графика — белое, черное, красное... Цвет снега, цвет обожженных изб Овсянникова, цвет крови, пролитой здесь... Только надо работать, работать и работать... Еще, наверное, не все упущено. Может, десять — пятнадцать лет оставила мне судьба? И тогда, может, я выполню свой долг перед этой израненной землей, перед людьми, на ней воевавшими, останки которых до сих пор тлеют в черновском лесу... Долг живого — перед мертвыми.

Я вернулся в избу, прошел в отведенную нам комнату. Лида лежала с открытыми глазами, заложив руки за голову. Ее профиль слабо освещался неярким светом керосиновой лампы, а тени от ресниц густо падали на скулы, делая ее лицо еще более усталым и каким-то отрешенным.

И щемящая жалость вдруг сжала сердце, стало стыдно за прежние игривые мысли, за вроде бы случайные прикосновения... Я вспомнил, как стояла она у могилы капитана — сосредоточенная, скорбная и даже какая-то торжественная, — и уже не сомневался, что была она верна ему эти двадцать лет, что эта женщина на порядок выше тех, что мне встречались, и что вел себя с ней пошло и недостойно.

Мне захотелось взять ее за руку, прижаться к ней губами, но я сдержался, боясь, как бы не приняла она это за продолжение моих неловких ухаживаний, которыми я развлекался в дороге, и я стал подыскивать какие-то добрые, хорошие слова, которые, не обидя ее, выразили бы



мое теперешнее — и жалость, и уважение за верность, и даже нежность, но почему-то не нашел их...

— Спокойной ночи, Лида, — наконец произнес я, так и не найдя ничего другого.

— Спокойной ночи. — Она повернула голову, взглянула на меня и добавила: — У вас сейчас хорошее лицо.

— Да? — не поверил я.

— О чем вы думаете сейчас?

— О чем? — Я задумался. — О том, что, может быть, не все потеряно... Что главное и настоящее еще впереди... и я успею... — Я посмотрел на Лиду, и она, поняв, видимо, что жду я ее подтверждения, сказала:

— Успеете... Я верю в это.

## ПРИВЕТ С ФРОНТА

---

*Моей жене посвящаю*

...«Теперь мы живем в лесу, а перед нами цветущий луг. Я высовываю нос из окопа и вдыхаю его запахи. Даже странно, что такая красота — это поле боя, что в пятистах метрах от нас немцы. Недалеко от наших позиций я вижу большой красивый цветок. Я не знаю, как он называется, но он очень красив, и мне хочется сорвать его для... Вас. Я знаю, он завянет, засохнет, пока дойдет до Москвы, а может, его выбросит из конверта военная цензура — скажет, вот сантименты, но я все равно сорву его. Правда, это не так просто. На этот луг не то что выйти нельзя, нельзя даже высунуть голову из окопа — сразу несколько пуль впиваются в бруствер. Но это днем, а ночью можно будет сползать. Только найду я его ночью или нет, не знаю. Постараюсь...»

Сейчас я совершенно не помню внешность Юры Ведерникова, приславшего мне это письмо. Плохо представляла я его и тогда, в мае сорок третьего, когда совсем неожиданно получила от него первое послание, поразившее меня обращением на «вы» и довольно связным изложением своих мыслей.

Конечно, излечившиеся раненые писали мне с фронта, но большей частью их письма были малоинтересны — дружески шуточные, порой малограмотные и без всяких намеков на высокие чувства, так как, видно, всерьез меня не принимали — уж слишком я была еще девчонка. А тут — на «вы» с большой буквы, с неглупыми рассуждениями, между строк которых читалось что-то для меня очень приятное...

Лежал Ведерников не в нашем отделении, а в пятом, находившемся на втором этаже. Наверное, я не раз сталкивалась с ним, когда по каким-либо делам спускалась ту-

да, ну и, конечно, видела его на наших вечерах. Возможно, это был тот мальчик с перевязанной головой, который всегда как-то задумчиво и внимательно глядел на меня?

Но в то время я не обратила на него внимания — у меня бурно проходила очередная влюбленность в одного очень тяжело раненного танкиста с обожженным, изуродованным лицом, за которым я готова была ухаживать всю жизнь.

У меня вообще все не так, как у людей! Мои подружки влюблялись в красивых легко раненных ребят, с которыми можно было и уединиться где-нибудь в коридоре, и потанцевать на очередном вечере... Я же влюблялась только в самых тяжелых — безногих, безруких, черепников, с которыми не то что потанцевать, но и поговорить-то порой было трудно, настолько они были удручены своими ранениями, настолько им было не до меня...

Забегая вперед, скажу, что, когда моя очередная любовь начинала выздоравливать, подниматься с постели, когда бледность сменялась румянцем поправляющегося больного, — мои чувства куда-то улетучивались, и какое-то время я ходила опустошенная, скучная, безразличная, пока не прибывала новая партия раненых и среди них я не находила опять какого-нибудь самого покалеченного, самого тяжелого, и мое сердце не наполнялось необыкновенной жалостью, которая довольно скоро перерастала во влюбленность, и опять я думала, как я ему буду нужна, как буду ухаживать за ним и, конечно, всю жизнь...

Итак, несмотря на то что я очень туманно помнила этого Юру Ведерникова, я, конечно, засела за ответное письмо. А как же не ответить человеку, находящемуся на фронте? Ведь мы, девчонки, нужны нашим мальчикам не только тогда, когда они лежат беспомощные на госпитальной койке, но, наверно, и тогда, когда они выздоровели и находятся на передовой. Я ответила, не скрыв того, что я его почти не помню.

«Привет с фронта! Нина, здравствуйте!

Спасибо большое за письмо. Я конечно, понял, что Вы ответили мне просто так, чтоб не обидеть меня. Ну какая другая могла быть причина, раз Вы меня совсем не помните? Ведь так?

У меня есть фотография, но очень плохая. Не знаю, даст ли она Вам представление обо мне, но если Вы пожелаете, то могу послать. Может быть, вспомните меня

тогда? Я довольно высокий, блондин, мне уже двадцать лет, был дважды ранен, и у меня две награды — «Звездочка» и «За отвагу». Не вспомнили? Хотя что я? В таком большом госпитале, как наш, было столько высоких блондинов, а вокруг Вас толпилось столько ребят, что вспомнить меня среди них, разумеется, невозможно, тем более что моя внешность ничем особым не отличается. Но Вы угадали одно — я довольно долго ходил с перевязанной головой. Кроме основного ранения — в руку — у меня была осколком поцарапана голова.

Сейчас у нас на фронте затишье, но что-то томит и настроение немного тоскливое. Вы знаете, мы ведь все время бодримся и в разговорах друг с другом и в письмах родным, но умирать все-таки очень и очень не хочется. Особенно сейчас, когда весна. Хотите — верьте, хотите — нет, но я еще ни разу не целовался с девушкой... Вы спросите, почему так получилось? Сам не знаю.

В госпитале, когда я видел Вас (это было не часто, увы), мне очень хотелось поцеловать Вам руку. Почему-то именно руку. Один раз я было совсем решился... Вы-то не помните. Вы стояли на лестничной клетке, и я что-то спросил Вас, чтоб завести разговор. Вы что-то небрежно ответили. По-моему, Вы ждали кого-то, потому что все время оглядывались. А я будто случайно дотронулся до Вашей руки и хотел было взять ее и поднести к своим губам, но... кто-то спускался по лестнице... До сих пор не могу простить себе свою робость. Сейчас бы я вспоминал об этом...»

Бог ты мой, подумала я, читая это письмо, нашел тоже удовольствие — руку целовать! Но все же я посмотрела на свою, не очень-то ухоженную руку и даже поднесла ее к губам — рука пахла лекарствами! Я поморщилась. Вот и вспомнил бы запах карболки! Глупость какая! Но после второго письма я стала задумчива.

Очередная моя любовь уже выздоравливала, начала подниматься с постели, гремя костылями, уже не прочь была заигрывать с другими сестричками, довольно плоско остря, а я смотрела и думала: господи, ну чего же я в нем нашла? Парень как парень. Не очень-то интеллигентный, не очень-то умный и к тому же стал просить дополнительные порции в обед, хныча: «Ниночка, принеси добавку». А когда он вдруг попытался меня облапить, то все! Моя любовь окончательно рухнула!

Но так как я просто не могла жить без состояния возвышенной и необыкновенной влюбленности, то жизнь моя сразу потускнела, краски ее пожухли, стало скучно и неинтересно. Поэтому второе письмо Ведерникова пришлось в самую пору, и я начала фантазировать. И то, что я почти его не помнила, стало казаться мне даже забавным — я могла выдумывать его, каким хотела. И в своем ответе написала, чтоб он никаких фотографий мне не присылал, что так даже интересней, а насчет поцелуя руки сострила, что очень хорошо, что он оробел, иначе его последовал бы все время запах карболки...

«...Да, Вы правы, фотографию лучше не присылать. Я снимался год назад, и у меня на ней очень детская физиономия. Теперь я, конечно, не такой. На фронте мужаем мы быстро.

У нас пока тихо. Конечно, постреливают наши и немецкие снайпера, два раза на дню накрывают нас фрицы минометным огнем, но у нас хорошие укрытия и потерь почти нет. Сейчас в очень голубом небе ноет «рама», или «костыль», — так мы называем немецкий разведывательный самолет. Ноет, высматривает... Возможно, после него прилетят бомбардировщики, но мы не боимся, так как у нас окопы в полный профиль.

Сегодня очень жарко. Ребята сняли гимнастерки и загорают, но мне, как командиру, неудобно, и я парюсь в полной форме.

Вы спрашиваете в письме — откуда я? Я жил на Урале, в Свердловске, там окончил десятилетку, оттуда и пошел в армию. Но я часто бывал в Москве, и мы с мамой за несколько дней обходили все московские театры.

Нина, я очень счастлив, что у нас наладилась переписка. Она мне очень дорога и очень нужна. Я же совершенно Вас не знал и в письмах увидел Вас немного другой, чем Вы мне казались. Гораздо сложнее. Мне кажется, что у Вас в жизни было что-то... Может, такое, чего я не желал бы. Правда ли это? Или мне показалось?..»

Читая последние строчки, я даже потеряла руки от удовольствия. Мне же смертельно хотелось быть старше и чтоб у меня что-нибудь было... Мне даже хотелось иметь несколько морщинок у глаз, и я часто, но безуспешно выискивала их, торча у зеркала. Увы, мое лицо было

как у бэби — круглое, румяное, безмятежное и, боюсь, глуповатое. «Кругла, красна, как эта глупая луна...» Это про меня! Но зато в письмах я могла напустить туману, намекнуть о роковой и несчастной любви и о том, что «так мало лет, так много пережито». Причем это не было сознательной ложью. Я верила в то, что у меня что-то было, должно было быть, ведь мне уже девятнадцать! Без этого выдуманного прошлого я чувствовала себя какой-то неполноценной, а с ним я казалась себе несравненно значительней. И уж конечно перед другими мне хотелось выглядеть именно такой. И я была очень довольна, что до Ведерникова дошли мои неясные намеки.

Мои письма к нему получались пока довольно суховатыми и, как я ни накручивала себя на сентиментальный лад, выжать из себя что-то нежное пока не могла. И он чувствовал это.

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Благодарю за письмо. Я его очень ждал. Я, разумеется, понимаю, что Ваши письма совсем другие, чем мои. Да иначе и быть не может. Я знал и видел Вас почти три месяца. И все эти месяцы с каждым днем я ощущал, как Вы наполняете меня все больше и больше, а Вы даже не помните моего лица. Я был очень глуп, что не решился заговорить с Вами в госпитале как следует. Но Вас всегда окружали больные, Вы острили, смеялись. Вам было хорошо и без меня. А я ревновал Вас ко всем, прекрасно понимая, что никакого права на это не имею. Во всем виновата моя проклятая робость с девушками. И это несмотря на то, что я совсем не трус. На фронте меня даже считают немного отчаянным, а с Вами... С Вами получалось, что я просто немел и не мог выдавить из себя ни одного слова. Как я теперь жалею об этом! Может, тогда наша переписка была бы несколько иной? Но ничего, я очень верю, что мы обязательно встретимся. Как только окончится война, я непременно приеду в Москву и мы сходим в театр. Хорошо? Я часто представляю, как я держу Вас за руку и веду в партер, и мы слушаем какую-нибудь оперу, хорошо бы «Евгения Онегина». Вы любите ее? Я — да. Мне очень хотелось быть похожим на Онегина, но по характеру я скорей Ленский, чем не очень доволен. Вы знаете, я пишу стихи. Очень плохие. И посылать их Вам не буду. Может быть, одно, посвященное Вам, когда-нибудь. Оно вроде получилось...»

Я испугалась. Этого еще не хватало! Пришлет какую-нибудь дребедень, и тогда — прощай наша переписка! Я ведь воспитана на символистах, и у меня, как говорил мне наш «Буслай», преподаватель литературы, — абсолютный литературный вкус. Знаю я эти вирши, которые порой пишут наши ранбольные, — кошмар, ужас! Но еще хуже, когда чужие стихи выдают за свои. Один лейтенант целый месяц читал моей подружке: «Мадам, уже падают листья...» А «мадам» на полном серьезе воображала, что эти стихи посвящены ее персоне, я была просто не в силах сказать ей правду. Нет уж, избавь меня, господи, от доморощенных стихов.

И я поспешила ответить Ведерникову, умоляя его Христом-богом не посылать мне никаких стихов, потому что я их терпеть не могу, что от них у меня голова начинает болеть, и прочую ерунду.

Теперь-то я понимаю, что была жестока и бестактна. Разве можно было писать такое человеку, находящемуся рядом со смертью? Но тогда, на третьем году войны, она настолько вошла в нашу жизнь, настолько стала обычной, настолько естественной, что мы все как-то не очень представляли трагедию наших подопечных, которые, излечившись, прощались с нами, прощались с улыбками, спокойные, даже радостные, будто уезжали не на смерть и ранения, а в какую-то очень интересную командировку. И письма их с фронта были всегда бодрые, безжалобные. Они старались рассказать в них что-нибудь веселое, смешное из их фронтовой жизни...

Но сколько раз в этих письмах встречалась фраза: «Идем в бой, но ты не беспокойся, все будет в порядке. Погоним фрица дальше. Скоро напишу...» Но писем больше не было и не было... И это тоже казалось чем-то естественным. Ну, поплачет девчонка, а потом начнет себя успокаивать, что, наверное, ранило тяжело его, не может пока писать или теряются письма в пути... А потом проходит месяц, другой, третий, и начинает сестренка понимать, что писем-то вообще больше не будет, но уже прошло несколько месяцев, не так уж горьки слезы, да и надежда не ушла совсем...

А тут прибывают новые раненые, которых надо на носилках тащить на пятый этаж, тут выматывающие ночные дежурства, тут кругом стоны, страдания, смерти после операций, тут постоянное ощущение голода, тут вдруг перестал писать с фронта отец или брат, и все реже и ре-

же мысли о нем, с которым целовалась в коридоре и который писал такие хорошие письма...

Нет, я не могу упрекнуть ни себя, ни других наших девочек в каком-то особом легкомыслии или ветрености. Просто такова была жизнь, таковы были ее обстоятельства, при которых не было ничего прочного, при которых ежедневно рвались нити, связывающие людей.

И пожалуй, было в том счастье, что сравнительно легко рубцевались раны, что сравнительно легко забывались люди, потому что с самого начала знакомства какой-нибудь сестренки Кати с лейтенантом Володей они понимали временность всего этого — через месяц-два они расстанутся. И он, уже попробовавший войну, знающий уже, что она собой представляет, не мог строить никаких планов на будущее, зная, как мало шансов на возвращение...

Да, наверное, мы тогда как-то инстинктивно не позволяли своим чувствам глубоко прорасти в душу, ощущая временность и ненадежность настоящего и тем самым избавляя себя от страданий в будущем.

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Конечно, если Вы не любите стихов, я не буду присылать их, тем более что они не могут выразить то, что я чувствую. Мои переживания и сильнее и глубже, чем мне удалось высказать в стихах. И я не обижаюсь на Вас. Будьте всегда так откровенны. Это самое лучшее. Быть может, Вам стоит написать мне и о том, что вас гнетет и мучает...»

Что же меня гнетет и мучает?! Я потеряла лоб, стараюсь вспомнить, что же я накрутила ему в своем предыдущем письме. Ах, да! Это были, конечно, неясные намеки о несчастной неразделенной любви. К черту! Надо прекратить, раз Ведерников принимает все всерьез. Нехорошо!

«...возможно, я смог бы помочь Вам своим советом. Правда, у меня нет почти никакого опыта в таких делах, но я много читал, много думал, и мой ум, как всякий мужской ум, может, трезвее, чем у Вас, и я смогу что-то придумать...»



Теперь мне уже стало стыдно за свои фантазии, и я задумалась. Неужели я сама по себе не могу представлять никакого интереса? Неужели я должна обязательно чего-то придумывать и напускать туману? Что ж я, совсем пустышка? Ведь не так же это! Я тряхнула головой, отбросив мысли о своей никчемности, и стала продолжать читать письмо.

«...Вчера был дождь. Такой хороший ливень с грозой, после которого мы наслаждались свежим и пахучим воздухом. Кстати, после него пришлось выпить положенные нам наркомовские сто граммов, которые я обычно отдавал ребятам. А тут промок и решил выпить. Интересное ощущение. Весело мне не стало, но зато Вы вспомнились как-то очень реально и было чувство, что Вы где-то совсем рядом. Но не дай бог быть Вам здесь. Девушкам на фронте тяжелее. Правда, у нас на «передке» (так мы называем передовую) девушек нет, но в штабе полка есть несколько связисток, ну и в санбате — сестрички. Когда бываю в штабе и вижу их, меня наполняет какая-то нежность к этим девочкам в военной форме. Нет, мне не нравится ни одна. Просто ко всем нежность и жалость, что им приходится быть на войне, где довольно трудно и мужчинам.

Нина! За Вами, наверное, многие ухаживают, но Вы постарайтесь пока не увлечься никем. Подождите до той поры, когда мы встретимся. Уж если тогда я Вам не понравлюсь, тогда уж делать нечего... А сейчас мне кажется, что мои чувства обязательно должны передаться Вам. Они так сильны, что идут к Вам с моими письмами какими-то вполне реальными волнами, и вот сейчас, когда Вы читаете это письмо, эти волны витают вокруг Вас. И вот одна уже прикоснулась к Вам...»

Черт побери! Мистика какая-то!

Я закрыла глаза, и вдруг этот Ведерников представился мне совсем другим, чем до этого. Он стоял передо мной очень большой, какой-то расплывающийся, контуры его тела были неясны, словно размыты, и тянул ко мне руки, а от них, от кончиков пальцев, тянулись, переливаясь всеми цветами радуги, его «чувства». Взгляд его был направлен на меня, но глаза почему-то закрыты, и это мне показалось страшным. Я помотала головой, ски-

дывая с себя это наваждение, а потом присущий мне юмор взял верх, и я рассмеялась. Но что-то дрогнуло в душе — ведь такое у меня впервые в жизни. Я побежала к девочкам справиться, не передают ли пишущие им ребята свои чувства таким вот образом. Оказалось, что никто до этого не додумался. Значит, такое только у меня. Это очень здорово!

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Сегодня такая радость — получил Ваше письмо! А главное, почувствовал, что оно немного другое, чем прежде, — теплее и сердечнее. К сожалению, в этот же день, вечером, произошло несчастье — убило моего связного Васю Колбина. Он как-то неосторожно высунулся из окопа, и снайпер попал ему прямо в лоб. Он был очень хороший парень, и мы здорово сдружились за это время...

Я Вам признаюсь — ночью, оставшись в землянке один, я плакал, как маленький. Представляете — я, мужчина, командир взвода, и плакал!

Утром писал письмо его родным. Если б Вы знали, как это тяжело. Но что делать? Война есть война. Я не хотел Вам писать об этом, но мы же договорились писать всегда правду, вот и написал. Даже не скрыл, что плакал. Очень трудно привыкнуть к смертям. Наверное, вообще невозможно. Но они неизбежны, пока идет война, и надо держать себя в руках...»

Я прочла и тоже пустила слезу, хотя в первый раз слышала про этого Васю Колбина. Но мне жалко стало Ведерникова. Я представила его одного в темном блиндаже, как он сидит, сгорбившись, и размазывает по своему лицу непрошеные «скупые мужские» слезы. И тут только до меня дошло по-настоящему, что и его, Ведерникова, могут тоже убить, и я заревела уже как следует.

Ко мне подошел один пожилой раненый и спросил:

— Что с тобой, сестренка? Похоронку, что ли, получила?

— Нет.

— Чего же тогда плачешь?

— Связного у него убило.

— Какого связного и у кого, сестренка? — Не понял сначала раненый, а потом добавил: — Разве обо всех нас наплачешься? Слез не хватит, милая. А ну-ка, подни-

ми голову да улыбнись. Вот так. Умница. — Он погладил меня по голове тяжелой шершавой рукой и отошел.

А я смотрела ему вслед — сутулому, опирающемуся на палку, в сером коротком, не по росту, халате — и утирала слезы, тронутая его вниманием.

Вообще пожилые относились к нам, девчонкам, как-то по-особенному трогательно, жалея нас, как своих дочерей, а часто и звали так — дочка, доченька...

Ранбольные... Так мы называли наших подопечных. Вначале мы звали их просто больными, как принято в больницах, но они запротестовали — мы не больные, мы раненые, мы не просто какую болезнь подхватили, а кровь на фронте пролили за Родину, совсем это другое дело. Вот и получилось такое нелепое слово — ранбольной. Но так мы называли только что прибывших, пока не знали их имен и фамилий, а потом звали их, конечно, по именам, реже по фамилиям, а еще реже по именам-отчествам, потому что большинство было наших одногодков — Вася, Петь, Андрюш, Сашек и так далее.

Итак, я утерла слезы, встряхнулась и направилась по палатам делать свои обычные дела. Теперь-то они стали обычными, а в первые дни... Бог ты мой, как все было трудно, потому что не умели мы ничего. Я уж не говорю о перевязках, об уколах, внутривенных вливаниях. Простую клизму не умели поставить. И не умели, и смущались, и смущали раненых. А нести десять тарелок супа на одном подносе! Этому тоже надо было научиться. Один раз я грохнула поднос. Супа, конечно, на кухне налили еще, а за тарелки мне пришлось платить, и ранбольные собирали мне по рублику, понимая, что моей зарплате стоимость тарелок нанесет неимоверный урон. Но ревела я, когда это получилось, не из-за денег — мне было жалко супа! Да, да — супа!

Сегодня вечером предстоит какой-то концерт у нас и, разумеется, после него, как обычно, танцы. И мы все — и сестры и больные — находимся по этому поводу в приподнятом настроении, предвкушая музыку, кружение в вальсе с тем, кто нам немного нравится, или с тем, в кого мы немножко влюблены...

Сейчас трудно представить, как после двенадцатичасового дежурства (мы работали с восьми до восьми), после таскания тяжелораненых на носилках (каталок не было) на процедуры, после перевязок, после кормления, ношения уток и суден, а еще порой и мытья полов в палатах и кабинетах, как можно после всего этого думать и меч-

тать о танцах. Но мы мечтали, ждали этих вечеров с трепетом, с замиранием сердца, хотя прекрасно знали, что доберемся домой только около двенадцати, опять не выпьемся, опять, полусонные, побежим в семь утра к трамвайным остановкам, еле-еле пристроимся на подножку и будем висеть на своих тоненьких девичьих руках несколько остановок, пока нас не втиснут в вагон... А ведь опаздывать было нельзя! Ни на минуту!

Но все равно мы ждали этих вечеров, этих танцев, потому что другой жизни, вне госпиталя, у нас просто не было. В семь утра мы убегали уже из дому, около десяти возвращались только для того, чтобы наскоро перекусить и добрести до постели. А когда были суточные дежурства, то на отдых тоже были только сутки. Кое-как поспишь, кое-что постираешь, погладишь, сбегашь в магазин отоварить несколько талонов по карточкам, и уже близится время бежать на работу.

Да, вся жизнь проходила у нас там, в госпитальных стенах... Мы настолько привыкли к своим белым халатам и косынкам, что, снимая их, ощущали даже какое-то неудобство. Разумеется, и танцевали тоже в халатах. И наши партнеры тоже были, увы, в халатах, если они были рядовыми, и из-под этих халатов белели кальсоны с какими-то невообразимо длинными тесемками, которые всегда почему-то развязывались в самый разгар танца. Офицеры, правда, были в пижамах, тоже не отличавшихся элегантностью, как правило, стираных-перестиранных, плохо отутюженных. Но все это никому не мешало наслаждаться танцами, разговорами друг с другом, обмениваться красноречивыми взглядами...

Для наших же ранбольных госпиталь был вообще почти домом. У некоторых война уже отняла настоящий дом — у прибалтийцев, у украинцев, у белорусов, — и госпиталь, особенно эти вечера с танцами были для них какой-то частицей той будущей мирной жизни, которая наступит для них рано или поздно, наступит обязательно, когда они уже не в халатах и пижамах, а в нормальной штатской одежде будут танцевать с девушками на какой-то танцплощадке у себя в городе или селе.

Они и писали нам прямо на госпиталь. Писали часто и помногу, особенно те, кому некуда было писать. Благодаря этому мы все были в курсе переписок своих подруг, и приход почты всегда был событием.

— Маша! Тебе опять письмо!

— Ой, девочки! А мне нет?

Сперва письма прочитывались в одиночку, а потом, особенно если в письме было что-нибудь смешное, они шли по кругу. Смех, возбужденные разговоры, обсуждения...

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

Ваше последнее письмо меня очень тронуло сочувствием к моему горю. Благодарю за него. Здесь, на передовой, так приятно знать, что где-то в Москве есть человек, с которым можно поделиться всем, который поймет и, надеюсь, никогда не осудит. Нина, я с таким страхом послал первое письмо. Я почти был уверен, что Вы мне не ответите. А теперь думаю — как я мог сомневаться в Вас. Вы такая хорошая. Я часто вспоминаю госпиталь. Как там было хорошо, весело. Правда, очень жаль, что мне никогда не удавалось, когда было кино, найти место около Вас. Вы всегда приходили в окружении ребят. Вы все-таки, по-моему, были немного воображалой. Очень любили показать свое остроумие и свою начитанность. Но один раз я прислушался к одному Вашему разговору с кем-то, и Вы были не правы... Вы спутали американского писателя с английским, хотя и спорили с большим апломбом. Вы, конечно, много читали, но, наверно, очень бессистемно и, схватывая все на ходу, не очень-то углублялись в суть. Но это естественно для Вашего возраста, да и для девушек вообще...»

Я фыркнула, словно кошка, которую погладили против шерсти, состроила гримасу, показала язык, потом потерла лоб рукой, что выражало у меня крайнюю степень озабоченности и недоумения, и надулась... Тоже мне, умник! Это я-то не углубляюсь в суть? Да что он понимает во мне, этот Ведерников! Всегда и все были в восторге от блеска моего ума, тем самым постоянно подтверждая мое собственное высокое мнение о нем. Ну, я ему сейчас покажу!

Я побежала в процедурку, достала лист бумаги и начала строчить ему ответ. Я вообще была скоро на ответы. Остроумные реплики вылетали у меня без всякого напряжения с моей стороны, и моего язычка побаивались не только мои подружки, но даже и старшая сестра, которая тоже в карман за словами не лезла, тем более что окончила филологический факультет и воображала из себя

невесть что. Но в моей обойме всегда оказывались словечки похлестче, и выдавала я их на секунду побыстрее, чем она.

Начала я, разумеется, с иронической благодарности лейтенанту Ведерникову за то, что взялся он учить меня, убогую, уму-разуму. Правда, видимо, по причине своей необыкновенной тупости, я как-то не заметила в его письмах особого блеска интеллекта и потому немного удивлена, что он взялся за такое неблагодарное дело, так как сколько б он ни бился, вряд ли я смогу углубиться в суть, ведь женский ум короток, а волос длинен, и так далее и тому подобное...

Вылив в очень остроумном, на собственный взгляд, письме свое раздражение, я опять потерла лоб и задумалась... Через некоторое время перечитала свой шедевр и... разорвала.

Если от своей внешности я не была в восхищении, то мой ум не вызывал у меня никаких сомнений. Им я была довольна! И всякие усомнения в его значительности со стороны других приводили меня в бешенство. Но все-таки какие-то крупинки самокритики где-то находились, правда, в небольшом количестве, поэтому даже такие осторожные и застенчивые замечания Ведерникова ввергли меня если не в бездну отчаяния, то, во всяком случае, в очень неприятные размышления о своей возможной поверхностности. Я с горечью вспомнила, как в школьном драмкружке мне поручались всегда роли комические, несмотря на то что в душе я всегда была актрисой трагической... Неужели у меня смешная внешность? А раз так, значит, мой интеллект не нашел выражения в моей физиономии. Значит, он весь в себе.

Пришлось опять обратиться к зеркалу, и я — уж какой миллионный раз — стала разглядывать свое лицо. Да... Даже о глазах нельзя сказать, как пишется в книгах, что «ее глаза светились умом». Нет! Ничего не светилося! А челка! Господи, совсем детская нелепая челка, закрывающая начисто мое «высокое чело». Может, именно от нее у меня такой глупый вид? Но я так к ней привыкла, что, убирая ее иногда, чувствовала себя словно раздетой.

В общем, я вышла из процедуры расстроенная и потерявшая в чем-то былую уверенность в неотразимости своего ума, немного обозленная на Ведерникова, и решила остаться сегодня вечером на танцы, чтоб рассеяться, проверить свои чары и обрести душевное равновесие.

«Ничего, что ты пришел усталый и виски покрыты сединой...» — пел женский голос, когда я входила в наш зал, а несколько пар уже танцевали. Я остановилась у дверей, приняла независимый вид и небрежную позу (губы сложились в еле заметную загадочную улыбку) и стала ждать приглашений... Ждала я недолго. Ко мне подошел высокий интересный эстонец, и мы пошли танцевать.

Надо сказать, что ранбольные эстонцы и вообще прибалтийцы пользовались у наших девочек большим успехом. Были они все рослые, какие-то аккуратные, всегда чисто побритые и очень, очень вежливые. Нравился нам и их акцент — совсем как иностранцы!

Танцевать я любила до умопомрачения. Танец меня так захватывал, что я находилась будто в экстазе. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но предполагаю, что не очень умное.

Эстонец танцевал хорошо и очень целомудренно, держась от меня на почтительном расстоянии. Мне это понравилось. Я терпеть не могла, когда меня зажимали. Сразу начинала брыкаться. Поэтому я согласилась и на второй танец. К концу вечера эстонец мне определенно понравился, особенно тем, что, провожая меня к выходу из госпиталя, не сделал попытки ни приобнять меня, ни поцеловать, а очень скромно, но горячо пожал мне руку и поблагодарил за доставленное удовольствие. Было в них, прибалтийцах, что-то старомодное, как мне тогда казалось. Потом-то я поняла, что это была просто настоящая воспитанность, которой, увы, не особо отличались наши русские ребята.

Письмо Ведерникову я не написала ни в тот вечер, ни в следующие дни — пусть маленько помучается. Но не было писем и от него. Прошла неделя. Когда приносили почту, я неслась сломя голову на второй этаж, где ее раздавали, но письма мне все не было и не было.

И вот, возвращаясь в свое отделение — расстроенная, поникшая, — я столкнулась на лестнице с Артуром (так звали эстонца).

— Ниночка, что с вами? — спросил он.

— Нет писем, — ответила я кратко.

— О, понимаю. И давно он не пишет?

— Целую неделю.

— Ну, это, как у вас говорится, ничего, — улыбнулся он.

— Он писал почти каждый день.

— А кто он, если это не секрет, Ниночка?

— Ба,— вспомнила я.— Он ведь лежал в вашем отделении. Ведерников, Юра. Вы его знаете?

— А, Юра... Очень хорошо знаю.

— Какой он?

— Как какой? — удивился Артур.— Вы получаете от него письма и не знаете, какой он?

— Ага.

— Как же это так?

— Ну так получилось... Мы не были знакомы, когда он лежал. А потом он написал...

— Очень странный случай,— покачал головой Артур, улыбнувшись.

— Так какой он из себя-то хоть? — опять спросила я.

— Он очень хороший, как это говорится... парень?

— Ага.

— Только он очень молодой, по-моему.

— Ему уже двадцать.

— Я думал, еще меньше... Очень жаль, Ниночка, очень...

— Что вам жаль?

— Я хотел... поухаживать за вами, но теперь... теперь не могу. Юра вам пишет, и он на фронте. Вы не беспокоитесь, Ниночка, неделя это ничего, мало ли что? Почта задержала или перебросили их на другой участок. Это бывает...— Артур повернулся и отошел от меня.

Меня тронуло благородство эстонца, но стало и чуточку обидно — значит, не очень-то я ему нравлюсь, раз он так легко отказался от меня. А с другой стороны, то, что Артур признал этим какое-то право Ведерникова на меня, несмотря на «очень странный случай», как-то уверило меня в том, что наши отношения с Ведерниковым серьезные, раз их признают другие.

В этот же вечер я настрочила большущее письмо. И было в нем уже искреннее беспокойство его молчанием, но было и много глупостей. Письма я писала всегда с ходу, не очень-то задумываясь. Слова вылетали из меня, как воздух из проткнутого иголкой воздушного шарика, а обыкновенные события окрашивались в разнообразные тона, смотря по настроению,— либо в юмористические либо в трагические. Так, почему-то довольно комический случай, происшедший недавно, в письме к Ведерникову превратился в «огромную неприятность», которую мне пришлось испытать.

А случилось вот что. Однажды в ночное дежурство, чтоб разогнать сон, я вышла в наш холл и перед большим



трюмо начала разучивать па какого-то бального танца. Делала я это самозабвенно, напевая мотив и воображая, что я кружусь в танце с кем-то... Нет, это был не Юра Ведерников, не Артур, а кто-то необыкновенный, которого я пока не знала, но который обязательно войдет в мою жизнь, и, разумеется, навсегда... Выражение моего лица в тот момент можно себе представить. И вот в самую потрясающую минуту, когда мы окончили танец и я царственно небрежным движением протягивала ему свою руку, которую он должен был поцеловать, раздался саркастический смех...

У меня упало сердце, кровь бросилась в лицо, я обернулась, и — о господи! — напротив меня стояла наша старшая сестра и, держась за живот, хохотала. Но так как смеяться весело, добродушно она не умела, то смех ее был противный, скрипучий, а глаза злые.

— О, Нинка в своем репертуаре! Какого принца ты воображала? — спросила она, перестав смеяться, но кричась в уничтожающей ухмылке.

В первый раз в жизни я не нашлась что ответить этой двадцатисемилетней старой деве, которая сама уже не способна ни на какие чувства, и, выскочив из холла, понеслась по коридору, но как только я набрала хорошую спринтерскую скорость, как с ходу шмякнулась во что-то мягкое, пружинистое, которое отбросило меня назад... Я подняла глаза, и, о ужас, передо мной стоял, пошатываясь, наш главврач, в живот которого я и угодила. Я метнулась в сторону и, обойдя его справа, рванула вперед.

На другой день, конечно, весь госпиталь знал о происшествии, и, завидев меня, все встречные и поперечные давились смехом. А так как мое хорошо развитое чувство юмора не всегда распространялось на мою собственную персону и часто покидало меня в такие моменты, то я страшно переживала.

Но прошло несколько дней, и я оправилась от конфуза и уже не обращала внимания на усмешки и довольно едкие подковырки нашей старшей, тем более что мне все же удалось изловчиться и сделать блестящий, почти смертельный выпад, правда, не очень красивый, но «на войне как на войне».

Странно, вообще-то я почти всем нравлюсь. Я весела, общительна, обаятельна (чего скромничать!), но есть какая-то категория особ женского пола, которые меня ор-

ганически не выносят. Наша Алка (старшая сестра) как раз к ней и относится.

Прошла еще неделя, а писем от Ведерникова все не было... Я не на шутку волновалась, а так как все мои переживания отпечатывались на моей физиономии один к одному, то мне стали выражать сочувствие и мои подружки и ранбольные.

Не один раз заходил и Артур в наше отделение, справляясь, не получила ли я письма. Я отвечала печальным голосом, что все еще нет, и в моих глазах стояла «вельтшмерц». Он покачивал по своему обыкновению головой и успокаивал меня всевозможными предположениями, которые могли служить причинами молчания Ведерникова.

Я не совсем так представляла себе ту большую и несчастную любовь, которая обязательно должна прийти ко мне, но несомненным было уже то, что я несчастна, так как не получаю писем от него.

Правда, я почему-то не думала, что с Ведерниковым что-нибудь случилось. Несмотря на то что война являлась к нам каждый день с каждой партией вновь прибывших раненых, мы все же реально, по-настоящему как-то ее не представляли, и отчасти потому, что письма ребят, уехавших после госпиталя на фронт, были всегда какие-то легкие, даже веселые. Они не писали нам п р а в д ы.

И потому молчание Ведерникова не связывалось пока у меня с предчувствиями о его ранении или гибели, а скорей с тем, что он увлекся какой-нибудь связисткой из штаба, о которых он писал, и забыл меня. А это, право, было бы очень обидно. Впервые отнесся ко мне человек серьезно, называл на «вы», мечтал поцеловать мне руку, и вдруг... Неужели я все еще такая девчонка, что ко мне можно относиться только с эдакой шутливой ласковостью, как ко мне все относятся: «Ниночка, сестреночка...» — будто я совсем маленькая. Похлопают по мордашке, вот и вся ласка. Ой, как хочется мне быть немного постарше! Ну, хотя бы на два годика! А то все девятнадцать, девятнадцать, и тянется это целую вечность...

И вдруг...

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Простите, что долго не писал. Нас перебросили на другой участок. Был длительный марш, в котором было трудно выбрать время для писем. В связи с этим и от Вас я ничего не получил и получу, наверное, не скоро.

В первые дни на новом месте было много работы — копали землю. Но я думал о Вас все время.

Когда мы стояли недалеко от передовой, приезжала к нам кинопередвижка и крутила нам старый фильм — «Тайга золотая», а через несколько дней развлекли нас настоящие артисты. Ну, может, не очень настоящие, но все-таки... Пропели «Катюшу», «В землянке» и какую-то глупую песенку про поваров и уехали. Мы остались не очень довольными. Хотелось бы чего-нибудь более серьезного. Но, правда, с удовольствием посмотрели на артисток в длинных концертных платьях, хотя было это и странно.

Мне уже кажется, что Москва, госпиталь были уже очень давно, а вот Вы — будто только вчера расстался.

Как Вы живете? Ходите ли на танцы, в кино? Откровенно говоря, я очень боюсь, что Вам кто-нибудь понравится и Вы перестанете мне писать. Давайте договоримся, что, несмотря ни на что, Вы все равно будете присылать мне письма. Я так уже привык к ним, что без них мне будет очень трудно. Договорились?

Вы, конечно, читали «Гранатовый браслет» Куприна. Так вот мне хочется в конце своего письма писать то, что писал Желтков. Вы помните, что он писал? Разумеется, помните! Но мне неудобно, что я не нашел своих слов и повторяю чужие, поэтому не пишу их, но, честное слово, они выражают мои чувства к Вам...»

Конечно, я помнила эти слова! «Да святится имя твое...» Бог ты мой, неужели я способна внушить такие чувства? Я даже немного обалдела. Я долго стояла в углу коридора, не двигаясь, сжимая письмо в руке, и от него по ней струилось вверх к моему сердцу что-то горячее, разлившееся потом по всему телу. Неужели у меня настоящая любовь? Самая, самая настоящая!

На свой пятый этаж я поднималась по лестнице не бегом, как обычно, а медленно, осторожно, словно боясь расплескать то, что находилось у меня в душе, а все встречные, удивляясь моей величавой неспешности и значительности на моем лице, разумеется, сразу догадывались о причине этого и спрашивали:

— Получила письмо, Нинок? — И, не дожидаясь моего ответа, добавляли: — Конечно, получила. По мордахе видно.

Какое несчастье! Я совершенно не могу управлять сво-

им лицом. Я словно открытая книга! И потому у меня не может быть никаких тайн. Все наружу. И что мне делать? Мне так хочется, чтоб у меня была тайна.

Видно, не надо было рассказывать девочкам о письмах Ведерникова, но я-то рассказала как курьез: лежал парень, лежал, чуть ли не три месяца, словом не обмолвился, а потом вдруг накатал почти любовное письмо. Смешно же? Вот и разболтала ради смеха. А сейчас жалею. Сейчас захотелось, чтоб ни одна душа не знала об этих письмах. Чтоб было это только мое... Может, написать ему свой адрес и попросить писать на квартиру? Но там мать. Начнутся расспросы. Не знаю, что делать.

Но пока-то все знали про мою переписку, и однажды подошла ко мне Клавка — вальяжная такая сестра, очень красивая, на мой взгляд, с такой умопомрачительной походкой, что ранбольные любого возраста открывали рты и, замерев, провожали ее долгими взглядами, а лица у них становились совсем идиотскими,— и спросила меня, как всегда лениво цедя слова:

— У тебя что, серьезно с этим лейтенантиком?

— Ага. Очень,— ответила я. Клавка снисходительно усмехнулась:

— Послушай меня, девочка. Ты еще совсем цыпленок, а поэтому слушай, что я тебе скажу. Знаешь, как проверить, серьезно он к тебе относится или просто со скуки пишет?

— Не знаю. Скажи,— заинтересовалась я.

— Намекни ему в письме, что у тебя очень тяжелая жизнь в материальном отношении, а это есть самая настоящая правда... Или ты, может, очень хорошо живешь?

— Нет, конечно.

— Ну так вот. И скажи, что некоторым девочкам их ребята высылают аттестаты. Если любят, конечно...

— Что ты, Клавка! — растерялась я.

— Ты слушай и не перебивай. Если он этот твой намек не поймет или, вернее, сделает вид, что не поймет, значит, это пустое дело, и ты плюнь. Нечего бумагу зря марать. Ну, а если у парня серьезные намерения, то он твой намек поймет и вышлет аттестат. Поняла?

Я поняла! Но у меня было такое чувство, будто меня из помойного ведра окатили. Я поморщилась, но все-таки спросила Клавку:

— А тебе высылают?

— А как же! И не один...

— И ты за всех замуж обещалась выйти?

— Разумеется.

— А как же будет, если они все придут?

— Глупенькая. Война еще ох какая долгая будет. Хорошо, если хоть один уцелеет.

Я не нашлась что сказать, а Клавка поплыла дальше, покачивая бедрами, а стоящие в коридоре на перекуре ранбольные ошалело глядели ей вслед до тех пор, пока она не завернула в процедурку, вильнув напоследок задом так, что ребята даже охнули.

Вот она какая эта Клавка оказалась, думала я, ища и не находя слова, каким ее можно обозвать. И только в туалете, в который я побежала мыть руки после этого разговора, у меня вспыхнуло в голове это слово — мародерка! Да, да, мародерка!

Весь этот день я ходила какая-то хмурая, все валилось из моих рук, и я стала как-то подозрительно поглядывать на всех наших девочек: неужели среди них есть тоже такие? Да нет! У нас чудесные девчушки — милые, добрые, чистые... Но ощущение, что меня вымазали в какой-то грязи, не проходило несколько дней...

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

(Это постоянное обращение — «Привет с фронта», которое первое время меня как-то раздражало (не может ничего другого придумать) — сейчас вдруг обрело для меня какое-то определенное звучание. Эти слоги — «При», «вет», «фрон», «та» — показались мне какими-то отголосками артиллерийской канонады, далекими звуками передовой, которые доносятся до меня вместе с письмами Ведерникова...)

Я, конечно, не получил от Вас еще письма, да это и понятно из-за перемены моего адреса. Но я чувствую, как оно идет где-то и приближается ко мне.

На нашем участке пока тихо. Стоят чудесные дни. Вообще летом война легче. Не мерзнешь, ходишь в сухой одежде, снабжение регулярное. Мне очень досталось весной сорок второго на Северо-Западном фронте. Тогда залило водой все окопы, и мы ходили все промокшие до нитки. А здесь пока хорошо. Оборудовали по всем правилам свои позиции и не особенно тревожимся при артобстрелах и бомбежках. Да они и не очень часты. Главное начнется, наверно, не у нас.

Нина, Вы, конечно, тоже задумывались о смысле жизни. Я начал думать об этом лет с шестнадцати и перечел

уйму разных философов. Но потом этот вопрос как-то отошел от меня, и, я думал, насовсем, но вот сейчас почему-то опять стал задумываться. Может, потому, что наша жизнь здесь очень однообразна и есть время для размышлений.

Я прожил двадцать лет. И конечно, ничего не успел в жизни сделать, да и не мог — учился, мечтал об университете, читал... Но вот, чего скрывать, моя жизнь может оборваться в любую минуту, в эти самые двадцать лет...

Ну, и для чего же она была, эта моя жизнь? Неужели нет смысла в моем появлении на свет, в прожитых годах и в моей смерти, если она произойдет? Не может же этого быть! Он должен быть, этот смысл! Но в чем? А если все случайно? И наша вселенная, и наша земля, и люди на ней, и я? Что тогда? Значит, все, все бессмысленно? И когда подумаешь так, то становится как-то страшно на душе и очень пусто, словно вынули из нее что-то...

Ладно, хватит об этом, а то вдруг Вам будут скучны мои рассуждения. Знаете, я перестал отдавать свои наркомовские сто граммов ребятам, а выпиваю их сам. После них как-то спадает напряжение, лучше мечтается и, что главное, ярче вспоминаетесь Вы...

Кончаю писать, что-то зашевелились фрицы — стреляют из пулемета на левом фланге. Напишите, что Вы думаете о смысле жизни?..»

О смысле жизни? Вот вопросик! Господи, наверное, я все же дурочка, потому что, честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Все-таки мужские головы устроены, видно, по-другому... Что же касается меня, то мне просто всегда было радостно и хорошо жить, несмотря на всякие мелкие неприятности, а раз радостно — чего же задумываться о каком-то смысле?

Мы и родились, наверное, для того, чтобы радоваться жизни. Радоваться, что светит солнце, что над нами голубое небо, что кругом хорошие, добрые люди... И наконец — есть любовь! Она-то дана для радости и счастья! Не знаю, что я ему отвечу? Что-нибудь накручу. Должно же у меня хватить на это мозгов.

Еще в школе я прочла Вересаева «Живую жизнь» — это о Толстом и Достоевском. Так вот, мне всегда был чужд и далек Достоевский с его психопатами, и я люблю Наташу Ростову! А Наташа, по-моему, не очень-то задумывалась о смысле жизни, а просто жила... Наверно, так

и надо. Или я не доросла еще до таких вопросов? Но ведь Ведерникову надо ответить, и что-то умное. Ладно, буду дежурить ночью — что-нибудь да соображу на досуге.

Ничего особенно умного мне придумать не удалось. Ночь выдалась беспокойная, маетная, замучили черепники. Они самые тяжелые ранбольные и требуют особого внимания. Ходила то в одну палату, то в другую. Носила утки, поила водой, давала снотворное, поправляла одеяла и так далее... Но письмо все же дописала и в свои довольно-таки беспомощные рассуждения ввернула словечко «имманентный», чтоб сразить своей эрудицией Ведерникова наповал. Я вообще обожала иностранные слова и запоминала их с ходу и навсегда, так же, как и необычные и труднопроизносимые имена-отчества и фамилии, вроде, например, Саломеи Абрацумовны...

Закончив письмо, я еще раз перечитала ведерниковское, и у меня сладко защемило в сердце, когда я дошла до последних строчек, — он заканчивал свои письма теперь так: «А теперь я мысленно говорю Вам те купринские слова из «Гранатового браслета», которые не решаются произнести вслух...»

Господи, неужели у меня настоящая любовь?! Как хорошо!

На другой день после ночного дежурства я, как пришла, сразу же залегла спать, но через несколько часов меня разбудили — пришла зачем-то одна девочка, с которой я училась в школе. Была она худенькая, бледненькая, плохо одетая, но когда я спросила ее, как она живет, она начала безбожно хвастать: живет прекрасно, замужем за геологом, который сейчас в экспедиции, а сама она работает в торговле и всем обеспечена. Потом она между прочим намекнула, что может достать мне суфле. Суфле и какавелла — это появилось только в войну. До нее мы и слыхом не слыхали о таких продуктах. Суфле — это какое-то сладкое молоко, вроде растаявшего мороженого, а какавелла — шелуха с бобов какао. Если ее хорошенько покипятить, то вода становится темной и пахнет настоящим какао. В общем, вкусно, ну а суфле вообще мечта.

Я, конечно, обрадовалась, выдала ей наш единственный чайник и еще банку, дала пятьдесят рублей и уже предвкушала, как вечером я буду наслаждаться этим самым суфле.

Но наслаждаться мне не пришлось ни в тот вечер, ни в последующие — девица исчезла, а я не знала, где она живет. Плакали мои полсотни (а это четвертая часть мо-

ей зарплаты!), а главное, пропал чайник и банка, про которые все время спрашивала мать, куда они задевались.

Конечно, я страшная дурочка: не поняла по ее потрепанному и голодному виду, что в никакой торговле она, бедняжка, не работает.

Ладно — переживем и это! Только моя муттер не отвяжется и будет пилить меня насчет исчезнувшего чайника. Она страшно не любит, когда пропадают вещи.

Правда, мама стала сейчас немного другая, чем до войны. Наркомат, где она работала в библиотеке, еще не вернулся из эвакуации, и она у меня пока без работы, получает только иждивенческую карточку. Это, видно, ее очень унижает, и она потеряла свою прежнюю власть, непоколебимость суждений и не очень-то давит на меня.

Мой незаконный отчим — дядя Кока, как я его называю, — занимает большой пост и некую толику продуктов отрывает из своего пайка для нас.

Мой же родной папочка сейчас где-то на Урале, но после того, как мне стукнуло восемнадцать и ему не стало обязательным платить алименты, он еще ни разу не поинтересовался, что со мной, жива я или нет. А могла быть и не жива. Потому что после окончания курсов медсестер рвалась на фронт и могла бы попасть в Ленинград и только случаем не попала.

В общем, обстановочка дома у меня не очень симпатичная.

Дядя Кока намного старше матери (не знаю, чего она в нем нашла). Он очень важен, полон чувства собственного достоинства, рассуждает обо всем с невероятным апломбом, но, по-моему, не прочел ни одной книжки до конца, ограничиваясь предисловием или послесловием, после чего, имея некоторое представление о содержании книги, он мог с умным видом говорить о любом авторе.

В общем, в госпитале мне лучше, чем дома. Если дядя Кока не лежал на диване, укрывшись газетой и похрапывая (господи, и это любовь!), когда я возвращалась домой, то начинал читать мне нравоучения и пытался воспитывать. А я этого терпеть не могу! Тут я готова сбежать куда угодно, хоть к чертям на кулички. И сбегала к какой-нибудь подруге, возвращаясь домой только после отправления дяди Коки к своей семье.

Вообще отношения моей матери с дядей Кокой казались мне неестественными и шокировали меня, но мать они, видимо, устраивали...



Сегодня в госпитале у нас очень грустный день — мы провожаем «стариков». Так называем мы тех ранбольных, которым больше тридцати, которые уже успели обзавестись семьями и имеют детей. Они-то и звали нас всех «доченьками».

Они не бегали в «пикировку», не заигрывали с нами, а думали всегда о чем-то своем, их лица всегда были сосредоточенны, глаза тоскливы. Они понимали больше, чем мы и наши ровесники ранбольные, и проводы их всегда были почему-то грустными...

Хоть и говорили только о хорошем, чокаясь госпитальными кружками с кваском, но витало над нами какое-то томительное ощущение настоящих проводов. «Старики» понимали ясно, что их ждет впереди, не строили никаких иллюзий насчет своего будущего, они думали о своих детях, могущих стать сиротами, и о женах, могущих стать вдовами.

Совершенно по-другому проходили проводы молодых. Ну, во-первых, те, сняв уродливые халаты и получив форму, радовались, как маленькие, что наконец-то могут показаться перед нами, девчатами, в настоящем виде, при орденах и медалях, которые перед этим они начищали часами. Даже самые робкие становились смелее. В форме они казались себе неотразимыми, и мы их, конечно, не разочаровывали, а, даже наоборот, засыпали комплиментами.

— Ванечка! Это ты или нет? Тебя и не узнать,— говорил кто-нибудь из нас.

— Прямо красавчик! — добавляла другая, а Ванечка, выпятив грудь и покрасневшись, прохаживался перед нами таким боевым петушком, расплываясь в довольной улыбке.

Да и вправду ребята, надевая форму, становились совсем другими.

Потом молодые, особенно офицеры, имеющие денежки, раздобывали где-нибудь немного выпивки, и те несколько глотков, которые доставались на брата, без привычки ударяли в голову, и настроение становилось хоть куда. И самое главное, молодые ребята не верили, не хотели верить, что их могут убить. Они уезжали на фронт без той тоски в глазах, которая маячила у «стариков». Они даже бравовали.

— До чего все-таки надоело у вас валяться,— говорил кто-нибудь, и мы делали вид, что верили этому, потому что верил в это и он сам.

— Да, ребята, отдохнули, поправились, даже жирком залились, пора и делом заняться — наподдать фрицу. Так, что ли?

— Приедем — наподдадим. Не без этого, — поддерживали остальные...

И шло веселье... Ребята верили в свое скорое возвращение, в скорую победу, и мы верили тоже, что скоро, скоро кончится война и будет уже праздник на всю жизнь.

Конечно, мы чувствовали, что ребята немного рисуются, бодрятся, что где-то на самом доньшке души таится и другое, но общая атмосфера какой-то приподнятости, праздничности захватывала всех.

И только тогда, когда кончалось застолье и мы провожали их по лестнице, когда начиналось прощание у самых дверей, спускалось на нас облачко грусти, разговоры и смех стихали, лица серьезнели...

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

Не обижайтесь, что я Вас так назвал. Мне вообще хочется наговорить Вам тысячу всяких разных и необыкновенных слов, но я вряд ли имею на это право. А потом, боюсь Вашего острого язычка, которым Вы сможете воспользоваться.

Меня можно поздравить — назначили командиром роты и уже провели приказом. Теперь в моем подчинении около ста человек. Это огромная ответственность! Справлюсь ли? Смогу ли стать таким же хорошим, умелым ротным, каким был прежний? Вы, наверно, понимаете, что на фронте продвижение по службе связано чаще всего с тем, что освобождаются должности. К счастью, нашего ротного не убило, а ранило, правда, довольно тяжело. Может быть, каким-либо случаем он попадет в ваш госпиталь. Его фамилия Ермаков. Старший лейтенант. Вдруг окажется у вас! Тогда сможете расспросить его обо мне. Плохого он не скажет.

Только сейчас принесли почту, и — радость! От Вас сразу два письма! Подождите немного, я прочту и буду продолжать письмо.

Вот и прочел. Спасибо. Вы стали ко мне лучше относиться. Неужели случилось чудо и мои чувства каким-то образом передаются Вам? Вообще-то вполне возможно. Мои чувства очень сильны, а расстояние, разделяющее нас, не так велико, — наверное, километров триста.

А сильны мои чувства, наверное, потому, что они впервые зажглись в моей душе. Я как-то не интересовался девочками в школе. Я был увлечен историей. Собирал книги, торчал в библиотеках, и мне было просто не до девочек. Но могу похвастать. По-моему, в меня была влюблена одна девица. Звали ее Надей. Она писала мне записки, назначала свидания, но я почему-то не ходил. Я написал это, конечно, не для хвастовства, чем тут хвалиться, а к тому, чтобы Вы знали, что я могу, видимо, понравиться девушке.

Пока мы находились не на передовой, мне удалось сфотографироваться. Получилось ничего. Во всяком случае, на этой фотографии я не такой младенец, как на прежней. Но если Вы до сих пор хотите воображать меня по-своему, то посылать не буду, а то вдруг разочаруетесь.

Наверное, скоро мне повесят еще звездочку. Глядишь, к концу войны, если останешься жив, дослужишься до майора. Но в армии остаться насовсем я не хочу. К истории я не охладел. Видимо, она мое призвание. Особо интересуется меня эпоха Петра. А потом — революция. Это, пожалуй, самые переломные эпохи в истории России, самые значительные. И та и другая перевернули не только весь уклад жизни народа, но и его душу. Проникнуть во все это чрезвычайно интересно. Но, простите, быть может, это Вам скучно. Поэтому прекращаю. Напоследок шлю Вам те же слова, что и всегда...»

Я задумалась. Очень глубоко задумалась, как, наверное, никогда в жизни. Передо мной в письмах вставал человек. Не просто влюбленный паренек, а человек. Со своими мыслями, мечтами, со своей судьбой. И я как-то впервые задумалась о загадке личности. И вдруг поняла, что каждый человек — это особый мир. Мир очень сложный, своеобразный и, главное, неповторимый... Никогда в мире не будет такой, как я, или такого же, как Ведерников. Мы все уникальны и неповторимы. Эта в общем-то совсем не новая для человечества мысль для меня тогда стала откровением, поразила до невозможности.

И после этого откровения письма Ведерникова стали для меня не просто приятным событием, возбуждающим какие-то светлые, теплые чувства, а стали, кроме всего прочего, страшно интересны в другом, в главном — в постижении внутреннего мира этого человека, который по-

степенно раскрывался мне все больше и больше с каждым полученным письмом.

Я так и написала ему: «Вы стали интересны мне, Юра, как человек, и я с нетерпением жду Ваших писем, чтоб узнать о Вас еще что-то новое...» А в конце даже добавила, что, наверное, буду ждать его, ждать по-настоящему.

А жизнь в госпитале шла своим чередом... Случались события и комические, и драматические, и трагические. Трагическими были всегда смерти раненых. И хотя почти каждый день кто-то умирал, привыкнуть к этому было невозможно. Особенно когда умирали твои больные, за которыми ты ухаживала, у которых просиживала ночи, к которым привыкла... И я всегда редела. Умирали молодые, сильные, красивые, которым жить бы и жить, и примириться с этим было нельзя.

Но наряду с этим были случаи смешные. Самые чудеса творились с ранеными, у которых были повреждены периферические нервы. Например, ранен человек в руку, а случайно дотронешься до его пятки, и он вопит как резаный — страшная боль. Ему и самому потом смешно: как это так, ранен в одно место, а болит другое. Ну, и мы не удерживались — прыскали. И смех и грех. Или — везу я в лифте одного ранбольного. Только я закрыла дверь, а он как закричит:

— Ниночка! Укрой меня чем-нибудь. Не могу! Страшно!

Ну я, конечно, умирая от смеха, покрываю его лицо полой своего халата (чем же еще?), а он весь дрожит как осиновый лист. Так и ехали. Вышли, а он и сам засмеялся, не понимая, отчего ему вдруг стало страшно.

Некоторые высоты боялись, по лестнице ходили, прижимаясь к стенке, и не дай бог, если к перилам подвести, — тоже вопль ужаса и боль во всех местах.

А был один, который на дню несколько раз просил обливаться водой, что мы все и делали с удовольствием и смехом. Наберем в рот воды и обрызгиваем его, как белье перед глаженьем.

Конечно, сейчас думаешь, ну чего же смешного в этом было? Ведь больно людям. Но тогда нам, смешливым девчонкам, достаточно палец было показать, чтоб мы начинали помирать со смеху.

Случались и драмы. Любовные, конечно. Лежал у нас один капитан. Молодой, лет двадцати пяти, красивый. И была у нас очень серьезная, тихая сестра Оля. Тоже очень хорошенькая, уменькая, из интеллигентной семьи.

Она была не из тех, кто мог крутить роман с кем угодно. Очень положительная была девушка. Но она этого капитана полюбила по-настоящему. Когда он почти выздоровел, она водила его к себе домой показывать родителям, и мы все думали, что вот-вот они поженятся.

Но вот в один распрекрасный момент появляется у нас в госпитале, в проходной девица в военной форме и спрашивает этого капитана. И как нарочно, оказалась тут и Оля. Ну, девушку, конечно, спрашивают, кто она? Она отвечает — жена и документ показывает.

Что тут с Олей было! Уж не знаю, произошло ли у них объяснение, но капитан через день выписался и уехал, а Оля... бедная Оля оказалась на третьем месяце...

Мы все ей, разумеется, очень сочувствовали, только вальжная Клавка изрекла по этому поводу:

— Вы все дуры. Сколько раз я вам говорила, не верьте мужикам. Вот я им не верю ни на грош, и такого со мной никогда не случится.

И верно, Клавка-то бедрами крутила из всех сил, но никому ничего лишнего не позволяла и не позволит — это точно!

А наша старшая на очередной пятиминутке не преминула съязвить.

— Если такое случилось с такой серьезной девушкой, как Оля,— сказала она,— то что же можно ожидать от других...— Она сделала многозначительную паузу, уставилась на меня, а потом добавила:— Я, конечно, не буду указывать пальцем...

Моя голова заработала, как бормашина, в ней что-то загудело, завертелось, и я выдала мгновенно:

— Зато, к счастью, некоторым из нас это абсолютно не грозит. Я тоже не буду указывать пальцем.

Девчата засмеялись, а я победоносно вышла, вильнув бедрами на Клавкин манер, благо они тоже у меня есть, подчеркнув тем самым отсутствие оных у нашей Алочки.

На танцы я продолжала ходить, но они что-то потеряли для меня то значение, какое имели раньше. Стала как-то равнодушной к ним, а танцевала, меняя партнеров, никому не выказывая предпочтение. Несколько раз танцевала и с Артуром. Ему скоро выписываться.

— Ну, как ваш роман... в письмах? — спросил он.

— Продолжается,— кивнула я.— Очень интересно.

— Юра умный, хороший парень,— подтвердил еще раз Артур.

— Вы тоже,— не удержалась я, памятуя о его благородстве.

Он прижал меня на какое-то мгновение, но сразу же отпустил.

— Я завтра, наверно, уже уезжаю. И мне некого будет вспоминать, кроме вас. Проводите меня?

— Конечно,— не задумываясь, согласилась я.

— Тогда у меня просьба.

— Какая?

— Вы... вы разрешите мне поцеловать вас на прощание?

Я немного смутилась.

— Разве у вас здесь никого нет?

— Никого.

— У вас в отделении очень милые девушки.

— Мне никто не нравился.

— Ой ли? Что-то не верится. У вас там Анечка такая хорошенькая. Я бы на вашем месте обязательно влюбилась.

— У меня есть девушка... дома... в Эстонии. Правда, я не знаю даже, жива она или нет...— сказал грустно Артур.

— Мне не жалко, конечно,— заколебалась я,— но... Ведерников и ваша девушка... Разве это не будет изменой?

— Какая измена, Ниночка. Просто товарищеский поцелуй на прощание. Ведь я скоро буду на фронте.

— Ладно, я подумаю,— решила я и досказала: — Но я должна буду написать об этом Юре.

— Конечно, Ниночка,— улыбнулся Артур.

Мне, конечно, он немного нравился, этот Артур. Особенно его улыбка. Ладно, утро вечера мудренее, подумала я, до завтра еще уйма времени. Но этот вечер я протанцевала только с Артуром. Чего уж, раз человек уезжает на фронт...

На другой день Артур в отглаженной гимнастерке с ослепительно белым подворотничком зашел ко мне в отделение.

— У вас есть время меня проводить? Вы не раздумали?

— Нет, нет. Пойдемте.— И мы стали спускаться по лестнице.

— Вы надумали? — спросил он, грустно улыбаясь.

— Что?

— Уже забыли?

— Ах, да. Вспомнила! Ну, хорошо, раз вы уезжаете. Была не была.

У самых дверей, когда мы миновали швейцара, Артур приобнял меня и поцеловал далеко не товарищеским и далеко не братским поцелуем. У меня захватило дух, сердце заколотилось, и я в смятении рванулась из его рук. Он не стал меня удерживать, а стоял передо мной тяжело дыша и почему-то очень побледневший.

— Спасибо, Ниночка. Я буду долго помнить это. Прощайте.— Он круто повернулся и вышел... Дверь, скрипя пружиной, медленно закрылась за ним.

Я еще долго стояла немного потрясенная и взволнованная. Целовалась я, разумеется, не в первый раз, но ничего у меня те поцелуи не вызывали. Только смех разбирал, потому что ребята целоваться не умели, только мусолили, и я всегда после этого бегала умываться. Но сейчас что-то дрогнуло во мне. Вообще-то это было ни к чему. Мало ли, что он на фронт уезжает. У нас каждый день кто-нибудь да уезжает, что ж, целоваться с каждым?

Не совсем довольная собой, что разрешила Артуру себя поцеловать, и в то же время находясь под впечатлением этого поцелуя, я томно поднималась по лестнице и... разумеется, натолкнулась на Аллочку. Она приостановилась, обвела меня скептическим взглядом. Я прямо-таки физически ощущала на своих губах отпечаток Артурова поцелуя, который она непременно углядит. И углядела! Потому что развела руками, покачала головой и процедила:

— Опять в своем репертуаре. Кого изволила провожать и с кем целоваться?

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

Нас перевели в другое место, но недалеко от прежнего. Теперь мы живем в лесу, а перед нами цветущий луг...»

Это то письмо, с которого я и начала свое повествование. В нем Ведерников писал, что пленился каким-то цветком и намеревается ночью сползать за ним, сорвать и прислать мне.

Я живо представила, как он ползет ночью по полю боя за этим цветком на виду у немцев (я знала, что они

пускают все ночи ракеты), и у меня сжалось сердце из-за страха за него. Глупый мальчишка, ведь его может ранить или даже убить на этом лугу!

Но все же его намерение сорвать для меня цветок на поле боя наполнило мое сердце гордостью и показалось очень романтичным, прямо-таки рыцарским. Видно, в женщине издревле живет потребность, чтобы мужчина совершал ради нее какие-нибудь подвиги. В каменном веке это была, наверное, ляжка мамонта, в средние века победа на рыцарском турнире... Для меня пока еще никто ничего не совершал. А как это прекрасно! Весь день меня распирало чувство собственной значительности, и мне было даже как-то неудобно перед девочками. Ведь ради них никто ничего не совершал. Зато перед Клавкой я прошла так задрав нос, с таким видом превосходства, что она с удивлением посмотрела на меня и недоуменно пожала плечами. А я сказала ей, конечно не вслух, а про себя: что стоят твои аттестаты перед тем, что я получу в следующем письме.

Весь день я проходила в каком-то сладком дурмане, а поскольку моя физиономия, как я уже говорила, не могла скрыть ничего, то все наши сестры и ранбольные глядели на меня, как на чокнутую, и покачивали головами.

Но к вечеру эта дурость с меня сошла, и я заторопилась написать письмо Ведерникову, в котором умоляла его не делать глупостей и что мне не надо никакого цветка с передовой, не надо никаких доказательств его любви, потому как я и так верю в нее.

Через несколько дней наша язва старшая назначила меня на индивидуальный пост к тяжелому, послеоперационному больному. Видать, для того, чтобы я реже попадалась ей на глаза и не раздражала ее своим независимым и заносчивым видом. Не забыла она, конечно, и те пилюли, которые я ей отпустила за последнее время.

Поначалу я очень расстроилась. Сиди одна в палате с тяжелобольным, и никуда. Но вскоре, почувствовав свою нужность ему, тронутая его привязанностью ко мне, я уже не тяготилась дежурствами.

Он был ранен в голову, плохо ориентировался в обстановке, не понимал своего положения, но был добрый, застенчивый и очень стеснительный. Когда мы с девочками перестилали ему постель, он все твердил:

— Ну почему вы такие все молоденькие! Стыдно же мне. Неужели никого постарше нет.

Часто ему мерещилось, что к нему приехали его род-



ные и привезли много продуктов, и он все уговаривал меня:

— Ниночка, ты же голодная. Почему не берешь у меня мяса? Видишь, сколько его у меня под кроватью. Бери сколько хочешь и носи домой.

Когда я заканчивала дежурство и собиралась уходить, он очень волновался:

— Как же ты пойдешь, Ниночка? Темно на улице. Ты оставайся, вон сколько коек свободных. А то небось страшно идти-то...

Аппетита у него, конечно, не было, и хлеб он не съедал, но прятал под подушку, чтоб не унесли няни, а вечером отдавал мне:

— Покушай, Ниночка. Не хватает небось хлебушка...

Да, хлебушка, разумеется, не хватало, как и многого другого. Питались мы не с больными, а отдельно, в своей, гражданской, столовой. И вырезали нам талоны из карточек за каждый обед: пять граммов жиров за суп, в котором его и помину не было, а за второе вырезали мясо, которого тоже что-то не было заметно.

Раненые знали, как мы питаемся, и потому всегда предлагали нам то сахару, то хлеба, то супу, но я просто не могла почему-то брать у них, хотя и знала, что предлагают они от чистого сердца.

— Не надо, Василек. Сам потом доешь,— отказывалась я всегда.

— Бери, Ниночка, а то няньки заберут.

Няни и забирали потом, но я думала: и пусть, у них дети, они старенькие, им, наверное, труднее.

Больше недели я провела со своим Василевичем, а потом у него началось кровохарканье и его отправили в терапевтическую больницу.

Обливался он горючими слезами, прощаясь со мной, как ребенок, которого отрывают от матери. Всплакнула и я. Через некоторое время я узнала, что он умер...

Да, очень много смертей прошло у нас перед глазами... И только наша молодость, ее неистребимая жажда жизни и счастья помогли нам не падать духом, не потерять веры в прекрасное будущее, которое ожидает нас после победы, предвкушать вечера с танцами и... влюбляться... Да, влюбляться, несмотря ни на что!

В заботах о Василевиче время пролетело у меня очень быстро, и только когда его увезли от нас, я очнулась и забеспокоилась, что писем-то от Ведерникова не было.

И тут на меня напала хандра... Вообще, несмотря на

свой веселый нрав, я могла иногда становиться невероятно мрачной и была неузнаваема. К счастью, такие периоды длились очень недолго — день, два, а то я просто не выдержала бы.

Вот и сейчас наступило такое состояние, и я не находила себе места. Томило предчувствие, что с Ведерниковым что-то случилось, и, конечно, из-за этого цветка, который растет на поле боя, и это будет ужасно — ведь я буду чувствовать себя виноватой...

И в самый разгар моего уныния, когда весь свет не мил, раскатами далекой передовой ко мне пришло:

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

Цветок я все-таки сорвал и посылаю Вам. Он вложен в отдельную бумажку, сложенную пополам. Если его не будет, значит, выкинула военная цензура, хотя я и написал на листочке просьбу его оставить...»

Я приостановила чтение и достала из конверта этот сложенный листок. На нем и вправду было написано: «Дорогая военная цензура! Не выкидывай этот цветок. Я посылаю его любимой девушке».

Я развернула бумажку. Там лежал смятый, но еще не совсем засохший какой-то красный цветок. Красивого в нем ничего не было. Он был будто раздавленный, и на бумаге были красные следы от его сока, словно кровь... У меня сдавило грудь... Бывают у людей вот такие озарения, когда будущее на миг открывается им. Глядя на цветок, я совершенно ясно чувствовала, что это последнее письмо Ведерникова. До такой отчаянности ясно, что не могла уж читать продолжения письма, так как глаза застили слезы, а к горлу подползал тяжелый холодный ком...

Я долго сидела, сжавшись в углу дивана в нашем холле, размазывая слезы, не замечая ничего вокруг, пока не услышала:

— Нинка, что с тобой?

Я подняла голову. Надо мною склонилась Аллочка. Я мгновенно собралась, изготовилась к бою, но она положила руку мне на голову и совсем другим, необычным для нее тоном, повторила:

— Что с тобой, девочка?

И я раскисла от неожиданной этой ласки, размякла сразу и прошептала:

— Его убьют, Алла...

— Не выдумывай, дурочка. Успокойся,— она еще раз провела рукой по моей голове и отошла.

Немного оправившись, я дочитала письмо...

«Ниночка, наверное, от меня долго не будет писем. Пора начать гнать фашистов дальше. Для меня «смерть немецким оккупантам» — не лозунг, а зов сердца. И пока они на нашей земле, жить спокойно нельзя, просто стыдно. Я как-то не касался этого в своих прежних письмах, ведь они были о другом, о моих чувствах к Вам. Но сейчас, когда скоро пойдем в бой, Вы должны знать, что пойду я с радостью и с верой, что все будет хорошо. Я твердо уверен, что мы увидимся, что сходим еще в Большой театр и я буду держать Вашу руку в своей, а после спектакля Вы разрешите мне ее поцеловать. Не может же быть, чтобы этого не случилось? Правда? Итак, договорились? Вы не ждете от меня скорых писем и не будете волноваться. Но при первой же возможности — напишу.

Ваше письмо насчет смысла жизни я получил. Хотелось бы подробней ответить на него, но нету времени. Скажу только, что в нем Вы раскрылись опять как-то по-новому для меня.

Пока до свидания. Пишите мне чаще. Может, и не сразу, но Ваши письма найдут меня и я получу их целую пачку. Живите той «живой жизнью», о которой писал Вересаев (я тоже читал эту вещь), и будьте всегда безоблачны и радостны...»

Я читала, а внутри меня какой-то голос продолжал твердить: это последнее письмо, это последнее письмо, это последнее письмо...

Дня через два моя хандра прошла. Мрачные предчувствия рассеялись. Мир опять расцветился красками. Опять я шутила, остряла, смеялась. Моя война с Аллочкой затихла, хотя пикировка и продолжалась, но была уже добродушной — мы просто упражнялись в остроумии, но старались не делать друг другу больно. Каждый день я бегала на второй этаж к приходу почты и не особенно расстраивалась, что писем пока мне не было,— Ведерников же предупредил, что возможен перерыв...

Но шли дни, недели... Прошел месяц... И где-то на самом доньшке души ледяным комочком нарастало все определенной и определенной то первое ощущение, которое охолодило меня при чтении его последнего письма,— писем больше не будет, писем больше не будет...

А госпитальная жизнь шла как обычно: прибывали новые раненые, уезжали на фронт излечившиеся, мои девочки влюблялись и развлюблялись, крутилось в клубе кино, продолжались танцы под патефон, каждый вечер мы слышали — «Ничего, что ты пришел усталый и виски покрыты сединой...», ежедневно приходила почта, но я уже не неслась как полоумная на второй этаж — надежда тихо уходила из моего сердца, и с каждым днем все дальше и дальше, пока не ушла совсем...

...До сих пор мне не хочется верить, что Ведерникова убили, что его жизнь, частица которой прошла передо мной в его письмах, оборвана войной.

Мне кажется, он жив. Занимается своей любимой историей. Может быть, иногда вспоминает свои полудетские письма в Москву госпитальной сестренке, которые начинал всегда приветом с фронта.

А я сохранила его письма, и вот это последнее лежит сейчас передо мной.

Привет из юности, Юра...

## БОРЬКИНЫ ПУТИ-ДОРОГИ

---

*Моему другу, ветерану войны,  
Красикову Борису*

**Р**ассветать уж начало... Слипались глаза, в голове туман, ноги как чугунные, еле-еле из снега их выдираешь. Батальону-то лучше — идет по протору, а Борьке-москвичу в боевом походном охранении все по целине да по целине. Лыжи узенькие, крепления никудышные, тонут ноги в снегу. Начнешь их вытаскивать — лыжа соскочит. Приходится нагибаться и лыжу эту руками вылавливать. И смотреть надо: и вперед и по сторонам, — и от батальона определенную дистанцию держать, и не дай бог отстать.

Так и шел всю ночь, а под утро уже не вмоготу — поскорей бы привал. Хоть на минуту брякнуться в снег, вытянуть ноги и покурить по-человечески, не на ходу, не таясь, а со вкусом, неспешно затягиваясь, и не торопиться выдохнуть махорочный дымок, а поддержать его немного внутри, чтоб продрало и отеплило в груди по-настоящему.

И казалось — ничего больше в жизни не надо, кроме передыха, пусть и короткого... В мечтах о привале, или потому, что засветлело вокруг, или потому, что приустал сильно, бдительность свою Борька малость потерял, хотя и шел по кромке леса. Правда, когда в рождественскую ночь ворвались они в одно село, думая, что будет бой и дадут они немцам праздничек, фрицев там уже не было, драпанули. А от этого села они верст двадцать уже оттопали, но все же линии фронта твердой не было. Наши части вклинились, кто дальше, кто ближе, и на флангах немцы могли быть, потому и шла колонна по всем правилам уставным — впереди боевое охранение, по бокам и сзади.

Как случилось, что небо вдруг над ним покатилося и оказался он лежащим на спине, Борьке было не понять. Только потемнело в глазах, и в затылке боль, а почему,

отчего, непонятно. Споткнулся, что ли? Но когда в глазах прояснилось и повернул он голову направо, увидел: три «шмайссера» на него уставлены и три пары глаз впились не моргая. Здоровые немцы, рослые и немолодые, лет по тридцати, один палец у рта держит — молчи, дескать. Стоят в рост, только к деревьям прижались, чтоб их со стороны батальона было не заметить.

Но тут один немец нагнулся, схватил Борьку за ногу и подтянул к деревьям, а другой винтовку из рук вырвал и — бах о елку! Треснула родимая и — пополам!

Здесь и дошло — наяву все это! Взаправду! Плен это! И захотел было Борька закричать — «Братцы! Выручайте!», — и рот у него приготовился, но немец сразу стволом «шмайссера» в лицо ткнул и палец на спусковом крючке напряг. Пропал у Борьки голос, а сердце провалилось куда-то, холодным потом залило тело, так и растекалось по груди, по спине что-то липкое, ледяное.

А батальон родной проходил мимо, в шагах ста от них, и ждали, видно, немцы, как пройдет он весь, тогда и поднимут Борьку с земли. И останется он тогда совсем один, тогда помощи ждать уже неоткуда, тогда конец, плен окончательный. Но не верилось в это Борьке, казалось, вот-вот случится что — и исчезнут фашисты, как наваждение какое-то.

Но ничего не случилось... Слышал Борька напряженным слухом, как проходили уже тылы батальона, доносилось лошадиное ржанье, выкрики ездовых, команды «подтянись», и вскоре стихло все...

— Ауфштеен! — скомандовал один из немцев, а второй подтолкнул:

— Шнелль, шнелль!

Что делать, когда на тебя три «шмайссера» уставлены и три детины над тобой, лежащим, высятся. Пришлось покориться. Не понимал еще Борька, что это «придется» теперь будет неотделимо от него, что своей воли у него уже не будет, что придется ему делать только то, что прикажут немцы...

— Форвертс! — приказал немец и пхнул кулаком.

В последний раз взглянул Борька на дорогу — только серой тенью еле различался хвост колонны его батальона — и сделал шаг. Первый шаг плена...

И так обидно стало, что по-дурацки угодил в плен чуть ли не на глазах своих ребят, которые топают теперь дальше, не ведая, что сотворилось с ним, с Борькой. Убит ли, ранен ли, а может, дезертировал? Все могут по-

думать. И чего матери отпишут? До такой отчаянности обидно, что был бы случай в кармане пистолет — невесть что наделал бы. Пистолета не было, а находилась в карманах граната РГД в разборе — ручка в одном, корпус в другом, а капсюли в левом нагрудном кармане гимнастерки, как в тылу еще приказали. Зачем приказано носить капсюли в левом кармане, тогда не сказали, но догадалась братва скоро, как на фронт попала, — если сюда пуля или осколок попадет, то уж неважно будет, взорвутся капсюли или нет.

И чего он гранату в разборе нес, сам не знал. Удобнее, что ли, было. Не так карман тянула, не так по ногам била. А кабы в сборе, да с капсюлем, можно было незаметно в кармане на боевой взвод поставить, вырвать руку резко, — да немцам под ноги! А самому в сторону залечь. Возможно, немцы пристрелить его успеют, а вдруг? Это как судьба... А, чего думать, в разборе же она...

Немцы вели его по лесу уверенно, дорогу, стало быть, знали хорошо, и вскоре вышли они на поляну, а там еще немцы ожидают и... двое наших.

Стоят, головы вниз опущены, с ноги на ногу переминаются... Лица хоть и незнакомые, но из их батальона, потому как одеты так же — поверх шинели куртки белые с капюшонами и брюки тоже белые. Их лыжный истребительный батальон весь так одетый.

Подняли на Борьку глаза и опять вниз. Тут и Борька себя виноватым почувствовал — как же живым и нераненым в плен угодил. Позор. Вот и не глядели друг на друга — стыдно.

Повели их немцы дальше... Курить захотелось смертно, а махорки ни грамма. А немцы палят свои сигареты на ходу, переговариваются, смеются. Веселые, что в плен троих забрали.

Граната в кармане то беспокойство доставляла, то какое-то успокоение. Долго ли ручку привернуть и запал поставить. Это исхитриться можно: или на привале, или когда по нужде отойдешь. Но страшно, что обыскивать будут и найдут. Что за гранату эту получишь? Хорошо, если просто в морду дадут, а вдруг пристрелят за это? Порядков же немецких пока не знаешь. Так и шел Борька, не зная, что с этой гранатой ему делать, — и выкинуть жалко, и нести боязно.

А по дороге встречные немцы еще пленных к ним прибавляли. Человек восемь уже их было, но разговора

не заводилось, шли все словно собаки побитые, насупленные, друг на друга не глядя. Борька все же начал с одним — откуда, как попал? Но тот поглядел странно и процедил:

— Поменьше тут выпрашивай. Тебя здесь никто не знает, и ты никого. Так оно лучше. Понял?

Борька кивнул головой, но сказать, что понял, было нельзя. Вообще все происходящее с ним, несмотря на всю реальность, казалось сном, кошмаром каким-то. Никак не мог он представить, что действительно находится в немецком плену и бредет вместе с другими, такими же пленными, неизвестно куда, что теперь каждый немец может сделать с ним все что угодно, что висит его жизнь на таком волоске, который по любому, самому нелепому случаю может оборваться.

Из лесу они вскоре вышли на какую-то большую разъезженную дорогу, где выли немецкие дизели, ржали здоровенные немецкие битюги, везущие фургоны, чуть ли не с дом.

Борька ко всему приглядывался цепким разведческим взглядом и старался запомнить: и количество машин, и повороты дороги, и какие ориентиры на ней имеются. Все это больше по привычке, чем сознательно, но мысль была затаенная — вдруг сгодится все это, когда назад к своим пробиваться будет. Как это произойдет, когда, ничего этого он не знал, но с первых же минут плена засело в нем накрепко — убежать во что бы то ни стало. Мучило его очень, как бы не подумали в части, что дезертир он, и не отписали бы матери такое.

Тем временем подошли они к большому селу, немцами заселенному. Солдат много, машин тьма, около каждого дома по нескольку стоят, вплотную к стенам прижатые, чтоб с воздуха их не заметить.

А кто заметит? Хоть бы один наш самолетик пролетел. А лучше бы всего — налетели бы наши да хорошую бомбежку тут закатили. Тогда убежать в суматохе был бы шанс. Но нет наших самолетов, не летают, хотя небо ясное, голубое, без единого облачка.

Подвели их немцы к одному дому. Один зашел туда, а двое остались с ними охранять. Тут опять холодком облила мысль об обыске. Как бы не шлепнули за гранату эту. Но здесь ее не выкинешь. Ладно, скажу, что с испугу забыл про нее совсем, тем более не опасная она, в разборе, успокаивал себя Борька.

Стали вызывать их в избу по одному. Лица их, без



того бледные, совсем посерели. Глянул Борька случайно вниз, видит — валенки у двух ребят порезанные. Спросил, зачем? А потом догадался сам — чтоб немцы не сняли. Попросил нож у ребят, но ответили — надо бы раньше, нож они в лесу выбросили. Вот незадача! Теперь разуют, значит, сволочи!

Ребята из избы возвращались, но ни слова никто — о чем спрашивали, что отвечали, помалкивают. Для себя Борька давно решил — раз книжки красноармейской у него нет (старшине сдана), значит, врать можно с три короба, и номера своего батальона он ни за что не скажет.

Ну, вот и его вызвали... Изба просторная, двухэтажными нарами оборудована. И потом будет удивляться Борька, как немцы себе жилье фундаментально устраивают, словно на всю жизнь, со всеми удобствами. Посредине стол большой, за ним немец сидит в очках, а рядом юлит молодой парень чернявый, в венгерке такой, мехом отороченной. Глянул на Борьку не зло, но с ухмылкой нехорошей.

— Фамилия, звание, номер части? — спросил скороговоркой.

Фамилию Борька свою назвал, звание тоже, а про батальон сказал — 228-й лыжный, а на самом деле был он в двадцать первом.

— Что это за двести двадцать восьмой? — буркнул переводчик. — Врешь. Из двадцать первого, наверное?

— Нет, двести двадцать восьмой, — твердил Борька. — Мы недавно прибыли. Второй день.

— Где формировались?

— В Казани, — соврал Борька. Они-то в другом месте формировались.

— Сам откуда будешь?

Чуть было не ляпнул Борька, что москвич он, но что-то удержало его. Немцам теперь про Москву и слушать тошно, раз погнали их от нее, лучше не поминать. И сказал, что рязанский он.

Тут два немца вошли и сразу на Борькины ноги уставились. Понял он, стянут валенки точно. Полопотали они по-своему, один вышел и принес сапоги яловые, на вид вполне приличные, и кинул Борьке. Ну, что будешь делать? Снимать валенки приходится. Хорошо, что сапоги на сменку дали, и на том спасибо, могли вообще какую-нибудь рвань дать. Ну, и куртку его маскировочную и брюки тоже приказали снять.

Вот и весь допрос. И обыскивать не стали. Небось знали, что у рядового Ивана взять нечего, ничего в карманах интересного нету. Ладно, черт с ними, с валенками. Хорошо, что по карманам не шарили, что гранату не приметили. В сапогах бежать будет сподручней.

Повели их после в конец села, к сараю или риге какой-то. Около нее часовые из пожилых. Пока Борька все с кадровыми немцами встречался, а вот теперь и с резервистами встретился — кто из них хуже, кто лучше, время покажет.

Втолкнули их в сарай, а там человек сто, не менее, пленных, и среди них несколько раненых, кое-как перевязанных. Стонут, матерятся... В сарае плуги, бороны свалены. Пол земляной, крыша соломенная, худая. Холодно.

Хотя после плена дурацкого усталость ночного марша с Борьки как-то сдуло, но сейчас почувствовал — гудят ноги. Присел прямо на пол. Огляделся. Своя братва вокруг, в форме красноармейской, и лица русские, а подходить к ним вроде неудобно — не знаешь, как примут? Что ответят? Неприветные все какие-то, в себе замкнутые. Особенно те, кто постарше, с года так девятнадцатого, с двадцатого. А Борькиных одногодков, таких же сосунков, с двадцать третьего, не видать никого. Да еще небритые все.

Подошел все-таки к одному, спросил закурить. Тут и разговор должен развернуться, но тот молча дал клочок бумаги, всыпал чуток махры, затяжки на три, и отошел. Странно все это. Завернул Борька, прикурил у соседа, затянулся, и тут на него будто что обрушилось — страшен плен! Страшнее фронта! Страшнее боев!

И засверлила опять мысль — бежать непременно. Должен ему подвернуться какой-нибудь случай. Лишь бы не сробеть, лишь бы не упустить. И надо это делать как можно скорее, пока силенка есть, пока не дошел он в плену этом. И еще решил Борька — не говорить об этом пока никому. Приглядеться надо как следует. Показалось ему, что есть среди них несколько человек, которые особенно не тужат, хотя, если по самому себе судить, такое представить трудно. Но по каким-то малозаметным признакам, больше нутром, чем умом, доходил он — вот с этими ни о чем говорить не следует. И держались эти ребята вместе. Возможно, ничего тоже друг другу не говорили, но чем-то ощущали свою схожесть и сбивались группками. Может, были среди них и те, кто

сами в плен сдались, хотя и такое представить Борьке почти невозможно — неужто имеются такие?

Вспомнился переводчик тот видный, откормленный... Кто он? С немцами держался запросто, по-русски говорил чище нельзя, значит, русский, курва, а ведь пошел в услужение. Что он, голову спасал или добровольно? Кто его знает? Только понял Борька, что в том мире, куда он попал, сразу, с ходу во всем не разберешься и надо ухо держать востро, надо ко всему присматриваться с умом, а не с бухты-барухты.

Долго их здесь не продержали, а вывели, построили в колонну по четыре и — шагом марш. Если фронтовые немцы, которые в плен их брали, вели их не подгоняя, то эти резервисты только и орали «шнелль, шнелль!».

Охраняло их отделение — по четыре солдата с боков, трое сзади шли и двое впереди. Шла за ними и подвода, почти порожняя. Наверное, для раненых, если те из сил выбьются, подумал Борька.

Разумеется, сейчас, когда ведут их по большаку, где кроме охраны немцев полно — и машины едут, и повозки, а то и так идут фрицы небольшими подразделениями, — о побеге думать нечего. Но вот если свернут они на какую-нибудь лесную дорогу безлюдную, там, пожалуй, стоит крутануть мозгами всерьез.

Эх, кабы могли они в том сарае сговориться. Тогда бы всем скопом броситься в одну сторону, сбить охрану с ног, отнять оружие... Ну, человек нескольких немцы пострелять, может быть, и успели, но зато остальным... свобода. Нет, играли они в сарае в молчанку. Хотя, конечно, не у одного Борьки мысли о побеге бродили. Многие мечтали и мечтают сейчас, но вошло в их жизнь что-то непонятное и противоестественное — недоверие. Вошло как-то исподволь, незаметно, словно какой-то заразой разлилось в воздухе, которой каждый, кто больше, кто меньше, но надыхался и отравился ею.

Это в батальоне спросишь кого — откуда, кто? И польется разговор. Расскажет о себе больше, чем ты спросил: и где жил, и как жил, и кто родители, и кто жена или невеста... Всю подноготную выложит. А здесь? Тут обо всем молчок. А почему? Из-за двух-трех шкур, которые продать смогут. Потому и не сговоришься, потому и решать о побеге надо самостоятельно, ни на кого не надеясь.

Шел Борька почти в хвосте колонны — легче там, а силы ему надо беречь. Пока будет сила, возможен и

побег. Уйдет она — пиши пропало, не уйти тогда из плена.

В хвосте плелись и раненые. Поочередке ребята им помогали, брали под руки, волокли. Это Борьку порадовало. Значит, не все они потеряли с пленом, чувство товарищества осталось. Он и сам подхватил одного, в ногу раненного. Тут уж нельзя думать, чтобы силы беречь.

А резервисты эти чертовы из охраны орут безостановочно — «шнелль, шнелль»... Так и хочется чем-нибудь им глотку заткнуть. Озлобился Борька на них сильно, куда сильнее, чем на тех фрицев, которые его в плен брали. Те, что ни говори, ловко его ухапали, почти на глазах батальона, и все же рисковали. И еще почему были эти резервисты ему противны: в возрасте люди, должны понимать, что к чему, не в Польшу, не во Францию вошли прогуляться, а в матушку-Россию, а ведут себя хозяевами какими-то, кричат на них, будто скотину ведут, — «шнелль, шнелль». Вот гады!

Как только вошла голова колонны в какую-то деревню, так из домов повысыпал народ — женщины, детишки, старики и старухи, — и у всех узелки, а то и корзины с вареной картошкой... Охрана орала до хрипа, отгоняя людей, но те на это без внимания, кто прямо к пленным пробьется и сует в руки еду, кто кидает, а пленные ловят.

Начала охрана стрелять, да не вверх, а почти по людям, только чуть выше голов берут, но женщин и это не смутило. Так и провожали их через всю деревню, и смотришь — каждому что-то досталось, каждый боец что-то жует. Махорку в газетку или тряпочку завернутую тоже кидали бабоньки, и покурить стало чего.

И в других деревнях, которые проходили, то же самое. Подивился Борька женскому бесстрашию и женскому милосердию — от себя же отрывали, не от излишков, а от своих ребят, своих стариков, своих животов.

И порадовало это Борьку, нет у него теперь сомнения, что, когда будет в побеге, укроют его и покормят русские женщины.

А немцы все: «шнелль, шнелль»... Торопятся засветло на ночлег прийти, к пункту назначения. Это и понятно. Сумерки наступят, такую колонну одним отделением не уберечь — разбегутся.

И закрутилась мысль, что бы такое придумать — затянуть эту дорогу дотемна. Не один Борька такое замыслил, потому как колонна стихать шаг начала и потяну-

лась еле-еле. У фрицев и голосу не стало орать «шнелль», хрипят все. И раненые, конечно, темп сбивали. Один, в ноги раненый, совсем идти не может. Повиснул на плечах двоих и волочит ногами.

— Ребята, придется понести его,—предложил Борька.

Подхватили вчетвером и потащили, но недолго. Подошли два немца и приказали раненого оставить. Ну, подумал Борька, наверное, на подводу его устроят, но не успели они несколько шагов пройти, как хлопнул выстрел сзади.

Обернулся Борька — лежит раненый, лицо кровью залило, убили, сволочи!

— Шнелль, шнелль! — заорали немцы и стали прикладами подгонять приостановившуюся на миг колонну.

Чуть было не рванул Борька из кармана собранную уже гранату, но что-то удержало. Страх, наверное! Или мысль, что сгодится она еще ему, не время ее в дело пускать.

После этого немцы еще в воздух постреляли, и те, что впереди шли, шаг прибавили. Им-то не видно, по людям немцы стреляют или так. А фрицам это и нужно, чтоб шли поторопней.

Короткий декабрьский день уходил... И свернули они тут на проселок, правда разъезженный, но машин помелю. И лесок появился справа, не близко, метров около ста, но все же лесок.

Напряглось все у Борьки, почувствовал он в своем теле какую-то звериную ловкость и легкость, глаза прищурились и обрели зоркость необыкновенную — выглядывают все, замечают все до мельчайших подробностей. Подался он вправо, в крайний ряд и увидел, что впереди, у поворота дороги, лесок совсем приближается, и, кабы не снег глубокий, добраться до него можно. Да, смущает снег. И глубиной своей и белизной, хотя и посинел он сейчас немного.

Буду рвать у этого поворота, решил Борька. Конвойные, те четыре, что сбоку идут, растянуты между собой метров на двадцать. В ближайшего — гранату, подумал он. Упадет обязательно. Пока сноровится лежа выстрелить, Борька в лесу уж будет. Ну, остальные, конечно, палить будут... Зигзагами надо бежать... Если подранит немец — конец. Но шанс-то, может, единственный, больше не будет...

Подошли первые ряды к этому повороту... Сжалось все внутри, напряглось, сердце ходуном заходило, но в

голове ясно, мысли отчетливые рассчитывали до секунд, что и когда будет он делать.

И вдруг... Рванулась из середины колонны серая тень и запетляла на снегу... Словно общий стон прошелестел по толпе; и она остановилась... Защелкали выстрелы. Ловко, навскидку стреляли конвойные — вот тебе и резервисты, — и пленный, не добежав до леса, уткнулся в снег. Может, притворялся? Высокий конвойный не спеша прицелился с колена и выстрелил... По тому, как дернулось тело бежавшего, поняли все — попал, гад. Стрельнул еще раз, и опять увидели они, как дрогнуло тело...

И сразу заорали сволочи «шнелль, шнелль»... Тронулась оцепеневшая было на миг колонна.

Конвойный, который стрелял, и не подошел к убитому проверить. Чего по сугробам лазить. Если не убит насмерть пленный, все равно окоченеет скоро на таком морозе.

Оглядывался Борька несколько раз, смотрел на серый комок, и представлялось ему, что это он лежит там, не дотянувший нескольких метров до леса, до свободы, и забила его противная дрожь, а во рту пересохло.

Хоть и пожилые эти гады, но обучены, как видно, неплохо. Сноровисто стреляли, заразы. Ясно сразу, что не первый раз, что практика у них в этом деле предостаточная. Недооценил их Борька поначалу. И подумал, что теперь, когда вернется в часть, воевать будет по-другому — жесточе и беспощаднее.

Надо же, ведь порой у него даже жалость какая-то пробивалась к немцам, которых брал в разведке. Особенно если подранишь кого и стонет тот с искривленной от боли физиономией. Да, вроде действительно жалел их иногда — и табаком и едой делился... Дураком был. Теперь и вспоминать об этом неловко. Теперь заливала его злость на всех немцев и мучила, не находя выхода, и боялся он, что взорвется рано или поздно и, не пожалев себя, придавит хоть одного гада.

Вскоре кончился этот проселок, и вышли они опять на большак, еще пуще оживленный, чем прежний. Тут о побеге думать не приходится. Посмотрим, что впереди будет? А впереди, судя по загруженности тракта, видимо, город какой находится или крупный населенный пункт.

И верно, вступили они через некоторое время в Старицу. Прочли на немецкой табличке. Кто-то сказал, что

здесь лагерь настоящий, а перед ним шмон, то есть обыск, будет.

Долго Борька колебался насчет гранаты, но когда увидел, что ребята даже ножи перочинные выкидывают, патроны, в карманах завалавшиеся, решил, что надо от нее избавляться, и сунул ее незаметно в снег. И вроде легче на душе стало — и вроде хуже. С гранатой он себя все же бойцом ощущал, а сейчас кто? Самый что ни на есть пленный — безоружный и беспомощный вконец.

Но, однако, не покидало Борьку очень ясное и определенное чувство — временное это, не будет он долго в плену, не будет...

Надо сказать, что, когда они к Старице подошли, колонна их почти учетверилась, потому что во многих деревнях и пленных и охрану, разумеется, добавляли.

Довели до площади... Там церковь большая или собор полуразрушенный посередине. Над ним в небе вороны кружатся и галдят противными голосами, словно накаркивают им беду, а они без того знают, что беда на них навалилась страшная, хуже не придумаешь.

Города Борька не рассмотрел как следует. Какие-то домишки двухэтажные проплывали мимо. Да и мороз к вечеру покрепчал, пришлось воротник шинели поднять, лицо спрятать, чтоб не обморозить, а в таком виде по сторонам особенно не поглядываешься, да и усталость свое брала, ноги как чужие были, замерзли в сапогах сильно.

На площади построили их шеренгой. Вышло несколько офицеров немецких на середину, и один из них крикнул:

— Кто есть коммунист — три шага вперед!

Никто не вышел. Стояли все потупившись в землю и даже голов не подняли.

— Кто есть еврей — три шага вперед!

И опять никто не вышел. Или и вправду никого не было, или затаились.

— Кто есть командиры... — продолжал офицер.

Тут шеренга зашевелилась и стали выходить люди. Немного, но человек двадцать вышло. Рядом с Борькой стоял лейтенант. Шинель-то красноармейская, но следы кубарей на петлицах заметные. Он не вышел.

Правильно, наверное...

— Кто есть украинцы... — И сразу добавил: — Украинцы будут формироваться в добровольческие отряды. Будут иметь немецкий паек и немецкий одежда.

Нашлись такие. Вышел и стоящий около Борьки боец, у которого он никакого украинского говора не замечал, и с виду не похож. Этот, видно, польстился, курва, на немецкий паек. Вот и поговори с кем откровенно, а он возьми и окажись такой стервю. Знать, прав был тот красноармеец, сказавший ему: «Ты тут никого не знаешь, и тебя никто не знает. Помалкивай...»

Вышедших из строя командиров и украинцев повели в церковь, а их построили опять в колонну и погнали дальше. На ночлег, может?

Ночлег... Конечно, народ они не избалованный, из пехтуры почти все, на фронте тоже ночевали где придется: и под елкой в снегу, и в сараях каких-нибудь, и в землянках, и на сеновалах, но там это казалось естественным: война же... А когда здесь запихнули их в холодную ригу из плетня с худой соломенной крышей, через которую небо светило, и закрыли на замок — поднялась у Борьки опять злость на немцев, да и на себя тоже, что угодил в плен по-глупому.

Было у него махры чуток (поймал он сверточек, что бабы бросили), несколько картофелин, правда остывших, а может, и замерзших, был и сухарь... Если б кипяточку... Но где его достать — никакого огня в риге не было, ни костерика, ни печурки.

Сбились кучками, жались друг к другу. Холодно. Темно. Только красными точками самокрутки помигивают. Присел Борька на пол, стал сапоги стаскивать, чтоб портянки перемотать, и послышалось рядом:

— Тут об одном надо думать — как выжить... До конца войны мы здесь.

— Думаешь, не освободят наши? — спросил тихо другой голос.

— Жди — освободят. Видал по дорогам, какая сила у немцев. Это они зимой маленько растерялись, а к весне попрут — останови попробуй.

— Не выживешь здесь. Не кормят же немцы. А сколько на бабьи подаяния протянуть можно?

— Бежать надо, — брякнул Борька, вмешавшись, и затихли рядом, только сигарками посапывают.

— Убежишь тут... — не сразу прошептал кто-то. — Один убежал, у леса-то... Небось видал.

И тут схватила Борьку за плечо тяжелая, сильная рука, повернула к себе, притянула.

— Это ты про побег распространяешься? — прохрипел голос.



— Ну, я,— ответил Борька.

— Провоцируешь, сука?

— Да ты что? В своем уме?

— Я-то в своем, а вот ты в чьем? Может, немецкого прихватил?

— Отцепись,— Борька рванул плечо, но рука держала крепко.

— Еще раз, сука, начнешь провокацию — прибью,— прошипел тот и отпустил пальцы.

Не испугался Борька угрозы. Он из таких, которых за горло не возьмешь, но неприятно стало и обидно, что понят он не так, что среди вот такой громады людей одинок он.

— Чокнулись вы все. Чего боимся мы друг друга? Свои же,— пробормотал он, надеясь, что поддержит его кто. Но кругом молчали.

Прошла ночь, а не поймешь, спал ли или не спал, так, на минуты забывался вроде. Голова тяжелая, тело ломит и трясет от озноба, а у ворот звенит уже цепь, открывают замок немцы, и опять — шнелль, шнелль. Только сегодня, перед тем как повести их, объявил начальник конвоя на ломаном русском языке, что за один побег десять человек «верден шиссен», за второй — двадцать, за третий — тридцать «ун зо вайтер». И так далее, значит.

Вот что, заразы, придумали! Настроение у Борьки совсем упало. Надвинулась такая тоска, и впервые за все месяцы армии и недели фронта кольнула мысль, а не зря ли он отказался от эвакуации с авиационным заводом, где работал и где бронь имел. Может быть, не так уж было зазорно, как казалось тогда, ковать победу в тылу. Надо же самолеты кому-то строить, тем более нет их в воздухе и нет... Кабы были, не разезжали бы так свободно днем по большаку немецкие машины, не передвигались бы безбоязно войска, да и их, пленных, разве смогли бы вести в открытую белым днем.

И вглядывался Борька с тоской в небо — хоть бы одна «пешка» пролетела, хоть бы сбросила несколько бомб на них... Если б и убило, черт с ней, со смертью, а не убило б,— может, убежать удалось.

А теперь о побеге и не думай. Разве можно себе свободу добывать... когда шлепнут за это десять твоих однопобедцев? На такое он не способен.

Тут тронул его за локоть сосед по строю:

— Ты насчет бежать вчерась говорил?

— Я.

— Надеюсь, сейчас эту мысль из головы выбросил?

— Да.

— Не вздумай. Мне из-за тебя смерть принимать никакой охоты. Да и другим тоже. Видишь, как фрицы за-вернули.

— Вижу.

— Теперь тебя каждый за полы шинели схватит, если чего...

— На это и рассчитали, подлюги,— сказал Борька и сплунул.

Тошно стало, хуже и не придумаешь... А по колонне шепоток: во Ржев ведут. Лагерь там громадный, кор-межка одна баланда два раза в день, и на работы водят...

Откуда такие сведения, никто сказать не мог. Возможно, кто-нибудь из шедших был уже там, во ржевском лагере, бежал оттуда, потом снова попался. Он и травит.

Понял уже Борька, что верить приходится любому слуху и чем хуже он, тем вернее. Понял и то, что немцы слов на ветер не бросают, потому как в кюветах и на обочинах валялись застреленные русские бойцы, да не один-два... В одном месте увидели они труп вдалеке от дороги, а через несколько шагов — ровенький ряд в десять человек. Как поставили их строем перед расстрелом, так и лежат. Только одни на живот упавшие, головой к дороге, а некоторые на спине, навзничь опрокинутые, головами от нее.

Значит, не для напуга, не для острастки болтал начальник конвоя. Уверенность, сидевшая в Борьке сначала, что убежит он непременно, стала понемногу уходить, и накатывалась безнадежность, от которой старался отбиться: дашь ей волю — и сломлен будешь вконец.

Потому и твердил себе всю дорогу — ничего еще не потеряно, из лагеря не уйду, подвернется какой-то случай на работах, подкатит что-нибудь, не может быть иначе...

Но как ни подбадривал себя Борька этим, все же душевная тяготица давила сердце и не отпускала мысль, что напишут матери из части, будто дезертир он. Конечно, мать не должна поверить этому, потому что на ее глазах, при ее слезах пошел Борька в военкомат бронь сдавать, но все равно тяжело ей будет.

А в колонне все текли разговоры о ржевском лагере. Кто немецкие листовки вспомнил, где пленная жизнь расписывалась, кто рассказы своих отцов о немецком плене, в ту империалистическую войну, повторял — вроде не так уж плохо было, кто Красный Международный Крест поминал, который должен права пленных защищать и помогать им, кто говорил, что прожить везде можно, только хвост не задирать да глотку не распускать, а надо, дескать, по-тихому; некоторые впрямую, не стесняясь, болтали, что терпеть им не так уж долго, что в начале лета возьмут немцы Москву и войне конец...

Таким хотелось Борьке врезать хорошего хука справа, но сдерживал себя до поры. Открывать себя не следует. Другие же, кто себе конец войны только разгромом немцев мыслил (а таких-то большинство), помалкивают. Чего ж Борьке дурее других быть. Разный народ идет в колонне: и урки бывшие попадают, их по словечкам знакомым узнаешь, и кулацкие сынки, да мало ли их, советской властью недовольных... Немного их, но из-за них, подлюг, все недоверие и проистекает. Потому и трудно Борьке с кем-то договориться, по душам побалачкать, а без этого ох как тяжело.

Привалы на пути немцы разрешали, но короткие. Сгоняли их в кюветы, чтоб не мешали дорожному движению, и ни шага в сторону. Тут и оправлялись, тут и портянки перематывали, тут и еду принимали, у кого было что, тут и перекуривали.

В каждой деревне жители колонну встречали, и почти всем пленным чего-то из съестного перепало — этим и живы были. И как ни орали конвойные, как ни стреляли, отгоняя народ, все равно пробивались женщины. Многие своих искали, часто над колонной имена русские и фамилии неслись — не здесь ли такой-то, отзовись, родимый...

— Ребята,— сказал один пленный, из пожилых,— война окончится, живы останетесь, каждой этой бабе деревенской в ножки надо поклониться, отбить от сердца земной поклон. Что бы без них делали?

Что верно, то верно, подумал Борька, пропали бы...

От Старицы шла дорога прямая, широкая, укатанная. Машин уйма — и к фронту шпарят, и в тыл. По сторонам стоят щиты от заносов, проезжая часть песочком посыпана, в общем — немецкий орднунг, гляди — любуйся. У каждого населенного пункта название на табличке — по-немецки, конечно. Борька читал и старался запом-

нить, потом бросил — все равно по этой дороге от немцев не побежишь.

Смеркаться начало... Машины немецкие фары зажгли. Не боятся, гады. Стали пленные ночлега ожидать. Как какая деревня увидится, надеются — здесь быть отдыху. Но гонят немцы дальше — «шнелль, шнелль».

Эту «шнелль» проклятую на всю жизнь Борька запомнит, по ночам снится будет. И орут противно, «е» растягивают — «шне-е-ель». Так врезать чем-нибудь охота, только чем? И тоска по оружию вдруг обуяла Борьку. А ведь как надоедала их родимая, образца... дробь тридцатого, а сейчас, как о любимой какой, мечтаешь... Прижать бы, прицелиться, подвести мушку вот под этого гада, к примеру... Да, показали себя немцы! До сих пор в ушах выстрел тот одинокий, каким раненого добили. И шла же сзади повозка пустая... Да, выстрела этого ввек не забыть.

Стемнело, а их все дальше гонят. Неужто и ночь будут топтать, до самого Ржева? До него от Старицы верст сорок, говорили, а они больше двадцати за этот день вряд ли прошли, значит, еще столько же шагать, а силы на исходе. Некоторые на ходу уже кемарить начали, спотыкаются в полусне. Только немецкие машины ревом своим и светом фар не дают совсем в сон уйти.

И не боятся немцы пленных ночью вести. А потому, что поля кругом, вдоль дороги щиты заградительные стоят плотно, и светло, как днем, от автомобильных фар, ну и знают, что плетутся они уже иссялись — не до побегов.

Не похож был этот марш на прежние Борькины марши, ходимые им и на формировании, и на фронте... Там ночной марш — это темень непроглядная, спичку не зажги, сигарку не закури, рассыпайся по сторонам, по кюветам, как только самолетный гул услышишь...

А здесь будто по улице большого города топаешь, мелькают фары со всех сторон, летят на тебя слепящие огни, высвечивают колонну и спереди и сзади, обдает тебя бензиновой вонью, забрасывает песком из-под колес, оглушает ревом моторов.

И тяжелее марша не было... Во-первых, такими оголодалыми никогда не шли, во-вторых, знали, что ночь пройдет, к утру дневка ожидает, на которой и шалашик соорудишь, и костерик махонький разожжешь, и пищу горячую получишь... А тут и не знаешь, когда конец этой дороги мытарной будет, и, главное, не знаешь, что в кон-

це ее тебя ожидает. Хотя народ и надеется, что раз во Ржеве лагерь настоящий, постоянный, значит, должны они в тепло прийти и должны же, черт побери, горячего получить. В дороге-то не кормили, сэкономили. На это надеются... Человек всегда надеется, даже в таком вот положении безысходном.

Мороз к ночи усилился, колонна словно облаком окутана, и прихватило у Борьки ноги здорово, а это страшно: поморозишь их — как бежать? И привала не дают немцы, все — «шнелль, шнелль». С руками хорошо, рукавицы меховые он тогда при допросе за пазуху спрятал и потому сохранил, а с ногами дело худое. Вначале щипало только, потом больно стало, а сейчас как деревянные, не чуешь их.

А мимо проплывали занятые немцами деревни, светились в избах окошки. Иной раз звуки губной гармонки раздавались, иногда разговор громкий, смех, а порой и музыка какая-то, очевидно, пластинки патефонные крутили. Живут же, сволочи!

А для Борьки и всех остальных идущих в колонне, казалось, не было большего счастья в жизни, как хоть на полчаса забраться в живой дом, в тепло, растянуться на полу, вытянуть ноги и искурить самокрутку... Но об этом и не мечтай... Разве всех втиснешь в какую-нибудь деревушку? Другое помещение нужно. Вероятно, до самого Ржева идти им без останову.

Как дошли, как доползли, и сказать трудно. Последние километры как в тумане шли, перед глазами круги кровавые, дыхание сбитое начисто, ноги будто не свои.

Еще далеко заметили они прожектора и поняли — это и есть лагерь. Но они, проклятые, словно отодвигались, а порой скрывались совсем, будто пропадали. Вроде миража в пустыне. То прожектора эти совсем близко кажутся, то уходят куда-то...

Но приходит конец любой дороге, пришел и этой... Остановили немцы колонну. И почти все пленные в снег завалились — не держат ноги... Месить ногами снежное сусло было тяжело, но стоять в ожидании еще хуже. Каждая минута вечностью тянется, а тело, разгоряченное ходьбой, остывать стало, забило всех в ознобе... Борька, чтоб время занять, начал лагерь рассматривать.

Проволочный забор высокий, вышки метров через пятьдесят установлены, с них прожектора шпарят. Внутри темнели ряды длинных бараков. У ворот кроме немцев еще какие-то люди в полушубках стояли, шел раз-

говор какой-то и по-немецки и по-русски. Голоса спрoнья злые, хриплые.

Наконец немцы ворота открыли и начали впускать пленных. Медленно, потому что считали людей и шмон делали. Когда дошел Борькин черед, сапоги его оглядели и приказали снять и тут же из кучи бросили рвань кирзовую, а кому и ботинки давали. Рукавицы Борька под гимнастерку засунул, одну к груди, другую к спине. Ощупали, но не заметили, а подшлемник велели снять. По карманам не шарили. Пропустили Борьку и присоединили к группе человек в двадцать, и опять — стой, жди.

Потом подошел к ним лоб здоровый в полушубке — рожа красная, самогоном разит,— пересчитал и повел к одному из барачков:

— Заходи по одному!

Зашли... Пахнуло смрадом, кислой вонью и дымом. В одном конце барака и в другом горели костры. Около них лежали, сидели, стояли. Конечно, Борька и другие вошедшие сразу к кострам пробиваться начали.

— Ребята, пропустите. С дороги мы. Обмерзли все...

Казалось бы, расступится братва, пропустит тех, кто с мороза, но не тут-то было. Стоят молча стеной. И в ответ ничего, и хоть бы на сантиметр двинулись.

Размышлять да раздумывать, почему здесь такие порядки, Борьке некогда, ему к костру надо скорей, сапоги снять, портянки просушить, ноги оттереть. И начал он пробиваться... Первые поддались легко, видно, слабые были, но чем дальше, тем труднее продвигаться было, но и Борькина злость нарастала — ноги для него сейчас главное, их спасти надо.

— А ну, подвинься,— и он начал раздавать довольно ощутимые тумаки и направо и налево.

Такое нахальство помогло. Оглядывали его удивленно, но пропускали. Пробрался он почти к самому костру, у которого плотно лежали кольцом несколько детей. Другим словом не назовешь, здоровые бугаи. Борька нагнулся над одним, тронул рукой.

— Браток, подвинься маленько, мне портянки надо высушить.

Тот приоткрыл узкие глазки, поглядел недоуменно, повернулся вроде лениво, а потом как двинул кулаком, да прямо в переносицу. Борька опрокинулся на спину, затылком кому-то в ноги.

— Куда лезешь, падло,— процедил ударивший и

опять прилег небрежно, словно и мысли не допускал, что Борька может броситься на него, лежащего, и ответить на удар.

Не сразу очнулся Борька — и от неожиданности и от удара. Но, придя в себя, вскочил, дрожа от бешенства, и кинулся на того, но тут чья-то рука схватила его за шиворот и оттянула назад, а справа по скуле грохнул удар. Борька отмахнулся левой, куда-то попал, но тут его потянули — один, другой, третий, — и, не успев оглянуться, он оказался уже далеко от костра.

— Что же здесь такое? — пробормотал он, ни к кому не обращаясь.

— Что такое? — усмехнулся чей-то голос. — Закон — тайга. Вот что такое. Понял?

— Блатари, что ли, там? — догадался Борька.

— Они самые. Они тут порядки и установили. Им лагерь дом родной, что советский, что немецкий. К костру и не мечтай пробраться.

Блатари... Теперь понятно. Но блатари были Борькины самые раздрузья. Жил он на Мещанской, а там в Лаврах да Троицких переулках шпаны было хоть отбавляй. И со всеми был Борька в дружбе. Своим они его, правда, не признавали, но и чужаком не считали. Один из них, по кличке Серый, даже полюбил Борьку — ухватистый ты парень, Борис, из тебя законный вор может получиться, говорил он ему часто. Не раз предлагал и на «дело» пойти. На какое не говорил, но предлагал. Борьке и хотелось пойти, показать себя, но что-то удерживало. Тогда был у московской шпаны в ореоле Костя-капитан из фильма «Заклученные». Подражали ему. И капитанки носили, и брюки навывпуск, и сапожки «шимми». Сапожки не всем удавалось раздобыть, но капитанки почти все носили. Ну и фикса на зубах.

«Сонечка, как вы попали на этот курорт...», «Жизнь — это трогательная комбинация...» — эти реплики Кости-капитана с упоением повторяли на московских дворах, ну и песенку «Перебиты, поломаны крылья...» тоже пели под гитарный стон.

Кое-что из блатных словечек Борька помнил и некоторые приговорки уркаганские знал. Знаком был он с Юркой Золотым Дном, потомственным карманником, хваставшимся, что его папаша — «международник», то есть вор международный, к сожалению не смогший вернуться с парижских гастролей ввиду запертой на замок западной границы.

Можно, конечно, козырнуть именами Серого и Юрки, наверное в блатном мире известных, и пробиться к блатарям — жить будет легче. Но не собирался Борька тут жить, да и сбид прощать не умел, и сейчас, когда еще ныли скула и переносица, ничего, кроме ненависти, урки в нем не возбуждали, и слаще ему думать о том, что встретится он где-нибудь с этим узкоглазым и расквитается...

А пока пришлось ему снимать сапоги вдали от костра. Когда снимал и придавил пальцами головки, стали рассыпаться они, обгорелые вконец. Хотел было пальцы ног оттереть портянками, но ожгла такая боль, что отогрел только руками, а портянки за пазуху положил, чтоб тоже от тела нагрелись и обсохли.

Весь народ, кроме прибывших, спал, а те тихо переговаривались, удивляясь, что лагерь-то вроде постоянный, а нар нету, печек нету, и что же с кормежкой будет? В общем, те, кто на спокойную жизнь в тепле надеялись, просчитались жестоко, ну а Борька, который никаких иллюзий на этот счет не строил и вообще задерживаться в лагере не собирался, только соображал — отсюда не убежишь, надо на работы проситься.

Все же два костра горящих какое-то тепло давали, ну и народу тьма — надыхивают. Так что, если с боку на бок перевертываешься и об кого-нибудь этот бок греешь, терпеть можно. Но сна настоящего, конечно, не было, так, дремлешь только.

Среди ночи пришлось Борьке по нужде в зону выйти, и тут увидел он то, что не заметил по прибытии. Сначала скрип он какой-то услышал, повернул голову и обомлел — раскачивались на виселице четыре куля, на людей уже не похожие, черные все, а за ними белой, словно светящейся, паутиной — колючая проволока. Так в память навек и впечаталось — черные, раскачивающиеся трупы и за ними проволока белая...

Страшно Борьке стало. Очень страшно. Будто окаменел он. И глаз отвести не в силах... Потом передернулся всем телом, стряхивая с себя страх, понимая: дашь ему войти в душу — сомнет он и обессилит... Но чем перебить его, чем превозмочь? На фронте страх боевым запалом, азартом каким-то переламывался, ну и на людях показать себя трусом неподобно было... А здесь?

Стиснул Борька зубы, сжал кулаки до хруста в пальцах — бить их надо, бить... Всю душу одним этим заполнить, тогда уйдет страх...



Наступившее утро заметно тут не было — без окон барак. Сказали Борьке, что это бывшие зернохранилища. В длину метров пятьдесят будет, и метров десять — двенадцать вширь. И народу здесь полно. А барачников этих двенадцать.

Узнал он и про еще два места хороших — «бельэтаж», это при входах такие тамбуры были, внутрь метра на два вдающиеся, так вот на их крыше и располагались. Тоже блатные. И никого, конечно, туда не пускали. У дверей же, только на полу, валялись доходяги, дистрофики. Им в глубь барака не пробиться. Многие и встать не могут. Даже баланду им другие носят, а когда и... не доносят, есть сволочи.

Под утро вновь прибывшие зашевелились. Узнали, что надо банку какую-нибудь для баланды раздобыть, и зашарили по барачнику. Лишние банки могли только от померших остаться, но так как было их немало, то Борька без особого труда разыскал где-то в углу грязную банку и с нею уже не расставался, при себе держал, как и другие.

Стали завтрака ожидать. Хотя и знали от других, что хлеба-эрзаца со спичечный коробок дают да литр баланды-жидни — и вся еда, но все же ожидали с нетерпением: горячего хотелось очень.

Еду раздавали во дворе, в зоне. Подвезли на санях бочку огромную, в крышке дырка для половника на длинной ручке, ну и несколько лбов порядок наводили, строили пленных по одному. Лбы — русские либо украинцы, здоровые все на вид или кажутся такими, потому как много на них всего напялено, в руках плетки, концы у плеток расширенные, небось вложено что-то тяжелое. Ими порядок и наводили, да норовили не по спине хлестнуть, а по лицу или рукам голым.

— Вот этот, — сказал Борьке сосед, — вчера глаз у одного выхлестнул.

Откуда же такие взялись, думал Борька. Но лицо того постарался запомнить. Может, придет время — сведем счеты. Знал Борька, что если его хлестнут, не сдержится он, даст сдачи, и тогда — конец. Потому не полез вперед, как некоторые, спешившие поскорей получить баланду, пока не остыла она, пока горяченькая. Им-то и доставалось. И удивило Борьку — как-то безропотно, безжалобно принимали они удары. Привыкли, что ли? Или научил их лагерь уму-разуму? Или сломались совсем? Борьке этого не понять, он бы не стерпел.

Получил он свою пайку, налили ему литр баланды, сунули в руку грязной рукавицей эрзац-хлеб, и пошел в барак. Из чего баланда и не поймешь, то ли из отрубей, то ли из муки. Потом сказали ему, что из костной муки. Плавали в этой жиже две-три рыбешки. Кошкам такие дают. Ну, а хлеб этот, эрзац, не укусить, твердый как камень. Но зубы пока у Борьки целые, грызть могут. Жевал он медленно и баланду пить не торопился. А пили ее прямо из банки, потому как ложек и в помине не было, да и нечего ею черпать — вода одна.

Тут попросил его один, лежащий прямо у входа, принести ему еды. Борька взял его банку и пошел к раздатчику.

— Меня больной попросил взять,— сказал он, протягивая банку.

— Как обращаешься? Не знаешь, что ли? — рявкнул тот.

— Не знаю,— подтвердил Борька спокойно, а ему зашептали вокруг: «Говори «пан».

Какой такой пан, не понял Борька. Дождется он от меня пана, сволочь! Нет никаких панов у нас! И пожал плечами.

Раздатчик все же плеснул ему в банку, и он отнес ее доходяге. Здесь и разговор завязался.

С осени он в лагере. А в плен еще летом попал в Белоруссии. Но тащили их немцы с собой к фронту — и дороги починить, и мосты, и окопы рыть. Жители подкармливали. И здесь осенью приходили к лагерю женщины, своих разыскивали, ну и еду приносили. Кидали через проволоку. Свалка всегда там была. Ну, а кто к самой проволоке приближался, тех стреляли немцы. А к зиме все меньше и меньше жителей приходило, самим, видно, жрать нечего. Вот и стали доходить ребята и помирать пачками. Он тоже вроде скоро отмучается.

Поглядел Борька — и верно, скоро... Светится лицо, прозрачное.

— А были случаи, бежал кто? — тихо спросил Борька.

— Отсюда не было. А с работ бежали. Ну, а кого ловили — висят. Видал небось?

— Видал,— кивнул Борька.

Да, оставаться тут — смерть. И недели не пройдет, как ослабнешь от такой еды. До саней с баландой не доберешься. О каком побеге тогда мечтать?

После завтрака начали на работы наряжать. Но не

всех, а кто поздоровше выглядел. В общем, много-то не требовалось. Человек сто отобрали и увели.

И потек день... Узнал Борька, что зовут этих лбов полициями и обращаться к ним надо «пан полицай». А они, в свою очередь, так немцев называют — не «господин офицер», а «пан офицер». Откуда пошло — неведомо. Пан-то слово польское, ну и в Западной Украине употребляемое. Оттуда, что ли? Но у Борьки язык на это слово не поворачивался, и старался он с этой сволочью не разговаривать.

Узнал он еще, что немцы сюда, в лагерь, почти не заходят, а вершат всеми делами эти полицайи. Они тут — цари и боги. Что болтать много не следует, потому как за половник баланды какой-нибудь доходной продать может запросто. Паны это поощряют. Если кто коммуниста или комиссара случайно распознает — лишняя пайка, ну и еще какие привилегии можно получить. Ну, евреям скрыться трудно, внешность выдает, но был тут один — на лицо совсем русский. Так узнал его какой-то однополчанин, сволота, и продал. Теперь у панов в придурках ходит, доверие ему и прочее.

В ясный доселе и прямой Борькин мир, в котором все было определено и правильно расставлено, вошло что-то непонятное, противное, словно обволокло какой-то липкой слизью, и еще тошнее стал ему лагерь, а всего он тут один день. И охватило его почти бессознательное опасение, что если пробудет он здесь долго, то и с ним могут произойти какие-то необратимые изменения. С его душой, с его отношением к людям, даже с отношением к себе самому, да и произошли уже.

Всегда он с гордостью говорил, что он москвич, и любил повторять это часто: «мы — москвичи», потому и прозвали его в батальоне Борькой-москвичом, только его, хотя были у них и другие из Москвы, а сейчас стал об этом помалкивать. Ответил одному на вопрос — откуда он, правду, а тот и предупредил:

— Не распространяйся об этом. Для них москвич вроде коммуниста, для полицаяев этих...

И стал после этого отвечать Борька, что рязанский он. Было это отчасти правдой, родился он на Проне и жил там с матерью до семи лет, пока не вызвал их отец в Москву. Но мало ли где родился, жил-то он в Москве, в московской школе учился, на московском заводе работал, на московских улицах гулял...

Целый день бродил он по бараку, надеясь кого-ни-

будь знакомых найти или с батальона, или с улицы своей, с которыми поговорить откровенно можно было, но тщетно. Никого не нашел.

Выходил он и в зону (выход из барака свободный был). Глядел на густую сеть колючей проволоки, на вышки сторожевые, но старался не дать отчаянию заползти в душу.

Убегу, все равно убегу, мысленно повторял без конца, и всплыла в памяти чумазая физиономия Мустафы из фильма «Путевка в жизнь», как твердил тот на все уговоры — «Убягу». И впервые улыбнулся Борька чуть, вспомнил «Уран» на Сретенке и «Форум» на Садово-Сухаревской — законные их киношки.

При зоне находилась и землянка полицаев. Шел из трубы дымок, тянуло оттуда запахом жареной свинины и раздавались женские голоса. С бабами, значит, живут. Вот сволочи! И подумалось с тоской о выкинутой гранате — подкинуть бы в это гнездышко...

Пробился Борька днем и к костру, не столько для согреву, сколько для того, чтобы поразглядеть лучше того блатного, что врезал ему ночью, и запомнить. Чуял Борька — сойдутся рано или поздно их пути-дорожки, а долг платежом красен. Тот сосал большую самокрутку и на Борькин пристальный взгляд ответил безразличным: не помнил он, конечно, кого ночью ударил.

Ну и рожа, подумал Борька и представил ясно, как сминается она от его кулака, как кривится от боли и страха, только бы встретиться один на один, а удар свой Борька знает. Не зря хвалил тренер его хук правой. Этот тренер, кстати, и отвратил Борьку от дворовой компании.

Душок блатной романтики в тридцатые годы витал в иных московских дворах и подворотнях, коснулся он слегка и Борьки. Казалось ему, что живут ворами красивой, интересной жизнью, полной приключений и щекочущей опасности. И согласился он один раз на уговоры шпаны — пошел на «дело». Пошел не ради добычи, а чтоб не показать себя трусом и маменькиным сынком. А дело-то было — пустяк, неквалифицированное. Брали «на хапок» «рэдики». Выбирали проходной двор подходящий со всякими закоулками и поджидали какую-нибудь тетку, попримечнее одетую, и рвали ридикюль прямо из рук. И через проходной — ходу на другую улицу. Трофеи были жалкие — десятка, две, а то и вообще несколько рублей с медяками, да всякие там пудры, помады губные и прочая ерунда. И вызывало это у Борьки

какое-то гадливое ощущение. Как-то неприятно было видеть жалкую растерянность в глазах жертвы, слышать ее не то возмущенный, не то недоуменный вскрик, а то и визг, а главное, противно было драпать через этот проходной двор, обмирая от страха, что кто-то большой и сильный схватит тебя за шиворот, тряхнет как следует и спросит брезгливо — не стыдно?

Кроме того, знал Борька, как живут люди — от получки до получки, рассчитывая каждую копейку, перезанимая друг у друга по мелочи. У кого брали-то? Кабы нэпманы и нэпманши ходили по улицам толстые, разодетые — дело другое.

Больше Борька на такие «дела» не ходил. Не сбылись предсказания Серого, не вышло из него «законного» вора, зато в разведке отличился он сразу. Тут его хватка и авантюрная жилка сгодились на настоящее. И всегда ходил он на задания как-то весело, не думая о возможной смерти, а предвкушая больше предстоящую схватку, в которой будет он первым героем. Ребята любили с ним ходить.

— С тобой словно на прогулку идешь,— говорили не раз, а кто постарше, только головой покачивали.

Ну, а после задания, когда приволочешь «языка», приятно очень, что тянут к тебе руки и майоры и полковники — спасибо, братец, угодил, позарез «язык» был нужен... В общем, почет и уважение, а кому? Мальчишке! Но главным для Борьки была свобода действий. Задание получишь, а там уж сам соображай, где брат, как брат? Тут и мозгой пошевелишь, прежде чем идти. Ну, а о том, что всегда сыт и нос в табаке, говорить нечего. И фляга всегда полная.

И так захотелось Борьке в родной батальон, к своим ребятам из разведки, с такой тоской оглядел он темный склеп барака, с такой болью почувствовал свою несвободу, что опять забила неотвязная мысль — убежать отсюда непременно и как можно скорей. Но как — этого пока Борька не знал.

За ногами своими он ухаживал как мог. И массаж делал, несмотря на боль, и ходил на пятках, чтоб не бредить распухшие пальцы.

Так и прошло три дня — голодных, холодных, с не спанными по-человечески ночами, с унижительными очередями за баландой, с тяжелыми мыслями... Как ни приглядывался Борька к ребятам, как ни старался найти кого-то, к кому душа на доверие легла, но за три дня не

разберешься в человеке. Да и к нему, когда заговаривал с кем-то, тоже доверия не испытывали, и потому настоящих разговоров не получалось.

На четвертый день, измаянный бездействием, совсем неожиданно для себя набился он на работу. Уж больно хотелось разузнать, как там, на работах, есть ли какие возможности для побега, хога бежать ему с такими ногами сейчас и нельзя — сразу прихватит по второму разу, и обезножееет он совсем. Но разведать надо.

Посадили их, человек двадцать, в крытую тентом машину, у заднего борта двое немцев сели, и повезли куда-то.

Кузов сиденьями оборудован, тент плотный, без единой дырочки, ветром не продувает, но и посмотреть, где едешь, не выходит. Шофер газовал дай бог, скорости на поворотах не снижал и бросало их от одного борта к другому. И уже то, что едешь куда-то, а не болтаешься в изнемоге по бараку, радовало Борьку. Судя по тому, что ехали они минут сорок, километров двадцать от Ржева отъехали наверняк. И это хорошо — не в городе, значит, работа.

Остановилась машина, один немец сошел, поговорил с кем-то, потом влез опять. Заскрипели открываемые ворота, и въехали они в какую-то зону — через полуоткрытый полог заднего борта видна была колючая проволока, но вышек не заметно.

Вышли, кругом сосны большие, сквозь них дом какой-то двухэтажный красными кирпичами просвечивает, около него службы какие-то, машины стоят военные с красными крестами, немцы раненые прогуливаются, розовыми бинтами перевязанные, кто с головой повязанной, кто с рукой, а кто и с двумя сразу, — помороженные, наверно. Что это бинты у них такие, удивился Борька. В общем, госпиталь здесь немецкий, ну а до войны, наверное, дача лесная была или дом отдыха.

Но долго разглядывать все это немцы не дали, разбили их на пары и повели по рабочим местам — к штабелям бревен, около которых козлы для пилки стояли, аккуратно сбитые, пилы лежали и колуны. Колуны на наши не похожие, с очень длинными ручками, что удобно оказалось и при колке, и когда с земли берешь, нагибаться не надо, только руку опустил — и ручки коснулся. Да, надо сказать, все у фрицев добротное, все удобное, все в аккурате. Этим, гады, пока и берут. Этому у них поучиться можно — орднунг классный.

Ну что ж, работать так работать. Втащили с напарником бревно на козлы и давай пилить. И пила оказалась хорошо правленной, как по маслу шла, но напарник Борькин хилый, уставал сразу.

Руки у Борьки пият, а головой вертит он по сторонам, все примечает.

Немцы их оставили, другие пары повели по местам, и в дальнейшем так и ходили не спеша от одних к другим и, конечно, это противное «шнелль» кричали. Но пока они всех обойдут, какое-то время Борька с напарником одни оставались, тут у него и крутились мысли лихорадочные, что бы такое придумать.

Перепилив два бревна на короткие чурки, скорчил Борька рожу и за живот схватился.

— Отойду я, видишь...— сказал он напарнику.

Тот головой кивнул, а Борька к машинам, что стояли недалеко. Схватился за ручку дверцы — подалась, не заперта. Открыл — на сиденье пачка сигарет лежит. Слизнул ее Борька рукой — и в карман. К другой машине подошел, а там карабин висит... Екнуло сердце, но что с карабином сделаешь, был бы «шмайссер» — другое дело, не выдержало бы Борькино сердце, ухватил бы. Там тридцать два патрона, да и спрятать его под шинель можно, а на обратном пути... Помечтал Борька немного — и к следующей машине. Заглянул — плитка шоколада у руля! Сгодится!

Но здесь напарник насвистывать стал: наверное, немцы приближались. Не мешкая, в несколько прыжков достиг Борька своего места и пилу в руку.

Немцы подошли, постояли немного, поболтали между собой и, видя, что работа идет споро, отошли. Один даже «гут, гут» сказал.

— Перекурить бы,— вздохнул Борькин напарник, а Борьке и охота его угостить, да боится пачку вынимать при нем, вдруг догадается, что спер ее Борька, и... черт его знает, кто он и что?

— Вроде есть чего-то,— сказал Борька и стал прямо в кармане пачку распечатывать. Вынул одну сигаретину и дал. А сам опять в кармане зашуровал, будто ищет еще. Закурили. У напарника «катушка» оказалась.

Пилить поневоле приходилось неленно — иначе замерзнешь. Морозьяка-то градусов двадцать. Немцы эти, резервисты, что в охране, тоже на месте не стояли, а пританцовывали все время. Не видел у них Борька нормальной походки, так и ходили, притопывая и дрыгаясь —

смешно и понятно, конечно. Одежонка-то не по русской зиме. Подшлемники их чулком, не чета нашим, вряд ли из шерсти, шинелишки тоже хлипкие. Правда, почти все в валенках, в наших, разумеется.

Силенка из Борьки еще не ушла. Пилил он без труда. А напарник уставал быстро и, как немцы от них отходили, просил передышу. Он в лагере третий месяц, совсем не дошел, но близко к этому. Когда он отдыхал, Борька колуном начинал орудовать. От него согрел еще лучше, чем от пилки.

Тем временем к одной из машин подошел немецкий шофер, залез в кабину и начал мотор прогревать... обожгло Борьку отчаянной мыслью — а если сейчас в кузов забраться? Но сколько времени этот шофер будет мотор прогревать? И поедет ли? Может, просто так прогревает, чтоб не остывал двигатель? А вдруг немцы скоро подойдут?

Заколотило Борьку... Мелькнули перед глазами раскачивающиеся на веревках повешенные в зоне... Пробежался холодок по телу... Но другого случая может и не представиться. Машина-то с красным крестом, значит, к фронту должна поехать, за ранеными...

Но здесь — как порой в разведке, когда некогда все обстоятельства обдумывать, а приходилось действовать по наитию какому-то, накатило на Борьку — выйде т!

И скривил он опять физиономию, опять за живот схватился, махнул напарнику рукой — видишь, приспичило опять, — расстегивая на ходу шинель, стал отходить к машине.

Подошел к заднему борту совсем близко и присел за сосной, делая вид, что оправляется. Брюки-то, конечно, не снял. Это на всякий случай, если увидит кто.

Шофер перестал газовать, двигатель работал уже ровно, без перебоев. Сейчас либо поедет машина, либо выйдет он из кабины.

Напрягся Борька весь, уже ни одной мысли в голове, никаких рассуждений... Заскрежетала включаемая передача, и Борька, словно пружиной какой выкинутый, метнулся к борту, схватился, подтянулся и, перебросив свое тело, плюхнулся во что-то мягкое — весь кузов внутри обит был одеялами, а пол устлан матрацами. Подался он к кабине, зарылся в матрацы и замер...

Но машина не поехала. Упало сердце, прервалось дыхание — неужто провал? Хлопнула дверца, и вроде вышел шофер, но мотор не заглушил. Вот черт! Чего тянет?



С минуты на минуту немцы могут подойти! Тогда конец! Опять замаячили в глазах повешенные.

Сквозь негромкое урчание мотора, обостренным до чрезвычайности слухом, различил Борька шаги шофера вокруг машины и удары ногой о баллоны. Значит, поедет все-таки! Но не тяни ты, подлюга! Скорей! Чего волнуешься? Скорей, скорей... Ведь секунды дело решают!

Наконец захлопнулась дверца, включилась передача и машина тронулась... Неужто пронесло? Медленно, руля то в одну, то в другую сторону, видно объезжая другие машины, переваливаясь на ухабах, двигалась она все же...

Еще один страх предстоит — у ворот. Заглянут ли в кузов? Правда, разглядеть его трудно, один матрац на себя навалил, но вдруг?

То в жар, то в холод бросало Борьку, а когда остановилась машина перед воротами, совсем омертвел он... Только не виселица! Буду отбиваться, пусть тут и пристрелят, живым не дамся! Это чуть успокоило.

Услыхал он несколько слов немецких, наверное, доброго пути часовые у ворот шоферу пожелали, и миновали они ворота.

Не сразу отошел Борька... Километров несколько, знать, проехали, прежде чем он стал на человека походить, но ожидаемая радость освобождения пока не приходила к нему — напряжено внутри до предела. Только и разрешил себе вздох полной грудью, да несколько движений руками сделал, чтоб разогнать застывшую кровь. А там опять мысли поскакали — что и как делать дальше?

Ехали они пока нешибко, видно, по лесной дороге. Переваливалась машина с борта на борт, раскачивалась, потом заворачивать стала и после пошла уже ровно и быстро — на большак выехали. Куда теперь завезет, одному богу известно.

Дополз Борька до заднего борта, приоткрыл полог осторожно — верно, большак. Дорога песком посыпана, расчищена. Но сзади, черт бы ее подрал, в метрах пятидесяти едет вслед другая машина. При ней не выскочить Борьке. Правда, выскакивать еще рано, надо подальше отъехать, но вдруг она не к фронту прет, а во Ржев обратно. И еще боялся Борька, что в каком-нибудь большом населенном пункте остановится машина. Куда тогда деваться? Или вдруг посадит кого шофер в кузов — тоже хана. Надо где-то на ходу выбираться. Но эта машина, будь она неладна, мешает. Хоть бы обогнала. Нет,

ровно идет, с такой же скоростью, что и Борькина. А по бокам дороги поля, никуда сразу не спрячешься.

Плитка шоколада, которую спер он в кабине и положил за пазуху, начала таять на груди и, когда вынул, была вся липкая. Отломил Борька третью часть и стал жевать, а остальное в карман шинели положил. Закурить бы после этого, но огня нет, прижечь нечем.

Поспокойнел чуть Борька, только идущая следом машина нервы портила. Подумал он, что совсем дуриком у него побег вышел, почти на авось, без всякого плана получилось и держалось все на каких-то секундах ничтожных. Задержись шофер немного, подойди немцы к его парнику или к машине — все, лежать Борьке расстрелянному... Один разведчик в его взводе, много старше Борьки, говорил ему не однажды:

— Для тебя война вроде игрушки какой. Пацан ты, вот и везет тебе по глупости...

Повезло и сейчас удивительно, даже не верится. Теперь только надо быть настороже. Во второй раз в плен не угодить.

Видя дорогу только сзади, трудно Борьке ориентироваться, и пополз он к кабине — должно же быть заднее смотровое стекло там. Ощупал обивку и нашел козырек брезентовый, прикрывающий стекло. Приподнял чуть, увидел затылок шофера и кусок дороги впереди — поля все, поля. Как лесок появится — надо соскакать. А то завезет его эта машина в какое-нибудь немецкое логово. Теперь он к заднему борту подался — не отстает та машина, пропади она пропадом.

План у Борьки созрел приблизительно такой: как выпрыгнет, так сразу с большака в сторону, и искать надо какую-нибудь проселочную дорогу — она его в деревню и выведет. Там, если дадут приют (а в этом он не сомневался), отогреться денек, покормиться, разузнать о местности — и к фронту... Сплошного фронта быть не должно, наступление наше, наверное, продолжается, уж слишком ходко оно пошло. На какую-нибудь прорвавшуюся часть он наткнется, ну, а о дальнейшем задумываться нечего... Лишь бы к своим.

Борька все это обдумывал, а сам по кузову то вперед, то назад метался, пока не заметил впереди лесок... Теперь поворота крутого надо ждать или спуска, за которыми следующая за ними машина скроется. На виду ее прыгать нельзя, заметят непременно и откроют стрельбу, а по глубокому снегу далеко не отбежишь.

Московские ребята в трамваи на остановках не садились и не сходили, все на ходу. Был в этом шик особый, раскаться на подножке, оттолкнуться резко назад, гася скорость, и спрыгнуть, остановясь сразу, как вкопанный. Так и сейчас, думал Борька, оттолкнуться резко от борта назад надо, но самому быть грудью в движение, а то опрокинешься.

Дорога тем временем нырнула вниз по уклону, потом в гору начала подниматься, и, когда поднялась, задняя машина из глаз скрылась. Тут Борька и спрыгнул. На ногах не удержался, скользко было, растянулся, ушибся малость, но сразу же покатился в сторону и завалился в кювет — там и замер, уткнувшись в снег. Если и увидят немцы, за труп примут, мало ли их по обочинам да по кюветам валяется.

Прогудела мимо машина, обдала песком и снегом изпод колес, и тихо стало. Поднял Борька голову, огляделся — и быстро в придорожный ельник. Но тут еще машина идущая послышалась, и сжался он за этим ельником, переждал. Прошла машина. Прислушался и рванул в лес. Рванул — не так сказано, снег-то выше колен, но старался Борька поскорей. Зашел вглубь — большака и не видно и не слышно. Приостановился, потянулся — вот она, свобода. Наконец-то. Тут и обнаружил, что рукавицу одну потерял, сорвало ее, видимо, с руки, когда прыгал, — жаль, но ничего... Что ж дальше делать?

Понял он, что по лесу без карты, без компаса, да по глубокому снегу далеко ему не уйти. И плутать по нему можно без конца, и неизвестно, выйдешь ли куда.

Покурить бы для просветления мозгов, но нет огня. Обязательно, как в деревню попаду, раздобыть надо кресало и трут, подумал он.

В общем, потоптавшись на месте, понял Борька, что нет другого выхода, как идти вдоль большака, идти, конечно, скрытно, таясь, пока какая-нибудь поперечная дорога не попадется.

Так и сделал. Вернулся к дороге и, хоронясь за деревьями, припадая, а иногда и падая совсем, когда машины на большаке появлялись (а шло их довольно густо), шел Борька, зорко вглядываясь, выскивая впереди хоть тропку какую от дороги в сторону. Но не было пока ничего. А лес придорожный стал редеть, и, видно, скоро конец ему. Это, быть может, и к лучшему, прозору будет больше, может, какая деревенька в стороне увидит-

ся, а может, и к худшему, потому как идти вдоль большака по полю нельзя, весь на виду будешь.

Надеялся Борька на дороге из русских кого встретить, хорошо бы женщину, и порасспросить насчет деревень — близко ли, есть ли немцы, как пройти? Но не встречалось никого, только машины фрицевские — туда, сюда.

Да, кончался лес. Впереди уже поле просвечивало. Что делать-то? Подошел совсем к краю. Вдали, за километр, а то и больше, темнеется что-то, опять лес, наверное. Но как километр этот одолеть? Направо от дороги лес далеко тянется вдоль поля, и где-то совсем вдалеке узкой полоской идет перемычка, между тем лесом, где он стоит, и тем, который впереди к дороге примыкает. Если идти до нее, потом по этой перемычке и обратно к большаку — крюку километра четыре будет, но другого пути нету. Правда, надеялся еще Борька, что поле это к деревне может вывести.

Пошел по кромке леса вправо от большака, снега наметено много, идти трудно, а времени часа два, наверно. Пока он обойдет кругом и затемнить может, декабрь же, дни короткие. А заночевать в лесу без костра — смерть верная. Да, рано свободе радоваться, чем она еще обернется? Идешь-то по своей, русской земле, но чужая она для тебя сейчас.

Долго шел Борька к тому перемычному лесу, а когда дошел, то увидел, что в глубину он небольшой, просвечивает за ним небо. И решил тогда не идти, как задумал, вдоль, а попробовать пройти через лес, авось какая-нибудь деревушка покажется.

И верно, пройдя немного, увидел поле — большое, на километр наверно, а в конце домишки, и дымки вились... Наконец-то! Но как к этой деревушке пройти? Если немцами она занята, увидят они его, как только из лесу выйдет...

Присел Борька. Снял сапоги, стал ноги портянками растирать. Худо с ногами. Прихватило по новой, только в горячке не чувствовал, а сейчас увидел — плохо дело. Но к деревне идти не решился — надо темноты ждать.

Наломал лапнику с молодых елочек, отряхнул от снега и начал себе лежку сооружать. Вытоптал ямку, навалил туда лапнику. Порадовался, что шинель обрезать не успел, а все хотел — длинна больно была, — а сейчас как хорошо, ноги подвернул, и они лапами закрываются. Приготовил все, а потом подумал: если заснешь, можно и не проснуться. Но и стоять, с ноги на ногу переминаясь,

тоже не сладко, а ходить туда-сюда — сил не так много.

Все же прилег... Закутался с головой, стал дышать внутрь, вроде согрелся немного. Только бы в сон не смогло — надо следить. Но в сон не клонило, бились мысли разные, а главное, не сходили с Борьки напряжение, настороженность звериная. С ними не уснешь. И засосало в желудке, и курить захотелось нестерпимо.

Но, несмотря на отчаянность своего положения, на полную неизвестность впереди, на малую очень вероятность добраться до фронта, до своих, на холод и голод, было все это Борьке и интересно. Во какие приключения выпали, почище всякого фильма. Что там у Серого бывало, по сравнению с тем, что Борька испытал и испытывал, — ерунда, мелочь. По мальчишеству, конечно, так думалось, по глупости. Но это мальчишество и выручало, это мальчишество и не давало в панику впасть, в безнадежность. Все время ему надежда светилась, что будет все хорошо.

А зимний день уходил помаленьку... Покрылось все серой дымкой, размылись дали, а вскоре и замелькали огоньки в деревне. Это хорошо, подумал Борька, не сожьюсь. Пожалуй, можно и трогаться. Пока иоле пройдешь, и совсем стемнеет.

Тяжкий был путь... На поле снег настом, в некоторых местах идешь — не проваливаешься, а в других ухаешь сразу чуть ли не по пояс. Потом выкарабкиваешься оттуда еле-еле. Ну, и снег голенищами черпаешь. И ветер по полю гуляет, просквозивает шинельку, леденит лицо...

Когда к деревне подошел, тьма уже сгустилась и манили светящиеся окошки, ох как манили, но как бы не промахнуться, как бы на немцев не нарваться. Прислушался — тихо вроде. Подался он еще вперед немного, но не в рост, а пригнувшись, а где и перебежками — на снегу-то и ночью он далеко виден. Выбрал себе Борька крайний дом, а около него постройку небольшую, сарайчик или банька вроде. Туда и стал подвигаться осторожно, прячась за плетнем, припадая к земле...

Добрался Борька до сарая, нащупал дверь, выдернул щепу, воткнутую для запора в кольцо для замка, приоткрыл — пахло теплом и дымком. Баня, значит. И недавно топленная на Борькино счастье. Нагнулся, потрогал грудку камней — теплые — и стал греть руки. Ладно, пережду здесь немного, отогреюсь, послушаю, не слышно ли немецкой речи из дома, решил Борька и забрался на полку. Там воздух еще теплее, березовыми вениками

пахнет — хорошо. Но тут же соскочил и к грудке — вдруг огонек не загасший, закурить бы... Полез прямо рукой разгребать золу, надеясь, что сверкнет сейчас уголек, но нет. Теплая зола, почти горячая, но живого огонька нет.

И тут почудились Борьке шаги — что делать? Кто идет? Свой ли? Немец ли? Выхватил он из груды увесистый камень, встал у двери, поднял над головой...

Приоткрылась тихо дверь, и женский голос прошептал:

— Кто тут? — Борька не отвечал. — Не скрывайтесь, видала я из дома, как шмыгнул кто-то...

— Немцы есть в деревне? — спросил наконец Борька.

— Потому и пришла, что есть. Нельзя вам ночлега искать тут, поняли?

— Понял. Ну, входите.

— Окруженец, что ли? — спросила женщина, входя в баню.

— Да.

— В моем доме немцев нет, но боюсь — вдруг зайдут.

— Много их?

— Человек двенадцать. Только сегодня приехали с подводами грабить. А то не было их у нас. Вам поесть принести, наверно, надо?

— Если можно... И огоньку, пожалуйста. Курево есть, а...

— Хорошо. Что надумали-то? Оставаться или уходить?

— Не знаю. Что посоветуете?

— До утра, пожалуй, можно тут... Но затемно уходить надо.

— На том и решили, — сказал Борька. Уж больно страшно уходить из тепла, да и передых необходим.

Через некоторое время принесла женщина теплой вареной картошки, кусочек сала и хлеба немного. И спичек целый коробок! Им-то Борька больше, чем еде, обрадовался. Стал расспрашивать, какие деревни поблизости, заняты ли немцами, но женщина ничего толком сказать не могла.

— Не местная я. Разбудить вас или сами проснетесь? Они утром везде начнут шарить.

— Сам проснусь.

— На двери крючок есть — запритесь. Если что, выбивайте окно, рама в нем слабая, и огородами... Ну, желаю вам...

— Спасибо большое, — ответил Борька.

Женщину в темноте он не разглядел, но по разговору не похоже, что деревенская, и по голосу приятная, не старая. И захотелось вдруг Борьке, после мытарного этого дня, после напряжения нечеловеческого прижаться к теплему живому женскому телу, уткнуться головой в грудь, почувствовать рядом биение человеческого сердца и уснуть так. Ничего большего не нужно Борьке, ничего...

Женщин по-настоящему у него не было. То, что случилось перед войной, не шло в счет, и вспоминал об этом всегда с отвращением. А случилось так. Был у них на заводе парень такой разбитной, постарше их и прошедший, как он говорил, и огонь, и воды, и медные трубы. Как-то в субботу собрал он их, пацанов, кому шестнадцать, кому семнадцать годков, и спросил:

— Ну, кто из вас, щенят, хочет мужчиной стать?

Всем, конечно, интересно, что это такое. Все захотели, и Борька тоже.

— Так вот,— сказал этот Левка.— Собирайте по десятке и к восьми ноль-ноль на вокзале. В одно место поедем к девчатам. Они вас научат уму-разуму.

Захолонуло у Борьки сердце — и сладко и страшно немного.

Встретились они вечером на вокзале, по дороге закупили красного, бутылку белого и отправились. В вагоне старались все форс держать, но видно было — помирают ребята от страха, а Левка травил все время, над ними посмеивался и такое болтал, что братва краснела до ушей.

Когда приехали, повел их Левка в девчачье общежитие, окружили их там девицы, здоровые все, лет по двадцати пяти, накрашенные, духами пахлые, ну и пошла вечеринка... В первый раз Борька вина тут попробовал. Окосели все до невозможности, а потом девки разбирать их стали и со смеху сами давились.

Выбирались новоиспеченные мужчины рано утром по одному и в поезде даже в разные вагоны уселись, неохота друг на друга глядеть.

А влюблен-то был Борька в инженерскую дочку, которая жила у них во дворе, во флигеле напротив. Но во двор она гулять не выходила, и только, когда сетку волейбольную там повесили, стали встречаться на игре. Тут Борька из кожи лез, чтоб внимание на себя обратить: и падал рыбкой, беря мертвые мячи, и гасы давал умопомрачительные. И вроде не без успеха.

Сейчас Люба тоже на фронте... И все у них впереди,

когда война окончится. С фронта Борька писал своей матери, чтоб узнала она у Любиного отца номер ее полевой почты, но ответа не дождался — попал в плен.

...Проснулся от холода. Выдуло за ночь в баньке негустое тепло. Глянул в окошко — темно еще. Закурил немецкую сигарету, и тут впервые царапнула мысль — а не сделают ли что немцы его напарнику по пилке за его побег? Больно кольнула. Поежился Борька и начал себя успокаивать тем, что вряд ли немцы о его бегстве станут докладывать — сами же прошляпили. А скажут начальству просто, что хлопнули одного при попытке, когда будут пересчитывать пленных по возвращении в лагерь. Так им, немцам конвойным, наверное, бесхлопотней будет? Не очень это успокоило, осталась заноза в душе, но что сделано, то сделано, обратно не повернешь. А потом, если обо всем думать, тогда о побеге и помышлять нечего. На другое повернулись Борькины мысли — что дальше делать, куда идти?

Немного погодя раздался легкий стук в дверь, и сдуло Борьку с полки. Хотя и подумал, что хозяйка, но камень в руку взял.

— Кто? — спросил тихо, подойдя к двери.

— Я, — ответил вчерашний голос. — Проснулись? Пора вам. — Борька открыл дверь. — Вот возьмите на дорогу.

— Спасибо, — принял он небольшую котомочку.

— Куда теперь?

— Не знаю... К фронту пробиваться буду.

— В сторону Селижарова надо.

— Большак-то туда?

— Да.

— Около него и буду держаться.

— Сколько же вы маетесь? Многие из окруженцев, кого немцы не поймали, по деревьям расселились, а вы...

Не сразу, а подумав немного, сказал Борька правду:

— Не окруженец я. Из ржевского лагеря бежал...

— Вот что... — задумчиво сказала женщина.

В темноте Борька не мог разглядеть ее, но поразил его легкий запах духов, такой странный и необыкновенный в маленькой деревенской баньке, топимой по-черному, а женщина продолжила:

— ...Вам отдохнуть надо, наверное. Знаете что: вы идите сейчас в лес, спрячьтесь там, а к вечеру приходите. Должны уйти немцы. Какой-нибудь знак вам дам... ну, рубашку белую около бани повешу, если немцев нет.



Хорошо? Тогда и дорогу расспросите у старожилов, а то я ничего не могу вам сказать.

— А не боитесь?

— Сколько можно бояться? — со вздохом произнесла женщина.

— Что ж, спасибо... Ноги у меня поморожены. Дня два неплохо бы побыть.

— Значит, договорились?

— Да.

Ох, как неохота было выходить в ночь, в мороз, но теплили слова женщины, теплило и то, что будет у него приют на следующую ночь, а день-то он переможет как-то.

И пошел он обратно к лесу, стараясь ступать по вчерашним следам, но не всегда их различал, и несколько раз проваливаясь в наметы почти по пояс, опять черная голенищами снег.

Когда пробился до леса — чертыхнулся: надо было топор у хозяйки попросить, тогда бы шалашик он себе соорудил, как не догадался? Ну, ладно, как-нибудь переднюю, спички-то есть. Набрал сушняку кучу и разжег маленький костерик. Присел и смотрел в огонь, следя, чтобы дыму много не было, а когда задымливала сильно какая ветка — разгонял дым рукой. Сидел бездумно, подставляя огню то одну, то другую часть тела, и вдруг вздрогнул, поднялся быстро и бегом к опушке — забеспокоило его, что след он, наверное, заметный на поле оставил и как бы не обратили немцы внимания. Уже рассвело, и поле хорошо виделось, а след его, черт бы поддрал, тянулся очень заметный. Вот чем и плоха зима для человека, которому скрываться надо. Придется тут сидеть и наблюдать за деревней, а если пойдут немцы по его следу — бежать. Разделять, правда, их будет километра полтора, но если немцы упорные попадутся — загонят.

Тогда решил Борька — все равно делать нечего — свой след заранее запутать, напетлять по лесу несколько километров и выйти к опушке в другом месте и оттуда наблюдать за деревушкой. Так и сделал. Так-то спокойней, пока немцы по его следу сюда дойдут, он уж далеко будет.

И вошло в Борькину душу новое, незнакомое прежде чувство, чувство загоняемого зверя, обложенного со всех сторон. Может, оно и к лучшему — чутче будет, осторожней, злее, но появилась мысль, что можно устать от бесконечной напряженности, что может довести она до от-

чаянности, до безнадежности, когда станет все трын-травой, лишь бы покой скорей, хоть лагерный... Но кроме ощущения затравленного зверя было что-то и от охотничьего вспыла — обхитрить немцев непременно и выйти из этой игры победителем, дойти до своих во что бы то ни стало.

Развязал Борька котомку и ахнул — кроме хлебushка и картошки лежал там кусок сала, да не малый, граммов на четыреста. Несколько ломтиков отрезано — с них и начал, а глаза защипало... Женщины вы русские, чем и отблагодарить-то вас? И смогу ли чем? Только победой, только освобождением...

В деревне тем временем какое-то движение обозначилось. Подводы от одного дома к другому передвигались, немецкие шинели зеленели. Грабят, значит, сволочи! Но что испугало Борьку — два немца подошли к баньке той, где ночевал он. Заметят следы, как пить дать! И верно, один немец рукой на поле показал, а второй в дом направился и вышел вместе с хозяйкой. Повел ее к баньке. Заколотилось у Борьки сердце, вдруг из-за него с этой женщиной чего-нибудь сделают? Но шел там какой-то разговор — немец рукой на поле и хозяйка тоже. Поговорили немного и ушли немцы. Отлегло от сердца. Видно, хозяйка чего-то наболтала, и те успокоились.

Замерз, конечно, Борька, но костер разжигать опасался. На опушке нельзя, дым немцы приметят, а в лес уходить рискованно — надо наблюдать за деревней.

К середине дня, увидел он, стали покидать немцы деревню. Поехали груженные подводы влево, видимо, дорога там есть, и вскоре скрылись из глаз. Но это легко сказать — к середине дня, а каково было его дожидаться. И прыгал Борька, и бегал на месте, и сапоги снимал, чтоб ноги растереть, и руки за пазухой отогревал — чего только не делал, чтоб не застыть совсем. А сейчас припустился рысцей по опушке к своей лежке, где костерик жег, — там уж отойдет у огня.

Но идти в деревню, пока день не ушел, Борька поостерегся — вдруг не все немцы ушли, вдруг кого из полицаяев оставили. Нет, надо ждать темна, но, как всегда, когда хочется чего-то сильно, время тянулось медленно — еле дождался. И как только зажглись окошки в деревне — тронулся.

У баньки висела белая рубашка, и Борька без опаски постучался в дом. Открыла хозяйка сразу.

— Не обморозились?

— Есть малость.

— Проходите скорей.

— Немцы что, мой след заметили?

— Да. Еле убедила их, что это мой след, что за дровами в лес ходила.

В избе было тепло до невозможности. И тут при свете керосиновой лампы разглядел Борька женщину — худенькая, светленькая и много старше его, лет около тридцати ей, наверное, но симпатичная, глаза большие, широко раскрытые. И она его рассмотрела.

— Господи, да вы мальчик совсем... Сколько же вам?

— Девятнадцать... На днях будет.

— А вы мне таким большим мужчиной показались... в бане. Ну, ладно, у меня спирту есть немного — разотритесь, я выйду.

— Что вы? Я лучше вовнутрь приму, если разрешите.

— Как хотите. Сейчас я поесть принесу.

Ужин она, видно, заранее приготовила, потому что сразу поставила на стол сковородку с жареной картошкой на сале и выставила пузырек со спиртом.

Чтоб показать себя настоящим мужчиной, Борька спирт разбавлять не стал, оглушил одним махом и начал закусывать.

Да, росту был Борька хорошего, и вес около восьмидесяти, но лицо возраст его выдавало, мальчишеское было, и волос на нем рос плохо, только на губах пушок, а на подбородке совсем ничего; тут еще после спирта и еды разморило его, что-то к горлу подступило, и почувствовал он, как набухают в глазах слезы, — растрогался он очень.

— Что ты, глупенький, — перешла женщина на «ты» и положила свою руку на обстриженную его голову. — Чего ты? Маму вспомнил?

— Да нет, — размазывал слезы по лицу Борька, а от ласковых слов женских еще больше распирали комки, и еле Борька сдержался, тряхнул головой, сбрасывая слабость не мужскую, и пробормотал: — Нервишки сдали... пройдет.

А потом стал несвязно рассказывать, как в плен попал, как шел к Ржеву, как бежал... А женщина руку не убирала с его головы, тихо поглаживала.

— Скоро освободим вас всех, — закончил Борька рассказ, а самого склонило в сон, еле на табуретке держался. Потом спросил: — Сильно вас немцы пограбили?

— Ко мне не приходили. У меня нет хозяйства. И дом это не мой.

— Я вижу — не деревенская вы, — сказал Борька и опять почувствовал запах духов, который поразил его там, в баньке.

— Тут старушка жила. Я у нее угол снимала...

— А почему ж не уехали? — перебил Борька.

— Так... не удалось, — неопределенно ответила она, а Борька допытываться не стал, неудобно.

Разобрала она Борьке постель, а сама на печи себе место устроила.

В первый раз в жизни Борька наедине ночью с женщиной остается, и тревожно ему как-то... И впервые за два месяца до белья раздевается — тоже странно.

Лег на простыню, одеялом каким-то цветным укрылся, и не верится, наяву ли это. Подошла женщина, одеяло ему вокруг подоткнула, погладила по голове, и сладкой истомой зашло тело, и ушел сон куда-то. Женщина тоже долго не засыпала, вздыхала часто, и ослепила Борьку сумасшедшая мысль — а вдруг ждет она его? Приподнялся он, сердце затрепыхало, голова кругом, и на печи женщина притихла, будто прислушивалась... Спустил было он ноги с кровати, а потом не по себе сделалось — как же это он, за ее хлеб-соль... Если показалось ему просто, а у нее и в мыслях того нет — оттолкнет его, да отчитает за такое нахальство, и обидится... Нет, нехорошо это... Лег он опять, натянул одеяло на голову и откинул напрочь такие мысли. Но всю ночь было ему беспокойно и сладко, что лежит совсем рядом женщина и, может, ждет его...

Утром встрепенулся Борька от стука в дверь и вскочил с постели, как был, в кальсонах, ища глазами по комнате, чего бы ухватить тяжелого, потому как во второй раз попадаться живьем в плен он не собирался. Но женщина успокоила его — это она просила одного деда прийти, чтобы дорогу он Борьке указал.

Неудобно очень, что в кальсонах он ей показался — сроду их до армии не носил, — покраснел, смутился, схватил брюки, начал их напяливать, прыгая на одной ноге, торопясь, а потому не сразу попадая в штанину. Женщина отвернулась, но заметил Борька легкую улыбку, и еще стыднее сделалось.

Дед попался любопытный и все у Борьки дотошно спрашивал — и где войска наши, и неужто правда наступают наши, и скоро ли сюда могут подойти, и откуда сам Борька, и как в плен угодил... Ну, а потом сам рассказал

подробно, как Борьке идти, какие деревни будут на пути. Охотник он бывший и все места в округе знал как свои пять пальцев.

Когда дед закуривал, попросил Борька махорки, а сам сигареты немецкие вытащил и предложил взамен. Дед отказался, а женщина взяла одну и закурила, красиво держа ее в тонких пальцах. И показалась она после этого Борьке еще привлекательней и как-то доступней. И закрутились ночные горячие мысли.

Перед уходом дед отвел Борьку в сторону и шепнул:

— Не обидь чем Олю-то, учительшу нашу. Одна она совсем, нету у нее сродственников здесь. А жених без вести пропавший. Не поступи по-свински.

Учительница она, оказывается... А давно ли Борька учеником был? И как стыдно было бы, не удержись он ночью... И то, что одна она тут, беспомощная и незащищенная, всколыхнуло в Борькиной душе другие чувства, хорошие, и предложил он сразу ей чего-нибудь по дому сделать — дров нарубить или еще что...

Но когда рубил с остервенением поленья, мысли о женщине не уходили, а, наоборот, все больше лепились вокруг нее, все больше манила она к себе — и запахом духов, и улыбкой какой-то печальной и загадочной, будто знает она что-то особенное. Всем волновала она его, а все потому, наверное, что не ожидал он никак в заброшенной ржевской деревеньке встретить такую, не деревенскую, не обычную...

А к вечеру оказался Борька окончательно влюбленным, пребывал в каком-то сладком тумане и глядел на женщину преданными собачьими глазами, а когда она подошла к нему, положила опять руку и сказала: «Вот мы и стали настоящими друзьями, Боря», его залила волна такой необыкновенной нежности, какой никогда не испытывал ни к Любе, ни к кому другому. Но к радости этого ощущения примешивалось и другое, горькое, — он понял, как невозможно трудно будет уходить ему теперь отсюда, что совсем некстати вспыхнуло в нем это чувство, которое неизбежно будет мешать ему в главном — дойти до своих.

— Позавчера был Новый год, Боря. Я была одна, и мне не хотелось его отмечать. Давай сегодня встретим его. У меня есть кое-что...

И она поставила на стол вареную картошку, немного сала и — что удивило Борьку — банку немецких консервов. Раскрыл он было рот спросить — откуда, да постес-

нялся. Она заметила его удивление, но ничего не объяснила, а налила ему в стакан спирта из того же пузырька и себе немного...

— За Новый год, Боря... Пусть будет он лучшим, чем прошлый.

— За победу, Ольга Андреевна.

— Разумеется, Боря... Раз такие мальчишки, как ты,— она погладила его по голове,— не потеряли мужества, она придет непременно.

Они чокнулись, выпили... Но разговор не клеился. Ольга Андреевна сидела какая-то очень сосредоточенная и, как казалось Борьке, все время прислушивалась. Была вся в себе, в своих мыслях, которыми не находила нужным с Борькой делиться... И Борька, понимая это, был скован... Грустно было, и посидели они недолго...

Когда он лег в постель, она, как и вчера, подошла, подоткнула одеяло, провела рукой по голове... Борька не выдержал, прижал ее руку к губам. Она долго не отнимала ее, потом отняла, сказав:

— Глупенький... Спи.

Но Борька заснул не сразу... Он ощущал на своих губах тепло ее руки, горьковатый запах духов, у него чуть кружилась голова, а в сердце ныла сладкая боль... И все же, засыпая, он твердо решил уходить па днях. Обязательно уходить.

Проснулся он от приглушенного разговора в сенях. Он не мог разобрать, о чем говорили, но один голос был Ольги Андреевны, другой мужской...

Он быстро нашарил брюки, надел, сунул ноги в сапоги и, взявши топор, лежащий под кроватью, неслышными шагами подошел к двери. Отсюда он услышал:

— Уходи. Ради бога, уходи, Дима...

— Хорошо, Оля... Сейчас я уеду, но... Оля, я хочу, чтоб ты поняла меня. Поняла. У меня не было выхода.

— А у этого мальчика был выход? Не говори мне ничего. Уходи.

— Прощай, Оля...

Потом услышал Борька, как хлопнула дверь. Он бросился к окну. Там стояли сани, и он увидел ладную фигуру в венгерке... Неужели он? Переводчик тот, который допрашивал его в первый раз? Похоже, что он...

Вошла Ольга Андреевна... Борька метнулся от окна, остановился. Она подошла к столу, села, охватив голову руками, и замерла.

За окнами раздалось негромкое «но-о», лошадиное

ржанье и скрип полозьев... Борька подошел к Ольге Андреевне.

— Мне уходить? — спросил он тихо.

— Нет, нет, Боря,— вздрогнув и подняв голову, поспешно сказала она.

— Нет, наверно, мне надо уходить...— сказал Борька после недолгого молчания.— Вы сказали про меня?

Она протянула руку к пачке сигарет на столе, зажгла спичку, прикурила.

— Да, сказала... Но ты не уходи, Боря... До такого, надеюсь, он еще не дошел.

— А если?..— Борька закурил тоже.

— Нет, нет,— быстро зашептала она.

Борьке хотелось верить ей и страшно не хотелось уходить сейчас в темную, холодную ночь, и он, подойдя к постели, присел.

— Нет, нет...— повторила Ольга Андреевна и поднялась.

Борька прилег, но спать не мог. Так и лежал одетый, прислушиваясь к каждому шороху, сжимая топориче взятого в постель топора. И ушел бы на другое утро, если бы не чувствовал себя разбитым и слабым после событий этой ночи.

Ольга Андреевна весь день ходила бледная, подурневшая, с распухшими глазами, и Борьке было жалко ее до невозможности, хотя что-то и обрубилось той ночью. Чтоб занять себя чем-то, мастерил он себе нож из старой, заржавленной косы. Отпустил на огне сломанное основание, пробил две дырки и приладил деревянную ручку. Потом шил ножны из какого-то куска кожи.

За ужином они почти не говорили, а когда поднялись из-за стола, Ольга Андреевна подошла к нему, погладила по небритой щеке и сказала:

— Умница мальчик, что ни о чем не спрашиваешь... Тебе все равно не понять.

И опять пахло горьковатыми духами, и замер Борька... Понимал он, что коснулся краем большой человеческой трагедии, разобраться в которой ему пока не под силу, и потому, ничего не сказав, взял ее руку в свою и тихонько пожал... Завтра утром он уйдет, и никогда больше не увидит ему эту женщину, никогда не услышать ее печальный низковатый голос, никогда не прижаться к тонкой руке...

На другой день, рано утром, еще темно было, стал Борька собираться в путь-дорогу. Ольга Андреевна поло-

жила ему в котомку картошки вареной, сала кусочек и хлеба немного. Присели они по русскому обычаю, помолчали, и, видимо, такими глазами смотрел на нее Борька, что она, улыбнувшись растроганно, спросила:

— Будешь вспоминать меня, Боря?

— Всю жизнь! — выпалил Борька.

Она улыбнулась, поглядела на него внимательно и сказала просто:

— Подойди, я поцелую тебя.

У Борьки провалилось сердце куда-то, и он, неуклюже громыхая сапогами, подошел к ней. Она взяла его голову, наклонила к себе и поцеловала в губы коротким, но крепким поцелуем.

— Иди, мальчик... Желаю тебе добраться до своих и... остаться живым на этой войне. Иди.— Она легко оттолкнула его от себя, на глазах блестели слезы. Накинув пальто, она вышла вместе с Борькой из дома.

Идя по деревне, он часто оборачивался и видел ее — маленькую, хрупкую, махавшую ему рукой. Вскоре дорога сворачивала влево, и он долго стоял перед поворотом. И была секунда, когда он чуть было не повернул обратно. Уже напряглись ноги... Но он знал: если побегит, если вернется, то уже не найдет в себе сил оторваться от нее...

Махнув последний раз рукой, он шагнул за поворот и вступил в лес. И стало сразу будто холодней, словно перешагнул какую-то границу... Ольги Андреевны было уже не видать.

На проселке еще виднелись санные следы побывавших в деревне немцев, а по ним более свежий — от саней того, кто приезжал к Ольге Андреевне. Борька шел уверенно, зная, что эта дорога выведет на большак, который надо пересечь незаметно за Бахмутовым, а оттуда выйти к Волге. По ней, по родимой, и идти ему вверх, к Селижарову. Там фронт гремит.

Как ни тяжело было Борьке уходить отсюда, но знал он: останься он, покоя не будет. Какое он себе оправдание может найти? Никакого! А сейчас действует он, идет к своим и вроде продолжает войну с немцами — кто кого.

И с каждым шагом уходила от него расслабленность. С каждым шагом становился он настороженнее, напряженнее.

На прямых участках пути шел смело, а на изгибах уходил в сторону, в лес и прятался за деревьями. И выходил, только когда убеждался, что за поворотом никого нет.



Приближение дороги определил Борька по шуму машин и свернул с проселка вправо в лес. Так по нему и побрел — вдоль большака, метрах в ста от него, иногда видя его сквозь деревья, иногда только слыша. Никакой пробитой тропки, конечно, не было, и шел он по глубокому снегу и больше трех километров за час не проходил. И устал скоро.

Для отдыха забирался далеко в глубь леса, чтоб дымок от костра с большака было не видеть, да и разжигал его махонький — только руки погреть и портянки просушить. А это тоже лишние километры.

Судя по времени, верст десять он прошел уже, но Бахмутова этого все было не видеть, и лес непроглядный, никакого просвета впереди.

Надо бы на тракт выйти и осмотреться, но что-то очень не хочется Борьке туда выходить, но так по лесу можно до ночи бродить.

Вышел он к дороге, но в неудачном месте, к повороту — ни в ту, ни в другую сторону прогляда нет. Пришлось пройти дальше, но не по тракту, а по сугробам опять, и защемило вдруг сердце — может, зря все-таки он так рано от Ольги Андреевны ушел? Ни отдыха себе настоящего не дал, ни ноги в порядок не привел. А потому и усталость навалилась без времени и напора настоящего не ощущается, но не поворачивать же обратно.

Выйдя опять к большаку, осмотрелся Борька — никого вроде. Чтобы даль направо проглядеть, лучше бы на другую сторону дороги перебраться. Метнулся через наезженное, и верно, с той обочины хорошо видно, и строения какие-то чернеют, — наверное, Бахмутово это и есть. И тут решил он хоть с полкилометра по утопаному пройти, тем более смеркаться стало, машин пока не видеть, да и услышит он их издалека, успеет в лес шмыгнуть.

Перешел на правую обочину, огляделся по сторонам и пошел. Совсем другое дело по дороге-то идти. Прибавился сразу шаг, ходко пошло. Правда, лес начинал от тракта отходить, но, думал Борька, пройду еще немного, уж больно по сугробам тяжело было, а потом сверну, но не свернул...

— Хальт! — резануло, как кнутом, за спиной.

Вначале и не поверил: только минуту назад оглядывался — и никого не было. Обернулся — шла рысью на него подвода. Правил лошадью кто-то в шинели красноармейской, а сбоку немец сидел и целился из винтовки в Борьку.

Прыгнул он в кювет, провалился в снег, тут и выстрел раздался. Рванул из кювета, запетлял по снегу, а подвода тут как тут уже...

— Не беги, убьют же,— по-русски голос раздался.

Вспомнил Борька, как стреляют немцы, и представил себя на этом снегу убитым и... остановился.

— Комм, комм,— приказал немец, рукой подзывая.

Повернулся Борька и стал выходить на дорогу, лихо-радочно соображая, что немцу отвечать. В лагере никаких меток на его одежде не проставили, значит, о лагере ни слова, врать надо что-то...

Подошел вплотную. Немец с саней слез, обхлопал его по телу, определил, что оружия у Борьки нету, кроме ножа, который на виду у пояса и который он из ножен вынул, осмотрел насмешливо и выбросил в снег, котомку Борькину пощупал, но отбирать не стал.

— Кто такой? — спросил тот, в нашей шинели.

— Разве не видишь? Человек.

— Куда топаешь?

— Домой.

— Ври, да не завирайся.

— Ей-богу, домой. Из Хмелевки я,— сказал Борька название деревни, о которой дед говорил.

— Садись, подвезем,— сказал парень в шинели и улыбнулся.

— Куда?

— Куда надо, туда и подвезем. Не вздумай тикать. Этот папаша стреляет что надо. Верно, фатер? Гут шиссен?

— Яволь,— осклабился немец.

Делать нечего, примостился Борька в сани, а самого такая злость на себя разбирает: какую промашку дал, дурень, слов нету.

Немец стал спрашивать того парня по-своему, тот отвечал, мешая немецкие слова с русскими. Понял Борька: о нем разговор.

— Но-о, родимая,— хлестнул парень лошадь, и тронулись они.

— Куда везете-то? — спросил Борька.— Я и вправду домой тороплюсь.

— Ну, дома-то тебе не видать, но насчет него шпарь, когда спрашивать будут. Понял?

— Понял.

— Куда подъезжаем сейчас? Скажи, ежели местный.

— В Бахмутово вроде...

— Угадал.

— Чего угадывать,— осмелел Борька.— Я его не раз проезжал, когда во Ржев ездил. Дом там есть каменный, двухэтажный,— продолжил он, вспомнив рассказы деда.

— Верно. Значит, не врал?

— Зачем?

Немец буркнул что-то, из чего только «генуг» Борька понял, а парень сразу «гут, гут» и замолк.

Совсем скоро въехали они в Бахмутово, повернули в середине села влево и оказались как раз у того дома двухэтажного, о котором и говорил Борька со слов старика. Но был он огорожен проволочным забором, и двое немцев вооруженных по двору ходили: знать, караульные. Один из них ворота открыл, пропустил их. Ездовой стал лошадь распрягать, а немец, скомандовав «комм», повел Борьку вокруг дома. Обойдя его, подошли они к какой-то двери, железом обитой, немец открыл ее и подтолкнул Борьку. Вниз ступени шли. Темно, хоть глаз выколи. Спустившись, пошарил немец рукой, чиркнул зажигалкой и прижег фитилек в гильзе, что стояла слева на табурете. Увидел Борька огромный амбарный замок, который немец, кряхтя, стал открывать. Долго ключом ворочал и про себя что-то бормотал, небось обругивал замок этот старинный. Распахнул дверь и втолкнул Борьку в довольно большое помещение. Там тоже копилка горела, и разглядел Борька печку железную, нары настоящие, а на них — кто сидел, кто лежал — людей больше десятка. Выглядели они ничего, особых доходяг не заметно. Небритые, конечно, но с теми, кого во ржевском лагере видел, не сравнить. И покуривали почти все. На Борьку глянули без особого интереса, но все-таки вроде ожидали, что он скажет.

— Домой шел и наткнулся на фрица вашего,— не стал Борька менять легенды.— Как тут?

— Ничего. Работаем. Дорогу чистим.

— Тепло у вас,— протянул Борька руки к печурке.

— Топим, потому и тепло.

«Что-то не очень они словоохотливы»,— подумал Борька и вынул сигарету. Нагнувшись к печке, взял уголек, прикурил.

— Богат, что ли, куревом? — спросил кто-то.

— Есть малость.— Пачку Борька не вытащил, а только несколько сигаретин и предложил. Взяли. Закурили.— Место-то найдется? — спросил он.

— Найдется. Только тюфяка тебе не приготовили,— усмехнулся один из пожилых.

— Вы и тюфяки имеете? — удивился Борька.

— Это все Петька...

— Что за Петька?

— Ездовой наш... Сам устроился, ну и нас не забывает.

Понял Борька, что о том парне речь, который лошадей правил. Начал он пока разуваться, портянки у печки разложил, осмотрел пальцы своих ног — раздутые, красные, — опять прихватило. Да, поспешил Борька в дорогу пуститься, денька бы два погодить...

Вскоре замок заскрипел, открылась дверь, и вошел Петька этот, а с ним немец. Немец их всех оглядел, пробурчал что-то вроде «орднунг», «орднунг» и вышел. Петька веселым выглядел, а когда заговорил, пахло самогонным духом.

— Ноги, что ли, у тебя помороженные? — спросил он Борьку.

— Как видишь.

— Как ты нас проворонил? Да, и я тебя увидел только, когда немец крикнул, а то бы гикнул на лошадь...

— Чего теперь... — махнул рукой Борька.

— Здесь жить можно, — заявил Петька. — Только от работы не отлынивать.

— А что здесь?

— Дорожная часть. Завтра тебя офицер ихний допросит и, думаю, оставит. Народ нам нужен. Отойдемка, — отвел его Петька в сторону. — Теперь расскажи, что нового знаешь? Только не греми.

— Наступают наши под Москвой, — шепотом начал Борька.

— Врешь!

— И драпают немец дай бог как.

— Быть не может. Ты об этом никому! Мне можно.

Понял?

— Понял.

— Значит, повернулась война, говоришь? — вздохнул Петька.

— Еще как повернулась. К лету шуганем немцев до границы.

— Не верю, — покачал головой Петька. — Ты когда воевать начал?

— С ноября. В начале оборонялись, отступили немного, а потом как дали. Пятого декабря начали.

— А как ты тут очутился? Не бойся, мне можно.

— Понимаешь, вклинились мы глубоко, а по бокам немцы. Нас человек несколько отбилось от части, отстали ночью. Стали догонять, заплутались, и, глядь, немцы кругом. Ну, кто куда. А я решил домой податься, там наших и дожидать,— врал Борька вдохновенно.

— Дезертир ты вроде получаешься?

— Ну, какой дезертир...

— Это ты нашим потом доказывай, мне нечего. Вот, значит, как дело повертывается,— задумчиво произнес Петька.— А я с самой Прибалтики отступал. Такая сила их перла, что они даже на нас внимания не обращали. Мы по шоссе идем с оружием, а они мимо на танках прут и словно нас не замечают с нашими винтовочками. Ну, думаю, это сила... Куда нам... Нет, возьмут свое немцы весной. Вот увидишь.

— А ты про «катюши» наши слышал?

— Нет. Что такое?

Рассказал Борька подробно, а Петька только глазами моргал: удивлялся сильно.

— И танки у нас, говоришь, появились?

— Конечно. Тридцатьчетверка. И автоматы ППШ. Семьдесят два патрона в диске.

Так они и проговорили, пока немец не открыл дверь и не позвал Петьку нести ужин.

Еда оказалась на удивление — каша настоящая. Хлеба Борьке не дали, так как утром раздавали на весь день, но у него своего еще оставалось, да и сало было — наелся от пуза.

Петька свою порцию не ел, отдал кому-то, а сам на печурке картошку начал жарить. У него положение, видать, особое, но парень не жадный — предложил некоторым и Борьке тоже. Борька поблагодарил, но отказался.

Стал он тюрьму эту осматривать — потолки низкие сводами, с них крюки свешиваются, в углу параша, но прикрытая, и потому вони нет. Да и старалась братва больше на улице оправляться, на работе, как потом выяснилось, а параша только для того, кому ночью приспичит.

Немец, пока пленные ели, сидел на нарах, трубочку посасывал. Не курили фрицы свои сигареты паршивые, каждый носогрежкой пыхтел, и хорошим табаком притом — из дому, наверно, присылали. Кто, правда, и нашу махру тянул.

После еды кто-то из ребят попросил у немца «раухен», и тот не отказал, дал сигаретину, только проворчал что-то — «гут арбайтен, гут арбайтен», это лишь понял Борька.

В общем, по первому впечатлению не показался Борьке этот плен второй очень страшным, после Ржева-то... Но то после Ржева, а так — и параша, и замок на дверях, и винтовки на тебя уставленные, и проволока колючая. И самое главное — пленный ты, не человек вроде, каждая падла немецкая тебя прибить может, а ты утрись и молчок... Нет, уж лучше в лесу, на холоде, но на свободе. Там человек ты!

Пленные покурили, потом посуду помыли и начали спать разбираться. У Петьки даже одеяло было, ну а остальные шинельками накрылись. Лег и Борька, тут подкатил к нему Петька с махрой — давай подымим. Немец ушел и долго возился с замками, чего-то ворча.

— Ну, поговорим теперь, — начал Петька. — Ты, значит, надеешься, что придут наши, найдут тебя в родной деревухе и обрадуются: «Ах, дорогой, как хорошо, что живой ты и невредимый? На тебе винтовочку — и давай шагай с нами»? Так, что ли, думаешь?

— В свою часть вряд ли угадаешь, но и в другой воевать можно.

— Лопух ты или притворяешься? Шлепнут тебя сразу же!

— Это немцы вам тут натрепали?

— И немцы, да и сами кое-что соображаем. Присягуюто нарушили, раз в плен угодили...

— По-разному можно в плен попасть... Одно дело — сам сдался, другое...

— Это ты прокурору объяснять будешь, — перебил Петька и сплюнул на пол.

— Наслушались тут фрицев. Запугивают они вас.

— Я фрицам тоже не верю, но, понимаешь, не вижу пока я выхода из нашего положения... Вот и живу часом — день прошел, и слава богу... Но что наступают наши — хорошо, — задумался Петька, а потом добавил: — Завтра на работу иди. И не филонь. Про ржевский лагерь слышал?

— Откуда мне слышать?

— Там — смерть. Если хочешь тут остаться, вкалывай. Понял?

— Понял.

— А потом я про твои ноги доложу.

Утром, еще затемно, сыграл немец подъем. Поднимались не так уж резко, с растяжкой. Потом завтрак принесли — картоху в мундире и хлеба настоящего, русского, граммов по триста. И жижи какой-то, кофе немецкий, эрзац, без сахара, разумеется.

Вывели в зону, подвели к сарайчику лопаты деревянные разбирать. Все норовили какую поменьше взять, а Борька, помня Петькины слова, за самую большую ухватился, и немец, наблюдавший за этим, одобрительно кивнул головой: «нихт фауль, гут...».

Вышли на большак... В охране двое фрицев пожилых с карабинами. О побеге Борька сегодня не думал — присмотреться ко всему надо, да и ноги поправить.

Снегопадов за это время больших не было, поэтому работа тяжелой Борьке не показалась. Перекуры по команде делались, а пока его нет, закурить не вздумай, сразу немец изо рта вырвет и — «шнелль, шнелль».

Петька на работу не ходил. У него обязанности другие: и лошадь покормить, и дрова нарубить, и еду приготовить, и воды нанести. И еще ездил он с немцами по деревням за продуктами — и ездовым и переводчиком. По-немецки он насобачился прилично.

Двойственные чувства испытывал к нему Борька: с одной стороны, парень вроде неплохой, что у немцев сопрет — с другими поделится, а с другой — холуй немецкий, лебезит перед ними, угодничает... Но без него, ребята говорили, не было у них еды такой, ни тюфяков, ни тепла...

К Борьке он почему-то благоволил и старался себя перед ним с хорошей стороны показать, часто хвастался, что без него была бы пленным хана, что только благодаря его подходу к немцам умелому тут такой не жестокий порядок установили: и работа не на измор, и еда три раза в день, и режим не такой давящий. Может, и правда. Парень он увертистый, хитроватый, и нашим и вашим умеет. Но поэтому особого доверия Борька к нему не питал. С ним о побеге не поговоришь. Ему и тут хорошо до времени. Ему главное — переждать. И ради себя, ради жизни своей он другого, пожалуй, не пожалеет. Так его понял Борька и, по-видимому, верно.

Работать на дороге приходилось как следует, и не потому только, что немцы подгоняли — «шнелль, шнелль», — но и потому, что иначе замерзнешь совсем. Ну, а Борька — чтоб не противно было на немцев хорошо работать — думал: с каждым взмахом лопаты он

мышцы свои укрепляет, силенку прибавляет. А что пригодится это ему, не сомневался. Так что не на немца работает, а на себя, форму свою сохраняет. Телу и рукам тепло от работы, а ноги... ноги опять приморозило.

Из фрицев, что их охраняли, один был ничего, не злой, сигаретами ребят угощал, а второй — несимпатичный: глазки маленькие, так ими по сторонам и шаркает, рот ниточкой, нос горбатый, сам щупленький, и потому охота ему свою власть показывать. Если на перекуре задержится кто — так он по спине прикладом, сволочь.

Вообще-то Борька понимал, что каким бы добродушным немец ни казался, но службу свою выполнять будет неукоснительно, и если что — пристрелит за милую душу и не поморщится. Помнил он, как в колонне стрелял тот резервист по бежавшему — хладнокровно, прицеливался точно, а когда убил, даже не закурил от волнения. Будто муху придавил. И бровью не повел.

В середине дня повели их на обед. Поели горячего картофеля, погрелись, покурили у кого что было — и опять на дорогу, уже дотемна.

Вечером Петька рассказывал, как ездил с немцами в деревню. Смеялся очень, когда описывал, как немец за курами гонялся, а он, Петька, нарочно разогнал их по всей деревне. Потом уж без смеха сказал, что этот немец щуплый, ушлый до невозможности, услышал, гад, как в одном доме поросенок в подполье хрюкнул, ну и реквизировал, конечно. Тут же в доме пристрелил, кровь пустил, как положено, и на сани. А в доме том дивчина Петьке понравилась. Перемигивались с ней. Если б не этот поросенок проклятый, договорился бы с ней на короткую любовь, затянул бы в какой закуток и дело свое бы справил. Ну, а после поросенка заревела она и на Петьку озлилась. А что он может? Не будет же отбивать у немца поросенка?

Борька слушал его, слушал, и все больше неприязнь к этому Петьке охватывала его. Особенно когда про деваху он так похабно рассказывал. Сволочь он все-таки...

Никакой офицер к ним не приходил, никто Борьку не допрашивал. Обрадовались, видно, что лишняя пара рук им с неба свалилась. Какая им разница — откуда он и что? Работает, и ладно.

Но было Борьке здесь тошно... На работах еще ничего, а когда запирал немец вечером дверь на два замка, когда валился на нары, то долго не засыпал, и сверлили голову мысли о побеге — навязчиво и неотступно.



Противно было, что ходят немцы в русских валенках, что укутаны русскими женскими платками вместо шарфов, что на руках у них вязаные русскими бабами рукавицы, что пограблено все это ими в русских деревнях, отнято у русских женщин — матерей и жен красноармейских. Мелочи, казалось бы, а ранили душу больно и злость к немцам накапливали.

Наутро обратил Петька внимание немца на Борькины ноги. Тот покачал головой — «шлехт, шлехт...» — и разрешил Борьке на работу сегодня не идти.

Остался он один в камере и занялся сапогами своими. Совсем головки потрескались и прямо кусками выламывались. Что-то надо придумывать. Дверь на замок не заперли, Петька со двора заходил свободно и не раз: во-первых, дров принес, парашу вынес, приубрался, чтоб «орднунг» был, а потом стал свинину жарить, наверное, с того поросенка кусок, которого они вчера «реквизировали».

Борька нож попросил и иглу с ниткой. И то и другое у Петьки оказалось, дал охотно. Принялся Борька мастерить. Отрезал полы от шинели, скроил кое-как и стал вместо головок сгоревших эти куски прилаживать изнутри, пришивать. Портянки у него тоже все истерлись и сопрели (два месяца не стирал), так он от своей нижней рубахи фланелевой (длинная была) отрезал, и получились новые портянки что надо. Принес ему Петька и марганцовки несколько кристалликов. Развел в теплой воде и стал пальцы ног промачивать. День, в общем, с пользой проходил.

Когда свинина прожарилась, Петька предложил, а Борька не отказался.

— Значит, ты тут и решил конец войны дожидаться? — кинул Борька.

— Ничего я не решил, — отрывисто и зло ответил Петька. — А ты что, лучше придумал?

— Припухаловка тут приличная.

— Меня благодари. Зиму надо прокантоваться, а к весне видно будет. Околевать собакой в лесу охоты нет. А в примачки идти... тоже не жизнь. К каждому звуку прислушивайся — не едут ли немцы. А то и расплохом возьмут, прямо в постели. И лагерь — уж точно. Нет, ждаться надо. И тебе того советую. Знаешь, не все врут немцы про пленных-то... Не простят нам наши. Кабы знал точно, что простят...

— Что тогда? — вклинился Борька.

— Тогда по-другому бы завертел. Во что!

— А может, завертим? — бросил Борька небрежно, а сам напрягся.

Петька посмотрел на него с прищуром, словно пронизал насквозь, и ответил резко:

— Брось!

Прошел еще день... На работу Борьку из-за ног не брали. Валялся он целый день на нарах и думал, не набиться ли ему Петьке в напарники по деревням с немцами ездить. Вдвоем двух немцев угрохать можно — и лошадь у них, и оружие, кати к самому фронту без остановки. Однако не пойдет Петька на это, не пойдет. А с работ убежать трудно. Только если всем сговориться. Но как сговориться-то? Найдется один подлюга, и всех под расстрел. В лучшем случае — лагерь ржевский.

А так бы здорово, лопатой немцу под горло... Есть такой прием в рукопашном бою — большой саперной лопатой удар. Но и от деревянной не поздоровится, если точно попадешь. Можно было бы и без потерь обойтись, если всем разом навалиться, не дать немцам ни одного выстрела сделать. Но все это мечты Борькины... Не сговоришься. А отсюда тоже не убежишь. Правда, проволока в зоне не густо перекрещена, прodrаться сквозь нее можно, ну, исцарапаешься весь, но можно... Часовых двое по двору бродят навстречу друг другу. Промежуток между ними уловить тоже можно. Остаются две двери с амбарными замками да железом обитые. Их не одолеть.

Поначалу показалось Борьке, что побег отсюда устроить без труда можно, только захотеть по-настоящему, и был он как-то спокоен до времени, а сейчас, пораскинув мозгами, продумав все и увидев, что не просто это, он ощутил то напряженное беспокойство, которое не давало покоя в лагере и уже не отпускало. И обрадовался он этому, потому как расслабиться тут, махнуть на все рукой, ждать весны, вроде Петьки, эта обстановка располагала, и в первые дни шевелилось в голове такое — переждать тут малость, жить-то здесь можно... Нет, нельзя здесь жить! Гнусно каждому фрицу подчиняться, на каждое «шнелль» разбегаться. И главное — уж так Борька устроен — чем труднее оказалось отсюда драпануть, тем острее пронизала его жажда свободы.

И стал Борька после этого опять по-звериному чуток, по-звериному собран. Словно закручивалась внутри какая-то пружина, все упругистей и туже, и стоит только

чеку спустить, как распрямится она мгновенно, выкинет он тогда номер.

Однако внешне он придурился, вступал с немцами в беседы, вспоминал немногочисленные немецкие слова, что в школе учил, похваливал здешнюю жизнь, будто доволен он дальше некуда. А пайку свою съедал не всю, по картохе откладывал в котомку, а сало совсем не трогал — НЗ.

Подкатывали тем временем дни к рождеству православному... Кто постарше, те вспоминали, как в прежние годы этот праздник справляли, что ели, что пили... А Борьку томили воспоминания, как с опозданием встречал он Новый год с Ольгой Андреевной, как грустно ему было и как сладко, припоминались ее слова о том, что мужественный он мальчик... Знала бы она, что опять он в плену, под фрицевским сапогом, не назвала бы так. И ужасно захотелось Борьке свой день рождения — одиннадцатого января — встретить на свободе, у Ольги Андреевны в доме, рассказать ей о своих злоключениях, глядя в печальные ее глаза, и услышать в ответ: «А ты настоящий мужчина, Боря, сумел убежать во второй раз». И так это все живо перед глазами стояло, словно наяву...

В этот вечер, после ужина, пришел к Петьке немец тот щупленький, принес карту, и начали они насчет завтрашнего вояжа по деревням договариваться. Ребята кто на нарах лежал, кто у печки грелся, на которой Петька картошку со свининой жарил. Немец прожорливый, знать, был. Потянул носом, ослабился и стал ножом картошку особо поджаренную и кусочки мяса подрумяненные цеплять и в рот. Зажевал, зачмокал и оказался спиной к двери, а Борька лежал как раз к ней близко.

Молнией мелькнуло — шмыгнуть за дверь! А там будь что будет! Кабы голова в этот момент работала — не решился бы. Но не варила она — одно желание объяло все, обсыпало тело дрожью, и шмыгнул Борька за дверь, прижался к стенке в том приступочке, что между наружной и этой дверью находился, а самого бьет мысль: что делаю, что делаю-то?

Минуту так постоял, дрожа, — вроде тихо, не заметил немец, как выскочил он... Бросился ко второй двери, нажал легонько — ах, черт побери — заперта! Что делать-то? Не знал Борька, что эта дверь кроме замка всяческого снаружи еще и внутренним запиралась, — и промах-

нулся! Что теперь? Теперь немца кончать надо, когда выйдет,— другого нет...

В приступочке коптилка горела — потушить, что ли? Но немец, выходя, сразу внимание обратит, поднимет хай... Ну, Борька, не сумеешь немца по-тихому — хана тогда. А немец все не выходит, гад, чего-то с Петькой болтает... Но тут немец вышел...

Прижался Борька к стене, как влип в нее, дыхание затаил... Немец его не заметил, стоял к нему боком и замок прилаживал... Тут бы и наброситься на фрица, но сковало Борьку, как во сне бывает, ни рукой, ни ногой не пошевелить, а время-то уходит...

Запер немец замок и повернулся... И прямо взглядом в Борьку попал, и начала у него челюсть отваливаться. Видно, крикнуть хочет, а не может... Тут пружина Борькина и сработала — всем телом на немца, а руками за горло. Стукнулся тот головой о стенку каменную, а Борька до боли в пальцах жал его шею, пока не стал тот оползать, пока не ударилась об пол выпавшая из его рук винтовка... Подхватил Борька связку ключей и к двери... А попасть в скважину не может — трясутся руки. Но наконец повернул ключ, приоткрыл дверь, а за ней двое часовых как раз здесь сминулись и — тары-бары...

Скорей, сволочи, кончайте базар, расходитесь, бормотал про себя Борька, а они все болтали и болтали...

О проволочном заборе Борька не думал, да ни о чем он в эти секунды не думал, только ждал исступленно, когда эти часовые разойдутся... Вот закашлялся один, и услышал Борька шаги по снегу — отходят... Открыл дверь, оглянулся по сторонам — и к проволоке бегом. Но тут скользнул его взгляд на сани, что между домом и забором стояли, — осенило! Бросился к ним, подкатил к проволоке, поднял их, не ощущая их тяжести, прислонил к столбу, вскарабкался по ним кошкой почти до верхнего проволочного ряда, а тут уж, не жалея ни шинели, ни тела своего, продрался, перевалил тело, не забыв перед прыжком сани оттолкнуть ногой. Мягко они упали и даже откатились немного. Прыгнул. Не по-человечески, а тоже по-кошачьи, упав на четыре конечности, вскочил... И тут его заколотило. Он бежал, а колотун бил, не переставая, идя откуда-то изнутри, корежа тело и мешая двигаться.

Бежал он по утопанному, но не умом соображая, что так надо, что так он следов не оставляет, а просто инстинктивно избегая глубокого снега, по которому быст-

ро не побежишь, а хотелось все дальше и дальше оттуда и побыстрей.

Лишь отбежав не менее километра, свернул он в сосны, в снежную целину. Тут, утопая в сугробах, полз он, зная, что далеко ему по снегу не уйти, но темнота леса, большие стволы сосен вроде успокаивали.

И не ушел бы Борька далеко, кабы не выскочил случайно на проселок. Автомобильных следов не было, только санные, и то снегом припорошенные, значит, не свежие. Тут бежать было легко, и припустился он что есть мочи — дальше, дальше, как можно дальше от Бахмутова... Бежал, не зная куда приведет его этот проселок, но лишь бы дальше, лишь бы дальше, ведь смерть за ним гонится, ничто другое... За то, что придушил немца, застрелят сразу.

Столкнуться с кем по дороге он не очень опасался, дорога глухая, малоезженная, да и вряд ли ночью кто попадется. Опасался он погони. Как обратят часовые внимание, что сани сдвинуты, так сразу тревогу и забьют, обнаружат немца убитого. Если не обратят, то час может пройти и больше, пока немца того не хватятся, что не возвращается он долго от пленных. Тогда он далеко сумеет уйти. Но если б тревогу сразу сыграли, слышал бы Борька, пока по Бахмутову бежал, не мог не услышать, стреляли бы немцы, но не слышал же... Это чуть его успокоило, но темпа он не сбавлял — пока силы есть, надо бежать.

Дорога шла то лесом, то перелеском, то иногда и на поле выходила. Здесь Борька на минуту останавливался, осматривал все внимательно и только тогда через открытое место перебегал. Пришлось ему все же на шаг переходить. Успокоит дыхание, потом опять бегом. Как на марш-броске: бегом — шагом, бегом — шагом...

Часа два, наверное, прошло, как показалась впереди деревенька. Темная, без огоньков. Как ни хотелось зайти, обогреться, передохнуть, скурить сигарку, обошел ее Борька стороной. Рано еще об отдыхе думать. Недалеко еще ушел.

Крюк сделал порядочный, пока деревню обходил, и по снегу, без дороги все. Притомился, пока опять на утоптанное вышел.

Колотун его бить перестал, и начал он с мыслями помаленьку собираться. Опять «на хапок» у него побег получился. Без плана, без разума. На одном неистовом желании свободы, на инстинкте каком-то. Да, пожалуй,

раздумывать в таких обстоятельствах было и нельзя. Подумал бы о том, как через проволоку перелезть будет, и остановился бы тогда, не шмыгнул бы в закуток. Подумал бы, что с немцем можно и не совладать, что вряд ли голыми руками его возьмешь, и не решился бы, может.

Часа три, по Борькиным расчетам, он уже шел и километров пятнадцать должен уже протопать, не меньше. Если попадется вскоре деревня какая, можно, пожалуй, и передых себе позволить.

Но, когда встретилась деревня, не решился Борька в нее заходить, обошел кружным путем. Пока силы есть, надо идти.

И шел он... И расстилалась перед ним русская земля, своя, родная, с ее полями заснеженными, оврагами и взгорками, лесами и подлесками, но угрозная, таящая опасности, как бы чужая...

И стало казаться ему, что ничего у него в жизни не было: ни дома, ни большого города, а только одни бесконечные ночные дороги, одна только тьма и холод, одно только небо темно-серое над головой и одиночество.

Подумал он теперь о винтовке немецкой, которую мог взять и почему-то не взял, о котомке своей с неприкосновенным запасом, которую забыл на нарах,— а как бы все пригодилось.

А винтовку не взял потому, что, как стал немец оползать, охватило Борьку омерзение и страх от омертвленного им тела.

Когда увидел в стороне от дороги несколько домиков, силы у Борьки уже истощились и шел он на последнем дыхании.

Сапоги, доморощено починенные, разбились начисто; те куски шинели, что приладил к головкам, давно уже выскочили, и фланелевые портянки, сделанные из рубахи, торчали наружу. Хошь не хошь, а какую-то обувь придется просить в деревне, дальше так не пойдешь. Но это потом... А пока надо к этим домикам подойти, определить точно, нет ли тут немцев или полицаяв, и только тогда решиться можно, в какой дом постучаться.

Собак не слышать — вот что плохо. Когда немцы располагаются, собак они убивают, и если бреха собачьего не слышно — признак верный, что немцы тут.

С дороги Борька свернул и огородами, с тыла, к одному крайнему дому подобрался. Тихо. Света в окошках нет. Да и откуда — четвертый час утра, наверное, спят

все. Постучать? А вдруг немцы? Подошел Борька к скотному двору, попробовал ворота — заперты. Через щель прощупал, что задвинуты они изнутри брусом. Конструкция знакомая. Пошарил рукой по стене, наткнулся на гвоздь загнутый. Вырвал его с трудом замерзшими пальцами — и в щель. Стал в одну сторону брус этот отодвигать. Медленно шло дело, сантиметрами тот сдвигался, но все-таки услышал Борька, как упала одна сторона бруса. Начал потихоньку ворота приоткрывать — скрипят, проклятые... Еще немного... Приоткрыл. Проскользнул. Темно. Но устройство скотных дворов ему с детства знакомо. Должны быть где-то ступени на мост, а на мосту обязательно дверь, ведущая в дом.

Нашупал перила, поднялся и дверь рукой нашарил. Чуть дернул — открывается, не заперта, но скрип опять по слуху полоснул. Постоял Борька, прислушался — тихо. Подумал: чем бы дверь эту припереть, если в избе немцы окажутся? На какие-то минуты это их задержит. Развел руки, наткнулся на лестницу приставную... Ее приладить? Упереть в дверь и в стойку перил? Попробовал — не выходит. Узок мост, а лестница длинная. Поискал еще чего-нибудь подходящего. Лопата попалась. Прикинул — подходит. Теперь открывать можно.левой рукой за ручку двери взялся, а в правой лопата — все же оружие.

Открыл — темень непроглядная. Стал красться неслышно. Прошел сени. Еще дверь, самая страшная, потому как в комнату ведет. А кто в ней? Начал полегоньку открывать, и опять скрип страшный... Голову просунул, принюхался... Солдат, что русский, что немецкий, свой запах имеет — и кожей ремней, и железом оружия, и потом от белья, портянок, и, главное, табаком... Ничего такого Борька своими ноздрями не учуял и раскрыл дверь смелее. В окошки свет с улицы блеклый все же шел — и от неба и от снега, и Борька разглядел — пусто в избе. Если есть кто, то на печке.

— Хозяева... — прошептал он. — Есть хозяева?

— Кто там? — испуганно спросили с печки.

— Свой я...

— Какой такой свой?

И услышал Борька, как стал слезать кто-то с печи, кряхтя и подстанывая.

— Немцев у вас нет?

— Нету, слава богу, — на ходу ответил старик в белой рубахе и подошел к Борьке. Оглядел его в сумереч-

ном ночном свете, покачал головой и понял без Борькиных объяснений, кто он и что.— К фронту, что ли, пробиваешься?

— Да. Далеко до него?

— Погремливает ночами иногда... Старуха, слезай, вынь из печи чего есть. Покормить человека надо.

— Сейчас, сейчас, мигом я...— раздался старушечий голос.

Огня старики зажигать не стали. Так в темноте и подали Борьке полутеплых щей и две картохи.

— Постели-то нет у нас. На полу тебя устроим,— сказала старуха.

— Спасибо... А были немцы у вас?

— Два раза наезжали. Пограбили, что могли. Больше вряд ли придут. Нечего брать-то... Значит, надо тебе, сынок, в сторону Молодого Туда двинуть. Но в село не заходи, большое оно, немцы непременно там. Да Волгу перед этим перейти надо. Ну, и на север иди, на север, к Селижарову. Оттуда фронт и идет, как сказывают...— говорил старик.

А у Борьки глаза уже слипались, тело налилось усталостной истомой, плыло все кругом, и слова старика доносились будто издалека...

Проспал Борька досветла, а январский рассвет поздний, около девяти часов, наверное... Старик со старухой уже давно на ногах. Попросил Борька покурить. Дал хозяин самосаду, а сам на Борькины сапоги поглядывал и головой покачивал.

— Как пойдешь-то? Надо подобрать тебе обувь. Есть у меня валенки, недавно подшил, впору будут. А может, тебе военное снять? Полушубок, старенький правда, могу предложить. Спокойней будет в гражданском-то... На вид ты больно молоденький, в случае чего скажешь, что и не призывался еще... Ну, как?

— За валенки спасибо... А остальное...— подумал Борька и решил: — Нет, не надо. Как же я к своим без формы выйду? — сказал он и звездочку, которая в кармане была сохранена, рукой потрогал.

— Ну, смотри, дело твое...

Покормили они Борьку чем смогли, у самих мало чего было, а потом старик стал допытываться: как же это получилось, что бежали от немца, бежали и вдруг наступать начали, откуда силы взялись? Борька, как мог, разъяснил, а про наступления рассказал подробно, как они своим лыжным батальоном громили немцев по ты-



лам, как бросал немец технику свою, как драпал по зимним дорогам, как целыми взводами попадались ему замороженные фрицы. Обдумали они со стариком, как лучше Борьке идти — днем ли, ночью?

Днем идти, конечно, легче, все вокруг далеко видишь, но и тебя-то за версту видно. По дорогам, даже по здешним, глухим, все же разъезжают либо немцы, либо прихвостни их. А ночью побаиваются. И решили, что ночью, пожалуй, безопасней идти.

— В Трубине немцев нет, точно знаю. До него за полночь доберешься, а там спросишь... Так от деревни к деревне иди и спрашивай насчет немцев,— посоветовал старик.

На том и решили. Отвалялся Борька до вечера, набирался сил и тепла на предстоящую бессонную да холодную ночь, а как начало смеркаться, распрощался с хозяевами, поблагодарил за приют, за хлеб-соль и тронулся в путь-дорогу. Старик ему подарил штык от СВТ. Кто-то из бойцов отступавших забыл еще осенью. С ним Борька себя увереннее почувствовал, заткнул за ремень — все-таки холодное оружие.

Пошел он не особо шибко. Валенки были тяжелые, подошвы подшитые, огромные, да и пройти он себе назначил не так много — верст двенадцать до этого Трубина было. Да и дорогу старик объяснил хорошо.

В кармане табаку немного в носовой платок завернуто, спички еще те, Ольгой Андреевной даденные. Когда брал в руки коробок, вспоминал ее, и грустно становилось...

Делал теперь Борька перекуры, позволял себе посидеть несколько минуток в укромном месте, и было на душе поспокойней. С той ночью, которой из Бахмутова бежал, не сравнить. Но все же настороже был все время. И не зря...

До Трубина, наверное, несколько верст оставалось, как услышал Борька сзади лошадиное ржание. Метнулся в придорожные кусты, зарылся в снег, и тут полным аллюром проскакала мимо пара тяжело дышащих коней, запряженных в сани, а там человек шесть, а то и семь, но не немцев, а в гражданское одетых людей, но с винтовками... Полицай, что ли?

Только скрылись они за поворотом, только Борька привставать стал, как еще сани, тоже на паре, пронеслись лихо, оставив душок перегара. Выпивши, сволочи! И куда поехали? Знать, в Трубино? Эх, был бы в руках

наш ППШ или «шмайссер» немецкий... Нет теперь ночлега в Трубине, надо дальше двигать.

Обходил Борька Трубино далеко стороной и на дороге вышел за километр, наверное, еле виднелось сзади. И ругал он на чем свет стоит этих полицаев, из-за которых приюта лишился. Сколько еще топать до следующей деревни, и свободна ли она будет?

Теперь шел Борька, еще чаще оглядываясь, еще чуточку прислушиваясь. За спиной засветлила луна, и Борька ступал на свою длинную, колеблющуюся тень, которая кривилась и ломалась на неровностях дороги и была зыбка так же, как и его жизнь на этой своей, но чужой ржевской земле.

Около часу околачивался Борька вокруг небольшой деревушки, к которой добрался через некоторое время. Высматривал внимательно, нет ли чего подозрительного. Устал он и замерз уже сильно. Одна мечта — забраться в тепло, растянуться хоть на полу. Но что-то его настораживало в этой деревне, хотя была она и тиха и безжизненна. Каким-то чутьем ощущал он опасность, словно висело в воздухе что-то душное, предгрозовое, напряженное...

Однако к одному, крайнему, как всегда, дому подошел он почти вплотную, прижался к калитке и впился в темные окна, сверлил их взглядом, стараясь проникнуть через их черноту и разглядеть, что же за ними. Потом приоткрыл калитку и подошел к крыльцу, уже почти решившись постучать в дверь. Но опять что-то его удержало...

И тут дверь распахнулась с шумом. Нырнул Борька за крыльцо, замер. Большой мужчина в нижней рубашке, но в брюках и сапогах начал мочиться с крыльца. Мочился долго, потом зевнул, пробормотал что-то по немецки и ушел в дом, закрыв дверь.

Борьку била дрожь, стучало сердце, и только через несколько минут он, выругавшись про себя, побрел огородами от деревни, опять на дорогу, опять в ночь и холод.

Да, еще минута — и столкнулись бы они с немцем у двери, а там что вышло бы — одному богу известно. Может быть, усталый и замерзший Борька и не справился бы с таким верзилкой.

И потянулась снова снежная дорога. Поднявшаяся луна укоротила Борькину тень и сместила ее вправо, и была она какая-то скособоленная, горбатая... Неужто вид у меня такой, подумал Борька, и выпрямился, но тень

оставалась такой же несуразной и жалкой... Бродяга я с виду настоящий небось, мелькнула мысль, и всплыла в памяти песенка из «Последнего табора»: «Эх, расскажи, расскажи мне, бродяга, чей ты родом, откуда ты...» А потом другая всплыла песня, из «Заклученных»: «И иду я, иду, спотыкаясь, сам не знаю, куда я иду... Ах, зачем моя участь такая, кто накликал мне эту беду...»

Обе песенки к Борьке подходили, и стало ему себя что-то жалко, дом московский вспомнился, мать и Люба. Впервые за то время, как от Ольги Андреевны ушел... Где она, на каком фронте бедует? Хорошо, если при санбате каком, а если в роте санинструктором? Там пулю поймать запросто...

Тут увидел Борька тропку, протоптанную от дороги влево. Постоял, поразмыслил и пошел по ней — куда-нибудь выведет. А вывела она его к Волге. Неширока река здесь, и не скажешь, что Волга. Противоположный берег крутой, лесом обросший. Шла тропинка туда. По ней и подался. Вскарабкался по крутизне, прошел немного лесом и вышел к полю, а за ним домишки чернелись. Остановился. Рискованно по полю идти. Если немцы в деревне, увидят. Но больно он уже притомился, больно замерз; не в лесу же ночевать... Побрел через поле, поеживаясь, внимательно глядя на дома: если сверкнет огонек выстрела, падать сразу надо, может, успеешь от пули схорониться.

Но деревня была тиха, да и, судя по тропке узенькой, вряд ли кто, кроме местных жителей, по ней проходил. Санных следов нет. Подошел к крайнему дому — эх, была не была! — постучал негромко, штык от СВТ в руке приготовил.

Открыла ему женщина. Ничего не спрашивая, пустила в дом, расстелила постель, вынула из печи несколько вареных картофелин, дала Борьке, посетовав, что нет ничего больше, и только тогда спросила:

— Беглый?

— Да.

— Ну, отдыхай. Тихо у нас тут. Немцев и не видали.

На рассвете услышал Борька фронт... Издалека чуть слышными раскатами погремливало он, и слаще музыки для Борьки никогда не было. Даже слезы навернулись на глаза.

Днем рассказала женщина, что жил у нее с осени один окруженец, так по хозяйству помогал, и было ей легче перебиться, дите-то малое совсем, ну, а он деревен-

ский был, работу их знал, все умел, и все-таки живой человек в доме,— не так одиноко было в это лихое время.

Понял Борька, что в примаках был у нее тот парень, но подумал, что брали русские бабы примаков не для того, чтобы в постели не одной быть, а по жалости и по нужде, потому как действительно в такое лютое время быть бабе одной совсем плохо, что требует крестьянское хозяйство мужских рук, мужского умения, мужской силы.

— Где ж он сейчас? — спросил Борька.

— Пошел к старикам моим — за мясом. Кабана они зарезали. Недалече тут, в семи верстах деревня, и не вернулся. Потом нашли его застреленного. Небось на немцев наткнулся,— приложила женщина платок к глазам.

Сколько же они, гады, народу поубивали, подумал Борька. А он, телок, все немца, им убитого, вспоминает, все никак от гадливого чувства отделаться не может. Да, по-другому русский человек устроен, чем фашист. Для того убить человека — раз плюнуть. Привыкли, что ли? А у Борьки до сих пор осадок мутный.

И еще, конечно, мучило Борьку: что ребятам за его побег сделают? Хоть и не виноваты они ни в чем, за замком запертым находились, но все же лучше бы было, если не убил он немца насмерть. Тогда Петька бы выкрутился, ушлости у него хватало...

Вечером тронулся Борька... Держал он теперь путь на Хмелевку, про которую дед ему говорил. Молодой Туд обошел, пересек дорогу разъезженную, что в этот Туд вела, и шел частью тропками, частью проселками, частью по целине.

Направление держать было нетрудно — краснело небо на севере, мигало дальними зарницами, и не раз различал Борька многогромные раскаты «катюш». Прибавилось их у нас, значит, раз и на этом участке фронта работают. Ноги болели обмороженные, и шел он, конечно, тяжело. Когда на постое осматривал пальцы, были они все черные, раздутые. К своим попадет, положат его, наверно, в санчасть на недельку. С такими ногами какой он вояка?

Без привала эту ночь он осилить не смог. Забрался в лес, развел костерик и даже подремал немного. Днем-то не вышло ему поспать как следует — ребятишки шумели, старшенький приставал все с расспросами: не встречал ли он его папку на фронте?

К Хмелевке он подходил, когда уже светать начало. Оглядел ее со всех сторон, ничего подозрительного не приметил, но все же к крайнему дому подходил опасливо, тоже огородами. Постучал. Штык на всякий случай приготовил.

— Входи! — ответил молодой мужской голос. Тут струхнул Борька и отступил на шаг.— Входи, входи! Я тебя давно заметил, как ты огородами крался. Не бойся — свои.

Ну, чего делать? Входить или броситься в лес обратно? А, была не была! Напрягся Борька, штык в руке зажал, глаза прищурил и рванул дверь... Навстречу от окошка шагнул к нему парень молодой, в телогрейке черной, в брюках гражданских и в валенках, тоже черных. Остановился — смотрит, Борька тоже глаз не спускает. Так и стоят.

— Ну, чего, долго глаза друг на друга будем пялить? Спрячь штык-то!

— А ты кто? — спросил Борька.

— А ты кто? — улыбнулся парень.— Давай-ка вопросы оставим. Если ночлегу пришел просить, так и говори.

— Хозяин ты, что ли?

— Заместо него буду.

— Понял,— сказал Борька и присел.— Мне только день. Ночью к фронту двинусь.

— А чего к нему двигаться, он сам к нам идет. День, другой, и тут будет.

— Точно?

— По моим разведанным — точно.

— У тебя что, разведка тут налажена?

— А как же. Курить, наверное, хочешь?

— Хочу.

— Завертывай! — Вынул парень газетку и кисет с махоркой.

— С осени здесь?

— Да. Нас тут пятеро приبلудных.

— А немцы заходят?

— Заходят.

— И вас не трогают? — удивился Борька.

— В лес тикаем.— Парень засмеялся.

— А если неожиданно нагрянут?

— Такого быть не может. Я говорил — разведка налажена. Посты у нас. Дежури́м по очереди. Мне о тебе уже давно доложили.

— Во как!

— А иначе не прожили бы и дня.

— Значит, спокойно у вас передохнуть можно?

— Как в санатории. Жрать-то здорово хочешь? Потерпи малость, сейчас хозяйка придет.

— Потерплю.

— Что о войне думаешь?

— Повернулась война. Драпают немцы...

— М-да...— протянул парень.— Мы, пока фронт не услышали, все не верили, что наступают наши.— Помолчав немного, спросил Борьку:— С нашими встретишься, что говорить будешь?

— Расскажу все и в строй проситься буду. Оружие дадут, и в бой.

— Пряткий ты больно. Раз, два, и в дамках,— усмехнулся парень, потом оглядел Борьку.— Пацан ты еще совсем...

— Мне бы винтовочку где-нибудь найти, чтоб своих в полном боевом встретить.

Опять усмехнулся парень, покачал недоверчиво головой:

— Несмышлениш ты... Винтовка у меня есть, да разве в ней дело...— сказал и задумался.

Так они молча и докурили. А потом Борька спросил, чтоб молчание перебить:

— Хорошая хозяйка-то у тебя?

— Э, браток, они все здесь хорошие... Я, почитай, с самой Белоруссии пробивался, так нигде отказу ни в ночлеге, ни в еде не видал... Памятник после войны русской бабе ставить нужно, вот что. А к этой... к этой вернусь после войны, ежели живым останусь... муж-то ее наверняка убитый, а мы с ней хорошо поладили.

— Сам-то откуда будешь? — поинтересовался Борька.

— Костромской я. А кадровую на западе служил. Той осенью, кабы не война, отслужил бы.

Пришла хозяйка, поздоровалась. И вправду на вид приятная. Оглядела Борьку да руками всплеснула:

— Посмотри, Паша, что с головой-то у него!

— Чего? — занедоумевал Борька, ощупывая свою голову.

— Взгляни в зеркало-то,— продолжала хозяйка и, сняв со стены засиженное мухами зеркальце, протянула Борьке.

Взглянул он впервые за много дней на лицо свое, худящее да обросшее, и увидел на ежике волос своих

полосу белую, ото лба идущую до самого затылка,— по-седел он! И когда, неизвестно. То ли когда в машине немецкой сидел и трепыхался, то ли когда немца душил? Но факт налицо — шла по темному белая полоска.

— Да...— покачал головой парень.

— А ты говорил, пацан я,— улыбнулся Борька.

Сели завтракать... Тут еще один примак пришел, и стали они рассуждать, как деревню спасти, чтоб не спалили ее немцы при отходе. Три винтовки у них на пятых да по обойме патронов — не густо. Ничего так и не придумали, решили — обстановка покажет, что делать.

А фронт к ночи опять затарахтел. Вышел Борька на улицу, увидел — мерцало небо зарницами и дальними всполохами.

Неужто приходит конец его мытарствам? Неужто скоро соединится он со своими? Даже не верилось Борьке, боялся он распахнуть душу для радости. А, чем черт не шутит, вдруг случится что!

Уговорили его примак дальше не идти, а ждать наши войска здесь. Пожалуй, и верно. В сумятице боев угодишь еще под свою пулю или немецкую...

Два дня прожил Борька в Хмелевке, и все грозней гремел фронт, все ярче по ночам горело небо...

И вдруг на рассвете тревога! Прибежал дед запыхавшийся — двигаются немцы к деревне! Оделись быстро. Пашка винтовку с чердака приволок, вбежали в избу остальные ребята и к Пашке — что делать? Пашка у них вроде за старшего.

— Айда на запасные позиции! — скомандовал тот, и дали они ходу через огороды, потом через поле в лес.

Там, на опушке, но со стороны неприметный, стоял сруб, дом недостроенный, без крыши, но с подполом. Здесь скотина чья-то стояла, и сена было много заготовлено, и было отсюда хорошо видать и дорогу, к деревне ведущую, и лесок, из которого она шла, и саму деревню.

По пути прибились к ним несколько подростков деревенских, лет пятнадцати-шестнадцати. Тех в подпол сразу затолкали, чтоб не мешались. Двое из примakov тоже туда нырнули, выскочили с винтовками. Распределили места для наблюдения, расположились и задымили.

У Борьки больно хорошо место у проруба оконного — обзор что надо! Он по привычке уж сектора обстрела

наметил, ориентиры определил и с завистью поглядывал на Пашкину винтовку, но попросить не решился.

Около часу прошло... Спускались по очереди в подпол греться, там печурка была, но Борька чуть руки погрееет и выскочит — не хочется пропустить, как немцы драпать будут.

И дождался... Вышли из леса сперва несколько человек, огляделись, а потом потянулись... Но налегке шли, без орудий и техники, только подвод много было, разным барахлом груженных. Машин не было — непроходимая тут для них дорога. Бросили, зная, где-то.

Кликнул Борька остальных ребят. Вылезли все пятеро — смотрят, затаив дыхание, и разные, видать, их думки одолевают. Некоторые, что ни говори, обжились здесь, слюбились с бабами, может, по-настоящему, а скоро разлука, скоро война их отсюда выволочит и кинет в бой, из которых то ли вернешься живым, то ли нет... Но Борька-то сиял. Свою войну с немцами, малую, он выиграл. Вот-вот к своим примкнет.

А немцы тянулись и тянулись... Не меньше полка прошло, а конца не видно. Шли понуро, перевязаны платками да шарфами, руки помороженные в карманах, тяжело шагали, усталые невпроворот.

Зачесались у Борьки руки — прицельно отсюда можно бить...

— Ребята, а если... — и щелкнул он пальцами.

— Сдурел, что ли, — сказал один из примакон, здоровый такой, сгреб Борьку увесистой лапой и сдвинул от выруба. — Настреляешься еще, вся война впереди...

Стала редеть немецкая колонна, слитность свою потеряла, и брели уже группками по несколько человек, а то и поодиночке...

И тут вспыхнул факелом крайний дом во Хмелевке, в котором Борька приют имел. Наверное, плеснули немцы бензином на соломенную крышу, потому как огонь с нее занялся.

— Полькин дом подожгли, гады! — криком крикнул Пашка и бросился было туда, щелкнув затвором, но остальные ухватили его и удержали.

А из деревни уж слышно — заголосили бабы и несколько выстрелов раздалось... Окаменели у примакон скулы, глаза в землю уперли — переживают. А чем помочь? Что сделаешь? С тремя винтовками на полк не попрешь.

Тем временем из леса опять немцы потянулись. Толь-



ко удивился Борька, что лошади у них какие-то не такие — помельче и похудее. Поднапряг зрение, взгляделся как следует — да никак наши это! Словно горячим чем-то окатило Борьку.

— Наши это! Ребята, наши это! — вскрикнул он и, вырвав из Пашкиных рук винтовку, прыгнул с выруб-ба и — бегом!

— Куда ты, мать твою! Стой! Немцы же это! — заорали ему вслед примачи, но он не слушал их, бежал с колотящимся сердцем, задыхаясь и шепча: «Наши, наши, наши это...»

И чем ближе подбегал, тем сильнее распирало его, нет, не радость, этого мало сказать, а захлестывающее чувство необыкновенного счастья, какого никогда не испытывал... Когда же услышал в рядах идущих родной русский матюжок, не сдержал восторженного вскрика.

Один из колонны остановился и, держа ППШ наизготове, смотрел на подбегающего Борьку, а остальные шли, не обращая внимания. На него-то и налетел Борька, чуть с ног не сшиб, стиснул в объятиях и забился во всхлипах, ощущая, как омокредло лицо от горячих, несдержанных слез.

— Ну, ладно, ладно, чего ты? Отцепись, некогда нам... — вроде недовольно, но на деле растроганно твердил тот, полегоньку освобождаясь от Борьки. — Скажи лучше, немцы где?

— Только прошли. Видишь, деревню жгут, гады. Там еще.

— Рота! Развернуться к бою! Направление — впереди стоящая деревня. Бегом марш! — скомандовал тот и, оттолкнув Борьку, побежал. Тут и заметил Борька у него три кубаря в петлицах.

Колонна быстро развернулась в цепь и побежала к деревне. Кто-то потянул «ура-а», остальные подхватили, и раскатилось оно, не особо слитное, не особо громкое, не особо грозное, но влившее в Борьку такую силу, такой восторг, что, позабыв обо всем пережитом, он тоже разодрал рот и, крича «ура» громче, пожалуй всех, понесся в рядах атакующих, любовно сжимая в руках родимую, образца... дробь тридцатого и не позабыв подать патрон в патронник.

Но тут брызнула из горячей деревни пулеметная очередь по развернувшейся роте, прижала людей в снег. Борька же не залег, только приостановился на миг.

— Давайте, ребята, давайте... Сожгут же гады де-

ревню,— не кричал он, а хрипел простуженным горлом, обернувшись лицом к бойцам.— Давайте, родненькие...

И бойцы поднимались, прибавляли бегу, несмотря на поющие вокруг пульки, рябившие около них снег, с удивлением глядя на какого-то суматошного нового бойца, который вдруг ни с того ни с сего вздумал ими командовать, да и не только командовал, но и бежал впереди всех, крича как оглашенный, и которого ни одна пуля не брала, будто заговоренного...

А Борька все хрипел:

— Скорей, ребята, скорей... Сожгут же, курвы...— И бежал, опережая остальных и увлекая их за собой тем порывом, которым была полна его душа,— со своими он, со своими, и — в бою... Так вперед же, вперед!

## «ТЫ ПРОШЕЛ СТОВЕРСТЫЙ ПУТЬ...»

---

### ПИСЬМО ФРОНТОВОМУ ДРУГУ

**Д**орогой Михаил! Вот и наступил 1985 год — год сорокалетия нашей Победы.

Думали ли мы, гадали, что доживем до этой даты? Конечно, не думали. Особенно там, на войне. Но вот дожили... Честное слово, не верится даже. Все чаще и чаще вспоминаю нашу встречу в восемьдесят втором, то есть ровно через сорок лет, почти через всю жизнь. А встретились-то, и будто не было их, этих лет, будто совсем недавно видел тебя, вышедшего из боя, окровавленного, побелевшего от потери крови и от всего того, что творилось на том овсянниковском поле — твой взвод лежал еще под огнем, а моему уже была дана команда «Вперед!». Мы не успели ни о чем поговорить. По-моему, я помог тебе перевязаться и после этого подтолкнул — иди, мол, скорей в тыл, пока не добили, а ты глядел на меня как-то виновато, переминаясь с ноги на ногу... Я понимал, что тебе трудно уйти и оставить меня — ведь мы договорились, что в случае чего никогда не оставим друг друга на поле боя. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вынесем! Тем более после того, как — ты, конечно, помнишь! — мы с тобой увидели на рассвете, как почти на середине «нейтралки» очнулся и поднялся раненый, не вынесенный после вчерашнего боя, сочтенный, видимо, убитым, и как почти час, то падая, то поднимаясь, он добирался до исходного рубежа, то есть к нам. А мы все, жаждающая помощь ему, боялись выбежать на поле, потому как были уверены, что тогда они добьют его... Помню, как рвался наш ротный санинструктор и как удерживал я его, но не удержал: когда раненый еле-еле все же добрался до наших позиций метров на сто и упал, видать, потеряв уже сознание, — санинструктор пробежал тяжкие сто метров и притащил на себе лейтенанта в маскхалате, с очень большой раной в бедре.

Да, я понимал, как трудно тебе было тогда оставлять меня, а я, радуясь, что ты остался жив, в то же время знал, что плохо мне будет без тебя, ведь перед тобой и Ивана Чебакова ранило, тоже из нашего, дальневосточного полка, с которым я в одном взводе в полковой школе был. И никого уже в роте из наших. Один лишь Саша Пахомов, но он был во второй роте... А ведь в бою лучше, когда рядом с тобой твои старые товарищи, с кем ты два с лишним года военную службу нес. Сам знаешь, бригада наша формировалась всего лишь месяц. Это потом, уже в боях да в быту передка неуправляемым нашлись новые товарищи, на которых положиться можно, а в первые дни еще не раскрылись люди, мы еще не знали как следует, кто есть кто. К сожалению, у меня так получилось: только с кем сдружишься, в одном шалашике заночуешь, полкотелка пшенки разделишь, одну сигарку на двоих засмолишь — а его через неделю-полторы либо убивают, либо ранят, и опять ты один... Страшно это и больно.

Кстати, не знаешь ты, как героически — другого слова, виноват, я не найду — вел себя наш санинструктор?! После первого ранения он не вышел из боя, а продолжал помогать остальным раненым, перевязывал их. И после второго — в ногу — тоже оставался в строю... А притащили его после боя с семью пулевыми ранами. Помню, стащили с него гимнастерку, чтоб перевязать; а на груди, на руках — черные дырки. К счастью, как потом говорил мне наш батальонный врач, когда я заходил к нему, бывая вызванным в штаб, — все-таки выжил наш санинструктор. Довезли его до санроты, там малость подлечили и отправили в тыловой госпиталь. Но вот жаль, не помню его имени и фамилии. А может, жив и, прочтя эти строки, поймет, что это про него они?!

Увы, не помню я и фамилии нашего военврача, хотя дружили с ним, но ведь все больше по званию обращались: «товарищ военврач!» — и весь сказ. А как хочется, чтоб и он живой был, чтоб откликнулся. Много он мне хорошего сделал. Когда мы выезжали из Бородухина, что под Малоярославцем, он взял к себе в вагон мою мать и Галю. Их-то ты помнишь, разумеется. Нет их уже. Был я сравнительно недавно в Бородухине, все вспомнил...

Помнишь, как каждую ночь — тревоги, и каждую ночь, одетый в полном боевом, я прощался с матерью и с Галей, думая, что все, уже трогаемся на фронт и боль-

ше не вернемся. А фронт-то уж недалек был, тогда...

И так ночей пять-шесть подряд... Я уж, каюсь, бога молил, чтобы уйти по-настоящему, потому как прощания эти среди ночи измучили всех до предела, уж больше выдерживать было невозможно.

А помнишь ты, конечно, и нашего ротного, убитого в первом бою. Как обидно, что тоже не сохранил в памяти его фамилию, а он, помню, когда приехала мать в Бородухино, разрешил мне отделиться от взвода и жить с ней в отдельной избе. Приходил к нам несколько раз вечером, сидел грустный-грустный, а на прощанье сказал:

— Счастливый ты, сержант, перед таким делом мать повидал.

Многие тогда ребята приходили к нам в избу под всякими предлогами, чтоб поглядеть на мою мать. Наверно, им казалось, что это их мать, и хоть одним глазком они хотели взглянуть на нее. Ну, а ты приходил часто. Цела у меня и хранится твоя открытка из госпиталя, написанная моей матери. Вот она:

«Здравствуйте, тов. Кондратьева! С боевым приветом, друг Вашего сына Вячеслава — Михаил Помогаев. Сообщаю Вам, что с 1. 04. 42 с Вячеславом я расстался, то есгь меня ранило в руку, и я вышел с поля боя, а Вячеслав оставался там. После гибели комроты Вячеслав принял командование роты на себя. Дальнейшую судьбу его я не могу Вам описать, так как сам не знаю, где он сейчас находится. Если он ранен и Вам сообщил адрес, то перешлите мне. Комвзвода л-та Четина убило. Прощу Вас, Вы хоть меня не забывайте, а то очень скучно, притом после такой катавасии. Пока до свиданья. Целую. Ваш знакомый Михаил».

В общем, ты тогда здорово успокоил мою мать...

Должен помнить ты и лейтенанта Чиркова. На Урале, на формировании он был командиром нашей первой роты, а потом его перевели в штаб — ПНШ-1. Взят он был в армию с третьего или четвертого курса художественного института, но вот из какого города — или не помню, или не знал вообще. Почти каждый день он приходил на передовую, ободрял нас, а когда было совсем тяжело: и потери ежедневные, и недоед, и вода кругом, — приходил каждый день. Очень помог мне тогда Чирков. Не знаю его судьбу, вдруг жив и прочтет эти строки и узнает, что я помню его все эти сорок с лишним лет и не забуду уже до конца своих дней...

Не знаю я судьбу и нашего однополчанина Пахомова. Когда меня ранило, он остался. Не помню, простились ли мы с ним тогда? Или нет? Но из памяти он не уходит. Тогда было чувство вины, что меня вот увозят в тыл, а он остается, и до сих пор томит меня эта вина. В шестидесятых годах я посылая запрос в город Горький, где он жил до призыва. Мне прислали адрес другого Пахомова, который не воевал, а работал на Сортовском. И знаешь, что мне написали в ответе из адресного бюро, что восемнадцатых и двадцатых годов рождения из Пахомовых у них остался только вот один этот Пахомов. На весь город Горький. Посылая я запрос и на Чебакова. Ответили — нет такого.

В общем, из пятидесяти младших командиров, которые попали в нашу 132-ю стрелковую бригаду и кто был с нами подо Ржевом, пока никого не разыскал, кроме тебя, хотя во всех своих ржевских вещах писал настоящие названия деревень — Усово, Овсянниково, Паново и Черново, где стоял штаб батальона. А никто не откликнулся. И фамилии многих забыл, но вот тех, кого помню и знаю точно, что погибли, — надо помянуть нам. Это Толя Кузнецов и Слава Попугаев. Они погибли в первую ночь, когда немцы после нашего захлебнувшегося наступления поздно вечером открыли сильнейший минометный и артиллерийский огонь и по переднему краю, и по ближним тылам. Вот один из снарядов и угодил в сарай, где расположилась на ночь рота Кузнецова. Это была третья рота, и находилась она в резерве, в Чернове...

Сравнительно недавно мне звонил Яков Чернявский.

Ты, конечно, помнишь его по полковой школе. Со здоровьем у него было плохо, обезножел он после ранений. И сказал он мне, что я мало написал о нашей предвоенной службе, что лучшие воспоминания его юности — это Дальний Восток и наша армейская жизнь. А ведь доставалось. Помнишь? Особенно в полковой школе. И тревоги ночные, и марш-броски по сорок километров, и строевая до упаду, и тактическая подготовка до седьмого пота, и рытье окопов, и рукопашный... А вспоминается все действительно хорошо. Тогда, до войны, закалила нас армия и физически, и морально. А вот многого мы тогда, к сожалению, не узнали: не знали радиуса действия гитлеровских мин, не знали, что

ночью фашистская передовая будет освещена ракетами, что, кроме проволочных заграждений, они обнесут весь свой передний край консервными банками на проволоке,— заденешь, и сразу пулеметная очередь в это место. Многого мы, увы, тогда не знали и не умели. Пришлось все это на ходу осваивать, на передке. Но ведь, помнишь, уверенность в победе у нас всегда была огромная, и она не покидала нас даже в самые тяжелые моменты...

Кстати, тогда на Дальнем Востоке, еще до войны, мы чувствовали ее приближение, наверно, как-то яснее, чем люди на западе страны. Поэтому и служили как следует, выкладываясь на полную катушку. А в мае сорок первого, когда уже учились на курсах лейтенантов запаса, предвкушая скорое увольнение — к сентябрю обещали отпустить,— появилась большая статья в нашей печати «Миф о непобедимости немецкой армии». Вот тут-то мы и задумались, что вряд ли к сентябрю быть нам дома, что ждет нас, видать, другое, не такое радостное, а страшное и тяжелое дело. Помнишь разговоры в курилке после этой статьи?

Уж если вспоминать нашу довоенную службу, то необходимо вспомнить и старшего лейтенанта Ширшова, заместителя начальника полковой школы по строевой части. Он был примером для подражания! Всегда спокойный, выдержанный, интеллигентный, умница. И во всех ночных зимних походах — впереди колонны в фуражечке и в хромовых сапожках, а морозы-то дальневосточные — будь здоров! — нам тоже не забыть. Мы с ног валимся от усталости, а он все такой же ровный шаг держит, будто мы уже не отмахали тридцать километров. А лет ему тогда было не меньше тридцати, по нашим юношеским понятиям, чуть ли не старик. Помню, я нечаянно сжег у печки ботинок, и Ширшову подумалось, что я это нарочно сделал, чтоб из полковой школы выгнали — ведь это на год сокращало срок службы. Так он мне сказал — до сих пор помню:

— Не бойтесь этого лишнего года, он вам будет нужен для всей дальнейшей жизни. Научитесь работать с людьми, командовать людьми — это не просто «раз-два-три», а именно работа, узнавание характеров, поиски подхода к человеку, интереснейшее дело... И оно пригодится вам на всю жизнь.

Я, конечно, случайно сжег ботинок, но, честно говоря, служить три года не очень-то хотелось, лучше бы в роту рядовым и через два года — увольнение! Но тогда, пос-

ле разговора с Ширшовым, я как-то понял, что, наверное, мне — московскому парню — действительно неплохо послужить в армии лишний годик. И, кстати, год командования отделением многое дал, и вроде любили меня и уважали ребята. Помню, как они провожали на фронт из Приморья, как каждый что-то подарил на дорогу — кто нож, кто шерстяные носки, кто бумагу для писем... В общем, кто что мог. И прощались мы трогательно, даже обнимались...

Так вот, заговорил о Яше Чернявском, а не договорил. Мы с ним после войны часто встречались, жил он в Москве сначала на Трифоновской, а потом совсем рядом со мной, на Божедомке, но ни разу не рассказал он мне одну историю... А вот год назад при встрече, когда выяснилось, что лечились мы после ранения с ним в городе Иванове в одно и то же время, только в разных госпиталях, — рассказал. Лежал с ним в палате майор. После ранения он получил ограничение второй степени, и направили его командовать курсами интендантов: надо было негодных для строевой службы после ранений офицеров переквалифицировать для интендантской службы. Ну и предложил майор Яшке пойти к нему на эти курсы, взводным или замом, уж не помню. Ну, понимаешь, тыл, война где-то далеко, хватил уж Яшка горячего в пехоте, получил второе ранение, кажется, можно было и подумать, тем более сорок четвертый год пошел, война двинулась к концу. Подумал Яша — «хорошо, конечно, но а как же война без меня?» — и, представь себе, отказался, вернулся в строй. Опять пошел в пехоту, где и был очень тяжело ранен в третий раз.

Понимаешь, когда мальчишки на фронт рвались — это ясно: романтика и все такое прочее, но человек, уже испробовавший этого хлеба, уже дважды раненный, уже знающий, что впереди, отказывается от тыла — это не что иное, это настоящее понимание своего долга, жажда расплатиться с врагом до конца. «А как же война без меня?» Вот это и было характерным для нашего поколения.

В шестидесятые годы, когда война опять навалилась на меня, я разыскал в Москве Сашу Мовергоза. Ты должен помнить его: в полковой школе он был в моем взводе. Хотелось мне разузнать о дальнейшей судьбе нашей бригады, но тогда он не захотел мне рассказывать:



— И не спрашивай, ничего о Ржеве не хочу помнить!

Правда, сказал лишь, что видал убитого Кирилла. Фамилии его я не помню, но его красивое лицо перед глазами. Он был призыва тридцать восьмого года, тоже москвич. Вот и все, что знаю, но помню: всегда любовался его высокой атлетической фигурой, выправкой, его немного надменным, но приятным лицом... Да, какие ребята погибли...

Помянуть нам надобно и нашего полкового поэта Илью Лапшина.

Он оставил суровый Хабаровский край, когда над его Москвой нависла угроза. Он, можно сказать, «выпросился» на фронт и в январе сорок второго уехал защищать столицу. Не его вина, что он лишь в эту пору попал на войну. Впрочем, «попал» не то слово — почти убежал на фронт. Напросился из запасного полка сопровождать эшелон на фронт, заместителем начальника эшелона по политчасти — и удрал... Ему предложили быть переводчиком при штабе (он окончил «немецкую» школу, да и вообще этот язык знал с детства), но он отказался — пошел в пешую разведку и... был убит при форсировании Днепра. Осталось его последнее стихотворение, датированное сорок третьим, где он пророчески писал о нашей будущей фронтовой тоске:

А может быть, мы, ветераны, будем  
Дремать на солнце где-нибудь в Крыму,  
Быть может, мы возьмем и позабудем  
О годах, растворившихся в дыму!..  
Но — так не будет! Слишком многим были  
Для нас года и бедствия войны,  
Окрепли в них мальчишеские были,  
Сгорели в них мальчишеские сны...

Остались его письма, стихи. Правда, стихов немного. Да и откуда им взяться, если в двадцать три года он погиб... Помянем и его, Михаил! Помянем! Мы не имеем права забывать ни о ком, кто остался навсегда на полях войны. Никогда!

И вот еще кого нам надо помнить всегда — наших матерей, которые ждали, бесконечно долго и терпеливо ждали наши треугольники, которые мучились, когда вести с фронта не приходили. Помнить об их счастье, когда мы вернулись живыми, и об их отчаянии и горе, которые не передать словами, когда вместо знакомого треугольника приходила казенная бумага — пропахшая

порохом и кровью похоронка. И из них, матерей тех, кто воевал, увы, уже мало осталось в живых, но, к счастью, еще остались... И великая им благодарность, великая им и трепетная наша любовь до конца наших дней.

И еще, Миша... Ты ведь тоже прошел стоверстный путь от передовой до эвакогоспиталя, путь среди разоренных, полусожженных русских деревень. Ты шел зимой и, конечно, находил приют и ночевку в этих избах, где наши русские женщины принимали тебя, кормили чем бог послал — а бог тогда мало что посылал, — делились последней, может, картофелиной, последним куском хлеба. А сколько нас, раненых, прошло через каждую деревню — тысячи! И каждую ночь в доме ночуют чужие люди, грязные после передка, порой и вшивые, но пускали нас в избу. Не помню, чтоб хоть в одной деревне отказали в ночлеге, не накормили. Как же не помянуть нам этих деревенских женщин — матерей солдат, жен солдат, вдов солдат (многие уже были вдовами!), не помянуть с благодарностью и нежностью! Как бы мы прошли тот путь — раненые, голодные, измученные — если бы не они? Ищу на карте эти деревни, но не все уцелели, да и названия некоторых позабыл, а ведь надо было бы давным-давно съездить, зайти в те избы, где в годы войны давали нам приют, и поблагодарить от души. Но нет, крутила нас жизнь, мотала, не до сантиментов вроде было, а сейчас вроде уже и поздновато: не найдешь никого, призабылось... Но если попадется им это письмо в руки, пусть знают они, что мы не забыли их...

И вот еще кого надо вспомнить нам доброй памятью — девочек сороковых годов, сестричек госпитальных и санбатовских. Они в нашем восприятии связывались и с домом, и с нашими оставленными девушками, просто, как я говорил, уже одно то, что около тебя в беленьком, чистеньком халатике стоит девочка, глядит на тебя добро, с участием, с пониманием, — уже одно это помогало нам переносить боль, идти смело на операции и выздоравливать быстрее.

Да и на войне, когда встретишь девчушек в военной форме, всегда как-то подтягиваешься, приободряешься — раз уж девчонки воюют, то нам-то сам бог велел. Помню, возвращался я из санроты на передовую после легкого ранения. Шли мы вдвоем, настроение, честно говоря, не очень: знаем уже, что нас ждет, трусим не трусим, но идем как-то напряженно, с натугой. И вот видим, две девчушки цветы собирают. Подошли, поздоровались...

Время как раз к обеду, у нас в вещмешках — сухари, концентраты. Девочки картошки из деревни принесли, разожгли костерик, печем картошку, варим пшенку. И так нам хорошо на душе стало, что встретились на пути эти военные девочки-связистки. Одна москвичкой оказалась — значит, сразу о Москве разговоры, где кто жил, на какой улице, в какой школе учились и тому подобное... Поели, попили кипяточку, искурили по сигарке, распрощались тепло, пожелали они нам: «Удачи вам, мальчишки!» И пошли мы на передок уже совсем с другим настроением, оставили нас тяжелые мысли, как-то по-другому все стало видеться. Помню москвичку. Олей звали, на Малой Бронной жила, адрес записал и даже заходил после войны, но не нашел. Видно, неверно номер дома записал или истерлась та запись на листке бумаги, не разобрать номер. Но не стерлась из памяти та встреча.

Да, разумеется, «У войны — не женское лицо», как назвала свою потрясающую документальную повесть Светлана Алексиевич, но насколько труднее для нас была бы война, не встречай мы на ее дорогах милых и таких родных девушек в серых солдатских шинелях, вдохновлявших нас, поддерживавших наше мужество, даривших нам девичьи улыбки и теплые взгляды. Нет, не забыть нам этих девчушек сороковых! Их подвиг выше нашего, потому что действительно у войны — не женское лицо, потому что действительно женское естество, дающее жизнь роду человеческому, несовместимо с жестокостью и ужасом войны. Но девочки пошли на нее, и, что опять удивительно, уже будучи ранеными, уже познав кошмар боев, они все равно из госпиталей опять рвались на фронт, в строй...

...Отвлекся я, Миша, от нашей дороги на фронт. После эшелона был длинный Селижаровский тракт и трехсуточный марш. Шли ночами, и почти с самого начала пути впереди и справа маячило зарево над передовыми. Мы шли, как я потом выяснил, вдоль Волги, а за ней шли бои, они-то кровавили небо, и эти всполохи сопровождали нас всю дорогу... Страшно ли нам было? Признаемся — страшно! Но когда наконец дошли и уже вблизи увидели «иллюминацию» передовой — вспышки ракет, красные пунктиры трассирующих, слышали гул, а может, рык передовой, то появилось уже какое-то глу-

пое любопытство, и уверен я, что ежели повернули бы нас обратно, в тыл, то многие бы почувствовали какое-то разочарование.

Но все-таки было страшно. А ты помнишь первый труп на тропке в черновском лесу? Проводник, ведший нас на передовую, запросто перешагнул через него, а мы... Мы остановились, столпились, сзади напирала те, кто еще не видел, а потом стали обходить, царапаясь о кусты... А потом — поле! В предрассветной дымке страшное поле боя, на котором серыми бугорками — убитые... Мы не могли считать их, но их было много, очень много, почти все поле... И тут страх сжал сердце. Знали же, что сегодня нам идти по этому полю и у нас нет никаких, абсолютно никаких шансов не разделить долю лежащих на поле. Но вот наступил этот час, и твой взвод пошел первым. И как пошел! Ни одного отстающего, цепью, с интервалами, как на ученье. Вроде фашисты не сразу открыли огонь, позволили пройти вам метров сто — сто пятьдесят, а потом началось... Пулевой обстрел, минный, бризантные, рвущиеся над головами снаряды. Потом справа от вас пошел мой взвод. Еще правее — третий. Мы сравнялись с вами, но от твоего взвода уже осталось мало...

Однако грустноватое получается у меня письмо, Миша, но ведь праздник Победы с «сединою на висках». И он не только праздник, но и какое-то осмысление того, что совершило наше поколение, какие неисчислимые жертвы понесло, и память об этом — священна. Мы должны свято помнить и горькие дни сорок первого и сорок второго, так же, как и победные последующие годы, когда гнали врага на запад. Без сорок первого не было бы и сорок пятого!

Признаюсь тебе, трудно пишется это письмо, потому как проходят перед глазами те годы — и наша дальневосточная служба, и эшелонная дорога на запад, и первая бомбежка в Лихославле, и налет двух «мессеров» на наш эшелон, при котором первым и единственным убитым оказалась женщина. Помнишь? Как будто она была аптекарем из санроты. И то, что первой в нашей бригаде погибла женщина, было столь неестественным... По-моему, мы похоронили ее на следующей станции.

Странная штука — память! Ты при встрече вспоминал, как бомбили на станции выгрузки, а у меня это совсем вылетело из головы, и только после того, как ты сказал, начало всплывать что-то. Верно, бомбили, но мы

уже выгрузились и стояли, наверно, в полукилометре от станции. Ты вспоминал кустарник в овсянниковском овраге, а мне он помнится совершенно голым, только одни воронки, хотя я тоже, уже после боя, бежал по нему за оставленным ротным телефоном. Уж не помню, почему его оставили на поле боя, то ли убит был телефонист, то ли сильно ранен, но метров двести пришлось мне за ним пройти, ну и обратно тоже. А вот обстреляли меня или нет — не помню совсем.

А сейчас овсянниковский овраг порос настоящим лесом. Я прошелся по нему до самых бывших немецких позиций.

Это была вторая моя поездка. Первая — в шестьдесят первом, через девятнадцать лет, когда бывшая передовая показалась мне почти такой же, какой и была. Только воронок больше. Тогда я и познакомился с семьей Разумихиных, единственной семьей, возвратившейся в родное Черново. Это была большая семья — два старика, две дочери и сын. Сейчас осталась лишь одна Антонина Петровна Разумихина, и живет она уже не в Чернове (недавно сгорело два дома), а в Усове, которое, как помнишь, стояло левее Овсянникова и которое безусловно тоже брала наша 132-я стрелковая бригада... Немцы выселили их из Чернова в деревню Сухоши, что рядом с Овсянниковом, и они видели все наши наступления, а когда вернулись — Чернова-то не было, пришлось копать землянки. Это они поднимали ржевскую землю в сорок третьем году, вспахивая поля лопатами, так как не было даже плугов, в которые можно было бы впрячься. Представляешь — лопатами! Колхозные поля, где лопата наткалась все время либо на кости, либо на металл... О судьбе этой семьи рассказать бы подробно, ведь она такой же участник войны, как и мы с тобой, хоть и не держали они в руках винтовок. Мария Петровна оставила мне перед смертью школьную тетрадочку, в которой, как смогла, описала жизнь семьи и при немцах, и после освобождения.

...Да, Миша, трудно пишется это письмо, тяжело вспоминать те годы, но надо. Непременнно надо, потому как память о войне — святая память. Святая и нетленная! Будем помнить всегда до конца наших дней о том, что совершил наш народ в той войне, не зря названной Отечественной, когда судьба Родины действительно находилась в наших руках, о войне, которая принесла мир нам и всему человечеству.

*Москва, январь 1985 года*

## «А МЫ С ТОБОЙ, БРАТ, ИЗ ПЕХОТЫ...»

Газетная заметка: опять где-то обнаружена невзорвавшаяся авиабомба в четверть тонны весом. Прочитаешь и невольно ловишь себя на мысли: ну, эта, наверное, последняя, теперь, пожалуй, уже все... Но проходит несколько месяцев, и снова промелькнет в газетах: строители копали траншею для фундамента и наткнулись на остатки склада боеприпасов; выбирали рыбаки трал и обнаружили торпеду. Сколько лет минуло после войны, сколько раз саперы проходили здесь с миноискателями, сколько раз тралили фарватеры и прибрежные воды, а выгрести все подчистую никак не удается. Война прокатилась по такой огромной территории, так много было изготовлено смертоносного металла, что зловещее ее наследство — несработавшие снаряды, мины, бомбы — до сих пор таит многоотрадальная наша земля...

Как похоже все это на то, что происходило с литературой о Великой Отечественной войне... Толки о том, что тема войны исчерпана или вот-вот должна себя исчерпать, возникали не раз чуть ли не с первого послевоенного года. Но проходило какое-то время, и вдруг появлялся роман или повесть, опрокидывающие прогнозы некоторых оттесняет эту тему на периферию литературы», и рассеивающие скептицизм читателей («Что можно еще сказать тут нового!»). Война открывалась с неизвестной стороны, и мы опять в который уже раз убеждались, что рассказано было об этих незабываемых событиях народной жизни еще далеко не все, что источник, уже не одно десятилетие питающий нашу литературу, не иссякает.

Правда, нельзя не заметить, что в последнее время подобного рода книги, становившиеся вехами литературного процесса, большей частью принадлежали перу писателей, хорошо нам знакомых, давно получивших признание, — Константину Симонову и Василию Быкову, Юрию Бондареву и Даниилу Гранину, Владимиру Богомолову и Григорию Бакланову, Виталию Семину и Алесю Адамовичу, Виктору Астафьеву, Константину Воробьеву, Александру Крону... Ряды военных писателей уже не пополнялись, а, увы, убывали — только за последние несколько лет из перечисленных мною ушли от нас Константин Симонов, Виталий Семин, Константин Воробьев, Александр Крон. Все реже и реже в когорте писателей военного поколения появлялись новые имена, а некоторые обратившие на себя внимание книги о войне написаны уже людьми, которые сохранили о том суровом времени лишь детские воспоминания, — назову для примера Валентина Распутина, Ивана Чигринова, Виктора Козько. И это закономерно, ничего с этим не сделаешь: самым молодым

участникам войны не нынче завтра шестьдесят, о пережитом на фронте, кто хотел и мог, уже написали повести или романы, в этом возрасте вроде бы поздно начинать занятия литературой, разве что засесть за мемуары...

Несколько лет назад Василь Быков, размышляя о состоянии и перспективах литературы о Великой Отечественной войне, высказал следующее, как мне представляется, принципиального характера соображение:

«...Я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались ли когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве уношей 1920—1925 годов рождения? Это — пехота... Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера — пехотинца, который мог бы сказать ныне, что прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было невысказано. Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота. Время показывает, что уже вряд ли придет оттуда в нашу литературу ее гениальный апостол, зато нам, живущим и, может, еще что-то могущим, надо искать там».

Я вспомнил об этих с таким волнением и печалью сказанных словах Василя Быкова, когда прочитал в журнале «Дружба народов» повесть «Сашка»; ее автором был Вячеслав Кондратьев — имя в литературе новое, до этого неизвестное. Вспомнил, потому что повесть эта возникла именно на том направлении нашей литературы о войне, которое представляется Василю Быкову особенно важным и где было до сих пор не так уж много серьезных удач. Повесть посвящена рядовому пехотинцу, и автор ее — из пехоты. О его фронтовой судьбе рассказывал Константин Симонов, чьими стараниями и с чьим добрым напутствием публиковалась в журнале повесть:

«...Несколько слов о военной биографии писателя. С первого курса вуза — в 1939 году — в армию, в железнодорожные войска, на Дальний Восток. В декабре 41-го — один из пятидесяти младших командиров, отправленных из полка на фронт после подачи соответствующих рапортов.

В составе стрелковой бригады — на переломе от зимы к весне 1942 года — под Ржев, а если точнее, чуть северо-западнее его. Помкомвзвода, комвзвода, временно, за убылью командного состава принял роту; после пополнения — снова комвзвода. Все это за первую неделю. Потом новые бои, такие же тягостные, неудачные, словом, те же самые, которые с перехваченным горечью горлом вспоминают фронтовики, читая или слушая «Я убит подо Ржевом» Твардовского. Убит — эта чаша миновала автора «Сашки». На его долю досталось ранение и медаль «За отвагу» — за отвагу там, подо Ржевом...»

Вот что рассказывал Константин Симонов, но и без этого предисловия, из самой повести ясно — так написать можно только о пережитом...

Не будем говорить о гениях — с этой меркой к текущему литературному процессу не подступишься, оставим ее для классиков, для «небожителей». Впрочем, думаю, что Василь Быков имел в виду

и иное — то, что поближе к нашим вполне земным делам и масштабам в литературе: рассчитывать на пополнение писателям военного поколения уже не приходится, все сроки вышли — вот что он хотел сказать...

И литературный дебют Вячеслава Кондратьева был явлением неожиданным, совершенно уже неожиданным, — прецедентов не было, я, во всяком случае, припомнить не могу. В столь зрелом возрасте (хочу это повторить) если и берутся за перо, то с единственной целью — написать мемуары. И тут, мне кажется, и нужно искать главное объяснение этого все-таки из ряда вон выходящего случая. В том-то и дело, что своего рода «мемуарность» (ставлю здесь кавычки, чтобы указать, что это понятие употребляется в более широком, чем обычно, смысле) — существенная особенность почти всей военной прозы писателей фронтового поколения. Эта проза не всегда строго автобиографична, но она насквозь пропитана авторскими воспоминаниями о фронтовой юности. Всех их, писателей военного поколения, буквально выталкивала в литературу сила пережитого, и повести о фронтовой юности, которые они написали, особенно их первые повести, были одновременно и лейтенантскими «мемуарами». Теми мемуарами, которые в самом деле никто никогда не отважился писать. Вячеслав Кондратьев в этом смысле исключения не составляет — вот разве что очень уж много времени прошло после войны. Каков же должен был быть заряд пережитого, чтобы так сработать и через три с лишним десятилетия!..

В одном из интервью Вячеслава Кондратьева в качестве эпиграфа поставлены строки Давида Самойлова:

Как это было! Как совпало —  
Война, беда, мечта и юность!  
И это все в меня запало  
И лишь потом во мне очулось!..

Интервью — жанр вполне деловой, и эпиграф здесь вроде бы ни к чему. Но в данном случае он к месту, он оправдан.

Самойловские строки могут служить ключом к человеческой и писательской судьбе Вячеслава Кондратьева. За всем, что он в этом интервью рассказывает о себе: где и как воевал, когда начал писать, что его, человека уже немолодого, имеющего в руках серьезное дело художника-оформителя, которым он с успехом занимался столько лет, вдруг заставило засесть за повести и рассказы о войне, — слышится щемящая нота, как и в стихах Самойлова о фронтовой юности — незабытой, незабываемой...

Как глубоко запало пережитое тогда... Это только в первые дни мира казалось, как поется в песне Булата Окуджавы, — «С войной закончили мы счеты... Бери шинель — пошли домой». Не кончили, и сейчас уже ясно, что до конца дней своих не рассчитаемся. Случаются дни, и вдруг снова подступает она вплотную и некуда от нее деваться. Так было и у Вячеслава Кондратьева, это и толкнуло его к перу.

«Я начал жить, — вспоминает он, — какой-то странной, двойной жизнью: одной — в реальности, другой — в прошлом, в войне. Ночами приходили ко мне ребята моего взвода, крутили мы самокрутки, поглядывали на небо, на котором висел «костыль», гадали, прилетят ли после него самолеты на бомбежку, а я просыпался только тогда, когда черная точка, отделившаяся от фюзеляжа, летела прямо на меня, все увеличиваясь в размерах, и я с безнадеж-



ностью думал: это моя бомба... Начал я разыскивать тогда своих ржевских однополчан — мне до зарезу нужен был кто-нибудь из них, — но никого не нашел, и пала мысль, что, может, только я один и уцелел, а раз так, то тем более должен рассказать я обо всем. В общем, схватила меня война за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже просто не мог не начать писать».

О силе этого чувства, об одержимости — иное здесь слово не подходит — автора, для которого то, что он стал писать о войне, было не только литературной задачей, а смыслом и оправданием его жизни, выполнением долга, свидетельствует хотя бы такой факт. Не напечатав еще ни одной строки из написанного, не имея никаких гарантий, что какое-нибудь из его произведений увидит свет, — а надо ли говорить, как важен этот стимул для художника, — В. Кондратьев продолжал писать повесть за повестью, рассказ за рассказом. И большая часть того, что входит в этот весьма объемистый том его прозы, написана до первой публикации, до того, как был напечатан «Сашка». Только страстная вера в то, что он обязан рассказать о своей войне, о товарищах, которые сложили голову в затажных, стоивших нам больших жертв боях подо Ржевом, а люди должны узнать обо всем этом, — только такая неостывающая, ни с чем не считающаяся вера могла питать это упорство, эту длившуюся не один год работу...

Но что значит своя война? Константин Симонов писал о «Сашке»: «Это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской». Не знаю, годится ли в первых двух случаях превосходная степенность; легкой войны вообще не было, и одному богу известно, где она была самой трудной — подо Ржевом или в Сталинграде, под Керчью или на Невской Дубровке? Но что подо Ржевом в силу разных обстоятельств — и объективных и субъективных, которые правдиво отражены в прозе В. Кондратьева (К. Симонов в предисловии подтверждает это выписками из воспоминаний известных наших военачальников — маршалов Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, генерала армии Г. И. Хетагурова), — было невыносимо тяжело, об этом спору нет...

И когда я говорю, что Вячеслава Кондратьева, как и всех писателей фронтового поколения, привело в литературу страстное, ничем не утоляемое желание рассказать о своей войне (появлявшиеся яркие и правдивые книги о фронтовых годах, видимо, только разжигали его), я имею в виду не только место (непротоптанную ржевскую топь — непроезжие дороги, воду в землянках и окопах) и время (выдохшееся наступление, напоминающее то, о котором в давнем, военных лет стихотворении Константин Симонов писал: «Есть в неудачном наступлении несчастный час, когда оно уже остановилось, но войска приведены в движение. Еще не отменен приказ, и он с жестоким постоянством в непроходимое пространство, как маятник, толкает нас»). Литература наша не обошла этот не просто дающий художнику материал — эпизоды ржевской эпопеи были воссозданы воевавшей здесь в качестве переводчицы разведотдела Еленой Ржевской в повести «Февраль — кривые дороги», в упоминавшемся уже замечательном стихотворении Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Ржев возник в этом стихотворении не случайно — рассказывая через четверть века после войны историю стихотворения, автор связывал его рождение с тем тягостным чувством, которое возникло у него во время пребывания подо Ржевом осенью 1942 года: «Впечатления этой поездки были за всю войну

из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез — их подвозили вьючными лошадьми. Вернувшись в редакцию своей фронтовой «Красноармейской правды», которая располагалась тогда в Москве, в помещении редакции «Гудка», я ничего не смог дать для газетной страницы, заполнив лишь несколько страничек дневника невеселыми записями». Так вот дело не только во времени и месте действия — в «Сашке» Вячеслава Кондратьева все происходящее мы видим глазами человека, находившегося на «передке», действительно «в самой трудной должности — солдатской».

В. Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах этот рядовой пехотинец, которому «каждый отделенный — начальник», для которого КП батальона, находящийся в каких-нибудь двух километрах — рукой подать, — был уже тылом. И вроде не очень много он может со своим автоматом и парой гранат (против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и авиация), а все-таки именно он и его товарищи решающая сила армии, и только о той земле мы говорим что она в наших руках, которую удерживают или захватили они, пехотинцы, — вот им и достается.

А уж в боях подо Ржевом досталось им сверх всякой меры. На что уж Сашка не избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к невзгодам («...был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытал»), но и ему невмоготу — все разом на них навалилось здесь, из последних сил он держится. И тяжело не только то, что которую неделю ходят они на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает — из первоначальных ста пятидесяти тринадцать человек осталось в их «битой-перебитой» роте, да это еще после того, как пополняли, наскребаая кого только можно в полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он трезво понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два... Но не вечно же? А война впереди долгая». Но что бы ни ждало его, он готов выполнить свой долг...

Этот характер — главная удача писателя. В жизни каждый из нас, наверное, не раз сталкивался с людьми, чем-то напоминающими кондратьевского Сашку, и если мы не сумели по-настоящему понять и оценить этот характер, то потому, что он еще не был открыт и объяснен искусством, — не зря Александр Твардовский говорил, что всякая действительность нуждается в подтверждении и закреплении средствами художественного выражения, а «до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна».

Не так часто даже талантливому художнику случается обнаружить в действительности новый характер. В. Кондратьеву это удалось, его Сашка — открытие. И пусть не обманывают простота и ясность этого характера — он таит в себе и глубину, и сложность, и значительность, раньше литературой не обнаруженные, не подтвержденные. И имеющаяся у Сашки литературная «родня» (скажем, толстовские солдаты) пусть тоже не вводит нас в заблуждение: перед нами явление, которое традицией не покрывается и не исчерпывается. В. Кондратьев открывает нам характер человека из народа, сформированный своим временем и воплотивший черты своего поколения, — добавлю для точности: лучшие черты (этим, кстати, объясняется и та близость и взаимопонимание, которые так естественно и легко возникают у Сашки — деревенского парня и его

ротного, бывшего студента, у Сашки и лейтенанта Володи, выросшего в интеллигентной московской семье,— многое в их нравственных представлениях совпадает).

Сложилась устойчивая традиция изображения коренного народного характера как воплощения органического, «нутряного» нравственного чувства, чуждого какой-либо рефлексии и анализа. Сашка у В. Кондратьева человек не только с обостренным нравственным чувством, но и с твердыми убеждениями. И прежде всего он человек размышляющий, пронизательно судящий и о происходящем вблизи него и об общем положении дел. «На все, что тут (на фронте.— Л. Л.) делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он — не слепой же — промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки...» Раздраженный упрямством Сашки, добивающегося, невзирая ни на что, справедливости, его неуступчивостью, ординарец комбата ему «врезает»: «Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали — исполнил! А ты...» А он так поступить — «наше дело телячье» — не хочет и не может. И то, что многое о жизни, о людях, о войне продумано Сашкой, и то, что поступает он не безотчетно и импульсивно, а взвешенно и с пониманием, и то, что чувствует он себя, как сказано в «Василии Теркине», «в ответе за Россию, за народ и за все на свете», не раз обнаружится в повествовании.

Пытливый ум и простодушие, жизнестойкость и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства — все это соединилось, сплавилось в цельном характере Сашки. Тонкий и проникновенный психологический анализ, свойственный В. Кондратьеву, вскрывает, что и первое движение души у героя, и привычные мысли, и обдуманые поступки всегда направлены в одну сторону: сначала о других, потом о себе. Заметив, что у ротного никудышные валенки, Сашка решает добыть для него целые — снять с убитого немца, лежащего на нейтральной полосе. Затея опасная, он это отлично понимает: «Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались...» Ранило Сашку; ему бы сразу в тыл, в медсанбат, но он возвращается к себе в роту (дважды пересекая открытое, хорошо пристрелянное немцами место, где проще простого получить еще одну, уже роковую пулю): хочет оставить ребятам свой ППШ, у них негусто с автоматами, и попрощаться со всеми — неловко ему, он хоть и раненый, но живым отсюда выбирается, а кто знает, что их ждет... «Психанул» его спутник лейтенант в госпитале, запустив тарелкой в майора, по-хамски разговаривавшего с ранеными,— Сашка вину на себя принял, рассудив, что офицеру эта выходка так просто с рук не сойдет, может и под трибунал «загреметь», а его, рядового, скорее всего не накажут строго... И таков герой повести всюду и во всем — в большом и малом, во взаимоотношениях со случайными спутниками и девушкой, в которую влюблен, на передовой в минуты опасности и в деревне, где остались одни бабы.

Говоря о значении Пушкина, Достоевский обращал внимание на то, что он «первый из писателей русских» создал «целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском», и они не выдумка, не плод фантазии писателя, «главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные». Надеюсь, что я

не ставлю В. Кондратьева и себя в неловкое положение, воспользовавшись формулой Достоевского (речь идет, конечно, не о масштабе — такого рода сближения невозможны, — а о направленности дарования), — я хочу подчеркнуть, что автор «Сашки» не выдумал в соответствии с идеальными представлениями и литературными канонами, а нашел, отыскал в народе, сражавшемся в Великую Отечественную войну, современный положительно прекрасный тип и правдиво изобразил его.

Повесть «Сашка» была сразу же замечена и оценена по достоинству. Многие военные писатели (кроме уже упоминавшегося в этой связи К. Симонова, В. Быков, Г. Бакланов, В. Астафьев, А. Адамович, Е. Воробьев, Д. Самойлов), критики, читатели, проявив на сей раз редкое единодушие, определили ей место в ряду самых больших удач нашей военной литературы. С необычайной быстротой появились экранизации, инсценировки — кино и театр норовят сразу же прибрать к рукам хорошую прозу. Повесть эта, составившая имя Вячеславу Кондратьеву, несомненно, пока лучшее из того, что он написал. Но она не стоит особняком, ее первенство и превосходство не затмевают достоинств других вещей, среди которых есть и более сильные, и послабее. Одни, как «Селижаровский тракт», можно поставить вслед за «Сашкой» (жаль только, что в финале повести автор снимает драматическое напряжение, успокаивая читателя благополучной сценой явно литературного происхождения), другие, как «Привет с фронта» (в этом рассказе автор, на мой взгляд, не выдержал искушения мелодрамой) или «Встречи на Сретенке» (характер героя этой вещи во многом был исчерпан в «Отпуске по ранению»), находятся на большем отдалении от «правофланговой» повести. И теперь о Вячеславе Кондратьеве следует говорить уже не как об авторе одной очень талантливой повести, а как о писателе, создавшем свой художественный мир.

Следует обратить внимание на то, что вещи В. Кондратьева как бы прорастают друг в друга. Каждая из них вполне самостоятельна, но между ними существуют и внутренние, скрытые и вполне очевидные сюжетные связи: один и тот же бой возникает в них то как происходящее на наших глазах, то в воспоминаниях разных персонажей, некоторые герои переходят из одного произведения в другое, а те, что на передовой не встречались, не знали тогда друг друга, оказывается, служили в начале одного и того же старшего командира, после ранения попадали в один и тот же санзвод или санроту, один и тот же подбитый танк служил им на поле боя ориентиром. Все вещи В. Кондратьева объединяет общий замысел, в сущности они части обширной и цельной художественной структуры, и чем раньше и отчетливее читатель это ощутит, тем больше ему откроется в кондратьевской прозе.

Художественное пространство в книге В. Кондратьева невелико и кажется замкнутым. Редующий в безуспешных атаках и от постоянных — как по расписанию — немецких обстрелов батальон, разные его роты; три расположенных рядом деревеньки — Паново, Усово, Овсянниково, в которых прочно закрепились немцы; овраг, маленькие рощицы и поле, за которым вражеская оборона (один из героев через двадцать лет после войны измерит его — всего тысяча двести шагов отделяли от немцев), — поле, сплошь простреливаемое пулеметным и минометным огнем...

И когда герой рассказа «День Победы в Чернове», побывав здесь снова через много лет, говорит: «...Никакие романы, повести и стихи не расскажут о войне столько, сколько может рассказать этот не-

большой клочок земли бывшей передовой...» — он высказывает мысль, которая многое определяет в художественном мире В. Кондратьева, где все стянуто, повернуто к этому страшному полю: и Москва военная и сегодняшняя, и Дальний Восток, где герои проходят обычную, предписанную уставом боевую подготовку, не ведая, что бои им предстоят никакими уставами не предусмотренные; и жуткий ржевский лагерь, где немцы измываются над нашими пленными; и мыкающие горе, обезлюдевшие — бабы, старики да детишки остались — деревни у нас в тылу, за неширокой здесь Волгой...

Ничем овсянниковское поле не примечательно, поле как поле, наверное, у каждой деревни в тех краях можно отыскать такое. Но для героев В. Кондратьева все главное в их жизни совершается здесь, и многим, очень многим из них не суждено его перейти, останутся они тут навсегда. А тем, кому повезет, кто вернется отсюда живым, запомнится оно на всю жизнь во всех подробностях — каждая ложбинка, каждый пригорок каждая тропка в прилегающих к нему рошицах. Все было тут не исхожено даже, а использовано — не очень-то походишь при таком губительном огне. Для тех, кто здесь воюет, даже самое малое исполнено немало, жизненно важного значения: и шалаши, служившие зимой хоть каким-то укрытием от ледяного ветра, и мелкие окопчики — поглубже вырыть сил не хватало, — весной наполовину залитые талой водой, и последняя шепот махорки, смешанной с крошками, и взрыватели от ручных гранат, которые принято было носить в левом кармане гимнастерки — если сюда угодит пуля или осколок, неважно, что они взорвутся, все равно хана, и валенки, которые никак не высушить, и полкотелка жидкой пшенной каши в день на двоих, и вдруг замедлявшееся, останавливавшееся во время атаки время — «полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла».

Все это и составляло дни и ночи на переднем крае, вот из чего складывалась жизнь солдата, чем была наполнена. Даже смерть, то и дело настигавшая кого-то рядом с ним и постоянно над ним нависшая, была здесь заурядно привычной — хотя и не угасала надежда, что каким-то чудом пронесет, умом понимал, живым и не искалеченным вряд ли отсюда выбраться. Теперь из дали мирных времен тем, кто этого не видел, не испытал, может показаться, что одни подробности у В. Кондратьева не так уж существенны — можно и без них вполне обойтись (например, дата, которой помечена на фабрике пачка полученного солдатом концентрата, — что в ней примечательного), другие входят в противоречие с уставными положениями и требованиями (допустимо ли, что окопы открыты кое-как, не в полный профиль, а то и вовсе не выкопаны), третьи — мало аппетитны (как те лепешки из перезимовавшей в земле гнилой, раскисшей картошки), четвертые — чересчур жестоки (вот как снимают часового: «Ножом в спину... Ручкой ему рот зажал, а через пальцы — крик. И кровь со спины на меня! Весь ватник забрызган...»). И, может быть, стоило бы подправить, почистить, высветлить?.. Но все это правда, так было. Можно ли, отвернувшись от грязи, крови, страданий, постичь, как доставалось окопнику, чего он натерпелся на передке, можно ли оценить меру мужества солдата, силу его любви к Родине, веру в победу? Да и вообще понять по-настоящему, чего стоила народу эта война и победа?

Клочок истерзанной войной земли, горстка солдат — самых обыкновенных, не решающее, вошедшее в историю сражение — кровавая обыденность боев местного значения... Но чем дальше читаешь прозу В. Кондратьева, тем явственнее ощущаешь, что его

повести и рассказы, взаимосвязанные, дополняющие и углубляющие друг друга, складываются в единую эпическую картину народной войны. Как же так — предвижу вопрос — ведь эпичность предполагает обширную панораму жизни, внушительный размах действия, отражение важнейших событий эпохи, множество персонажей, среди которых и крупные исторические фигуры, и т. п.? Все это как канон закреплено в читательском сознании классической традицией, главным образом гениальной толстовской эпопеей.

А у В. Кондратьева ничего похожего нет. Но ведь суть эпического в другом, в полноте изображения народной жизни — характеров, нравов, чаяний, испытаний, быта, а достигаться эта цель может самыми разными способами, разными средствами. Классикам нельзя подражать, у них следует учиться. Искусство по самой своей природе не терпит заемных форм, копирования, повторений — жизненный материал подсказывает формы его художественного претворения, а надо ли напоминать, сколь глубоки различия между Великой Отечественной войной и войной 1812 года, запечатленной в толстовской эпопее?

В. Кондратьев в художественном исследовании действительно военных лет идет не вширь, а вглубь, проникая — слой за слоем в толщу народной жизни, добываясь на небольшом пространстве полноты изображения. В малом мире овсянниковского поля открываются существенные черты и закономерности мира большого, предстает судьба народная в пору великих исторических потрясений. В малом у В. Кондратьева неизменно проступает большое. Та же дата на этикетке пшеничного концентрата; свидетельствующая, что он не из запаса, которого хватит еще надолго, а изготовлен всего месяц назад и, значит, сразу же без промедления и задержек попал на фронт, без лишнего слов указывает на крайний предел напряжения сил всей страны. Конечно, эта деталь подкреплена и подтверждена другими, но для полноты и точности картины необходима и она — иначе не понять, что скудный, полуголодный паек, из-за которого герои В. Кондратьева едва волокут ноги, нехватка техники и боеприпасов, дающая серьезное преимущество врагу, обладающему мощной и хорошо отлаженной военной машиной, объясняются не одной лишь распутицей и нерадивыми, нераспорядительными, а то и на руку нечистыми тыловыми начальниками... Страшная беда обрушилась на страну, и, чтобы устоять, отбиться, нужны титанические усилия и фронта, и тыла...

Вячеслав Кондратьев как-то вспоминал: написав уже немало страниц, он отправился подо Ржев на места былых боев (впечатления от этой поездки легли в основу рассказа «День Победы в Чернове»). И там, на этой израненной земле, всколыхнувшей воспоминания о пережитом, он понял, что пока что написанное им беллетристика — обтекаемая, приглаженная, минующая острые углы, а страшные, даже через столько лет не исчезнувшие следы войны на бывшем переднем крае требовали иного — надо рассказать «правду, тяжелую, пропахшую кровью и потом, но рассказать ее всю». Эта задача определила и эпический характер повествования, и особую жанровую форму прозы В. Кондратьева — столь же емкую, как роман, но еще более свободную.

Фронтная жизнь — действительность особого рода: встречи здесь скоротечны — в любой момент приказ или пуля могли разлучить надолго, часто навсегда. Но под огнем, когда смерть подстерегает на каждом шагу, за немногие дни или часы, а иногда в одном лишь поступке характер человека проявлялся с такой исчерпываю-

щей полнотой, с такой предельной ясностью и определенностью, которые в нормальных условиях недостижимы и при многолетних приятельских отношениях. Когда-то, в сорок втором году, размышляя над тем, что мы обрели в войну, Илья Эренбург писал: «До войны другом легко называли, но друга и легко забывали. Говорили прежде: «Мы с ним пуд соли съели». Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде?» Это пронизательное наблюдение.

Часто говорят, имея в виду судьбу человека, — река жизни. На фронте ее течение становилось катастрофически стремительным, она властно увлекала за собой человека и несла его от одного кровавого водоворота к другому. Как мало оставалось у него возможностей для свободного выбора! Но и выбирая, он каждый раз ставит на карту свою жизнь или жизнь своих подчиненных. Цена выбора здесь всегда жизнь, хотя выбирать обычно приходится в кругу вещей как будто бы вполне прозаически обыденных — позицию для пулемета с укрытием получше и с обзором пошире, время атаки, где нужно по-пластунски, а где можно и перебежками...

В. Кондратьев стремится передать это неостановимое движение потока жизни, увлекающего за собой человека, потока грозного и обыденного одновременно. Иногда у него, как, скажем, в повестях «Сашка» и «Борькины пути-дороги», на первый план выступает герой. И хотя он старается использовать все возникающие возможности для выбора, не упускает таких ситуаций, исход которых может зависеть и от его смекалки, выдержки, решительности, он все-таки во власти этого неукротимого потока военной действительности — пока жив и цел, ему снова и снова ходить в атаки, вжиматься под обстрелом в землю, есть что попадет, спать где придется... А в «Селижаровском тракте» иной угол зрения: тут автор стремится запечатлеть сам этот жизненный поток, соединивший и увлекающий в одну сторону, в одном направлении множество людей. Мы словно бы наблюдаем походную колонну — взор задерживается на каком-то человеке, потом его заслоняют другие фигуры, другие лица, затем он вдруг возникает снова. Но все время у нас перед глазами эта движущаяся масса людей, которых соединили вместе и ведут вперед, навстречу неведомой судьбе долг и приказ.

Пристальное внимание уделяет В. Кондратьев военному быту. Для него — и это тоже свойство эпического мировосприятия — бытие слито с бытом, разделить их нельзя, невозможно. В кондрагьевской прозе перед читателем предстает война, проникшая во все поры народной жизни, ставшая бытом миллионов людей на фронте и в тылу. Тыл тоже так или иначе постоянно возникает у В. Кондратьева. Война и в тылу легла на плечи людей страшным грузом: непосильной работой, слезами матерей, у которых сыновья на фронте, вдовей долей солдаток. И хотя порой на передке помянут в сердцах недобрым словом и тыл, и тыловиков, но скорее по вьезшейся, передававшейся из поколения в поколение привычке, по инерции укоровившихся представлений. И что бы там ни говорили герои В. Кондратьева, они прекрасно знают, что никто им так не сочувствует, никто их так не жалеет, как горемычные бабы и старухи, — кто, как не они, будут выхаживать раненых, последним куском поделаться, на оккупированной территории будут прятать от фашистов. И они, солдаты, чувствуют и свою вину перед теми, кого были призваны защищать, — за то, что война пошла не так, как ду-

малось, за то, что столько наших людей в немецкой неволе оказалось, за то, что женскими руками теперь приходится делать всю мужскую работу. И, быть может, солдат, которым так досталось в эти первые месяцы войны, больше их собственных бед и горестей жжет сознание того, что вот уже в армию, на войну уходят девушки, — значит, на самом краю стоим, из последних сил отбиваемся, значит, сами они с солдатским делом не управятся.

Тяжкий период войны изображает В. Кондратьев — мы учимся воевать, дорого стоит нам эта учеба. Постоянный — из повести в повесть, из рассказа в рассказ — мотив у В. Кондратьева: уметь воевать — это не только, зажав, преодолев страх, пойти под пули, не только не терять самообладания в минуты смертельной опасности. Это еще полдела — не трусить. Труднее научиться другому: думать в бою и над тем, чтобы потерь — они, конечно, неизбежны на войне — все-таки было поменьше, чтобы зря и свою голову не подставлять и людей не класть. На первых порах это не очень-то получалось, и в безуспешных боях стало даже кое-кому казаться, что храбрость — это презрение не к смерти, а к жизни. В рассказе «Овсянниковский овраг» молодой ротный, вчерашний студент, удивится, услышав от бойца, который много старше его: «...Некоторые цену жизни не понимают... Кто по глупости, кто по молодости... Уважать ее надо, жизнь-то... На войне особенно...» Удивится, но не забудет этих слов.

Против нас была очень сильная армия — хорошо вооруженная, вымуштрованная, уверенная в своей непобедимости. Чтобы ее разбить, надо было добиться превосходства в вооружении и технике, превзойти ее воинским умением, сокрушить ее наступательный дух. Но это еще не все. Против нас была армия, отличавшаяся необычайной жестокостью и бесчеловечностью, не признававшая никаких нравственных преград и ограничений в обращении и с противником, и с мирным населением в захваченных областях.

С каким равнодушием, с какой невозмутимой деловитостью в «Борькиных путях-дорогах» немолодые резервисты, конвоирующие колонны советских военнопленных, добивают раненых, которые не могут идти, — словно скот гонят, а не людей! Герой кондратьевского рассказа, глядя на это, решает про себя, что если выберется из плена, «когда вернется в часть, воевать будет по-другому — жесточе и беспощаднее». Да, наверное, так и будет: жестокость не только устрашает, как полагали гитлеровцы, но и рождает сопротивление и ненависть. Однако ненависть даже к такому врагу, как фашистские захватчики, не была, не могла стать слепой и безграничной, ее, что говорить, конечно, накаляли гитлеровские злодеяния, но ей устанавливали пределы те гуманистические ценности, которые мы защищали. Поэтому она не становилась разрушительной, не растлевала, не сеяла неуважение к человеческой жизни. Мы не могли платить фашистам той же монетой не потому, что они этого не заслуживали, а потому, что это было для нас невозможно.

Борьке удастся бежать из плена; безоружный, он убил вооруженного немецкого конвоира, и все-таки на душе у него нехорошо: «Сколько же они, гады, народу поубивали, подумал Борька. А он, телок, все немца, им убитого, вспоминает, все никак от гадливого чувства отделаться не может. Да, по-другому русский человек устроен, чем фашист. Для того убить человека — раз плюнуть. Привыкли, что ли? А у Борьки до сих пор осадок мутный». Слабость ли это? Не думаю, скорее сила. Борька, как и Сашка, что бы там ни было, все равно не сможет расправиться с безоружным. Для него



это значило бы, кроме всего прочего, утратить чувство безусловной правоты, абсолютного нравственного превосходства над фашистами, благодаря которому он и его товарищи могут вынести невыносимое, сохранять и в отчаянных положениях веру в победу. Разумеется, все это не так просто, и в свинцовой круговерти боя нелегко бывает установить водораздел между слепой яростью и справедливой ненавистью, между человечностью и ложной жалостью. Герою рассказа «Овсянниковский овраг» не по себе от того, что он впервые убил человека, и он отпускает немца, приползшего за убитым братом. Затем он казнится этим — и поделом: за его душевное смятение, быть может, придется расплачиваться разведчикам, которым приказано взять языка, и вместе с ними он отправляется на рискованное дело. Да, непросто было нащупать тут нравственную границу...

И все-таки... Когда у Сашки спросили, как же он решился не выполнить приказ — не стал расстреливать пленного, разве не понимал, чем это ему грозило, он ответил просто: «Люди же мы, а не фашисты...» В этом он неколебим. И простые его слова исполнены глубочайшего смысла: они говорят о неодолимости человечности, которая была тем рубежом, который фашисты взять не могли. Проза В. Кондратьева, в которой так беспощадно нарисован жуткий лик войны — грязь, вши, кровь, трупы, — в своей основе светла, потому что она проникнута верой в торжество человечности.

И этот свет, эта вера не позднего, не сегодняшнего происхождения, они оттуда — из тех тяжких лет, которые справедливо называют и свинцовыми, и пороховыми, и кровавыми. Так было, так и запомнилось. У В. Кондратьева поразительная память. Ей его проза обязана бесчисленным количеством невыдуманных подробностей фронтовой жизни, многие из которых забыты даже пережившими все это. Реалии у него безупречно точны — он ни за что не спутает, скажем, деталей зимнего и весеннего быта на передовой — тогда между ними разница была огромная: это теперь, когда столько лет прошло, многое уже слилось в общую картину. Столь же строго историчен писатель, раскрывая психологию своих героев, их внутренний мир, — это строй мыслей и чувств людей той поры.

«...Чтобы не нарушить правды именно того времени, — признавался В. Кондратьев, — мне пришлось, и не без труда, отринуть все свои «знания» (последующего хода войны и послевоенного времени. — Л. Л.), позабыть о них, а знать только то, что знал мой герой в том самом сорок втором году». Сказано не совсем точно. Конечно, писатель, если он хочет быть верен правде, передавая, что видели, чувствовали, думали его герои, не должен делиться с ними тем, что узнал и понял лишь после войны, — они не могут, не должны ни на шаг опережать время, в котором живут, не могут быть проницательнее и дальновиднее, чем были тогда. Но сам он, как бы ни старался, не сумеет «забыть» все, что было «потом». Да и не требуется это: как без этих знаний докопаться до той правды, которая участникам событий еще не была видна, но без которой сегодня невозможно рассказывать о том времени? Умудренный временем взгляд автора на пережитое скажется, неизбежно скажется в отборе материала, в отношении повествователя к изображаемому, в его интонации.

Мог ли кто-нибудь тогда, сорок лет назад, представить себе, что переживает самые главные годы своей жизни? Конечно, нет — считали, что все еще впереди, в будущем, которое так много обещает. Дожить бы только до него... Сейчас у тех, кто участвовал в войне, за плечами целая жизнь, и четыре года — какими бы они там ни

были — это все-таки только четыре года, всего лишь четыре... Но почему-то вопреки такой очевидной арифметике кажется, что военные годы заняли по меньшей мере полжизни, что пережито было в ту пору, когда каждый день был бесконечно длинным и мог стать для тебя последним, куда больше, чем за всю остальную жизнь...

И вот чем хотелось бы закончить заметки о прозе Вячеслава Кондратьева. Автор этих строк тоже из пехоты, и мне пришлось в годы войны вместе с Сашкой, Володькой, Жорой — пусть их звали по-другому и дело было не подо Ржевом — и есть из одного котелка часто не очень густую кашу, и прижиматься под огнем пулеметов к раскисшей земле, и хоронить товарищей, и мыкаться по госпиталям. Повести и рассказы Вячеслава Кондратьева не только заставили меня вспомнить все это — они открыли многое, чего я тогда по молодости лет и по недостатку жизненного опыта не сумел как следует разглядеть в людях, с которыми вместе воевал. А скорее всего дело тут не в молодости и не в недостатке опыта — просто талантливому художнику дано и то, что мы вроде бы хорошо знаем, сами пережили, раскрыть как неведомое...

*Л. ЛАЗАРЕВ*

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

---

<b>СЕЛИЖАРОВСКИЙ ТРАКТ.</b> Повесть . . . . .	15
<b>ОВСЯННИКОВСКИЙ ОВРАГ.</b> Рассказ . . . . .	101
<b>НА ПОЛЕ ОВСЯННИКОВСКОМ.</b> Рассказ . . . . .	140
<b>САШКА.</b> Повесть . . . . .	167
<b>ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ.</b> Повесть . . . . .	294
<b>ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЧЕРНОВЕ.</b> Рассказ . . . . .	402
<b>ПРИВЕТ С ФРОНТА.</b> Рассказ . . . . .	447
<b>БОРЬКИНЫ ПУТИ-ДОРОГИ.</b> Повесть . . . . .	482
<b>«ТЫ ПРОШЕЛ СТОВЕРСТЫЙ ПУТЬ...»</b> . . . . .	552
<b>«А МЫ С ТОБОЙ, БРАТ, ИЗ ПЕХОТЫ...»</b> <i>Послесловие</i> Л. Лазарева . . . . .	563

## **Вячеслав Леонидович КОНДРАТЬЕВ** **НА ПОЛЕ ОВСЯННИКОВСКОМ**

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой

Редактор **Н. Гайдукова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **Н. Карнаушкина**

Корректор **Т. Низамова**

●  
ИБ № 914

Сдано в набор 28.08.84. Подписано в печать 23.01.85. А01030. Формат 84×108<sup>1/32</sup>.  
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Печ. л. 18. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,45. Уч.-изд. л. 33,24. Тираж  
275 000 экз.

Цена 2 руб. 40 коп.

●  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».  
103791 ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный  
пролетарий». 103473. Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано в типографии издательства Кировского обкома КПСС  
«Кировская правда». 610601, Киров, ул. Карла Маркса, 84. Зак. 4801.

Scan Kreyder - 11.03.2019 - STERLITAMAK